



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

P Star 236.4



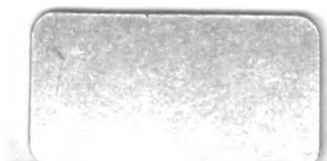
HARVARD
COLLEGE
LIBRARY



P Star 236.4



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY



ЯНВАРЬ

1880

ДѢЛО

ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

№ 1.

СОДЕРЖАНІЕ.

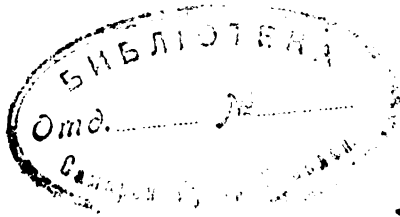
1. ДВА БРАТА. Романъ. (Часть I. Гл. I—III.) Б. М. СТАВЮКОВИЧА.
2. НЕВѢСТА. Стихотвореніе. (Изъ Роберта Гамерлинга.) П. Я.
3. ДОЧЬ ИЗАВЕЛИ. Романъ. (Часть I. Гл. I—VII.) Перев. съ англійскаго УЛЬЯНЪ КОЛИНЗА.
4. КРУТЫЯ ГОРКИ. Романъ. (Часть I. Гл. I—VII.) Я. П. ПОЛОДСКАГО.
5. ТЕПЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. (Отрывокъ изъ романа.) М. И—ОВА.
6. ХАМЕЛЕОНЪ. Историческій романъ. (Гл. I—X.) Перев. съ испанскаго. ПЕРЕСА ГАЛЬДОСА.
7. **. Стихотвореніе. (Изъ Роберта Гамерлинга.) П. Я.
8. ИЗНАНКА ЦИВИЛИЗАЦИИ. Дѣтство въ столицахъ (Статья первая.) Л. П. МЕЧНИКОВА.

(См. на оборотѣ.)

9. НА ПРОЩАНЬЕ. Стихотвореніе. . . М. П. РОЗЕНГЕЙМА.
 10. КОМИСИЯ УЛОЖЕНІЯ И КРЕСТЬЯНСКОЕ ДѢЛО ПРИ ЕКАТЕРИНѢ II. (Статья первая.) . . . С. С. ШАШКОВА.
 11. ПАУТИНА. Сцены. Н. П. НАУКОВА.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

12. УТИЛИТАРНЫЙ ПРИНЦИПЪ НРАВСТВЕННОЙ ФИЛОСОФІИ. (Ст. первая.) П. НИКИТИНА.
 (Нравственная философія утилитаризма. Историко-критическое изслѣдованіе А. Мальцева. Спб., 1879.).
13. МЕМУАРЫ МЕТЕРНИХА. В. БАСАРДИНА.
 („Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince de Metternick, publiés par son fils, classés et réunis p. M. A. Klinkowstroem“, Paris, Plon et C^o. 1880.)
14. УСЛУЖЛИВЫЙ ПЕДАГОГЪ Н. В. ШЕЛГУНОВА.
 (Международная научная библіотека. Воспитаніе, какъ предметъ науки. Сочиненіе Александра Бэна, профессора логики въ эбердинскомъ университетѣ. Переводъ съ англійскаго Ф. Резенера. Спб, 1879.)
15. НОВЫЯ КНИГИ
 Пережитое. Мечты и рассказы русскаго актера. Л. Н. Самсонова. Спб., 1880 г.—Убъжище Монрепо. Соч. М. Е. Салтыкова (Щедрина). Спб., 1880.—Наука и ученые люди въ русскомъ обществѣ. (По поводу толковъ, возбужденныхъ г. Михайловскимъ и проф. Цитовичемъ.) Соч. П. Милославскаго. Второе изданіе. Казань, 1879.—Обзоръ классовыхъ пошѣщеній въ семьѣ и шкодѣ. Рѣчь, произнесенная 1876 г. на годичномъ актѣ аренбургской гимназіи старшимъ преподавателемъ, І. В. Гольцмайеромъ. Съ приложеніемъ. Перев. съ нѣмецкаго. Спб., 1877.
16. ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ П. Ш.
 Отчетъ государственнаго контроля и рѣчь министра финансовъ.—Отношеніе печати къ дѣйствіямъ финансоваго управленія.—Причины блистательнаго выполненія росписи на 1878 г.—Долги и поступления.—Недоимки, какъ выраженіе податной неспособности.—Пошутка земства для новаго разрѣшенія земледѣльческаго вопроса.—Какъ туго зрѣютъ земскія мысли.—Гг. Оленинъ, Туркестановъ, Детловъ и московское губернское земское собраніе въ качествѣ защитниковъ разныхъ отсталыхъ мыслей.—Проектъ новгородскаго земства.—Законъ, управляющій развитіемъ агрикультурныхъ формъ.—Удастся-ли московскому земству заставить народъ думать со втораго шага, не сдѣлавъ перваго?—Въ какой формѣ намѣтился самъ собою вопросъ о расширеніи крестьянскаго землевладѣнія?
17. ЗАМѢТКИ „О ТОМЪ, О СЕМЪ“.
 Литераторская меланхолія ВСЕ ТОГО-ЖЕ.



О ПОДПИСКѢ
НА
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ
„ДѢЛО“
ВЪ 1880 ГОДУ.

Журналъ «ДѢЛО» издается въ 1880 году при постоянномъ участіи прежнихъ его сотрудниковъ, въ томъ-же направленіи и по той-же программѣ, какъ и въ прошлыя тринадцать лѣтъ.

Годовое изданіе журнала „ДѢЛО“ состоитъ изъ *двѣнадцати* книгъ, отъ 30 до 32 листовъ каждая, большого формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛУ НА ГОДЪ:

безъ пересылки и доставки 14 р. 50 к.
съ доставкой въ Петербургъ. . . . 15 р. 50 к.
съ пересылкой иногороднимъ . . . 16 р. „

ЗА-ГРАНИЦУ ВО ВСѢ ГОСУДАРСТВА. . 19 р.

Подписку просятъ адресовать исключительно въ С.-Петербургъ, въ Главную Контору журнала „ДѢЛО“, по Надеждинской ул., д. № 39.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

1) Редакція проситъ гг. подписчиковъ, живущихъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ почтовыхъ конторъ, обозначать въ своихъ адресахъ ближайшее почтовое мѣсто, въ которое можно было-бы адресовать прямо книги журнала. Въ противномъ случаѣ, редакція не можетъ ручаться за исправную доставку журнала и за удовлетвореніе жалобъ на неполученіе книжекъ журнала, на томъ основаніи, что Газетная Экспедиція петербургскаго почтамта не принимаетъ отъ редакціи подобныхъ жалобъ и не входитъ въ ихъ разсмотрѣніе, отзываясь, что не имѣетъ возможности собирать справки и требовать объясненій изъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ нѣтъ правильного почтоваго приѣма и отвѣтственнаго почтоваго учрежденія.

2) Когда книга журнала не получается подписчикомъ своевременно или вовсе не доходитъ по своему назначенію, редакція, въ виду скорѣйшаго удовлетворенія жалобъ, покорнѣе проситъ заявлять объ этомъ не позже полученія слѣдующей книжки журнала. Въ противномъ случаѣ, на основаніи объявленныхъ почтовымъ вѣдомствомъ правилъ, Газетная Экспедиція къ своему разсмотрѣнію жалобъ не принимаетъ.

3) При перемѣнахъ адреса необходимо сообщать старый печатный адресъ бандероли или-же номеръ билета. При каждомъ заявленіи о перемѣнѣ адреса редакція проситъ прилагать три почтовыхъ семи-копеечныя марки за напечатаніе новаго адреса.

4) При перемѣнѣ городскаго адреса на иногородный уплачивается 1 р. 50 к.; при перемѣнѣ-же иногородняго на городской уплачивается 1 р.

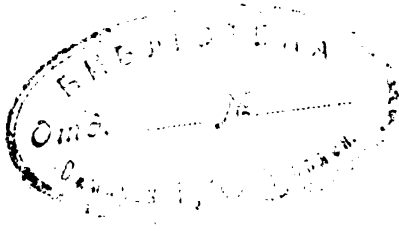
5) Жалобы и перемѣны адресовъ адресуются исключительно въ контору редакціи журнала „Дѣло.“

6) Лица, адресующіяся въ редакцію съ разными запросами, благоволятъ прилагать почтовые марки, если желаютъ получить отвѣты.

7) Рукописи, признанныя редакціею неудобными для помѣщенія въ журналъ „Дѣло“, а равно и рукописи напечатанныхъ статей, хранятся въ конторѣ редакціи не болѣе года и затѣмъ, по истеченіи этого срока, уничтожаются, если не будутъ вытребованы обратно. Мелкія статьи и стихотворенія не возвращаются и по поводу ихъ редакція не входитъ ни въ какія письменныя объясненія, хотя-бы и были приложены для этого почтовые марки.

8) Высылка рукописей иногороднимъ возможна только въ томъ случаѣ, когда на почтовые расходы будутъ представлены въ редакцію деньги соразмѣрно стоимости пересылки.

9) Для личныхъ объясненій съ редакціей просятъ обращаться въ главную контору журнала „Дѣло“ по субботамъ отъ 2—5 часовъ, по Надеждинской ул. № 39.



О ПОДПИСКѢ
НА
ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ
„СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА“
на 1880 годъ.

„Сынъ Отечества“ въ 1880 году будетъ издаваться ежедневно, въ форматъ большого листа, воскресный номеръ будетъ состоять изъ двухъ листовъ съ карикатурами.

ПРОГРАМА ГАЗЕТЫ:

1) **Внутренній отдѣлъ:** передовыя статьи по одному изъ современныхъ вопросовъ. — Толки газетъ. — Правительственныя распоряженія. — Главнѣйшія производства. — Судебный отдѣлъ. — Отчеты земства. — Народное образованіе. — Желѣзно-дорожное дѣло. — Дѣятельность акціонерныхъ обществъ. — Отчеты акціонерныхъ обществъ. — Отчеты техническихъ обществъ. — Промышленность и торговля. — Петербургская лѣтопись. — Внутреннія (областныя) извѣстія. — Петербургскій листокъ. — Провинціальная лѣтопись. — Корреспонденціи.

2) **Иностраннѣй отдѣлъ:** Политическое обозрѣніе. — Политическія извѣстія. — Телеграммы. — Иностранная (не политическая) хроника.

3) Статьи по отраслямъ наукъ, искусствъ, художествъ и ремесль.

4) Критика, журналистика, библиографія.

5) **Велетристическій отдѣлъ:** Романы, повѣсти, рассказы и проч.

6) Театральныя и музыкальныя извѣстія и общественныя увеселенія.

- 7) Биржевыя и торговыя извѣстія и курсы.
- 8) Зрѣлища, желѣзныя дороги.
- 9) Карикатуры.
- 10) Смѣсь.
- 11) Объявленія внутри газеты и въ приложеніяхъ.

Подписка на газету „Сынъ Отечества“ принимается *исключительно* въ главной конторѣ, находящейся въ С.-Петербургѣ, въ Почтамтской улицѣ, домъ № 4, куда и просить обращаться какъ городскихъ, такъ и иногородныхъ подписчиковъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ГАЗЕТЫ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

для городскихъ:			для иногородныхъ:	
	Съ дост. въ Петерб. по городск. почтѣ.			Съ пересылкою.
На годъ . . .	7 р. — к.		На годъ	8 руб.
„ полгода . . .	3 „ 60 „		„ полгода	4 „

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЗАГРАНИЦЕЮ, СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ:

Въ государствахъ Европы, Азіятской Турціи,
Египтѣ, Японіи и Соединенныхъ Штатахъ
Сѣверной Америки 16 р.

ВО ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

продаются слѣдующія изданія редакціи журнала „Дѣло“:

Происхожденіе человѣка и половой подборъ. Чарльса Дарвина. Перев. съ англ., подъ редакціею Г. Е. Благосвѣтлова. Въ трехъ выпускахъ, составляющихъ около 80-ти печ. листовъ, съ 150-ю рисунками, рѣзанными на деревѣ. Цѣна тремъ выпускамъ 5 р. сер.; съ перес. 5 р. 60 к.

Теорія естественнаго подбора. Очерки Альфреда Росселя Валласа. Перев. съ англ. Цѣна 1 р. 20 к.; съ перес. 1 р. 50 к.

Популярная гигиена. Настольная книга для сохраненія здоровья и рабочей силы въ средѣ народа. Карла Реклама. Перев. съ нѣмецк. Изданіе четвертое. 1878 г. Съ приложеніемъ „Военной гигиены“ д-ра Вейнмана. Съ рисунками. Цѣна 2 руб.; съ пересылкой 2 руб. 30 к.

Вопросы общественной гигиены. В. О. Португалова. Около 40 печатныхъ листовъ. Цѣна 3 руб.; съ перес. 3 р. 50 к.

О питаніи въ физиологическомъ, патологическомъ и терапевтическомъ отношеніяхъ. Д-ра Жюля Сира. Перев. съ французскаго, подъ редакціей А. Н. Морягеровскаго. Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 30 к.

Уроки элементарной физиологій. Т. Гексли. Пер. съ англ., съ предисловіемъ Д. П. Исарева. Изданіе третье. Цѣна 1 р. 25 к.; съ пер. 1 р. 40 к.

Комедія всемірной исторіи. Юг. Шерра. Историческій обзоръ событій въ 1848 по 1851 годъ. Перев. съ нѣмец. Два выпуска. Цѣна обоямъ выпускамъ 3 р.; съ пересылкой 3 р. 50 к.

Исторія крестьянской войны въ Германіи. Д-ра В. Циммермана, составл. по лѣтописямъ и рассказамъ очевидцевъ. Переводъ съ нѣмецкаго. Три выпуска, составл. болѣе 70-ти печ. листовъ. Изданіе второе. Цѣна тремъ выпускамъ 2 руб.; съ перес. 2 р. 50 к.

Избранныя рѣчи Джона Брайта. Съ біографическимъ очеркомъ и портретомъ автора. Переводъ съ англійскаго, подъ редакціей Г. Е. Благосвѣтлова. Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 30 к.

Одинъ въ полѣ—не воинъ. Романъ Фр. Шпильгагена. Перев. съ нѣмецк. Изданіе четвертое, съ портретомъ автора и предисловіемъ Г. Е. Благосвѣтлова. Два тома, около 60-ти печатн. листовъ. Цѣна 3 р.; съ перес. 3 р. 50 к.

Девяносто третій годъ. Романъ В. Гюго, въ двухъ томахъ. Переводъ съ французскаго. Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 40 к.

Современные политическіе дѣятели. (Біографія и характеристика) Э. Реклю (М. Триго). Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 30 к.

Исповѣдь старика. Политическій романъ Иполита Ньюво. Перев. съ итальянскаго В. А. Зайцева. Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 30 к.

О подчиненіи женщины. Дж. Ст. Милл. Переводъ съ англійскаго, подъ редакціею и съ предисловіемъ Г. Е. Благосвѣтлова. Въ концѣ книги приложена ст. Юг. Шерра: „Историческія женскія типы“. Изданіе второе. Цѣна 1 руб. съ перес. 1 руб. 25 к.

1 Автобіографія Джона Стюарта Милл. Переводъ съ англійскаго, подъ редакціею Г. Е. Благосвѣтлова. Цѣна 1 руб. 20 к.; съ перес. 2 р. 50 к.

Внѣ общественныхъ интересовъ. Романъ П. Лятева, изданный безъ предварительной цензуры. Цѣна 1 р. 50 к.; съ перес. 2 р.

Американка. Романъ Луизы Алькотъ. Перев. съ англ. Цѣна 1 р. 20 к. съ пересылкой 1 р. 50 к.

Русскія историческія женщины. (Женщины до-петровской Руси. Д. Л. Мордовцева. Цѣна 2 р. 75 коп.; съ перес. 3 р. 25 к.

Усовершенствованіе и вырожденіе человѣческаго рода. В. М. Флоринскаго. Цѣна 50 к.; съ перес. 70 к.

Сочиненія Ф. М. Толстаго. (Повѣсти и рассказы). Съ предисловіемъ Д. И. Писарева. Два тома. Цѣна. 1 р. 50 к.; съ перес. 1 р. 80 к.

20 Мертвая петля. Драма въ пяти дѣйствіяхъ. Н. Потъхина. Цѣна 1 р. к.; съ перес. 1 р. 50 к.

Записки военнаго. Белетристическіе очерки, рассказы и картины изъ военнаго быта. Д. Гирса. Цѣна 1 р. 60 к.; съ перес. 1 р. 80 к.

Отъ земли до луны 97 часовъ прямого пути. Ж. Верна. Переводъ съ французскаго. Цѣна. 50 к.; съ перес. 70 к.

Вриллиантовое ожерелье. Романъ Антони Троллопа. Перв. съ англ. Цѣна 1 р. 20 к.; съ перес. 1 р. 20 к.

На всѣ вышеозначенныя изданія подписчикамъ журнала „ДѢЛО“ уступается 20% съ номинальныхъ цѣнъ (стоимость книги безъ пересылки).

ДѢЛО

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ.

ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

№ 1.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФИЯ Г. Е. БЛАГОСВѢТЛОВА, ПО НАДЕЖДИНСКОЙ УЛИЦѢ, ДОМЪ № 39
1880.

1.

1-3100 2 36. 1 (14, 1/0. 1)

✓



65 + 2,

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 29 января 1880 года.

ДВА БРАТА.

РОМАНЪ ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЛАВА I.

I.

Въ двадцати пяти верстахъ отъ одного изъ уѣздныхъ городовъ Смоленской губерніи, въ полуверстѣ отъ глухого проселка, въ началѣ семидесятыхъ годовъ стояла, — вѣроятно, стоитъ и теперь, — скромная помѣщичья усадьба съ тѣнистымъ старымъ садомъ, спускающимся вплоть къ маленькой рѣчкѣ Вити, на противоположномъ берегу которой ютится небольшая деревня.

Витино — такъ называлась эта усадьба — принадлежало землевладѣльцу Ивану Андреевичу Вязникову.

Это имя хорошо было извѣстно не только во всемъ округѣ, но и въ губерніи. Трудно было встрѣтить человѣка, который бы не отозвался объ Иванѣ Андреевичѣ Вязниковѣ, какъ о благородномъ, образованномъ и честномъ старикѣ, пострадавшемъ въ молодости за увлеченія... Къ этимъ лестнымъ отзывамъ многіе, впрочемъ, прибавляли съ сожалѣніемъ, что у Вязникова все еще безпокойный характеръ и что онъ нѣсколько чудакъ-идеалистъ. Были и такіе люди, особенно между губернской бюрократіей, которые говорили о Вязниковѣ, пожимая плечами и таинственно покачивая головой. По ихъ мнѣнію, Иванъ Андреевичъ былъ „старый нигилистъ“ и „какъ будто еще не уходился“. Еслибы не эти

недостатки, то Вязниковъ былъ бы во всѣхъ статьяхъ превосходнѣйшій человѣкъ.

Несмотря, однако, на эти оговорки въ лестнымъ отзывамъ о Вязниковѣ, разнорѣчія насчетъ его личныхъ качествъ и достоинствъ не было. Всѣ единодушно признавали неподкупную честность и рыцарское благородство старика. По словамъ его поклонниковъ, Вязникова можно было не любить, но не уважать его было нельзя.

Поселился Иванъ Андреевичъ въ этихъ мѣстахъ, по словамъ старожиловъ, въ 1860 году, вскорѣ послѣ того, какъ онъ вернулся изъ дальняго мѣста, гдѣ проживалъ съ 1848 года... Онъ съ восторгомъ привѣтствовалъ зарю новой жизни, былъ однимъ изъ первыхъ энергичныхъ мировыхъ посредниковъ, надѣлилъ своихъ крестьянъ хорошими надѣлами безъ всякаго выкупа и съ той поры безвыѣдно живетъ вотъ уже тринадцать лѣтъ въ родовомъ своемъ помѣстьѣ, въ маленькомъ одноэтажномъ домикѣ, выстроенномъ имъ на мѣсто развалившейся барской хоромины, въ которой когда-то неистовствовалъ его отецъ, одинъ изъ богатѣйшихъ и отчаянныхъ помѣщиковъ Смоленской губерніи.

Между крестьянами Вязниковъ пользовался громаднымъ довѣріемъ. Слово его было свято. О немъ рассказывали, какъ о заступникѣ и предстателѣ во всѣхъ серьезныхъ обстоятельствахъ, готовомъ при случаѣ помочь и въ нуждѣ, хотя онъ самъ и не имѣлъ большихъ достатковъ. Окрестные крестьяне уважали Ивана Андреевича и витинскаго барина звали въ округѣ не иначе, какъ „праведнымъ бариномъ“. Такъ подъ именемъ „праведнаго барина“ онъ и слылъ.

Таковы были отзывы о витинскомъ старомъ баринѣ, съ которыми читатель сейчасъ познакомится поближе.

Знойный іюльскій день 1873 года угасалъ. Багряный дискъ солнца медленно скрывался за горизонтомъ. Въ воздухѣ потянуло прохладой занимавшагося вечера и ароматомъ скошенной травы.

Въ это время на крыльцѣ передъ лужайкой, по которой только что прошла коса, сидѣлъ Иванъ Андреевичъ, покуривая сигару и внимательно поглядывая на дорогу.

Это былъ высочій, статный, широкоплечій старикъ, съ длинными, спускавшимися на плечи сѣдыми волосами и большой, широкой, окладистой, совсѣмъ бѣлой бородой, доходившей почти до пояса.

Въ лицѣ, фигурѣ и осанкѣ Ивана Андреевича было что-то величавое, красивое, напоминающее древнихъ патриарховъ. Огертное, нѣсколько задумчивое и усѣянное морщинами лицо, большой высокій лобъ, зоркій взглядъ черныхъ блестящихъ глазъ и пріятная улыбка, скользившая на губахъ, невольно заставляли остановиться въ благоговѣйномъ почтеніи передъ этимъ старикомъ. На чертахъ его лица, когда то красиваго, лежала печать благородства, пережитыхъ страданій, мысли и все еще бодрого, протестующаго духа. Онъ на видъ казался старикомъ, хотя ему было всего 52 года. Жизнь состарила прежде времени его тѣло, но глаза, свѣтлые, блестяшіе мыслью глаза, говорили о живучести его нравственнаго существа. Невольно при встрѣчѣ съ такими стариками, богатыми прошлымъ и вѣрающими въ будущее, проникаешься уваженіемъ.

Есть на свѣтѣ люди, передъ яснымъ взглядомъ которыхъ словно вы чувствуете себя виноватымъ, слабымъ духомъ и ничтожнымъ. Есть люди, передъ которыми даже наглое безстыдство невольно опускаетъ глаза, какъ-бы чувствуя робость. Это тѣ посѣдѣвшіе рыцари духа, тѣ могучіе, хотя и надтреснутые дубы челоуѣчества, которыхъ природа бросаетъ въ міръ какъ-будто бы для того, чтобы челоуѣкъ не извѣрился въ челоуѣка.

Такихъ стариковъ напоминалъ и старикъ, сидѣвшій на крыльцѣ и пристально всматривавшійся на дорогу.

— Пора идти, Иванъ Андреевичъ! раздался изъ комнаты пріятный и мягкій, нѣсколько взволнованный женскій голосъ.

И вслѣдъ за тѣмъ на крыльцо торопливо вошла пожилая, средняго роста женщина, загорѣлая блондинка, крѣпкаго, здороваго сложенія, съ пріятными и мягкими чертами лица, сохранившаго еще слѣды прежней красоты. Но главнымъ украшеніемъ этого лица были глаза — большіе, свѣтлые, сѣрые глаза, свѣтившіеся кроткимъ выраженіемъ. Подъ мягкими лучами взгляда этихъ кроткихъ глазъ точно становилось теплѣе на душѣ, — такъ много было въ нихъ нѣжной любви и какого-то симпатичнаго добродушія. Достаточно было взглянуть въ эти глаза, чтобы сразу отгадать кроткое, привязчивое, довѣрчивое созданіе — одну изъ тѣхъ женскихъ натуръ, для которыхъ главный смыслъ жизни заключается въ привязанности и самоотверженіи, а счастье — въ счастіи любимыхъ людей.

Марья Степановна — такъ звали жену Вязникова — дер-

жала въ рукахъ шляпу и палку мужа и, подавая ихъ, снова повторила:

— Пора, пора, Иванъ Андреевичъ! Коля скоро долженъ быть.

Счастливая улыбка сіяла на лицѣ матери. Необыкновенной нѣжностью звучало въ ея устахъ имя сына.

— Идемъ!.. Приѣдетъ-ли только Коля сегодня? обронилъ Иванъ Андреевичъ, подымаясь съ лавки.

— Сегодня приѣдетъ, непременно приѣдетъ. Увидишь!.. Вчера не приѣхалъ—вѣрно, въ Москвѣ что-нибудь задержало.

Мужъ и жена вышли за ограду, отдѣлявшую усадьбу отъ поля, и повернули по узкой черной полосѣ проселка, пролежавшаго между зеленою хлѣбовъ, встрѣчать старшаго сына, котораго третій день какъ ждали изъ Петербурга.

Они шли подъ руку скорыми шагами, пристально всматриваясь въ даль дороги. Оба молчали. Каждый изъ нихъ думалъ о сынѣ.

— А Вася гдѣ? спохватился Иванъ Андреевичъ, останавливаясь.

— Вася съ утра куда-то ушелъ.

— И, по своему обыкновенію, не сказалъ—куда? усмѣхнулся отецъ.

— Ты вѣдь знаешь, онъ не любитъ, когда его спрашиваютъ. Вѣрно, въ Лаврентьеву въ Починки. Они пріятели. А то у кого-нибудь изъ мужиковъ въ деревнѣ.

— Развѣ онъ не знаетъ, что Коля обѣщалъ быть вечеромъ?

— Знаетъ. Онъ сказалъ, что придетъ встрѣтить.

— Сказалъ?

— Да.

— Ну, если сказалъ, такъ придетъ! увѣренно замѣтилъ Иванъ Андреевичъ.

И Вязниковы пошли далѣе.

— Станный мальчикъ! какъ бы въ раздумья проговорилъ Вязниковъ.

— Это ты про Васю?

— А то про кого же? Коля человекъ, какъ человекъ.

— А что-же въ Васѣ-то страннаго? Душа-то какая добрая, а если немного дикъ—что-жъ тутъ особеннаго?

— Ты напрасно заступаешься! улыбнулся Иванъ Андреевичъ.— Малей-то онъ добрый и честный, я знаю не хуже тебя, но это

не мѣшаетъ ему быть страннымъ. Совсѣмъ онъ у насъ за годъ омужичился и одичалъ. Робинзономъ какимъ-то сталъ. Знаешь, за какии дѣломъ я его вчера на лугу утромъ засталъ? За косьбой! Коса его не слушается, а онъ-то старается, онъ-то старается. Потъ градомъ катится съ его лица, видно усталъ. Здоровья у него не то, что у Коля. Увидалъ Вася меня, вспыхнулъ весь и оправдывается: „я, говорить, еще учусь. Увидишь, какъ черезъ недѣлю косить буду.“ Чудаки! Ему въ академію надо готовиться, а онъ точно собирается въ мужики!

— Онъ это такъ, быть можетъ, для моціона! заступилась Марья Степановна.

— Ты думаешь, для моціона? съ едва замѣтной усмѣшкой проронилъ Иванъ Андреевичъ.

Онъ замолчалъ и пристально вглядывался на дорогу. Начало смеркаться. Вязниковъ взглянулъ на часы и побачалъ головой.

— Пора-бы Колѣ прѣхать. Поѣздъ ужъ часъ тому назадъ пришелъ. Отъ станціи всего десять верстъ.

Въ это время изъ за перелѣска, тянувшагося вдоль дороги, вышелъ длинный, неуклюжій, худощавый юноша, въ блузѣ, высокихъ сапогахъ и маленькомъ картузѣ на большой кудрявой головѣ. Онъ запыхался отъ скорой ходьбы и обтиралъ потъ съ блѣднаго, болѣзненнаго, задумчиваго лица.

— Откуда ты, Вася, усталый такой? спросилъ Иванъ Андреевичъ.

— Слѣшили не опоздать. Отъ Лаврентьева, папа. Въ лѣсъ ходили. Пилка тамъ...

— Ужъ не пилилъ-ли и ты?

— Пилил! отвѣтилъ, краснѣя, юноша.

— Вредно тебѣ, Вася, встала мать. — Опять грудь заболитъ!

— Не заболитъ, мама, не бойтесь. А Коля, видно, не прѣхалъ? прибавилъ онъ.

— Не опоздалъ-ли поѣздъ?

— Сбѣгать узнать, мама? вызвался юноша.

— Это десять-то верстъ сбѣгать? усмѣхнулся отецъ.

— Велика важность—десять верстъ! Мужики не по десяти верстъ отхватываютъ. Сходить?

— Не надо! рѣзко замѣтилъ Иванъ Андреевичъ.

Нѣсколько времени они шли по дорогѣ. Марья Степановна тревожно взглядывала то на мужа, то впередъ, — не покажется ли на дорогѣ экипажъ.

— И что это у тебя, мой милый, все на языке мужики да мужики, заговорилъ Иванъ Андреевичъ. — Мало-ли что можеть мужикъ и чего ты не можешь. Мужики — народъ привычный, а ты... ты вѣдь, кажется, не мужикъ и готовишься не пахать землю, а быть образованнымъ человѣкомъ, благодаря счастливой случайности. Такъ надо ею пользоваться. Пойдемте-ка домой, Коля не будетъ! оборвалъ Иванъ Андреевичъ.

Всѣ трое молча пошли къ усадьбѣ. Вася шелъ сзади.

— Верховой ѣдетъ! крикнулъ онъ и побѣжалъ къ нему навстрѣчу.

Отецъ и мать остановились.

— Не Коля-ли? радостно воскликнула Марья Степановна.

— Какой Коля? Къ чему ему ѣхать верхомъ? недовольнымъ тономъ возразилъ Иванъ Андреевичъ, пристально, однако, всматриваясь въ полусвѣтъ сумерокъ.

Черезъ нѣсколько минутъ Вася возвратился одинъ и подалъ отцу телеграму.

— Ужъ не случилось-ли чего? испуганно прошептала Марья Степановна, питавшая вообще страхъ къ телеграмамъ.

— Успокойся, ничего не случилось. Чему случиться! Вѣрно назначаетъ новый день приѣзда. Сейчасъ придемъ домой, узнаемъ...

Старики прибавали шагъ.

— А гдѣ-же ящикъ, Вася?

— Уѣхалъ. Я росписался въ книгѣ.

— Какъ же это ты такъ оплошалъ! Человѣкъ усталъ съ дороги, а ты не догадался позвать его выпить рюмку водки?

— Захочетъ — самъ въ кабакъ выпьетъ. Кабаковъ здѣсь, слава Богу, много!

Отецъ промолчалъ на это замѣчаніе и только искоса взглянулъ на сына.

Когда вернулись домой, Иванъ Андреевичъ прочелъ вслухъ слѣдующую телеграму изъ Москвы отъ сына:

„Простите. Сегодня не могу быть. Непремѣнно завтра. Задержали дѣла“.

— Вотъ видишь-ли. Ничего особеннаго не случилось! прого-

ворилъ Иванъ Андреевичъ, обращаясь къ женѣ. — Какія-то дѣла задержали! Вѣрно, важныя! усмѣхнулся иронически отецъ.

Онъ оставилъ телеграмму на столѣ въ гостиной и пошелъ въ кабинетъ.

— Чаю мнѣ въ кабинетъ пожалуйста пришли! замѣтилъ Вязниковъ въ дверяхъ.

Марья Степановна, грустная, тихо пошла въ столовую, гдѣ уже накрытъ былъ столъ и стояли разныя печенія и закуски, приготовленные для ожидаемаго гостя. Она видѣла, что мужъ огорченъ, и сама была огорчена. Но она не сердилась на сына. Онъ не виноватъ. Быть можетъ, и въ самомъ дѣлѣ его задержало что-нибудь важное. Точно у него не можетъ быть дѣлъ!

— А ты куда, Вася? Развѣ чаю не будешь пить? Сейчасъ подадутъ самоваръ! обратилась Марья Степановна къ сыну, замѣтивъ, что онъ собирается уходить.

— Я сію минуту вернусь, мама. Только въ деревню сбѣгаю.

— Загорѣлось, что-ли? Какія дѣла это у тебя тамъ, въ деревнѣ?

— Обѣщаль Василью ружье принести. Завтра на охоту идетъ! Съ этими словами юноша пошелъ было изъ комнаты, потомъ вернулся, обнялъ мать и вышелъ вонъ.

II.

На другой день, когда, по обыкновенію, Иванъ Андреевичъ, въ восемь часовъ утра, вышелъ къ чаю, Марья Степановна, ожидавшая уже мужа за самоваромъ, замѣтила, что лицо Ивана Андреевича утомлено и какъ-будто осунулось. Съ тревожной пытливостью взглядывала она на мужа и, наконецъ, спросила:

— Здоровъ ты?

— Здоровъ. Развѣ я кажусь больнымъ?

— Лицо у тебя сегодня нехорошее. Хорошо-ли ты спалъ?

— По обыкновенію... хорошо. Отчего мнѣ не спать!

Старикъ говорилъ неправду.

Эту ночь ему плохо спалось. Различныя думы гнали соплъ прочь и онъ только подъ утро заснулъ короткимъ, тревожнымъ сномъ.

Его больно кольнула; кольнула въ самое сердце, не деликатность

сына. Отецъ такъ нетерпѣливо ждалъ его, ему хотѣлось прижать къ сердцу своего любимца, своего милаго, умнаго, талантливаго мальчика, на которомъ лепѣлось столько отцовскихъ надеждъ, а Коля два раза назначалъ дни прїѣзда и два раза не сдержалъ обѣщанія.

Это было больно. Кажется, онъ не заслужилъ такого... онъ прибиралъ слово... — такого невниманія! Какія могли быть у Коли важныя дѣла? Развѣ онъ не знаетъ, какъ горячо его любятъ, какъ нетерпѣливо ждутъ его послѣ двухъ-дѣтней разлуки? Развѣ его чуткая натура не понимаетъ, какъ хочется отцу поскорѣй взглянуть на молодого человѣка, познакомиться съ нимъ поближе теперь, когда онъ готовъ вступить въ жизнь, узнать, какъ онъ думаетъ, во что вѣрить, что любить, что ненавидитъ? И развѣ Коли самому не хочется скорѣй повидаться съ отцомъ, не только съ отцомъ, но и съ другимъ, скорѣй подѣлиться мыслями, надеждами? Развѣ письма могутъ замѣнить живую бесѣду?

Въ его года такъ быстро мѣняются вѣянія, особенно у такой впечатлительной натуры, какъ Коля. Что сдѣлали съ нимъ послѣдніе два года?

Ну, разумѣется, онъ остался такимъ-же хорошимъ, подсказывало родительское сердце. Еще недавно старикъ читалъ первую статью Коли, горячую статью, обратившую даже на себя вниманіе, и старикъ былъ обрадованъ. Въ этихъ благородныхъ стремленіяхъ молодости онъ точно узнавалъ себя, съ гордостью отца и учителя любовался первымъ трудомъ сына и ученика. Онъ вспомнилъ теперь объ этой статьѣ. Старикъ хотѣлъ поспорить по поводу нѣкоторыхъ мыслей, высказанныхъ въ ней его сыномъ.

„Но за что-жь такая небрежность? Два раза эти телеграммы? Къ чему было писать ихъ?“ повторялъ старикъ, обиженный своимъ любимцемъ скорѣе, какъ другъ, чѣмъ какъ отецъ.

Мысли сосредоточивались на сынѣ. Прошлое невольно врывалось въ голову эпизодическими отрывками, въ которыхъ Коля являлся яснымъ воспоминаніемъ въ годину тяжелой жизни. Ребенокъ скрасилъ долгіе, однообразные, сѣрые будни въ далекомъ, пустынномъ захолустьѣ. Дѣтскій лепетъ заставлялъ забывать на время тоску отчужденности. Впереди предстала перспектива заботы, какой-нибудь исходъ дѣятельной натуры, обреченной на томительное бездѣйствіе. Отецъ былъ первымъ учителемъ ребенка.

Онъ вложилъ душу въ это дѣло и шагъ за шагомъ слѣдилъ за развитіемъ мальчика. Подъ его любовнымъ, внимательнымъ взоромъ выросталъ ребенокъ на радость отца, желавшаго воспитать въ первенцѣ человѣка и гражданина для тѣхъ свѣтлыхъ дней, когда взойдетъ, наконецъ, заря надъ родиной и лучшее будущее выпадетъ на долю его поколѣнія, когда его Колъ не придется, подобно отцу, зарывать свой талантъ въ землю, а употребить его въ дѣло, отдать его вполне на служеніе своему народу. Вѣра въ эти лучшіе дни придавала энергію отцу и онъ въ сынѣ какъ будто олицетворялъ свои несбывшіяся юношескія надежды...

Сынъ радовалъ отца. Мальчикъ былъ способный, талантливый, отзывчивый, мягкая, впечатлительная, богато одаренная, самолюбивая и пылкая натура. Они обожали другъ друга и съ лѣтами это обожаніе перешло въ тѣсную дружбу. Мать ревновала сына къ отцу, отецъ къ матери.

Когда родился второй сынъ, старшему уже было восемь лѣтъ. Мать оберегала другого сына отъ исключительнаго вниманія отца, точно боялась, что отецъ овладѣетъ совсѣмъ и другимъ сыномъ, также какъ и первымъ. Но онъ еще былъ малъ, и къ тому-же въ скоромъ времени послѣ его рожденія судьба Вязниковыхъ измѣнилась къ лучшему. Они, наконецъ, оставили подневольное захолустье...

Съ переѣздомъ въ „Витино“ отецъ поступилъ въ мировые посредники. Онъ былъ очень занятъ, вѣчно въ разѣздахъ, вѣчно дѣятельный, онъ точно хотѣлъ наверстать потерянное время бездѣйствія, но все-таки онъ не прекращалъ занятій съ старшимъ сыномъ. Вася былъ ближе къ матери. Она первая давала ему уроки, а потомъ ему взяли учителя.

Отецъ сильно любилъ обоихъ сыновей. Хотя онъ и не признавался въ этомъ, но сердце его какъ-то ближе лежало къ старшему сыну. Съ Колей его связывали воспоминанія, связывали надежды наставника. Да и Коля казался отцу натурой богаче одаренной, чѣмъ Вася, болѣе откровенной, симпатичной, изящной и тонкой.

Вася росъ молчаливымъ, непривѣтливымъ, сосредоточеннымъ дичкомъ, рѣдко ласкавшимся, рѣдко выражавшимъ чувства съ той поспѣшностью, съ которой выражалъ старшій сынъ. Съ дѣтства онъ не блисталъ способностями. Все ему давалось какъ-то

трудно, съ сильнымъ напряженіемъ ума и воли. Вообще мальчикъ не выдавался.

Онъ казался отцу простоватымъ, недалекимъ и даже черствымъ ребенкомъ. Но мать знала, сколько доброты, сколько сильного и глубокаго чувства, сколько ума таилось въ этомъ сдержанномъ, странномъ ребенкѣ. Позже узналъ это и отецъ. Онъ былъ растроганъ, упрекалъ себя въ несправедливости, въ невниманіи къ Васѣ, пробовалъ ближе подойти къ ребенку, нерѣдко по-долгу задумывавшемуся, сосредоточенному; но все-таки между отцомъ и сыномъ не установилось близости, какая была съ Колей. Младшій сынъ не то что боялся отца, а какъ-будто стыдился рассказывать, что занимало его дѣтское воображеніе, надъ чѣмъ онъ задумывался. Коля, бывало, все сейчасъ расскажетъ, а Вася — нѣтъ, промолчитъ. Отецъ его любилъ, но не такъ хорошо зналъ его, какъ Колю. И теперь, вспоминая отца, въ характерѣ младшаго сына были странности, приводившія отца въ недоумѣніе. Онъ какъ-то уединялся, по-временамъ задумывался, бывалъ разсѣянъ, несообщителенъ. Вообще между братьями была огромная разница еще въ дѣтствѣ, а съ годами она обозначалась рѣзче. Коля блестящимъ образомъ кончилъ гимназію и теперь кончилъ университетъ, онъ всемъ правился своимъ открытымъ, веселымъ нравомъ. Вася занимался хорошо, но далеко не съ такимъ успѣхомъ, за то отлично зналъ математику, къ которой имѣлъ пристрастіе. Товарищи, какъ рассказывалъ Вася отцу, звали его „нелюдимомъ“ и „богомоломъ“, но у него были друзья, хотя и не все его любили. Въ университетъ онъ не пожелалъ, а почему-то захотѣлось ему быть морякомъ. Его отдали въ морское училище, но онъ тамъ не кончилъ. Вышла исторія, о которой будетъ подробно рассказано въ свое время, и Вася пріѣхалъ въ деревню. Отецъ, послѣ этой исторіи, еще болѣе привязался къ сыну и предложилъ ему выбрать другую карьеру. Онъ сталъ готовиться въ медицинскую академію, но все откладывалъ поступать, болѣе читалъ разныя книги, чѣмъ учебники, и въ послѣднее время съ какимъ то увлеченіемъ занимался физической работой, бродилъ по лѣсу, возился съ мужиками... Вообще въ это время въ немъ, по наблюденіямъ отца, происходилъ какой-то переломъ. Отецъ не имѣшалъ сыну и не совсѣмъ хорошо понималъ, что такое дѣлается съ юношей. Чувалось ему вѣяніе чего-то новаго, непонятнаго, несимпатичнаго старику.

Коля ближе подходилъ къ отцу, а Вася представлялъ для него какую то загадку. Отецъ объяснялъ, впрочемъ, странныя наклонности сына отчасти знакомствомъ съ Лаврентьевымъ, а отчасти нѣкоторымъ мистицизмомъ, нечуждымъ характеру юноши. У него была полоса необычайной религіозности. Два года тому назадъ, пятнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, Вася писалъ отцу письмо, которое тогда поразило Ивана Андреевича... „Современемъ все это пройдетъ, думалъ отецъ. — Коля повліяетъ на брата“.

— Оба они все-таки славные ребята! проговорилъ вслухъ Иванъ Андреевичъ, засыпая подъ утро.

Онъ допилъ свой второй стаканъ, обмѣниваясь короткими фразами съ женой. О Колѣ отецъ не упомянулъ ни слова и Марья Степановна обратила на это вниманіе. Она тоже не начинала разговора и только вскользь упомянула, что нужно сегодня послать на станцію, такъ она все равно сама поѣдетъ.

— А меня не возьмешь? засмѣялся Иванъ Андреевичъ, появившій, въ чемъ дѣло.

Марья Степановна въ отвѣтъ тихо улыбнулась. Она видѣла, что Иванъ Андреевичъ не сердился больше на сына; и тревожный взглядъ ея смѣнился обычнымъ кроткимъ и радостнымъ. Тотчасъ-же она заговорила о томъ, какой обѣдъ она заказала на случай, если Коля пріѣдетъ со вторымъ поѣздомъ, а не съ вечернимъ, и что сегодня будетъ готовъ для Коли письменный столъ, который она отдала починить, и будутъ повѣшены новыя занавѣски.

— Ему нуженъ большой столъ. Быть можетъ, онъ здѣсь что-нибудь новенькое напишетъ!

Иванъ Андреевичъ улыбался. Ему весело было слушать эту заботливую болтовню матери.

Въ столовую вошелъ Вася. Сперва онъ подошелъ къ матери и, по привычѣ, оставшейся еще съ дѣтства, обвилъ рукой ея шею и поцѣловалъ ее въ губы, а мать въ это время незамѣтнымъ крестомъ перекрестила его лобъ. Потомъ онъ подошелъ къ отцу и протянулъ было руку, но отецъ притянулъ его къ себѣ и какъ-то особенно нѣжно поцѣловалъ сына, какъ бы безмолвно извиняясь за вчерашнія слова.

Вася не ожидалъ этой необычной ласки. Онъ нервно вздрогнулъ и сконфузился. Мать уже наливала ему чай, взглядывая на мужа и сына. „Удивительно, какъ Вася похожъ на отца!“ подумала она. Иванъ Андреевичъ между тѣмъ спрашивалъ:

— Ты, конечно, давно всталъ?

— Въ шесть часовъ. Я ужъ и раковъ для тебя наловилъ. Въ кухню снесъ.

— Спасибо, голубчикъ. А косилъ?

— Косилъ.

— Ну, какъ косьба твоя,—подвигается?

— Подвигается.

— Ахъ, ты, Микула Селяниновичъ! добродушно засмѣялся старикъ и потрепалъ сына по плечу. — Худъ только тѣломъ ты. Духу-то въ тебѣ много, а тѣла мало. Надо тѣла припасти.

— Въ деревнѣ поправится. Петербургъ ему вреденъ. Помнишь, какимъ онъ изъ Петербурга тогда пріѣхалъ: совсѣмъ чахленькій.

— А все учиться надо! серьезно проговорилъ Иванъ Андреевичъ, поднимаясь съ мѣста.

Вдругъ невдалекѣ звякнулъ колокольчикъ. Всѣ поднялись съ мѣсть и бросились въ растворенному окну. Но изъ окна, выходящаго въ садъ, не видно было дороги. Всѣ какъ-будто позабыли объ этомъ.

Колокольчикъ заливался совсѣмъ близко. Въ окно ясно доносились веселыя вскрикиванія ямщика.

— Коля, Коля вѣрно! въ одинъ голосъ воскликнули отецъ и мать, выбѣгая изъ столовой на крыльцо.

Во дворъ вѣзжала почтовая телѣга.

— Коля! радостнымъ, взвизгивающимъ голосомъ крикнула Марья Степановна, бросаясь навстрѣчу.

Иванъ Андреевичъ побѣжалъ за ней.

Телѣга остановилась среди двора. Изъ нея быстро выскочилъ молодой человекъ и сталъ обнимать мать, отца и брата. Онъ переходилъ изъ рукъ въ руки, улыбающійся, счастливый, взволнованный радостью свиданія. Марья Степановна улыбалась, а слезы текли по ея лицу. Иванъ Андреевичъ нѣсколько разъ прижималъ въ груди сына, отпускалъ его, взглядывалъ на него и снова обнималъ своего любимца.

— Коля, наконецъ-то ты пріѣхалъ! шепталь старикъ.

Старуха-няня торопливо шла изъ дому.

— Голубчикъ мой! воскликнула она.—Дождалась и я тебя!

— Няня, здравствуй!

Молодой человѣкъ горячо разцѣловаль старушку.

Всѣ шумно пошли въ дождь, обмѣниваясь съ пріѣзжимъ отрывочными фразами и восклицаніями. Гостю задавали вопросы и, не дождавшись отвѣтовъ, снова предлагали новыя.

— Чего хочешь, чаю или кофе? спрашивала Марья Степановна.—Онъ нисколько не измѣнился, не правда-ли, Иванъ Андреевичъ? Такой-же, какъ былъ уже года два тому назадъ. Комната твоя приготовлена. Досадно, столъ не принесли!

— Нѣтъ, измѣнился. Какъ не измѣнился! Выросъ, возмужаль. Съ какимъ поѣздомъ ты пріѣхалъ? А борода-то какая стала!

Сынъ едва успѣваль отвѣчать.

— Закусить не хочешь-ли? Усталъ съ дороги? Вещи-то твои надо снести. Сейчасъ скажу Авдотѣ. Няня! скажи, милая.

Вошли въ домъ.

Молодой человѣкъ весело озирался.

— Все по-старому! произнесъ онъ.

— Все по-старому! отвѣчалъ Иванъ Андреевичъ.

Николай заглянулъ въ кабинетъ, зашелъ въ спальную, мелькомъ взглянулъ на свою комнату, заботливо убранныую рукою матери, разцѣловаль снова мать, забѣжалъ въ комнатку къ нянѣ. Все ему было знакомое, родное, все говорило о прелести стараго гнѣзда.

— А Васину комнатку я забылъ посмотреть!

— Послѣ все осмотришь. Пойдемъ-ка чай пить. Вѣрно съ утра ничего не ѣлъ?

Всѣ вернулись въ столовую. Отецъ усадилъ сына рядомъ.

Тѣмъ временемъ Вася позаботился о вещахъ и помогаль ящичку таскать вещи. Горничная Авдотья хотѣла было помочь, но юноша сказалъ, что и безъ нея справятся.

Когда всѣ вещи были перенесены, онъ пришелъ въ столовую и сказалъ:

— Ящичекъ, Коля, дожидается!

— Ахъ, я и забылъ. Надо ему дать на чай.

Онъ хотѣлъ было встать, но братъ замѣтилъ:

— Сиди, я свесу!

— Да скажи, Вася, чтобы ящичка чаемъ напоили, проговорилъ отецъ.

— Ладно.

— А Вася въ деревнѣ поправился. Славный онъ!

— Оба вы у насъ славные! нѣжно отвѣтила Марья Степановна. — Что, сладко? спрашивала она, когда сынъ принялся за чай. — Можетъ быть, еще сахару? Не скушаешь-ли чегонибудь?

— Ничего, мама-голубчикъ, не хочется. Я такъ радъ, такъ радъ васъ видѣть.

— Ну, хлѣба съ масломъ скушай. Хлѣбъ домашній. У васъ, въ Петербургѣ, такого нѣтъ. Попробуй, родной мой.

Отецъ и мать не спускали глазъ съ сына, съ родительской гордостью любясь молодымъ человѣкомъ.

А онъ сидѣлъ между ними свѣжій, красивый, радостный, чувствуя приливъ нѣжнаго чувства и горячей благодарности. Въ избыткѣ счастья, онъ первое время не находилъ словъ и только весело улыбался подъ взглядами, полными горячей и безпредѣльной любви.

ГЛАВА II.

I.

Дѣйствительно, не одно только родительское пристрастіе могло любоваться, глядя на Николая.

Николай Вязниковъ былъ очень красивый молодой человѣкъ съ однимъ изъ тѣхъ симпатичныхъ, привлекательныхъ лицъ, которыя обыкновенно всѣмъ сразу нравятся. Съ людьми, особенно съ молодыми, обладающими такими счастливыми фізіономіями, быстро знакомятся и сходятся безъ труда. Имъ даже охотно прощаютъ то, чего не прощаютъ людямъ, которыхъ природа не надѣлила такой наружностью. Что-то притягивающее, располагающее было въ тонкихъ, нѣжныхъ и мягкихъ чертахъ молодого румянаго лица, опущеннаго круглой, шелковистой вьющейся бородкой, такой же черной, какъ и волосы, зачесанные назадъ и открывающіе красивый бѣлый лобъ, — въ ушномъ, улыбающемся взглядѣ небольшихъ карихъ глазъ, въ полуулыбкѣ, бродившей на яркихъ губахъ, въ

манерѣ держать себя, въ стройной, гибкой фигурѣ и мягкихъ, изящныхъ движеніяхъ.

Чуть-чуть вздернутый къверху носъ съ надѣтымъ пенсне, слегка приподнятая губа и нѣкоторая самоувѣренность въ манерахъ и тонѣ пріятнаго, мягкаго голоса придавали молодому человѣку нѣсколько фатоватый видъ. Но эта самоувѣренность, искренняя, отзывавшаяся чѣмъ-то беззаботнымъ, не имѣла въ себѣ ничего самодовольнаго и даже шла къ симпатичной физиономіи. Сразу было видно, что передъ вами одинъ изъ баловней судьбы, еще неиспытавшій серьезныхъ неудачъ, горя и лишеній, котораго жизнь еще гладила по головкѣ. Лицомъ онъ очень походилъ на мать. Тѣ-же нѣжныя черты, тотъ-же складъ лица, та же неопредѣленность и расплывчатость линий. Но выраженіе лица было другое. Въ немъ не было кротости, свѣтившейся въ ясномъ взглядѣ матери.

Одѣтъ молодой человѣкъ былъ въ сѣрый лѣтній костюмъ, спитый, какъ было видно, у хорошаго портнаго. Вообще по всему было замѣтно, что молодой человѣкъ не пренебрегалъ своимъ туалетомъ и наружностью.

При сравненіи двухъ братьевъ, сидѣвшихъ рядомъ, — Вася съ задумчивымъ недоумѣніемъ разглядывалъ Колю, точно разглядывалъ нѣчто для него не вполне понятное; — первое впечатлѣніе невольно было въ пользу Николая.

Рядомъ съ красивымъ молодымъ человѣкомъ, лицо котораго дышало искренностью и, казалось, не умѣло скрывать ощущеній, — блѣдное, худощавое, задумчивое юношеское лицо съ болѣзненнымъ, даже нѣсколько страдальческимъ выраженіемъ, — такія лица напоминаютъ религіозныхъ мучениковъ, — неуклюжая, долговизая фигура, застѣнчивыя манеры, грубовато-добродушный тонъ рѣчи... все это особенно рельефно выдѣлялось при сравненіи.

При первой встрѣчѣ съ двумя братьями каждый сказалъ-бы про старшаго: „какой симпатичный!“, а про младшаго, наоборотъ, сказалъ бы: „какой несимпатичный!“

Отецъ и мать не могли нарадоваться и съ восторженной гордостью глядѣли на Николая. Подъ вліяніемъ радостныхъ ощущеній и онъ умилелся, какъ-то размякъ, но видно было, что это восторженное вниманіе онъ принималъ какъ нѣчто привычное, обык-

новенное, какъ капризные баловни - дѣти, сознающія свою силу надъ любящими родителями.

Когда прошло первое впечатлѣніе встрѣчи, отрывочные вопросы, отвѣты и полуслова, которыми обмѣнивались первое время, смѣнились разговоромъ.

Молодой человѣкъ рассказывалъ, почему онъ опоздалъ и заставилъ отца и мать два раза напрасно ожидать себя.

— Вы простите меня, говорилъ онъ своимъ мягкимъ, нѣсколько пѣвучимъ голосомъ, въ тонѣ котораго звучала увѣренность, что его непременно простятъ, — вы простите меня. Въ Москвѣ случилась неожиданная встрѣча. Ты помнишь, папа, я говорилъ тебѣ объ одномъ изъ старыхъ друзей моихъ, Бѣжецкомъ, который принужденъ былъ оставить на третьемъ курсѣ университетъ?..

— Какъ же, помню... По твоимъ словамъ, этотъ Бѣжецкій славный малый и горячая голова.

— Съ нимъ-то я и встрѣтился въ Москвѣ послѣ трехъ лѣтъ разлуки... Онъ только-что пріѣхалъ въ Москву къ своимъ... Ну, разумеется, интересно было встрѣтиться... Я и опоздалъ... Ты не сердись, папа? Мама, вѣрно, не сердится.

Въ отвѣтъ старикъ пожалъ руку сына.

— Только удивилъ меня Бѣжецкій. Прежде онъ такъ горячо принималъ все къ сердцу, былъ однимъ изъ ярыхъ, а за эти три года совсѣмъ измѣнился, какъ-то ослѣлъ, присмирѣлъ, совсѣмъ не тотъ, что былъ. Сестры просто сокрушаются, глядя на брата...

— Ты познакомился съ семействомъ? спросила мать.

— Бѣжецкій чуть не насильно къ себѣ затащилъ. Непременно хотѣлъ, чтобы я познакомился съ его семьей! слегка краснѣя, проговорилъ Николай. — У него славная мать и двѣ сестры, очень неглупыя и развитыя дѣвушки. Бѣжецкій просилъ объ одномъ дѣлѣ. Старшая сестра собирается поступить на женскіе курсы, такъ просила меня дать ей свѣденія и написать кое-кому рекомендательныя письма. Въ Петербургѣ у нихъ никого знакомыхъ нѣтъ...

„Вотъ какія дѣла!“ улыбнулся про себя Иванъ Андреевичъ и прибавилъ:

— Скоро-жь перегорѣлъ твой другъ!

— Это, папа, самого меня поразило. Никогда-бы я не повѣрилъ, еслибъ не видѣлъ самъ Бѣжецаго... Сколько надеждъ по-

давалъ онъ въ университетѣ, какой былъ славный, честный, убѣжденный, а теперь?... Мнѣ кажется, онъ пойдетъ по общей колѣѣ!.. Вообрази себѣ, папа, Бѣжецкій взялъ мѣсто на желѣзной дорогѣ, и вѣдь мѣсто-то какое!.. Съ огромнымъ жалованьемъ! А давно-ли мечталъ о кафедрѣ, о дѣятельности, ничего неимѣющей общаго съ настоящей.

— Быть можетъ, средствъ не было... Мало-ли о чемъ мечтаешь въ молодости. Семья у него на рукахъ?

— То-то и нѣтъ. Семья его кое-что имѣетъ и въ его средствахъ не нуждается. Да развѣ, папа, семья—оправданіе для всякой мерзости? внезапно воскликнулъ молодой человѣкъ, оживляясь, причѣмъ маленькіе его глаза заблестѣли.— Вѣдь такъ каждую подлость можно оправдывать семьей, особенно, если она плодovitа. И всякій негодяй можетъ говорить: „У меня семья, я долженъ позаботиться о дѣтяхъ!“ и, утѣшаясь этимъ, безнаказанно грабить казну, обижать беззащитныхъ, оскорблять порядочныхъ людей... Что ты, папа! Положимъ, жизнь заѣдаетъ, но не такъ ужъ, какъ говорятъ обыкновенно люди, готовые на сдѣлки... Повѣрь, что человѣкъ, оправдывающій подлость семьей, и безъ семьи сдѣлаетъ подлость...

Иванъ Андреевичъ слушалъ сына. Горячія, порывистыя слова Коли пріятно щекотали его нервы.

Васа, напротивъ, какъ-будто все еще недоумѣвалъ.

— Ты, конечно, теоретически правъ.

— Еще бы!..

— Подожди, не торжествуй слишкомъ рано побѣды надъ отцомъ, шутивно прибавилъ старикъ. — Ты, повторяю, правъ, но бываютъ случаи—и мало-ли случаевъ—когда единичные факты, какъ бы они ни были ужасны, ничего не значатъ. Знаешь-ли, другъ мой, нельзя съ плеча винить: надо прежде узнать всѣ обстоятельства, а то какъ-разъ попадешь въ просакъ...

— Нѣтъ, папа, нѣтъ, не говори! горячо началъ Николай, подымаясь со стула.— Никакія обстоятельства не могутъ оправдать такихъ людей, какъ Бѣжецкій. Кому много дано, съ того больше и спрашивается! Я ему высказалъ это прямо въ глаза.

— И разошелся съ нимъ? неожиданно воскликнулъ Васа.

— Ахъ ты юнецъ! снисходительно кинулъ Николай. — Нѣтъ, не разошелся... все же онъ непропащій еще человѣкъ.

Вася снова облокотился руками на столъ, какъ-будто замѣчаніе брата не произвело на него никакого впечатлѣнія.

— Обстоятельства! снова началъ молодой человѣкъ. — Это старая пѣсня! Да и какія обстоятельства хоть бы у Бѣжецкаго? Онъ умный человѣкъ, понимаетъ, что теперь больше, чѣмъ когда нибудь, нужны образованные, честные люди на всѣхъ поприщахъ, а что-жь онъ съ собой сдѣлалъ? Въ сущности, продалъ себя. Если не будетъ потакать прямо, то умоетъ руки! Во имя чего? Все равно, говорить, ничего не выйдетъ, такъ я хоть личную жизнь устрою... Личная жизнь!.. Да развѣ она можетъ быть счастливой при такихъ условіяхъ?.. Ахъ, папа! Я не могу хладнокровно говорить, какъ вспомню о Бѣжецкомъ! Да онъ-ли одинъ?.. Множество такихъ, и это между нашими, между молодежью. Одно благополучіе, одинъ богъ Ваала сталъ кумиромъ. Не успѣетъ еще человѣкъ „пары сапогъ“ сносить, — смотришь, онъ ужъ поетъ унылую пѣсню, складываетъ руки и заботится о гнѣздѣ, да еще о гнѣздѣ-то какомъ, о самомъ роскошномъ, а тамъ хоть трава не рости... Или бросается дѣлать карьеру... Точно все, чему мы учились, чему мы вѣрили и поклонялись, что волновало насъ, изъ-за чего мы боролись — все это былъ только модный костюмъ, пригодный для разговоровъ, а чуть встрѣча съ жизнью — долой его!.. Ты знаешь, папа, что изъ нашего курса большинство навѣрно будетъ Бѣжецкими...

Молодой человѣкъ продолжалъ развивать эту тему.

Впрочемъ, вскорѣ онъ увлекся и отъ этой темы перешелъ къ другой, третьей, дѣлая неожиданные переходы. Онъ говорилъ горячо, съ нервностью сангвиническаго темперамента, съ искренностью молодости, полной добрыхъ намѣреній. Онъ не столько доказывалъ, не столько заботился о фактахъ, сколько хлопоталъ объ обобщеніяхъ, рисуя одну за другой картины, не жадя густоты красокъ. Собственные слова возбуждали его. Казалось, онъ торопился вылиться, вылиться залпомъ, точно спѣша показать слушателямъ и особенно отцу, что передъ ними взрослый, умный человѣкъ, знающій цѣну вещамъ и людямъ и понимающій, что происходитъ у него передъ глазами.

Старикъ слушалъ и тихо, тихо улыбался, покачивая головой. Такъ маститые профессора слушаютъ на экзаменѣ бойкихъ учениковъ, подающихъ надежды. Все, что говорилъ сынъ, было хоро-

шо знакомо Ивану Андреевичу, но въ устахъ сына эти слова являлись для любящаго человѣка полными отраднаго смысла. Пріятно, когда близкій человѣкъ не обманулъ вашихъ надеждъ.

— Ну, Коля, ты ужь черезчуръ увлекся! заговорилъ Иванъ Андреевичъ, когда сынъ умолялъ и „отходилъ“. Взглядъ его такъ же быстро потухалъ, какъ и загорался.— Два, три факта—и ты ужь нарисовалъ цѣлую мрачную картину. У тебя, какъ вижу, осталась старая страстишка къ обобщеніямъ и... преувеличеніямъ! улыбнулся отецъ.— Не всѣ-жъ такіе пустоцвѣты, какъ твой пріятель да два, три твоихъ знакомыхъ... Не совсѣмъ же перевелись порядочные люди. Вѣдь по-твоему выходитъ, что будто въ Россіи и людей нѣтъ. Есть они, братецъ, только не видны, и дѣятельность-то ихъ незамѣтна... Условія дѣятельности пока еще тѣсноваты... что правда, то правда... Иногда даже стыдно бываетъ изъ-за какого пустяка приходится горячиться, какія истины доказывать и за что ждаться... выговора, хоть бы такому сѣдовласому старцу, какъ твой отецъ... Ну, да ты самъ это хорошо понимаешь... А все-таки „земля движется“, все-таки есть люди и между стариками, и между молодежью... Я уже старикъ, а вѣрю въ человѣка, хотя въ мои годы и пора бы извѣриться, ты же, Коля, такой молодой и хочешь казаться пессимистомъ, наперекоръ себѣ!.. Впрочемъ... постой... постой... не кипятись!.. Я понимаю твое негодованіе и мизантропическіе выводы. Ты только-что разочаровался въ близкомъ человѣкѣ и находишься еще подъ этимъ впечатлѣніемъ... Это тяжело, Коля, не спорю, но все-таки нечего приходить въ отчаяніе... Жизнь, братъ, еще цѣлая жизнь у тебя впереди...

— Да я и не прихожу въ отчаяніе... Я ругъ не сложу, не бойся, но надо называть вещи ихъ именами... Ты, папа, какъ посмотрю, такой же отчаянный идеалистъ, какъ и былъ.

— Ну, не такой, какъ былъ, мой другъ... Жизнь самаго завзятаго идеалиста съобьетъ съ позиціи, усмѣхнулся Иванъ Андреевичъ,—а все-таки не думаю, что все кругомъ насъ дураки или мошенники. Свѣжая водица просачивается... Ну, а ты-то самъ, ты-то, мой другъ, развѣ не идеалистъ!? Идеалистъ, да еще какой! Да развѣ можно не быть имъ въ твои годы, съ твоимъ честнымъ, добрымъ сердцемъ, съ твоей впечатлительной натурой? Въ двадцать три года да извѣриться въ людей!.. Это, Коля, было бы

ужаснымъ несчастіемъ... И дай Богъ, чтобы ты подольше сохранилъ въ себѣ вѣру... Нынче, какъ погляжу, молодые люди какъ-то морщатся, если назовутъ ихъ идеалистами... Сороковыми годами пахнетъ!.. Эхъ вы!.. А вся твоя филиппика, что это такое, какъ не лучшее доказательство?.. А твои письма? А, наконецъ, твоя статья?.. А еще прикидываешься... Меня, мальчигъ, не обманешь.

— Ты развѣ читалъ статью? спросилъ молодой человѣкъ, весь вспыхнувъ.

— Читалъ, да не разъ, а три раза перечелъ.

— Я думалъ, ты не читалъ. Она вѣдь всего двѣ недѣли какъ напечатана. Я и книжку съ собой привезъ!

— И ты думалъ, что я еще не прочелъ! ласково укорилъ Иванъ Андреевичъ.— Какъ только въ газетномъ объявленіи бросилось мнѣ твое имя, я тотчасъ же поѣхалъ въ городъ и у знакомыхъ досталъ книжку журнала, гдѣ напечатана твоя статья...

— Какъ ты нашелъ ее, папа? Ты, пожалуйста, не щади авторскаго самолюбія.

— Статья не дурная. Въ ней есть жаръ, есть увлеченіе, видно, что она написана нервами и потому производитъ впечатлѣніе,—словомъ, статья хорошо рекомендуетъ тебя.

— Отецъ твой всѣмъ намъ читалъ ее, проговорила Марья Степановна.

— Но есть и недостатки...

Хотя Николай и хотѣлъ казаться спокойнымъ, но волненіе проглядывало на его лицѣ.

— Какіе же, папа?

— Фактовъ маловато, фактовъ. Видно, что ты вопроса не изучилъ, какъ слѣдуетъ... знаешь-ли, по-нѣмецки. Тогда бы статья еще лучше вышла.

— Но вѣдь это журнальная статья!..

— А все фактовъ побольше не мѣшало бы. Но я къ слову объ этомъ. Вообще же статья хорошая, честная. Ну, мы еще съ тобой о ней поговоримъ, поспоримъ. Теперь будетъ съ кѣмъ мнѣ спорить. Вася—тотъ больше про себя думаетъ!.. засмѣялся старикъ.— Взгляни, онъ и не слышитъ, что о немъ говорятъ. Вася! Слышишь? О чемъ это ты задумался?..

Вася сконфуженно встрепенулся и разсѣянно смотрѣлъ на отца.

— О чемъ это ты?

— Да такъ!..

— Онъ вотъ всегда такимъ манеромъ отъ меня отдѣлывается, шутиливо промолвилъ Иванъ Андреевичъ.— Не удостоиваетъ.

По лицу Васи пробѣжала застѣнчивая улыбка.

— Еще смѣется! добродушно замѣтилъ отецъ, дружески хлопывая Васю по плечу.— Хоть бы ты, Коля, расшевелилъ нашего меланхолика!..

Съ этии словами Вязниковъ всталъ изъ-за стола.

— Ты, Коля, потомъ зайди ко мнѣ. Намъ съ тобой еще о многомъ поговорить надо. Вѣдь два года, братъ, не видались. Ишь какой ты большой сталъ, меня переросъ. А послѣ обѣда по усадьбѣ пройдемъ...

— Отлично, папа. Я къ тебѣ найду, дай только переодѣться. Я совсѣмъ вѣдь по-дорожному. Эка прелесть какая! воскликнулъ онъ, выходя на балконъ.— Садъ-то еще болѣе разросся. Что, все Василій за садомъ смотритъ? спрашивалъ Николай, направляясь съ отцомъ въ густую алею.

— Все онъ. Нивакихъ перемѣнъ безъ тебя не было.

— И сосѣди тѣ-же?..

— Вотъ только Лычковъ имѣніе продалъ. Совсѣмъ старикъ разорился.

— Кому?

— Кривошейнову. Помнишь мельника бывшего, Кузьму Петровича?

— Какъ не помнить... Шельма порядочная!..

— Онъ и купилъ!

— Это огромное имѣніе купилъ?

— У него, братецъ, миліонное состояніе. Онъ нынче у насъ въ уѣздѣ чуть не первое лицо.

— Времена!..

— И важничаетъ, какъ Кузьма!.. Роза уморительная! Вотъ только по-прежнему тѣснить народъ!.. Всѣ крестьяне на него плачутся. Они у него всѣ въ рукахъ. Всѣ должны ему. Лаврентьевъ кассу устроилъ—все [пользы мало: почти весь уѣздъ въ кабалѣ у Кузьмы. Ужь я въ земствѣ подымалъ вопросъ о немъ. Напрасно! Только Кузьму обозлилъ.

— А Лаврентьевъ по-прежнему дикій человѣкъ?.. Ни съ кѣмъ не знакомъ?

— Тихе, тихе, Коля!.. Вася за Лаврентьева горой стоять. Дикій человекъ—его пріятель! засмѣялся Иванъ Андреевичъ.— Сошлись.

— Вотъ какъ!

— Человѣкъ-то онъ честный. Только съ нѣкоторыми странностями. Совсѣмъ мужикомъ живетъ по-прежнему!

— Ну, а Лѣски пусты?

— Нѣтъ. Недавно пріѣхала Смирнова съ двумя дочерьми. Очень не глупая женщина. Вѣрно въ Петербургѣ о ней слышалъ?

— Какже, слышалъ. У нея бываетъ интеллигентное общество.

— Познакомься, если хочешь...

— Съ удовольствіемъ. Говорятъ, порядочная женщина.

— И у Лаврентьева побывай. Человекъ онъ хорошій, хоть и странный. Ты вѣдь съ нимъ незнакомъ? И я съ нимъ черезъ Васю познакомился, а то прежде встрѣчались только.

— Такъ вотъ какъ! Перемѣнъ-то у васъ не мало!

— Леночка, Коля, замужъ выходитъ! встала Марья Степановна, подходя къ разговаривающимъ.

— Да, да, я и забылъ тебѣ сказать.

— Леночка? Это интересно. За кого?

— Угадай!

— Трудно.

— За Лаврентьева.

— Дикій человекъ женится на Леночкѣ! Вотъ не ожидалъ! Никакъ не ожидалъ. Она часто у васъ бываетъ?

— По-прежнему. Вѣрно сегодня придетъ.

— Леночка за Лаврентьева! Признаюсь, вы меня поразили.

— Лаврентьевъ три раза ей дѣлалъ предложеніе.

— И она, наконецъ, согласилась?

— Что-жь, если любить.

— Ну, разумѣется; только я думалъ, что Леночкѣ иная судьба готовится, а впрочемъ... Непремѣнно поѣду къ Лаврентьеву. Вѣрно, онъ сталъ чище одѣваться, если Леночка за него замужъ выходитъ. Съ нимъ, значитъ, произошла метаморфоза!.. засмѣялся Николай.— Экая роскошь-то въ саду. Послѣ Петербурга точно въ рай попалъ!

— Надѣюсь, ты у насъ до осени? спросила Марья Степановна.

— Еще бы...

— А послѣ спросилъ отецъ.

— Еще не рѣшилъ, папа. Предположенія есть. Послѣ поговоримъ! произнесъ онъ, возвращаясь назадъ. — Ну, пойду переодѣнусь, а то я на дикаго человѣка теперь похожъ!

Онъ вошелъ въ столовую и, увидавши Васю, сидѣвшаго на томъ же мѣстѣ, охватилъ его за тонкую талію и нѣжно сказалъ:

— Чего ты, милый Васюкъ, одинъ сидишь? Пойдемъ-ка!

И онъ увлекъ брата къ себѣ въ комнату.

— Все тотъ же! проговорилъ, радостно улыбаясь, Вязниковъ, обращаясь къ женѣ.

— Тотъ же. Пріѣхалъ—и будто веселье съ нимъ пріѣхало.

— А за обѣдомъ не худо было бы выпить по бокалу шампанскаго. Какъ ты думаешь, старуха?—Есть у насъ?

— Какъ не быть! Я припасла къ Колиному пріѣзду.

— Вотъ и отлично! Поздравимъ его съ окончаніемъ курса! Молодейъ онъ у насъ. Конекъ горячій!

— Это-то и страшно...

— Отчего страшно?

— Ты развѣ забылъ свою-то молодость?

— Ему не надо этого... Боже сохрани! проговорилъ Иванъ Андреевичъ.—И къ тому же... А, впрочемъ, зачѣмъ загадывать, милая... Что будетъ, то будетъ! Лишь-бы остался честнымъ человѣкомъ!

ГЛАВА III.

— Ну, а ты, Вася, какъ живешь? спрашивалъ старшій братъ у Васи, подававшаго Николаю мыться.

— Ничего, живу себѣ. На голову лить?

— Полей, голубчикъ... Вотъ такъ... Эко славно какъ! Передъ обѣдомъ, Вася, купаться? Вода, я думаю, славная теперь, говорилъ старшій братъ, съ фырканьемъ вытираясь полотенцемъ.—

А въ академію скоро?

— Не знаю еще...

— Какъ не знаешь? Готовишься?

— Не очень. Не тянетъ меня академія...

— Такъ въ университетъ, что-ли?

Вася замахалъ головой.

— Такъ куда же?

— Развѣ надо непременно куда-нибудь?

— А то какъ же? Не недорослемъ же быть!

— Не по формѣ?

— Какъ это не по формѣ?

— Такъ, говорю: не по формѣ?.. Непременно надо?

Николай остановился и смотрѣлъ во всѣ глаза на брата.

— Ты что, Коля, удивляешься такъ? тихо спросилъ Вася.

— Да ты, Вася, чудакъ... Не сердись, голубчикъ, а ты чудакъ какой-то сталъ... Вѣдь надо же кончить курсъ!

— А ты почему знаешь, что надо... Какъ для кого!

Старшій братъ совсѣмъ былъ изумленъ.

— Я думаю, для всякаго.

— Это ты про дипломъ? Такъ, можетъ быть, мнѣ его не надо... А учиться и такъ можно, безъ диплома... Дипломъ этотъ для того, кто хочетъ потомъ людей морочить... Стара штука!

— Какъ людей морочить?

— Очень просто, какъ людей морочать... Мало-ли морочать...

А я не хочу...

— Ты какими-то загадками, Вася, говоришь... Съ папой говорилъ?

— Нѣтъ еще. Придетъ время — скажу!

— Это ужъ не Лаврентьевъ-ли тебя первобытности учить?

— Ты, Коля, Лаврентьева не знаешь, такъ зачѣмъ ты смѣешься? Лаврентьевъ — чудеснѣйшій человекъ.. Ты посмотри, какъ мужики его уважаютъ... Онъ, братъ, хоть и безъ диплома, а по совѣсти живетъ... Человекъ не тѣснить... Да ты, Коля, не сердись пожалуйста... когда-нибудь, можетъ, поговоримъ, а теперь не спрашивай.

Онъ замолчалъ. Потомъ, какъ бы спохватившись, продолжалъ:

— А ты съ Лаврентьевымъ познакомься, право. Самъ увидишь. Онъ тоже желаетъ съ тобой познакомиться. Статья твоя ему понравилась... Онъ тебѣ можетъ много свѣдѣній сообщить... Онъ жизнь-то крестьянскую знаетъ...

Это извѣстiе произвело на Николая прiятное впечатлѣнiе. Ему было лестно, что статья понравилась Лаврентьеву.

— А тебѣ понравилась?

— Понравилась и мнѣ... только... ну, да не теперь... Я на нее замѣтки написалъ, прибавилъ Вася конфузливо. — Послѣ покажу... Такъ написалъ... для себя...

— Я познакомлюсь съ Лаврентьевнѣмъ. Сведи меня къ нему.

— Отлично! обрадовался Вася. — Ты увидишь, какой Лаврентьевъ.

— Ты, кажется, влюбленъ въ него?

— Люблю... да его все любятъ. Одинъ Кузька не любитъ. Собирается его извести. Только шалишь, братъ!

— Какой Кузька?

— А живодеръ здѣшній... Кривошейновъ.

Николай продолжалъ свой туалетъ. Вася внимательно оглядывалъ брата и замѣтилъ:

— Франтъ-то ты какой, Коля!

Старшій братъ вдругъ вспыхнулъ.

— А по-твоему, надо неряхой быть?

— Да я такъ... Ты не сердись, братъ.

— Я и не сержусь...

— То-то, а я-было подумалъ...

Николай протянулъ руку.

— Ахъ, Васюкъ, Васюкъ, голубчикъ, кроткая ты душа! Не сердись и ты на меня... Вѣдь я спрашивалъ тебя, какъ братъ... не желая оскорбить...

— Что ты, что ты, Коля! Да развѣ я обидѣлся? За что? повторять онъ, крѣпко пожимая брату руку. — Я послѣ тебѣ все разскажу, на какомъ основаніи я никуда не хочу... Ты умный, ты долженъ понять... Всякій по-своему... Вотъ еслибъ я умѣлъ писать, какъ ты, то знаешь, что бы я сдѣлалъ?

— Что бы ты сдѣлалъ?

— Остался бы здѣсь, да подробно и описалъ, какъ мужикъ живетъ, а то вѣдь въ газетахъ все врутъ... Ахъ, еслибы ты видѣлъ только, Коля, что здѣсь Кузька дѣлаетъ! И нѣтъ ему предѣла! прошепталъ задумчиво Вася.

— Это всежь хорошо извѣстно, Вася.

— Нѣтъ, не говори. А впрочемъ, тѣмъ хуже... Всежь извѣстно и все смотрятъ!

„Странный братъ какой!“ промелькнуло въ головѣ у Николая.

Братья вѣсколько времени молчали.

— Послушай, Вася, скоро Леночкина свадьба?

— Елены Ивановны? поправил Вася.

При этомъ блѣдное лицо его вспыхнуло яркимъ румянцемъ.

— Ну да...

— Осенью, кажется... А что?

— Такъ спросилъ. Тоже старые пріятели. А отецъ ея?

— Обыкновенно что: исправникъ, какъ и былъ! Еще папа его немного въ страхѣ держитъ, а то...

— А Смирновыхъ видѣлъ?

— Видѣлъ... Такая сорока, такъ и стрекочетъ, а барышни все объ адвокатахъ да о литераторахъ... Слышалъ, какъ онѣ мамѣ въ уши визжали! Ты хочешь съ ними знакомиться?

— А по-твоему не стоитъ?

— Не стоитъ. Болтуны! Все эдакъ больше о возвышенности, а землю по девяти рублей сдаютъ... Шельмы!

— Ты, однако, братъ, сильно. Говорятъ, Смирнова умная женщина.

— Да кому отъ ума-то ея прокъ? добродушно возразилъ Вася. — Вотъ и Бѣжецкій твой умный, а самъ же ты говорилъ, на что пошелъ его умъ... На мамону!

— Философъ ты, какъ погляжу. Стоишь! замѣтилъ Николай, надѣвая жакетку.

Онъ былъ совсѣмъ готовъ. Свѣжій, красивый, въ хорошо сшитомъ костюмѣ, онъ глядѣлъ такимъ молодцомъ, что Вася, любуясь братомъ, воскликнулъ:

— И какой же ты, Коля, красавецъ!

Братъ улыбнулся своей привлекательной улыбкой.

— Вещи твои убрать?

— Авдотья уберетъ.

— Все равно... Теперь мнѣ нечего дѣлать... я уберу.

— Ну, давай виѣсть.

Они принялись выглаживать платье, бѣлье и книги изъ большого чемодана. Вася внимательно разглядывалъ книги и двѣ изъ нихъ отложилъ.

— Можно почитать?

— Разумѣется... Ты что выбралъ? полюбопытствовалъ братъ. Вася назвалъ заглавія.

Николай шутя погрозилъ пальцемъ.

— Ишь къ чему тебя тянетъ! протянулъ онъ.—Смотри, Вася, съ ружьемъ осторожнѣе: заряжено... Думалъ дорогой что-нибудь подстрѣлить... Дичи теперь, я думаю, много?

— Есть... намедни куропатокъ видѣлъ!

— А ты по-прежнему не любишь охоты?

— Нѣтъ. Къ чему я буду божью тварь убивать... потѣхи ради.

— Тогда и мясо ѣсть не слѣдуетъ?

— Ну, это другое дѣло. А, впрочемъ, пожалуй, что и не слѣдуетъ! замѣтилъ Вася.—Я думаю объ этомъ.

— А пока ѣшь?

— Ъмъ.

Николай размѣялся.

— Ну, теперь пойдёмъ, братъ, въ садъ, туда къ рѣчкѣ, а оттуда въ малинникъ.

— Пойдёмъ!

Они спустились въ садъ.

Николай весело пустился въ самую глущь, ощущая полной грудью прелесть большого, тѣнистаго, густого сада съ вѣковыми деревьями. Ему было какъ-то весело, хорошо и привольно въ этомъ гнѣздѣ. Хотѣлось рѣзвиться, какъ школьнику. Они обошли весь садъ. Въ малинникѣ, подъ палящимъ солнцемъ, прикрывшись платкомъ, Николай ѣлъ ягоды съ жадностью мальчишки. Потомъ зашли на огородъ, оттуда спустились къ рѣчкѣ и пошли по берегу.

Деревня была какъ на ладони. На улицѣ не было ни души. Деревня точно вымерла.

Они остановились.

— Ну, какъ наши живутъ, по-прежнему, хорошо?..

— Хуже.

— Развѣ и ихъ вашъ Кузька донялъ?

— Сюда пока не добрался... Неурожаи!..

— Пойдемъ-ко въ деревню!

— Пойдемъ, если хочешь, только теперь никого дома нѣтъ.

Въ подѣ всё.

— Ахъ, я и позабылъ. Такъ вечеромъ?..

— Ладно.

Они вернулись назадъ.

— Ахъ, мама, какъ у васъ хорошо! радостно говорилъ Николай, подбѣгая къ Марьѣ Степановнѣ, которая бесѣдовала о чемъ-то съ поваромъ.

— Смотри, не соскучься. Послѣ Петербурга, пожалуй, и соскучишься!

— Что ты, мама! Я развѣ такъ цѣлый день бездѣльничать буду. Я работу съ собой возьму. — Что, Петръ, обратился онъ къ старшему-повару, — опять на охоту будемъ ходить?

— Когда угодно, Николай Ивановичъ. Я съ радостью...

— Собаки вотъ нѣтъ...

— Найдемъ-съ и собаку.

— Гдѣ?

— У дьякона есть собака.

— Ну, ладно. А ты, мама, по-старому хозяйничаешь?

— Да, Коля. Не хочешь-ли покушать? Ты чаю одинъ ставь пилъ.

— Нѣтъ еще. Да вѣдь обѣдать будемъ въ два?..

— Въ два, по-прежнему.

— Такъ черезъ два часа и обѣдъ. Я лучше приберегу appetite къ обѣду.

Николай прошелъ къ отцу.

Кабинетъ Ивана Андреевича былъ большой, просторный кабинетъ съ мягкой, обитой темной кожей, мебелью. Вдоль стѣны тянулся большой шкафъ, наполненный книгами. Другія стѣны были увѣшаны портретами разныхъ знаменитостей науки, литературы и искусства. У открытаго окна, выходящаго въ садъ, стоялъ большой столъ, за которымъ сидѣлъ Иванъ Андреевичъ и что-то писалъ. Въ комнатѣ было прохладно, хорошо. Густая тѣнь сада защищала комнату отъ солнца.

— Ты извини, папа. Я помѣшалъ тебѣ.

— Что ты?.. Садись-ка, Коля, голубчикъ.

— Ты чѣмъ это занимался?

— Записку, братъ, сооружаю для доклада въ будущее собраніе.

— О чемъ, папа?

— Да помилуй, Коля. И безъ того мы деньгами не богаты и брать-то больше не откуда, а наши земцы что выдумали? По-

надобилась имъ, видишь-ли, желѣзная дорога. Они и хотятъ хлопотать, чтобы съ гарантіей земства построить дорогу—вѣдь это новый налогъ на бѣднаго мужика. Ну, разумѣется, нашлись люди, которые въ этой мутной водицѣ рыбки хотятъ наловить.

— Ты дашь мнѣ прочесть записку?

— Конечно, дамъ. Только сомнѣніе меня беретъ, Коля! Не напрасно-ли я пишу?

Между отцомъ и сыномъ завязался разговоръ. Старикъ рассказывалъ Николаю о дѣятельности своей въ послѣдніе два года. Въ словахъ его звучала унылая нотка. Онъ все еще не падалъ духомъ, все еще бодрился, но Николай замѣтилъ, что въ эти два года Иванъ Андреевичъ потерялъ много прежнихъ надеждъ. Иванъ Андреевичъ съ грустной усмѣшкой говорилъ, что онъ въ собраніяхъ почти всегда въ меньшинствѣ.

— Ты, какъ Прудонъ, одинъ составляешь партію!

Старикъ усмѣхнулся.

— Почти-что такъ. Впрочемъ, два-три товарища иногда есть, а то больше одинъ да одинъ. И меня даже въ безпокойные люди записали. Вотъ черезъ мѣсяцъ будетъ экстренное собраніе. Поѣдемъ—увидишь.

— А ты все отдѣльными мнѣніями подаешь?

— Подаю.

— И громишь своихъ противниковъ?

— Въ послѣднее время, Коля, меня уже слушаютъ не такъ, какъ прежде.

— А ты все громишь?

— Не молчать же! Если всѣ замолчатъ, то что хорошаго? Все капля точить камень. И о чемъ иногда приходится спорить-то, братъ!

Старикъ махнулъ рукой.

— И чего берешься? уныло прибавилъ онъ и замолчалъ. — Знаешь-ли, просто стыдно въ пятьдесятъ два года рассказывать. На-дняхъ ко мнѣ пріѣзжалъ предсѣдатель земскаго собранія, испуганный, взволнованный. Знаешь-ли, зачѣмъ? Сообщить мнѣ, что моя рѣчь въ послѣднемъ собраніи показалась кому-то рѣзкой и его вызывали для объясненій. А знаешь, о чемъ говорилъ я эту зажигательную рѣчь? печально усмѣхнулся старикъ. — О томъ, чтобы земство ходатайствовало о соблюденіи за-

кона при взысканіи недовомокъ. Это, видишь-ли, деликатный предметъ!.. Бѣдняга-предсѣдатель просто насмѣшилъ меня своимъ страхомъ. Разсказывалъ, что Кривошейновъ сплетню въ губерніи пустилъ. Ему и повѣрили!.. Но вѣдь не можетъ же такъ продолжаться, не правда-ли? Еще немного времени — и ты, Коля, увидишь, что будетъ и на нашей улицѣ праздникъ, взойдетъ и надъ нашей нивой солнышко.

Лицо Ивана Андреевича сіяло надеждой. Слова звучали вѣрой.

— А пока будемъ, Коля, записки писать! Авось что-нибудь и выйдетъ. По крайней мѣрѣ, не даромъ бременишь землю! весело прибавилъ Вязниковъ, трепля сына по плечу.—Такъ вѣдь? Ну, а ты что съ собой думаешь дѣлать?

Изъ полуотворенной двери нѣсколько времени какъ доносился чей-то свѣжій, женскій голосъ. Николай нѣсколько разъ прислушивался и поворачивалъ голову. Онъ только-что хотѣлъ отвѣчать на вопросъ отца, какъ на порогѣ появилась Марья Степановна, а изъ-за ея плеча выглядывало хорошенькое женское личико съ синими глазами.

— Можно къ вамъ, господа? спросила Марья Степановна.—Я гостью привела.

— А, Леночка! Идите, идите сюда. Посмотрите-ка на нашего дорогого гостя!

Въ кабинетъ вошла молодая дѣвушка въ простенькомъ ситцевомъ платьѣ, плотно облегавшемъ красивыя, правильныя формы. Хорошенькая головка, съ привѣтливими синими глазами, была окаймлена темно-русыми, откинутыми назадъ, короткими волосами. Отъ нея вѣяло свѣжестью, здоровьемъ и какой-то задушевною простотой. Видно было, что она выросла на привольномъ воздухѣ.

Бойкой, увѣренной походкой подошла она къ старику, крѣпко, по-мужски, пожала ему руку и, протягивая потомъ маленькую твердую руку Николаю, проговорила, слегка краснѣя:

— Здравствуйте, Николай Ивановичъ.

— Здравствуйте, Лен...

Онъ запнулся.

— Елена Ивановна! Чуть было васъ, по старой памяти, не назвалъ Леночкой!..

Она разсмѣялась, открывъ рядъ бѣлыхъ зубовъ.

— Называйте, какъ хотите... Развѣ не все равно?..

— Ну, о здоровьѣ васъ спрашивать нечего. Вы, Елена Ивановна, совсѣмъ цвѣтете!

— И вы жаловаться, кажется, не можете на здоровье!..

Молодые люди весело глядѣли другъ другу въ глаза, какъ бываетъ между друзьями, давно не видавшимися другъ съ другомъ.

Незамѣтно вошелъ Вася и присѣлъ въ сторонкѣ, не спуская глазъ съ молодыхъ людей, которые весело разговаривали.

Вася обратилъ вниманіе, что Леночка сегодня особенно принарядилась, замѣтилъ цвѣтокъ въ ея волосахъ, видѣлъ, какъ оживлено было ея лицо, вспыхивавшее по временамъ румянцемъ, и какое-то страдальческое выраженіе промелькнуло въ его задумчивомъ взорѣ...

Е. Станюковичъ.

(Продолженіе будетъ.)

НЕВѢСТА.

(Изъ Роберта Гаммерлинга.)

I.

— Поѣдемъ со мною, прекрасная!
Взгляни, что за ночка стоитъ...
Зоветь тебя пѣсенка страстная,
А время бѣжить и бѣжить...
Пусть замокъ луной серебристою
Сверкаетъ! Я все утаю:
Вонъ море волной своей чистою
Чуть хлещетъ о лодку мою.
Садись же въ нее, моя милая!
Взгляни мнѣ открыто въ глаза.
Чего-жь ты поникла, унылая?
Въ рѣсницахъ блеснула слеза...
Иль море не любо безбрежное?
Привѣтная-ль звѣздъ глубина?
Мои-ли объятія нѣжныя,
Уснувшая-ль въ нѣгѣ волна?

— „Нѣтъ! Любо мнѣ море безбрежное,
Уснувшая въ нѣгѣ волна,
Объятія милаго нѣжныя,
Привѣтная звѣздъ глубина.
Но все ужъ на завтра условлено:
Готово къ вѣнчанію все:
Вѣнки для гостей приготовлены
И бѣлое платье мое“.

II.

Заря засіяла ужъ на небѣ.
Женихъ погрузился въ мечты...
Украсьте невѣсту алмазами,
И платье рядите въ цвѣты!

Увейте чертоги гирляндами,
Въ ея отправляйтесь покой,
Изъ замка раздастся пусть музыка,
Купалась въ волнѣ голубой!

III.

Разбиты надежды напрасныя...
Плачь громче, женихъ молодой:
Уже повѣнчалась прекрасная
Въ бездонной пучинѣ морской...
Есть перлы, влетенные феями,
Въ ея золотистой косѣ
И свѣтитъ коралами-змѣями
Чело ея въ полной красѣ.

II. Я

ДОЧЬ ІЕЗАВЕЛИ.

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

МИСТЕРЪ ДЭВИДЪ ГЛЕНИ ПРИВОДИТЪ ВЪ ПОРЯДОКЪ СВОИ
ВОСПОМИНАНІЯ И НАЧИНАЕТЪ РАЗСКАЗЪ.

ГЛАВА І.

○

Въ дѣлѣ отравительницы мои воспоминанія начинаются со времени смерти двухъ иностранныхъ джентльменовъ, въ различныхъ странахъ, въ одинъ и тотъ же день. Это были люди довольно замѣчательные, каждый въ своемъ родѣ, и совершенно чужіе другъ другу.

Мистеръ Эфраимъ Вагнеръ, купецъ (прежде жившій во Франкфуртѣ-на-Майнѣ), умеръ въ Лондонѣ 9 сентября 1820 года.

Докторъ Фонтенъ, извѣстный въ свое время открытіями по экспериментальной химіи, умеръ въ Вюрцбургѣ 9 сентября 1820 года.

Оба они, и купецъ, и докторъ, оставили послѣ себя вдовъ. Вдова купца, родомъ англичанка, была бездѣтная. Вдова доктора, изъ южно-германской семьи, имѣла одну дочь.

Въ эту отдаленную эпоху (я пишу эти строки въ 1870 году и вспоминая событія, происшедшія полвѣка тому назадъ) я служилъ въ конторѣ мистера Вагнера. Въ качествѣ племянника его жены, я былъ принятъ въ его домѣ, какъ родной, и онъ любезно считалъ меня членомъ своего семейства. То, что я нагѣрень раз-

сказать, произошло на моихъ глазахъ; я все самъ видѣлъ и слышалъ. А на мою память можно положиться: подобно всѣмъ старикамъ, я помню событія, происшедшія въ моей молодости, гораздо яснѣе, чѣмъ факты, случившіеся два или три года тому назадъ.

Добрый мистеръ Вагнеръ былъ болѣнъ впродолженіи многихъ мѣсяцевъ, но доктора не боялись за его жизнь. Онъ доказалъ блистательно, что они ошибались, и осмѣлился умереть въ такое время, когда они увѣряли, что онъ вскорѣ выздоровѣетъ. Когда это несчастье разразилось надъ его женою, я находился внѣ Лондона, отправленный по дѣламъ фирмы во Франкфуртъ-на-Майнѣ, гдѣ было отдѣленіе нашей конторы, которымъ завѣдывали компаніоны Вагнера. Я вернулся на другой день послѣ похоронъ, къ самому чтенію завѣщанія мистера Вагнера, который былъ натурализованъ англійскимъ гражданиномъ и потому его завѣщаніе было составлено англійскимъ стряпчимъ.

При этомъ чтеніи присутствовала вдова, сидѣвшая въ отдаленномъ углу комнаты, такъ что ея лицо находилось въ тѣни, стряпчій, хранившій завѣщаніе, и три нѣмца (совершенно неизвѣстные мнѣ и моей теткѣ), которые были дальними родственниками мистера Вагнера и ожидали значительной части наслѣдства на свою долю. Признаюсь, я забылъ ихъ имена, но хорошо помню цвѣтъ лица каждаго изъ нихъ: одинъ былъ темнолицый, другой свѣтлолицый, а третій грязнолицый. Я такъ ихъ и буду называть, прося у нихъ извиненія за эту не деликатность, если они еще находятся въ живыхъ.

Тетка не отвѣчала ничего на мое стараніе высказать свое горе, которое было совершенно искренне, потому что ея покойный мужъ былъ моимъ вторымъ отцомъ и я его очень любилъ. Она поцѣловала меня въ лобъ и, бросивъ взглядъ на трехъ нѣмцевъ, сидѣвшихъ на противоположномъ концѣ комнаты, указала мнѣ на стулъ подлѣ себя. Тетка была женщина умная, твердая, добрая и дальновидная; она отгадала корыстолюбивыя цѣли этихъ родственникововъ, принявшихъ на себя очень торжественный тонъ, и на лицѣ ея ясно было написано: „они мнѣ не друзья и не увидятъ ни слезинки на моихъ глазахъ“.

Стряпчій развернулъ завѣщаніе.

— Вы понимаете по-англійски, господа? спросилъ онъ, обращаясь къ чужестранцамъ.

— Отлично, отвѣчалъ темнолицій.

— Да, если вы будете читать тихо, произнесъ свѣтлолицій. Грязнолицій ничего не отвѣчалъ и только молча поклонился. Стряпчій началъ читать завѣщаніе.

Въ Англіи, повидимому, существуетъ обычай при составленіи духовнаго завѣщанія начинать съ мелкихъ суммъ и предметовъ, а главное наслѣдство оставлять подъ конецъ. Упомянувъ, по обыкновенію, о платежѣ своихъ долговъ и о расходахъ на погребеніе, мистеръ Вагнеръ прямо перешелъ къ правамъ своихъ нѣмецкихъ родственниковъ на долю его наслѣдства. Выразивъ довольно искренчески свое сожалѣніе, что они такъ рѣдко его посѣщали, когда онъ былъ здоровъ, онъ оставлялъ каждому изъ нихъ по пятидесяти фунтовъ стерлинговъ на покупку траурнаго кольца.

Въ первую минуту изумленіе и негодованіе этихъ трехъ джентльменовъ выразилось въ сомнѣніи. Они разомъ всѣ вскочили и, подойдя къ стряпчему, старались посмотреть черезъ его плечо, не сдѣлалъ-ли онъ какой-нибудь ошибки. Убѣдившись въ томъ, что онъ умѣлъ читать, они бросили на тетку убійственные взгляды и направились къ дверямъ. Тетка не обратила на нихъ никакого вниманія. На порогъ они остановились. Грязнолицій сказалъ на нѣмецкомъ языкѣ, которымъ я очень хорошо владѣю:

— Подождемъ и послушаемъ до конца, можетъ быть о насъ упоминается еще и въ другомъ мѣстѣ завѣщанія.

Они вернулись и сѣли на свои мѣста. Стряпчій продолжалъ чтеніе.

Во второй и третьей статьѣ завѣщанія мистеръ Вагнеръ оставлялъ довольно значительныя суммы англійскимъ друзьямъ, конторщикамъ и старымъ слугамъ, причемъ каждый изъ этихъ послѣднихъ получилъ болѣе пятидесяти фунтовъ.

Дойдя до четвертаго параграфа, стряпчій обернулся къ своей теткѣ. Мистеръ Вагнеръ оставлялъ ей все свое состояніе, движимое и недвижимое, за исключеніемъ вышеозначенныхъ суммъ. Въ пятой статьѣ онъ въ доказательство своего полного довѣрія назначалъ ее единственной душеприкащицей. Шестая статья заключалась въ слѣдующемъ распоряженіи покойнаго:

„Впродолженіи моей долгой болѣзни жена исполняла обязанности моего секретаря и повѣреннаго. Она вполне изучила систе-

му, которой я держался при веденіи моихъ дѣлъ; она отлично понимаетъ, какихъ комерческихъ опасностей я старался избѣгать и какими обстоятельствами я пользовался для увеличенія своего состоянія. Поэтому я по совѣсти совершенно убѣжденъ, что я не только доказываю ей мое довѣріе и благодарность, но и дѣйствую въ интересахъ фирмы, которой состою главою, назначая мою вдову единственнымъ моимъ преемникомъ въ дѣлѣ, со всеми правами и привилегіями главнаго компаньона“.

Тутъ удивленіе нѣмецкихъ родственниковъ вышло изъ границъ приличія. Довѣрить женщинѣ полное завѣдываніе крупнымъ состояніемъ было уже неизвинительнымъ, неблагоразумнымъ поступкомъ, но добровольно назначить ее главнымъ компаньономъ въ торговой фирмѣ — было просто сумасшествіемъ. Темнолицый заявилъ, что это завѣщаніе доказывало явные слѣды разстройства умственныхъ способностей завѣщателя. Свѣтлолицый совѣтовалъ своимъ товарищамъ обратиться къ помощи лучшихъ юристовъ и оспорить завѣщаніе. Но грязнолицый съ ними не согласился.

— Пятьдесятъ фунтовъ лучше, чѣмъ ничего, сказалъ онъ. — Я принимаю оставленное мнѣ наслѣдство и приду завтра за деньгами.

Я взглянулъ на тетку. Она откинулась на спинку кресла и закрыла лицо платкомъ. Она, очевидно, очень страдала и не могла уже болѣе скрывать своего волненія. Въ тѣ времена я былъ силенъ и горячъ; мнѣ ужасно хотѣлось вытолкать собственноручно этихъ нѣмцевъ. Но стряпчій меня предупредилъ и очень просто отдѣлался отъ нихъ. Онъ свернулъ завѣщаніе, отворилъ дверь и пожелалъ имъ добраго вечера.

— Исполните это завѣщаніе, если посмѣете, сказалъ съ угрозою темнолицый.

Свѣтлолицый былъ потише и только заявилъ, что о немъ еще услышатъ. Что же касается грязнолицаго, то онъ поклонился стряпчему и очень любезно сказалъ:

— Благодарю васъ, сэръ; я завтра приду за своимъ наслѣдствомъ.

Не обращая на нихъ никакого вниманія, стряпчій вышелъ въ переднюю и крикнулъ слугѣ, чтобъ онъ отворилъ наружную дверь. Благодаря этому маневру, мы избавились отъ нѣмецкихъ родственниковъ. Впослѣдствіи я узналъ, что они всѣ трое получили

свои пятьдесятъ фунтовъ стерлинговъ! Ихъ же самихъ я уже болѣе никогда не видалъ.

Послѣ ихъ ухода мы стали молча дожидаться, пока тетка выскажетъ намъ свои желанія. Мы думали, что неприличное поведеніе нѣмецкихъ родственниковъ ее разстроило, но оказалось, что она не слыхала ни слова изъ ихъ разговора. Любовь и уваженіе къ ней, которыми дышали послѣднія слова завѣщанія, ее такъ глубоко потрясли, что только обильныя слезы нѣсколько ее успокоили. Тогда она замѣтила наше присутствіе и, собравшись съ силами, промолвила:

— Я теперь не могу говорить. Но приходите въ концѣ недѣли, я имѣю вамъ обоимъ сообщить нѣчто важное.

— Относительно завѣщанія? спросилъ стряпчій.

Она покачала головой.

— Оно относится до послѣднихъ желаній моего мужа. Онъ мнѣ ихъ высказалъ наканунѣ своей смерти.

И, поклонившись намъ обоимъ, она вышла изъ комнаты.

На лицѣ стряпчаго выразилось тяжелое сомнѣніе. Онъ взялъ меня подъ руку и мы оба удалились. На улицѣ онъ сказалъ мнѣ, качая головой:

— Долгій опытъ научилъ меня относиться съ недоувѣріемъ къ послѣднимъ желаніямъ умирающаго, которыя не высказаны его стряпчему или не внесены въ духовное завѣщаніе.

Въ то время мнѣ показался этотъ взглядъ очень узкимъ. Какъ могъ я предвидѣть, что послѣдующія событія въ жизни моей тетки подтвердятъ справедливость словъ стряпчаго! Еслибъ она не вздумала доканчивать планы своего мужа и не поѣхала бы во Франкфуртъ... но къ чему всѣ предположенія о томъ, что могло бы случиться, еслибъ обстоятельства сложились иначе? Моя обязанность передать то, что дѣйствительно случилось, и потому вернемся къ моему разсказу.

ГЛАВА II.

Въ концѣ недѣли вдова потребовала насъ къ себѣ.

По вѣншности это была женщина небольшого роста, очень хорошенькая, съ блѣднымъ цвѣтомъ лица, широкимъ, низкимъ лбомъ и большими, блестящими, умными сѣрыми глазами. Выйдя

замужъ за человѣка гораздо старше себя, она все еще была (послѣ многихъ лѣтъ замужества) чрезвычайно привлекательна. Но она, повидимому, никогда не сознавала своей красоты и не гордилась своими замѣчательными способностями. Въ обыденной жизни она была очень мягкая, тихая женщина. Но какъ только обстоятельства того требовали, она проявляла рѣдкую твердость и силу воли. Во всю мою жизнь я не видывалъ такой рѣшительной женщины, когда она была чѣмъ-нибудь возбуждена.

Поздоровавшись съ нами, она безъ всякихъ предисловій завела разговоръ о дѣлѣ. Лицо ея носило ясные слѣды бессонной ночи, проведенной въ слезахъ. Но она такъ мужественно поборола свое волненіе, что только голосъ ея немного дрожалъ, когда она говорила о своемъ покойномъ мужѣ.

— Вы оба знаете, начала она, — что мой мужъ былъ человѣкъ самыхъ независимыхъ мыслей. Его убѣжденія насчетъ нашихъ обязанностей въ отношеніи несчастныхъ ближнихъ были гораздо выше обыкновенныхъ понятій свѣта. Я вполне раздѣляю всѣ его взгляды и сдѣлаю съ Божьей помощью все то, что онъ самъ сдѣлалъ бы для ихъ примѣненія, еслибъ остался въ живыхъ.

— Вы говорите о политическихъ мнѣніяхъ мистера Вагнера? спросилъ странчій съ нѣкоторымъ безпокойствомъ.

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ политическія мнѣнія моего хозяина считались революціонерными, а теперь, когда его мысли подтверждены санкціей парламентскихъ актовъ и сочувствіемъ всей націи, онъ былъ бы признанъ умѣреннымъ либераломъ, идущимъ вмѣстѣ съ вѣкомъ по пути прогресса.

— Мнѣ нечего заботиться о политикѣ, продолжала тетка; — я желаю прежде всего поговорить съ вами о мнѣніи моего мужа насчетъ женскаго труда.

Въ этомъ отношеніи также вредная ересь моего хозяина въ 1820 году стала общепринятою аксіомой въ 1870 году. Обсудивъ этотъ вопросъ съ своей независимой точки зрѣнія, онъ пришелъ къ тому убѣжденію, что многія занятія, исключительно составлявшія удѣлъ мужчинъ, могли бы быть исполняемы съ полнымъ успѣхомъ способными, достойными женщинами. Какъ только мистеръ Вагнеръ убѣждался въ правильности какой-нибудь идеи, онъ тотчасъ принимался за энергическое ея примѣненіе. Увеличивъ въ то время свою контору, онъ распредѣлилъ въ ней поровну

занятія между мужчинами и женщинами. Скандалъ, произведенный этимъ нововведеніемъ въ Сити, сохранился доселѣ въ памяти такихъ стариковъ, какъ я. Однако, несмотря на этотъ скандалъ, смѣлая попытка моего хозяина увѣнчалась полнымъ успѣхомъ.

— Еслибъ мой мужъ остался въ живыхъ, продолжала тетка, — то онъ ввелъ бы въ отдѣленіи нашей конторы во Франкфуртѣ ту же систему, какъ въ Лондонѣ. Тамъ также дѣло разрастается и мы хотимъ увеличить число конторщиковъ. Какъ только я соберусь съ силами, я поѣду во Франкфуртъ и предоставлю нѣмецкимъ женщинамъ тѣ же права, которыя мой мужъ далъ англійскимъ женщинамъ въ Лондонѣ. Онъ оставилъ подробныя замѣтки о томъ, какъ ввести эту реформу, и я буду ими руководствоваться. Я думаю тотчасъ послать тебя, Дэвидъ, прибавила тетка, обращаясь ко мнѣ, — къ нашимъ компаньонамъ во Франкфуртъ съ копіей этихъ замѣтокъ и съ инструкціей, въ силу которой они не замѣщали бы нѣсколько вакансій въ конторѣ до моего пріѣзда. Имѣете-ли вы что-нибудь сказать противъ моего плана? вдругъ спросила она, пристально посматрѣвъ на стряпчаго.

— Это рискованное дѣло, отвѣчалъ онъ очень осторожно.

— Отчего?

— Въ Лондонѣ, сударыня, мистеръ Вагнеръ имѣлъ возможность изслѣдовать нравственный характеръ женщинъ, принимаемыхъ имъ въ свою контору. Но вамъ будетъ очень трудно уберечь себя отъ опасности въ чужомъ городѣ, какъ Франкфуртъ.

— Отъ какой опасности?

— Вы очень великодушны, а великодушіе часто эксплуатируютъ. Я боюсь, чтобъ женщины съ дурной репутаціей или другія...

Въ эту минуту дверь отворилась и въ комнату вошелъ нашъ старшій конторщикъ, мистеръ Гартрей.

— Извините, мистеръ Гартрей, сказала моя тетка, поднявъ голову: — я сейчасъ буду къ вашимъ услугамъ. Будьте искренны со мною, сэръ, продолжала она, обращаясь къ стряпчему, — и скажите прямо, какъ могутъ меня эксплуатировать *другія* женщины?

— Я говорю о женщинахъ вполне достойныхъ вашего вниманія, но имѣющихъ недостойныхъ родственниковъ или друзей,

отвѣчалъ стряпчій;—вы именно будете склонны оказать помощь подобнымъ существамъ и онѣ, находясь подъ дурнымъ вліяніемъ дома, будутъ для васъ постояннымъ источникомъ безпокойства и непріятностей.

Тетка ничего не отвѣчала. Замѣчаніе стряпчаго, казалось, ее разсердило. Она быстро обернулась къ мистеру Гартрею и спросила, что ему нужно?

Нашъ старшій конторщикъ былъ методичный джентльменъ старой школы. Онъ началъ съ извиненія въ томъ, что обезпокоилъ хозяйку, и потомъ подалъ ей письмо.

— Когда вы будете въ состояніи заниматься дѣлами, сударыня, то прочтите это письмо, прибавилъ онъ, — а пока простите меня, что я предпочелъ самовольно распорядиться въ конторѣ, чѣмъ тревожить васъ въ такую грустную минуту.

Голосъ его дрожалъ при воспоминаніи о своемъ добромъ хозяйнѣ, и тетка протянула ему руку, которую онъ поцѣловалъ со слезами на глазахъ.

— Я увѣрена, что все, сдѣланное вами, хорошо и полезно для фирмы, произнесла она сочувственнымъ тономъ. — Отъ кого это письмо?

— Отъ мистера Келера, изъ Франкфурта.

Тетка тотчасъ взяла письмо и внимательно его прочтала. Вотъ его содержаніе, такъ-какъ это письмо имѣло большое вліяніе на послѣдующія событія моего разсказа.

„Мистеру Гартрею, въ собственныя руки, конфиденціально.

„Любезный сэръ, я не могу теперь обратиться лично къ мистрисъ Вагнеръ послѣ посѣтившаго ее горя. Но я нахожусь въ отчаянномъ положеніи и потому рѣшился написать къ вамъ, какъ къ лицу, завѣдывающему нашей лондонской конторой.

„Мой единственный сынъ Фрицъ оканчиваетъ свое воспитаніе въ вюрцбургскомъ университетѣ. Къ сожалѣнію, онъ влюбился въ дочь вюрцбургскаго доктора, только-что умершаго. Я увѣренъ, что эта молодая дѣвушка вполне достойная и высоконравственная особа, но ея отецъ не только оставилъ ее въ бѣдности, но по уши въ долгахъ. Кромѣ того, ея мать пользуется самой дурной репутацией. Между прочимъ, говорятъ, что она разорила мужа своимъ мотовствомъ. Въ виду этихъ обстоятельствъ, я хочу разлучить молодыхъ людей. Фрицъ бросилъ мысль о поступле-

ни въ доктора и согласился быть моимъ преемникомъ въ фирмѣ. Покуда же я рѣшился послать его въ Лондонъ для изученія коммерческихъ дѣлъ въ нашей главной конторѣ.

„Фрицъ исполняетъ мою волю не очень охотно, но онъ добрый и послушный юноша. Вы можете его ожидать черезъ день или два послѣ этого письма. Сдѣлайте одолженіе, дайте ему занятіе въ вашей конторѣ и окажите ему всякое содѣйствіе, пока я не напишу къ мистрисъ Вагнеръ, которой, пожалуйста, передайте мое глубокое сочувствіе въ ея ужасной потерѣ“.

— Пріѣхалъ молодой человѣкъ? спросила тетка, возвращая письмо Гартрею.

— Вчера.

— И вы ему нашли занятіе?

— Я ему поручилъ переписывать письма и далъ ему комнату въ моемъ домѣ. Я надѣюсь, что вы довольны этими распоряженіями.

— Вы отлично поступили, мистеръ Гартрей. Но я васъ освобожу отъ части отвѣтственности. Семейное горе не можетъ помѣшать мнѣ исполнить мои обязанности въ отношеніи компаньона моего мужа. Я хочу видѣть молодого человѣка. Приведите его сюда послѣ закрытія конторы. А теперь останьтесь. Я хочу спросить у васъ кое-что о дѣлахъ моего мужа.

Мистеръ Гартрей сѣлъ.

Вопросъ, заданный ему теткой, привелъ насъ всѣхъ троихъ въ немалое удивленіе.

ГЛАВА III.

— Мой мужъ принималъ участіе во многихъ благотворительныхъ учрежденіяхъ и, если я не ошибаюсь, онъ былъ однимъ изъ директоровъ вифлеемской больницы?

При этомъ упоминаніи больницы для съумасшедшихъ, болѣе извѣстной въ Лондонѣ подъ названіемъ Бедлама, страпчій вздрогнулъ и помѣнялся взглядомъ со старшимъ конторщикомъ.

— Вы совершенно правы, сударыня, отвѣчалъ мистеръ Гартрей и болѣе не прибавилъ ни слова.

Но страпчій, отличавшійся большей смѣлостью, счелъ своимъ долгомъ предостеречь тетку.

— Я позволю себѣ замѣтить, прибавилъ онъ, — что въ виду нѣкоторыхъ обстоятельствъ, касающихся дѣятельности мистера Вагнера въ этомъ благотворительномъ учрежденіи, было бы желательно оставить этотъ вопросъ. Его отношенія къ другимъ директорамъ больницы были далеко не дружественныя. Мистеръ Гартрей подтвердитъ вамъ, что предложеніе вашего мужа о реформѣ въ обращеніи съ паціентами...

— Доказывало его человѣколюбіе, перебила стряпчаго тетка; — онъ, какъ добрый и справедливый человѣкъ, ненавидѣвшій жестокость во всѣхъ ея проявленіяхъ, считалъ безчеловѣчнымъ скрывать и съѣчь бѣдныхъ больныхъ. Я совершенно раздѣляю его мысли и горжусь тѣмъ, что онъ мужественно стоялъ за гуманныя мѣры, несмотря на противодѣйствіе всѣхъ другихъ директоровъ. Хотя я женщина, но я не оставляю этого дѣла. Я отправлюсь въ больницу въ будущій понедѣльникъ и прошу васъ поѣхать со мною.

— Въ качествѣ чего я буду имѣть честь васъ сопровождать? спросилъ стряпчій очень холодно.

— Въ качествѣ стряпчаго, отвѣчала тетка; — я хочу сдѣлать предложеніе директорамъ и желала бы воспользоваться вашей опытностью, чтобы придать ему должную форму.

— Извините меня, продолжалъ стряпчій; — но я смѣю спросить: вы желаете посѣтить сумасшедшій домъ, согласно желанію покойнаго мистера Вагнера?

— Конечно, нѣтъ. Мой мужъ всегда избѣгалъ говорить со мной объ этомъ грустномъ предметѣ. Онъ даже не говорилъ мнѣ прямо, что онъ одинъ изъ директоровъ больницы. Онъ постоянно избѣгалъ упоминать при мнѣ о чемъ-нибудь, что могло бы меня встревожить или взволновать. Но наканунѣ своей смерти онъ въ полузабытѣ говорилъ, какъ бы самъ съ собою, о томъ, что онъ желалъ бы сдѣлать, если выздоровѣетъ. Послѣ его смерти я просмотрѣла его частный дневникъ и поняла ясно, чего онъ желалъ. Онъ твердо рѣшился, видя упорное противодѣйствіе другихъ директоровъ, испытать на свой счетъ и страхъ гуманную систему обхожденія съ сумасшедшими. Въ настоящее время въ виффлемской больницѣ находится несчастное, безпомощное существо, подобранное на улицѣ; мой благородный мужъ выбралъ его для перваго опыта своей системы и онъ надѣялся вырвать

его изъ этого ада, благодаря покровительству одной высокопоставленной особы. Вы знаете, что планы и желанія моего мужа для меня священны. Я рѣшилась повидать несчастнаго человѣка, котораго онъ освободилъ-бы отъ безчеловѣчнаго заключенія въ сумасшедшемъ домѣ, еслибъ не умеръ, и я исполню его намѣреніе, если только совѣсть скажетъ мнѣ, что это возможно для женщины.

При этихъ смѣлыхъ словахъ, я долженъ со стыдомъ сознаться, мы всѣ трое громко протестовали. Скромный мистеръ Гартрей выразился почти съ такимъ-же жаромъ, какъ стряпчій, и я не очень отсталъ отъ нихъ обоихъ. Быть можетъ, смягчающимъ обстоятельствомъ нашей вины служитъ то обстоятельство, что высшіе медицинскіе авторитеты первой четверти настоящаго столѣтія были столь же невѣжественны и безчеловѣчны. Въ то время всякая мысль о принятіи какихъ-нибудь мѣръ противъ сумасшедшихъ въ минуты ихъ припадковъ, кромѣ грубаго насилія, считалась прямымъ безуміемъ. Однако, что мы ни говорили, тетка стояла на своемъ.

— Я васъ не буду болѣе задерживать, сказала она, наконецъ, обращаясь къ стряпчему: — если вы откажетесь меня сопровождать, я поѣду одна. Подумайте и напишите мнѣ сегодня вечеромъ отвѣтъ. Я не допускаю въ этомъ дѣлѣ никакихъ споровъ. Я вѣрю въ челоуѣколюбіе и мудрость моего мужа, какъ въ святину. Я болѣе ничего не имѣю вамъ сказать.

Этимъ наша аудіенція и кончилась.

Вечеромъ Гартрей представилъ теткѣ и мнѣ молодого мистера Келера. Мы оба съ первой минуты полюбили его. Онъ былъ красивый, блондинъ юноша съ здоровымъ цвѣтомъ лица и откровеннымъ, пріятнымъ выраженіемъ. Онъ былъ немного грустенъ и сосредоточенъ, вѣроятно, вслѣдствіе насильственной разлуки съ любимой женщиной. Тетка съ своей обычной добротой предложила ему переѣхать къ намъ и отвела ему комнату рядомъ съ моею. Она боялась, что ему будетъ скучно проводить вечера съ мистеромъ Гартреемъ, старымъ холостякомъ и не очень веселымъ собесѣдникомъ, особенно для молодого человѣка.

— Мой племянникъ Дэвидъ говоритъ по-нѣмецки, сказала она, — и онъ постарается сдѣлать ваше пребываніе у насъ какъ можно пріятнѣе.

Съ этиими словами она оставила насъ вдвоемъ.

Фрицъ началъ разговоръ съ самоувѣренностью нѣмецкаго студента.

— Ваше знаніе моего языка — первое звѣно нашей будущей дружбы, сказалъ онъ;—я хорошо читаю и пишу по-англійски, но плохо говорю. Однако, посмотримъ, нѣтъ-ли еще чего общаго между нами. Вы курите?

Покойный Вагнеръ научилъ меня курить, и я молча подаль сигару своему новому знакомому.

— Ну, и прекрасно, воскликнулъ онъ, — еще есть звѣно въ цѣпи нашей дружбы. Дайте мнѣ руку, мы на-вѣки друзья.

Мы пожали другъ другу руки. Онъ закурилъ сигару и въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ молча пускалъ влубы дыма, грустно вздыхая по-временамъ.

— Я хотѣлъ бы тотчасъ вступить въ права дружбы и говорить съ вами откровенно, другъ Дэвидъ, произнесъ онъ, наконецъ,—но боюсь вашей англійской холодности.

— Напрасно, будьте совершенно откровенны.

— Такъ зовите меня Фрицемъ, это придастъ мнѣ силы излить передъ вами мое наболѣвшее горемъ сердце.

Я назвалъ его Фрицемъ, онъ пододвинулъ ко мнѣ кресло и, положивъ руку на мое плечо, спросилъ такъ же просто, какъ будто спрашивалъ, который часъ:

— Вы влюблены, Дэвидъ?

Я покраснѣлъ. Фрицъ принялъ это за отвѣтъ и продолжалъ:

— Съ каждой минутой я все болѣе и болѣе васъ люблю. Я вижу, что между нами столько общаго. Вы влюблены. Еще одинъ вопросъ: есть преграды къ вашему счастью?

Дѣйствительно, моя любовь была несчастлива. Она была слишкомъ стара и слишкомъ бѣдна для меня и съ теченіемъ времени эта дѣтская вспышка кончилась ничѣмъ. Я призналъ, что преграды существовали, но съ присущей англичанину сдержанностью не пустился въ подробности. Однако, и этого было достаточно для Фрица.

— Боже милостивый! воскликнулъ онъ,—наша судьба одинаковая! Мы оба несчастны. Нѣтъ, Дэвидъ, я не могу болѣе удерживать себя, я долженъ васъ обнять.

Я хотѣлъ отстранить эту нѣжность, но онъ былъ сильнѣй и

сжалъ меня въ своихъ объятіяхъ. Признаюсь, я едва его не ударилъ и не могу теперь безъ улыбки вспомнить объ этой сценѣ.

— Сердце мое успокоилось и я могу чистосердечно вамъ рассказать исторію моей любви, началъ онъ;— вы, конечно, никогда не слышали и не читали ничего интереснаго. Она—предѣстѣнное созданіе на свѣтѣ: граціозная, статная, чудная вѣснадцатилѣтняя брюнетка. Ее зовутъ Мина и она единственная дочь г-жи Фонтенъ. Ея мать, которая, вѣроятно, въ молодости была влиятѣлымъ портретомъ Минны, удивительная, величественная римская матрона. Она—жертва зависти и клеветы. Можете себѣ представить, что есть низкіе люди въ Вюрцбургѣ (гдѣ ея мужъ былъ профессоромъ химіи въ университетѣ), которые называютъ ее Іезавелью, а мою Мину—дочерью Іезавели! Я имѣлъ три дуэли съ товарищами-студентами, которые осмѣлились называть мать моей Минны позорнымъ именемъ нечестивой, жестокой, убившей тысячи людей, израильской царицы. Но увы! мой отецъ подпалъ подъ вліяніе этой гнусной клеветы. Не правда-ли, это ужасно! Мой добрый отецъ въ этомъ одномъ вопросѣ является тираномъ, говоритъ, что я никогда не женюсь на *дочери Іезавели*, и, пославъ меня въ изгнаніе, заставляетъ въ вашей конторѣ переписывать письма. Но онъ не знаетъ моего сердца. Я принадлежу всѣмъ моимъ существомъ Минѣ и она мнѣ па-вѣки, въ этой жизни и въ будущей. Вы видите, я плачу. Это доказываетъ, какъ сердце мое переполнено. Есть прекрасный нѣмецкій романсъ, подходящій къ мой несчастной судьбѣ. Я вамъ его спою, когда немного успокоюсь. Музыка—лучшій утѣшитель. Ахъ, да, промолвилъ онъ, вдругъ осушая свои слезы;— у васъ можно въ Лондонѣ слышать музыку? Я не привыкъ проводить вечера дома, и здѣсь ужасно скучно. Поведете меня куда-нибудь, гдѣ есть музыка, и дайте мнѣ забыть о Минѣ хоть на часокъ.

Я съ удовольствіемъ поймалъ его на словѣ, такъ-какъ его исповѣдь мнѣ сильно наскучила. Мы съ нимъ отправились въ одинъ изъ публичныхъ лондонскихъ концертовъ и я помогъ ему забыть о Минѣ. Онъ нашель, что англійскій оркестръ не довольно оживленъ, но вполне оцѣнилъ лондонское пиво. Возвращаясь домой, онъ спѣлъ мнѣ нѣмецкій романсъ, и съ такимъ жаромъ, что вѣрно разбудилъ многихъ мирныхъ жителей нашего квартала.

У себя въ комнатѣ, на столѣ подлѣ кровати, я нашелъ распечатанное письмо стряпчаго къ моей теткѣ, въ которомъ онъ заявлялъ согласіе сопровождать ее въ сумасшедшій домъ, предоставляя себѣ, однако, полную свободу относительно дальнѣйшихъ ея дѣйствій. Въ концѣ письма было прибавлено рукою тетки: „Если ты хочешь, Дэвидъ, ты можешь ѣхать съ нами“.

Мое любопытство было сильно возбуждено и совершенно излишне прибавлять, что я съ радостью принялъ это приглашеніе.

ГЛАВА IV.

Въ назначенный понедѣльникъ мы были готовы сопровождать тетку въ домъ умалишенныхъ. Сомнѣвалась-ли она въ своемъ благоразуміи или желала имѣть какъ можно болѣе свидѣтелей своего смѣлаго поступка—я, право, не знаю, но какъ бы то ни было, она пригласила съ собою еще мистера Гартрея и Фрица Келера, которые, однако, оба отказались. Старшій конторщикъ сослался на множество дѣлъ и иностранную почту, а Фрицъ прямо сказалъ:

— Я ужасно боюсь сумасшедшихъ. Они меня такъ пугаютъ и волнуютъ, что я самъ становлюсь полу-сумасшедшимъ. Я просилъ бы васъ не только не брать меня, но и самимъ не ѣхать, добрая мистрисъ Вагнеръ.

Тетка только грустно улыбулась и мы отправились втроемъ.

Мы имѣли особое разрѣшеніе осмотрѣть больницу и старшій смотритель былъ отданъ въ наше полное распоряженіе. Онъ встрѣтилъ тетку чрезвычайно любезно и предложилъ ей составленную имъ заранѣе програму осмотра, который, конечно, оканчивался завтракомъ въ его квартирѣ.

— Въ другой разъ, сэръ, я съ удовольствіемъ воспользуюсь вашимъ предложеніемъ, отвѣчала тетка; — но настоящее мое посѣщеніе ограничится только свиданіемъ съ однимъ изъ вашихъ паціентовъ.

— Вы желаете видѣть только одного паціента, повторилъ смотритель;— вѣроятно, одного изъ высшаго круга?

— Нѣтъ, напротивъ. Я желаю видѣть несчастнаго, беспомощнаго человѣка, подобранаго на улицѣ и извѣстнаго здѣсь подъ именемъ Соломеннаго Джака.

— Боже милостивый! воскликнул смотритель, смотря на мою тетуку съ изумленіемъ;—вы не знаете, вѣроятно, что Соломенный Джакъ одинъ изъ самыхъ опасныхъ стюмасшедшихъ во всей больницѣ?

— Я слышала, что о немъ такъ отзываются, отвѣчала тетка.

— И вы все-таки желаете его видѣть?

— Да, я пріѣхала сюда исключительно ради него.

Смотритель молча посмотрѣлъ на стряпчаго и на меня, какъ бы спрашивая объясненія этого страннаго каприза. Стряпчий, говоря за насъ обоихъ, напомнилъ смотрителю, что мистеръ Вагнеръ имѣлъ особня мнѣнія объ обращеніи съ стюмасшедшими и о томъ интересѣ, который возбуждалъ въ немъ именно этотъ больной.

— А вдова мистера Вагнера наслѣдовала его мнѣнія и симпатіи, прибавила моя тетка.

Тутъ смотритель любезно поклонился и просилъ извиненія, что ему придется задержать насъ на нѣсколько минутъ.

Онъ позвонилъ, и когда явился служитель, то онъ спросилъ:

— Яркомбъ и Фоссъ дежурные въ южноѣ флигелѣ?

— Да, сэръ.

— Пошлите сюда одного изъ нихъ.

Мы подождали нѣсколько минутъ и, наконецъ, за дверью слышался грубый голосъ:

— Здѣсь, сэръ.

— Позвольте мнѣ имѣть честь проводить васъ къ Соломенному Джаку, сказалъ смотритель съ нѣкоторой ироніей, но очень почтительно кланяясь и подавая руку теткѣ.

Они вышли изъ комнаты. Мы со стряпчимъ послѣдовали за ними; позади насъ шелъ человекъ, который стоялъ за дверью. Былъ-ли это Яркомбъ или Фоссъ—все равно, во всякомъ случаѣ это былъ человекъ большого роста, сильный, грубый и жестокий на взглядъ.

— Это одинъ изъ нашихъ помощниковъ, сказалъ смотритель, обращаясь къ теткѣ;—быть можетъ, намъ придется позвать еще одного, чтобы ваше свиданіе съ Соломеннымъ Джакомъ не надѣлало вамъ хлопотъ.

Мы поднялись по лѣстницѣ и прошли нѣсколько коридоровъ

съ каменными полами и массивными, запертыми на ключъ, дверями. По обѣимъ сторонамъ слышались крики, стоны, вопли и дивный хохотъ. Наконецъ, мы прошли чрезъ послѣднія двери, еще болѣе массивныя, чѣмъ всѣ прежнія, и очутились въ маленькихъ круглыхъ сѣняхъ, куда не проникали слышанные нами страшные звуки. Смотритель остановился и сталъ прислушиваться. Тишина была гробовая. Онъ подозвалъ своего помощника и указалъ ему на тяжелую дубовую дверь.

— Посмотрите, произнесъ онъ.

Помощникъ отворилъ маленькую форточку въ двери, затворенную на желѣзные крючки.

— Онъ спитъ? спросилъ смотритель.

— Нѣтъ, сэръ.

— Работаетъ?

— Да, сэръ.

— Вы счастливы, сударыня, произнесъ смотритель, обращаясь къ теткѣ; — вы увидите его въ спокойную минуту. Онъ забавляется плетеніемъ изъ соломы шляпъ, корзинокъ и ковриковъ. И, увѣряю васъ, онъ очень мило работаетъ. Одинъ изъ нашихъ докторовъ, человѣкъ очень остроумный, потому и прозвалъ его Соломенинъ Джаконъ. Прикажете отворить дверь?

Тетка очень поблѣднѣла; я видѣлъ, что она старалась побороть въ себѣ сильное волненіе.

— Дайте мнѣ минутку вздохнуть, сказала она; — я хочу собраться съ силами.

Она сѣла на каменную ступень подлѣ двери.

— Скажите мнѣ все, что вамъ извѣстно объ этомъ человѣкѣ, прибавила она; — я спрашиваю васъ объ этомъ не изъ пустого любопытства; у меня есть на это основательныя причины. Что онъ старій или молодой?

— Судя по зубамъ, отвѣчалъ смотритель, точно рѣчь шла о лошади, — онъ молодой. Но онъ совершенно сѣдой, а цвѣтъ лица у него, какъ у мертвеца. Насколько можно понять изъ его словъ (онъ очень рѣдко говоритъ о себѣ), эта странная физическая перемѣна произошла въ немъ вслѣдствіе яда, случайно имъ принятаго. Но гдѣ и какъ случилось это происшествіе, онъ не умѣетъ или не хочетъ разсказать. Мы ничего о немъ не знаемъ, кромѣ

того, что онъ совершенно безпомощный, безъ родни и друзей. Онъ говорить по-англійски, но съ страннымъ акцентомъ, и мы не знаемъ, англичанинъ-ли онъ или иностранецъ. Вы должны знать, сударыня, что онъ здѣсь содержится изъ особой милости. Это — королевское учрежденіе и, по правиламъ, мы принимаемъ только пациентовъ изъ образованнаго класса. Но Соломенный Джакъ удивительно счастливъ. Онъ на улицѣ какъ-то попалъ подъ экипажъ такой высокой особы, что я не смѣю и упоминать ея имени. Ея высочество была такъ взволнована этимъ случаемъ, хотя и волноваться было нечего, такъ-какъ онъ не былъ серьезно ушибленъ, что приказала его привезти сюда въ своей каретѣ съ словесной просьбой принять его. О, мистрисъ Вагнеръ, сердце ея высочества достойно ея высоваго положенія. Она по временамъ присылаетъ спросить о здоровьи сѹмасшедшаго, имѣвшаго счастье подвернуться подъ колесо экипажа ея высочества. Мы, конечно, не говорили ей, сколько онъ намъ стоитъ заботъ и расходовъ. Намъ пришлось заказать нарочно для него особня, колодки и новую плеть, чтобъ держать его въ дисциплинѣ.

Чудовище, сопровождавшее насъ въ качествѣ помощника смотрителя, улыбнулось. Оно достало изъ кармана плеть на манеръ кошки, съ нѣсколькими узлами на концѣ, и весело сказало, показывая теткѣ это страшное орудіе пытки:

— Вотъ что его сдерживаетъ, сударыня. Возьмите въ руку.

Тетка вскочила внѣ себя отъ негодованія, и еслибъ смотритель не успѣлъ безцеремонно оттолкнуть своего достойнаго помощника, она, можетъ быть, хлестнула бы его по лицу этой плетью.

— Извините его пожалуйста, онъ очень ревностный служака, замѣтилъ смотритель съ пріятной улыбкой.

— Отворите дверь, сказала тетка, указывая на келью Джака; — я лучше готова увидѣть самое страшное зрѣлище, чѣмъ смотрѣть на это чудовище.

Твердый ея тонъ удивилъ смотрителя. Блѣдность исчезла съ ея щекъ, она уже болѣе не дрожала, а ея прекрасные сѣрые глаза пламенно сверкали.

— Этотъ грубый уродъ возбудилъ въ ней мужество, замѣтилъ онъ на ухо стряпчій; — и ужъ теперъ ее ничто не остановитъ. Она поставитъ на своемъ.

ГЛАВА V.

Смотритель собственноручно отворилъ дверь.

Мы очутились въ узенькой, но высокой тюремной кельѣ. Въ одномъ углу, очень высоко въ массивной, мрачной стѣнѣ, прорублено было отверстіе съ желѣзной рѣшеткой для пропуска воздуха и свѣта. На полу подъ окномъ сидѣлъ „счастливыи сьумасшедшій“ и плелъ что-то изъ соломы, валявшейся подлѣ него; лучи свѣта падали прямо на его сѣдую голову и обнаруживали желтый цвѣтъ его лица и юношескую живость, съ которой онъ работалъ. Онъ былъ прикованъ къ стѣнѣ тяжелой цѣпью, которая не только опоясывала его, но и сковывала обѣ ноги пониже колѣнъ. Впрочемъ, цѣпь была настолько длинна, что онъ могъ съ трудомъ двигаться на разстояніи пяти или шести футовъ. Надъ его головой висѣла еще короткая цѣпь, очевидно служившая для сковыванія его рукъ. Если я не ошибался благодаря его сгорбленному сидячему положенію, то онъ былъ небольшого роста. Его одежда, вся въ лохмотьяхъ, едва прикрывала его исхудалую фигуру. Въ другое, болѣе счастливое время, онъ, вѣроятно, былъ маленькій, но хорошо сложенный человѣчекъ; его ноги и руки были удивительно деликатны. Онъ былъ такъ поглощенъ своей работой, что не слыхалъ голосовъ за дверью, и только когда она отворилась съ шумомъ, поднималъ голову. Мы тогда увидѣли его большіе, устремленные въ пространство, каріе глаза, испитое лицо и нервно подергивавшіяся губы. Около минуты онъ смотрѣлъ то на одного, то на другого изъ насъ съ дѣтскимъ любопытствомъ. Но потѣмъ его блуждающій взглядъ остановился на помощникѣ смотрителя, который стоялъ за нами все еще съ плетью въ рукахъ.

Въ одно мгновеніе его лицо измѣнилось. Въ глазахъ у него сверкнула жестокая ненависть; онъ оскалилъ зубы, какъ дикій звѣрь. Тетка замѣтила, въ какую сторону онъ смотрѣлъ, и быстро заслонила собою ненавистную фигуру съ плетью. Снова съ неизмовѣрной быстротой произошла пережѣна въ лицѣ сьумасшедшаго. Его взоръ смягчился; на губахъ появилась грустная улыбка. Онъ

уронилъ свою работу и восторженно поднялъ къ верху свои руки.

— Хорошенькая дама, промолвилъ онъ шопотомъ про себя, — о, какая хорошенькая дама!

Онъ хотѣлъ поползти на четверенькахъ во всю длину цѣпи, но по знаку зрителя остановился и тяжело вздохнулъ.

— Я ни за что на свѣтѣ не сдѣлалъ бы вреда хорошенькой дамѣ, сказалъ онъ и тотчасъ прибавилъ, обращаясь къ теткѣ:

— Извините, сударыня, если я васъ испугалъ.

Голосъ его былъ удивительно нѣжный, но было что-то странное въ его акцентѣ.

Мы, мужчины, стояли въ почтительномъ разстояніи отъ цѣпи, но тетка съ чисто-женскимъ презрѣніемъ къ опасности, когда сильно возбуждено чувство состраданія, быстро пошла къ нему. Зритель схватилъ ее за руку.

— Берегитесь, сказалъ онъ, — вы его не знаете такъ хорошо, какъ мы.

Глаза Джака обратились на зрителя и стали снова расширяться. Я боялся, что лицо его опять обнаружитъ жестокое, дикое выраженіе. Но я ошибался. Онъ доказалъ, что подъ вліяніемъ сильнаго внутренняго побужденія можетъ удержаться отъ гнѣвной вспышки. Онъ схватилъ цѣпь, приковывавшую его къ стѣнѣ, обѣими руками и потрясъ ее съ такой силой, что я удивился, какъ кости не выскочили у него изъ-подъ кожи. Голова его опустилась и онъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ; вслѣдъ затѣмъ онъ взглянулъ на мою тетку глазами, полными слезъ. Она освободилась отъ руки зрителя, и прежде, чѣмъ мы успѣли ей помѣшать, она уже стояла подлѣ Джака и нѣжно гладила его по головѣ своей хорошенькой, бѣлой ручкой.

— Какъ ваша голова горитъ, бѣдный Джакъ, сказала она просто; — отъ моей руки вамъ прохладно?

— Да, сударыня, отвѣчалъ онъ съ дѣтской застѣнчивостью, но все еще держась за цѣпь; — отъ вашей руки мнѣ очень прохладно, благодарю васъ.

— Это очень хорошо сдѣлано, Джакъ, продолжала тетка, поднавѣ съ полу маленькую соломенную шляпку, надъ которой

онъ работалъ, когда мы вошли; — расскажите мнѣ, какъ вы начали работать изъ соломы такія милыя вещи.

Онъ взглянулъ на нее еще съ большимъ довѣріемъ, чѣмъ прежде; вниманіе, обращенное на шляпку, его очень польстило.

— Было время, началъ онъ, — когда руки у меня были безумнѣе всего моего существа. Онѣ рвали мнѣ волосы и царапали мое тѣло. Ангелъ во снѣ научилъ меня, какъ ихъ унять. „Пусть онѣ плетутъ солому“, сказалъ ангелъ. Я теперь и плету солому цѣлный день и плелъ бы цѣлую ночь, еслибъ мнѣ давали свѣта. Охъ, ужъ эти ночи, какъ онѣ тяжелы для меня, какъ тяжелы! Сирость меня точить, мракъ меня пугаетъ. Вы знаете, что величайшее благо на землѣ? Дневной свѣтъ, дневной свѣтъ, дневной свѣтъ!

При каждомъ повтореніи этихъ словъ онъ все возвышалъ свой голосъ и готовъ былъ дико завывать, какъ вдругъ опомнился, тряхнулъ цѣпью и прежде, чѣмъ смотритель успѣлъ принять какія-нибудь мѣры противъ него, онъ тихо сказалъ:

— Я спокоенъ, сэръ. ●

— Джакъ обѣщалъ меня не пугать, заступилась за него тетка, — и я увѣрена, что онъ сдержитъ свое слово. Вы никогда не имѣли родителей или друзей, которые были добры до васъ? прибавила она, обращаясь снова къ Джаку.

— Нѣтъ, произнесъ онъ, смотря на нее, — у меня не было друзей, пока вы не пришли сюда.

При этихъ словахъ глаза его сознательно блестяи искренней благодарностью.

— Спросите меня о чемъ-нибудь другомъ и вы увидите, какъ спокойно я могу говорить, вдругъ произнесъ онъ.

— Правда-ли, Джакъ, что вы однажды случайно отравились и едва не умерли?

— Да.

— Гдѣ это было?

— Далекое, въ другой странѣ; въ большой комнатѣ доктора. Я былъ слугою у него.

— Какъ звали доктора?

Джакъ провелъ рукою по лбу.

— Дайте мнѣ время, сказалъ онъ: — у меня голова болить, когда я стараюсь что-нибудь вспомнить. Позвольте мнѣ прежде кончить

шляпу. Я хочу поднести ее вамъ. Вы не знаете, какъ умны мои пальцы. Только посмотрите.

И онъ принялся за свою работу, совершенно счастливый, что моя тетка смотритъ на него. Но тутъ страпчій снова произвелъ переѣзду къ худшему въ бѣдномъ Джакѣ. Этотъ почтенный джентльменъ до сихъ поръ молчалъ, а теперь счелъ необходимымъ для своего достоинства принять участіе въ томъ, что совершалось вокругъ него.

— Моя судебная опытность сослужитъ вамъ хорошую службу, сказалъ онъ, обращаясь къ теткѣ: — я поступлю съ нимъ, какъ съ упорнымъ свидѣтелемъ, нежелающимъ отвѣчать. Вы увидите, что мы добьемся всего этимъ путемъ. — Джакъ!

Упорный свидѣтель продолжалъ по-прежнему работать. Страпчій, держась въ почтительномъ разстояніи отъ цѣпи, громко крикнулъ:

— Эй! оглохли вы?

Джакъ поднялъ глаза и лицо его приняло злобное выраженіе. Человѣкъ не такой самоувѣренный, какъ страпчій, понялъ бы это предостереженіе и прекратилъ бы свои разспросы, но онъ хотѣлъ поставить на своемъ.

— Ну, поговоримъ со мною, продолжалъ онъ: — не можетъ быть, чтобъ васъ звали Соломенный Джакъ, у васъ должно быть другое имя. Какъ васъ зовутъ?

— Какъ хотите, отвѣчалъ Джакъ; — а васъ какъ зовутъ?

— Ну, ну, такъ не годится отвѣчать. У васъ были же отецъ и мать?

— Не помню.

— Гдѣ вы родились?

— Въ помойной ямѣ.

— Какое воспитаніе вы получили?

— Пинками.

— А когда васъ не били?

— То меня колотили. Но пожалуйста помолчите, дайте мнѣ кончить шляпу.

Приведенный въ тупикъ страпчій попробовалъ систему подкупа.

— Вы видите, что это такое? сказалъ онъ, показывая шиллингъ.

— Нѣтъ, я вижу только мою шляпу.

Этимъ отвѣтомъ окончился допросъ Джака. Страпчій, взглянувъ на смотрителя, промолвилъ:

— Безнадежный, сэръ.

— Совершенно безнадежный, отвѣчалъ смотритель.

Когда шляпа была готова, Джакъ передалъ ее теткѣ.

— Что, вамъ нравится? спросилъ онъ.

— Очень, отвѣчала она: — я велю отдѣлать ее лентами и буду носить въ память о васъ. Посмотрите, прибавила она, обращаясь къ смотрителю, — нѣтъ ни одной ошибки во всей этой сложной работѣ. Бѣдный Джакъ имѣетъ довольно здраваго ума, чтобъ справиться съ этимъ. Какъ же вы считаете его безнадежнымъ?

— Это дѣло чисто-механическое и ничего не доказываетъ, произнесъ смотритель, махая рукою.

— Я хочу сказать вамъ кое-что на ухо, промолвилъ Джакъ.

Тетка нагнулась и онъ что-то ей шепнулъ. Она улыбнулась.

На возвратномъ пути домой я спросилъ у нея, что говорилъ Джакъ, и оказалось, что онъ высказалъ ей свое мнѣніе насчетъ смотрителя:

— Не слушайте его, сказалъ онъ: — это бѣдный полусъумасшедшій человѣкъ и такой маленькій, только на шесть дюймовъ выше меня.

Но тетка еще не покончила съ врагомъ Джака.

— Я очень сожалѣю, что васъ такъ беспокою, произнесла она, обращаясь къ смотрителю, — но я должна вамъ еще кое-что сказать, и наединѣ. Можете вы мнѣ удѣлить пять минутъ?

Любезный смотритель объявилъ, что онъ всегда къ услугамъ тетки. Тогда она повернулась къ Джаку, чтобъ проститься съ нимъ. Но извѣстіе объ ея уходѣ такъ сильно потрясло его, что онъ потерялъ всякое самообладаніе.

— Оставайтесь со мною! воскликнулъ онъ, схвативъ ее за обѣ руки, — о, будьте милостивы и оставайтесь со мною.

Она сохранила присутствіе духа и не позволила никому вмѣшаться. Она даже не отскочила и не вырвала у него рукъ, а спокойно сказала:

— Сегодня намъ надо разстаться. Вы, Джакъ, сдержали свое слово и были тихи. Ну, отпустите мою руку.

Онъ упорно качалъ головой и крѣпко держалъ ее.

— Посмотрите на меня, продолжала она, не выеазывая ни малѣйшаго страха:— я хочу вамъ кое-что сказать. Вы болѣе не брошенное существо безъ родни и друзей. Я вашъ другъ. Посмотрите на меня.

Ея спокойный, ясный голосъ подѣйствовалъ на него. Онъ поднималъ голову. Глаза ихъ встрѣтились.

— Ну, теперь пустите мою руку, какъ я уже вамъ сказала.

Онъ выпустилъ ея руку и, бросившись на полъ, горько зарыдалъ.

— Я никогда ее болѣе не увижу, бормоталъ онъ про себя, — никогда, никогда!

— Нѣтъ, вы увидите меня завтра, отвѣчала тетка.

Онъ взглянулъ на нее сквозь слезы и, недовѣрчиво покачавъ головой, продолжалъ:

— Она только такъ говоритъ, чтобъ меня успокоить.

— Вы меня увидите завтра, повторила тетка. — Я вамъ дамъ слово.

Онъ замолчалъ, но очевидно не вполне убѣжденный въ искренности ея словъ. Однако, онъ подползъ къ ней и легъ у ея ногъ, какъ собака.

— Я вамъ что-нибудь оставлю, вы побережете и отдадите мнѣ, когда я приѣду? сказала тетка, полагая это лучшимъ средствомъ для восстановленія въ Джекѣ полного довѣрія къ ней.

Эта идея показалась ему вдохновенной самимъ небомъ и онъ взглянулъ на тетку съ глубокой благодарностью. Она подала ему ридикюль, въ которомъ всегда носила платокъ, кошелекъ и флаконъ со спиртомъ.

— Поручаю вамъ эту вещицу, Джекъ; вы мнѣ ее отдадите, когда я приѣду завтра.

Эти слова не только примирили его съ ея отъѣздомъ, но чрезвычайно польстили его самолюбію.

— Вы завтра увидите свой ридикюль разорваннымъ въ кусочки, замѣтилъ смотритель вполголоса, когда дверь была уже отворена.

— Извините, сэръ, отвѣчала тетка, — я увѣрена, что найду свой ридикюль вполне цѣлымъ.

Бросивъ послѣдній взглядъ на Джака, мы увидѣли, что онъ нѣжно прижималъ къ себѣ ридикуль, осыпая его поцѣлуями.

ГЛАВА VI.

Возвратясь домой, я засталъ Фрица въ саду и, конечно, тотчасъ разсказалъ ему все, что произошло въ домѣ сумасшедшихъ. Онъ пришелъ въ ужасъ, несмотря на все свое сочувствіе къ несчастной судьбѣ Джака, и съ тревожнымъ опасеніемъ спросилъ:

— А что сказала ваша тетка?

Моя тетка сказала гораздо болѣе, чѣмъ я могъ ему передать. Но въ сущности вотъ къ чему она пришла: увидавъ плеть и желѣзную цѣпь, которыми умирляли несчастнаго Джака, увидавъ его лично и поговоривъ съ нимъ, она окончательно рѣшилась сдѣлать на свой страхъ тотъ опытъ, который мужъ ея сдѣлалъ бы, еслибъ остался въ живыхъ. Что же касается способа освобожденія Джака изъ сумасшедшаго дома, то можно было обратиться къ той высокопоставленной особѣ, которая помѣстила его туда. Объяснивъ такимъ образомъ свои намѣренія, тетка просила стряпчача изложить ихъ на бумагѣ и представить на предварительное обсужденіе директоровъ больницы.

— А что сказалъ на это стряпчій? спросилъ Фрицъ, когда я подробно передалъ ему слова тетки.

— Стряпчій отказался исполнить ея желаніе, говоря, что даже мужчинѣ было бы неизвинительно такъ рисковать и что, конечно, во всей Англіи не нашлось бы другой женщины, которая рѣшилась бы на подобный шагъ.

— Что же, его слова подѣйствовали на мистрисъ Вагнеръ?

— Нисколько. Она извинилась, что его обезпекнула, и простилась съ нимъ. „Если никто не хочетъ мнѣ помочь, сказала она спокойно, — то я буду дѣйствовать одна“, и, обращаясь ко мнѣ, она прибавила: „Ты видѣлъ, Дэвидъ, какъ старательно и аккуратно работаетъ бѣдный Джакъ; этого мало, какъ онъ сдерживалъ себя отъ гнѣвныхъ вспышекъ, когда съ нимъ гуманно обращались. Неужели ты согласишься, Дэвидъ, оставить этого бѣдняка на всю жизнь жертвою плети и желѣзныхъ цѣпей?“ Что могъ я отвѣ-

чать? Она была слишкомъ добра, чтобъ настаивать, и просила меня серьезно обдумать этотъ вопросъ. Я вотъ все думаю, и право, чѣмъ больше думаю, тѣмъ страшнѣе мнѣ кажутся послѣдствія твердой рѣшимости тетки взять къ себѣ въ домъ съумасшедшаго.

Фрицъ вздрогнулъ.

— Во всякомъ случаѣ, востылиенуль онъ, — въ тотъ день, когда онъ войдетъ въ этотъ домъ, я изъ него выйду. А что скажутъ друзья мистрисъ Вагнеръ? прибавилъ онъ: — они перестанутъ ее посѣщать и подумаютъ, что она сама сошла съума.

— О, не беспокойтесь объ этомъ, господа: мнѣ рѣшительно все равно, что скажутъ обо мнѣ мои друзья.

Мы оба обернулись въ смущеніи. Тетка стояла за нами, держа въ рукахъ письмо.

— Вотъ извѣстія для васъ, Фрицъ, изъ Германіи, прибавила она и, передавъ ему письмо, удалилась.

По правдѣ сказать, намъ обоимъ было очень стыдно. Фрицъ съ безпокойствомъ взглянулъ на письмо.

— Это отъ моего отца, сказалъ онъ и распечаталъ конвертъ, но изъ него выпало на песокъ другое запечатанное письмо съ почтовой маркой изъ Вюрцбурга.

Онъ весь вспыхнулъ, но, поднявъ послѣднее письмо, не распечаталъ его.

— Это не отъ Мины, сказалъ онъ, — почеркъ мнѣ неизвѣстный. Можетъ быть, отецъ мнѣ пишетъ что-нибудь объ этомъ.

Онъ прочелъ письмо отца и молча передалъ его мнѣ. Мистеръ Вагнеръ увѣдомлялъ сына, что получилъ это письмо изъ Вюрцбурга съ просьбою переслать ему; что, какъ честный человѣкъ, онъ не позволилъ себѣ вскрыть его, но считаетъ долгомъ прибавить, что если оно отъ вдовы Фонтенъ или ея дочери, то онъ рѣшительно воспрещаетъ Фрицу вступать съ ними въ переписку, такъ какъ пока онъ живъ, ихъ семейства никогда не породнятся. „Пойми, мой милый сынъ, прибавлялъ старикъ, — что я такъ говорю, желая тебѣ счастья и изъ любви къ тебѣ!“

Пока я читалъ эти строки, Фрицъ распечаталъ вюрцбургское письмо.

— Оно длинное, произнесъ онъ, поворачивая бумагу и смотря

на подпись;—это анонимное письмо и подписано: „Вашъ невѣдомый другъ“.

— Можетъ быть, оно касается мисъ Минны или ея матери? зашѣтилъ я.

Фрицъ повернулъ снова письмо на первую страницу и сталъ пробѣгать его глазами.

— Новая клевета! Гнусная ложь на мать Минны! воскликнулъ онъ.—Прочти, Дэвидъ.

ГЛАВА VII.

Почеркъ письма былъ такъ искусно поддѣланъ, что невозможно было сказать, кто его писалъ, мужчина или женщина. Вѣрную копію этого письма я сохранилъ до сихъ поръ, также какъ всѣхъ другихъ документовъ, касающихся этого дѣла, а потому я привожу его здѣсь цѣликомъ:

„Любезный другъ, вы однажды, уже очень давно, оказали мнѣ услугу. Все равно, въ чемъ она состояла или кто я. Я хочу вамъ заплатить тѣмъ же, и этого достаточно. Вы влюблены въ „дочь Іезавели“. Не сердитесь! Я знаю, что вы Іезавель считаете глубоко оскорбленной гнусными клеветами, даже дрались на дуэли въ Вюрцбургѣ, защищая ея доброе имя.

„Для васъ достаточно того, что она любитъ свою дочь и что эта невинная дѣвушка очень привязана къ ней. Я нисколько не отрицаю, что она — любящая мать, но развѣ материнскій инстинктъ составляетъ все въ женщинѣ? Вѣдь и кошка, Фрицъ, любитъ своихъ котятъ, но тѣмъ не менѣе она царапается. А развѣ добрая, невинная, маленькая Мина, невидящая худа ни въ комъ, можетъ быть признана достовѣрнымъ свидѣтелемъ въ дѣлѣ вдовы?

„Не рвите моего письма въ припадкѣ гнѣва, я не буду болѣе спорить съ вами объ этомъ вопросѣ. Я имѣю свѣденія о преступныхъ дѣйствіяхъ, виноватой въ которыхъ, повидимому, считается эта женщина. Я просто приведу ихъ въ надеждѣ, что они откроютъ вамъ глаза.

„Вернемся къ смерти доктора и профессора Фонтена, въ его

квартирѣ, въ вюрцбургскомъ университетѣ, 3 сентября настоящаго 1820 года.

„Бѣдный человѣкъ, какъ вы знаете, умеръ отъ тифозной горячки и оставилъ послѣ себя много долговъ, хотя, какъ вы также знаете, онъ не позволялъ себѣ излишнихъ расходовъ. Онъ пережилъ всѣхъ своихъ родственниковъ и не имѣлъ никакихъ надеждъ на чье нибудь наслѣдство. При этихъ обстоятельствахъ онъ могъ оставить только письменное выраженіе своей послѣдней воли, а не духовное завѣщаніе.

„Въ этомъ документѣ онъ поручалъ свою вдову и дочь родственникамъ жены въ самыхъ нѣжныхъ выраженіяхъ. Относительно погребенія, онъ просилъ похоронить себя какъ можно скромнѣе, такъ чтобы онъ стоилъ какъ можно меньше университету. Въ-третьихъ, онъ назначалъ одного изъ своихъ товарищей-профессоровъ душеприказникомъ для распоряженія съ его частной лабораторіей, согласно подробной инструкціи. Эту инструкцію, чрезвычайно важную по своему содержанию, я считаю своею обязанностію привести дословно:

„Симъ назначаю моего стараго друга и товарища, профессора Штейна, нынѣ находящагося въ Мюнхенѣ по порученію университета, единственнымъ распорядителемъ въ отношеніи распредѣленія предметовъ моей лабораторіи. Всѣ тѣ вещи, которыя служили мнѣ при моихъ химическихъ опытахъ и составлявшія мою собственность, находятся на большомъ дубовомъ столѣ между окнами. Прежде всего ихъ слѣдуетъ предложить моему преемнику, а если онъ не купитъ, то послать въ Мюнхенъ къ мастеру, отъ котораго онѣ пріобрѣтены для продажи въ раздробъ по мѣрѣ возможности. Все остальное въ лабораторіи принадлежитъ всецѣло университету, за исключеніемъ того, что содержится въ желѣзномъ шкафу, вдѣланномъ въ стѣну. Относительно этихъ послѣднихъ вещей я прошу моего душеприказника поступить слѣдующимъ образомъ:

„1) Профессоръ Штейнъ возьметъ съ собою достовѣрнаго свидѣтеля, отправляясь отерывать желѣзный шкафъ.

„2) Свидѣтель запишетъ со словъ профессора Штейна точный инвентарь всего, что заключается въ желѣзномъ шкафу, а именно: стеллянки съ жидкостями, жестяныя коробки съ порошками и ма-

ленькій лекарственный ящикъ изъ краснаго дерева съ шестью отдѣленіями, въ каждомъ изъ которыхъ находится стлянка съ ярлыкомъ.

„3) Окончивъ инвентарь, профессоръ Штейнъ собственноручно выльетъ всѣ стлянки, въ томъ числѣ и тѣ, которыя находятся въ лекарственномъ ящикѣ, въ лабораторный стокъ для нечистотъ. Въмѣстѣ съ тѣмъ онъ уничтожитъ и всѣ ярлыки на стлянкахъ, находящихся въ лекарственномъ ящикѣ. Потомъ онъ подпишетъ инвентарь и прибавитъ, что все уничтожено; свидѣтель подтвердитъ своею подписью этотъ документъ, который будетъ переданъ на храненіе секретарю университета.

„Цѣль этой инструкціи—предупредить опасныя послѣдствія, которыя могли бы произойти, еслибъ мои химическіе препараты попали, послѣ моей смерти, въ неумѣлыя руки. Большая часть этихъ препаратовъ имѣютъ ядовитое свойство. Къ этому я долженъ прибавить, что единственной причиной, побуждавшей меня производить эти опыты, было желаніе блага ближнимъ. Я поставилъ себѣ цѣлью прежде всего расширить рядъ лекарствъ, излечивающихъ извѣстныя болѣзни, и въ составъ которыхъ входитъ ядъ, а потомъ открыть противъ нѣкоторыхъ ядовъ такія противоядія, которыя дѣйствовали бы гораздо сильнѣе всѣхъ извѣстныхъ до сихъ поръ.

„Еслибъ мнѣ удалось прожить еще нѣсколько лѣтъ, то я настолько подвинулъ бы мой трудъ, что рѣшился бы поручить моему преемнику ввести открытія мною средства въ медицинскую практику. Теперь же, за исключеніемъ одного случая, когда я рѣшился дать противоядіе и, по счастью, спасъ жизнь отравленнаго челоувѣка, я не имѣлъ времени практически провѣрить дѣйствіе открытых мною средствъ, что только дало бы мнѣ право обнародовать мои открытія ученому міру для блага всего челоувѣчества.

„Въ виду такихъ обстоятельствъ, я приношу въ жертву свое честолюбіе : желаю только не принести вреда. А еслибъ мои препараты, особенно стлянки въ лекарственномъ ящикѣ, попали въ руки людей невѣжественныхъ или преступныхъ, то я дрожу при мысли о могущихъ произойти тогда послѣдствіяхъ. Я очень сожалѣю, что не имѣю достаточно силы, чтобъ встать съ постели

и самому уничтожить всё мои препараты. Но мой душеприкащикъ сдѣлаеть это вмѣсто меня.

„Ключъ отъ двери въ лабораторію и ключъ отъ желѣзнаго ящика я сегодня положу въ маленькій деревянный ящичекъ при пользующемъ меня докторѣ. Я при немъ запечатаю ящичекъ моею собственною печатью и буду хранить его подъ подушкой, чтобъ лично передать его профессору Штейну, если я доживу до его возвращенія въ Вюрцбургъ.

„Если же я умру раньше его пріѣзда, то оставлю этотъ ящичекъ съ ключами моею горячо любимой женѣ, которой одной на свѣтѣ я могу довѣрять такое дѣло. Она отдастъ профессору Штейну, по его пріѣздѣ, деревянный ящичекъ съ ключами и этой инструкціей, которую я положу туда же“.

„Вотъ, другъ Фрицъ, инструкція доктора Фонтена и теперь она всѣмъ извѣстна. Профессоръ Штейнъ нашелъ нужнымъ ее обнародовать судебнымъ порядкомъ вслѣдствіе событій, происшедшихъ послѣ смерти доктора Фонтена. Вы сильно заинтересованы въ этихъ событіяхъ и я васъ познакомлю съ ними.

„Профессоръ Штейнъ пріѣхалъ въ Вюрцбургъ уже по смерти своего товарища и вдова представила ему ящичекъ съ ключами, согласно волѣ ея мужа.

„Профессоръ сломалъ печать и, прочитавъ инструкцію, приступилъ къ буквальному ея исполненію. Взявъ съ собою университетскаго секретаря въ качествѣ свидѣтеля, онъ отворилъ дверь въ лабораторію. Оставивъ продажу предметовъ, стоявшихъ на столѣ, до другого раза, онъ началъ прямо составлять инвентарь стьянокъ и жестяныхъ коробокъ, которыя онъ долженъ былъ уничтожить. Открывъ желѣзный шкафъ, онъ нашелъ эти предметы, какъ и слѣдовало ожидать, согласно инструкции, покрытыми густымъ слоемъ пыли, доказывавшей, что до нихъ никто не дотрогивался. Составивъ инвентарь, онъ вылилъ жидкость изъ стьянокъ и высыпалъ порошки изъ коробокъ собственноручно.

„Потомъ онъ сталъ искать лекарственный ящикъ краснаго дерева, но такового въ желѣзной шкапулкѣ не оказалось. Думая, что могла произойти какая-нибудь ошибка, онъ перешарилъ всю лабораторію, но все тщетно.

„Тогда онъ подвергъ допросу вдову Фонтенъ. Не знаетъ ли она, куда дѣвался лекарственный ящикъ? Она отвѣчала, что ей не было извѣстно о существованіи такого ящика. Держала ли она ящичекъ съ ключами такъ сохранно, что никто не могъ его достать? Конечно, она заперла его въ свой комодъ и ключъ отъ комода носила постоянно въ своемъ карманѣ.

„Замки лекарственного ящика, желѣзнаго шкафа и лабораторной двери были акуратно осмотрѣны; они не представляли никакихъ слѣдовъ насилія. Спрошено было у лицъ, служащихъ въ университетѣ, не существовало ли другихъ ключей къ этимъ замкамъ, и всѣ отвѣчали отрицательно. Докторъ, лечившій покойнаго, объяснилъ, что Фонтенъ физически не могъ покинуть постели и пойти въ лабораторію въ промежутокъ времени между писаніемъ инструкціи и его смертью.

„Пока производилось это дознаніе, старшій лаборантъ доктора Фонтена изслѣдовалъ подъ микроскопомъ и химически остатокъ сургуча на ящичекъ съ ключами. Оказалось, что сургучъ состоялъ изъ двухъ слоевъ, одного и того же краснаго цвѣта, но мѣстами оба сургуча не слились. Поэтому легко было вывести, что сургучъ, которымъ докторъ запечаталъ ящичекъ, былъ нагрѣтъ и ящичекъ открытъ, а уже потомъ прибавили новаго сургуча и приложили докторскую печать, такъ что снаружи все обстояло благополучно. Тутъ также докторъ, лечившій Фонтена, показалъ, что покойный употребилъ только одну палку сургуча для запечатанія ящика. Самую печать нашли у вдовы; она была небрежно брошена на фарфоровое блюдечко, куда она клала, раздѣваясь по вечерамъ, свои кольца.

„Дѣло это еще разсматривается судебнымъ порядкомъ и я не стану васъ утруждать передачею дальнѣйшихъ подробностей.

„Конечно, вдова Фонтенъ ждетъ конца слѣдствія съ полнымъ спокойствіемъ чистой совѣсти. Она не только дозволила, но даже настояла на самомъ тщательномъ обыскѣ въ ея квартирѣ. Конечно, не нашлось тамъ ни краснаго сургуча, ни лекарственнаго ящика. Вѣроятно, какой нибудь невѣдомый воръ, побуждаемый совершенно непонятными причинами, вскрылъ ящичекъ съ ключами въ промежутокъ времени между смертью Фонтена и возвращеніемъ профессора Штейна изъ Мюнхена, прочелъ инструкцію и похитилъ

роковой лекарственный ящикъ. Такова теорія защиты. Если вы ей повѣрите, то я даромъ вамъ писалъ, но если вы, напротивъ, благоразумный молодой человѣкъ, какимъ я васъ знавалъ, то послѣдуйте моему совѣту. Сожалѣйте сколько вамъ угодно бѣдную маленькую Мину, но ищите себѣ другую невѣсту, мать которой имѣла бы незапятнанное, доброе имя, и считайте себя счастливымъ, что у васъ такіе хорошіе два совѣтника, какъ вашъ отецъ и

Вашъ невѣдомый другъ“.

(Продолженіе будетъ.)

КРУТЫЯ ГОРКИ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЛАВА I.

Въ зимніе сумерки, около четырехъ часовъ пополудни, въ небольшой комнатѣ, съ окнами на дворъ, застроенный флигелями и сараями, стоялъ мальчикъ, лѣтъ семнадцати, невысокаго роста, нѣсколько сутуловатый, и такъ-какъ въ этой комнатѣ отъ темныхъ обоевъ и полуопущенныхъ сторъ было гораздо темнѣе, чѣмъ на дворѣ, то трудно было разглядѣть лицо его: блѣднымъ профилемъ отражалось оно въ зеркалѣ, между двумя, тускло свѣтящимися, снизу подмороженными окнами. Волосы на головѣ его казались черной шапкой, а нѣсколько наклоненная голова, слегка разставленные ноги и даже согнутая кисть руки, которою подпиралъ онъ подбородокъ свой, выражали глубокую задумчивость.

Разстегнутая курточка, галунчикъ на воротничкѣ и металлическія пуговицы съ серебрянными бликами изобличали въ немъ гимназиста, что, конечно, вполне соответствовало лѣтамъ его.

Долго стоялъ онъ на одномъ и томъ-же мѣстѣ и долго о чемъ-то думалъ; но вотъ онъ приподнял свою курчавую, нечесаную голову, опустил руку, подперся и поглядѣлъ въ окно.

— Холодно, проговорилъ онъ чуть не вслухъ, и, какъ бы легка пожившись, вышелъ въ залъ или столовую, тоже съ двумя небольшими окнами. Еще виднѣлась бѣлая дверь въ передѣ, бѣлая скатерть на обѣденномъ столѣ, бѣлыя кипы нотъ на

этажерѣ и бѣлые клавиши вдоль стѣны помѣстившагося рояля; но уже было довольно темно; мертвая тишина и какой-то смолянисто-чадный запахъ стоялъ во всей квартирѣ.

Гимназистъ подошелъ къ роялю, присѣлъ на табуретку, взялъ два-три акорда, и спустя минуту, — какъ будто кто толкнулъ его, — торопливыми шагами, черезъ темный коридоръ, прошелъ въ кухню.

— Какъ ты думаешь, Мавра? произнесъ онъ, остановившись около очага.

И сгорбленная, сѣдая старушка, повязанная платкомъ, съ маленькимъ горбатымъ носикомъ и большимъ ртомъ, не переставая что-то жевать, приподняла на него узенькіе, сморщенные глаза свои.

Она сидѣла на деревянной скамьѣ, и голубымъ огнемъ вспыхнувшая головня, изъ-подъ очага, освѣщала затасканный подолъ ея будничнаго платья, когда-то темно-коричневаго съ бѣлыми крапинками.

— Да что думать-то! проскрипѣла старуха. — Вотъ не хочешь-ли картошки... А?

— По-ожалуй! протянулъ онъ, какъ бы по привычѣ не отказываться ни отъ чего сѣдоваго, но тотчасъ же словно оборвалъ себя: — нѣтъ, не хочу... подожду... Только какъ-же ты думаешь? А?.. Не трусишь?

— Чаво?.. Не ребеночекъ. Да и что я за нянька?..

И она усмѣхнулась. Ротъ вытянулся въ улыбку и все лицо ея какъ-бы преобразилось въ нѣчто добродушно-насмѣшливое... Глаза совсѣмъ пропали, сдѣлались точками; только отъ этихъ точекъ, чуть не до ушей, протянулись загибающіяся внизъ морщинки.

— Да и тебѣ что трусить?.. Ты-то, соколикъ мой, при чемъ тутъ?

Гимназистъ улыбнулся; на его женственныхъ щекахъ образовались ямочки.

— Да развѣ я трушу?.. Вотъ еще! проговорилъ онъ, повернулся и вышелъ, даже забывъ спросить: отъ чего пахнетъ такой смолянистой гарью? Онъ и забылъ, что это происходитъ отъ сырыхъ сосновыхъ дровъ, которыя, по обыкновенію, старуха Мавра ставила съ вечера на плиту сушиться и которыя нерѣдко дымились, а иногда и чадили, когда жаръ плиты припекалъ или ужъ слишкомъ накалялъ смолянистую корку ихъ.

Гимназистъ или Петръ Егоровичъ, или просто Пётъ, какъ называлъ его отецъ, прошелъ черезъ коридоръ въ свою комнату, и прежде, чѣмъ зажечь свѣчу, опять сталъ глазѣть въ окно; за окномъ же, на блѣдно-лиловой полосѣ заката, торчали черныя дымовыя трубы; изъ одной трубы шелъ дымъ и свѣтился огонекъ въ томъ флигелѣ, гдѣ живутъ переплетчики. Должно быть, сильно морозило...

Въ сущности онъ думалъ только о послѣднемъ, т. е. сильно или не сильно морозило.

Вдругъ въ передней звякнуло. Петя вздрогнулъ, пріотворилъ дверь и крикнулъ:

— Мавра!

И въ этомъ возгласѣ послышалась та-же внутренняя тревога, которая все это время легкой лихорадочной дрожью отзывалась въ спинѣ его.

Но Мавра была уже въ столовой и отворяла дверь на лѣстницу.

Въ переднюю ввалился человекъ лѣтъ пятидесяти, въ снотовой шубѣ и глубокихъ калошахъ. Это былъ отецъ гимназиста; нѣкто Егоръ Антоновичъ, по фамиліи Клинь.

Сильно потопывая ногами и отхаркиваясь, тѣсно въ горлѣ его что-то засѣло, прошелъ онъ черезъ столовую въ маленькій кабинетикъ свой. Мавра пошла за нимъ со свѣчей, и онъ, прищурившись, тотчасъ же зажегъ отъ нея другую свѣчку.

— Ты опять начадила!.. проговорилъ онъ подъ носъ;— давай обѣдать!

Еще сизый румянецъ отъ декабрьскаго морознаго вѣтра не успѣлъ остыть на скулистыхъ щекахъ его, какъ онъ уже оглядѣлъ бюро свое и пересмотрѣлъ бумаги.

— А! произнесъ онъ, крѣпко потирая ладонь о ладонь и какъ бы фыркая.

На письменномъ столѣ своемъ онъ нашелъ заклеенный пакетъ съ надписью: „Дорогому папѣ, въ собственныя руки“.

Онъ сѣлъ, придвинулъ свѣчу, вынулъ письмо, надѣлъ очки и, искрививъ ротъ, такъ что одинъ глазъ его поневолѣ зажмурился, прочиталъ слѣдующее:

„Милый папенька, простите меня, я рѣшилась выйти замужъ за Родіона Петровича Духова и умоляю васъ заочно благосло-

вить меня. Остаюсь, нѣжно любящая и уважающая васъ, дочь ваша Анна“.

Два раза прочелъ онъ эти строки, какъ-бы не довѣря глазамъ своимъ, опять вложилъ въ конвертъ записку, положилъ ее на столъ, и, странное дѣло, вмѣсто того, чтобъ взбѣситься или хоть испугаться за дочь свою, все лицо его превратилось въ одну саркастическую улыбку; изъ-подъ верхней узенькой губы его (онъ же бриль и усы, и бороду) выставился кончикъ бѣлаго зуба... У стараго Клина зубы были здоровенные... да и весь онъ казался крѣпшомъ; что-то, напоминающее чугунную тумбу, было во всемъ существѣ его.

— Гм!.. крикнулъ онъ, посмотрѣлъ на часы и увидѣлъ, что пора обѣдать.

Затѣмъ вышелъ онъ въ столовую и тотчасъ-же замѣтилъ, что на столѣ не три, а только два прибора.

— Мавра! крикнулъ онъ и сильно завашлялся.

Въ коридоръ выглянулъ сынъ его и тоже закричалъ:

— Мавра! зовуть!

Кухарка, не торопясь, вошла въ столовую.

— Мавра, отчего не три, а только два прибора?..

Старушка прямо поглядѣла ему въ глаза и брякнула:

— Будетъ съ васъ, сударь, и двухъ приборовъ! Барышни дома нѣтъ...

— Стой!.. Ты почему знаешь, что Анна Егоровна не будетъ съ нами обѣдать?.. А?

— А что мнѣ знать?.. Нѣшто Анна Егоровна станетъ со мной, старой вѣдьмой, разговаривать...

— Не ври! А гдѣ Петъ?.. Поди-ка сюда, калмыцкая рожа! Гдѣ сестра? А?

Петя, безъ кровинки въ лицѣ, остановилъ на отцѣ черные, точно смоль, глаза свои, какъ-бы провѣря степень его гнѣва или ожидая отъ него затрешины.

— Гдѣ сестра? топнувъ ногой, возвысилъ Клинь голосъ и насушилъ сѣрыя брови, именно не сѣдня, а сѣрыя, подъ цвѣтъ глазъ и стриженной головы, тоже сѣрой, какъ подмоченный свинецъ или мышьяная шкурка.

— Ушла! отвѣтилъ Петя.

— Куда ушла?

— Къ жениху.

— Къ какому?

— Я его не знаю... не видалъ... къ какому-то Духову.

— А! ты помогалъ ей, негодяй!.. Ты помогалъ! А?..

— Помогалъ! Я привелъ ей извощика... Сами же приказывали не разъ слушаться старшей сестры.

— Вотъ я васъ!.. Вотъ погоди только!.. Я васъ... Ушла!.. Объядала!..

И, потирая руки, онъ сталъ шагать по комнатѣ.

— Ушла!.. Когда? въ какомъ часу, а? въ какомъ часу, болванъ? я тебя спрашиваю.

— Да... такъ... около полудня.

— Гм... сволочь!.. Супротивъ воли отцовской... Я ее!.. Я ихъ!..

Чѣмъ дальше разыгрывалась эта сцена, тѣмъ смѣлѣе и смѣлѣе становился Петя.

— Да вотъ еще: Анюта велѣла вамъ сказать, что она взяла у васъ со стола свое метрическое свидѣтельство.

— Свое! Кто ей позволилъ? А что еще взяла она?

— Ничего.

— Вотъ я васъ!

Старикъ побагровѣлъ, точно и въ самомъ дѣлѣ страшная буря бушевала въ груди его; онъ то ходилъ, то останавливался, ругался и шурилъ сѣрые, стальные глаза; онъ былъ близорукъ и всякій разъ, когда кровь приливала къ вискамъ его или собирался злиться, онъ сильно шурился.

— Вотъ я васъ! повторишь онъ, — дайте срокъ! — И, повернувшись къ сыну спиной, ушелъ въ свою комнату.

Петѣ показалось, что отецъ его, войдя въ свою комнату, повалился на диванъ.

„Ужь не плачешь-ли?“ подумалъ онъ, отходя къ окну и машинально поглядывая на черныя дымовыя трубы и на тусклый огонекъ въ квартирѣ переплетчика.

А старикъ дѣйствительно повалился на диванъ, даже руками лицо закрывъ, но не заплакалъ.

— Такъ, такъ! боржоталъ онъ про себя взволнованно-радостнымъ шопотомъ. — Ушла... Она ушла... Наконецъ-то! Ухъ! даже бумаги свои подтибрила. А я нарочно ихъ три дня на своемъ

столъ держаль... Фу!.. проклятый кашель... Гдѣ это угораздило меня простудиться?

Но, и кашляя, старикъ продолжалъ ликовать въ глубинѣ души своей. Уходя дочери спасалъ его отъ свадебныхъ расходовъ и отъ обязанности дать ей какое-нибудь приданое.

— Съ Богомъ! съ Богомъ! Дай вамъ Богъ, сударыня, съ вашимъ учителемъ жить да поживать, да дѣтей наживать! Доброе дѣло, сударыня! Не вѣкъ-же вѣчный въ дѣвкахъ засиживаться, не ровень часъ—и съ тѣла начнете спадать, хирѣть да вянуть... да и углядѣть-то за вами—задача. Нужно мадамъ нанимать. Да и десять мадамъ не углядять—такіе ваши дурацкіе годы подошли. А мы и безъ васъ какъ-нибудь проживемъ, коли Богъ вѣку пошлетъ. Мы еще не такъ стары, какъ вы изволите думать.

Такъ съ самимъ собою бесѣдовалъ Егоръ Антоновичъ и, на- бесѣдовавшись вдоволь, почувствовалъ, что не худо и рюмочку пропустить, да и закусить не худо.

Петя былъ тоже голоденъ и ужъ думалъ, что отецъ его съ горя и обѣдать не будетъ; но дверь отворилась и Егоръ Антоновичъ вышелъ изъ своего кабинета, по-прежнему красный и нахмуренный. Не говоря ни слова, выпилъ онъ рюмочку забористой горьковатой водки, крикнулъ и сѣлъ на свое мѣсто.

Весь обѣдъ состоялъ изъ картофельнаго супа и жареной на сковородѣ печенки.

Петя сидѣлъ за столомъ тоже задумчивый и молчаливый; не проронивъ ни слова, онъ искоса и недовѣрчиво поглядывалъ на отца и, глядя, какъ онъ ѣстъ, инстинктивно чувствовалъ, что гроза или прошла, или проходить.

Поведенію сестры приводило и его въ недоумѣніе. „Вотъ ужъ никакъ не ожидалъ!“ думалъ Петя.

Послѣ обѣда Петя поцѣловалъ руку у своего суроваго, нахмуреннаго родителя и, скользнувъ въ коридоръ, прокрался въ свою комнату.

Вообще онъ любилъ уединяться. Сидѣть по цѣлымъ часамъ въ своей комнатѣ, глядѣть куда-нибудь въ стѣну и о чемъ-то думать—съ нѣкоторыхъ поръ сдѣлалось его любимымъ занятіемъ, даже въ ущербъ занятіямъ гимназическимъ. Въ 8-мъ классѣ онъ уже былъ седьмымъ, тогда какъ въ 6-мъ и 5-мъ былъ третьимъ и даже вторымъ ученикомъ по успѣхамъ и прилежанію.

Прослѣдить думы семнадцатилѣтняго юноши такъ-же трудно, какъ прослѣдить извивы пѣны, погоняемой внизъ напоромъ воды, падающихъ съ высоты утеса, или уловить капризный полетъ бабочки.

Прежде всего, думаль Петя, что за человекъ Духовъ? Какъ это такъ случилось, что онъ ни разу не видалъ его? Должно быть, это человекъ необыкновенный... А что, если онъ не женится? — И ему живо представился образъ обманутой сестры и какъ она будетъ тогда дорога ему, какъ онъ будетъ тогда защищать ее! Потому какое то внутреннее чувство подсказало ему, что его сестра Анюта вовсе не изъ такихъ, которыхъ обманываютъ, что тѣ всѣмъ не такія.... но что такого, особенно прекраснаго, нашелъ въ ней этотъ необыкновенный человекъ?... Онъ ни за что, чортъ возьми, не женился бы. И почему это всѣмъ дѣвушкамъ такъ хочется выйти замужъ? При этомъ у него стала двоиться мысль: съ одной стороны, представлялось ему весьма естественнымъ такое влеченіе, съ другой стороны, онъ вспоминалъ участь родной его матери, которой тоже, чай, хотѣлось выйти замужъ! И разъ образъ этой матери возникъ въ душѣ его, какъ онъ уже всецѣло отдался самымъ грустнымъ воспоминаніямъ. Что было бы, подумаль онъ, — еслибы была еще жива мать, что - бы она сказала, еслибы я прибѣжалъ къ ней съ новостью, что дочь ея ушла и повѣчалась? И ему казалось, что мать его непременно сказала бы ему: я вѣдь тоже ушла, другъ мой, отчего же не уйти и моей дочери? И тотчасъ-же ему подумалось, что нѣтъ, этого бы мать ему не сказала, — можетъ быть, и подумала бы, но не сказала.

„Да и хорошо, продолжалъ онъ думать, — что сестра моя ушла, — я самъ убѣгу при первой возможности. Тоска у насъ въ домѣ невыносима! Хоть бы привидѣнія! Хоть бы домовой! Вонъ Мавра разъ домового видѣла! Семеновъ говорить, что духовъ нѣтъ, что все это ничто иное, какъ лишь мечтаніе пустое. Вонъ Рихтеръ и моложе меня, а въ духовъ не вѣритъ“.

Такъ, отрывками боролись въ немъ ребяческія чувства и незрѣлыя юношескія мечты, воспоминанія, думы и сомнѣнія.

Вообще Петя былъ въ томъ періодѣ жизни, когда всѣ впечатлительныя юндши воображаютъ себя несчастными, тоскуютъ, сами не зная о чемъ, и такую цѣну придаютъ своей минутной меланхолии, что всякая веселость, даже танцы, кажутся имъ пош-

лостью (разумѣется, до перваго случая выкинуть какое-нибудь колѣнцо или отплясать трепака гдѣ-нибудь на товарищеской вечеринкѣ, подѣ звуки разстроеннаго фортепьяно или подѣ вліаніемъ лишняго стакана пива).

Въ девятомъ часу Петя принялся за свои уроки. Онъ и не зналъ, что отца его уже давно дома нѣтъ, что онъ на-скоро собрался и ушелъ и теперь преспокойно играетъ у генерала Тюрюкова въ пикетъ, а Людмила Николаевна сидитъ за самоваромъ и разливаетъ чай. Для Пети тотъ міръ, въ которомъ вращался отецъ его, былъ совершенно чуждъ. Онъ никогда не зналъ, гдѣ пропадаетъ отецъ его. Въ послѣдніе же два-три года даже тѣ музыканты, которые иногда собирались у него съ своими инструментами играть квартеты или акомпанировать Анютѣ, перестали бывать, точно въ воду канули.

Нечего и говорить о томъ, что въ этотъ вечеръ всѣ уроки, въ особенности алгебраическія задачи съ логарифмами, давались ему съ такимъ трудомъ, что до боли утомили его голову.

„Дадутъ-ли мнѣ сегодня хоть чаю?“ думалъ юноша.

Но вотъ за дверью послышались чьи-то шаги, голось Мавры, потомъ скрипнула дверь и на порогѣ появился гость, совершенно неожиданный.

ГЛАВА II.

— Вотъ я тебѣ какого гостя привела, а? Ждалъ-ли ты, соволикъ? Черезъ черный ходъ ко мнѣ зашелъ — у меня посидѣть. Вотъ даромъ что я старая, а и ко мнѣ молодцы захаживаютъ, ухмыляясь глазами, беззубымъ ртомъ и всѣми складками своихъ морщинистыхъ щекъ, говорила Мавра ласково-скрипучимъ голосомъ, хлопая ладонью по плечу вошедшаго гостя.

Петя оглянулся, вскочилъ и обнялъ своего стараго учителя, друга своей матери, Ивана Несторовича Ознобина.

Хоть Ознобинъ былъ для Пети и старымъ учителемъ, но ему съ виду и тридцати лѣтъ не было. Это былъ довольно высокаго роста, широкоплечій и узкогрудый, бѣлобрысый молодой человекъ, съ хохолкомъ на лбу, въ видѣ пѣтушинаго хвостика, съ рѣденькой, раздвоенной бородкой и едва замѣтными, жиденькими баксами.

— Только-что вчера изъ Пскова, проговорилъ онъ хриплымъ, мягко звучащимъ голосомъ, снимая пледъ и при помощи Мавры стаскивая съ плечъ своихъ сѣрое, скорѣе лѣтнее, чѣмъ зимнее пальто, то-же самое, въ которомъ три года тому ходилъ онъ по Питеру и зимой, и лѣтомъ.

Вторично поцѣловавшись съ Петей, онъ сложилъ пледъ свой самымъ акуратнѣйшимъ образомъ и помѣстилъ его на кровати, а пальто перевѣсилъ на ручку старыхъ, давно знакомыхъ ему кресель. Сразу было видно, что этому гостю все было знакомо: и комната, и мебель, и Петя, и Мавра. И едва онъ усѣлся у стола, затылкомъ къ окошку, какъ откуда-то появился сѣрый котъ и тоже усѣлся на его колѣняхъ.

— Какъ же вы ѣхали такъ долго безъ шубы? спросилъ его Петя.— Чай, холодно было?

— То-то, чай, назябся! О-о-охъ! протянула Мавра.

— А пледъ то на что? Онъ у меня и шуба, и одѣяло, и все, что хотите, въ немъ тепло, вотъ только подъ утро—продрогъ.

— Очень продрогли?

— Ничего, чаю выпилъ—и ничего! вотъ только ногу себѣ ознобилъ

— Не даромъ-же вы Ознобинъ, съострилъ Петя.— По васъ и кличка!.. Мавра, что же ты? Чаю давай... Эка ты, право!

Мавра всплеснула руками и тотчасъ-же скрылась.

— А у васъ приключенье! началъ гость, вытягивая ноги и взбрасывая на Петю маленькіе сѣрые глаза, слегка улыбаясь и машинально придерживая кота, который чуть было не свалился на полъ при его послѣднемъ движеніи.

— А вы почему знаете?.. Гм!.. Да... ушла... Должно быть, влюбилась.

— Гм! Вотъ оно что!.. Ну, да... натурально... Только какъ-же это такъ, отчего-бы не по-просту выйти ей замужъ... безъ всякихъ приключеній?

— Мало-ли что бываетъ по-просту... у людей... А мы развѣ люди?

И въ черныхъ глазахъ Петя сверкнулъ огонекъ какой-то застенной мысли. Онъ обхватилъ обѣими руками одно изъ колѣвъ своихъ, согнулся и сталъ смотрѣть на Ознобина, какъ-бы мысленно его спрашивая: ну-жели и ты осуждаешь сестру мою?

— Для меня самого это было удивительно, началъ Пета. — Сижу, ничего не знаю, вдругъ входитъ Анюта, глаза заплаканы, въ рукахъ сакъ-воажъ... прощается. „Куда?“ говорю. — „Не вернусь, говорить, ѣду вѣнчаться.“ — Вотъ тебѣ на! думаю, вѣнчаться! — „Пойми, говорить, ради Бога, пойми! Полюбилъ меня хорошій человѣкъ, ученый, образованный... нѣкто Духовъ“. Она у Радольоновыхъ съ нимъ познакомилась. — И что же? говорить, приходитъ этотъ человѣкъ за меня свататься, папенька встрѣчаетъ его какого-то осла, съ ногъ до головы оглядываетъ его такъ подозрительно и прямо на-отрѣзъ ему: „ни за кого во вѣки вѣковъ не выдамъ я своей дочери; она, говорить, мнѣ по хозяйству самому нужна. Будь вы принцъ, или хоть богачъ, или хоть первый умникъ въ мірѣ, а-бы, говорить, и тогда не выдалъ за васъ моей Анюты, — самому нужна.“ Ну, разумѣется, онъ ушелъ. Тебя не было дома, говорить, а папа пришелъ ко мнѣ въ комнату и ужъ пилилъ, пилилъ меня, точно я обокрасть его собираюсь... Потомъ, рассказываетъ, будто-бы папа самъ былъ у Радольоновыхъ, объясняться съ ними ходилъ, да и говорить: „Развѣ она сама сбѣжать или онъ ее похитить, а вольной-волей я не могу ни за кого отдать ее... клятву далъ“. Сама говорить мнѣ все это — и, вижу, плачетъ; даже жаль ее стало... Ну, тутъ я узналъ, что у Большого проспекта, на углу 6 линіи, Духовъ съ товарищами будетъ ожидать ее на тройкѣ, и что сегодня къ часу дня она должна подѣхать туда-же въ саняхъ на простомъ извозникѣ... Ну, вотъ... я, разумѣется, сбѣгалъ и привелъ извозника... закуталъ ее, увязалъ кой-какія вещи, хотѣлъ ее проводить, но она отговорила. — „Не ѣзди, говорить, со мной, тебѣ-же будетъ хуже... подумаютъ, что ты мнѣ помогалъ, начнутъ пытаться да допрашивать, а я, говорить, взяла свое свидѣтельство на случай и оставила на столѣ письмо къ панѣ“. И, дѣйствительно, она оставила письмо, только я его не читалъ... не знаю, что она ему отрапортовала. Вотъ и все. Только вы, пожалуйста, никому не говорите.

— Такъ вотъ что! Гм!.. По страсти, значить... слава Богу!.. Только... э... какой это Духовъ? Зналъ я въ университетѣ какого-то Духова... дрянъ былъ человѣкъ...

— Не знаю... я, можетъ быть, его и выдалъ, да не знаю.

— Какъ-же это видѣли и не знаете?

— Да я всего только раза два и былъ у этихъ Радольеновыхъ, да и то въ качествѣ тапера, игралъ всякіе танцы, а они танцевали... мужчинъ всякихъ было человекъ двадцать. Былъ одинъ высокаго роста брюнетъ... рыцарская такая наружность... просто картина! Вы знаете... я даже на всѣхъ этихъ дѣвчонокъ или кисейныхъ барышень не обращаю никакого вниманія, а на него обратилъ, даже позавидовалъ... Можетъ быть, этотъ самый — Духовъ и есть. Онъ-же съ сестрой моей и мазурку танцевалъ... Почему я знаю... я развѣ спрашиваю, какая у кого фамилія? Мнѣ все равно.

— А если онъ увезъ и... э... не женится?

— Какъ?

— Да такъ...

— Ну... ужъ это ихъ дѣло!.. Зачѣмъ я стану въ чужія дѣла мѣшаться?..

— Значить, вы его на дуэль не вызовете, если онъ не женится?..

Петя слегка насупился и помолчалъ.

— Не вызову. Это все... предрасудки... Дуэль! что я за Овѣгинъ или Печеринъ? Пушкинскія времена давно прошли...

— А какія-же теперь... э... времена, по-вашему? не безъ любопытства спросилъ Ознобинъ.

— Какія-съ?.. Не могу вамъ сказать, какія именно... но ужъ во всякомъ случаѣ не такія... не романтическія. Я не романтикъ, Иванъ Несторовичъ, не романтикъ... это ужъ вы какъ хотите...

— Да я и не желаю, чтобы вы были романтикомъ... А давно-ли, кажется, годъ тому, какъ вы сами были влюблены... и чуть съума не сошли съ отчаянья... Помните?

Петя покраснѣлъ.

— Помните, какъ вы тогда вели себя?.. Чѣмъ-же вы были хуже... э... любого романтическаго героя?

„И зачѣмъ это я все ему рассказывалъ тогда!“ подумалъ про себя Петя. — Я и теперь влюбленъ... проговорилъ онъ себѣ подъ носъ, — я не вѣтеръ, и буду всегда... — Онъ заикнулся и не договорилъ. — Да развѣ это романтизмъ?! — Это законъ природы... я слѣдую законамъ природы.. вотъ и все!

Въ это время Мавра вошла съ подносомъ и, присѣдая на

ходу, поставила передъ ними два стакана чаю и, ухмыляясь по-прежнему, предложила Ознобину погрѣться и утолить свою душеньку.

— А за булками не побѣгу. Булочная далеко; это ужъ какъ хотите, сами...

— А ты дай, знаешь, хоть ржаного, солдатскаго, знаешь... сказалъ ей Петя, обрадованный тѣмъ, что приходъ ея прервалъ бесѣду, которая была для него не совсѣмъ пріятна — и потому, что не все еще было позабыто, и потому, что ему казалось, что онъ далеко ужъ ушелъ впередъ отъ всѣхъ этихъ бредней и что объ этомъ даже и вспоминать не стоитъ.

— Чернаго хлѣбца, такъ и быть, принесу, если хотите, и масла захвачу.

— Неси, неси!.. побалтывая въ стаканѣ ложечкой, сказалъ Петя.

Ознобинъ задумался и даже не замѣтилъ, какъ сѣрый котъ съ колѣнъ его прыгнулъ на столъ и усѣлся между глобусомъ и книгами, расшарая зрачки и поглядывая на сѣроватый паръ, который вился надъ горячими стаканами.

— Ну, что еще скажете, Иванъ Несторовичъ?

— Ничего; очень радъ, что вы здоровы... а я... такъ... э... матушку вашу вспомнилъ. Она... она вѣдь и для меня была мать родная—последняя моя родная на землѣ.

— А признайтесь, очень вамъ непріятно, что Анюта ушла?..

— А развѣ вамъ это пріятно?

— Да вы, можетъ быть, были влюблены въ нее?

— Я—влюбленъ! удивился Ознобинъ.

— Право.

— Да изъ чего же... э... это вы заключаете?

— Да, бывало, вы все сидите у нея въ комнатѣ и все толкуете съ ней по цѣлымъ часамъ... а ужъ о чемъ вы тамъ съ ней толковали, я, право, понять не могъ.

— Да я... я изучалъ ее, думалъ, что изъ нея непременно выйдетъ что-нибудь путное.

— Путное? Такъ вы думаете, что изъ нея никогда ничего путнаго не выйдетъ?

— Никогда... а впрочемъ, что-же это я говорю—путнаго... у всякаго человѣка свой путь, его же не преjdeши. У васъ

своей, а у нея своей. Суждено было ей сбѣжать, ну и сбѣжала...

— Какое — суждено! Сама захотѣла.

— Да оттого и захотѣла, что не могла не захотѣть. Вотъ я нынче, въ 7 часовъ, чай пилъ... думалъ — баста... выдулъ три стакана... зарядилъ себя, кажется, какъ слѣдуетъ, и не думалъ, что буду во второй разъ, въ одиннадцатомъ часу, чаевать, а попался въ руки стаканъ съ чаемъ, ну, вотъ и пью.

И, низко нагнувшись, Ознобинъ прихлебнулъ изъ своего стакана, причежь клокъ русскихъ волосъ чуть не окунулся въ чай, свѣсившись на невысокій лобъ его.

Аргументъ Ознобина о неизбежности судебъ человѣческихъ врядъ-ли подѣйствовалъ на Петю. Ничего нѣтъ труднѣе, какъ убѣждать молодые умы какими-нибудь аргументами. Было время, когда Петя вѣрилъ Ознобину и вѣра эта вліяла на него, потомъ нашлись другіе, которымъ сталъ онъ вѣрить больше, чѣмъ Ознобину, и Ознобинъ незамѣтно потерялъ для него свое прежнее обаяніе, — это слышалось въ тонѣ самаго разговора ихъ... Прежде Петя молчалъ и слушалъ, теперь думалъ и возражалъ. Ознобинъ этого не понималъ, даже радовался, что Петя какъ-будто сталъ самостоятельнѣе, сосредоточеннѣе и своими собственными мыслями записывается.

— А денегъ у васъ по-прежнему все нѣтъ? А? закусывая чай ржанымъ хлѣбомъ, спросилъ Петя.

— Да, все по-прежнему, безъ малѣйшей досады отвѣчалъ Ознобинъ. — Деньги... это плевое дѣло; стоять захотѣть...

— Что же вы? Вы-бы захотѣли.

— Видно, еще время не пришло... захочу — и будутъ...

— Такъ вотъ все и зависитъ отъ воли человѣческой!

— Не все; мало-ли что... э... вы захотите, чтобы солнце часомъ или двумя позднѣе встало, чтобы... э... выспаться успѣли... и ничего изъ вашего хотѣнья не выйдетъ... У человѣка своя сфера дѣятельности, какъ и у природы. Не природа выдумала деньги, а человѣкъ; разумѣется, онъ не могъ ихъ не выдумать и не можетъ ихъ не желать, но одни желаютъ ихъ больше, другіе меньше... Вотъ у меня теперь есть рублей двадцать... не даромъ-же я ѣздилъ, ну, съ меня пока и довольно.

„А у меня и двадцати копеекъ нѣтъ, подумалъ про себя

Петя. — Да я думаю, что и у Мавры нѣтъ... не на что было ей хлѣба купить... Эка жизнь!

— Удивляюсь, сказалъ вслухъ Петя, — какъ это вы живете.

— Ну, ужъ это дѣло мое, какъ я живу, съ нѣкоторымъ отѣнкомъ неудовольствія замѣтилъ Ознобинъ. — А вотъ что: вамъ еще надо къ завтраму уроки готовить, а я сижу и мѣшаю.

„Все такой же!“ подумалъ Петя. — Еще успѣю я съ уроками; вѣлю завтра пораньше разбудить себя.

— А не помочь-ли? А?

— Нечего помогать-то: самъ справлюсь.

— Справитесь?

— Да не Богъ знаетъ что; разумѣется, справлюсь.

Петѣ стало досадно, что Ознобинъ заговорилъ съ нимъ точно съ какимъ-нибудь школьникомъ или второклассникомъ.

„Такъ давно не видались, подумалъ онъ, — а говоримъ все о такихъ пустякахъ!“

Ему много горькаго и неутѣшительнаго хотѣлось высказать своему бывшему учителю и репетитору, высказать съ такой-же откровенностью, съ какою года полтора тому онъ высказывалъ ему неясныя ощущенія первой своей любви къ дѣвушкѣ, такъ же внезапно появившейся, какъ и исчезнувшей, ^{или} исчезнувшей безслѣдно, подобно метеору или видѣнью. Многие ему хотѣлось сказать, но какъ-то не сказывалось, не подвертывалось такого слова, которое могло-бы натолкнуть его на изліянія.

Въ 12 часу ночи ушелъ отъ него Ознобинъ, напяливши на себя старенькое пальто, завутавшись въ пледъ, а на голову нахлобучивъ барашковую черную шапку малороссійскаго покроя. Петя до самыхъ сѣней проводилъ его и заперъ за нимъ дверь.

Скоро онъ раздѣлся, потушилъ свѣчу и улегся спать.

Но не успѣлъ еще онъ заснуть, какъ въ переднюю прошла Мавра и впустила въ квартиру отца его.

Клинь только-что вошелъ въ свою комнату, гдѣ уже и постель ему была послана за ширмами, какъ спросилъ:

— Пѣтъ спать?

— Заснулъ, отвѣчала Мавра.

— А свѣчу не забылъ потушить?

— Темно... Зачѣмъ ему забывать!

Затѣмъ, когда Мавра стащила съ него сапоги, онъ повелъ съ нею бесѣду.

— Гм! Хорошо еще, коли обвѣнчается. А ну, какъ надуешь?

— Ну, батюшка, соннымъ голосомъ возразила Мавра,—коли сватался, такъ что-жь ему надувать.

— Сватался! А ты почему знаешь, что онъ сватался? Гм! сватался!.. Чай сказали, что у меня деньги есть... отвалю. А гдѣ у меня деньги? Что добываю, то и проживаю. Первое у нихъ на умѣ—это приданое.

— Дай имъ Богъ совѣтъ да любовь! вздохнула кухарка.

— Какая тутъ любовь! Захотѣла ты любви отъ поповича! Просто на мой кошелекъ рассчитывалъ. А хоть-бы и любовь, ужъ не безъ жолчи и злости произнесъ онъ, забрасывая ноги на постель и тотчасъ-же натягивая на себя сѣрое шерстяное одѣяло, — ну, хоть бы и любовь! Что онъ за дуракъ, чтобъ жениться на бѣдной, когда самъ голъ, какъ соволъ? Живеть тамъ какими-то уроками. Женись на богатой, приданницу возьми себѣ, коли мозги есть. А что, признайся, захаживалъ онъ къ ней съ задняго крылечка, черезъ кухню?

— Ни... ни... ни! замахала руками Мавра,—ни... ни...

— Ты ужъ лучше признайся. А? Не съѣмъ вѣдь, если и признаешься.

— Ни... ни... записку, это точно, приносилъ почтальонъ, а кому: ей-ли, вамъ-ли,—этого я тоже не знаю, потому что безграмотна, гдѣ мнѣ знать! А чтобы того—ни... ни...

— Чай, когда меня дома не было или когда я спалъ... несчастный отецъ!

— Ни, ни! отмахивалась полусонная Мавра.

— Не правда-ли, я несчастный, самый несчастный отецъ? Поймай! Куда ты? Я не молодежьей, да и ты не розанъ и не малина,—ничѣмъ не лучше печенаго яблока. Поймай, я еще не отдалъ тебѣ распоряженія. Слушай! Коли да завтра вздумаетъ она вернуться—гони! Одна-ли, вдвоемъ-ли, все равно—гони, гони и гони! Такъ и говори, что не велѣно, дескать, принимать васъ, сударыня, такъ и говори!

— Какъ прикажете, сударь, — что мнѣ? Не моя дочь — ваша.

— Ну, то-то же! Допустишь до меня—выгоню.

— Ну, и выгоните—не пропаду! вдругъ разсердилась Мавра.— Не все у васъ жить, и въ другихъ мѣстахъ проживемъ, эка невидаль!

И при этомъ, захвативъ сапоги барина подъ мышку, она шмыгнула въ дверь, и Клинь не могъ не слышать, какъ Мавра, уходя, еще въ болѣе энергическихъ выраженіяхъ повторила тоже самое; словомъ, нагрубила ему самымъ неожиданнымъ образомъ.

ГЛАВА III.

Несомнѣнно, что и Егоръ Антоновичъ Клинь былъ когда-то молодой; это такая реальная истина, противъ которой никто спорить не будетъ. Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ нашего девятнадцатаго столѣтія отецъ Клина жилъ въ Петербургѣ, былъ настройщикомъ и женился на музыкантшѣ, ученицѣ Фяльда, бѣдной дѣвушкѣ еврейскаго происхожденія.

Въ какую нѣмецкую школу ходилъ Егорушка, чему учился и какъ учился — это покрыто мракомъ неизвѣстности. Извѣстно только, что въ концѣ сороковыхъ годовъ Егорушка уже былъ Егоромъ Антоновичемъ, превосходно игралъ на фортепіано, былъ юнъ, бѣлъ, румянъ, плотенъ, никогда почти не снималъ съ себя фрака и любилъ щеголять большой булавкой, въ видѣ золотой лиры, которою постоянно закалывалъ свой галстухъ.

Провѣздомъ, не разъ, въ губернскихъ городахъ онъ давалъ концерты; и, сколько мнѣ помнится, орловская губернаторша, какъ дама болѣе понимающая музыку, чѣмъ тамбовская, пригласила его къ себѣ на вечеръ и заставила его вторично проиграть ту фантазію на „Sinambule“ и тотъ венгерскій маршъ Листа, которые съ такимъ успѣхомъ отбарабанивалъ онъ въ клубномъ залѣ передъ отборной орловской публикой.

Въ тѣ дни крѣпостничества, великосвѣтскихъ скандаловъ, ухорскаго щегольства, амурныхъ шашней, путешествій въ тарангасахъ, ледяныхъ горъ и блистательныхъ фейерверковъ, Клинь, еще молодой и свѣжій, какъ только-что сорванный персикъ, могъ любую помѣщицу ослѣпить игрой своей и любую провинціальную актрису совратить съ пути добродѣтели; но и тогда былъ онъ

мѣшковать, улыбался натянутой улыбкой, неумѣло, иногда глупо оригинальничалъ и вообще не отличался свѣтскими манерами.

Все это нисколько не мѣшало ему считать себя великимъ виртуозомъ и композиторомъ, особенно съ того знаменательнаго вечера, когда случайно въ Петербургѣ онъ былъ приглашенъ къ графу Вьельгорскому и акомпанировалъ одной заѣзжей пѣвицѣ, въ присутствіи Глинки и другихъ, нынѣ совершенно забытыхъ знаменитостей.

Несмотря на алія губы и масляные глазки, великіе замыслы таилъ нашъ тогдашній Клинъ въ глубинѣ души своей. Съ помощью матери своей сочинялъ онъ вальсы, марши, кадрили и даже задумывалъ оперу съ студенческими застольными пѣснями, съ факельцугами и проч., проч., подъ заглавіемъ „Аптекарьша“.

Не разъ засыпалъ онъ въ сладкой надеждѣ, что за звуки, такъ щедро имъ расточаемые, золотой дождь обильно польется на голову его.

Клинъ считалъ искусство и богатство родными братьями или, лучше сказать, сіамскими близнецами; одно безъ другого для него было почти немислимо.

Отецъ его любилъ поивать и, умирая, ничего ему не оставилъ. кромѣ кучи фортепіанныхъ струнъ, ключей и стараго рояля, но мать пророчила ему на смертномъ одрѣ своею славу и богатство. Быть можетъ, этимъ пророчествомъ она желала вдохновить сына къ неуспыннымъ трудамъ и настойчивому преслѣдованію цѣли. Видно, еврейскій духъ, духъ отповъ, не повидалъ ее даже за нѣсколько минутъ до ея перехода въ тотъ безпечальный міръ, гдѣ нѣтъ ни воздыханій, ни плача.

Послѣ смерти своихъ родителей бѣдный Клинъ уже не могъ существовать безъ уроковъ музыки. Но пророчество его матери чутъ было не исполнилось.

Одна изъ ученицъ его, нѣкто Б., дѣвушка лѣтъ восемнадцати, субтильная, бѣленькая и прозрачная, какъ фарфоръ, единственная дочь очень богатыхъ родителей, влюбилась въ Клина такъ, какъ только можетъ быть влюблена утонченно-мечтательная свѣтская дѣвушка. И когда онъ разъ, во время урока, впился ея въ плечико, иначе сказать, чмокнулъ, или, еще иначе, обжегъ ее своимъ пламеннымъ поцѣлуемъ и заставилъ вздрогнуть, дѣвушка

ка рѣшилась объявить своей маман, что она или умретъ, или выйдетъ замужъ за Клина. И это непременно случилось бы; маман ни за что не рѣшилась бы заставить плавать или хандрить дочь свою и, скрѣпя сердце, дала бы ей свое согласіе, такъ-какъ, по предписанію доктора, она ни въ чемъ, ни въ чемъ не могла прекословить ей. Маман вѣрила, что малѣйшее нравственное потрясеніе можетъ довести до чахотки милое дитя ея. Съ своей стороны, и Клинь вполне былъ увѣренъ, что дочка выйдетъ за него замужъ и обогатитъ его сотнями тысячъ безъ всякаго нравственнаго потрясенія.

И что же? Въ одинъ прекрасный вечеръ онъ вдругъ провалился... и провалился самымъ загадочнымъ образомъ. У Б—ныхъ были гости, и въ томъ числѣ одинъ молодой гвардейскій офицерикъ; говорили о музыкѣ.— А вы знаете Клина? спросила его хозяйка дома. — Какъ не знать, отвѣчалъ гвардеецъ. — Это таперъ... отличный таперъ... Если вамъ вздумается дать танцевальный вечеръ, скажите мнѣ, у меня есть его адресъ, и я къ вамъ притащу его. Дадите ему какихъ-нибудь пять или десять рублей, и онъ будетъ играть у васъ всю ночь до разсвѣта. Какъ же не знать Клина!

— Егора Антоновича? поблѣднѣвъ, спросила его влюбленная дочка.

— Ну, да, да, Егора Антоновича!

Гвардейскій офицеръ проговорилъ все это безъ всякой задней мысли, безъ всякаго злого умысла.

Клинь былъ охотникъ кутить на чужія деньги и, дѣйствительно, въ качествѣ тапера не разъ участвовалъ на кой какихъ пивникахъ, и не разъ въ компаніи, гдѣ-нибудь на островахъ или за Выборгскою, на разстроенномъ роялѣ отжаривалъ польки и кадрили, такъ что струны звенѣли и лопались, а подъ его музыку наши юные джентльмены канканировали, и дамы ихъ такъ высоко поднимали ноги, что небу становилось жарко.

Офицеръ не вралъ и даже не подозрѣвалъ, какой ушатъ холодной воды вылилъ онъ на разгоряченную голову влюбленной свѣтской барышни.

„Таперъ! И я буду таперша? Это ужасно!“ подумала она (аристократическая струнка сильно была затронута). На другой день она притворилась больной, и недѣли черезъ двѣ Клинь по-

лучилъ записку съ просьбой — не безинокитесь, такъ-какъ уроки музыки прекращаются, потому что „тапан собирается за-границу“.

Какъ подумаешь, отъ какихъ пустяковъ зависить иногда судьба человѣка!

Клинъ хотя и не былъ влюбленъ, но пришелъ въ бѣшеное отчаяніе. Онъ понялъ, что совершилось что то совершенно для него непонятное... Онъ написалъ ей тайное письмо, напомнилъ ей клятвы и увѣренія ея, но отвѣта не получилъ и заболѣлъ разстройствомъ печени. Но ни холодъ *ледяного* свѣта, ни бездарныя ученицы, ни ихъ капризныя мамоньки, ничто, ничто не могло бы сокрушить уже нѣсколько раздраженнаго и грубоватаго Клина, если-бы музыка, его собственная, имъ самимъ высиженная и пущенная въ свѣтъ музыка, не принималась публикой съ такимъ убійственнымъ равнодушіемъ, съ какимъ смотритъ она на цыплятъ, высиженныхъ курицей. Никто почти не повуцалъ нотъ или пьесъ, подписанныхъ его именемъ; даже тѣ великіе міра сего, которымъ посвящаль онъ свои марши и фантазіи, были равнодушны къ нему и не рекомендовали его, кому слѣдуетъ. Клинъ началъ серьезно задумываться надъ вопросомъ: неужели такъ-таки онъ танеромъ и кончить?

Неудачи эти бѣсили Клина, терзали, мучили, сдѣлали его хмурымъ, злымъ, грубымъ, завистливымъ и раздражительнымъ. Увы, гениальный для своей собственной особы, онъ былъ для тогдашнихъ артистовъ и композиторовъ величина едва замѣтная, т. е. не орелъ и даже не воронъ, а цыпленокъ, предназначенный для кухарки или для повара.

Но не кухарка и не поваръ, — сама судьба зарѣзала талантъ его.

Клинъ, къ сожалѣнію, серьезно не протелъ ни одной музыкальной школы (тогда о русскихъ консерваторіяхъ еще не было и помину). Онъ былъ почти самоучка, и, что всего досаднѣе, долженъ былъ не только давать уроки, но и поступить на государственную службу, ради насущнаго куска хлѣба.

Тѣ-же самые офицеры, которые канканпировали подъ его музыку и прославили его, какъ тапера, доставили ему случай и рекомендацію поступить на службу въ военное министерство. И онъ поступилъ, но и это не поколебало его вѣры въ пророчество его матери!

Ознакомившись съ канцелярскими правами и порядками, онъ скоро получилъ мѣсто столоначальника и сталъ копить деньги. Но чтобъ имѣть ихъ какъ можно больше, онъ ничѣмъ не пренебрегалъ,—ни уроками музыки, по большей части въ средѣ своихъ начальниковъ, ни канцелярскими дѣлами, тайну которыхъ постигъ онъ довольно скоро, благодаря той практической сметѣ, которую наследовалъ отъ своей покойной матери.

И вдругъ—кто бы это могъ подумать?—Клинь влюбился.

Влюбился... и женился на дочери бѣднаго почтайтскаго чиновника, на Марьѣ Ивановнѣ, по фамиліи Андреевой.

Какъ могло это случиться? Этого Клинь самъ никогда ни понять, ни объяснить себѣ не могъ. Для него это было что то вродѣ затмѣнія, ибо съ юныхъ лѣтъ деньги любилъ онъ съ такою же страстью, какъ и музыку, о женщинахъ былъ самаго невысокаго мнѣнія, былъ расчетливъ до того, что рѣдко за двугривенный рѣшался сѣсть на извозчика, и питался Богъ знаетъ чѣмъ—въ подвальныхъ ресторанахъ или у самыхъ дешевыхъ вухмистеровъ.

ГЛАВА IV.

Удивительное дѣло! Клинь не былъ изъ числа людей съ нѣжнымъ сердцемъ, но когда прикасался клавишей, въ игрѣ его иногда звучали струнки такого нѣжнаго, страстнаго чувства, что молодая барыня прекращала свою болтовню и начинала слушать его съ полураскрытыми губками. Клинь мечталъ, по крайней мѣрѣ, нажить сто тысячъ, и женился на бѣдной, такъ-какъ соблазнить эту бѣдную ни музыкой, ни поцѣлуями, ни письмами не было никакой человѣческой возможности.

И какимъ-же невыносимымъ, какимъ раздражительно-грубымъ проявилъ онъ себя въ семейной жизни! Вообще, что можетъ быть хуже для жены, какъ мужъ изъ числа неудавшихся поэтовъ или композиторовъ? Это во сто разъ хуже, чѣмъ неудавшійся чиновникъ или кутила.

Время шло и годы уходили.

Жена Клина оказалась женщиной необыкновенной: она поняла мужа и уже давно успѣла завалить себя въ невозмутимости. Клинь

воображалъ, что своей женитьбой онъ испортилъ всю свою карьеру, навсегда убилъ въ себѣ артиста и волей-пехолей окончательно превратился въ чиновника, тогда какъ въ сущности званіе то чиновника и спасло его отъ неминуемой нищеты и окончательной гибели (въ матеріальномъ отношеніи).

— Убирайся вонъ, шлюха! кричалъ онъ, бывало, на жену свою. — Ты только и умѣешь, что модничать да хвостомъ вилать! кричалъ онъ на дочь свою. — Изъ тебя, поросенка, ничего не выйдетъ. Молчать! кричалъ онъ на сына.

Жена преспокойно уходила, дочь раздражалась и плакала, сынъ, похожій на мать, стойко выносилъ страшныя истязанія за то, что не имѣлъ гениальныхъ способностей къ музыкѣ (отецъ самъ училъ ихъ, и сына, и дочь, почти такъ-же, какъ учатъ молодыхъ рекрутовъ, и, разумѣется, играть они выучились, но артистами не сдѣлались.)

Клинь мысленно обвинялъ жену свою и за то, что ради нея онъ вынужденъ былъ нанимать квартиру у чорта на куличкахъ, въ концѣ пятнадцатой линіи Васильевскаго острова, и за то, что отсталъ отъ общества, и за то, что постарѣлъ, и за то, что она горда и не молится на него; дочь — за то, что обязанъ не только обувать и одѣвать ее, но еще и платить за ея воспитаніе; сына — за то, что изъ него не выйдетъ первокласснаго артиста, способнаго затмить имена музыкальныхъ враговъ его.

Петя четырнадцати лѣтъ уже игралъ не дурно, читалъ ноты, т. е. могъ играть à livre ouvert, но, удивительное дѣло, уже ни въ какой концертъ нельзя было залучить его.

Общество Клина состояло изъ чиновниковъ военнаго покроя, играющихъ въ преферансъ по маленькой, и изъ отставныхъ музыкантовъ стараго театральнаго оркестра; послѣдніе иногда приносили съ собою скрипки и до поздней ночи пиликали, усѣвшись вокругъ ломбернаго стола передъ люпитрами съ раскрытыми нотами. Иногда при помощи виолончеля, альты и двухъ скрипокъ разыгрывали они квартеты, иногда акомпанировали хозяйну или его дочери. Это были вовсе не веселые вечера для Марьи Ивановны, супруги Клина: нужно было освѣтить комнаты, подать чай, ромъ, сухари, пять-шесть бутылокъ пива, иногда закуски, и все это надо было справить на очень скудныхъ средствахъ, отпускаемыхъ ей на расходы скареднымъ мужемъ. Петя обыкновенно

новенно какъ можно раньше уходилъ въ свою комнату, иногда вмѣстѣ съ Ознобинимъ, принимался за уроки и искренно желалъ часа на два, на три оглохнуть, чтобъ не слышать этихъ звуковъ, которые черезъ стѣны и коридоръ доносились до ушей его.

Но и эти вечера прекратились какъ-то сами собой; характеръ же Егора Антоновича становился все невыносимѣе и невыносимѣе.

Наконецъ, какъ видно, и у Марьи Ивановны всякое терпѣнiе лопнуло; она ушла... и написала письмо къ своему мужу, что жить съ нимъ не станеть, изъ боязни потерять всякое уваженiе дѣтей своихъ, сына и дочери.

Клину никогда не былъ ревнивъ да и не сталъ бы ревновать къ женѣ, давно уже утратившей не только красоту, но и всякое подобiе прежней миловидности, — къ женѣ состарившейся, поблекшей. Онъ не ревновалъ-бы и въ такомъ случаѣ, еслибъ даже не зналъ, что она ушла къ своей старой пансионской подругѣ и крестной матери Пети, тоже пожилой уже женщинѣ, у которой былъ мужъ, дѣти и свой собственный домъ на Гороховой. Онъ тотчасъ же послалъ ей паспортъ на отдѣльное жительство, сталъ какъ-будто тише, но и гораздо угрюмѣе. Дочь не смѣла просить у него денегъ, сынъ не смѣлъ говорить ему о своихъ нуждахъ. Онъ сзудилъ свои расходы до микроскопическихъ размѣровъ, и мало-по-малу пересталъ обращать вниманiе на дѣтей своихъ. Ему было все равно, гдѣ они и съ кѣмъ они. Только за объѣдомъ иногда доставалось имъ — Анютѣ за то, что она позволяетъ брату повѣсничать, а Петѣ за то, что Анюта жалуется на его упрямство или озорничество. Клину воображалось, что они наблюдаютъ другъ за другомъ и что въ случаѣ чего-нибудь непременно другъ друга выдадутъ.

Марья Ивановна не хотѣла даромъ жить на хлѣбахъ у своего друга, Елизаветы Гавриловны Померанской, и въ домѣ ея поне-многу сдѣлалась чѣмъ-то вродѣ ключницы: утромъ она хлопотала, заказывала обѣдъ, посылала за провизией, платила по счету лавочникамъ, а по вечерамъ затворялась въ своей комнатѣ, на дѣвала очки, читала или вязала шерстяные чулки на продажу или бесѣдовала съ Ознобинимъ, который раза два въ недѣлю навѣщалъ ее и приносилъ самыя свѣжiя новости о томъ, что дѣлается въ ея семьѣ. Петя также приходилъ къ ней по праздни-

кашъ, но по большей части присоединялся къ своимъ сверстникамъ, сыновьямъ Померанской, которые тоже были гимназистами, хоть и въ другой гимназiи.

— За что вы насъ любите? спросила разъ сильно постарѣвшая Марья Ивановна Ознобина. — Какая вамъ выгода репетировать съ моимъ сыномъ? Вѣдь мой мужъ, я полагаю, за это ни копейки не платитъ вамъ.

— Я васъ за то люблю, что вы спасли меня. Когда я въ первый разъ зашелъ къ вамъ, узнавши, что вы ищете репетитора, я былъ въ такомъ настроенiи духа, что готовъ былъ, какъ дуракъ, руки на себя наложить, и вдругъ... э... около васъ... почувствовалъ я себя, точно у себя въ родномъ домѣ, точно... э... покойная мать моя воскресла... и приняла меня и приголубила.

— Чѣмъ же я васъ приголубила?

— Я и самъ не знаю... Вѣдь... э... я... только тому и вѣрю, чего не знаю или чего не понимаю. Еслибъ я далъ себѣ отчетъ, отчего я люблю... э... ну, вашего Петра... пожалуй, я бы, чего добраго, разлюбилъ его.

Ознобинъ не говорилъ въ сущности „э“, но этой буквой я хочу только выразить, что, разговаривая, онъ иногда въ промежуткѣ между словами тянулъ голосъ, точно не вдругъ находя нужное ему слово. Но бывали и такія минуты, когда этихъ тягучихъ промежутковъ и не было. Это значило, что онъ находился въ особенно-возбужденномъ состоянiи или въ припадкѣ краснорѣчiя.

— Стало бытъ, я и вѣрить вамъ, батюшка, не должна, когда вы хвалите дочь мою Аняту или Петю... Вы, значить, и сами не знаете, хороши ли они на самомъ дѣлѣ или нѣтъ, а только вѣрите.

Ознобинъ усмѣхнулся.

— А какъ вы думаете, сталъ онъ пояснять, — развѣ вѣра — не та же мысль? Вѣра — такой же выводъ изъ наблюденiй, только изъ наблюденiй бессознательныхъ. Анна Егоровна будетъ хорошая хозяйка, ну и только, больше я отъ нея ничего не жду; а Петя... э... Петя далеко поидетъ... иногда онъ... э... просто поражаетъ меня быстротою соображенiй, да и сердце у него золотое. Вы думаете, такъ онъ и поддастся влiянiю Померанскихъ? Нѣтъ, онъ не изъ тѣхъ, которые поддаются...

— Извините, я знаю, что онъ поддается; въ этомъ вы меня не переувѣрите.

— Ну, а можетъ быть, и переувѣрю. Намедни мы ѣдемъ съ нимъ въ санихъ, онъ и говоритъ: Ознобинъ, скажите, кто будетъ извозчикомъ, если мы всё будемъ равны и если ни онъ, ни я не захотимъ править лошадыю? Видите, на какой вопросъ съѣхалъ! А въ этотъ вечеръ Померанскіе толковали ему, что всё равны и что онъ скотина, если думаетъ иначе. Я на это цѣлый часъ, по приѣздѣ домой, толковалъ ему, что дѣйствительно всё мы равны передъ идеаломъ справедливости, что идеаль этотъ каждый вѣкъ понемногу осуществляется и, насколько мы выросли или развились, проявляетъ себя въ нравахъ, въ законахъ, въ политическихъ учрежденіяхъ или въ тѣхъ общественныхъ формахъ, которыя признаются большинствомъ; если же эти формы и мѣняются, то не иначе, какъ приближаясь къ тому же идеалу справедливости; если же онѣ удаляются отъ него, то значить, что мы сами или идемъ назадъ, или нравственно падаемъ. И... э... началъ опять тянуть Ознобинъ, — онъ это понялъ.

Такіе разговоры были года три или четыре тому, когда Анютѣ было восемнадцать лѣтъ, а Петѣ около четырнадцати.

Съ тѣхъ поръ Марья Ивановна отправилась на тотъ свѣтъ... Петя подросъ. Ознобинъ цѣлый годъ пропадалъ, а у самого Клина стали въ головѣ мелькать инныя мечты и соображенія. Онъ все еще вѣрилъ въ пророчество своей матери...

ГЛАВА V.

Пожилой Клинь, этотъ великій артистъ сороковыхъ годовъ, конечно, самъ не сознавалъ, что онъ былъ въ то же время и великимъ невѣждею и что это невѣжество въ его холостые годы помѣшало ему развить свой музыкальный талантъ; оно же помѣшало ему быть счастливымъ и въ своей семейной жизни. Клинь радовался, что избавился отъ жены, и радовался, что избавился отъ дочери.

Но все-таки, несмотря на эту радость, онъ цѣлую недѣлю былъ угрюмъ и мраченъ, когда въ чужомъ домѣ умерла жена его; и все-таки — тоска не тоска, совѣсть не совѣсть, а что-то назой-

ливо безпокойное залѣзало въ самую глубь его души съ тѣхъ поръ, какъ въ домѣ его перестали раздаваться шаги и голосъ его дочери.

Всякій разъ, когда Клинь возвращался домой изъ канцеляріи или съ уроковъ (онъ еще въ двухъ домахъ давалъ уроки), или изъ гостей, онъ ожидалъ, что Мавра или Петя встрѣтятъ его словами: „А къ намъ заѣзжала Анюта съ мужемъ“, или: „А къ вамъ, сударь, письмецо отъ Анны Егоровны!“ Но проходили дни и недѣли, а о ней ни слуху, ни духу, — словно въ воду канула.

Наконецъ какъ-то утромъ Клинь рѣшился заговорить. Ему почему-то вообразилось, что и Мавра, и Петя что-то такое знаютъ, но скрываютъ отъ него.

— Ну, что Мавра, — почему фунтъ говядины? Опять на копейку дороже... Вотъ и живи!.. Эдакая подлость! По крайней мѣрѣ, прежде такса была, — помнишь, чай!

— Какъ не помнить! Говядина одинадцать копеекъ продавалась, самая лучшая... что ни на есть.

— Ну, а ничего не слыхала ты о нашей-то дурѣ? О бѣг-лянкѣ-то?

— Ничего, сударь мой, не слыхала.

— Да ты не ври, старая! Заѣзжала она къ брату? А?

— Нѣтъ, никого не было... Одинъ господинъ Ознобинъ заходилъ.

— Ну... Ознобинъ! Очень мнѣ нуженъ твой Ознобинъ.

— Побожиться не грѣхъ, oprичъ его никого, сударь, не было.

— Вѣдь я... еслибы я захотѣлъ... я бы его, этого Духова, въ бараній рогъ согнулъ. Я могъ бы въ тотъ же день изловить ихъ, — въ тотъ же день... Еслибы я захотѣлъ, они, каналы, на днѣ морскомъ отъ меня не спрятались бы... Ну, да чортъ ихъ возьми совсѣмъ!

— Ахъ, какъ это родному отцу да такія слова!.. Долго-ли до грѣха!.. качая головой, укоризненно проговорила Мавра.

— Я чортъ знаетъ что могъ-бы съ ними сдѣлать! Стоило только свистнуть, Трепову донести... Но я добръ! Я очень добръ. Вотъ мое несчастіе. Вѣдь ты, Мавра, давно меня знаешь — десять лѣтъ съ хвостикомъ живешь у насъ — ну, говори: добръ я или нѣтъ?

— Не то, чтобы очень добры, и не то, чтобы очень злы,

комически присѣдая и разводя руками, проговорила Мавра своимъ симпатически-скрипучимъ голосомъ.

Клинь не ожидалъ такого отвѣта и изподлобья поглядѣлъ ей въ лицо.

— Гм, значить, середка на-половинѣ, проямлилъ онъ, уже оглядывая сапоги свои. — Ну да... я добръ, но ужь если я золь, то ужь золь и шутить не люблю... Поди, скажи Петѣ, чтобъ онъ не громко читаль, — надоѣлъ; въ кабинетѣ слышно. Ну, что же ты стоишь, убирайся!

Мавра ушла.

Клинь, въ старомъ халатѣ, вышелъ въ столовую, подошелъ къ этажеркѣ, снялъ съ нея кину нотъ и сталъ, сильно щурясь, перебирать тетрадь за тетрадью и просматривать ихъ. Сколько воспоминаній вѣяло съ этихъ страницъ, испещренныхъ нотными знаками. Вотъ та концертная пьеса, которую играла дочь его и за которую больно доставалось ей. Вотъ то алегро, на которомъ сбился съ такта бѣдняга Фрицъ и такъ былъ сконфуженъ, что дня три не присылалъ за своей свиркой. А вотъ и его собственное сочиненіе „Чумаки“. Боже мой, какая старина! Это игралъ онъ еще при покойномъ Николаѣ Ивановичѣ Гречѣ, и самъ Гречъ похвалилъ его, сказавъ: „степью вѣтъ“... Вотъ это Кашевскій при немъ разыгрывалъ въ домѣ Штаконштейндера; потомъ тоже поступилъ на службу чиновникомъ, и еще пропалъ одинъ музыкантъ! А гдѣ теперь этотъ голубоглазый юноша Христіановичъ? Я еще въ Москвѣ съ нимъ познакомился. Кажется мнѣ, я ему не очень-то понравился! Ну, да мало-ли что! Не на всякаго угодишь. Вонъ Рубинштейну попробуй-ка угодить! А вѣдь тоже Антоновичъ, какъ и я, подумалъ, вздохнувши, Клинь. Видно не всѣмъ Антоновичамъ на-роду счастье написано. А я, можетъ быть, былъ бы и не хуже...

И, положивъ ноты на мѣсто, Клинь перешелъ въ маленькую гостиную и проворчалъ: „безъ очковъ и ноты плохо разбирать могу, лучше и не пробовать! Да ужь и пальцы потеряли свою прежнюю гибкость“. Но на этотъ разъ Клинь не долго мечталъ о музыкѣ и о своихъ неудачахъ; онъ сталъ глядѣть въ окно, и мысль о дочери опять овладѣла имъ.

„Вѣрно еще не повѣнчалась, — бутить. — И затѣмъ онъ отошелъ отъ окна, направился въ свою комнату, прилесть на клеен-

чатый, скрипучій диванчикъ и предался раздумью. — Гм!.. конечно, до вѣнца и носу не покажетъ, знаетъ, что прогоню. А можетъ быть, и не вѣнчаютъ, пощъ заартачился... Фу, какая это глупость... взрослыхъ болвановъ и пожилыхъ дѣвокъ не вѣнчать безъ родительскаго дозволенія! Очень нужно! Я бы и позволилъ, да чорта съ два!.. Шутка сказать, чего стоятъ эти проклятыя сватьбы! Толи дѣло... обвѣнчаться тайкомъ, такъ, чтобы ни гостей, ни ужиновъ, ни шампанскаго. Я тоже былъ дуракъ, женился, какъ слѣдуетъ, — и чего это мнѣ стоило! Все, что скопилъ, все пошло... чортъ знаетъ куда!“

И Клинь сталъ мысленно припоминать и считать, во что обошлась ему нѣбогда скромная сватьба его.

Все онъ припомнилъ съ необыкновенной ясностью и даже плюнуть: такъ ему все это показалось и дорого, и глупо.

„А теперь все стало дороже, рѣшительно все, продолжалъ думать Клинь.— Надѣлали этихъ желѣзныхъ дорогъ, дали волю этимъ протоканальямъ, и все вздорожало! Прошу покорно! И что это за законъ — давать приданое! Не законъ, а обычай, и какой глупый обычай! Я-же воспитывалъ, я-же и плати. Нѣтъ, толи дѣло безъ всякаго позволенія!..“

И въ негодованіи на глупый обычай, онъ опять задалъ себѣ вопросъ: отчего это о дочери его ни слуху, ни духу?

Но пока Клинь предавался меланхолии и пока въ то же время поглядывалъ на часы, чтобы не пропустить времени — пѣшкомъ отправиться къ генералу, черезъ заднее крыльцо въ кухню просунулась рука какого-то мальчугана въ тулупчикѣ и подала Маврѣ пакетъ.

— Къ кому? спросила Мавра. — Мнѣ, что ли? А?

— Петру Егорычу, Петѣ.

— Да зайди погрѣться, милый! Чего торопишься?

Но мальчуганъ не зашелъ, и не успѣла вухарка принять письмо изъ рукъ его, какъ онъ уже застучалъ своими сапоженками внизъ по ступенькамъ черной лѣстницы.

Петя сидѣлъ у себя на постели въ однихъ еще брюкахъ и не то примѣрялъ, не то прилаживалъ къ стоптаннымъ сапогамъ стальные коньки, еще съ вечера взятые имъ на время у одного изъ товарищей. Онъ собирался воспользоваться праздничнымъ днемъ и отправиться на катокъ, гдѣ въ этотъ день отъ двѣнадцати до

четыре часовъ играла военная музыка. Стоптаннне каблукы сильно его озадачили и онъ самъ еще не зналъ, пойдеть-ли онъ или нѣтъ.

Вдругъ является Мавра: на лбу ея собираются морщины; она поднимаетъ сухую, жилистую руку, лукаво ухмыляется и дразнить его какой-то записочкой.

У Пети забилось сердце, одинъ сапогъ съ подвязаннымъ конькомъ свалился на полъ, и записка мигомъ очутилась въ рукахъ его, мигомъ былъ разорванъ пакетъ и прочтено письмо слѣдующаго содержанія:

„Голубчикъ Петя, пишу тебѣ по секрету; поздравь меня: я замужемъ. Два дня тому, какъ мы обвѣнчаны—и знаешь, гдѣ? Въ Колпинѣ, куда мы ѣздили по желѣзной дорогѣ. Пожалуйста, сегодня въ воскресенье, къ двѣнадцати часамъ, приходи къ намъ на чашку шеколада,—ради Бога приходи, мнѣ очень нужно переговорить съ тобой. Итакъ до свиданія, мой милый.

„А что папа?“

Въ концѣ письма былъ приложенъ адресъ. Квартира оказалась на Выборгской, неподалеку отъ артилерійской академіи.

Петя въ короткихъ словахъ передалъ Маврѣ содержаніе записки. Мавра, усмѣхаясь, чуть не до ушей вытянула ротъ свой, перекрестилась и вышла. Эта старая, сгорбленная, морщинистая и безграмотная Мавра была отчасти повѣренной стараго барина, отчасти повѣренной молодого Пети. Какъ кошка привыкла она къ стѣнамъ своей кухни, и какъ собака, была привязана къ семейству Клина, въ особенности къ покойной Марьѣ Ивановнѣ. Несмотря на то, что Клинь раза два чуть было не поколотилъ ее, она и за нимъ ухаживала, какъ нянька.

Жалованья получала она всего только 4 рубля въ мѣсяцъ, часто сама голодала, не разъ грозилась бросить домъ и уйти на другое мѣсто; но всѣ эти угрозы на другой-же день вылетали изъ головы ея, и она оставалась. Кромѣ нея никакой другой прислуги въ домѣ не было. Подозрительный Клинь довѣрялъ ей едва ли не болѣе, чѣмъ своимъ собственнымъ дѣтямъ.

ГЛАВА VI.

Еслибы не призывъ сестры и не страстное любопытство узнать какъ можно скорѣе все, что случилось съ ней, и какой онъ и

какая жизнь ихъ, этихъ Духовыхъ, узнать все до малѣйшихъ подробностей, — Петя въ это утро сильно-бы жалѣлъ, что стоптанный каблукъ, а главное, прорванное мѣсто у самой подошвы лѣваго сапога помѣшаютъ ему воспользоваться случаемъ покататься на конькахъ и доказать этому Охлопину (одному изъ учениковъ 8 класса), что онъ не хуже его можетъ скатиться съ ледяной горки, даже на одной ногѣ, хоть, можетъ быть, и не съумѣетъ по льду вензелей писать.

Надѣвъ шинель и кепи, Петя безъ калошъ сбѣжалъ съ задней грязноватой лѣстницы, вышелъ на улицу и сталъ соображать: можно-ли по Невѣ пройти ему на Выборгскую сторону? На извозчика у него не было денегъ, рассчитывать, что сестра заплатитъ, онъ не смѣлъ, такъ-какъ сестра въ своей запискѣ не довѣрила: „пріѣзжай на мой счетъ“.

Въ счастію, погода стояла довольно мягкая, моросилъ снѣжокъ и вѣтеръ былъ съ моря, значить попутный; не морозило и не таяло... Петя рѣшился идти пѣшкомъ, и все время воображалось ему, что мужъ сестры его — тотъ самый высокій брюнетъ съ задумчивымъ лицомъ, который танцевалъ съ ней мазурку у Радольновыхъ и отъ котораго вѣяло на него чѣмъ-то поэтическимъ. Онъ боялся оробѣть, показаться маленькимъ въ его присутствіи; онъ боялся, что этотъ необыкновенный человѣкъ найдетъ его недостаточно развитымъ, но что онъ, Петя, все-таки будетъ стараться понять его — и, если это точно человѣкъ не заурядный, онъ пойдетъ по слѣдамъ его.

Молодые ноги его, подгоняемыя попутнымъ вѣтромъ и охватываемыя полами сѣрой гимназической шинели, несли его такъ быстро, что въ какіе-нибудь полчаса онъ уже былъ у Литейнаго моста.

Свѣрившись съ адресомъ, онъ пошелъ по направленію къ выборгской желѣзной дорогѣ, завернулъ въ небольшой переулочекъ и остановился у двухъ-этажнаго каменнаго домика.

— Здѣсь квартируетъ Духовъ? спросилъ онъ дворника, который только-что отворилъ ворота для того, чтобъ пропустить два воза съ дровами.

— А не знаю... я здѣсь не давно. Не слышать чтой-то... Какъ вы его называть изволите?

— Духовъ.

— Не... не слышать... можетъ, по сосѣдству... али гдѣ на дворѣ.

Но въ это время выбѣжалъ изъ-подъ воротъ мальчишка въ тулупчикѣ, блѣдный, подслѣповатый и въ огромной шапкѣ, очевидно съ чужой головы; обращаясь къ Петѣ, онъ спросилъ его: Вамъ кого? Вы Петя Клинь? Пожалуйте.

И со двора онъ повелъ его по узенькой каменной лѣстницѣ на верхъ, обшлагомъ изъ вытертаго мѣха провелъ себѣ подъ носомъ и сталъ звонить, не переставая осматривать Петю съ ногъ до головы.

Какъ ни была мала квартира Духова, но на Петю новое гнѣздо сестры произвело довольно пріятное впечатлѣніе.

Изъ передней налѣво шла дверь въ кухню, и всякій, кто снималъ шинель или шубу (стоило ему только потянуть въ себя струю теплаго воздуха), чувствовалъ аппетитъ свой удвоеннымъ, — такъ пахло кухней или всѣмъ тѣмъ, что въ ней готовилось.

Направо были двѣ комнаты, изъ которыхъ первая была чѣмъ-то вродѣ гостиной, вторая — кабинетомъ и маленькой спальней съ ситцевыми занавѣсками, на которыхъ рѣзко бросались въ глаза красные піоны, лиловые листья и голубые амуры. За занавѣской стояли кровати; кушетка и два кресла были обиты точно та-кимъ-же ситцемъ, такъ-что молодая со всѣхъ сторонъ была окружена голубыми, стрѣляющими изъ лука, амурами. Петя, конечно, былъ встрѣченъ поцѣлуями сестры и тотчасъ-же представленъ Родіону Петровичу Духову.

Петя сильно сконфузился и даже какъ будто обидѣлся за себя и за сестру свою. Герой его похищенной сестры, созданный его воображеніемъ, такъ-же былъ похожъ на героя, какъ заяцъ на льва.

Невысокій, круглолицый, голубоглазый, съ выбритымъ подбородкомъ, стриженный подъ гребенку, въ очкахъ и въ форженномъ учительскомъ вицмундирѣ, Духовъ произвелъ на Петю впечатлѣніе чего-то казеннаго, зауряднаго, чего-то такого, что никакъ не могло примириться съ идеаломъ его фантазіи.

Когда Петя впервые долженъ былъ поцѣловать его мягкую и пухлую щеку, ему показалось, что онъ цѣлуетъ того самаго лавочника, который у Средняго проспекта продаетъ муку, сало и стеариновыя свѣчи.

— Очень радъ, очень радъ! пробормоталъ Духовъ и, крѣпко пожимаая руку Пети, сталъ пристально вглядываться въ лицо его.

Петя видимо оторопѣлъ и приостановивъ на немъ черные, пронизательные глаза свои, тотчасъ-же повернулъ ихъ въ сторону, и не безъ удивленія увидѣлъ розовое, улыбающееся личико сестры. „Какъ-же это такъ? подумалъ онъ. — Вотъ ужъ тутъ я ровно ничего не понимаю“!

Сестра Анюта не была, въ полномъ смыслѣ слова, красавицей. Она была просто хорошенькая; у нея были темно сѣрые, небольшіе глаза, широкія темныя брови и необыкновенно правильный, точно выточенный носикъ, — словомъ, она походила на своего отца въ тѣ годы, когда еще у Егора Антоновича веки не были сморщены, а брови были темны и даже лоснились. Но, сравнительно съ своимъ юнымъ супругомъ, въ глазахъ Пети она показалась совершенствомъ, и онъ никакъ не могъ понять, какъ такой увалень могъ не только влюбиться, но и увезти ее, и какъ его сестра могла втюриться въ такого тюлена.

— Ну что-жь, *de gustibus non est disputandum*, вдругъ пришло ему въ голову, и Петя вдругъ почему-то успокоился, даже сталъ оглядывать гостей, у которыхъ только ноги онъ и могъ замѣтить въ первую минуту встрѣчи и знакомства съ своимъ *beaufrère*’омъ.

— Анюта, поподчуйте брата! сказала Духовъ и обратился къ гостямъ своимъ — сухошавому священнику, въ свѣтлокоричневой шелковой рясѣ, съ длиннымъ, краснымъ лицомъ и съ рѣденькой мочалкою вмѣсто бородки, отцу Филипу, и къ своему сослуживцу, учителю математики, человѣчку сѣренькому, худенькому, тонко улыбавшемуся на каждое произносимое при немъ слово.

Анюта увела брата, усадила его на кушетку съ піснами и голубыми амурами и уже съ озабоченнымъ лицомъ начала его разспрашивать.

— Ну что, очень сердитъ?

— Сердитъ-то, можетъ быть, и сердитъ, да не очень.

— И ты думаешь, онъ проститъ меня?

— Ну, этого я не знаю. Призывалъ Мавру, приказывалъ ей не пускать тебя.

— Не пускать! Неужели?

— Ну да, говорю, что знаю.. Впрочемъ, помани мое слово,

простить-то онъ простить, а денегъ все-таки не дастъ, хоть и попросишь.

Анюта задумалась, брови ея сдвинулись, ноздри хорошенькаго носика дрогнули.

— Что деньги! какъ-то нерѣшительно протянула она. — Не въ деньгахъ счастье.

Братъ поглядѣлъ на сестру.

— А въ чемъ-же?

— Въ любви, въ свободѣ, произнесла она такимъ тономъ, какимъ произносятся заученныя фразы, смысла которыхъ мы и сами хорошо не понимаемъ, но чувствуемъ, что въ этихъ фразахъ звучать какія-то очень высокія ноты.

„Въ любви, въ свободѣ“! мысленно повторилъ Петя. Но ему не было времени долго думать ни о любви, ни о свободѣ.

— А можно попробовать? спросила Анна.

— Что?

— Сдѣлать ему визитъ?

— Когда?

— Да когда Родиону Петровичу будетъ свободно. Вѣдь я, ты знаешь, даже собственныхъ вещей не взяла, у меня остались и подушки, и юбки, и бѣлье, и даже тотъ ящичекъ, который мама подарила мнѣ—помнишь?—и тотъ остался.

— Ну, это я какъ-нибудь привезу къ тебѣ; вѣдь это тотъ самый, что у тебя на этажеркѣ, внизу?

Въ эту минуту, пожилая, толстая горничная (она же и кухарка), принесла подносъ съ чашкою шеболада и стала подчивать Петю.

— Ты опоздалъ, замѣтила Анна:—мы уже свою порцію давно выпили, тебѣ оставили на всякій случай... я ужъ и не думала, что ты сегодня у насъ будешь. По воскреснымъ днямъ ты вѣдь рѣдко бываешь дома—то на каткѣ, то у Померанскихъ.

— А бисквиты есть? спросилъ Петя, принимаясь за чашку.

— Есть, все есть.—Эмма! Принесите, тамъ корзинка стоитъ съ бисквитами...

— Такъ какъ же ты думаешь? вновь приступила Анна къ брату съ своими разпросами, не безъ удовольствія убѣдившись, что для Пети еще осталось нѣсколько бисквитовъ.

Но Петя, казалось, ни о чемъ не думалъ; онъ только удив-

лялся — удивлялся избраннику сердца сестры своей, удивлялся и тому, что его Анюта точно три года замужемъ, точно давнымъ давно вошла въ роль свою—въ роль жены и хозяйки. И гдѣ она скрывалась до вѣнца? Неужели у этого самаго Духова?!

— А ты по мнѣ не скучаешь дома? спросила Анна.—А что вотъ Васька? Тоже, чай, не замѣчаетъ моего отсутствія? Некому теперь и поворчать на тебя... Ты, быть можетъ, и радъ, голубчикъ, что меня судьба разлучила съ тобой?

И облако грусти впервые какъ-бы слегка отуманило ея личико..

Петя думалъ, что ему отвѣчать, и, допивая шеколадъ свой, промямлилъ:

— Что же мнѣ жалѣть? Я вѣдь зналъ, что тебѣ хуже не будетъ...

Тутъ въ комнату съ занавѣской вошелъ Родіонъ Петровичъ съ гостями и интимный разговоръ брата съ сестрой былъ прерванъ.

Священникъ уже зналъ, что Петя — братъ молодой Духовой, но все-таки началъ съ того, что спросилъ ее:

— Это вашъ братецъ?

— Да, это мой братъ.

По костюму, нашивкѣ и пуговицамъ было ясно, что Петя гимназистъ; но священникъ все-таки счелъ почему-то за нужное спросить:

— Въ гимназіи учится?

— Да.

— Хорошо! А въ которомъ классѣ?

— Да уже въ послѣднемъ. Скоро надо будетъ къ экзамену зрѣлости готовиться.

— Пустое это слово,—экзаменъ зрѣлости. Иной и въ самомъ дѣлѣ вообразить себѣ, что выдержалъ, да ужъ и созрѣлъ. Только рви да кушай. А вы того... обратился онъ къ Петѣ,—вы не боитесь этого экзамена-то зрѣлости? А?

— Это все отъ случая больше зависить, отвѣчалъ Петя.

— Какъ отъ случая?

— Да такъ.

— Не отъ единаго случая—что случай! На Бога надѣйся, а самъ не плошай, говоритъ мудрое народное изрѣченіе... Какъ Богъ дастъ, такъ и будетъ! Спаси Богъ, какое нынѣ пошло невѣріе. Даже въ младенцахъ это замѣтно. Намедни вижу...

у Сени, — племянникъ у меня Сеня, махонькой еще, — на шеѣ креста вѣтъ. — Какъ такъ? говорю. — Чего, дядя, ты ко мнѣ пристаешь? говоритъ. Я къ матери. — Какъ такъ? говорю. — Да потеряетъ, говоритъ. Индо меня взорвало. Какъ, говорю, потеряетъ?! Да какъ онъ смѣетъ потерять! — Крестикъ золотой, говоритъ, долго-ли до грѣха. — Отчего же мы, говорю, были мальчишками, ты тоже дѣвченкой по двору бѣгала, а небойсь мы не теряли... Такъ-то, изволите видѣть, разсуждаютъ наши матери, а еще сама дочь протоіерея... Ужасныя времена переживаемъ мы съ вами, Родіонъ Петровичъ.

Духовъ, слегка приподнявъ плечи, наклонилъ свою стриженую, бѣлобрысую голову, какъ-бы въ знакъ безмолвнаго сокрушенія. Онъ не могъ понять, отчего это вдругъ, ни съ того, ни съ сего, батюшка завелъ такой разговоръ о невѣріи... Ужъ не его-ли онъ подозрѣваетъ въ этомъ невѣріи?

Учитель же математики, Петровъ, улыбнулся и прислонился къ стѣнкѣ, залажа руки за спину.

— А вы? Какъ вы относитесь къ Богу? спросилъ священникъ Петю, пытливо глядя ему въ глаза, какъ-бы стараясь проникнуть въ самую затаенную мысль его. Юноша не ожидалъ такого вопроса и оторопѣлъ. Священникъ явственнѣе и настойчивѣе повторилъ вопросъ свой.

— Я желаю знать, какъ вы относитесь къ Богу?

Духовъ съвздохъ очки устремилъ на Петю выпуклые блѣдно-голубые глаза свои и покраснѣлъ до ушей, какъ-бы отъ напряженнаго ожиданія, что скажетъ Петя.

— Какъ отношусь... Отношусь какъ къ существу невѣдомому, отвѣтилъ сконфуженный Петя.

— Какъ! Какъ къ существу невѣдомому?! Что вы, язычникъ, что-ли?... Это римляне храмъ воздвигали богу невѣдомому, а вы развѣ язычникъ? Развѣ вы не знаете всѣхъ существенныхъ свойствъ божества? Развѣ мало объ этихъ свойствахъ говорится въ книгахъ священнаго писанія? Невѣдомому! Въ какомъ это смыслѣ, позвольте васъ спросить?

Петя поблѣднѣлъ; онъ понялъ, что началось нѣчто вроде экзамена или распеканья.

И распеканье это, къ немалому удивленію Анюты, продолжалось, по крайней мѣрѣ, четверть часа... Духовъ былъ какъ на

иглобахъ; онъ даже раза два изъ-за спины священника подмигивалъ Петѣ, чтобъ онъ молчалъ. Къ счастью Пети, его выручилъ учитель математики.

— И все-таки, сказалъ онъ, — все, что вы, отецъ Филиппъ, говорите, непостижимо для нашего разума. Существо безначальное и всюду сущее, конечно, не можетъ быть постижимо. Можно только вѣрить, но не постигать... а не постигая, мы не можемъ вѣдать, т. е. знать. Какъ абсолютной истины мы никогда не достигнемъ, такъ и Бога.

Священникъ вдругъ почему-то усмѣхнулся, ткнулъ его пальцемъ въ грудь и произнесъ:

— Подите вы съ вашей абсолютной истиной! Экъ философито начитались!

— Не хотите-ли, батюшка, закусить, — пирогъ принесли, доложили Духовъ.

— Да-а-а! Пирогъ... Это вотъ доступно нашему разуму, състрилъ священникъ.

И вмѣстѣ съ хозяиномъ и молодой хозяйкой онъ вышелъ въ гостиную, куда дѣйствительно принесли и уже помѣстили на крытомъ столѣ, между тарелками, еще дымящійся пирогъ съ рыбой, вязигой и рисомъ.

Всѣ трое выпили по рюмочкѣ водки, и религиозное преніе перешло въ бесѣду болѣе мірскаго свойства. Заговорили объ училищномъ совѣтѣ, о производствахъ, о назначеніи новаго директора, о какомъ-то заподозрѣнномъ воспитателѣ и проч., и проч.

Петѣ было досадно, что онъ далъ за себя другимъ отвѣчать, что онъ молчалъ, какъ тюлень, онъ, который такъ много спорить съ товарищами, онъ, котораго Ознобинъ не разъ хвалилъ за діалектическія способности... онъ, который самъ, такъ казалось ему, могъ бы всѣмъ имъ задать такой вопросъ, отъ котораго бы они только рты свои разинули, и что же? Самъ Духовъ дѣлаетъ ему гримасы и даетъ ему знать мимикой, чтобъ онъ не спорилъ. Что же это такое? Вездѣ начальство.

Такъ, улетаая не хуже другихъ порцію пирога, думалъ про себя Петя.

Послѣ сытнаго завтрака онъ удалился въ комнату къ сестрѣ своей и спросилъ ее:

— Что это за священникъ?

Анна отвѣчала, что она еще сама хорошенько не знаетъ; но, кажется, что это законоучитель въ томъ же училищѣ, гдѣ и Родіонъ Петровичъ даетъ уроки.

— Отчего же вы не попросили его васъ обвинять?

— Онъ и хотѣлъ, да вдругъ что-то сообразилъ и раздумалъ: посовѣтовалъ Родіону Петровичу-отправиться куда-нибудь за городъ.

— Струсилъ значить.

— Должно быть, струсилъ, равнодушно отвѣчала Анна; — нельзя же въ его положеніи и не трусить.

— Отчего же ты не струсила и вышла замужъ?

Анна поглядѣла на брата.

— И ты не струсишь, женишься, когда захочешь сдѣлаться мужемъ.

— И по любви... началъ было Петя.

— А ты думаешь, я не по любви?.. Что такое любовь!... Кто себя любитъ, тотъ и поступаетъ такъ, какъ ему пріятно.

— А можно мнѣ будетъ сказать отцу, что я у тебя былъ?

— Какъ хочешь... я не боюсь... что мнѣ!.. Конечно, я бы очень желала, чтобъ онъ не былъ такъ скупъ... могъ бы, кажется, удѣлить мнѣ... ну хоть тысячь десять изъ своего капитала.

— Десять тысячь! Ты думаешь, у него есть десять тысячь!

— Не десять, а, можетъ быть, шестьдесятъ, семьдесятъ... Я это такъ же вѣрно знаю, какъ и то, что я вышла замужъ... И для кого онъ бережетъ свои деньги? Для кого? Вѣдь умретъ когданибудь—намъ же достанется.

Петя поморщился, онъ не повѣрилъ сестрѣ, да и тонъ рѣчи ея далеко уже не тотъ былъ, какимъ она говорила съ нимъ до завтрака; почему-то онъ непріятно на него подѣйствовалъ, и Петя невольно повелъ глазами, какъ бы ища, куда дѣвалъ онъ свой кепи: положилъ-ли на окно или оставилъ въ передней на вѣшалкѣ.

Въ это время Духовъ проводилъ гостей своихъ и вошелъ въ комнату; онъ сталъ веселѣе и какъ-то развязнѣе: чмокнулъ Анюту въ щеку, сказалъ Петѣ, что онъ очень хорошо поступилъ, что не пустился въ разсужденія съ отцомъ Филипомъ, потому что разсуждать съ нимъ о вѣрѣ—дѣло опасное, того гляди усмотритъ ересь и, чего добраго, заподозритъ въ неблагонадежности. По-

казалъ онъ ему и свои книги, которыя стояли на подоконникѣ, корешками вверхъ, и отъ пыли были прикрыты газетнымъ листикомъ; всѣ эти книги по большей части относились къ предмету его преподаванія, заключали въ себѣ разнаго рода путешествія и землеописанія; нѣкоторыя изъ нихъ были съ чертежами, нѣкоторыя съ рисунками.

— Вотъ и вся моя библіотека! заключилъ Духовъ. — Больше пожалуй-что и не надо.

Въ сумерки Петя простился съ нимъ и сестрой своей. Уходя, онъ выносилъ совершенно обратное впечатлѣніе: Духовъ нравился ему нѣсколько больше, а сестра нѣсколько меньше. Во всякомъ случаѣ, онъ думалъ объ нихъ, уже шагая противъ вѣтра, по набережной Невы,—что оба они другъ друга стоятъ. И съ чего это ей приснилось, что отецъ мой богатъ? Похоже-ли на то, что у него *такія деньги!*.. Придетъ же въ голову такая нелѣпая фантазія!..

ГЛАВА VII.

Еслибы старый Клинь спросилъ хоть разъ сына, былъ-ли онъ у Анюты, сынъ несомнѣнно сообщилъ бы ему всѣ подробности своего посѣщенія (за исключеніемъ одной, разумеется: ни слова не сказалъ бы ему о десяти тысячахъ). Отъ Мавры же Клинь узналъ, что дочь его уже обвинчана въ Колпинѣ. И на вопросъ его: почему она это знаетъ?—Мавра отвѣчала: а потому и знаю, что слухомъ земля полнится, а не вѣрите, такъ сами справьтесь...

Клинь ей повѣрилъ. Правдивость старой Мавры слишкомъ была ему извѣстна, она не разъ бѣсила его и выводила изъ терпѣнія. Но если повѣнчались—что же это значитъ? Хоть бы написала, если сама не хочетъ удостоить его своимъ посѣщеніемъ. Наплевала и знать не хочетъ, думалъ Клинь, и при этомъ фыркалъ, какъ бульдогъ, понюхавшій раскрытую табакерку съ нюхательнымъ табакомъ.

Вдругъ, въ одно воскресенье, недѣли за полторы до Рождества, около двухъ часовъ пополудни, въ передней раздался звонокъ, сперва робкій и нерѣшительный, потомъ погромче.

— Мавра, звонять! крикнулъ старикъ черезъ коридоръ въ кухню.

Мавра, вытирая руки, выпачканныя мукой, шаркая подошвами башмаковъ, пошла отворять двери въ сѣни и не безъ сердечнаго трепета впустила Анну Егоровну съ мужчиной.

Сказать имъ, что ихъ не велѣно пускать, у ней не хватило духу; не рѣшилась она и громко выразить свою радость или свое удивленіе.

Прежде чѣмъ успѣла Анна раскутать свою голову, а мужъ ея снять калоши, Мавра заменила за ними дверь и мимоходомъ сказала барину, высунувшему испуганное лицо свое изъ-за полурастворенной двери своего кабинета: „Сами отказывайте, не мое дѣло!“ Клинь скорчилъ кислую мину, показавъ ей кулакъ, притворилъ дверь и, держась за скобку, какъ бы замеръ.

Анюта, въ новенькомъ голубомъ платьицѣ, повязанная бѣлыми галстучкомъ съ узорными кончиками, вошла въ столовую; у ней сильно билось сердце; Духовъ тоже былъ красенъ, какъ ракъ, не то отъ мороза, не то отъ внутренняго волненія.

— Ну что-жь? минутъ пять спустя, спросилъ онъ у жены, которая прошла въ маленькую гостиную съ темными обоями, гдѣ стояла лампа, и, несмотря на душевную тревогу, съ голубыми тѣнями подъ глазами, подошла къ знакомому ей зеркалу и стала обѣими кистями блѣдныхъ, озябшихъ рукъ поправлять на головѣ модную шляпку, нѣчто вродѣ бархатной, черными кружевами отдѣланной шапочки.

Очевидно, ей хотѣлось предстать передъ очи своего родителя въ новомъ видѣ, и всѣ деньги, которыя передала ей Померанская отъ имени ея покойной матери, она употребила на то, чтобъ принарядиться и сдѣлать себѣ новый туалетъ, а не показаться нуждающейся. Она думала, что это одно, что можетъ умилостивить отца.

Духовъ былъ во фракѣ, въ бѣлыхъ замшевыхъ перчаткахъ и въ бѣломъ, нѣсколько помятомъ галстухѣ. Онъ ждалъ скандала и сильно раскаявался, что пріѣхалъ. Онъ былъ не въ духѣ, осматривался и полушопотомъ сообщалъ Анетѣ, чтобъ она постучалась въ дверь къ отцу и одна вошла къ нему.

— Этого онъ не любитъ, тоже полушопотомъ отвѣчала Анна. — Лучше подождемъ... Сядемъ вотъ здѣсь и подождемъ.

— Гдѣ же это братишка твой, хотѣ бы онъ... началъ было Духовъ, присаживаясь; но въ эту минуту скрипнула кабинетная дверка и, застегивая на пуговицу домашній изъ сѣраго сукна сюртукъ свой, рѣшительными шагами, насупая и щура глаза, въ гостиную вошелъ самъ Егоръ Антоновичъ.

Мелькомъ взглянулъ онъ на дочь, приостановился на порогѣ и спросилъ:

— Зачѣмъ, сударыня, изволили пожаловать?

— Честь имѣю, папа, рекомендовать — мужъ мой Родіонъ Петровичъ, забываясь проговорила она.

— А, это вашъ мужъ! Я не зналъ, что вы замужете, сударыня.

— Я, папа, писала вамъ.

— Вы изволили сбѣжать отъ вашего отца... Вотъ что-съ! А имѣли вы право выходить замужъ безъ моего позволенія?

— По русскимъ законамъ-съ, съ двадцати одного года начинается полное совершеннолѣтіе дѣвицы, и я полагаю-съ... началъ было Духовъ, но вдругъ спохватился, поклонился старику и добавилъ: — имѣю честь рекомендоваться и всепокорнѣйше просить васъ великодушно меня извинить. Такъ-какъ я уже получилъ согласіе, такъ-сказать, честное слово Анны Егоровны, то я и думалъ...

— Никакъ не могли вы думать, что вы законно поступаете. Незнаемъ законовъ никто не имѣетъ права отговариваться, никто-съ. Безъ моего позволенія никакой священникъ васъ не могъ вѣнчать. И я этого такъ не оставлю. Я просьбу въ святѣйшій синодъ подамъ на этого... на того, кто вѣнчалъ васъ, — узнаю имя... церковь, и подамъ, да-съ. Вотъ я его потяну на цугундеръ... Дадутъ ему на орѣхи... да и вамъ достанется. Чай, у васъ тоже начальство есть... Дайте срокъ...

— За что же, папа?..

— А вотъ вы увидите, за что. Вы думаете, я ничего не знаю? Я все знаю — всѣ подробности вашей богопротивной свадьбы; я... о... я...

— Дѣло уже сдѣлано, отозвался Духовъ.

— Дѣло уже сдѣлано, повторила сильно озадаченная, блѣдная Анна. — Ради Бога простите.

— Это вы для чего пріѣхали у меня прощенья-то просить?

Можетъ быть, вы думаете, что у вашего папеньки деньги есть... денегъ бурн не вкдютъ? А! Вотъ вы зачѣмъ! Я васъ понимаю, Анна Егоровна, я васъ давно раскусилъ, милѣйшая... Нѣтъ у меня денегъ, да хоть бы и были... я скорѣе какому-нибудь уличному чорту-дьяволу отдамъ ихъ, чѣмъ неблагодарнымъ дѣтямъ. Ну-съ, проявили вы свою самостоятельность, ну-съ и живите, какъ знаете!

— Намъ денегъ не нужно, папенька, почти простонала Анна и прослезилась...

Клинь оглядѣлъ ее съ головы до ногъ. Ему понравилось, что молодой прѣхалъ къ нему во фракѣ и въ бѣломъ галстухѣ. Послѣдняя фраза дочери тоже подѣйствовала на него благотворно, точно цѣлебный бальзамъ, пролитый на душевную рану.

— Ну, что жъ мнѣ съ вами дѣлать? Простить? Да что въ этомъ толку? Ну, я васъ прошу, а жить вамъ все-таки будетъ нечѣмъ.

— Я-съ состою на коронной службѣ, Егоръ Антонычъ, и получаю жалованье, къ тому же-съ у меня отъ уроковъ отбою нѣтъ. А вамъ, я думаю, извѣстно, какъ хорошо оплачиваются въ наше время уроки. Стало быть-съ, Богъ милостивъ, какъ-нибудь проживемъ-съ.

— Ну и живите... Дай вамъ Богъ, смилостивился Клинь, сѣлъ въ кресло и какъ бы въ раздумьи повѣсилъ голову.

— Что-же вы не садитесь? Я васъ не гоню, стало быть прощаю.

Анюта бросилась цѣловать его руки. Мужъ ея вертѣлъ шляпой и изподлобья поглядывалъ на стараго музыканта.

— Благословите, умоляла Анна.

— Благословить-то я васъ благословлю, а все-таки на священника подамъ жалобу.

— За что-же, папа?

— А за то, что вѣнчалъ безъ позволенія. Вотъ за что! Эдакъ всякій мальчишка можетъ...

— Мнѣ уже тридцать лѣтъ-съ и два года, проговорилъ Духовъ, какъ бы обидѣвшись, что его приравняли къ мальчишкамъ, и сѣлъ на стулъ.

— Я это не на вашъ счетъ! сердито взглянувъ на него, замѣтилъ Клинь. — Я вообще. Будь вамъ семнадцать лѣтъ да владѣ-

бисъ вы въ первую попавшуюся вамъ потаскушку — и тогда за двадцать-пять рублейв нашелся бы попъ, который бы окрутилъ васъ по рукамъ... Вотъ о чемъ я говорю...

— Папа, позвольте мнѣ зайти въ мою комнату. Мнѣ бы хотѣлось и Петю повидать.

— Петьку? А гдѣ онъ? Я съ полчаса еще слышалъ какъ онъ возился у себя въ комнатѣ. А куда онъ ушелъ? Вы думаете, я знаю... Чай, тоже за какими-нибудь дѣвчонками рыщетъ. Я, конечно, доволенъ, что онъ съ утра до ночи за книгами, съ своей латынью, да съ этими проклятыми греками возится... Очень нужно! Чуть свободная минута — съ собаками не найдешь его. Вотъ у васъ будутъ дѣти — какъ-то вы ихъ будете воспитывать?..

— Въ страхъ божіемъ, отвѣтилъ Духовъ.

Влинъ поглядѣлъ на него подозрительно. Ни о какомъ страхѣ божіемъ онъ никогда не думалъ, никогда не ходилъ въ свою лютеранскую церковь и своихъ пасторовъ терпѣть не могъ. Это былъ нѣмецъ вполне обрусѣвшій, но такъ-какъ онъ на Руси никогда ни отъ кого ничего не слыхалъ о страхѣ божіемъ, то и поглядѣлъ на своего зятя такъ, какъ-бы хотѣлъ сказать ему: ты, я вижу, того... хочешь на первыхъ порахъ меня обморочить. Бестія ты, должно быть, великая-бестія — по глазамъ вижу...“

Анюта выпорхнула за дверь и забѣжала въ свою комнату, оглядѣла ее, потрогала руками бывшую дѣвственную кровать свою, вздохнула, подосадовала, что Пети нѣтъ: онъ очень-бы пригодился ей въ такую тяжелую для нея минуту; наконецъ, прошла она въ кухню... Поцѣловалась съ Ариной, позвала ее въ свою бывшую комнату, указала на вещи, которыя слѣдуетъ ей уложить и прислать съ братомъ, и при этомъ стала совать ей въ руку двугривенный.

— Не надо! Зачѣмъ?.. Изъ-за чего ты это себя обижаешь... заговорила Мавра и ни за что не захотѣла взять двугривеннаго.

— Ну возьми хоть на извощика. Не на рукахъ-же все это Петя потащить; попроси его хорошенько уложить, да поскорѣй попроси его, а то у меня совѣтъ нѣтъ простынь и наволочекъ.

— Ну хорошо... хорошо... ужь будь ты покойна... да... насъ-то не забывай: какіе мы ни на есть, а все-же свои.

— Прощай Мавра, да когда-нибудь и ко мнѣ зайдѣ.

— Ну, ужь развѣ когда-нибудь... Когда тутъ заходить...

Анна, не дослушавъ ее, торопливо вернулась въ гостиную и увидала, что отецъ ея довольно мирно спрашиваетъ ея мужа о его связяхъ и видахъ на будущее.

Блинъ былъ человѣкъ практическій и понималъ, что зять его тоже человѣкъ практическій. Это больше всего его примирило съ нимъ, хотя слово *примирило* здѣсь совершенно не кстати — онъ былъ доволенъ, что нашелся человѣкъ, который увезъ его Аюту и не только мысленно не враждовалъ съ нимъ, но въ душѣ считалъ его своимъ благодѣтелемъ.

Черезъ часъ молодые ѣхали домой въ саняхъ и жена говорила мужу:

— Я знаю навѣрное, что у отца деньги есть....

Закрывши воротникомъ круглое съ маленькимъ носикомъ лицо Духовъ ничего не возражалъ; онъ только думалъ: „Великая шельма этотъ твой папенька. Ну да Господь не безъ милости.“

Я. Полонскій.

(Продолженіе будетъ.)

ТЕПЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ.

(ОТРЫВОКЪ ИЗЪ РОМАНА.)

I.

Саша Ниротморцева, молоденькая дѣвушка, привезенная изъ Петербурга вдовой Короленковой, ѣхала къ матери, какъ въ чужой домъ. Она была такъ рано отвезена въ институтъ, что прежняя жизнь ея дома представлялась ей очень смутно, какъ сонъ. Отца она совсѣмъ не могла помнить: онъ умеръ, когда Сашѣ не было и трехъ лѣтъ. Мать казалась ей, по блѣднымъ воспоминаніямъ, какъ-будто похожею на одну изъ самыхъ строгихъ и самыхъ нелюбимыхъ классныхъ дамъ института. Сашѣ помнилось, что она покидала родной домъ со страхомъ передъ будущимъ, но безъ особеннаго сожалѣнія.

Мать писала ей акуратно каждый мѣсяцъ. Саша отвѣчала сначала двумя-тремя строчками дѣтскихъ каракуль, а потомъ, подъ конецъ, страницю или двумя тонкаго и красиваго письма. Переписка эта, продолжавшаяся съ такою точностью столько годовъ, ничего не разъяснила Сашѣ относительно ея матери. Письма всѣ болѣе или менѣе походили одно на другое. Мать писала сначала, чтобы Саша училась хорошенько, и прибавляла къ этому общія мѣста о пользѣ ученія. Потомъ она стала писать опредѣленнѣе, чему именно надо учиться съ особеннымъ стараніемъ. Французскій языкъ, музыка и пѣніе — необходимы болѣе всего; безъ нихъ нельзя жить на свѣтѣ. Всѣ письма заключались обыкновенно краткимъ разсужденіемъ, что надо всегда помнить Бога и усерднѣе молиться.

Саша безъ всякаго волненія, совершенно равнодушно, брала изъ рукъ классной дамы письма матери. Она не торопясь развертывала ихъ (они передавались уже распечатанными) и часто скорѣе пробѣгала ихъ глазами, чѣмъ читала. Она заранѣе знала ихъ содержаніе и ничего интереснаго отъ нихъ не ждала. Разсужденія матери не производили никакого впечатлѣнія ни на умъ ея, ни на сердце. О родномъ городѣ мать ей не сообщала никакихъ вѣстей. Да еслибъ и были такія вѣсти, что могло интересовать Сашу въ мѣстахъ и людяхъ, которыхъ она не помнила, не знала? Родныхъ у матери Саши, повидимому, нѣкого не было, потому что письма обходились безъ всякихъ обычныхъ поклоновъ и заочныхъ поцѣлуевъ. Многія изъ дѣвушекъ, сидѣвшихъ на одной скамьѣ и спавшихъ въ одномъ дортуарѣ съ Сашей, завидовали ей, что она такъ часто получала письма изъ дому. Нѣкоторые, когда къ нимъ приходили письма отъ родныхъ, почти выхватывали ихъ дрожащими отъ радости руками изъ рукъ классной дамы. Онѣ читали ихъ съ жадностью и при этомъ или весело подпрыгивали и цѣловали письма, или заливались слезами. Въ ожиданіи слѣдующаго, письмо не выходило изъ кармана; при каждомъ удобномъ случаѣ оно вынималось, развертывалось и перечитывалось и цѣликомъ, и отрывками, пока, наконецъ, не выучивалось наизусть. Видя это, Саша, въ свою очередь, завидовала другимъ дѣвушкамъ, хотъ онѣ получали письма рѣже ея и не такъ аккуратно. Онѣ, и не зная времени полученія, ждали писемъ, а Саша часто совсѣмъ забывала о пятнадцатомъ числѣ, около котораго являлся обыкновенно конвертъ, надписанный четкимъ и крупнымъ, совершенно мужскимъ почеркомъ ея матери.

Саша была очень дика, особенно вначалѣ. Да и потомъ она особенно сблизилась только съ одною изъ подругъ. Поводомъ къ дружбѣ съ Мари Варянцевою, маленькой и бойкой дѣвочкой изъ провинціи, послужило тоже письмо. Видя восторгъ Мари при полученіи письма изъ дому, Саша спросила, о чемъ ей пишутъ. Мари рѣшилась даже дать ей прочесть письмо, но сначала взяла съ нея слово, что Саша не будетъ смѣяться надъ дурнымъ почеркомъ ея шатап и надъ тѣмъ, что шатап совсѣмъ не знаетъ l'orthographe. Стариннаго вида крупныя буквы письма и отсутствіе *ятей* были какъ будто подѣстать безхитростному выраженію самаго искреннаго и теплаго чувства. Все письмо было пересычано ласковыми словами,

простодушными эпитетами. Оно говорило, какъ живой человѣкъ, а не казалось какимъ-то *modèle de style epistolaire*. Саша кончила чтеніе письма тѣмъ, что бросилась со слезами на глазахъ обнимать Машу.

— Ахъ, какая ты счастливая, Мари! говорила она. — Какъ любить тебя твоя шатап и всѣ тамъ! Какъ славно она тебя называетъ! я никогда не слыхала такихъ словъ.

Послѣ этого, письма Сашиной матери стали казаться ей еще холоднѣе и тоскливѣе. Она совсѣмъ вошла въ интересы своей подруги и жила какъ-будто лишь ея воспоминаніями и надеждами. Память о жизни дома не могла такъ стереться у Мари, какъ у Саши. Письма поддерживали эти воспоминанія, сообщая ей всѣ домашнія подробности и перемѣны. Маша помнила очень ясно хуторъ въ одной изъ южныхъ губерній, откуда, заливаясь слезами, поѣхала въ Петербургъ. Она помнила и своего покойнаго отца. Кромѣ того у нея было два брата. Одинъ былъ только годомъ старше ея; другой, при ея отъѣздѣ, кончилъ курсъ въ гимназіи и собирался поступить въ харьковскій университетъ. Этотъ братъ баловалъ Машу, рисовалъ ей картинки, расписывалъ лица ея кукламъ, игралъ съ нею. Когда онъ пріѣзжалъ лѣтомъ на хуторъ изъ города, какое было веселье! А что за чудныя мѣста были тамъ! У Мари все осталось въ памяти и обо всемъ она живо рассказывала: о прудѣ передъ домою, о вишняхъ въ саду, о влажномъ зеленомъ лугѣ за рѣкой, о лѣсистой горѣ, гдѣ весной по вечерамъ свистали соловьи, куковали кукушки и пѣли всякія птицы. Она рассказывала, какъ ходила лѣтомъ въ этотъ лѣсокъ съ крестьянскими дѣвочками собирать грибы въ маленькій кузовокъ, какія смѣшныя пѣсни пѣли дѣвочки своими тоненькими голосами, подражая большимъ, какъ много было земляники на лугу за рѣкой, какъ собирали яблоки и вишни въ саду, какіе были чудные голуби у ея брата, какъ онъ ихъ испугивалъ такъ высоко, что они взлетали чуть не къ самому солнцу и оттуда летѣли внизъ, кружась кубаремъ и всѣ сверкая, какъ серебряныя падушія звѣзды.

Вмѣсто такихъ лѣтнихъ картинъ, согрѣтыхъ и озаренныхъ солнцемъ, въ воспоминаніяхъ Саши возникало все что-то зимнее, пасмурное, унылое. Ей помнились изъ ея домашней жизни больше замерзшія окна небольшого и тѣснаго дома, трескъ печей и отблескъ

ихъ на темномъ полу темными зимними утрами, темными зимними вечерами. Весна представлялась ей неразлучною съ какою-то церковной оградой, гдѣ росло три-четыре тощихъ дерева. Обгорѣвшая церковь стояла въ заустѣннѣ, съ закопченными стѣнами и выбитыми окнами. Нянька поднимала ее къ этимъ окнамъ и изъ щели вѣяло холодомъ и такъ было тамъ темно и пусто, что становилось страшно. Нянька эта была самымъ свѣтлымъ лицомъ въ воспоминаніяхъ Саши. Кроткіе, добрые глаза ея одни глядѣли на нее съ любовью изъ потемокъ дѣтства. Но и ее увидать Сашѣ не было надежды. Года черезъ полтора школьной жизни мать извѣстила Сашу о ея смерти.

По мѣрѣ того, какъ приближался конецъ курса, другія дѣвѣны все больше строили плановъ о своемъ будущемъ, все больше толковали о своихъ надеждахъ. У Саши не было ни надеждъ, ни плановъ. Мать Мари Варенцовой писала дочери, и какая у нея будетъ комната, и какія занавѣски будутъ повѣшены, и какіе цвѣты будутъ стоять на окнахъ, — и Мари съ живостью пополняла извѣстія отъ матери подробностями своего жита дома, свиданія съ братьями и проч. Саша пыталась не разъ вообразить хоть что-нибудь въ этомъ родѣ, но ничего не могла. Ни одного знакомаго и родного лица не видѣлось ей въ будущемъ; черты матери расплывались неопредѣленно. Почти каждой изъ дѣвушекъ, воспитывавшихся съ Сашей, было довольно хорошо извѣстно и общественное положеніе, и состояніе ихъ родителей. Саша и этого не знала. У нея не было воспоминаній о какой-нибудь пышности дома, и она предполагала, что мать ея не богата. Но, можетъ быть, мать ея была и совсѣмъ бѣдная женщина. Саша знала, что отецъ ея умеръ еще молодымъ человекомъ, — и только.

Мари, прочитавши однажды письмо отъ матери Саши, рѣшила, что это должна быть совершенная *grande dame*.

— Вѣдь такъ? спрашивала она Сашу.

— Я ничего не знаю, ничего не помню, печально отвѣчала Саша.

— Ахъ, душечка Alexandrine! какъ мнѣ тебя жалко! воскликнула Мари и стала обнимать и цѣловать ее.

По временамъ Сашѣ и самой было какъ-будто жаль себя, когда она видѣла, съ какою радостью другіе ждутъ выпуска. Ей подчасъ тоже хотѣлось, и иногда страстно, выйти изъ этихъ мо-

готовныхъ казенныхъ стѣнъ и посмотрѣть поближе на то, что называютъ жизнью. Ей хотѣлось большей свободы, большаго простора. Но что такое эта свобода, какой это просторъ? — на эти вопросы не находилось у нея отвѣта. Воображенію не было работы. Оно не могло привязаться ни къ одному представленію, взятому изъ дѣйствительности. Приготовленіемъ къ опыту жизни должны были служить юридическія понятія, проповѣдуемыя въ юридическихъ сочиненіяхъ дѣвицы Ишимовой. Ни одной живой книги не допускалось въ школьныя стѣны. Съ великимъ трудомъ нѣкоторыя добывали кое-что запретное. Даже Валентина и Андре Жоржъ-Занда были прочитаны тайкомъ только двумя-тремя, но до Саши они не дошли. Ходила по рукамъ и рукописная тетрадка Демона. Но это все были случайности. Жизнь оставалась темной загадкой и для разрѣшенія ея негдѣ было искать ключа. Изъ всего, что попадалось въ руки Саши, ее особенно увлекъ таинственный „Мцъри“ Лермонтова и она выучила его наизусть. Она подчасъ сравнивала свой институтъ съ тѣмъ монастыремъ, гдѣ изнывалъ и рвался на волю молодой послушникъ, и воля представлялась ей желанною, хотя въ ней не было ничего, кромѣ бѣдъ и опасностей.

Въ послѣдній годъ Саша не отстала отъ своихъ подругъ, ожидавшихъ съ нетерпѣніемъ дня выпуска. Она, также какъ и онѣ, написала на четверткѣ бумаги въ разграфленныхъ клѣточкахъ числа всѣхъ дней, остававшихся до послѣдняго дня экзамена, и каждый день вычеркивала по клѣточкѣ.

Незачеркнутыхъ клѣточекъ оставалось уже немного, когда Саша получила отъ матери письмо съ извѣстіемъ, что за нею пріѣдетъ одна знакомая дама. Мать писала, что пріѣхала бы и сама, но хочетъ доставить удовольствіе Катеринѣ Ларіоновнѣ Короленковой, отсрочивъ всего на какой-нибудь мѣсяць свое свиданіе съ дочерью. Послѣ столькихъ лѣтъ разлуки, конечно, что значить одинъ мѣсяць? Если-же Короленкова не воспользуется этимъ случаемъ, когда увидится она со своимъ сыномъ кадетомъ? Развѣ когда онъ выйдетъ въ офицеры. А до этого еще далеко. Катерина-же Ларіоновна такая любящая мать. Расписывая все это, Ниротморцева какъ-будто оправдывалась передъ дочерью. Но письмо все-таки было написано тономъ спокойнаго достоинства, и ни одного слова не было въ немъ ни о радости или нетерпѣ-

ни увидаться съ дочерью, ни о томъ, что ждетъ ее дома. Тотъ же риторическій холодъ, которымъ вѣяло и отъ прежнихъ писемъ.

Въ табличкѣ оставалось вычеркнуть только съ десятковъ клѣточекъ, когда въ Петербургъ прибыла вдова Короленкова. Съ невозмутимымъ апломбомъ вторглась она, какъ трагическая мать, въ институтскую приемную. Дамское начальство было даже скандализировано размахистостью ея манеръ. Захлебываясь словами, она чуть не задушила Сашу въ своихъ пуховыхъ объятіяхъ. Въ выраженіи лица, въ жестахъ коротенькихъ ручекъ Екатерины Ларіоновны, въ слезахъ, которыми заплыли ея выпуклые глаза, видна была такая родственная любовь и радость, что всѣ приняли ее сначала за мать Саши. Саша, конечно, ея не помнила, но Катерина Ларіоновна не уставала повторять, что напивала ее на рукахъ.

Наконецъ, можно было и покинуть школьныя стѣны.

II.

Сашѣ пришлось пробыть въ Петербургѣ, въ институтѣ, дней пять.

Изъ чистыхъ до педантизма и спокойныхъ до мертвенности стѣнъ своего монастыря она разомъ попала прямо въ грязь и хаосъ гостинницы въ Перинной линіи. Катерина Ларіоновна находила, что эта гостинница очень удобна, — главное потому, что въ Гостинный дворъ рукой подать. А ей надо было сдѣлать разныя закупки для Саши. Привыкнувъ ко всему, вдова нисколько не смущалась непроходимо-грязными лѣстницами гостинницы, перекошенными и зыблющимися половицами ея чадныхъ и темныхъ коридоровъ, вѣчнымъ шумомъ и гамомъ трактира въ среднемъ этажѣ и вѣчнымъ крикомъ и непристойною бранью въ харчевнѣ нижняго этажа. Постояннаго отсутствія прислуги и совершенной бесполезности звонковъ Катерина Ларіоновна могла-бы и не замѣчать, потому что у нея былъ провожатый. Но онъ очень испортился въ столицѣ и рѣдкій вечеръ не былъ пьянъ и не грубилъ своей барынь.

Пять дней были нужны для заказа платьевъ, шляпокъ и прочихъ принадлежностей дѣвическаго гардероба и туалета. Мать Саши плохо полагалась на вкусъ Екатерины Ларіоновны, и потому дала ей подробнѣйшую письменную инструкцію, съ обозначеніемъ

мѣсть, гдѣ что купить и заказать, и даже цѣны обозначила. Все было разсчитано очень скромно; но денегъ было на все довольно.

Сашѣ очень наскучила и эта суета, и пребываніе въ затхлой и душной гостинницѣ. Она торопила Катерину Ларіоновну ѣхать.

Катерина Ларіоновна сразу приняла почти материнскій тонъ относительно Саши, говорила ей „ты“ и осыпала ее безпрестанно ласками; но эти ласки дѣйствовали на Сашу какъ-то устрашительно. Она рѣшительно боялась объятій вдовы и пламенныхъ ея лобзаній, причежъ вдова такъ распускала губы, что прихватывала обыкновенно и носъ того, кого цѣловала.

Болѣе всего смущало Сашу то восхищеніе, которое каждый ея шагъ, каждое слово, каждое движеніе возбуждали въ Катеринѣ Ларіоновнѣ. Вдова смотрѣла на нее, какъ на малое дитя, только-что начинающее ходить на помочахъ и лепетать. Уберечься отъ этого восхищенія было рѣшительно невозможно.

— Хочешь чаю? спрашивала, напримѣръ, Катерина Ларіоновна.

— Хочу, очень просто отвѣчала Саша.

Но Катерина Ларіоновна вдругъ приходила въ восторгъ.

— Ахъ, какъ она божественно это сказала: хочу! восличала она именно такимъ голосомъ, какимъ говорятъ съ грудными дѣтьми. — Ну, повтори! повтори! Просто прелесть. — „Хочю!“ подражала она вовсе не похоже. — Ахъ, ты миленокъ этакой! „Хочю!“

И коротенькія ручки Катерины Ларіоновны откидывались назадъ, какъ пустыя рукава, грудь выдавалась впередъ, и Саша неизбежно попадала въ ея объятія.

— Готова ты? спрашивала вдова, собираясь идти куда-нибудь.

— Да.

— Ддя, повторяла совсѣмъ непохоже Катерина Ларіоновна, внезапно впадая въ восхищеніе. — Что это, какъ она у меня говоритъ! Просто очарованіе! „Ддя, ддя“. Да ты у насъ однимъ разговоромъ своимъ всѣхъ съума сведешь. Хорошо еще, мой-то ерой тебя не видалъ. Совсѣмъ-бы учиться пересталъ. „Ддя“!

И Сашѣ опять грозилъ ужасъ объятій.

Она никакъ не могла открыть въ этихъ бурныхъ порывахъ

вахъ Катерины Ларіоновны какойнибудь фальши или лицемѣрія и считала неловкимъ останавливать ее. Впрочемъ, это едва-ли-бы помогло. Разъ Саша не выдержала, но что-же вышло?

— Ахъ, полноте, Катерина Ларіоновна, сказала она какъ то.

Катерина Ларіоновна вмѣсто того, чтобы остановиться, напротивъ, воселикнула:

— Что? Что? Какъ ты это сказала? Повтори! повтори! „Полноте!“ передразнила она совсѣмъ непохоже.—Просто божественно. Отбою не будетъ отъ нашихъ куртизановъ. „Полноте!“ Особенно одинъ у меня есть человѣкъ на примѣтѣ. Только отъ тебя разъ такое „полноте!“ услышитъ—совсѣмъ съума сойдетъ.

Посреди петербургскихъ хлопотъ Сашѣ представлялось мало случаевъ разпросить Катерину Ларіоновну подробнѣе обо всемъ, что интересовало ее еще въ институтѣ. Вдова была совсѣмъ поглощена своими „комісіями“; когда-же выдавалась свободная минута, Короленкова или страшила Сашу своими нѣжностями и заставляла ее дичиться, или отдыхала отъ своей суетни. Подъ вечеръ, когда всего удобнѣе было-бы поговорить, Катерина Ларіоновна оказывалась совсѣмъ неспособною.

— Ахъ, ошалѣла совсѣмъ! голова кругомъ идетъ! восклицала она, въ изнеможеніи падая на постель и быстро засыпая, часто забывая даже раздѣться.

Наконецъ, все готово было къ отъѣзду. Чемоданы, ящики свертки уложены; на подушки надѣты ситцевыя наволочки. Лакей-проводникъ обильно угостился на дорогу водкой и незвѣстно зачѣмъ стянулъ себя поверхъ кафтана ремнемъ. Глаза у него еще больше налились отъ этого кровью.

Дорога представляла больше удобствъ для бесѣды. Въ тѣсномъ вагонѣ, утопая въ подушкахъ, съ трудомъ высвобождая свои коротенькія ручки, Катерина Ларіоновна была уже лишена возможности видаться на Сашу съ объятіями и поцѣлуями, и Саша ловко пользовалась этимъ осаднымъ ея положеніемъ. Разспрашивая вдову, она не ждала отъ нея совершенно безпристрастнаго разсказа,—настолько она уже узнала ее; но сквозь увлеченія и преувеличенія все-таки проглядывала правда.

— Вы мнѣ все еще мало разсказали про мамашу, говорила Саша. — Разскажите, Катерина Ларіоновна, все подробно: какъ она живетъ, что дѣлаетъ, гдѣ бываетъ, — все, все.

— Да что-жь тебѣ еще рассказывать? Мало развѣ я болтала? Какъ живешь? Я ужь тебѣ говорила, что дай Богъ всѣмъ пользоваться такимъ уваженіемъ. Нѣтъ человѣка въ городѣ, чтобы отозвался какъ-нибудь эдакъ. Да и нельзя не уважать. И въ глаза, и за глаза скажу. Совсѣмъ камельфо и по характеру, и по всему. Что ужь тутъ говорить! Отъ губернатора и до послѣдняго писаря спроси: всякій съ уваженіемъ. Деликатная дама. А что мать примѣрная, такъ не тебѣ мнѣ это говорить. У другихъ и богатство, и Богъ знаетъ что, а какъ дочерей воспитываютъ! А она при эдакихъ средствахъ... Отъ тебя это нечего скрывать...

— Ахъ, конечно!

— Разумѣется, ты — дочь. Все равно, надо же тебѣ узнать. Отъ меня-ли, отъ матери-ли — все равно. Марья Кондратьевна и сама не скрываетъ. Да и къ чему? Напротивъ, это даже къ чести ея служить, что она при такихъ малыхъ средствахъ такъ себя поставить умѣла и такое дочери воспитаніе дать. У насъ житье не дешевое тоже. И все-то дорожаетъ. Прислуги у васъ своей нѣтъ, — нанимать тоже надо. Вотъ только-что домъ свой. Значить, за квартиру не надо платить. Домикъ небольшой, да больше и на что-же? Ну, другихъ расходовъ не мало. Принять тоже кого — все деньги. Чай, сахаръ... Теперь Марья Кондратьевна и еще потрудиѣ будетъ. Я ужь и не знаю, какъ только она изворачиваться станетъ. Ты меня извини, миленокъ мой, что я тебѣ съ откровенностью...

— Что вы, Катерина Ларіоновна. Да я этого именно и хочу.

— Хочу! хочу! передразнила-таки Катерина Ларіоновна, вы-свободила одну руку и полновѣсно хлопнула ею по рукѣ Саши.— Вотъ теперь и одѣть тебя прилично, и въ общество тоже вывезти. А вывозить — и у себя надо принимать. Иначе Марья Кондратьевна и не выглянетъ никуда. Гордая, деликатная дама.

— Но вѣдь я могла-бы и сама что-нибудь доставать? помогать ей? У насъ многія дѣвицы прямо изъ института получили мѣста. Я тоже знаю языки, музыку — могла бы давать уроки.

— Ахъ, какъ-же это можно? Что ты? Да Марья Кондратьевна скорѣе въ кускѣ хлѣба себѣ откажетъ, чѣмъ до этого допустить. Не знаешь ты свою мамашу!

— Да развѣ это что-нибудь дурное?

— Неприлично, душа моя. Не допустить до этого, не допу-

стить. Не такая дама твоя мамаша. Вѣдь что ты ни говори, это ей униженіе будетъ, — униженіе. Теперь всѣ эдакъ уважають, цѣнятъ, — и вдругъ... Ахъ, нѣтъ, помилуй! Вѣдь это чтобъ говорили: „Дочь свою содержать не можетъ! Одна дочь, единственная, — и ту содержать не можетъ!“ Ахъ, нѣтъ, нѣтъ; ни за что она не согласится на это. Да на что-жь это будетъ похоже! Воспитала тебя, можно сказать, чтобы блистать въ обществѣ, — и вдругъ... Что значить гувернантка какая-нибудь? Учительница и больше ничего. Какъ разобрать, та-же прислуга. Все одно, что въ услуженье поступить. Ты лучше и не поминай про это!

Саша вспомнила, что и нѣкоторыя дѣвицы въ институтѣ говорили почти то-же о положеніи гувернантки.

— Конечно, продолжала Катерина Ларіоновна, поправляясь въ подушкахъ; — Марья Кондратьевна умѣетъ жить. Она и замѣтитъ тебѣ ничего не дастъ. Всѣ удивляются, какъ она безъ всякихъ средствъ и такъ деликатно живетъ. Мнѣ, знаешь, кажется...

Катерина Ларіоновна вдругъ неожиданно замялась.

— Что такое? спросила Саша.

— Ахъ, что, бишь, я такое? О чемъ я?

— Что такое вамъ кажется?

— Я... я это объ окопировкѣ твоей, сказала не совсѣмъ увѣренно Катерина Ларіоновна. — Я думаю, на окопировку твою давно у нея отложено было.

Саша замѣтила, что безъ кое-чего можно было-бы и обойтись.

— Какъ можно? Какъ можно? возразила Катерина Ларіоновна, снова попадая въ русло своей смущенной рѣчи. — Вѣдь я все по описи, все по описи. Какъ записано, такъ и сдѣлано! Да не исполни я чего-нибудь — лучше и на глаза не показываться. Все по описи. При ея-то авуратности... Какъ это можно? Только-бы она довольна осталась. Это меня больше всего заботить. Платье вотъ это баржевое немножечко... Боюсь, не понравится. Пестро, скажетъ. Развѣ что носить такія, мода... А то она пестраго не любитъ. Терпѣть, говорить, не могу этихъ павлиньихъ хвостовъ. Саша всегда въ черномъ.

Саша не разъ возобновляла такіе разговоры.

Какъ-то она сказала, что ей очень больно, что она будетъ стѣсненіемъ для матери.

— Ахъ, ты вспомнила, что мы это съ тобой говорили! воскликнула веселымъ тономъ Катерина Ларионовна, приводя въ движеніе свои коротенькія ручки. — Съ такой матерью, какъ Марья Бондратьевна, нечего тебѣ объ этомъ и сокрушаться, миленокъ. Одно ты вспомни, она у насъ, можно сказать, изъ первыхъ дамъ въ городѣ, даромъ что средствъ нѣту. И я увѣрена, не долго ты останешься у нея на рукахъ.

— То-есть какъ это? спросила Саша.

Она и понимала, на что намекаетъ вдова, но ей хотѣлось послушать ее дальше.

Катерина Ларионовна не заставила себя ждать.

— А ты какъ-бы думала? Да я руку дамъ на отсѣченіе, — и года-то у мамаша не проживешь. Слава Богу, у насъ не занимать стать жениховъ-то. Съ твоимъ личикомъ прелестнымъ, съ твоимъ образованіемъ, да чтобы ты долго засидѣлась, — ахъ, и вѣрить не хочу! И думать не хочу. Не можетъ быть. Отъ ухаживателей отбою не будетъ. Не мало у насъ тоже куртизановъ-то! Ну и сама ты, конечно... Не захочешь-же ты мать стѣснять, когда она, можно сказать, въ нитку для тебя тянется. А ужъ это такъ. Сама не допьетъ, не доѣстъ — только-бы тебѣ было. Да что? Сама увидишь. Нечего рассказывать. Видя ея недостатки, да оставаться у нея на рукахъ, на ея попеченіи, — развѣ ты этого захочешь? Лишь-бы партія подошла хорошая... Не захочешь-же неблагодарной дочерью быть. Конечно, сама постарайся не упустить хорошаго человѣка; только-бы ее облегчить, ее на старости успокоить. Само собой, не зря. Какъ можно? Вѣдь это на вѣкъ. Обсудить надо, оцѣнить человѣка. Надо, чтобы мужъ такъ мужъ былъ, — не шебала какая-нибудь. Есть у насъ и эдакіе. Мастера тоже турусы-то подпускать. А разбери его — шебала. Жень-то потомъ только плакаться съ нимъ. А тебѣ надо, чтобы мужчина былъ солидный, понималъ-бы жизнь. Васъ тамъ, въ монастырѣ-то вашемъ, въ четырехъ стѣнахъ держать. Ничего не видите, не слышите. Конечно, для молодой дѣвицы это прекрасно. Я это хвалю, — потому успѣетъ еще насмотрѣться. А покажѣсть пусть объ одномъ ученьи думаетъ. А все вы, ничего-то не видя, поди, Богъ знаетъ о чемъ тамъ мечтаете. Воображаете все улановъ да гвардейцевъ разныхъ. А гвардеецъ-то вашъ, глядишь, только и хорошъ, что мазурку танцовать. А то карты эти,

шампанское. Одно слово, военный. Насмотрѣлась я тоже на ихъ жизнь. Вѣдь у меня мужъ полковникъ былъ. Потому и это у нихъ силошь — завлечеть дѣвицу, вскружить ей голову, а потомъ поминай какъ звали. Ненадежные! Ну, до этого мамаша твоя, натурально, не допустить. Дама умная, проникательная. Только ты ея совѣта слушай, — будешь счастлива. Недаромъ она на свѣтѣ жила — испытала тоже всякое.

Всю дорогу Катерина Ларионовна, если не дремала, неумолкаемо тараторила въ такомъ родѣ. Она не уставала говорить; но Саша стала подъ-конецъ устывать слушать.

III.

— Вотъ и Варвары великомученицы! воскликнула Катерина Ларионовна. — Сейчасъ и дома.

— Направо или налево? спросила Саша.

У ней немного замерло сердце отъ ожиданія.

— Налево.

Это было какъ-разъ съ той стороны, гдѣ она сидѣла въ огромномъ тарантасѣ, биткомъ набитомъ перинами и подушками и прижавшемъ ихъ прямо съ желѣзной дороги.

— Вотъ, вотъ! Ахъ, и Марья Кондратьевна въ окошко глядитъ. Изъ-за цвѣтовъ то. — Здравствуйте, здравствуйте! Заждались? Слава Богу, все благополучно!

И Катерина Ларионовна такъ закивала головой, что бѣлый дорожный чепецъ чуть не слетѣлъ съ нея.

— Здравствуйте, барышня! проговорила опратно-одѣтая и молоденькая горничная, сбѣжавъ съ крыльца посадить прїѣзжихъ.

Она быстро схватила руку Саши въ перчаткѣ и поцѣловала ее.

— Ахъ, что это вы? проговорила Саша, сконфузившись, и поцѣловала дѣвушку въ губы.

Катерина Ларионовна успѣла уже взлетѣть на крыльцо и въ переднюю, и не дала хозяйкѣ хода въ сѣни своими объятіями.

Она, впрочемъ, въ время остановилась и воскликнула:

— Да что-жь это я дѣлаю? Вотъ ваша Сашенька. Полюбуйтесь, какая красавица!

Мать обняла Сашу и поцѣловала ее, потомъ откинулась немного назадъ, будто дѣйствительно хотѣла полюбоваться, и еще

разъ ее поцѣловала. При этомъ она произнесла какъ-то сдержанно своимъ нѣсколько грубоватымъ голосомъ:

— Саша, милая моя! какъ я рада!

Саша между тѣмъ плакала, сама не зная отчего.

— Пойдемте! что мы стоимъ тутъ? проговорила Марья Кондратьевна.

Когда онѣ вошли въ комнату дальше, она опять обняла Сашу и поцѣловала ее въ темя и въ лобъ.

— Полно, мой другъ! О чемъ-же ты плачешь?

У нея не было ни слезинки въ спокойныхъ сѣрыхъ глазахъ.

Саша какъ-будто совсѣмъ не такую воображала себѣ мать, хоть въ мысли у нея никогда не создавалось полного образа.

Это была женщина высокаго роста, довольно плотно сложенная, но не полная. Лицо ея было скорѣе худощаво. Оно было некрасиво и съ непріятною желтизной. Всего-же некрасивѣе казался высокій и круто-уходящій назадъ лобъ, и она, вѣроятно, знала это, потому что спускала на него низко темные, еще густые волосы. Ее портили также длинныя, ослѣпительной бѣлизны зубы, которые выдавались впередъ, такъ-что когда она смыкала свои тонкія губы, это какъ-будто стоило ей нѣкотораго усилія. Послѣ мягкихъ объятій и поцѣлуевъ всасось Катерины Ларионовны Сашѣ показались деревянно-жесткими и поцѣлуи, и объятія матери. Марья Кондратьевна была въ простомъ черномъ платьѣ; корсетъ ея былъ твердъ, какъ желѣзная кираса.

Еслибъ у Саши было настолько спокойствія, чтобы оглянуть комнату, въ которую она вошла, она замѣтила бы бѣлыя, точно вчера выбѣленные стѣны, такія же бѣлыя и свѣжія занавѣски на окнахъ, сіяющую опрятствомъ мебель, состоящую изъ стульевъ подъ орѣхъ и двухъ половинокъ круглаго стола, придвинутыхъ къ стѣнамъ. На окнахъ стояли бѣлые горшки съ цвѣтами; листья такъ лоснились, будто каждый изъ нихъ былъ сейчасъ только вымытъ. Растенія были все такія твердыя—лимонъ, кактусъ, олеандръ; вѣтерокъ, проходившій въ окна, не шевелилъ ихъ ни на минуту. По чистому выкрашенному полу тянулся пестрый половикъ отъ двери прихожей до двери гостиной. Мѣдная заслонка и отдушникъ изразцовой печи казались позолоченными.

— Пойдемте, у меня встать и самоваръ готовъ, говорила

Марья Кондратьевна, идя впередъ по половику. — Вы вѣрно проголодались съ дороги.

Въ гостиной на столѣ передъ диваномъ стоялъ такой-же будто вызолоченный самоваръ и пахло резедой.

— Садись поближе ко мнѣ, сказала Марья Кондратьевна дочери. — Дай рассмотреть себя хорошенько.

Саша сѣла въ кресло рядомъ.

— Да что-жь это у тебя глаза все въ слезахъ? Или ты не рада?..

— Ахъ, маман! перебила ее Саша, и у нея выкатились наплывшія на глаза слезы.

Марья Кондратьевна подвинулась немного на диванѣ, слегка наклонила голову Саши и поцѣловала ее въ бѣлый, ровный подборъ.

— Тебѣ еще все ново, дико здѣсь. Я тебѣ должна совсѣмъ чужой казаться. Вѣдь ты меня вовсе не помнишь.

Катерина Ларионовна временно притихла и съ необыкновеннымъ тактомъ оставила мать и дочь знакомиться другъ съ другомъ. Она сняла передъ зеркаломъ чепецъ, посплюнула пальцы и пригладдила свои сѣроватые волосы, подоткнула тощую косичку, надѣла чепецъ опять и стала нюхать резеду на окнѣ. При этомъ она зацурилась и впивала запахъ какъ-будто не только носомъ, но и ртомъ, повторяя про себя:

— Ахъ, какой аромать! Прелесть! Чудо, что за аромать!

Она хотѣла этими восклицаніями показать, что не слушаетъ, что говорятъ мать и дочь. Но слушать было нечего. Разговоръ не клеился, и Марья Кондратьевна призвала на помощь Катерину Ларионовну, прося ее рассказать всѣ подробности поѣздки.

Вдова затараторила, уничтожая въ то же время булку за булкой и чашку за чашкой. Марья Кондратьевна замѣтно оживилась и слушала рассказъ съ любопытствомъ, прерывая его иногда своими вопросами.

Саша между тѣмъ смотрѣла вокругъ. Комната показалась ей такою уютной и такъ мило убранной; стѣны были оклеены блѣдно-голубыми обоями, на окнахъ бѣлыя ажурныя занавѣски. Голубой ситецъ мягкой мебели свѣжо лоснился и былъ такого же мягкаго цвѣта, какъ стѣны. Между двухъ оконъ висѣло зеркало въ позолоченной рамѣ, надъ диваномъ другое, поменьше. На одной

изъ боковыхъ стѣнъ—большая гравюра въ черной рамѣ со множествомъ лицъ: кажется, прибытіе Вильяма Пенна и его колонистовъ на берега Делавара. На противоположной стѣнѣ—два портрета: одинъ довольно большой, живописный; другой, маленький, на слоновой кости, изображалъ дѣвочку въ розовомъ платьѣ, съ куклой въ рукахъ. У окна стояли пальцы, покрытыя бѣлымъ и аккуратно подшпиленные. Подъ ногами Саши былъ шитый шерстяными коверъ съ яркими пушистыми цвѣтами. Все это не напоминало о бѣдности, о которой она столько слышала.

Марья Кондратьевна замѣтила, что Саша съ особеннымъ любопытствомъ всматривается въ портреты.

— Это портретъ отца твоего и твоей, Саша. Тебѣ было четыре года, какъ его сняли. Онъ, впрочемъ, мало былъ похожъ.

Саша встала.

— Ахъ, нѣтъ, Марья Кондратьевна, заспорила Короленкова, — большое было сходство.

— Въ куклѣ развѣ.

Сашу болѣе интересовалъ большой портретъ. На свой она взглянула только мелькомъ и сказала:

— Какая тутъ я смѣшная!—А папа похожъ? спросила она.

— Тоже не совсѣмъ.

— Ахъ, что вы, Марья Кондратьевна, заспорила опять Короленкова:—по-моему, просто вылитый.

Лицо портрета очень не понравилось Сашѣ. Одутловатое, съ небольшими глазами, съ примазанными на лбу и завитыми съ боковъ волосами, оно безъ всякаго выраженія смотрѣло изъ рамы. Сашѣ было даже непріятно вглядываться въ него, и она отошла къ окну.

— А это вы шьете, маманъ?

— Да, отъ нечего дѣлать.

— Можно посмотрѣть?

— Конечно.

Это была начатая работа для подушки. Саша похвалила.

— Я это отъ скуки. Прежде вышиванье въ модѣ было; нынче имъ мало занимаются.

— Вотъ и это работа Марьи Кондратьевны, пояснила Короленкова, указывая на коверъ. — Не правда-ли, прелесть какъ вышли эти розаны?

— Пойдемъ, теперь я покажу тебѣ твою комнату, сказала Ниротморцева, вставая.

Комната, приготовленная для Саши, выходила дверью въ узенькій коридоръ. Она была убрана уютно и такъ же чисто, какъ другія. Кромѣ небольшого комода, стола, двухъ стульевъ и кресла у окна, все въ ней было бѣло: и стѣны, и кисей, и драпированное окно, и постель, и туалетный столикъ.

— Посидимъ здѣсь, сказала Марья Кондратьевна и опустилась на кресло.

Саша сѣла на стулъ.

Короленкова принялась разсматривать вещицы на туалетѣ и то и дѣло восклицала:

— Ахъ, какой флакончикъ прелестный! Посмотри, Саша! Гдѣ это вы такую прелесть подушечку достали, Марья Кондратьевна? Это вѣдь для булавокъ?

Марья Кондратьевна, кажется, утомилась уже присутствіемъ госты и отвѣчала не такъ охотно на ея болтовню.

Впрочемъ, Короленкова скоро удалилась.

Саша опять перешла съ матерью въ гостиную, гдѣ самоваръ уже убрали и на столъ подали двѣ свѣчки. Съ улицы слышался стукъ затворяемыхъ ставней; горничная ходила отъ окна къ окну и затыкала болты.

Марья Кондратьевна сѣла на диванъ и посадила Сашу съ собою рядомъ. Отсутствіе посторонняго лица нисколько не измѣнило, однакожъ, какихъ-то натянутыхъ отношеній между матерью и дочерью. Онѣ продолжали оставаться чужими. Такъ, по крайней мѣрѣ, рѣшилъ-бы посторонній наблюдатель. Разговоръ Марьи Кондратьевны былъ продолженіемъ ея ледяныхъ писемъ.

Прежде всего она разспросила дочь о познаніяхъ. Изъ нихъ ее болѣе всего интересовало, хорошо-ли Саша говорить по-французски. Она сказала встати, что постарается достать Сашѣ французскихъ книгъ для практики. Саша вообще не замѣтила въ домѣ ни одной книги, кромѣ молитвенника съ застежками въ спальнѣ матери, гдѣ горѣла лампадка передъ образомъ въ серебряной ризѣ. Марью Кондратьевну интересовали также познанія Саши въ музыкѣ. Она осталась очень довольна, когда Саша сказала, что играетъ порядочно на фортепіано и немножко поетъ. Марья Кондратьевна пожалѣла при этомъ, что средства не позволяли ей

— завести инструментъ; она выразила также опасеніе, какъ-бы Са-ша не позабыла все, что знаетъ. Объ остальныхъ предметахъ институтскаго курса Ниротморцева и не упомянула даже. За то къ французскому языку и музыкѣ возвращалась не разъ.

— Кто у васъ былъ французскій учитель?

— Мосье Курвуазье, шатап.

— Молодой человекъ?

— Нѣтъ, старикъ, бѣлый весь.

— Что-жь, онъ вамъ и французскія сочиненія задавалъ?

— Да, шатап.

— И ты можешь безъ ошибки писать французскія письма?

— Ахъ да.

— Письма васъ тоже учили писать?

— Какже, шатап.

Разговоръ шелъ все въ такомъ тонѣ.

Отъ французскаго языка и музыки перешли къ гардеробу, сдѣланному въ Петербургѣ. Позвонили горничную. Она раскрыла чемоданы, и больше часа прошло въ разсматриваніи покупокъ. Тутъ Марья Кондратьевнѣ представился еще разъ случай упомянуть о своихъ средствахъ. Они не позволяли сдѣлать гораздо болѣе платьевъ и прочаго.

Когда платья, шляпки и все остальное было убрано къ мѣсту, Марья Кондратьевна назвала дочери четыре или пять домовъ, не больше, куда онѣ сдѣлаютъ визиты. И опять сами собою упомянулись средства. Они не позволяютъ поддерживать большого круга знакомствъ.

— Вотъ я и лошадей не могу держать. Тебѣ придется пѣшкомъ ходить или ѣздить на извозчикахъ.

— Это мнѣ все равно, шатап.

— Нѣтъ, совсѣмъ не все равно. Здѣсь почти у каждаго свои лошади. Тебѣ это будетъ неприятно. На извозчикахъ только писаря ѣздятъ. Но что-жь дѣлать?

Въ такой бесѣдѣ вечеръ подошелъ къ концу. Марья Кондратьевна замѣтила, что пора спать, что Сашѣ надо отдохнуть съ дороги.

— Пойдемъ, я посмотрю, все-ли у тебя тамъ въ порядкѣ.

Она посмотрѣла, какъ оправлена постель, заглянула въ умывальникъ, попробовала, запертъ-ли болтъ у окна. Все было какъ слѣдуетъ.

— Ты вѣдь молишься по вечерамъ?

— Да, татап.

— Когда помолишься, позвони. Вотъ у постели колокольчикъ. Придетъ Катя и раздѣнетъ тебя. Ну, прощай! Богъ съ тобою.

Марья Кондратьевна поцѣловала Сашу въ подборъ и ровными шагами вышла изъ спальни.

IV.

Саша чувствовала себя неловко. Ей представлялось, будто она все еще въ стѣнахъ своего монастыря и пережѣнились только нѣкоторые порядки да начальствующій персоналъ. Но въ то-же время Сашѣ представилось, что думать такъ грѣшно и нехорошо.

Она подошла къ переднему углу. Тутъ висѣлъ небольшой образокъ Божіей Матери; подъ нимъ висѣла гирлянда искусственныхъ цвѣтовъ. Сашѣ вдругъ вспомнились глаза Иверской Богородицы, къ которой она ходила прикладываться въ Москвѣ съ вдовой Короленковой. И это воспоминаніе показалось ей почему-то грѣшнымъ и нехорошимъ.

Саша стала молиться. Она усердно кланялась въ землю, крестилась, вздыхала. Но это было насильственное усердіе. Она старалась только прогнать отъ себя неприятное чувство неудовлетворенія, и, разумѣется, старанія были напрасны. Саша молилась не долго. Положивъ послѣдній земной поклонъ, она подумала, что вовсе не нужно звонить, что раздѣться можно и самой, никого не беспокоя. Но въ то-же время ей что-то подсказало, что это будетъ уже нарушеніемъ порядка въ домѣ, что это все равно, какъ если-бы она пошла гулять въ рекреационный залъ, когда всѣ дѣвицы идутъ спать въ дортуаръ. Въ домѣ порядковъ былъ заведенъ какъ часы,—это ясно. И Саша позвонила.

Вошла Катя.

— Я-бы сама раздѣлась, Катя, сказала Саша.—Мнѣ васъ не нужно.

— Ничего-съ, отвѣчала Катя.—Да зачѣмъ это вы, барышня, говорите мнѣ *вы*? прибавила она.

— А что-же?

— Нѣтъ, ужъ вы мнѣ пожалуйста говорите *ты*. А то барыня сердиться станетъ.

— Хорошо.

Саша покраснѣла, будто сдѣлала неловкость.

Катя непременно хотѣла помочь ей раздѣться. Такъ было приказано. Она поставила у постели новенькія шитыя туфли и сказала:

— Это барыня сами работали. Хорошенькія туфельки!

Катя была большая говорунья. Ей очень хотѣлось поболтать съ новопріѣзжей барышней; но она удерживалась, чтобы сначала лучше узнать ее. Надо было выказывать пока больше услужливости.

Сашѣ тоже хотѣлось поговорить съ Катей, именно разспросить ее о разныхъ порядкахъ въ домѣ; но ей тотчасъ-же пришло въ голову, что подобныя вопросы будутъ неприличны, что ихъ слѣдовало дѣлать матери, а не горничной. Между тѣмъ Саша чувствовала, что ей легче было-бы разговориться съ Катей. Дѣвушка сразу внушала довѣріе своимъ яснымъ и открытымъ лицомъ, хотя на немъ и мелькало порой хитрое выраженіе.

Саша торопилась раздѣться, чтобы Катя могла скорѣе уйти.

— Свѣчку сами погасите, барышня?

— Да, сама.

— Такъ прощайте, барышня, спокойной вамъ ночи, пріятнаго сна.

— Прощайте... прощай, Катя.

Саша задула свѣчу.

Ей пріятно было прилечь щекой къ свѣжей подушкѣ и слегка кутаться въ свѣжую простыню и легкое покрывало. Ей казалось сначала, что она сейчасъ-же заснетъ. Но впотьмахъ всѣ впечатлѣнія этого вечера стали припоминяться ей одно за другимъ, постель быстро согрѣлась и сонъ отлетѣлъ. Думы Саши производили легкое замираніе ея сердца. Чувство неудовлетворенія и будто обманутаго ожиданія не покидало ее. Ей хотѣлось не думать и поскорѣе уснуть. Она повернулась на другой бокъ съ такимъ рѣшеніемъ и начала мысленно читать: „à peine nous sortions des portes de Trezène“. Это было испытанное средство уснуть поскорѣе. На пятой, на десятой строкѣ она обыкновенно засыпала. Но на этотъ разъ средство не оказывало дѣйствія. Саша начинала монологъ Терамена нѣсколько разъ съизнова, но на пятой, на десятой строкѣ, вмѣсто того, чтобы начать засыпать, начинала думать.

То, что думала Саша, было очень безсвязно.

Прежде всего Саша обвиняла себя, зачѣмъ она такъ холодна къ матери. Она находила въ себѣ мало любви и упрекала себя въ этомъ. Ей казалось непростительнымъ, что она такъ мало расчувствовалась при встрѣчѣ. У нея теплы, правда, слезы; но слезы эти теплы не отъ радости свиданія, а Богъ знаетъ отъ чего. „Чему жь было и радоваться?“ спросила было себя Саша, — и угрызения стали еще жгучѣе. Этотъ вопросъ казался ей верхомъ безчувственности. Потомъ ей на минуту пришло въ голову, что мать могла обмануться, принять ея слезы за выраженіе радости. Но Сашѣ тотчасъ-же стало стыдно этой мысли и она почувствовала жаръ въ щекахъ.

Саша начинала потомъ оправдывать себя. Развѣ не такъ-же холодно встрѣтила ее и мать? У нея ни одной слезы не мелькнуло въ глазахъ. Только разъ поцѣловала она ее какъ-будто тепло, а то въ поцѣлуяхъ ея было что-то начальническое. Она обнимала дочь такъ официально. И какой у нея жесткій и тугой корсетъ! И въ Сашѣ опять закипала досада на самое себя. Поцѣлуй, объятія и слезы еще не доказательство любви, думала она. На каждомъ шагу въ домѣ видны слѣды заботъ объ удобствахъ, о спокойствіи дочери. Вотъ настоящія доказательства любви. Въ-же эти нѣжности—въ нихъ можетъ и ничего не быть. Хоть-бы Катерина Ларионовна. Можно-ли быть экспансивнѣе? А много-ли въ ней дѣйствительной любви и пріязни? Между тѣмъ Сашѣ чувствовалось, что ей легче и быть откровенной, и сойтись со вдовой Короленковой. Но вѣдь характеры бываютъ такъ различны. Всякая и въ институтѣ выражала по-своему одно и то-же чувство. У многихъ чувство рѣдко проглядываетъ наружу. Да и можно-ли судить по одному дню, и не по цѣлому даже дню, а по нѣсколькимъ часамъ? Надо пожить вмѣстѣ и тогда судить. „Я дурная, неблагодарная дочь, обвиняла себя Саша, — я не могу найти въ себѣ никакого теплаго чувства къ матери. Да, я неблагодарная“. И Саша вспомнила откуда-то фразу, что благодарность есть лучшее изъ всѣхъ человѣческихъ чувствъ. Она не разбирала, справедлива-ли эта фраза, и только винула себя. А между тѣмъ не все-ли кругомъ вызываетъ благодарность? Когда Саша еще не было, обо всемъ думали за нее, все устроили такъ, чтобы ей было хорошо, чтобы она могла жить безъ заботъ и лише-

ній. И что-же? у Саши не нашлось ни одного слова, чтобы выразить благодарность. Она не похвалила даже комнаты, которая была приготовлена для нея. Она ни разу не поцѣловала руки у матери. А это было нужно, непременно нужно. Ей надо исправиться, быть съ завтрашняго-же дня внимательнѣе, ласковѣе.

Потомъ Саша хотѣла представить себѣ, какъ пойдетъ ея жизнь дома, но изъ того, что она видѣла, она не могла составить ничего опредѣленнаго. Она знала только, что будетъ по утру вставать, вечеромъ ложиться спать, а днемъ обѣдать и пить чай. „Буду читать, думала она, — буду много читать. Я ничего не знаю о жизни. Въ книгахъ можно найти отвѣтъ на многое. Стану читать тѣ книги, которыхъ намъ не давали. Говорили, что намъ еще рано знать всѣ стороны жизни. Теперь вѣрно ужъ не рано“.

Отъ этихъ болѣе пріятныхъ мыслей Саша, однакожъ, скоро перешла опять къ думамъ вовсе неуспокоительнымъ. Ей припомнились всѣ слова Катерины Ларіоновны о скудныхъ средствахъ ея матери Саша, напротивъ, видѣла все въ домѣ въ изобиліи. Мать ея, значить, не бѣдна. Но сама же она говорила о недостаткѣ средствъ. Она вѣрно отказывала во всемъ себѣ, чтобы только дочь не терпѣла нужды. И опять въ Сашѣ возникли какія-то угрызения. Можетъ быть, достаточная внѣшность дома такъ-же обманчива, какъ холодная наружность матери, и подъ нею таится совсѣмъ иное. Съ какими пожертвованіями было, можетъ быть, сопряжено устройство и пріобрѣтеніе всего, чѣмъ Саша намѣревалась пользоваться такъ легкомысленно и равнодушно! Катерина Ларіоновна прямо говорила, что у матери Саши средства не больше ея собственныхъ; а Катерина Ларіоновна живетъ чуть ли не благотворительностью ближнихъ. Она самоотверженно повторяетъ: „наше дѣло сиротское“, „никѣмъ и ничѣмъ пренебрегать не надо“, „голенькій охъ, а за голенькимъ Богъ“, всякое даваніе благо“, и т. п. Та-же Катерина Ларіоновна приписывала наружный видъ довольства въ домѣ только умѣнью Марьи Кондратьевны вести свои дѣла и хозяйничать. Сколько разъ вдова повторяла, что она, Саша, будетъ новымъ стѣсненіемъ, новою тяжелой заботой для матери. И Саша вдругъ прониклась какимъ-то особымъ чувствомъ жалости къ своей матери. Она припомнила всѣ предметы, замѣченные ею на новосельѣ, и каждый изъ этихъ пред-

метовъ, какъ-бы онъ ни былъ ничтоженъ, снова растревлялъ это странное чувство. Она припомнила пальцы у окна, красивое шитье, пестрый узоръ, — и ей было жаль мать; припомнила рѣзбу на окнѣ, — и опять то-же; припомнила вещицы на своемъ туалетѣ, подушку для булавокъ, матовый флаконъ, обвитый пестрою золотистой змѣйкой, и что-бы такое она ни припоминала, ей все было только жаль, какъ-то странно и болѣзненно жаль мать. Она стала опять отгонять отъ себя всякую мысль, чтобы избавиться отъ этого чувства. Но это не удавалось, и она старалась думать объ институтѣ, старалась вообразить, что она еще тамъ, лежитъ на казенной постели. Но подъ руку ея попадалось покрывало, вовсе непохожее на институтское, и сразу всѣ старанія пропадали. Саша опять принималась упрекать себя за сомнѣнія въ любви матери и рѣшилась высказать ей всѣ свои тревоги. Она чувствовала, что это будетъ трудно; но это надо сдѣлать. Надо также не высказывать никакихъ своихъ желаній, ограничивать ихъ и подавлять, чтобы не внушать матери новыхъ заботъ. Это рѣшеніе показалось Сашѣ успокоительнѣе всего, что она передумала, и она, наконецъ, уснула.

Китайскіе и японскіе садовники любятъ украшать свои сады малорослыми, миньятюрными деревьями. Для этого они стараются остановить или замедлить въ нихъ обращеніе соковъ; они перевиваютъ и перевязываютъ вѣтви молодого куста, помѣщаютъ корень въ тѣсный ящикъ, чтобы ему негдѣ было развиться и приобрести силу, отводятъ отъ растенія притокъ влаги и производятъ настоящихъ Томъ-Пусовъ растительнаго царства. Надъ Сашей съ самаго дѣтства ея производили такіе-же эксперименты и неудивительно, что мысль ея кружилась такъ-же нелѣпо и болѣзненно, какъ соки въ корняхъ лилипутскаго деревца, запертаго въ тѣсный ящикъ.

И. И.—овъ.

ИЗНАНКА ЦИВИЛИЗАЦИИ *).

ДѢТСТВО ВЪ СТОЛИЦАХЪ.

I.

„Онъ умеръ, ваше величество! Милорды и джентльмены, преподобные пастыри всѣхъ вѣроисповѣданій, — онъ умеръ! Онъ умеръ — знайте это отцы и матери, знайте это всѣ, кому небо не отказало въ искрѣ сочувствія горю и страданіямъ ближняго!.. Онъ умеръ, и сколько другихъ, подобныхъ ему, умираютъ безпомощно кругомъ насъ каждый день!“ Такимъ патетическимъ воззваніемъ заключаетъ Чарльзъ Дикенсъ въ одномъ изъ своихъ романовъ трогательный разсказъ о смерти на улицахъ Лондона всѣми покинутого маленькаго оборвыша.

Прошло пол-вѣка съ тѣхъ поръ, какъ этотъ знаменитый англійскій романистъ началъ свое блестящее литературное и общественное поприще описаніемъ страданій и невзгод маленькаго Оливера Твиста, питомца общественной благотворительности. Много воды утекло за эти пятьдесятъ лѣтъ и много вода эта смыла грязи, варварства и всякой неправды съ лица передовыхъ европейскихъ обществъ вообще и въ частности того англійскаго общества, къ которому Дикенсъ обращался съ этимъ воззваніемъ. Имя этого гуманнаго писателя останется надолго памятнымъ и дорогимъ многимъ изъ его соотечественниковъ, такъ какъ Дикенсъ своими привлекательными и популярными романами способствовалъ пробужденію общественной совѣсти въ Англии гораздо больше, чѣмъ многіе глубокомысленные и ученые изслѣдо-

* См. ст. „Изнанка цивилизаціи“ въ 11 и 12 книгахъ „Дѣла“ за 1878 г. „Дѣло“, № 1, 1880 г.

ватели всякихъ общественныхъ золь; но, конечно, одна ласточка не дѣлаеть весны, и Дикенсъ былъ далеко не одинъ вѣстникомъ и глашатаемъ того пробужденія общественной совѣсти, которое за послѣдніе годы замѣчается не въ одной только Англїи. Собственно говоря, ласточки, сколько-бы ихъ ни бралось вмѣстѣ, тоже не дѣлають весны, а только предвѣщаютъ намъ ее послѣ долгой и тяжелой зимы своимъ появленіемъ. Мы охотно готовы признать, что и Дикенсъ, и цѣлыя массы другихъ, быть можетъ, гораздо болѣе замѣчательныхъ писателей, сочувствуя этой общественной весною въ точно опредѣленныхъ мѣстахъ, какъ ласточки съ весною климатическою, не могли бы ничего сдѣлать. Дѣло въ томъ, что со времени появленія въ свѣтъ романовъ Дикенса милорды и джентльмены, оставшіе при достаточномъ сословіи и всѣ тѣ, кого небо наградилъ драгоценною способностью сочувствовать горю и страданію олижнago, не въ одной только Англїи, стали не въ примѣръ внимательнѣе, чѣмъ прежде, присматриваться и прислушиваться къ тому, что творится у нихъ подъ ногами. Дикенсъ, пользовавшійся громадною популярностію, напомнилъ самодовольнымъ милордамъ и джентльменамъ, утопающимъ въ роскоши, что тамъ, въ этихъ грязныхъ захолустьяхъ столицъ, ютится безысходная нищета, которая кладетъ свое роковое клеймо на дѣтей, умирающихъ, подобно маленькому оборвышу, на улицахъ. Онъ далъ понять, что нельзя равнодушно относиться къ этому явленію тамъ, гдѣ общество гордится великими завоеваніями цивилизаціи и выставляетъ напоказъ свою парадную благотворительность... Честь и слава писателю, бросившему искру свѣта въ этотъ темный и отверженный міръ; но маленькіе оборвыши еще далеко не перевелись и продолжаютъ умирать на улицахъ, хотя смерть ихъ уже отнюдь не можетъ считаться, даже въ самыхъ промышленныхъ и многолюднѣйшихъ городахъ, зауряднымъ, нормальнымъ явленіемъ. Вспомните тринадцатаго Джиньсова младенца, котораго трагическую судьбу повѣдалъ намъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ достойный преемникъ Дикенса—Дженкинсъ, и вы согласитесь, что современная цивилизація еще далеко не освободилась отъ маленькихъ оборвышей.

Англїя съ давнихъ поръ была и, конечно, останется на долгое время классическою странюю соціального неравенства и, такъ

сказать, искусственной нищеты, составляющей естественную, неизбывную изнанку всякой исключительно капиталистической цивилизации. Виною этого не какая-либо особенная порочность британской нации, а только то, что Англия, въ силу хорошо всёми известныхъ историческихъ условий, развила въ себѣ эгоистически-индустриальный строй до такой степени, какой онъ не достигалъ ни въ одной изъ континентальныхъ странъ Европы. Вездѣ есть бѣдность, во всёхъ столицахъ есть свои маленькіе оборвыши, но нигдѣ не бросается такъ рѣзко въ глаза этотъ поразительный антагонизмъ подавляющаго богатства и отталкивающей нищеты, какъ въ отечествѣ Оуэна и Дикенса. Экономическая односторонность Англии, созданная вѣками, однимъ концемъ своимъ примыкаетъ къ ея филантропическому благодушію, а другимъ — къ бездушнѣй и холодной теоріи Мальтуса. Эта односторонность была превосходно разслѣдована во всёхъ своихъ тонкостяхъ и осложненіяхъ англійскими, французскими, нѣмецкими и иными учеными уже въ промежуткѣ 1830 — 60-хъ годовъ и даже раньше; но только въ новѣйшее время, перелагая эти экономическія изслѣдованія на антропологическую почву, — какъ это сдѣлалъ итальянскій психіатръ и судебно-медицинскій экспертъ Ломброзо *), — мы убѣдились, что эта двойственность культурнаго воздѣйствія связывается гораздо глубже и гораздо оцутительнѣе, чѣмъ думали самые смѣлые изъ экономистовъ. Чезаре Ломброзо, съ замѣчательнымъ богатствомъ вполне самостоятельныхъ изслѣдованій и вмѣстѣ книжной учености, показалъ намъ, что параллельно съ успѣхами цивилизации идетъ также развитіе антропологически вырождающейся породы людей, представляющей характеристическіе признаки низшей этнографической расы: неблагоприятную для умственной дѣятельности форму череповъ съ малою мозговою вмѣстимостью, ширину скуль, страбизмъ, темноту кожи и общее развитіе волосаной системы, сходныя съ тѣми, которыя считаются у этнографовъ за признаки желтой или монгольской расы, большее сходство между особями разныхъ возрастовъ и половъ, чѣмъ то, которое обыкновенно замѣчается въ высшихъ слояхъ цивилизованнаго блага общества, и т. д. Мы уже знаемъ, что подъ вліяніемъ этой обратной стороны современной культуры большіе и маленькіе оборвыши богатѣйшихъ европейскихъ городовъ способны

*) См. его „Uomo delinquente“.

доходить въ своемъ регрессѣ даже до такого предѣла, за который перешли уже давно дѣйствительные монголы и который въ современной этнографіи представляется только нѣкоторыми островами Тихаго океана.

Самый фактъ и размѣры этого вырожденія, очевидно, обуславливаемого культурнымъ неравенствомъ, я пытался установить въ первомъ своемъ очеркѣ. На этотъ разъ я имѣю въ виду обратить вниманіе читателя исключительно на положеніе дѣтей въ столицахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что оно не вездѣ одинаково, что въ Парижѣ оно смягчается нѣкоторыми чисто-мѣстными условіями и не представляетъ такого печальнаго явленія, какъ въ Лондонѣ, но все-таки у него есть общія, генетическія условія, которыя такъ превосходно подмѣчены италіянскимъ изслѣдователемъ Ломброзо. Поэтому намъ нѣтъ надобности ограничивать свои изслѣдованія какими-нибудь географическими границами и мы совершенно свободно можемъ переноситься съ туманныхъ береговъ Темзы къ верховьямъ По, въ промышленный Туринъ или въ Парижъ, смотря по требованіямъ затронутого нами предмета.

Но, заговоривъ объ англійскихъ романистахъ и сатирикахъ, посвятившихъ свой талантъ возбужденію гуманныхъ чувствъ къ дѣтямъ, мы хотѣли-бы обратить вниманіе нашихъ читателей на то, что одно только сравненіе нѣкоторыхъ лучшихъ романовъ Дикенса съ вышеупомянутымъ произведеніемъ Дженкинса, давно уже переведеннымъ по-русски, можетъ дать нѣсколько не безынтересныхъ указаній на то пробужденіе общественной совѣсти, о которомъ было сказано выше. Въ то время, когда англійскіе государственные люди и теоретики политической экономіи, вродѣ, на примѣръ, извѣстнаго Фаусета, проникнутые до мозга костей рикардо-мальтузіанскими воззрѣніями, видятъ чуть не святотатство въ каждой попыткѣ облегчить законодательнымъ путемъ нищету обездоленнаго населенія фабричныхъ городовъ и деревень, обращенныхъ въ фабрики земледѣльческихъ продуктовъ; въ то время, какъ ученѣйшіе мужи во имя философіи и науки требуютъ отмены извѣстныхъ законовъ о бѣдныхъ и подоходныхъ налоговъ въ пользу неимущихъ, — налоговъ, придуманныхъ еще Елисаветою для обузданія науперизма и вырожденія народныхъ массъ, — Дикенсъ съ гражданскимъ мужествомъ, доходящимъ почти до героизма, указываетъ степеннымъ лордамъ обѣихъ палатъ, дѣловымъ джентль-

менамъ и чопорнымъ лэди, зачерствѣвшимъ отъ биржевыхъ спекуляцій, на предсмертныя судороги маленькаго, грязнаго оборвыша, умирающаго въ мукахъ голодной смерти на улицахъ одного изъ многлюднѣйшихъ городовъ... Проходитъ какихъ-нибудь тридцать лѣтъ — и Джинксовъ младенецъ, родившійся тринадцатымъ въ злополучной семьѣ, въ которой еле-еле двѣнадцать его предшественниковъ могли влачить злополучнѣйшее существованіе, уже не тонетъ безслѣдно въ мутныхъ волнахъ Темзы, куда подавленный нищетой отецъ хочетъ бросить его въ первый-же день по рожденіи; нѣтъ, онъ прежде становится героемъ филантропической трагикомедіи, въ которой всѣ корифеи англійской политической жизни, отъ уличнаго полисмена до колоновожатыхъ парламентскихъ партій, живущихъ въ роскошныхъ и неприступныхъ дворцахъ, люди науки и мысли, пасторы и проповѣдники разнообразнѣйшихъ сектъ и т. п., — всѣ жадно хватаются за него, видятъ въ этомъ крошечномъ, слабомъ, полуживомъ человѣческомъ существѣ удобное орудіе для своихъ цѣлей.

А результатъ? Джинксовъ младенецъ все-таки тонетъ, какъ извѣстно, въ тѣхъ-же мутныхъ, холодныхъ волнахъ той самой рѣки, которую ежедневно бороздятъ сотни кораблей, несущихъ въ Англію богатства цѣлаго свѣта. Но только тонетъ онъ въ нихъ уже не безпомощнымъ младенцемъ, а зрѣлымъ человѣкомъ во цвѣтѣ лѣтъ и силъ, извѣдавшимъ всѣ невзгоды культурной борьбы и доведеннымъ до крайняго предѣла отчаянія.

II.

Ни Дженсенъ, ни Дженкинсъ не фотографировали дѣйствительности, а изображали ее скорѣе черезъ нѣкоторое концентрирующее стекло, нечуждое извѣстной субъективной окраски. Тѣмъ не менѣе жизненная правда отразилась въ ихъ произведеніяхъ не только въ общихъ своихъ чертахъ, но даже съ нѣкоторымъ довольно тонкимъ оттѣнкомъ, позволяющимъ намъ уловить то видоизмѣненіе, которое культурное неравенство и отношеніе къ нему передовыхъ классовъ населенія Англій пережили за послѣдніе годы и отчасти еще переживаетъ и теперь, на нашихъ глазахъ. Все-ли въ этомъ видоизмѣненіи должно быть разсматриваемо какъ драгоцѣнный прогрессъ, какъ золотая монета гуманности, — это мы

увидишь нѣсколько ниже. Несомнѣнно одно: англійское общество, по крайней мѣрѣ, въ лучшихъ передовыхъ своихъ слояхъ, заинтересовалось безпомощнымъ младенцемъ, о гибели котораго повѣдалъ ему Дикенсъ... Надо было только разбудить общественную совѣсть, уснувшую подъ однообразный шумъ машинныхъ колесъ, передѣлывающихъ день и ночь въ промышленныхъ центрахъ всякое малоцѣнное сырье и тряпье въ драгоценные продукты индустриализма. Во имя чего ни будили-бы вы ее, — во имя-ли чувства, разума или просто страха, — однажды проснувшись, она уже не можетъ успокоиться до тѣхъ поръ, „finche il danno e la vergogna dura“, выражаясь пластическимъ языкомъ Микель-Анжело („пока длятся вредъ и позоръ“.) Надо было осмотрѣться для того, чтобы тотчасъ-же увидѣть, что засвидѣтельствованное выше вырожденіе человѣчества, принимающее здѣсь болѣе, тамъ менѣе угрожающіе размѣры, стрясается надъ нами не съ вѣтра, не въ силу какихъ-нибудь загадочныхъ вліяній, даже не какъ продуктъ таинственнаго „атавизма“ — словцо, которое, по моему мнѣнію, слишкомъ часто и не всегда кстати пестритъ страницы новѣйшихъ нравственно-общественныхъ и криминалистическихъ изслѣдованій на антропологической подкладкѣ.

Атавизмомъ въ біологіи принято называть тѣ нерѣдкіе, но всегда нѣсколько странные случаи, когда рождающаяся особь, вмѣсто того, чтобы походить на ближайшихъ своихъ родителей, по какимъ-то таинственнымъ причинамъ вдругъ воспроизводитъ собою какія-нибудь характеристическія особенности болѣе или менѣе отдаленныхъ своихъ предковъ. Въ тѣхъ породахъ, которыя значительно отклонились отъ своего первообраза, атавизмъ можетъ иногда вызывать вполне чудовищныя явленія. Было-бы, однакожь, черезчуръ смѣло утверждать, будто та несчастная порода людей, которая кишитъ во всѣхъ большихъ промышленныхъ городахъ и которую Ч. Ломброзо изслѣдуетъ подъ нѣсколько произвольнымъ прозвищемъ Uomo delinquente, воспроизводитъ собою анатомическіе и психическіе признаки какихъ-то отдаленныхъ праотцевъ современнаго европейскаго человѣчества. Подобное предположеніе можетъ быть допущено, но только какъ предположеніе, относительно тѣхъ малоголовыхъ идіотовъ, которые еще встрѣчаются въ горахъ Швейцаріи, Савойи и Италіи; но не имъ-же, конечно, почтенный психіатръ посвящаетъ свое замѣчательное сочиненіе, имѣющее

цѣлю убѣдить насъ, что преступленіе есть неизбѣжная изнанка нашей блестящей и щегольской цивилизаціи; что оно развивается и процвѣтаетъ параллельно съ успѣхами и процвѣтаніемъ самой этой цивилизаціи, избирая своимъ гнѣздомъ по преимуществу большіе промышленные города; что оно имѣетъ свой особый, самостоятельный контингентъ; что „преступная порода“ представляетъ собою столь-же специальную этнографическую разновидность, какъ негры, краснокожіе и т. п.

Не повторяя здѣсь того, что было уже высказано мною по поводу этого новаго криминалистическаго ученія, замѣчу только, что возникновеніе этой несчастной породы самымъ ближайшимъ образомъ можетъ быть отнесено къ тѣмъ крайне печальнымъ и ненормальнымъ условіямъ, въ которыхъ находится большинство дѣтей, начиная съ самаго ранняго возраста, въ большихъ промышленныхъ городахъ. Книга Ломброзо на нашъ взглядъ очень существенно грѣшитъ тѣмъ, что въ ней изслѣдованіе малолѣтнихъ преступниковъ играетъ, сравнительно говоря, очень ничтожную роль. Но и помимо Ломброзо всякому очень хорошо извѣстно, что однимъ изъ печальныхъ результатовъ скопленія несмѣтнаго количества людей въ большихъ промышленныхъ центрахъ являются тѣ крайне своеобразныя условія, матеріальныя и нравственныя, въ которыхъ находятся дѣти большихъ городовъ. Ни для кого также не новость, что наша организація, физическая и духовная, всего болѣе чутко откликается на эти условія именно въ раннемъ возрастѣ, когда пластическіе процессы еще не закончены, когда будущему человѣку приходится черпать изъ окружающей его среды физическіе и психическіе элементы своего я, еще несуществующаго въ сколько-нибудь законченномъ своемъ видѣ. Само собою разумѣется, что если среда даетъ ему недостаточное количество такихъ элементовъ, да къ тому-же и эти скудные элементы оказываются негодными для образованія нормальной и здоровой человѣческой личности, то въ итогъ получится только жалкій вырождѣ, иногда полный идіотъ, калѣка или кретинъ, иногда преступный, т. е. угрожающій и общественному благополучію вообще, и личной безопасности каждаго изъ своихъ болѣе счастливыхъ согражданъ въ частности. Ломброзо имѣетъ слишкомъ исключительно въ виду только этотъ послѣдній видъ вырожденія культурнаго человѣчества. Но такъ какъ оба эти вида суть плоды одного и того же

борня, то и онъ въ-концѣ-концовъ признаеть, что противъ преступленія не столько важны юридическія мѣры, сколько систематическое леченіе всякаго затажнаго, хроническаго недуга, когда его предупреждаютъ въ самомъ источникѣ развитія. Для значительнѣйшаго большинства самыхъ знаменитыхъ и самыхъ ужасныхъ злодѣевъ начало ихъ преступнаго поприща совпадаетъ едва-ли не съ самымъ началомъ ихъ существованія. Мальо, предводитель грабительской шайки *Зеленыхъ калтуховъ* въ Парижѣ, — шайки, состоявшей поголовно изъ безбородыхъ юношей и изъ мальчишекъ, но отличавшейся необыкновеннымъ звѣрствомъ совершаемыхъ ею убійствъ, — говоритъ о себѣ слѣдующее: „съ семи лѣтъ я очутился брошеннымъ на парижской мостовой. Мнѣ не случилось встрѣтить ни одного человѣка, который-бы обратилъ на меня вниманіе. Я чувствовалъ себя совершенно потеряннымъ, и мое существованіе постоянно висѣло на волосѣхъ. Я провель всю свою жизнь въ тюрьмахъ и на каторгѣ. Я началъ съ мелкаго воровства и кончилъ, какъ видите. Это фатальность“.

Мы выписываемъ совершенно наудачу это первое попавшееся намъ подъ руку признаніе извѣстнаго злодѣя. Порывшись немного въ уголовной литературѣ всѣхъ странъ, можно-бы было написать подобными-же признаніями цѣлыя страницы. Но я имѣю здѣсь въ виду дѣйствовать вовсе не на чувствительность читателя. Общественное вниманіе уже пробуждено въ ненормальному положенію дѣтей въ большихъ промышленныхъ городахъ. Мы знаемъ, съ какими невзгодами и соблазнами приходится бороться дѣтямъ, брошеннымъ на произволъ судьбы, — этимъ маленькимъ ворюшкамъ и бродягамъ, которыхъ не можетъ устрашить никакая уголовная кара. Дѣтскій вопросъ поднять повсюду въ Европѣ; изъ пассивной области филантропическихъ сочувствій онъ перешель въ сферу положительныхъ юридическихъ кодексовъ, въ научные трактаты гигиенистовъ и психологовъ, однимъ словомъ, сдѣлался вопросомъ величайшей важности, — вопросомъ общественнымъ. Невозможно даже перечислить на немногихъ страницахъ болѣе или менѣе замѣчательныя произведенія, появившіяся за послѣдніе годы по этому предмету на всѣхъ европейскихъ языкахъ.

Искусство воспитывать человѣка изъ имѣющагося въ наличности младенца — ужасно трудная вещь даже тамъ, гдѣ экономическія и другія общественныя условія складываются очень благо-

пріятно. При всѣхъ нашихъ педагогическихъ знаніяхъ ми такъ мало еще проникли въ умственный и нравственный міръ нашихъ дѣтей, что чувствуемъ себя въ немъ совершенно потерянными. Давно извѣстно вполнѣ основательное, хотя и жолчное замѣчаніе Герберта Спенсера, что англичане лучше умѣютъ воспитывать свиней, чѣмъ дѣтей. Да и далеко не въ одной только Англіи, какъ счастливо обставленные родители, одушевляемые самою возвышенною благонамѣренностію, тратятъ еще громадныя деньги и не мало труда на то, чтобы нанести положительный вредъ антропологическому развитію своихъ питомцевъ. Рациональная педагогика, какъ и гигиена, бродитъ еще въ самыхъ мрачныхъ потемкахъ и вынуждена на каждомъ шагѣ бороться съ самыми возмутительными предрасудками и предубѣжденіями. Но педагогика имѣетъ съ гигиеною еще и другую общую сторону: прежде, чѣмъ заниматься тѣми многочисленными, но все-же исключительными случаями, когда дѣти воспитываются дурно по невѣденію ихъ родителями самыхъ элементарнѣйшихъ предписаній и выводовъ науки, она должна засвидѣтельствовать гораздо болѣе распространенный печальный фактъ, что большинство дѣтей не воспитывается вовсе, что они лишены даже такихъ первѣйшихъ, насущнѣйшихъ благъ, безусловная необходимость которыхъ ни въ чьихъ глазахъ не можетъ уже подлежать никакому сомнѣнію. Какъ и гигиена, педагогика приходитъ прежде всего къ тому заключенію, что здоровое и нормальное развитіе даже счастливо обставленныхъ единичныхъ личностей рѣшительно невозможно тамъ, гдѣ общественная среда находится въ скверныхъ бытовыхъ условіяхъ. Попробуйте оградить себя отъ заразы тамъ, гдѣ вся атмосфера пропитана тифозными, холерными и иными миазмами, зарождающимися въ неисчислимыхъ притонахъ грязи, невѣжества и нищеты! Единственною пѣлесообразною гигиеническою мѣрою въ подобномъ случаѣ можетъ быть только бѣгство на-угадъ, куда глаза глядятъ, изъ этой зловонной атмосферы. Но бѣгство вѣдь все-же заячій пріемъ, а человекъ, если въ немъ есть хоть искра мужества и ума, пытается прежде обратить въ бѣгство то, что отравляетъ его существованіе.

Ненормальныя условія, въ которыя поставлены дѣти недостаточныхъ классовъ въ большихъ промышленныхъ городахъ, слишковымъ очевидно служатъ источникомъ преступныхъ и всякихъ дру-

гихъ неблаговидныхъ вырожденій общеєвропейской культурной породы. Устраненіе этихъ ненормальныхъ условій несомнѣнно составляетъ элементарнѣйшую жизненную задачу общественной педагогики, какъ и общественной гігіены, какъ и всякой другой отрасли нашей сознательной дѣятельности, имѣющей цѣлью разумное благо насъ самихъ и нашихъ ближнихъ. Маленькіе оборвыши, печальную участь которыхъ повѣдали намъ Дикенсы, Гринвуды и белетристы одинаковаго съ ними направленія, становятся рѣшительными героями дня: о нихъ идетъ рѣчь не въ одной только литературѣ, но и въ высшихъ правительственныхъ сферахъ, въ государственныхъ канцеляріяхъ, въ парламентахъ. Ассоціаціи и корпораціи, свѣтскія и духовныя, разнообразнѣйшіе общественные кружки вездѣ, гдѣ только живетъ какая-нибудь общественная дѣятельность, обсуждаютъ и принимаютъ мѣры въ послѣднюю ослабленію всѣми признаннаго зла.

III.

Прежде всего желательно было-бы отвѣтить на основаніи хотя-бы приблизительно вѣрной оцѣнки общественныхъ явленій, которую обыкновенно даютъ намъ только статистическія цифры, на слѣдующій вопросъ: сколько дѣтей въ разныхъ передовыхъ странахъ Европы не имѣютъ своего крова, пристанища и никакихъ обезпеченныхъ средствъ къ существованію въ своей семьѣ? Статистика неспособна отвѣтить намъ прямо на этотъ вопросъ, и мы должны пользоваться съ нѣкоторымъ разборомъ и осмотрительностью даже косвенными ея данными и указаніями.

Мы знаемъ, напримѣръ, что во Франціи, при населеніи въ 37 миліоновъ, около 125,000 дѣтей и юношей обоеихъ половъ ниже двадцати-лѣтняго возраста живутъ на счетъ общественной и государственной благотворительности или, по крайней мѣрѣ, получаютъ отъ нея нѣкоторое пособіе. Въ Англіи въ 1877 г., при народонаселеніи всего только въ 24 миліона, было 234,124 питомца общественной благотворительности. Изъ этого мы, можетъ быть, вправѣ сдѣлать общій выводъ, что въ Англіи положеніе дѣтства бѣдственнѣе, чѣмъ во Франціи, такъ-какъ въ ней почти на каждыя сто душъ огуловаго населенія приходится одинъ ребенокъ, который не могъ-бы существовать вовсе, еслибъ общественная бла-

готовительность не пришла такъ или иначе къ нему на помощь; во Франціи-же такихъ дѣтей приходится какъ 1 : 300. Однакожь, приведенныя нами здѣсь цифры не однороднаго характера, прежде всего уже потому, что во Франціи общественная благотворительность включаетъ въ категорію малолѣтнихъ и такъ-называемыхъ *jeunes adultes* отъ 16 до 20 лѣтъ, т. е. до достиженія ими полного, законнаго совершеннолѣтія, тогда какъ въ Англіи питомцы пріютовъ дѣтской нищеты безусловно изгоняются изъ нихъ на 16-мъ году отъ рожденія, а слѣдовательно дѣйствительное отношеніе оказывается въ этой классической странѣ еще болѣе неблагоприятнымъ. Для насъ это обстоятельство имѣетъ, впрочемъ, очень мало значенія, потому что, даже ограничивъ наши изслѣдованія дѣтской безпомощности и нищеты шестнадцати-лѣтнимъ возрастомъ, мы имѣемъ все-же передъ собою такой обширный предметъ, который не легко исчерпывается въ одной журнальной замѣткѣ.

Но для того, чтобы придавать вышеприведеннымъ цифрамъ какое-нибудь абсолютное или сравнительное значеніе, мы прежде всего должны удостовѣриться, что онѣ дѣйствительно состоятъ въ прямомъ отношеніи съ интересующимъ насъ здѣсь явленіемъ. Можно смѣло и положительно утверждать, что ни во Франціи, ни въ Англіи всѣ дѣти, неимѣющія обезпеченнаго существованія въ собственной семьѣ, не получаютъ его и отъ государственной или общественной благотворительности, но большее или меньшее число получающихъ пособіе зависитъ не исключительно только отъ числа нуждающихся въ немъ, но также и отъ готовности государства и общества оказать имъ эту помощь и отъ множества частныхъ и подробностей благоустройства общественной благотворительности. Разныя государства Европы руководятся въ своихъ отношеніяхъ къ дѣтской безпомощности и нищетѣ чрезвычайно различными принципами, а многія такъ и вовсе не выработали себѣ на этотъ счетъ никакихъ опредѣленныхъ принциповъ: подвернется добрый человѣкъ или филантропическій кружокъ, такъ и пристроить какъ-нибудь нуждающагося младенца пріютить его въ воспитательный домъ, ну а не подвернется, то и пропадетъ злополучный младенецъ или сдѣлается жертвой того-же воспитательнаго дома, если какъ-нибудь не выручить его слѣпая судьба.

Читатели найдутъ не мало интересныхъ подробностей о благоустройствѣ государственныхъ и общественныхъ пріютовъ для дѣт-

своей нищеты во Франціи въ недавно-вышедшей въ Парижѣ книгѣ виконта Осонвиля („L'enfance à Paris, par le vicomte d'Haussonville, ancien député, 1879 г.“). Мы-же замѣтимъ здѣсь, что Англія опередила всѣ европейскія государства, постановивъ уже въ самомъ началѣ XVII столѣтія (а именно въ 1602 г., при королевѣ Елисаветѣ), что всѣ, неизбѣжныя собственныя средства въ существованію, а слѣдовательно и необеспеченныя дѣти, должны быть содержимы на счетъ своихъ доходовъ и изъ средствъ, взимаемыхъ въ формѣ имущественнаго налога съ обеспеченныхъ классовъ народонаселенія. Можно смѣло утверждать, что дальше этого элементарнаго распоряженія о бѣдныхъ королевы Елисаветы законодательная власть не пошла еще нигдѣ. Да съ точки зрѣнія руководящаго принципа, ей и трудно было-бы идти дальше, такъ-какъ въ этомъ положеніи заключается полное признаніе высшею государственною властью права за каждымъ беспомощнымъ получить, по крайней мѣрѣ, необходимѣйшія средства къ этому существованію отъ общества, съ которымъ онъ всего ближе и тѣснѣе связанъ по рожденію. Когда въ Швейцаріи первая союзная конституція 1847 г. постановила, что каждый гражданинъ долженъ непременно быть приписанъ къ какой-нибудь общинѣ и каждая община обязана дать ему необходимѣйшія средства существованія въ случаѣ крайней нищеты, то она только повторила то, что въ Англіи около 250 лѣтъ тому назадъ было придумано королевой Елисаветой: Во Франціи до революціи всякая благотворительность была болѣе или менѣе исключительно монополизирована въ рукахъ бѣлаго и чернаго духовенства, которое видѣло въ ней вѣрное орудіе къ упроченію своего политическаго вліянія. Виконтъ Осонвиль, впрочемъ, даже нестарающійся скрывать своихъ клерикальныхъ симпатій, напрасно старается отстоять честь своей націи ссылкою на то, что первый въ Европѣ дѣтскій пріютъ былъ основанъ въ началѣ XII столѣтія въ Марсели и что оттуда обычай такихъ пріютовъ, предназначавшихся для незаконнорожденныхъ дѣтей и подкидышей, распространился на всю Европу. Сердобольные люди, готовые при случаѣ отъ избытковъ своихъ помочь ближнему, въ видахъ-ли собственнаго душе-спасенія или изъ иныхъ побужденій, встрѣчались во всякое время и вездѣ. Одно дѣло совершить богоугодный поступокъ, другое

дѣло понять, что есть такія общественныя явленія, которыя требуютъ болѣе радикальныхъ мѣръ, чѣмъ простая благотворительность. Декретъ королевы Елисаветы представляетъ собою несомнѣнно первое пробужденіе этого пониманія въ просвѣщенной Европѣ; первое государственное признаніе той солидарности, которая неизбѣжно связываетъ всѣхъ членовъ всякаго сколько-нибудь благоустроеннаго общества въ одно неразрывное цѣлое; первое возведеніе въ признанное право того, что даже современные клерикалы желали-бы оставить на произволъ благочестивыхъ побужденій. А между тѣмъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, что въ феодальной Франціи, если государственная власть и вмѣшивалась въ устройство благотворительныхъ учрежденій, то исключительно для того, чтобы отстранить отъ пользованія ими незаконнорожденныхъ дѣтей. Такъ, напр., Карлъ VII, основывая въ половинѣ XV столѣтія больницу св. Духа, запрещаетъ спеціальнымъ декретомъ принимать въ нее незаконнорожденныхъ дѣтей, „потому что многіе люди стали-бы легче поддаваться грѣху, когда-бы увидѣли, что такія незаконныя дѣти кормятся лучше и обходятся безъ ихъ ухода и заботливости...“

Короче говоря, во Франціи только конвентъ впервые сталъ по отношенію къ беспомощнымъ дѣтямъ вообще и къ незаконнорожденнымъ въ частности на ту точку, на которой Англія стояла уже въ 1602 г. Онъ безъ обиняковъ объявилъ ихъ „дѣтьми отечества“. „Всѣ дѣти, говорится въ одномъ изъ декретовъ конвента, — каковы-бы ни были обстоятельства ихъ рожденія, принадлежать безразлично обществу и имѣютъ право на его попеченія; въ особенности-же необходимо искоренить то предубѣжденіе, съ которымъ повсюду относятся къ незаконнорожденнымъ дѣтямъ даже въ томъ возрастѣ, когда они всего больше нуждаются въ покровительствѣ и помощи“, и т. д. Конвентъ, однакожь, не создалъ сколько-нибудь стройнаго законодательства по отношенію къ беспомощнымъ дѣтямъ. Этому, вѣроятно, отчасти помѣшала самая кратковременность его существованія. Нельзя, однакожь, не замѣтить, что конвентъ и въ принципѣ обнаруживалъ мало склонности строить воспитательные дома, пріюты для дѣтства, находя, что „возрожденіе правовъ, распространеніе добродѣтелей и общественный интересъ равно требуютъ, чтобы матери сами кормили

своихъ дѣтей и ухаживали за ними⁶. Такимъ образомъ, конвентъ постановилъ выдачу недостаточнымъ матерямъ одновременныхъ денежныхъ пособій и даже періодическихъ пенсій, но съ обязательствомъ, чтобы онѣ сами воспитывали своихъ дѣтей, законныхъ или незаконныхъ, причемъ самая необходимость обращаться къ властямъ за пособіемъ весьма естественно ставила этихъ матерей подъ нѣкоторый контроль государства. Нельзя не признать, что если эта форма государственной заботливости о нуждающихся дѣтяхъ и оказалась-бы крайне неудобною при теперешнемъ развитіи пауперизма въ большихъ промышленныхъ городахъ, то во времена конвента она не могла считаться даже непрактичною, и на одну безсердечную мать, которая-бы отнеслась къ своему дѣтищу, какъ къ оброчной статьѣ, нашлись-бы сотни матерей, умѣющихъ толковѣе и любовнѣе распорядиться выдаваемою имъ субсидіей въ пользу дѣтей, чѣмъ всевозможные чиновники и инспекторы сиротскихъ школъ и пріютовъ.

Какъ-бы то ни было, конвентъ сошелъ съ поприща, несомнѣнно засвидѣтельствовавъ о своемъ тепломъ и гуманномъ отношеніи къ безпомощнымъ дѣтямъ, но не устроивъ ихъ судьбы правильно законодательною мѣрою. Наполеонъ I, унаслѣдовавшій отъ конвента вполнѣ разработанный и законченный сводъ законовъ, который ему только оставалось издать въ свѣтъ подъ своимъ именемъ, съ очень ничтожными измѣненіями и дополненіями, порѣшилъ основной вопросъ о правѣ необезпеченныхъ дѣтей на государственную помощь, повидимому, собственною своею инициативою. Онъ не отиѣнилъ вовсе денежное пособіе, выдававшееся во время конвента и въ нѣкоторыхъ случаяхъ незаконнымъ матерямъ (*assistance aux filles mères*), но и не возвелъ его также въ право, а превратилъ въ болѣе или менѣе филантропическую подачку, регулируемую произволомъ администраторовъ. Главнѣйшимъ-же образомъ, своимъ декретомъ отъ 9 января 1811 г. онъ порѣшилъ, что только три класса безпомощныхъ дѣтей имѣютъ законное право на попеченіе о нихъ государства, а именно *найденными* (*enfants trouvés*), *покинутыя дѣти* (*abandonnés*) и *сироты* (*orphelins*). Для нихъ въ каждомъ французскомъ округѣ повелѣвалось устроить по одному пріюту (*hospice dépositaire*), на содержаніе которыхъ государство асигновывало ежегодную сумму въ 4 миліона франковъ, предоставляя пріютамъ самимъ пополнять недостающія

средства собственными своими доходами, независимыми отъ бюджета.

Нечего и распространяться о томъ, что французскій основной законъ о правѣ необезпеченныхъ дѣтей на государственную помощь не выдерживаетъ никакого сравненія съ закономъ королевы Елисаветы. Въмѣсто категорическаго и яснаго заявленія объ усыновленіи всѣхъ повинутыхъ и беспомощныхъ дѣтей государствомъ или націею, онъ вводитъ казуистическое подраздѣленіе на классы, подающее и теперь постоянный поводъ къ препирательствамъ администраторовъ и юристовъ. Во многихъ случаяхъ законъ этотъ служитъ какъ-бы подстрекательствомъ къ подкидыванію дѣтей, такъ-какъ дѣти немущихъ родителей, до тѣхъ поръ, пока они не порвали съ ними семейной связи, не подходятъ ни подъ одну изъ вышеустановленныхъ категорій, а, слѣдовательно, и не могутъ предъявлять никакихъ правъ на попеченіе о нихъ государства. Правда, во времена первой имперіи эта прорѣха французскаго законодательства отчасти исправлялась на практикѣ тѣмъ, что подкидываніе дѣтей въ пріюты не обставлялось никакими формальностями. Въ стѣнѣ зданія былъ устроенъ такъ-называемый *tour*, нѣчто вродѣ почтоваго ящика, въ который обыкновенно клали ребенка, хотя-бы тайкомъ и ночью. За то всякая связь родителей съ дѣтьми рѣшительно порывалась съ той поры, какъ они становились питомцами этихъ пріютовъ. Цифра подкидышей быстро росла и въ началѣ двадцатыхъ годовъ перешла уже за 106,000. Содержаніе, асигнуемое злополучнымъ питомцамъ въ этихъ пріютахъ, было болѣе, чѣмъ скудное, уходъ чисто-формальный и казенный, и потому смертность дѣтей достигала ужасающихъ размѣровъ. Въ народѣ очень скоро распространилось возрѣніе на эти учрежденія, какъ на дѣтскія бойни, лицемерно придуманныя властями для того, чтобы удобнѣе избавиться отъ избытка народонаселенія. Самая бѣдная мать, если въ ней оставалась хоть искра привязанности къ своему ребенку, предпочитала осуждать и самую себя, и его на всевозможныя лишенія прежде, чѣмъ рѣшиться бросить его въ роковой ящикъ. Если несмотря на это всенародное предубѣжденіе противъ пріютовъ, число воспитывавшихся въ нихъ дѣтей продолжало быстро возрастать и въ 1833 г. достигло болѣе 130,000, то это отчасти объясняется тѣмъ, что пауперизмъ въ боль-

шихъ промышленныхъ городахъ росъ не по днямъ, а по часамъ втеченіи всей первой половины настоящего столѣтія. Бъ тому же пріютами пользовались безъ всякаго стѣсненія не одни только неимущіе родители, но также особы высшаго и средняго классовъ, чтобы скрывать плоды своихъ любовныхъ интригъ. Возникла своеобразная мошенническая индустрія. Повивальныя бабки, взявъ съ какой-нибудь согрѣшившей богатой барыни большія деньги за воспитаніе ребенка, котораго надлежало скрыть, подбрасывали его въ воспитательный домъ...

Клерикальная партія, имѣвшая большую силу при всѣхъ послѣ-реставраціонныхъ правительствахъ, препятствовала по мѣрѣ силъ нормальному развитію дѣла, столь неудовлетворительно начатаго Наполеономъ I, желая по возможности сосредоточить всякую благотворительную дѣятельность въ своихъ рукахъ. Она очень скоро нашла себѣ дѣятельную поддержку въ доктринерахъ, утверждавшихъ, что помощь, выдаваемая незамужнимъ матерямъ, есть какъ бы премія за развратъ, и что существованіе пріютовъ для безпомощныхъ дѣтей нарушаетъ мальтусовскій законъ народонаселенія. Общественное мнѣніе не сочувствовало черствымъ и отчасти даже канибальскимъ проповѣдямъ доктринеровъ. Совершенно напротивъ, увлекаемое свѣтлымъ и идеалистическимъ ученіемъ своихъ передовыхъ мыслителей, оно само стремилось съ похвальнымъ рвеніемъ на помощь страждущимъ дѣтямъ. Стали образовываться въ Парижѣ и другихъ промышленныхъ и многочисленныхъ городахъ такъ-называемыя *креши* или „асли“, куда матери, проводящія цѣлыя дни на работѣ, могли бесплатно приносить своихъ дѣтей подъ присмотръ добротныхъ или наемныхъ кормилицъ и мамокъ. Какъ попытка благотворительной дѣятельности, вполне независимой отъ клерикальнаго вліянія, какъ симптомы пробужденія общественной совѣсти, частныя учрежденія заслуживаютъ, конечно, вниманія. Но съ практической точки зрѣнія, они тонули почти безслѣдно, какъ капля въ морѣ; а принципиальное, теоретическое рѣшеніе вопроса объ отношеніи націи вообще или государства къ безпомощнымъ дѣтямъ не подвигалось отъ этого ни на шагъ. За то правительство, все болѣе и болѣе нуждавшееся въ деньгахъ, находило для себя обременительною ежегодную субсидію въ 4 миліона франковъ въ пользу воспитательныхъ домовъ и скоро освободило себя отъ этой издержки, вваливъ расходы по содержанію дѣтскихъ прію-

товъ на департаменты. Такимъ образомъ, пріюты и выдачи субсидій подпали исключительно вѣдомству префектовъ и ихъ чиновниковъ, которые если и не злоупотребляли своей неограниченной властью, то, во всякомъ случаѣ, скряжничали и сберегали на фондахъ общественной благотворительности крупныя куши, необходимыя для болѣе параднаго употребленія. Экономисты, главнымъ образомъ Ж.-Б. Сэй и Жерандо, настаивали тѣмъ временемъ крайне энергически на необходимости, если не уничтожить вовсе воспитательныя дома, чтобы „каждый несъ полную отвѣтственность за свои дѣйствія“, то, по крайней мѣрѣ, стѣснить пріемъ питомцевъ различными формальностями. Ламартинъ тщетно возставалъ противъ нихъ въ печати и на трибунѣ палаты депутатовъ. Правительство смотрѣло сквозь пальцы на то, какъ департаменты одинъ вслѣдъ за другимъ замѣняли вышепомянутую систему „tours“ особыми комисіями (bureaux d'admission), принимавшими или отвергавшими приносимыхъ имъ на воспитаніе дѣтей по своему усмотрѣнію. Наконецъ, въ 1869 г. новымъ императорскимъ декретомъ было повелѣно „tours“ отиѣнить вовсе и предоставить пріемъ дѣтей въ воспитательныя дома повсюду на благоусмотрѣніе особыхъ канцелярій. Въ такомъ положеніи дѣло это находится и до сихъ поръ. Самые горячіе сторонники новѣйшаго способа сортировки дѣтей, приносимыхъ въ воспитательныя дома, должны признаться, что эти присяжные цензоры безпомощныхъ младенцевъ, при исполнѣ добросовѣстномъ отношеніи къ своимъ обязанностямъ, естественно, однакожь, должны стремиться ограничивать число питомцевъ для того, чтобы облегчить себѣ бремя администраціи и имѣть возможность щеголять передъ благосклоннымъ начальствомъ благоустройствомъ и внѣшнимъ порядкомъ въ своихъ пріютахъ, причемъ слишкомъ большое количество дѣтей можетъ служить имъ только помѣхою, а потому они и стараются отелонить всякую мать отъ намѣренія оставить своего ребенка на ихъ попеченіи. Заводятся совершенно излишнія строгости. Такъ, напримѣръ, матерямъ, рѣшившимся на помѣщеніе младенца въ воспитательный домъ, не позволяется уже имѣть съ нимъ никакихъ сношеній, и только въ случаѣ смерти ребенка ее оповѣщаютъ законическимъ официальнымъ нисьмомъ. Строгость пріемщиковъ дѣтей въ воспитательныя дома сдерживается въ некоторыхъ предѣлахъ только боязнью, чтобы доведенная до отчая-

ніа мать не бросила своего злополучнаго ребенка въ Сену или въ отхожее мѣсто. Впрочемъ, нѣтъ недостатка въ публицистахъ, старающихся насъ убѣдить, что ограниченіе пріема дѣтей въ общественные пріюты не можетъ оказать никакого вліянія на годичную цифру самоубійствъ...

Нельзя не замѣтить, что развитіе дѣла общественной и государственной помощи во Франціи значительно тормозилось до сихъ поръ тѣмъ, что католическіе монахи и монахини разныхъ орденовъ (преимущественно францисканки, августинки и сестры св. Викентія), изъ легко понятныхъ видовъ, приучили французское общество смотрѣть на дѣло организаціи всякой общественной помощи, какъ на нѣчто совершенно постороннее государственному благоустройству. Благоразумно шадя средства своихъ корпорацій, они, однакожь, совершенно прибрали къ своимъ рукамъ почти всѣ частныя благотворительныя учрежденія, а съ ними виѣсть и государственные пріюты, госпитали и воспитательные дома. Администрація и оппозиція равно путаются здѣсь на каждомъ шагу въ подробностяхъ и мелочахъ; самая-же сущность дѣла остается до сихъ поръ нисколько невыясненною. Неудовлетворительность этого положенія признается болѣе или менѣе всѣми, и радикальное преобразование французскаго законодательства на этотъ счетъ стоитъ на очереди самыхъ безотлагательныхъ реформъ. И въ нынѣшней палатѣ нѣтъ, конечно, недостатка въ людяхъ, очень хорошо понимающихъ, что исходною точкою такого радикальнаго преобразования должно быть разрѣшеніе законодательнымъ путемъ элементарнѣйшаго вопроса: всѣ-ли безпомощныя дѣти французской націи имѣютъ равныя права на попеченіе государства и общества о ихъ судьбѣ?

Послѣ всего сказаннаго читатель и самъ легко можетъ судить о томъ, какое абсолютное или относительное значеніе можно придавать вышеприведенной цифрѣ 125,000 душъ въ смыслѣ количественной оцѣнки дѣтской нищеты и безпомощности во Франціи.

IV.

Люди дѣловые, любящіе щеголять трезвостью и прагматичностью своихъ воззрѣній, требуютъ обыкновенно прежде всего фактовъ,

которые одни будто-бы имѣютъ реальный жизненный смыслъ, тогда какъ руководящія принципы, могутъ быть, по ихъ увѣренію, хороши только въ докторскихъ диссертацияхъ и на бумагѣ. Принципіальное разрѣшеніе какаго-нибудь общественнаго вопроса въ ихъ глазахъ часто считается даже хуже, чѣмъ совершенное его неразрѣшеніе, такъ-какъ оно часто только отводитъ глаза и убавкиваетъ краснорѣчивымъ приѣвомъ неудовлетворенное требованіе. На первый взглядъ легко можетъ показаться, что историческій ходъ развитія интересующаго насъ здѣсь дѣла въ Англіи долженъ служить блистательнымъ подтвержденіемъ подобнаго скептическаго отношенія къ общимъ формуламъ и принципамъ.

Нельзя не сознаться, что если мы посмотримъ на тѣ фактическія отношенія, которыя существовали въ Англіи какиихъ-нибудь тридцать или сорокъ лѣтъ тому назадъ между обществомъ и государствомъ съ одной стороны, и между безпомощнымъ дѣтскимъ населеніемъ этой страны—съ другой, то само собою возникнетъ сомнѣніе: да какая-же польза изъ того, что великая королева Елисавета такъ просто и такъ гуманно разрѣшила этотъ вопросъ два съ половиною вѣка тому назадъ? Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ статистики Англіи показывали ежегодно цифру дѣтей, будто-бы получавшихъ пособіе отъ своихъ приходовъ, гораздо болѣе значительную, чѣмъ та, которую мы привели выше за 1877 г., особенно если принять въ расчетъ довольно быструю прогрессію годичнаго возрастанія общаго населенія Англіи. Были годы, когда цифра эта доходила до 300,000 или даже переходила за этотъ предѣлъ. И это были именно тѣ годы, когда Дикенсъ будилъ совѣсть милордовъ и джентльменовъ, указывая имъ на то, что умеръ на улицѣ маленькій оборвышъ, совершенно безпріютный, никѣмъ незамѣченный, и только полиціенъ равнодушно подобралъ ооченѣлый маленькій трушкѣ, ради порядка и уличной чистоты. Если-бы королева Елисавета и не провозглашала своего гуманнаго принципа, врядъ-ли могло-бы быть хуже...

Уже съ самаго начала нынѣшняго столѣтія въ Англіи началась замѣтная реакція противъ законовъ о бѣдныхъ. Ошибочно было-бы приписывать эту реакцію исключительно вліянію рикардо-мальтузіанскаго экономическаго ученія, которое только оформулировало, возвело въ quasi-научный догматъ то, до чего всевидная въ эти времена промышленная буржуазія додумалась изъ жи-

тейскаго опыта собственнымъ своимъ умомъ. Однако, несомнѣнно, что господство рикардо-мальтузианскихъ доктринъ придало эгоистическимъ стремленіямъ средняго сословія нѣкоторую нравственную санкцію, безъ которой онѣ едва-ли-бы осмѣлились заявлять себя съ тою беззапѣчивостью, съ тѣмъ почти героизмомъ, которыми навсегда обезсмертили себя нѣкоторые англійскіе обуздатели похотливыхъ инстинктовъ. Очевидно, что и Мальтусъ, и Рикардо, и самые завзятые ихъ послѣдователи твердо были увѣрены, что, проповѣдая свои бездушные принципы, они непреклонно стоятъ за святое дѣло истины и прогресса. Вспомнишь только, что такъ недавно еще безузоризненно честный и умный Дж. Ст. Миль унесъ съ собою въ могилу вѣрованіе въ возрожденіе пролетаріевъ и англійскаго общества вообще посредствомъ обузданія дѣторожденія.

Въ то время, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь и когда англійскіе фабриканты и капиталисты впервые почувствовали себя всесвѣтными властелинами, въ нихъ весьма естественно пробуждалось стремленіе опереть свое чисто-фактическое могущество на какихъ-нибудь міровыхъ, провиденціальныхъ законахъ. Имъ не жалко было тѣхъ грошей, которые ежегодно взимались изъ ихъ громадныхъ доходовъ въ силу ненавистнаго имъ указа королевы Елисаветы. Съ экономической точки зрѣнія для нихъ гораздо важнѣе было поддержать *per fas* и *per fas* низкую задѣльную плату на рабочемъ рынкѣ, а *proog-taxes* королевы Елисаветы несомнѣнно служили имъ помѣхою въ достиженіи этой цѣли. Законы обѣдненныхъ стали какъ-бы государственной хартіею, ограждавшею—хоть и очень скудно и неудовлетворительно—чернорабочій пролетаріатъ противъ ихъ могущества. Можно удивляться только, что капиталистическая партія въ то время, когда она съ Джономъ Росселемъ и Мельбѣрномъ хозяйничала почти безконтрольно въ англійской политикѣ, не снесла на-вѣки съ лица земли этотъ „намятникъ“ экономического невѣжества“ минувшихъ вѣковъ. Вѣроятно, *proog-laws* и *proog-taxes* уцѣлѣли въ англійскомъ законодательствѣ не столько въ силу пресловутаго англійскаго консерватизма, сколько потому, что противная имъ партія состояла поголовно изъ дѣльцевъ, раздѣлявшихъ вполнѣ вышеприведенное воззрѣніе на реальное значеніе принциповъ.

Оставляя нетронутымъ органическій законъ 1602 г., милорды

и джентльмены обѣихъ палатъ изъ партіи виговъ, шерифы и мировые судьи однихъ съ ними воззрѣній суждали повернуть дѣло такъ, что самый законъ о правѣ бѣдныхъ на государственное пособіе обратился въ насмѣшку надъ неимущимъ классомъ англійскаго населенія. Придуманы были пресловутые рабочіе дома, которыхъ прозвище заключало въ себѣ, въ свою очередь, насмѣшку надъ работою. Было-бы вполне основательно, еслибы государство или приходъ, къ которому умирающій съ голода и отъ безработицы пролетарій обращался за помощью, оказали-бы ему ее въ видѣ платы за какой-нибудь производительный сильный трудъ. Самый ограниченный и необтесанный лондонскій или минчестерскій батракъ счелъ-бы подобный оборотъ вполне нормальнымъ и, конечно, способенъ былъ-бы понять, что фонды, потраченные на учрежденіе рабочихъ домовъ, съ большею выгодой для государства и для него самого могли быть употреблены на производительное предпріятіе, способное давать нормально оплачиваемую работу тысячамъ бѣдняковъ, ненаходившимъ мѣста на фабрикахъ. Но объ этомъ никто не думалъ. Всего менѣе адепты рикардо-мальтузіанскихъ воззрѣній могли допустить, чтобы государство становилось ихъ соперникомъ на предпринимательскомъ поприщѣ.

Рабочіе дома превратились въ притоны всевозможныхъ униженій для несчастныхъ, которыхъ только страхъ неминуемой голодной смерти могъ загнать въ благотворительные казематы. Нигдѣ и никогда офиціальное двоедушіе, возмутительное лицемеріе и гнусное глумленіе сильнаго надъ безпомощнымъ не доходило еще до такихъ чудовищныхъ, наглыхъ размѣровъ. Изнурять батрака производительною, хотя-бы подневольною работою казалось для милордовъ прилавка и биржи недостаточною местию за тотъ призракъ обезпеченности, который создавали для него законы о бѣдныхъ. Придумывалось мучительное и ненужное верченіе колеса, толченіе воды въ ступѣ, унижительныя наказанія для взрослыхъ, для женщинъ, для дѣтей. Чиновникамъ и служителямъ рабочихъ домовъ поставлялось въ обязанность возмутительно-грубое и безжалостное отношеніе къ питомцамъ общественной благотворительности... Этому мрачному времени соотвѣтствовало появленіе въ свѣтъ романовъ Дикенса. Его „Оливеръ Твистъ“ слишкомъ хорошо всѣмъ извѣстенъ для того, чтобы здѣсь подробно

говорить вновь о томъ безвыходномъ положеніи, въ которомъ очутились дѣти, имѣвшія несчастіе попасть въ жертвы общественной благотворительности.

Слишкомъ скучно было-бы распространяться здѣсь о тѣхъ продолжительныхъ и глубокихъ волненіяхъ, которыя возбудило всюду, собственно въ Англіи и въ Уэльсѣ, это ненормальное положеніе дѣлъ, при которомъ государственная помощь нуждающимся обращалась въ „проклатіе, тяготящее надъ рабочими классами“, — такъ выражались о ней сами заинтересованные. Читатели найдутъ нѣсколько не безынтересныхъ подробностей объ этихъ волненіяхъ въ недавно изданной (по-англійски) біографіи Биконсфильда, тогда еще только начинавшего свою парламентскую и литературную дѣятельность. Въ Бирмингамѣ и въ нѣкоторыхъ юго-западныхъ городахъ дѣло дошло до кровопролитій. Министерство Мельбёрна и Роселя потребовало сформированія новой арміи въ 5,000 человекъ для подавленія рабочаго движенія. Но большинство рабочаго населенія Англіи понимало очень хорошо, что законъ, даже писанный, на его сторонѣ. Въ парламентъ была представлена петиція за подписью около полутора миліона фабричныхъ, рудокоповъ и т. п. Понадобилось устроить особенную машину для того, чтобы внести знаменитую „хартію“ въ залу Вестминстерскаго абатства.

Джонъ Росель, ораторъ самодержавнаго меньшинства, напрасно увѣрялъ, что чартистское движеніе надлежало искоренять всѣми возможными средствами, потому что оно будто-бы стояло на ложной дорогѣ: работники, говорилъ онъ, — ищутъ въ политическихъ преобразованіяхъ исцѣленія золь, имѣющихъ чисто-экономическую основу. Эта уловка могла имѣть относительный успѣхъ въ парламентскомъ засѣданіи 12 іюля 1839 г.; но въ сущности всѣ понимали очень хорошо, что зло на этотъ разъ, по крайней мѣрѣ, ближайшимъ образомъ происходило просто изъ того, что государственная власть попала въ руки одного сословія, по неизбѣжному историческому закону стремившагося переродиться въ полновластную касту. А это было не на руку не однимъ только пауперамъ и рабочимъ, но также и аристократическимъ ландлордамъ, устраняемымъ отъ власти быстро расцвѣтшею буржуазіею. Такимъ образомъ, чартизмъ, бывшій въ сущности протестомъ законности противъ злоупотребленій исполнительной власти, встрѣ-

тиль поддержку среди самого парламента не только у радикаловъ, какъ Атвудъ и Дѣнкомбъ, но также и у аристократическихъ консерваторовъ, во главѣ которыхъ сталъ Дизраэли. Политическая роль этого нынѣшняго великобританскаго премьера оставалась довольно скромною до тѣхъ поръ, пока торіи не перессорились съ Робертомъ Пилемъ изъ-за пресловутыхъ хлѣбныхъ законовъ, но за то Дизраэли велъ чрезвычайно дѣятельную и успѣшную пропаганду въ кружкахъ молодой англійской аристократіи противъ капиталистическаго владычества. Его первые романы, въ особенности „Сивилла“, гдѣ вопросъ пауперизма затронуть довольно разносторонне въ гуманномъ смыслѣ, быстро составили ему репутацію, которую онъ самъ-же впоследствии подорвалъ своими мистическими „Танкредомъ“ и „Лотаромъ“... Какъ-бы то ни было, но уже во времени брака королевы Викторіи съ принцемъ Альбертомъ министерство Мельбёрна и Роселя было нравственно разбито на всей линіи и если не пало фактически, то единственно потому, что нѣкоторые аристократическіе консерваторы считали неделикатнымъ омрачать веселое время свадебныхъ празднествъ министерскимъ кризисомъ.

Въ англійской политикѣ мы мало замѣчаемъ рѣшительныхъ переломовъ и кризисовъ, которые въ бѣгломъ историческомъ очеркѣ могли-бы служить извѣстными вѣхами или цѣлыми періодами. Къ тому-же, какъ мы уже видѣли, въ дѣлѣ покровительства государствомъ безпомощныхъ и нищенствующихъ дѣтей рѣчь шла вовсе не о введеніи въ государственное право Англии какихъ-нибудь новыхъ прогресивныхъ началъ, а только въ огражденіи принципа, давно уже освященнаго исторією, отъ хищническихъ стремленій всеильной касты. Конечно, это огражденіе потребовало для своего осуществленія и нѣкоторыхъ органическихъ законодательныхъ мѣръ, главнѣйшимъ образомъ распространенія избирательныхъ правъ на народныя массы, всего непосредственнѣ заинтересованныя постановленіями о бѣдныхъ королевы Елисаветы. Это послѣднее преобразование осуществлено въ довольно широкихъ размѣрахъ всего только десять лѣтъ тому назадъ. Но благотворная переиѣна въ отношеніяхъ общественнаго мнѣнія, а затѣмъ и правительства къ безпріютнымъ дѣтямъ и къ нищенствующему населенію вообще совершилась исподоволь гораздо раньше. То, что мы выше назвали пробужденіемъ общественной совѣсти въ

Англія, можетъ быть безъ особенныхъ неудобствъ отнесено къ сороковымъ годамъ, т. е. ко времени, когда во всей западной Европѣ повѣяло болѣе свѣжимъ духомъ. Пробужденіе это выразилось цѣлымъ рядомъ болѣе или менѣе замѣтныхъ законоположеній и биллей, часто неизмѣющихся на первый взглядъ никакого историческаго значенія и выясняющихся въ своемъ настоящемъ свѣтѣ только при основательномъ знакомствѣ со многими подробностями общественнаго и политическаго быта. Хронологическій перечень этихъ мѣропріятій только утомилъ-бы вниманіе читателя мало уяснивъ его воззрѣнія на сущность интересующаго насъ дѣла. Такъ, напр., восстановление права нѣкоторыхъ бѣдняковъ на такъ-называемый *out door relief* (т. е. на пособіе, получаемое отъ ландлордовъ или отъ приходовъ *въ дверей* рабочихъ домовъ) можетъ очень легко показаться незначительною подробностью организаціи общественной благотворительности въ Англіи, а между тѣмъ оно оказало очень существенное вліяніе на судьбу очень многихъ бѣдняковъ, въ особенности-же очень многихъ безпріютныхъ дѣтей, потому что открывало возможность пользоваться государственною помощью, хотя-бы въ скудныхъ размѣрахъ, не подвергая себя мученіямъ и униженіямъ рабочихъ домовъ. Точно то-же происходило и по всѣмъ другимъ направленіямъ. Легко понять, что въ такомъ деликатномъ и многосложномъ дѣлѣ, какъ облегченіе официальной благотворительностью жалкой участи безпомощныхъ дѣтей, всего важнѣе господствующее настроеніе общественнаго мнѣнія по отношенію къ самому вопросу. Какъ скоро общество начинаетъ понимать, что въ этомъ дѣлѣ рѣчь идетъ не болѣе и не менѣе, какъ о культурныхъ судьбахъ всего человѣчества, что предоставленіе на жертву всѣмъ невзгодамъ и соблазнамъ изнанки цивилизаціи нѣсколькихъ сотъ тысячъ маленькихъ оборвышей ежегодно должно имѣть своимъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ антропологическое вырожденіе самой породы, что увеличеніе числа преступниковъ, идіотовъ, калѣкъ и иныхъ обременительныхъ для цѣлаго общества разновидностей культурнаго человѣчества, — въ такомъ случаѣ, даже при многихъ несовершенствахъ писаннаго законодательства, даже при скудныхъ финансовыхъ средствахъ, легко достигаются дѣйствительно хорошіе результаты. Совершенно иное мы замѣчаемъ тамъ, гдѣ общественная благотворительность существуетъ только для приличія, гдѣ общество не выработало себѣ никакихъ опре-

дѣленныхъ воззрѣній на этотъ счетъ, гдѣ отдѣльныя лица, касты или группы пользуются благотворительностью только для достиженія какихъ-нибудь своекорыстныхъ или честолюбивыхъ цѣлей. Такъ поступаетъ еще и до сихъ поръ католическое духовенство во Франціи, съумѣвшее захватить въ свои руки или, по крайней мѣрѣ, подчинить своему вліянію многія даже государственныя благотворительныя учрежденія. Такъ поступали и въ Англіи богатая земельная аристократія и еще болѣе разжившаяся при нынѣшнихъ индустріальныхъ порядкахъ капиталистическая знать: обѣ онѣ устраивали здѣсь многочисленныя пріюты, убѣжища, воспитательныя дома и т. п., часто блестящіе замѣчательнымъ благоустройствомъ, доводимымъ пороку до совершенно излишней роскоши и щегольства. А маленькіе оборвыши все-таки продолжали сотнями умирать съ холоду и съ голоду, потому что двери этихъ богоугодныхъ заведеній открывались только передъ тѣми, кто заблаговременно успѣлъ снискать себѣ покровительство учредителей и распорядителей этихъ пріютовъ. Само собою разумѣется, что существованіе подобныхъ учрежденій можетъ имѣть только очень отдаленное и косвенное отношеніе къ предмету этой статьи.

То пробужденіе общественной совѣсти въ Англіи, о которомъ мы здѣсь говоримъ, ознаменовывается прежде всего тѣмъ, что правительство начинаетъ подвергать строгому контролю благотворительную дѣятельность приходоу, учреждая для этого особыхъ инспекторовъ, стоящихъ внѣ всякихъ сословныхъ интересовъ. Такъ-какъ эти инспекторы не распоряжаются сами благотворительными учрежденіями и не могутъ, слѣдовательно, ждать себѣ никакихъ поощреній и наградъ за внѣшній порядокъ, устраиваемый, напримѣръ, во французскихъ пріютахъ, нерѣдко съ большимъ ущербомъ для ихъ внутренняго значенія, то они весьма естественно не имѣютъ никакой склонности чрезмѣрно ограничивать число питомцевъ, допускаемыхъ въ эти пріюты, или изгонять изъ этихъ убѣжищъ подъ болѣе или менѣе благовидными предлогами такихъ оборвышей, которые своимъ живымъ правомъ или несчастною наружностью могли-бы нарушать внѣшнее благообразіе. Но само собою разумѣется, что дѣятельность такихъ инспекторовъ можетъ быть благотворною только въ такихъ случаяхъ, когда они, во-первыхъ, чувствуютъ за собою сознательную поддержку общественнаго мнѣнія, а во-вторыхъ, имѣютъ передъ собою уставъ,

строго и толково опредѣляющій то, чего они вправѣ требовать отъ контролируемыхъ ими пріютовъ.

О недостаткахъ и неурядицахъ англійской системы покровительства безпомощнымъ дѣтямъ ходятъ еще и до сихъ поръ самыя мрачныя слухи, какъ за-границею, такъ и въ самой Англии. Нужно быть неисправнымъ оптимистомъ, чтобы утверждать, будто слухи эти безусловно преувеличены. Не подлежить никакому сомнѣнію, что движеніе, обозначавшееся довольно замѣтно уже въ сороковыхъ годахъ, дало до сихъ поръ результаты, крайне неполныя по однимъ направленіямъ, совершенно неудовлетворительныя по другимъ. Слишкомъ многое вовсе упущено изъ вида преобразователями англійской благотворительности, и мы едва-ли даже вправѣ сказать, будто правители современной Англии совершенно отбросили тѣ воззрѣнія на государственную помощь, оказываемую бѣднякамъ, которыя откровенно высказывались мальтузіанцами тридцатыхъ годовъ и возводились ими въ правительственный принципъ. Но новѣйшее мальтузіанство сдерживается уже въ нѣкоторыхъ предѣлахъ съ одной стороны желаніемъ привлечь на свою сторону во время парламентскихъ выборовъ живые голоса рабочаго населенія, съ другой стороны, нѣкоторымъ страхомъ передъ общественнымъ мнѣніемъ. Рабочіе дома остаются почти по-прежнему въ крайне безобразномъ видѣ, внушающемъ ужасъ и отвращеніе каждому, въ комъ еще безвыходное горе и нищета не убили послѣднихъ остатковъ человѣческаго достоинства. И это ихъ печальное состояніе обусловливается не погрѣшностями администраціи, а страхомъ, чтобы эти пріюты нищеты не сдѣлались слишкомъ заманчивыми для рабочихъ. Но за то, съ другой стороны, приняты довольно дѣятельныя мѣры для того, чтобы избавить, по крайней мѣрѣ, нищенствующихъ дѣтей отъ ужасовъ рабочаго дома. Правительственные инспекторы облечены властью, необходимою для того, чтобы обязать приходы ни подъ какииъ видомъ не воспитывать содержаемыхъ ими дѣтей въ рабочихъ домахъ. Устройство такъ-называемыхъ *отдѣльныхъ школъ* (separated schools) сдѣлано повсюду обязательнымъ. Правительство дѣятельно наблюдаетъ, чтобы гигиеническія условія въ этихъ школахъ были строго соблюдаемы, а для этого онѣ устраиваются почти исключительно вдали отъ многолюдныхъ центровъ, гдѣ злополучныя дѣти въ изобиліи могутъ пользоваться, по крайней мѣрѣ,

элементарнѣйшимъ изъ условій всякаго здороваго органическаго развитія—чистымъ воздухомъ. Въ этомъ отношеніи англійское устройство можетъ служить образцомъ подобнаго рода учрежденій. Мѣры, принимаемыя здѣсь для предупрежденія развитія заразительныхъ болѣзней между дѣтьми, отличаются часто крайнею простотою и практичностью. Заслуживаетъ особеннаго вниманія, по нашему мнѣнію, принятое въ Англии обыкновеніе строить при школахъ госпитали по барачной системѣ, гдѣ не только камера тифозныхъ, напримѣръ, или дифтеритныхъ достаточно отдѣлена отъ камеры скарлатинныхъ, коклюшныхъ и т. п., такъ-что передача заразы изъ одной въ другую становится рѣшительно невозможной, а самые бараки по истеченіи извѣстнаго времени сжигаются до тла и устраиваются вновь уже на другомъ мѣстѣ...

Впрочемъ, здѣсь мы не имѣемъ намѣренія входить въ подробности внутренняго благоустройства англійскихъ пріютовъ для безпомощнаго дѣтства. Мы хотѣли только провѣрить значеніе цифръ, представляемыхъ намъ статистикой, по этому предмету; а этого сдѣлать было рѣшительно невозможно, не уяснивъ себѣ тѣхъ возрѣвій, которыя господствуютъ въ данной странѣ, на дѣтскую нищету и безпріютность. Не наша вина, что эти возрѣвія даже въ такой передовой странѣ, какъ Англія, отличаются какой-то смѣлюю псевдо-филантропическихъ стремленій съ общественными и государственными требованіями. Торопясь покончить съ этимъ предметомъ, замѣтимъ вкратцѣ, что англійское правительство временно терпитъ еще существованіе нѣкоторыхъ дѣтскихъ пріютовъ въ стѣнахъ рабочихъ домовъ; но въ принципѣ, учрежденіе *separated schools* считается уже обязательнымъ для всѣхъ приходоу. Тамъ-же, гдѣ приходы слишкомъ бѣдны или гдѣ населеніе ихъ недостаточно многочисленно, нѣсколько приходоу обязуются составлять союзъ и строить на общія средства одинъ отдѣльный отъ рабочаго дома пріютъ, извѣстный подъ именемъ приходской школы. Такихъ „союзовъ“ въ Англии въ настоящее время считается тридцать три; но всѣ они вмѣстѣ имѣютъ еще только всего девять школъ, съ общимъ числомъ питомцевъ, недоходящимъ и до 6,000. Вмѣсто того, чтобы восторгаться превосходнымъ устройствомъ этихъ школъ, созданныхъ очень недавно подъ строгимъ правительственнымъ надзоромъ, скорѣе приходится удивляться тому, что число ихъ еще такъ огра-

ничено, а между тѣмъ образованіе „союзъ“ сдѣлано обязательнымъ для англійскихъ приходовъ уже съ 1848 г. Образованіе, даваемое дѣтямъ въ этихъ пріютахъ, конечно, чисто-индустріальное, практическое, доводимое въ этомъ направленіи до такой односторонности, что, по свидѣтельству правительственнаго инспектора, всѣ ученики одной такой школы были твердо убѣждены, что слово *римлянинъ* значитъ *католикъ*, а въ женскомъ отдѣленіи нашлась только одна дѣвочка, имѣвшая довольно опредѣленное представленіе о пути, которымъ изъ Англій можно проѣхать въ Испанію. По увѣренію директрисы этого заведенія, для той роли, которую ея воспитанницамъ предстоитъ играть въ жизни, „имъ полезнѣе умѣть готовить хорошій ростбифъ или пудингъ, чѣмъ помнить наизусть высоту всѣхъ горъ земного шара“.

Впрочемъ, внутреннее достоинство образованія и воспитанія, даваемого въ этихъ школахъ, легко опредѣлить въ точныхъ статистическихъ цифрахъ. По парламентскому разслѣдованію оказалось, что 54% всего числа бывшихъ ученицъ лондонскихъ пріютовъ для бѣдныхъ частью попали въ число преступницъ или проституттокъ, частью же такъ или иначе были совращены съ пути истины. 39% нашли возможность жить честными средствами, остальные же 7% пропали безъ вѣсти. Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ такихъ же точныхъ цифръ по отношенію къ мужскимъ школамъ. Средняя же стоимость этого воспитанія, крайне различная въ разныхъ приходоухъ, колеблется между 16¹/₂ и 36⁴/₅ фунт. стерл. въ годъ.

Между тѣмъ какъ правительство обязываетъ приходы освобождать во что-бы то ни стало своихъ малолѣтнихъ питомцевъ отъ рабочихъ домовъ, оно, однакожь, само повелѣваетъ во-1-хъ, отдачу въ рабочіе дома маленькихъ дѣтей, нуждающихся если не въ кормилицѣ, то въ заботливомъ женскомъ уходѣ. Въ этомъ мы еще не видимъ бѣды, тѣмъ болѣе, что отдача крошечныхъ дѣтей на кормленіе въ деревню не всегда даетъ хорошіе результаты даже тамъ, гдѣ есть сельская жизнь, привольная и достаточная, какъ, напр., на французскихъ фермахъ въ Нормандіи. Но не надо забывать, что въ Англій деревня давно преобразилась въ фабрику земледѣльческихъ продуктовъ; къ тому же сколько-нибудь достаточныя крестьянскія семьи не возьмутъ на прокормленіе подкидышей за ничтожную плату, выдаваемую управленіемъ рабочихъ домовъ. Во-2-хъ, то-же самое

правительство дѣлаетъ рабочій домъ необходимымъ преддверіемъ для всѣхъ дѣтей, поступающихъ на общественное иждивеніе. Сюда стоняются на болѣе или менѣе продолжительные сроки всѣ такъ-называемыя casual children — случайныя дѣти, подобранныя или на улицѣ полисменами, или имѣющія быть помѣщенными въ одинъ изъ помянутыхъ выше пріютовъ, и т. п. Такъ-какъ пребываніе ихъ въ стѣнахъ рабочихъ домовъ во всякомъ случаѣ только временное, то для нихъ и не имѣется особаго здѣсь помѣщенія; они живутъ тамъ вмѣстѣ съ взрослыми и подвергаются тому-же самому возмутительному обхожденію смотрителей... Но, главное, англійское законодательство, обязывающее полисменовъ подбирать на улицахъ рѣшительно всѣхъ безпріютныхъ дѣтей и сдавать ихъ директорамъ рабочихъ домовъ, — законодательство, признающее (съ 1876 г.) право за всякимъ прохожимъ отводить туда-же всѣхъ маленькихъ бродягъ, — не допускаетъ, однакожь, чтобы родители требовали принятія своихъ дѣтей въ пріюты даже въ такихъ случаяхъ, когда сами они завѣдомо не имѣютъ возможности не только воспитать, но даже прокормить ихъ на собственные средства. Въ видѣ исключенія допускается только, что вдовы сдаютъ своихъ дѣтей на общественное иждивеніе, да и то только въ такихъ случаяхъ, если мать заявить, что безъ ребенка она сама можетъ существовать на собственные средства; иначе-же будетъ вынуждена поселиться въ рабочемъ домѣ.

Читатель легко можетъ убѣдиться, что англійское законодательство о безпомощныхъ дѣтяхъ отличается самыми рѣзкими противорѣчіями; что, слѣдовательно, вышеприведенная цифра 234,124 дѣтей, ежегодно получающихъ пособіе отъ своихъ приходовъ, не даетъ даже приблизительно-точного понятія о числѣ дѣтей, дѣйствительно нуждающихся въ такомъ пособіи, и представляетъ, слѣдовательно, только относительный интересъ.

V.

Явленія, въ статистическихъ сборникахъ строго раздѣляемныя и разиѣщаемныя по различнымъ параграфамъ и рубрикамъ, въ жизни нерѣдко такъ тѣсно переплетаются и переливаются одно въ другое, что мы рѣшительно неспособны уловить между ними

никакой границы. Статистика общественнаго призрѣнія и статистика преступленій могутъ оставаться двумя отдѣльными вѣтвями одного и того-же дерева, но въ дѣйствительности мы далеко не всегда, даже при тщательномъ разслѣдованіи, можемъ установить между ними хоть какое-нибудь разграниченіе, особенно въ странахъ, гдѣ, какъ, напримѣръ, во Франціи, самый фактъ неимѣнія убѣжища составляетъ уже преступленіе бродяжничества; фактъ-же неимѣнія куска хлѣба если и не считается предосудительнымъ самъ по себѣ, то немедленно ведетъ къ наказанію, какъ скоро голодающій проситъ милостыни не по формѣ, закономъ установленной. Проституція въ статистикахъ можетъ относиться то къ преступному отдѣлу, то разсматриваться въ особой рубрикѣ отъ него, въ дѣйствительности-же торговля собственными своими прелестями становится слишкомъ часто неизбѣжнымъ, роковымъ удѣломъ для бѣдной дѣвушки, неимѣющей никакого иного товара, на который она могла-бы купить себѣ необходимыя средства къ существованію. Понятно, слѣдовательно, что въ дополненіе къ вышеприведенной (оказавшейся несостоятельною) косвенной оцѣнѣ дѣтской безпомощности и нищеты мы вынуждены обращаться и къ такимъ статистическимъ рубрикамъ, каковы бродяжничество, нищенство, проституція, преступленіе.

Какъ ни странно звучитъ для нашего слуха сочетаніе двухъ такихъ словъ, какъ преступность и дѣтство, но самое поверхностное знакомство съ такъ-называемою нравственною и судебною статистикою убѣждаетъ насъ, что тысячи малолѣтнихъ, начиная съ самаго ранняго возраста, арестовываются ежегодно во всѣхъ многолюдныхъ городахъ, судятся установленнымъ порядкомъ и приговариваются, смотря по обстоятельствамъ, къ болѣе или менѣе продолжительнымъ и тяжкимъ наказаніямъ. Мы вовсе не желаемъ касаться здѣсь юридической стороны этого вопроса. Мы только ссылаемся на несомнѣнный и крайне распространенный фактъ преступности дѣтей, какъ на одно изъ проявленій того ненормальнаго положенія, которое цивилизація создаетъ для дѣтства въ столицахъ. Фактъ этотъ тѣмъ болѣе заслуживаетъ нашего вниманія, что наибольшее число преступниковъ почти повсемѣстно въ западной Европѣ попадаетъ въ возрастъ отъ 14-ти до 25-ти лѣтъ. Въ Англіи, по увѣренію Мэгью (Mayhew), люди этого возраста составляютъ меньше 2% всего населенія страны, а

изъ арестованныхъ преступниковъ 48% принадлежать къ этой рубрикѣ; въ Лондонѣ же — немного меньше 50%. Меседалья нашель, что въ Австріи $\frac{1}{6}$ всѣхъ, судившихся за какія-бы то ни было преступленія, оказываются несовершеннолѣтними, отъ 14 до 20 лѣтъ. Ломброзо (на стр. 279 своего „Uomo delinquente“) утверждаетъ, что, по крайней мѣрѣ, 10% всѣхъ заключенныхъ въ туринской тюрьмѣ la Generale признавались ему, что они начали свое преступное поприще въ очень раннихъ лѣтахъ и уже были завѣдомыми ворами раньше 12 лѣтъ. Однако, итальянскій психіатръ обращаетъ тутъ-же наше вниманіе на то, что такъ-называемая „лѣстница преступленій“, по которой будто-бы ребята, начиная съ мелкаго воровства, нисходятъ глубже и глубже въ бездну порочности, чисто-вымышленная. Лишенный должнаго надзора, несчастный ребенокъ слишкомъ часто начинаетъ съ возмутительнаго убійства, причежь обыкновенно выказывается самая звѣрская жестокость. Во Франціи, по изслѣдованіямъ Кетле, преступники малолѣтніе въ строгомъ смыслѣ этого слова встрѣчаются по всѣмъ, даже самымъ тяжелымъ рубрикамъ, какъ, напримеръ, убійство, отравленіе, а о воровствѣ ужь нечего и говорить. Гораздо невѣроятнѣе можетъ показаться, что почти всюду находятса дѣти, осужденныя по половымъ преступленіямъ, отъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, они, казалось-бы, избавлены самою природой. Но тутъ-то и обнаруживается вполне ненормальность условий, создаваемыхъ для дѣтей изнанкой современной цивилизаціи. Фоше (Fauchès) въ своихъ „Etudes sur l'Angleterre“, изданныхъ уже около тридцати лѣтъ тому назадъ, говоритъ, что двѣнадцати и даже девятилѣтнія дѣти, содержавшіяся въ ньюгетской тюрьмѣ, имѣли содержанокъ, называющихся flash-girls, въ пользу которыхъ ихъ маленькіе любовники совершали самыя смѣлыя воровства. Локатели въ Италіи находилъ девяти и десяти-лѣтнихъ мальчишекъ, которые тоже воровали для того, чтобы содержать любовницъ. Другіе, не старше по лѣтамъ, въ Парижѣ, Миланѣ и Туринѣ, по свидѣтельству Ломброзо, доходятъ нерѣдко до убійства, чтобы добыть себѣ деньги для развлечения въ публичныхъ домахъ или для содержанія любовницъ. Извѣстно, что во всѣхъ большихъ городахъ Европы существуютъ предприниматели, организующіе цѣлыя дѣтскія артели ворюшекъ; но романисты, нерѣдко эксплуатировавшіе этотъ предметъ, — въ томъ числѣ и Дикенсъ, — по-

видимому, не знали, что эти почтенные воспитатели заброшенныхъ дѣтей завербовываютъ ихъ въ свои шайки преимущественно при посредствѣ всякихъ flash-girls и полового соблазна. Наконецъ, замѣтимъ, что въ Парижѣ и Неаполѣ содержатся цѣлыя гаремы маленькихъ дѣтей обоего пола ради спекуляціи на развратъ иностранцевъ, стекающихся сюда со всѣхъ частей свѣта, а такъ-называемый *chantage*, т. е. заманиваніе богатыхъ людей на протiwоестественный развратъ, при помощи очень многочисленныхъ шаекъ мальчишекъ, и потомъ выманиваніе отъ нихъ денегъ подѣ страхомъ доноса или скандала возведенъ въ Парижѣ на степень правильно организованной промышленной отрасли.

Мы совершенно вправѣ отнести всѣ эти возмутительныя явленія на счетъ изнанки цивилизаціи, потому что въ деревняхъ, гдѣ промышленное развитіе не достигло такого высокаго предѣла, какъ въ богатѣйшихъ столицахъ, не замѣчается рѣшительно ничего подобнаго. Правда, и въ деревняхъ встрѣчаются дѣти, привлекаемыя къ суду иногда по тяжкимъ преступленіямъ, но процентъ ихъ ничтоженъ почти до микроскопическихъ размѣровъ. Къ тому-же едва-ли не единственнымъ видомъ дѣтской преступности вдали отъ многолюдныхъ культурныхъ центровъ является поджогъ. Замѣчено, что склонность къ поджогу повсюду сильно развита у дѣтей, страдающихъ припадками падучей болѣзни, и у нѣкоторыхъ идиотовъ.

Само собою разумѣется, что контингентъ преступныхъ дѣтей вербуются изъ той-же мрачной категоріи заброшенныхъ и безпомощныхъ дѣтей, которой мы посвящаемъ этотъ очеркъ. Какова-бы ни была форма дѣтской преступности, для насъ совершенно ясно, что она является только какъ продуктъ заброшенности, безпомощности, нищеты физической и нравственной. Дю-Мениль (Du-Mesnil) въ своемъ изслѣдованіи о малолѣтнихъ преступникахъ, содержащихся по судебному приговору въ парижской тюрьмѣ *Petite Roquette* и въ исправительной колоніи Ла-Метръ, ссылается на доктора Беранже, который, освидѣтельствовавъ 410 маленькихъ преступниковъ, нашелъ, что 139 изъ нихъ представляли признаки крайняго физическаго изнуренія въ самой сильной степени. Но даже тамъ, гдѣ маленькимъ бродягамъ и удается, понаторѣвъ въ воровствѣ и въ другихъ неблагоприятныхъ промыслахъ, жить въ изобиліи и, пожалуй, даже содержать хорошень-

кихъ flash-girls, развѣ мы не вправѣ относить эти мрачныя явленія къ той дѣтской нищетѣ, которая, ради блага всякой общестственности и культуры, должна подлежать скорѣйшему исцѣленію? Неужели намъ необходимо вдаваться въ запутанныя и многосложныя изслѣдованія о томъ, есть-ли у этихъ дѣтей родители, законныя или незаконныя, или какіе-бы то ни были иные „естественныя“ опекуны, прежде чѣмъ утверждать, что единственный „естественный“ и надежный опекунъ этихъ несчастныхъ созданий—само общество и что оно одно отвѣтственно за всѣ преступления и злодѣйства, которыя они совершаютъ, дѣйствительно, еще въ несовершеннолѣтнемъ возрастѣ? Вѣдь все равно, рано или поздно, попадутъ-же они на общественное содержаніе, если не въ видѣ питомцевъ, то въ видѣ каторжниковъ. Порядочное воспитаніе ребенка стоитъ несравненно дешевле, чѣмъ дурное содержаніе взрослого арестанта, да къ тому-же еще приноситъ благой плодъ.

Притомъ, какъ выше было сказано объ устройствѣ общественнаго попечительства о заброшенныхъ дѣтяхъ, мы впередъ должны разсчитывать встрѣтить въ категоріи малолѣтнихъ преступниковъ меньше круглыхъ сиротъ, чѣмъ дѣтей, имѣющихъ отца или мать. Въ самомъ дѣлѣ, мы уже видѣли, что во Франціи, какъ и въ Англии, хотя и подъ нѣсколько разнообразныхъ предлогами, дѣти живыхъ родителей почти вовсе устраняются изъ пріютовъ, а если и допускаются въ нихъ, то не иначе, какъ предварительно пройдя черезъ искусъ бродяжничества, нищенства, черезъ рабочій домъ или тюрьму, справедливо называемую докторомъ Ломброзо „академіей порока“. Что-же касается законности или незаконности рожденія, то это условіе, почему-то считаемое дѣломъ первостепенной важности у новѣйшихъ соціологовъ и криминалистовъ, на нашъ взглядъ не можетъ имѣть рѣшительно никакого значенія, потому что намъ доподлинно извѣстно, что въ чернорабочемъ населеніи французскихъ и англійскихъ большихъ городовъ бракъ давно уже утратилъ то значеніе, которое ему обыкновенно придаютъ, разсуждая а ргіогі. Въ самыхъ бѣдныхъ рабочничихъ и крестьянскихъ семьяхъ женятся и выходятъ замужъ по расчету, точно также, какъ и въ высшихъ аристократическихъ сферахъ. Парижскій работникъ, подцѣпившій невѣсту съ нѣсколькими десятками франковъ приданого, которые

„Дѣло“, № 1, 1880 г. 6

онъ тотчасъ-же прогуляетъ съ пріятелями въ какомъ-нибудь изъ многочисленныхъ *асомуаровъ* столицы, дѣлается обыкновенно такъ-же свѣрымъ мужемъ и безсердечнымъ отцомъ, какъ и великовѣтскій хлыщъ, приобрѣтшій черезъ контору Фигаро или матримоніальное агентство Фуа миллионное состояніе съ придачею кривобокой, отцвѣтшей невѣсты. Но въ трудолюбивой рабочей семьѣ, тамъ, гдѣ дорожатъ каждою копейкой для устройства семейнаго союза и для воспитанія ожидаемыхъ дѣтей, издержки на свадьбу въ церкви или у мэра считаютъ обыкновенно излишнею обузой, а потому и довольствуются любовнымъ соглашеніемъ, нисколько не стѣсняясь тѣмъ, что дѣти ихъ будутъ числиться незаконными: родители вѣдь напередъ увѣрены, что они не оставятъ по себѣ никакого недвижимаго имущества. Но существуетъ еще одно условіе, значительно способствующее тому, что въ большихъ французскихъ городахъ, за исключеніемъ только клерикальнаго юга, лучшія рабочицы семьи живутъ обыкновенно безъ церковнаго и гражданскаго освященія своихъ отношеній. Законодательство французское, какъ и англійское, отдаетъ жену слишкомъ беззащитною во власть мужа; только искусно составленный свадебный контрактъ можетъ оградить — не личность, а одно имущество жены отъ хищничества ея супруга. Въ сферахъ достаточныхъ и просвѣщенныхъ заключеніе тайныхъ контрактовъ поручается обыкновенно опытнымъ нотариусамъ, заставляющимъ дорого платить себѣ за свои услуги. Чернорабочему люду такая роскошь не по карману, а потому, когда они женятся, то безъ контракта, или, по техническому выраженію, *sous le regime de la communauté*. Мало-мальски уважающая себя работница боится этого режима, какъ огня. У нея на глазахъ было слишкомъ много дѣйствительно ужасныхъ примѣровъ. Если она имѣетъ порядочный заработокъ и откладываетъ деньги на черный день (въ чему парижанки выказываютъ необыкновенную склонность), то она понимаетъ, что этимъ самымъ она уже готовитъ своему мужу сильный соблазнъ. Наступаетъ минута, когда самый бережливый и скромный рабочій, увлекаемый примѣромъ или страстностью собственной натуры, не выдерживаетъ томительнаго однообразія своего сѣренькаго существованія и вдругъ закутитъ. Тогда горе женѣ, если у нея прибережена какая-нибудь сумма, книжечка сохранной кассы, или биржевая бумага и т. п. Попробуетъ-ли она, какъ разъяренная львица, ради семьи и дѣтей,

отстаивать противъ супружескаго хищничества это въ потѣ лица нажитое сокровище, отдасть-ли она его безпрекословно, какъ покорная раба,—все равно, семейное спокойствіе нарушено навсегда. Исторія Жервезы въ „Assomoir“ Золя—не выдуманная исторія, и пишущему эти строки хорошо извѣстны нѣсколько при-мѣровъ, въ которыхъ рабочая семья жила въ мирѣ и спокойствіи, копила копейку про черный день и тщательно воспитывала дѣтей до тѣхъ поръ, пока не вздумала повѣнчаться.

Мы читаемъ у Осонвиля, что во Франціи въ 1875 г. всѣхъ дѣтей, осужденныхъ за какія-бы то ни было преступленія, насчитывалось 9,906. Почти двѣ трети этого числа были горожане, между тѣмъ какъ крестьянство составляетъ 53% общаго населенія Франціи. На одинъ Парижъ приходилось 1,452, т. е. почти $\frac{1}{7}$ числа малолѣтнихъ преступниковъ, тогда какъ все населеніе столицы не составляетъ и $\frac{1}{18}$ населенія Франціи вообще. Изъ нихъ 15 оказались виновными съ отягчающими обстоятельствами (assassinat), 177—въ обыкновенномъ убійствѣ (meurtre), въ нанесеніи ударовъ и ранъ. Въ общемъ числѣ оказалось всего только 1,518 рожденныхъ внѣ брака, но 9,763 были дѣтьми родителей, неимѣющихъ опредѣленныхъ средствъ къ существованію. Въ Лондонѣ въ 1876 г. 1,883 малолѣтнихъ были приговорены къ тюремному заключенію и 1,087 къ наказанію розгами; но такъ-какъ оба эти наказанія назначаются нерѣдко вмѣстѣ, то мы и не знаемъ съ точностью, сколько именно дѣтей было преслѣдуемо въ англійской столицѣ за различныя преступленія.

Впрочемъ, статистическія цифры и вычисленія безспорно драгоценны только тогда, когда они даютъ хоть приблизительно вѣрную оцѣнку общественнаго явленія. Есть, однакожь, одно обстоятельство, заставляющее насъ предполагать, что всякая попытка опредѣлить точными арифметическими цифрами размѣръ дѣтской безпомощности и нищеты въ промышленныхъ городахъ, неизбежно должна оказаться преждевременною. Въ 1869 г., когда статистика общественнаго призрѣнія, вмѣстѣ съ цифрами малолѣтнихъ преступниковъ, не усматривала въ цѣлой Англій даже и 300,000 дѣтей менѣе 16-ти-лѣтняго возраста, находившихся въ положеніи настолько ненормальномъ, что общество оказывалось вынужденнымъ обратить на нихъ свое благосклонное или карающее вниманіе, горсть честныхъ и искреннихъ филантроповъ, дѣйстви-

вавшихъ совершенно независимо отъ всякаго официальнаго вліянія, сдѣла събрать 3,897,000 маленькихъ оборвышей *) въ чрезвычайно оригинальные пріюты, такъ-называемые ragged-schools, о которыхъ мы обстоятельно поговоримъ впоследствии. Здѣсь-же обращаемъ вниманіе читателя на это обстоятельство только какъ на несомнѣнное указаніе, что статистическій пріемъ въ интересующемъ насъ дѣлѣ, очевидно, не можетъ привести ни къ чему и что давно пора уже придумать иной, болѣе удачный подходъ къ этой трудной и многосложной задачѣ.

Л. Мечниковъ.

(Окончаніе слѣдуетъ.)

*) См. V. Bertrand, „Essai sur l'intempérance“, Paris, 1875.

НА ПРОЩАНЬЕ.

Идете!.. Ну съ Богомъ! Да будетъ легка
Вамъ, юноши, въ жизни дорога.
Предъ вами она широка, далека,
А мнѣ ужъ осталось не много...
Вы просите пѣсни... Извольте, спою.
Напѣнимъ прощальную чашу.
Готово!.. Ну, слушайте пѣсню мою:
Спою вамъ про молодость вашу.
Взгляните, какъ въ чашѣ бушуетъ вино
И, бѣлую пѣну взбивая,
Кипить, и шипить, и сверкаетъ оно,
Сребристую искрой играя.
Въ игрѣ этой сила, букетъ, аромать.
Такъ пейте же, пейте скорѣе,
Не ждите, покуда они улетятъ,—
Отъ нихъ и вино веселѣе.
Живите жъ, покуда душа молода,
Доступна мечтамъ и обманамъ,
Покуда спознаться придетъ череда
Вамъ съ опытомъ, жизни тираномъ.
Угрюмый придетъ онъ и вслѣдъ приведетъ
Сомнѣннй разладъ безконечный,
Обманетъ надежды, мечты оборветъ,
Придавитъ тоскою сердечной.
И все, чѣмъ теперь въ васъ душа такъ полна:
Порывы высшихъ стремлений,
Сочувствія правдѣ живая струя,
И пылъ молодыхъ увлеченій,
И вѣра въ добро, и потребность любить,
И дружбы святыя обѣты,—

Все будутъ пытаться убить и разбить
 Въ васъ опыта злые навѣты!..
 Скорѣе же, други, покуда пора,
 Пока въ васъ душа не остыла,
 Идите свершить сколько можно добра,
 Съ недобрымъ помѣряться силой.
 Широко раскинетъ васъ въ жизни судьба,
 Пытая въ соблазнахъ лужаво;
 Но что-бъ васъ ни ждало: успѣхъ или борьба,
 Да будетъ вамъ правда и право—
 Вашъ лозунгъ повсюду, во всемъ и всегда,
 Въ почетѣ, въ нуждѣ и въ страданьи,
 Чтобъ если случится сойтись вамъ когда,
 Вамъ было-бы въ радость свиданье.
 Чтобъ были вы вправѣ другъ друга обнять,
 Какъ нынѣ, и послѣ разлуки,
 Чтобъ смѣло могли вы другъ другу подать
 Такія-же чистыя руки,
 И честно сказать, оглянувшись назадъ,
 Другъ другу, у края могилы:
 „Что смогъ я, то сдѣлалъ, на большее, братъ,
 Не воли не стало, а силы!..“

М. Розенгеймъ.

КОМИСИЯ УЛОЖЕНІЯ

И

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДѢЛО ПРИ ЕКАТЕРИНѢ II.

I.

Распространеніе европейской цивилизаціи и освобожденіе крестьянъ — вотъ двѣ основныя задачи, къ выполненію которыхъ въ продолженіи почти двухъ вѣковъ стремились всѣ передовые люди Россіи, не говоря уже о массѣ крѣпостного народа, которая никогда не переставала мечтать о волѣ. Такихъ мечтателей, утопистовъ, не мало было и до Петра, какъ, на примѣръ, извѣстный правитель государства и фаворитъ Софьи, образованный князь Голицынъ. По словамъ Невилля (*Relation de Moscovie, 1699*), „онъ хотѣлъ населить пустыни, обогатить нищихъ, сдѣлать людей изъ дикарей, героевъ изъ трусовъ и превратить лачуги въ каменные дворцы. Цѣлью князя было поставить Россію на одну ступень съ прочими государствами, для чего онъ распорядился собрать свѣденія обо всѣхъ европейскихъ державахъ и образѣ ихъ правленія. Онъ хотѣлъ начать освобожденіемъ крестьянъ и предоставленіемъ имъ тѣхъ земель, которыя они обрабатываютъ, съ выгодой для цара, за ежегодный оброкъ, который, по его вычисленію, долженъ болѣе, чѣмъ вдвое, увеличить царскіе доходы, составляющіе на французскія деньги отъ 7 до 8,000,000 ливровъ *)". Что-же касается съѣстныхъ припасовъ, составляю-

*) 1,400,000 рублей; по свидѣтельству Котошихина, эти доходы составляли 1,300,000 р.

щихъ остальную часть дохода, то очень трудно опредѣлить ихъ настоящую стоимость". Голицынъ думалъ производить всѣ государственные расходы деньгами и замѣнить регулярнымъ войскомъ „полки крестьянъ, земли которыхъ остаются необработанными, когда ихъ уводятъ на войну, и вмѣсто этой бесполезной для государства повинности обложить ихъ умѣренною поголовною податью". Голицынъ ничего не успѣлъ сдѣлать для крестьянъ, а при наступившей скорѣ петровской реформѣ крѣпостное право даже значительно усилилось и окрѣпло. Государственные расходы въ самое короткое время страшно увеличились, денегъ не было и за все отвѣчали мужики: они строили города, рыли каналы, шли въ награду и въ жалованье служилымъ людямъ, приписывались для работъ ко вновь учреждавшимся заводамъ. Послѣ Петра раздача крестьянъ чрезвычайно усилилась, сдѣлалась обыкновенною. Ломоносовъ получилъ пенсію вмѣсто денегъ крестьянами. Вмѣстѣ съ тѣмъ крѣпостные потеряли послѣдніе остатки своей свободы и всѣ разнообразныя классы ихъ слились въ одну массу полныхъ рабовъ. Но весь гнетъ этого положенія оказался недостаточнымъ, чтобы подавить желаніе воли, доводившее крестьянъ до постоянныхъ волненій. Дворянство тоже мечтало о волѣ, о томъ, чтобы избавиться отъ обязательной службы, сохраняя свои помѣщичьи права, данныя только въ вознагражденіе за эту службу. Желаніе дворянства, наконецъ, исполнилось. При Петрѣ III помѣщики получили право служить и не служить, свободно выѣзжать за границу и даже вступать въ иностранную службу; они были такъ довольны, что думали воздвигнуть Петру *золотую статую*. Какъ ни странно и случайно, по разсказу Щербатова, было происхожденіе этой вольности, но она вполне гармонировала съ другими мѣрами Петра, который при всей своей умственной скромности отличался добродушіемъ и искренностью. Онъ закрылъ тайную канцелярію, далъ амнистію и свободу вѣрн раскольникамъ и за три дня до своего сверженія послалъ въ синодъ слѣдующій собственноручно написанный имъ указъ: „1) Чтобы дать волю во всѣхъ законахъ (т. е. вѣроисповѣданіяхъ) и какое у кого ни будетъ желаніе, то не совращать. 2) Принять вообще всѣхъ западныхъ (христіанъ) и чтобъ ихъ не имѣли въ поруганіи и проклятій. 3) Урѣченные посты вовсе прекратить и чтобъ не почитать въ законъ, но въ произвольство. 4) О грѣсѣхъ предубѣдѣй-

номъ не имѣть никому осужденія, ибо и Христосъ не осуждалъ.

5) Всѣхъ вашихъ здѣшнихъ бывшихъ монастырскихъ крестьянъ причислить къ моему державству, а вмѣсто ихъ мое собственное на жалованье дать. 6) Чтобы дать волю во всякихъ моихъ мѣрностяхъ (мѣропріятіяхъ) и что ни будетъ отъ насъ впредь представлено, не препятствовать“ (Р. Архивъ 1871, 2055). Еще раньше этого указа, возмущившаго все духовенство, были освобождены, и освобождены съ землею, монастырскіе крестьяне, а сыновья священниковъ привлечены къ рекрутству. Передовые люди Европы, вродѣ Вольтера, были въ восторгѣ отъ этихъ распоряженій, русскіе раскольники ликовали, хлысты и спощы увидѣли въ Петрѣ своего Христа, но православное духовенство обнаружило такое сильное негодование, что иностранные посланники сочли нужнымъ обратить на это обстоятельство вниманіе своихъ дворовъ. Крестьяне же, помѣщичьи и заводскіе, сочли освобожденіе монастырскихъ за начало и своей воли и 200,000 ихъ возстало въ разныхъ мѣстахъ. Къ тому же всѣ другія государственныя дѣла, какъ рассказываетъ сама Екатерина, были совершенно разстроены. Армія, бывшая за границей, восемь мѣсяцевъ не получала жалованья, „на штатсъ-конторѣ было 17,000,000 долгу. Ни единый человѣкъ, говоритъ далѣе Екатерина, въ государствѣ не то чтобы зналъ, сколько казнѣ было дохода, ниже вѣдалъ званій доходовъ разныхъ. Повсюду народъ приносилъ жалобу на лихоимство, взятки, притѣсненія и неправосудія разныхъ правительствъ, а наипаче приказныхъ служителей. Всѣ вѣтви комерціи почти были отданы частнымъ людямъ на откупъ. Флотъ былъ въ опущеніи, армія въ разстройствѣ, крѣпости разваливались. Въ сенатѣ за излишество почитали государственныя дѣла слушать, ландкарту имѣвъ предъ собою на столѣ, и оттого сдѣлалось, что иногда сами не знали, о чемъ судятъ. Стыдно сказать, что и карты печатанныя не были въ сенатѣ и первую карту я, бывъ въ сенатѣ, послала купить въ академіи. Тюрмы были наполнены колодниками... Довѣренности къ правительству никто не имѣлъ, но всякъ привыкъ думать, что иное учрежденіе не могло выходить, какъ вредное общему благу. Жестокія пытки и наказанія за бездѣлицу, какъ за тяжкое преступленіе, ожесточили такъ умы, что многимъ казалось, что тотъ-то и самый порядокъ правосудія, а не иной какой. Политическія-же обстоятельства были таковы, что сверхъ сего мы еще ожидали пришествія татаръ на

Украину къ масляницѣ“ (Сборн. истор. общества, т. X, с. 381).

Екатерина въ своей перепискѣ съ Вольтеромъ и другими знаменитостями Европы не разъ останавливалась на изображеніи этихъ трудныхъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ ея вѣцареніе. Но въ сущности положеніе дѣлъ не было такимъ отчаяннымъ, какимъ желала выставить его Екатерина. Петръ III поступалъ такъ поспѣшно и необдуманно, что при замѣчательныхъ умѣ и ловкости его преемищи ей не стоило-бы большихъ усилій, чтобы поправить дѣла, еслибы только предшествовавшія обстоятельства ея жизни не развили въ ней крупныхъ недостатковъ ума и характера. Поклонница энциклопедистовъ, Монтескье и Бекарія, другъ Вольтера, она рѣшительно ничего не имѣла противъ тѣхъ принциповъ свободы и терпимости, которые легли въ основу распоряженій Петра о свободѣ вѣроисповѣданія и освобожденія монастырскихъ крестьянъ, но, вступая на престолъ, она далеко еще не выработала вполне цѣльной, однородной политической программы. Изъ замѣтокъ ея, веденныхъ въ концѣ царствованія Елисаветы, видно, напр., что, подобно Вольтеру, Екатерина была рѣшительно противницею войнъ. „Миръ необходимъ этой обширной имперіи: мы нуждаемся въ населеніи, а не въ опустошеніяхъ; заставьте, если это возможно, кипши кипшѣтъ народъ въ нашихъ пространныхъ пустыняхъ“. Въ то-же время она очень хорошо понимала, что опора всякой власти — въ народѣ. „Власть безъ довѣренности народа ничего не значить. Легко достигнуть любви и славы тому, кто этого желаетъ: примите въ основу вашихъ дѣйствій, вашихъ постановленій никогда неразлучныя между собою благо народа и справедливость. У васъ нѣтъ и не должно быть другихъ интересовъ. Если душа ваша благородна — вотъ ея цѣль“. „Свобода, душа всего, безъ тебя все мертво. Хочу повиновенія законамъ, но не рабствъ. Хочу одного — дѣлать людей счастливыми, но ни произвола, ни чудачествъ, ни тираніи, несовмѣстныхъ съ свободою“. Брѣпостное рабство должно было возмущать такого свободомыслящаго человѣка, и дѣйствительно, Екатерина въ своихъ замѣткахъ говоритъ, что „противно христіанской вѣрѣ и справедливости дѣлать невольниками людей (они всѣ рождаются свободными)“, но тутъ-же прибавляетъ, что освобожденіемъ крестьянъ, конечно, нельзя заслужить любви землевладѣльцевъ. Но вотъ удобный способъ: постановить, что отнынѣ при продажѣ имѣнія, ког-

да новый владѣлецъ пріобрѣтаетъ его, всѣ крѣпостные этого имѣнія объявляются свободными. Такимъ образомъ въ сто лѣтъ всѣ или, по крайней мѣрѣ, большая часть имѣній перемѣнятъ господъ, и вотъ народъ освобожденъ“. Независимо отъ этихъ опасеній помѣщичьей оппозиціи, Екатерина хотя и соглашалась съ Энциклопедіей, что „рабство есть гражданская потеря, убивающая взаимное состязаніе, промышленность, художества, науки, честь и изобиліе“, но въ то-же время она съ молодости чувствовала слабость къ барству и аристократической роскоши. „Государи кажутся болѣе великими по мѣрѣ того, какъ вельможи страны и приближенные государей обладаютъ большими богатствами. Изобиліе должно царствовать въ ихъ домахъ, а не ложная роскошь, основанная на неоплатныхъ долгахъ. Я хочу, чтобы страна и подданные были богаты — вотъ начало, отъ котораго я отправляюсь; черезъ разумное сбереженіе они до этого достигнутъ. *Признаюсь, что хотя я свободна отъ предразсудковъ и умъ у меня отъ природы философскій, однако чувствую великую склонность чтить древніе роды*; мнѣ тяжело, когда вижу ихъ обреченными почти на нищенство, мнѣ пріятно возстановлять ихъ. Можно возстановлять ихъ блескъ пожалованіемъ орденовъ и назначеніями въ должности старшихъ въ родѣ, если только они достойны, также раздачею пенсій и даже помѣстій (des terres), смотря по надобности и заслугамъ, съ условіемъ, чтобы они переходили къ старшему и оставались въ родѣ неотчуждаемыми“ („Сб. ист. общ.“, т. VII, стр. 83—85, 101). Такимъ образомъ еще до воцаренія Екатерины политическая програма ея была очень сбивчива и неопредѣленна, даже не совсѣмъ безупречна относительно практичности: мало того, что невозможно было примирить принципы свободы и равенства всѣхъ людей раздачею помѣстій, предположенное Екатериною постепенное освобожденіе крестьянъ; которое кончилось бы черезъ сто лѣтъ, именно около 1861 г., только чрезвычайно усилило бы тѣ волненія крѣпостныхъ, которыя шли вплоть до ихъ полной воли. При этомъ у Екатерины не было ни той энергіи, ни той самоотверженности, какими отличался Петръ Великій, а привычка къ изворотливости заводила ее часто вовсе не туда, куда ей хотѣлось попасть, какъ справедливо замѣтилъ хорошо знавшій ее англійскій посолъ. „Если у императрицы есть слабость, писалъ Гёнингъ, — то она состоитъ въ

желаніи достигать таинственнымъ образомъ тѣхъ самыхъ цѣлей, которыя были бы ей доступны при помощи простыхъ и естественныхъ путей“ (ib., т. XIX, стр. 390). Обстоятельства, сопровождавшія воцареніе Екатерины, побуждали ее какъ можно скорѣе возстановить расшатавшіеся государственные порядки и заручиться сочувствіемъ тѣхъ общественныхъ слоевъ, которые были возмущены безтактностью ея мужа. Въ первыхъ же своихъ манифестахъ, порицая Петра за его поступки, Екатерина объявила себя защитницею православія, обѣщала облегчить положеніе народа, „искоренить язву неправды и лихоимства“ и т. д. И Екатерина много работала въ этомъ отношеніи, особенно въ первое время. „Проблески неудовольствія, доносили въ началѣ 1763 г. прусскій посланникъ своему королю, — проявляющіеся отъ времени до времени, порождаются главнымъ образомъ стремленіемъ императрицы искоренить злоупотребленія. Множество знатныхъ бояръ и даже большая часть сенаторовъ не очень-то рады слишкомъ дѣятельной государынѣ, которая хочетъ управлять сама. Поэтому они дѣлаютъ все, чтобы противодѣйствовать благимъ намѣреніямъ императрицы... Они были тиранами народа, увѣренные въ своей безнаказанности, потому что дѣлили плоды своихъ поборовъ и грабежей съ людьми, имѣвшими вліяніе при дворѣ. Новые порядки возбуждаютъ неудовольствіе, потому что мѣшаютъ имъ предаваться лѣности и корыстолюбію“ (ib., т. XXII, стр. 43, 65). Въ этой борьбѣ съ чиновничьими злоупотребленіями Екатерина проявила сравнительно много энергіи, но и тутъ у нея скоро опустились руки; въ другихъ же отношеніяхъ она дѣйствовала гораздо осторожнѣе и изворотливѣе, начиная съ перваго дня своего царствованія. Поклонница „древнихъ родовъ“ въ теоріи, на практикѣ она опиралась преимущественно на новые, ею же созданные роды, вродѣ Орловыхъ, и чтобы привязать ихъ къ себѣ, должна была прибѣгать къ тѣмъ же способамъ, которые практиковались во всѣ предыдущія царствованія послѣ Петра В. и которые она не могла одобрить, по крайней мѣрѣ, въ теоріи. Въ первое же полугодіе 1762 г., кромѣ крестьянъ, чиновъ и другихъ милостей, было роздано сторонникамъ Екатерины болѣе 800,000 р. (ib., VII, 108 — 119). Скоро екатерининская казна была окончательно опустошена и по поводу одной изъ безчисленныхъ просьбъ своихъ сторонниковъ она уже 25 февраля 1763 г. отвѣчала Ела-

гину: „Иванъ Перфильичъ, ты имѣешь сказать камергерамъ Ласунскому и Рославлевымъ, что понеже они мнѣ помогли взойти на престолъ для поправленія неурядковъ въ отечествѣ своемъ, (то) я надѣюсь, что они безъ прискорбія примутъ мой отвѣтъ, а что дѣйствительная невозможность нынѣ раздавать деньги, тому ты самъ свидѣтель очевидный“ (ib., 234). Въ августѣ она уже съ раздраженіемъ по поводу подобныхъ просьбъ писала Глѣбову: „у меня денегъ нѣтъ, и вы какъ хотите съ ними“ (стр. 309.). Въ то же время англійскій посланникъ доносилъ своему министру, что „казна императрицы въ полномъ истощеніи, даже фонды адмиралтейства, считавшіеся до сихъ поръ неприкосновенными; теперь растрчены“ (ib., т. XII, стр. 109). Положеніе было столь критическимъ, что иностранные дипломаты надѣялись извлечь изъ него существенныя выгоды для себя, видя русскій дворъ доведеннымъ до необходимости принимать отъ нихъ подарки и субсидіи (ib., XII, 73; XIX, 414 и др.). Но дипломаты ошибались... Въстѣ съ тѣмъ для полного успокоенія духовенства Екатерина сочла нужнымъ отмѣнить дѣйствіе петровскаго указа, освобождавшаго монастырскихъ крестьянъ. Но крестьяне не повѣрили указу, снова обращавшему ихъ въ прежнюю неволю, и волненія ихъ приняли такіе размѣры, что „въ явномъ возмущеніи, подъ ружьемъ“ было болѣе 100,000 монастырскихъ крестьянъ („Рус. Стар.“, XXV, 603). Екатерина рѣшилась довершить то, что началъ мужъ ея. Монашество вознегодовало, а ростовскій митрополитъ Арсеній прибавилъ даже къ обряду православія, совершенному въ ростовскомъ соборѣ въ 1763 г., слѣдующее: „Все начальствующіи и обидящіи святіи божіи церкви и монастыри, отнимающе у нихъ данныя тѣмъ отъ древнихъ боголюбцовъ и монарховъ благочестивыхъ имѣнія, яко крайніи враги божіи, да будутъ прокляты“ (ib., XXVI, 6). Но Екатеринѣ не трудно было сломить эту оппозицію; 1,000,000 монастырскихъ крестьянъ былъ освобожденъ, а митрополитъ Дмитрій Сѣменовъ, который при Петрѣ III чуть было не лишился мѣста за свои дѣйствія противъ освобожденія, теперь за энергическое содѣйствіе тому же освобожденію, получилъ отъ Екатерины въ награду 1,000 душъ... („Рус. Стар.“, XV, 730; „Сб. ист. общ.“, VIII, 559).

Заводскіе и помѣщичьи крестьяне тоже ждали свободы и 100,000 ихъ были въ открытомъ возстаніи. Ихъ усмиряли вой-

сками, „огнемъ и мечемъ“, какъ выражалась Екатерина, а заводчикъ Демидовъ даже „убилъ до смерти 63 человѣка, а одного человѣка еще положи на разжѣнную горячую чугунную доску, билъ кнутьями и пережегъ руку“ („Рус. Стар.“, XVIII, 206). Предписывая посланному на усмиреніе горнозаводскихъ крестьянъ кн. Вяземскому разныя мѣры строгости, какъ противъ крестьянъ, такъ и противъ агитировавшихъ между ними церковниковъ, Екатерина въ то же время приказывала разслѣдовать и злоупотребленія владѣльцевъ, замѣчая, что „какъ крестьянская продерзость всегда вредительна, такъ и челоуѣколюбіе наше терпѣть не можетъ, чтобъ свыше мѣръ челоуѣческихъ порабощеніе крестьянъ, а паче съ мучительствомъ, чинимо было“ („Сб. ист. общ.“, VII, 191). Когда же Екатерина поближе познакомилась съ положеніемъ крестьянъ, то хорошо поняла, что невозможно поддерживать одними строгостями ихъ „несносное и жестокое иго“. При такихъ порядкахъ, писала она кн. Вяземскому, „бунтъ всѣхъ крѣпостныхъ деревень воспослѣдуетъ... Всякая малость можетъ привести крестьянъ въ отчаяніе... Прошу быть весьма осторожною, дабы не ускорить и безъ того довольно грозящую бѣду, ибо если мы не согласимся на уменьшеніе жестокостей и умѣреніе челоуѣческому роду нестерпимаго положенія, то и противъ нашей воли сами *оную* возьмутъ рано или поздно“ (Сборникъ „XVIII вѣкъ“, т. II, стр. 390). При такомъ пониманіи дѣла, Екатерина, несмотря на свою слабость къ старинной аристократіи и необходимость расплачиваться крестьянами съ новымъ дворянствомъ, должна была если не твердо рѣшиться на освобожденіе, то, по крайней мѣрѣ, сдѣлать серьезныя попытки въ этомъ отношеніи.

Въ числѣ немногихъ лицъ, понимавшихъ все зло крестьянскаго рабства, былъ лифляндскій пасторъ Эйзенъ, со взглядами котораго были знакомы и Петръ III, и Екатерина. Этотъ Эйзенъ напечаталъ въ 1764 г. въ Петербургѣ на нѣмецкомъ языкѣ „Описаніе крѣпостнаго права въ Лифляндіи“. Лифляндскій крестьянинъ, говоритъ Эйзенъ, не имѣетъ никакой собственности, помѣщикъ все можетъ отнять у него, можетъ вовсе прогнать съ земли и превратить въ батрака. Помѣщики высасываютъ изъ крестьянъ послѣдніе соки, торгуютъ ими, какъ скотомъ, мучатъ жестокими наказаніями. „Хотя законы (дѣйствовавшіе тогда въ Лифляндіи шведскіе) предписываютъ извѣстную мѣру наказанія, одна-

ко землевладѣльцу дано настолькоъ свободы, что если онъ прикажетъ строго наказать крестьянина даже въ предписанныхъ закономъ границахъ, то наказанный можетъ лишиться жизни. Винаго привязываютъ къ столбу и двумя тонкими палками, вродѣ русскихъ батоговъ, около аршина длины, которыя или свѣжія срѣзуются съ дерева, или размачиваются въ водѣ, бьютъ его по голой спинѣ до тѣхъ поръ, пока палки не измочалятся и не сдѣлаются негодными къ употребленію. Это называется *дать пару розогъ*. Чѣмъ виновнѣе преступникъ или, по крайней мѣрѣ, чѣмъ важнѣе считаетъ его помѣщикъ, тѣмъ болѣе онъ увеличиваетъ размѣръ наказанія, доходящаго до *десяти паръ* — высшей мѣрѣ, опредѣленной закономъ. Если помѣщикъ накажетъ сильнѣе, то крестьянинъ можетъ жаловаться на него въ судъ, но это бываетъ рѣдко и крестьяне не жалуются, боясь подвергнуться за то еще болѣе жестокому наказанію*. Въ 1764 же году Екатерина была въ прибалтійскомъ краѣ и собственными глазами могла удостовѣриться въ ужасномъ положеніи тамошнихъ крестьянъ, дошедшихъ до того, что даже нѣкоторые крупные помѣщики, вродѣ барона Шульца фон-Ашеридена, сами рѣшили ограничить помѣщичій произволъ посредствомъ составленныхъ ими постановленій. Эти постановленія, впрочемъ, были не больше, какъ либеральной комедіей, нѣсколько скрадывавшей безобразія помѣщичьей тираніи, но недававшей никакого существеннаго облегченія крестьянамъ. Екатерина же хотѣла начать свой опытъ именно съ Лифляндіи, дворянство которой казалось ей гораздо безопаснѣе русскаго. Въ 1765 г. генераль-губернаторъ Броунъ отъ ея имени предложилъ ландтагу принять мѣры къ улучшенію быта крѣпостныхъ, объявляя, что „ея императорское величество изъ жалобъ ей приносимыхъ узнала, а при проѣздѣ отчасти и сама замѣтила, въ какомъ великомъ угнетеніи живутъ лифляндскіе крестьяне, и рѣшилась оказать имъ помощь, особенно положить границы тиранской жестокости и необузданному деспотизму, тѣмъ болѣе, что такимъ образомъ наносятся ущербъ не только общему благу, но и верховному праву короны“. Дворянство сначала заартачилось, ссылаясь на свои привилегіи, на прекрасное, по его словамъ, положеніе остзейскихъ крестьянъ, на то, что крѣпостное право основано на національномъ характерѣ латышей и эстовъ и „существованіе его вовсе не противорѣчитъ гуманности“. Въ концѣ-концовъ благородное рыцарство должно было уступить

настойчивости правительства и составило правила, нѣсколько ограничившія произволь помѣщиковъ. Но эти правила были обработаны такъ, что помѣщикъ всегда могъ обходить ихъ, да и они никогда не были приведены въ дѣйствіе, а правительство скоро перестало тревожить своими эмансипаторскими стремленіями какъ остзейскихъ бароновъ, такъ и русскихъ помѣщиковъ. Когда же въ 1769 г. эзельская земская комісія рѣшила ограничить власть помѣщиковъ, „и чрезъ сіе самое доставить эзельской провинціи время и случай сдѣлаться достойною вольности“, то послѣдовала резолюція: „оба сіи пункта принадлежать по существу своему до первоначальнаго въ государствѣ основанія и составляютъ вопросъ весьма деликатный, не менѣе-жь сего и важный, а посему разрѣшеніе его зависить по надлежащему отъ общаго опредѣленія комісії уложенія“. Генералъ-губернаторъ сообщилъ это эзельской комісії, тѣмъ дѣло и кончилось („П. Собр. Зак.“, т. XVIII, № 13, 329).

Одновременно съ обсужденіемъ крестьянскаго вопроса въ Остзеѣ обстоятельства заставили правительство настойчивѣе прежняго приняться за него и въ Россіи. Въ 1763 г. помѣщики и правительство были встревожены чрезвычайно усилившимися побѣгами крестьянъ за польскую границу, и гр. Панинъ подалъ мнѣніе, что причинами этихъ побѣговъ служатъ разнообразныя злоупотребленія свѣтскихъ и духовныхъ властей, ужасная рекрутчина, отдачу въ которую людей крестьяне „почитаютъ за убійство и вѣчную разлуку“, и „ничѣмъ неограниченная помѣщичья власть, причѣмъ неумѣренная роскошь заставляеть собирать подати и употреблять въ работы не только болѣе тяжкія, чѣмъ за ближайшею границею, но и превосходящія силы человѣческія“. Другіе государственные люди, вродѣ Бестужева, считали подобныя мнѣнія чуть не революціонными и доказывали, что помѣщикъ долженъ имѣть безпредѣльную власть надъ крестьянами, да и самъ-то Панинъ, требовавшій ограниченія этой власти, предлагалъ разослать помѣщикамъ *секретное* постановленіе о томъ, чего они вправѣ требовать отъ своихъ крестьянъ (Соловьевъ, XXV, 282—4). Не сдѣлали даже этого, а ограничились пока посылкою въ Польшу военнаго отряда, который поймалъ и вывелъ въ Россію 2,027 бѣглыхъ. Между тѣмъ волненія крестьянъ не прекращались, и въ концѣ 1763 г. въ народѣ началъ расходиться под-

ложный указъ императрицы: „Время уже настало, чтобъ лихоимство искоренить, что весьма желаю въ покоѣ пребывать, однако весьма наше дворянство пренебрегаютъ божій законъ и государственныя права и въ томъ много чинятъ россійскому государству недобро. Прадѣды и праотцы россійскаго государства монархи ихъ жаловали вотчинами и деньгами награждали, и они въ томъ забыли, что во истину дворянство было въ первомъ власѣ, а нынѣ дворянство вознеслось, что въ послушаніи быть не хотятъ, тогда-же впередъ было, когда любезный монархъ Петръ В. царствовалъ, тогда весьма предпочитали законъ божій и государственныя права крѣпко наблюдали. А нынѣ правду всю изринули да и изъ Россіи вонъ выгнали, да и слышать про нее не хотятъ, что россійскій народъ осиротѣлъ, что дѣти малыя безъ матерей осиротѣли, или онымъ дворянамъ не умирать, или же имъ предъ Богомъ на судъ не быть, ея же мѣру мѣрите, возмѣрится и вамъ. *Екатерина*“ (Сб. И. Общ., VII, 322). Указъ этотъ сильно распространился въ народѣ, такъ что правительство было вынуждено публиковать объ его подложности и сжечь его рукою палача (П. С. З. XVI, № 12,089). Но Екатерина и тѣ немногіе приближенные ея, которые не прочь были что-нибудь сдѣлать для крестьянъ, понимали, что одними указами и карами волнений не усмирить. Въ іюнѣ 1765 года, по примѣру образовавшагося въ Бретани земледѣльческаго общества, гр. Р. Воронцовъ, Г. Орловъ, Тепловъ и др. составили „Патріотическое общество для поощренія въ Россіи земледѣльства и экономіи“, а императрица прислала отъ имени неизвѣстнаго 1,000 червонцевъ въ премію за рѣшеніе вопроса: „Въ чемъ состоитъ собственность земледѣльца, въ землѣ-ли его, которую онъ обрабатываетъ, или въ движимости, и какое онъ право на то и другое для пользы общенародной имѣть можетъ?“ Къ соисканію преміи были допущены какъ русскіе, такъ и иностранцы. Къ назначенному сроку, 1 ноября 1768 г., общество получило 162 сочиненія, въ томъ числѣ русскихъ только 7, нѣмецкихъ 129, французскихъ 21, латинскихъ 3, голандское 1 и шведское 1.

Благороднѣе и раціональнѣе всѣхъ другихъ рѣшали вопросъ французы, особенно Грасленъ, сочиненіе котораго тѣмъ замѣчательнѣе, что у насъ еще до сихъ поръ нѣкоторые выродки славянофильства утверждаютъ, будто-бы идея освобожденія крестьянъ

янь съ землею чужда Западу. „Если считать крестьянъ членами государства, говорить Грасленъ, — то общее благо требуетъ, чтобы имъ были предоставлены выгоды, связанныя съ правомъ собственности какъ на землю, такъ и на движимое имущество, допуская при этомъ лишь тѣ ограниченія, какія существуютъ для другихъ, такъ-какъ общее благо всегда состоитъ въ счастіи наибольшаго числа людей“. Рабство и принадлежность земли лицамъ, занимающимся лично ея обработкою, по мнѣнію Граслена, противны природѣ. „Общее благо требуетъ, чтобы земля была собственностью единственно и исключительно тѣхъ, кто ее обрабатываетъ, т. е. крестьянъ, но въ то же время они должны владѣть лишь такимъ количествомъ земли, какое могутъ сами обрабатывать, иначе они обратятся въ землевладѣльцевъ-вотчинниковъ“. Точно въ томъ же смыслѣ рѣшали вопросъ пьемонтскій абатъ Васко и одинъ французскій фізіократъ, приславшій, впрочемъ, только одно предисловіе къ сочиненію, которое онъ почему-то не могъ доставить въ срокъ. „Если роковое стеченіе обстоятельствъ, писалъ онъ, — лишаетъ мое отечество преимущества подать первый примѣръ прочнаго и полнаго счастія, которое должно быть непремѣннымъ результатомъ осуществленія выводовъ фізіократіи, то я желаю, чтобы вы, русскіе, воспользовались этимъ неоцѣненнымъ правомъ и подали всѣмъ другимъ возвышенный примѣръ. Вы научились у насъ по правиламъ науки истреблять людей посредствомъ свинца, желѣза и пороха; вы научились искусству вѣрять свою жизнь ярости бурныхъ морей на судахъ, столь же ломкихъ, сколько и достойныхъ удивленія. Прекрасно и благородно будетъ съ вашей стороны научить и насъ, какъ обезпечить счастіе людей, производящихъ необходимые жизненные припасы, свободою и правомъ собственности, не тѣми неполными собственностью и свободою, какими мы теперь пользуемся въ своихъ полуцивилизованныхъ государствахъ, но тѣми, границы которыхъ опредѣляются только высшею справедливостію“.

Гораздо умѣреннѣе рѣшали вопросъ остальные французы, въ томъ числѣ Беарде-де-Лабей, сочиненію котораго особенно повезло въ патріотическомъ обществѣ. „Въ пользу свободы, говоритъ онъ, — вопіютъ всѣ права, но есть мѣра всему“, и крестьянъ слѣдуетъ освобождать медленно, осторожно, постепенно, предварительно подготовивъ ихъ къ воспріятію свободы и собственности по-

средствомъ образованія; теперь же, при своей грубости и невѣжествѣ, они, пожалуй, и сами предпочитаютъ рабство... Еще умѣреннѣе оказался Вольтеръ, тоже псевдонимно участвовавшій въ конкурсѣ. Онъ полагалъ достаточнымъ только предоставить помѣщикамъ право добровольно освобождать крестьянъ и даже не настаивалъ на земельномъ надѣлѣ, какъ это дѣлали другіе французскіе соискатели преміи. „Всѣ крестьяне, говоритъ онъ,—не будутъ богатыми, да этого и не надо. *Нужны люди, у которыхъ не было бы ничего, кроме ихъ рукъ и доброй воли.... они будутъ имѣть право продавать свой трудъ тому, кто больше заплатитъ, и это замѣнитъ имъ собственность*“. Изъ нѣмецкихъ авторовъ можно указать на Вельнера, предлагавшаго постепенно ограничить произволъ помѣщика и надѣлить крестьянина землей, но все-таки оставить его въ зависимости отъ владѣльца, на котораго онъ обязанъ работать, и, наконецъ, уничтожить сельскую общину. Въ томъ-же духѣ писало большинство другихъ нѣмцевъ. Лучшее изъ русскихъ сочиненій принадлежало Полѣнову. „Многіе славные люди утверждаютъ, говоритъ онъ,—что конечное угнетеніе не только вредно для общества, но и опасно“, какъ это показываютъ возстанія илотовъ въ Греціи, рабовъ въ Римѣ, казаковъ въ Польшѣ, которая „великій уронъ отъ крестьянъ притѣсненныхъ претерпѣла“. Положеніе русскихъ крестьянъ казалось ему ужаснымъ. „Ихъ бѣдственное состояніе на такой степень возшло, что они, лишившись всѣхъ почти, такъ-сказать, приличныхъ человѣку качествъ, не могутъ уже видѣть величину своего несчастія и кажутся быть отягчены вѣчнымъ сномъ.... Я не нахожу бѣднѣйшихъ людей, какъ нашихъ крестьянъ, которые, не имѣя ни малой отъ законовъ защиты, подвержены всевозможнымъ не только въ разсужденіи имѣнія, но и самой жизни, обидамъ и претерпѣваютъ безпрестанныя наглости, истязанія и насильства, отчего неотмѣнно должны они опуститься и придти въ сіе преисполненное бѣдствій какъ для нихъ самихъ, такъ и для всего общества состояніе, въ которомъ мы ихъ теперь дѣйствительно видимъ“. Полѣновъ предлагалъ „для славы народа и пользы общества отмѣнить производимый человѣческою кровью безчестный торгъ“, надѣлить крестьянъ землей, „учредить такъ, чтобы крестьянинъ одинъ день въ недѣлю работалъ на господина, а въ прочіе на себя“; „просвѣтить народъ ученіемъ, сохранить его

здравіе, наставитъ при помощи здраваго правоученія“; завести школы, аптеки, лекарей, поставить крестьянъ подъ защиту суда, ибо „ежели господину оставлена будетъ надъ какимъ-нибудь родомъ имѣнія полная власть, то крестьянство никогда не можетъ подняться: опасность конечнаго разоренія воспретитъ ему въ судѣ искать помощи“ (Р. Архивъ 1865, с. 510—541).

Нѣкоторые изъ сочиненій, представленныхъ въ патріотическое общество, были составлены въ духѣ самаго яраго крѣпостничества. Одинъ лифляндскій помѣщикъ, напр., доказывалъ, что „для общества полезнѣе и выгоднѣе, если крестьяне владѣютъ землею и движимымъ имуществомъ, какъ рабы“. „Свободные и притомъ невоспитанные крестьяне — это дикія лошади, которыя, чувствуя свою силу, плохо слушаются всадниковъ; онѣ не годятся для полевыхъ работъ“; для нихъ необходимо „рабство, согласное съ справедливостью и христіанствомъ“ и состоящее въ томъ, что „рабъ принадлежитъ своему господину, не можетъ оставить его безъ его согласія; господинъ же можетъ продать его другому, какъ съ землею, такъ и безъ земли, и наказывать его за провинности: это право господинъ или унаслѣдовалъ отъ предковъ, или купилъ самъ, и оно должно покоиться на твердыхъ и несомнѣнныхъ привилегіяхъ“. Изъ русскихъ крѣпостниковъ раньше всѣхъ отозвался поэтъ Сумароковъ, заявившій, что „свобода крестьянъ не токмо обществу вредна, но и пагубна“, а надѣлать ихъ землею не только не слѣдуетъ, но и невозможно, такъ-какъ „земли всѣ собственныя дворянскія“. „Канарейкѣ лучше безъ клѣтки, а собаке безъ цѣпи, однако, одна улетитъ, а другая будетъ грызть людей; такъ одно потребно для крестьянъ, а другое ради дворянина“. Въ крѣпостническихъ сочиненіяхъ, представленныхъ въ общество, особенно обращаетъ на себя вниманіе то крайнее однообразіе мнѣній, какое господствовало тогда у всѣхъ крѣпостниковъ, какъ образованныхъ, такъ и необразованныхъ. Всѣ они твердили одно, что безъ крѣпостнаго мужика барину жить невозможно, и прибавляли, что безъ барина и мужикъ тоже погибнетъ въ свою очередь. Княгиня Дашкова въ своей бесѣдѣ съ Дидро доказывала, что „свобода безъ образованія непремѣнно вызоветъ безначаліе и смуту. Когда низшіе классы моихъ соотечественниковъ будутъ просвѣщенны, тогда они сдѣлаются достойными свободы, потому что будутъ умѣть пользоваться ею, не

вреда своимъ согражданамъ и не нарушая необходимой во всякомъ цивилизованномъ обществѣ подчиненности“ (XVIII в., I, 271). Одинъ изъ самыхъ мыслящихъ людей того времени, Болтинъ, пишетъ: „не будучи апологистомъ рабства, не скажу я, чтобъ наши земледѣльцы въ такомъ состояніи были, чтобъ было не нужно дать имъ пособія и облегченія къ выгоднѣйшей жизни; но скажу, что сіе облегченіе, сіе пособіе не единственно въ дачѣ вольности долженствуетъ состоять; *прежде должно учинить свободными души рабовъ*, какъ говоритъ Руссо, *а потомъ уже тѣла...* Не всякому народу вольность можетъ быть полезна; не всякій умѣетъ ее снести и ею наслаждаться... Та же самая вольность, которая одинъ народъ дѣлаетъ счастливымъ, для другого будетъ руководствомъ къ несчастію, къ гибели. Земледѣльцы наши прусской вольности не снесутъ; германская не сдѣлаетъ ихъ состоянія лучшимъ, съ французскою помрутъ они съ голоду, а англійская низвергнетъ ихъ въ бездну... Все благоразуміе въ томъ должно состоять, чтобы не прежде даровать имъ свободу, какъ науча ихъ познать ея цѣну и какъ надлежитъ ею пользоваться“. Неизвѣстный авторъ „Размышленія о неудобствахъ дать въ Россіи свободу крестьянамъ“, — размышленія, сдѣлавшагося чѣмъ-то вродѣ символа для нашихъ крѣпостниковъ, напр., для Каразина, — говоритъ еще рѣшительнѣе противъ эмансипаціи, приводя противъ нея, между прочимъ, слѣдующіе аргументы: „Если мы возьмемъ физическое положеніе страны нашей, то увидимъ, что холодный климатъ, возбраняющій дѣйствія транспираціи, а пронипательнымъ своимъ воздухомъ сжимающій наши жилы, побуждаетъ насъ къ принятію болѣе пищи, нежели въ полуденныхъ климатахъ; а сіе производитъ многокровіе и дѣлаетъ характеры наши сангвиническими; довольно же всѣмъ извѣстно, что сангвиническій характеръ есть *характеръ наглый и стремительный* въ предпріятіяхъ своихъ, которыя безъ дальняго размышленія и начинаютъ; а если по роду жизни примѣшается къ оному флегма, то сіе ничего болѣе не произведетъ, какъ должайшее состояніе суровости и злопамятства... По сему извѣстному характеру да разсудитъ каждый, легко ли таковыхъ поселянъ, учиня ихъ свободными, общими законами задержать!.. Флегматическій характеръ производится отъ застоя движенія крови въ зимніе мѣсяцы и отъ недостатка движенія тѣла, также отъ самыхъ топленыхъ покоевъ,

въ конхъ густота воздуха приводитъ въ ослабленіе наши члены, къ лѣности и къ увальчивости насъ склонными чинить, при свободѣ же крестьянъ не умножатся-ли сіи характеристическіе пороки? Россійскій народъ, по ослабленіи надъ нимъ начальства, впадетъ въ непрерывную лѣность, ибо точно примѣчено, гдѣ менѣе съ крестьянъ берутъ оброка, т. е. менѣе побужденія имъ промыслять себѣ прибыль, тамъ они бѣднѣе становятся и болѣе впадаютъ въ лѣность“ („Чтенія“, 1861 г., III). Это было самое солидное изъ русскихъ крѣпостническихъ сочиненій XVIII вѣка; въ патриотическое же общество было представлено нѣсколько такихъ записокъ, которыя сочтено невозможнымъ допустить къ курсу по ихъ нелѣпости; объ одной изъ нихъ въ журналахъ общества отмѣчено: „весьма обстоятельное и юмористическое сочиненіе“, а о другой: „дѣлаетъ дурныя и смѣшныя предложенія“. Вѣроятно, эти сочиненія были вродѣ слѣдующаго, посланнаго въ общество уже послѣ срока:

„Понеже сдѣлана въ прошломъ 1766 г. амблемать, т. е. задача: рѣшить, что полезнѣе ради поселянъ, быть-ли имъ обладателями одного движимаго имѣнія или недвижимаго къ пользѣ государства, на что всепокорно доношу и низжайше прошу двѣ причины мнѣ зачестъ въ отпущеніе:

„1) Опоздалъ я вышерѣченный амблемать рѣшить за болѣзнію моею, что я пролежалъ весь прошлый годъ жестокой лихорадкой.

„2) Штиль мой, т. е. композиція, не очень исправна, идеографіи во ономъ композическомъ штиль не имѣется. Того для прошу смотрѣть на мое мнѣніе, а не на композицію, понеже я человекъ неграматикальный и никакыхъ исторій отъ роду не читывалъ...

„3) При свободѣ крестьяне будутъ огурничать еще больше, какъ нынѣ, и на обширной російской землѣ будутъ переходить съ мѣста на мѣсто, дѣлая помѣшательство въ государственныхъ сборахъ, а за моремъ, у неправославныхъ христіанъ, за грѣхи ихъ, по числу людей земли имѣется весьма малая толпа, такъ что каждый крестьянинъ радъ тому, что отжухарится.

„4) У крестьянъ съ помѣщиками, еслибы крестьяне были на заморскомъ основаніи, была бы тажба безконечная, и ихъ сіятельства фельдмаршалы и фельдцейхмейстеры, командующіе славною російскою арміею, были бы принуждены на огурщиковъ бить челомъ комисарамъ.

„5) Изъ крестьянъ помѣщики научаютъ не только камердинству, но и столярству и партерному пѣнію; того ради, ежели бы послане по заморскому отъ господъ зависѣли, такъ бы у много помѣщика некому было и студено искрошить, а не только сдѣлать какой фрикасей, т. е. поливай, или супа, т. е. похлебки, или паштета, т. е. пирога. А за моремъ фрикасейскихъ мастеровъ имѣется довольно число, и не надобно тамъ ни ложки, ни ложки, понеже, какъ слышно, тамъ въ трактирахъ все съешь.

„6) Какъ наша Россія многогородна столько будетъ, какъ голландское королевство, попы наши такъ грамотны будутъ, какъ попы нидерландскіе, дворяне — такіе астрономы, какъ англійскіе и французскіе, а крестьяне будутъ знать букварь, и, слѣдовательно, будутъ совѣстѣй и больше будутъ повиноваться страху Божію и чаще будутъ ходить въ церкви, нежели въ питейные дома, не будутъ на Волгѣ разбивать струговъ, и наша чернь о мастерствахъ заморскихъ лучшее понятіе получить, умѣе станеть, тогда можно будетъ имъ, крестьянамъ, быть на заморскомъ основаніи. А сіе композическое сочиненіе — сушая, неложная правда!“ („Русск. Арх.“, 1870 г., 288—291).

Лучшими сочиненіями изъ 162-хъ общество признало записки Беарде-де-Лабеля и Полѣнова, но въ послѣдней нашло „многія надъ мѣру сильныя и по здѣшнему состоянію неприличныя выраженія, а потому за нужное признали, что если кому въ собраніи знаемъ авторъ, то чрезъ него велѣтъ ему немедленно оное переправить и тогда его пьесу также велючить во второй классъ и удостойтъ опредѣленныхъ тому классовъ преимуществъ, кромѣ печатанія“ („Русск. Арх.“, 1865). Записки де-Лабеля, Вельнера, Мека и Граслена было рѣшено напечатать въ подлинникахъ, а первую, кромѣ того, перевести на русскій. Затѣмъ начались споры о томъ, печатать или нѣтъ русскій переводъ де-Лабеля. 9-го іюля за малочисленностью собранія вопросъ былъ отложенъ; 16 числа за напечатаніе было подано 3 голоса, а противъ—12; при вторичномъ же голосованіи 5 за и 16 противъ; потомъ черезъ недѣлю 11 за и 16 противъ; но такъ-какъ сама Екатерина и нѣсколько вельможъ, вродѣ Воронцева и Чернышева, были за напечатаніе, то записка, наконецъ, и была напечатана; проектъ же Полѣнова, даже въ передѣланномъ и очень смяг-

ченномъ видѣ остался въ рукописи. Гласнаго обсужденія вопроса въ печати тоже не было, и литература говорила о крѣпостномъ правѣ только намеками и экивоками. Еслибы на мѣстѣ Екатерины былъ человѣкъ вродѣ Петра В., дѣло пошло бы несомнѣнно иначе; у Екатерины же оказалось мало энергія и еще меньше самоотверженной любви, чтобы дѣйствовать такъ, какъ она думала. А думала она и выражалась о крѣпостномъ правѣ чисто по-петровски, какъ показываетъ, напр., найденная Соловьевымъ на отдѣльномъ клочкѣ бумаги записка ея, относящаяся къ какому-то крѣпостническому мнѣнію, можетъ быть изъ тѣхъ, которыя были представлены на конкурсъ патріотическаго общества: „Если крѣпостного нельзя признать персоною, слѣдовательно, онъ не человѣкъ; но его скотомъ извольте признавать, что къ немалой славѣ и человѣколюбію отъ всего свѣта намъ приписано будетъ. *Все, что слѣдуетъ о рабѣ, есть слѣдствіе сего богоугоднаго заведенія и совершенно для скотины и скотиною дѣлано*“ (Соловьевъ, XXVII, 329).

Въ этихъ словахъ слышится сильное негодованіе, но въ Екатеринѣ негодовало собственно не гражданское чувство, не искренняя гуманность, а раздраженное самолюбіе умнаго и развитого человѣка, которому противна какая-нибудь „скотина“, оспаривающая его свѣтлыя, прогрессивныя и гуманныя взгляды. Такіе споры, словесныя и письменныя, вела съ Екатериной не одна такая „скотина“, особенно во время составленія Наказа, которымъ царица занималась въ то-же самое время, какъ разные авторы писали на предложенную ею черезъ патріотическое общество тему. Въ рѣшеніи Екатерины собрать законодательное собраніе въ сущности не было ничего новаго и она только воспользовалась уже готовыми старыми мѣхами, чтобы попробовать влить въ нихъ новое вино. Потребность хоть въ какомъ-нибудь стройномъ законодательствѣ чувствовалась еще при Алексѣѣ Михайловичѣ, который для своего уложенія воспользовался земскимъ соборомъ, этою пережившею формою древняго вѣча. Но алексѣевское уложеніе устарѣло уже при Петрѣ, который въ 1700 г. поручилъ боярамъ составить новое уложеніе, но они ничего не сдѣлали. При Екатеринѣ I, для большей успѣшности дѣла и скорости, велѣно „быть при томъ сочиненіи членамъ изъ духовныхъ, изъ военныхъ, изъ гражданскихъ и изъ магистрата по двѣ персоны“.

Уложеніе велѣно было кончить къ 1726 г., но снова ничего не было сдѣлано. Потомъ хотѣли было поручить это дѣло пр. Вренгштейну, „мужу науки высокой“, но почему-то не рѣшились. При Петрѣ II попробовали обратиться къ выборному началу и предписали выслать въ Москву къ сентябрю 1728 г. „за выборомъ отъ шляхетства, изъ офицеровъ и изъ дворянъ добрыхъ и знающихъ людей изъ каждой губерніи, кромя Лифляндіи, Эстляндіи и Сибири, по 5 человекъ“. Но въ сентябрѣ депутатовъ пріѣхало въ Москву чрезвычайно мало; сенатъ настаивалъ о высылкѣ неявившихся, но они не хотѣли ѣхать, притворялись больными, даже спасались бѣгствомъ, такъ-что для поимки ихъ и препровожденія въ Москву, напр., новгородскаго депутата Скобельцына и псковскаго Ушакова, посылались солдатскія команды, которымъ предписывалось, въ случаѣ укрывательства депутата, брать подъ караулъ его жену, а если и она скроется, то движимое и недвижимое имѣніе ихъ брать на государя. Нѣкоторые воеводы дѣлали депутатамъ „смотри“ и забраковывали глухихъ, хромыхъ, старыхъ и дряхлыхъ, считая ихъ „въ предположенному дѣлу неспособными“. Выборныхъ кое-какъ стащили, наконецъ, въ Москву въ началѣ 1729 г., но уже въ маѣ ихъ распустили по домамъ, увидя ихъ негодность. Потомъ велѣно было выбрать другихъ депутатовъ, „знатныхъ и добрыхъ“, по 2 человека отъ губерніи, и самый выборъ ихъ былъ предоставленъ губернаторамъ, которые почему-то никого не прислали. При Аннѣ снова распорядились „начатое уложеніе немедленно окончить и опредѣлить къ тому добрыхъ и знающихъ людей, выбравъ изъ шляхетства, духовныхъ и вѣщества“. Выбранные съѣхались въ Москву осенью 1730 г., но въ концѣ того-же года ихъ распустили, снова поручивъ окончаніе уложенія чиновничьей комисіи, которая и тянула канитель цѣлыя 36 лѣтъ, ничего не сдѣлавъ, пока Екатерина не рѣшилась снова созвать выборную комисію на болѣе разумныхъ основаніяхъ, чѣмъ прежде („Сб. ист. общ.“, т. II). Екатерина вполне основательно рассудила, что при тогдашнемъ невѣжествѣ русскаго общества необходимо подготовить депутатовъ, по возможности воспитать ихъ политически на скорую руку, и для этого принялась за свой Наказъ. Работа закипѣла и сама Екатерина такъ увлеклась ею, что писала г жѣ Жоффренъ въ іюнѣ 1765 г.: „Въ этомъ трудѣ я высказалась вполне и не

скажу болѣе ни слова въ продолженіи всей жизни. Общее мнѣніе тѣхъ, которые прочли Наказъ, что онъ — *non plus ultra* совершенства, но мнѣ кажется, что можно еще кое-что исправить. Я не хотѣла помощниковъ въ этомъ дѣлѣ, опасаясь, что каждый сталъ бы дѣйствовать въ различномъ направленіи, а здѣсь надо провести одну только нить и крѣпко за нее держаться*. Въ то же время Екатерина сообщала своимъ европейскимъ друзьямъ, что Наказъ въ сущности не ея сочиненіе, а только компиляція *); въ письмѣ къ Дидро, напр., она говоритъ, что „на пользу имперіи обобрада президента Монтескье, не называя его. Надѣюсь, что еслибы онъ съ того свѣта увидалъ меня работающей, то простилъ бы эту литературную кражу во благо 20,000,000 людей, которое изъ того послѣдуетъ. Онъ слишкомъ любилъ чело- вѣчество, чтобы этимъ обидѣться“. Несмотря на чисто-компилятивный характеръ работы, съ нею пришлось возиться долго, и передъ окончаніемъ Наказа Екатерина писала Даламберу: „Болѣе половины мною зачеркнуто, разорвано и сожжено; однако, придется рѣшиться къ назначенному мною сроку“ („Сб. ист. общ.“, X, 31, 94, 167). Наконецъ, въ февралѣ 1767 г. Наказъ былъ готовъ, Екатерина отвезла его въ Москву, пригласила къ себѣ разныхъ сановниковъ и велѣла читать составленное ею. „Тутъ при каждой статьѣ, говоритъ она, — родились пренія. Я дала имъ волю чернить и вымарывать все, что хотѣли. Они болѣе половины изъ того, что было написано мною, помарали, и остался Наказъ, яко оный напечатанъ“ („Рус. Арх.“, 1865, 479). Кромѣ словесныхъ преній, происходившихъ въ присутствіи царя, многіе послали ей свои письменныя замѣчанія. Многимъ казалось, что принципы Наказа разрушаютъ основы общества, или, какъ выразился гр. Панинъ, „могутъ разрушить стѣны“. Духовныя особы, мнѣнія которыхъ спрашивала Екатерина, отнеслись къ Наказу далеко не такъ сочувственно, какъ объ этомъ говорятъ гг. Сухомлиновъ („Ист. рос. акад.“, I, 61) и В. Семевскій („Крестыанскій вопросъ“, III, 379). Правда, въ своемъ письмѣ на имя гр. Панина епископы Инокентій и Гавріилъ и іеромонахъ Платонъ восхваляли „сіе божественное законодательство“, даже сказали, что его внушилъ самъ „божій духъ“, но въ при-

*) Изъ 526 параграфовъ Наказа болѣе 250 взято изъ Монтескье и около 100 изъ Бекарія.

ложенныхъ въ этому письму замѣчаніяхъ на Наказъ они, хотя въ очень мягкой формѣ, указали въ Наказѣ не мало мѣстъ, по ихъ мнѣнію, ошибочныхъ и вредныхъ, какъ, напр., мысль, что „всѣ политическіе пороки не суть пороки моральные“, или статья, которою „уменьшается великость святотатства“. Они требовали усиленія наказаній святотатцевъ и богохульниковъ, полагали, вопреки Наказу, что суровыя казни необходимы для „рода человѣческаго изверговъ“; оспаривали мнѣніе Екатерины объ оскорбленіи величества; желали, чтобы была ограничена „сочиненій вольность“, настаивали на необходимости уголовного преслѣдованія еретичества („Жизнь митрополита Платона“, И. Снегирева, I, 116—121). Изъ письменныхъ мнѣній свѣтскихъ людей особенно характерна записка Сумарокова, выдержки изъ которой мы сообщимъ здѣсь вмѣстѣ съ набросанными на поляхъ ея замѣтками Екатерины, которыя у насъ набраны *курсивомъ*.

„Вмѣсто нашихъ училищей, а особливо вмѣсто кадетскаго корпуса, потребны великіе и всею Европою почитаемые авторы, а особливо несравненный Монтескю, но и въ немъ многое критикѣ подлежать, о чемъ противъ его и писано. — *Многіе критиковали Монтескю, не разумѣя его: я вижу, что я сей жребій съ нимъ раздѣляю.*

„VII. Умѣренности правосудіе не терпитъ, а требуетъ надлежащей мѣры, а не строгости и не кротости. — *Изображеніе (воображеніе) въ поэтъ работаетъ, а связи въ мысляхъ понять ему тяжело.*

„X. Для краткости времени безъ возраженія мною оставлена. — *Потери нѣту.*

„XI. Господинъ долженъ быть судья, это — правда; но иное быть господиномъ, а иное тираномъ; а добрые господа всѣ судьи слугамъ своимъ и отдать это лучше на совѣсть господамъ, нежели на совѣсть слугамъ. — *Богъ знаетъ: развѣ по чинамъ качества читать.* — Сдѣлать русскихъ крѣпостныхъ людей вольными нельзя: скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея имѣть не будутъ, и будутъ ласкать слугъ своихъ, пропуская имъ многія бездѣльства, дабы не остались безъ слугъ и безъ повинующихся имъ крестьянъ; и будетъ ужасное несогласіе между помѣщиками и крестьянами, ради усмиренія которыхъ потребны многіе полки, и непрестанная будетъ въ государствѣ междоусобная брань, и вмѣ-

сто того, что нынѣ помѣщики живутъ покойно въ вотчинахъ (и *бываютъ зарпзаны отчасти отъ своихъ*), вотчины ихъ превратятся въ опаснѣйшія имъ жилища, ибо они будутъ завистѣть отъ крестьянъ, а не крестьяне отъ нихъ. (*Не отъ роду*).—Въ другихъ государствахъ и въ Украинѣ другое сему основаніе, а у насъ этого быть безъ отъятія помѣщичьяго покоя не можетъ. Мы въ деревняхъ во вѣки не жить; но всѣ дворяне, а, можетъ быть, и крестьяне сами такою вольностію довольны не будутъ, ибо съ обѣихъ сторонъ умалится усердіе. А это прижѣчено, что помѣщики крестьянъ, а крестьяне помѣщиковъ очень любятъ, а нашъ низкій народъ никакихъ благородныхъ чувствій еще не имѣетъ.— *И имѣть не можетъ въ нынѣшнемъ состояніи* („Сб. ист. общ.“, X, 85—86).

Хотя Екатерина, какъ мы видѣли, и думала, что многое въ подобныхъ мнѣніяхъ „совершенно для скотины и скотиною дѣлано“, но она не рѣшалась ни высказывать этого открыто, ни отстаивать собственныхъ убѣжденій, а терпѣливо покорялась требованіямъ ея-же приглашенныхъ цензоровъ. Такимъ образомъ, въ Наказѣ было многое передѣлано и смягчено, особенно параграфы, относящіеся къ крѣпостному праву. Въ печатной редакціи говорится только о необходимости ограничить злоупотребленія рабства, умѣрить поборы, дать мужику какую-нибудь собственность и свободу въ выборѣ себѣ женъ; при этомъ Наказъ замѣчалъ, что „не должно вдругъ и чрезъ узаконенія общія дѣлать великаго числа освобожденныхъ“. Въ первоначальной же редакціи кромѣ того предлагалось обязать помѣщиковъ обезпечивать больныхъ и старыхъ крестьянъ, даже отпущенныхъ ими на волю, ограничить помѣщичье право наказанія, ввести, по примѣру Финляндіи, судъ изъ присяжныхъ крестьянъ, „который можетъ воспрепятствовать сильно мучительству господъ, дворянъ, хозяевъ“, освобождать за изнасилованіе помѣщикомъ дѣвицы или женщины всю семью ея; ограничить извѣстнымъ числомъ лѣтъ срокъ рабства („Сб. ист. общ.“, X, 152—156). Какія передѣлки и смягченія были сдѣланы въ другихъ отдѣлахъ Наказа—неизвѣстно, но можно съ полною достовѣрностію сказать, что они касались главнымъ образомъ основныхъ идей Наказа — полной терпимости въ дѣлахъ вѣры, правды и милости въ судахъ, ограниченія произвола закономъ. Екатерина надѣялась, что подъ вліяніемъ этихъ

идей Наказа „законы будутъ преисполнены терпимости, никого они не будутъ преслѣдовать, убивать и жечь“ (id., 346). По поводу „очень язвительныхъ сочиненій“ Наказъ замѣчалъ, что „весьма беречься надобно изысканія о семь далече распростра- нять, представляя себѣ ту опасность, что умы почувствуютъ при- тѣсненіе и угнетеніе, а сіе ничего иного не произведетъ, какъ невѣжество, опровергнетъ дарованія разума человѣческаго и охоту писать отниметъ“. Въстѣ съ тѣмъ Наказъ требовалъ, чтобы арестъ не могъ быть налагаемъ иначе, какъ по точномъ удосто- вѣреніи, „что *гражданинъ* во преступленіе впалъ“. Пытку и всякія уголовныя жестокости Наказъ энергически отвергалъ даже въ своей смягченной редакціи.

Наказъ былъ напечатанъ въ іюль 1767 г. и произвелъ на общество благопріятное впечатлѣніе, иностранцы же были отъ него въ восторгѣ, а во Франціи правительство запретило его, какъ вредную книгу. Еслибы Наказу было дано широкое распро- страненіе и дозволено печатное обсужденіе его, то почва для ре- формъ скоро была-бы приготовлена, но нерѣшительность, боязлив- ность и уступчивость Екатерины доходили до того, что Наказъ даже въ Россіи считался книгою *вредною, опасною* и былъ за- прещенъ какъ для публики, такъ и для массы служащихъ чи- новниковъ! Онъ не былъ посланъ даже въ присутственныя про- винціалныя мѣста, а только въ департаменты сената, коллегіи, въ судный приказъ и въ канцелярію конфискаціи, да и эти въ выс- шимъ государственнымъ учрежденіямъ предписывалось, „чтобъ экзем- пляры Наказа содержаны были единственно для свѣденія однихъ тѣхъ мѣстъ присутствующихъ и *чтобъ оныя никому ни изъ нижнихъ канцелярскихъ служителей, ни изъ постороннихъ не только для списыванья, но ниже для прочтенія даваны были*, для чего и имѣть ихъ всегда на судейскихъ столахъ при зеркалахъ“ (Соловьевъ, XXVII, 145). Скрывали то, что прежде всего требовало гласности, что должно было обсуждаться въ со- браніи депутатовъ, съѣхавшихся со всѣхъ концовъ государства! Не ясное-ли дѣло, что твердой рѣшимости произвести реформы вовсе не было, и не правы-ли были тѣ современники, которые, подобно Винскому, считали все это дѣло комедіей (Русск. Арх., 1877, 101)? Впрочемъ, комисія уложенія была не столько ко- медіей, сколько мелодрамой, и Екатерина болѣе всего старалась,

чтобы эта мелодрама произвела надлежащее впечатлѣніе на Европу, чтобы эпоху, слѣдовавшую за вѣкомъ Людовика XIV, называли вѣкомъ Екатерины. Она часто писала своимъ европейскимъ друзьямъ объ этой комисіи, которая должна составить наилучшіе законы („Сб. ист. общ.“, X, 176, 410). „Я смѣю предсказывать, писала она въ 1765 г. Вольтеру, — успѣхъ этой важной работѣ, основываясь на горячемъ участіи, которымъ каждый проникнуть къ ней. Мнѣ думается, что вамъ понравилось бы быть за столомъ, за которымъ православный, сидя съ еретикомъ и мусульманиномъ, мирно слушаютъ мнѣніе идолопоклонника и уговариваются часто всѣ четверо для того, чтобы сдѣлать свой приговоръ сноснымъ для всѣхъ. Они такъ хорошо забыли обычай сжигать взаимно другъ друга, что еслибы нашелся какой-нибудь недогадливый и предложилъ депутату сжечь своего сосѣда въ угоду высшему существу, то я ручаюсь, что не найдется ни одного, который бы не отвѣчалъ: „онъ человекъ, какъ я, а на основаніи перваго параграфа инструкціи ея императорскаго величества мы должны дѣлать другъ другу сколько возможно болѣе добра и нисколько зла“. Увѣряю васъ, что я никакъ не преувеличиваю и что въ дѣйствительности дѣла идутъ такъ, какъ я вамъ это рассказываю. Еслибы понадобилось, у меня было-бы 640 подписей, съ епископской вверху, подтверждающихъ эту истину. На Западѣ, можетъ быть, скажутъ: какія времена, какіе нравы! Но съверъ сдѣлаетъ, какъ луна, которая продолжаетъ свой путь“ (ib., 35—36). Екатерина хотѣлось и другимъ показать, и даже увѣрить самую себя, что Россія подъ ея правленіемъ благоденствуетъ. Когда передъ самымъ открытіемъ комисіи она объѣзжала центральныя губерніи и Поволжье, то изумлялась богатству народа: „все въ изобиліи, все есть и все дешево“ (ib., 208). Ее радовалъ также тотъ фактъ, что изъ поданныхъ ей во время этой поѣздки 600 просьбъ не было ни одной на чиновниковъ (ib., 216). Не мудро, что при такой склонности къ самообольщенію она могла, не смѣясь внутренно, писать Вольтеру: „Наши налоги такъ необременительны, что въ *Россіи нѣтъ мужика, который бы не имѣлъ курицы, когда онъ ее захочетъ, а съ нѣкотораго времени они предпочитаютъ индѣекъ курамъ*. Вывозъ хлѣба, дозволенный съ нѣкоторыми ограниченіями для предупрежденія злоупотребленій, безъ стѣсненія

торговли, возвысилъ цѣны на этого рода произведенія и столько доставляетъ удобства земледѣльцу, что и хлѣбопашество умножается годъ отъ году. Народонаселеніе также во многихъ областяхъ въ послѣднія семь лѣтъ удесятирилось. Правда, что у насъ война, но Россія уже давно занимается этимъ ремесломъ и послѣ каждой войны она выходитъ болѣе цвѣтущею, чѣмъ была при началіи ея“ (ib., 345).

Въ комисію выбирались депутаты со всей имперіи, по одному отъ сената, синода, каждой коллегіи, отъ дворянства каждаго уѣзда, отъ каждаго города, отъ однодворцевъ каждой провинціи, пахотныхъ солдатъ, казенныхъ крестьянъ, инородцевъ и казачьихъ войскъ. Всѣхъ депутатовъ было при открытіи комисіи 428. Духовенство и крѣпостные крестьяне всѣхъ разрядовъ, дворцовые, помѣщичьи, заводскіе, т. е. почти половина жителей имперіи, вовсе лишены были права посылать въ комисію депутатовъ, между тѣмъ какъ никто, вѣроятно, не ждалъ съ такимъ нетерпѣніемъ результатовъ комисіи, какъ крѣпостные, которыхъ по словамъ офиціальнаго акта страшно волновали „*слухи о перемѣнѣ законовъ*“ (Соловьевъ XXVII, 145). Остальныя же сословія встрѣтили указъ о созваніи комисіи не особенно радостно. Въ отдаленномъ Енисейскѣ обыватели даже перепугались такого необычайнаго дѣла и никто изъ нихъ не хотѣлъ ѣхать въ Москву депутатомъ, — всѣ боялись, и депутатомъ выбрали нелюбимаго почему-то обществомъ жившаго въ Енисейскѣ дворянина Степана Самойлова, выбрали единственно за тѣмъ, чтобы насолить ему! Самойловъ согласился и требуетъ наказа, обыватели не даютъ наказа и никому не поручаютъ писать его. Самойловъ самъ составилъ себѣ наказъ, — обыватели не подписываютъ, а Самойловъ не рѣшается ѣхать съ неподписаннымъ. Наконецъ, наказъ подписали, но не даютъ Самойлову денегъ на дорогу; кое-какъ онъ уломалъ ихъ асигновать ему 100 р., но, какъ ни бился, чтобы назначили больше, — не прибавили ни копейки *).

*) Эти факты взяты мною изъ бумагъ Самойлова, съ престарѣлымъ сыномъ котораго, вологодскимъ помѣщикомъ, меня познакомилъ въ 1864 г. бывшій енисейскій губернаторъ, генералъ-маіоръ Замятинъ, предложившій мнѣ написать историческую статью для памятной книжки енисейской губерніи. Самойловъ для этой статьи далъ мнѣ упомянутые документы, которые потомъ, по окончаніи статьи, я возвратилъ ему. Статья моя вручена была генералу Замятину, но обстоятельства помѣшали ей появиться въ печати.

Въ Малороссіи указъ о собраніи депутатовъ тоже возбудилъ и недовольство, и сумятицу. „Новый проектъ уложенія, писалъ государынѣ Румянцевъ, — не производитъ здѣсь во многихъ большихъ такого дѣйства и признанія вашего и. в. благоволенія, не перемѣняетъ наклонности ихъ, ни разсужденія. Многіе истинно вошли во вкусъ своевольства до того, что имъ всякій законъ и указъ государскій кажется быть нарушеніемъ ихъ правъ и вольностей, отзвы же у всѣхъ одни: зачѣмъ намъ тамъ и быть? Наши законы весьма хороши, а буде депутатомъ быть, конечно, надобно, только развѣ-бъ искать правъ и привилегій подтвержденія... Вельможи, старшины и шляхетство, вездѣ разнo толковали о манифестѣ. Иные говорили, что все сіе до нихъ не слѣдуетъ; другіе, ослѣпленные любовію къ своей землицѣ, думали, что ихъ, какъ ученыхъ и правовыхъ людей, созываютъ токмо для совѣта и сочиненія новаго уложенія для великороссіянъ; не хотѣли сіи, превращенные изъ ничего собою и большею частію черезъ деньги, отнятіе чужихъ земель, а иногда по женамъ въ дворяне, и слышать, чтобы сидѣть съ мѣщанами, считая сіе предосудительнымъ чести своей, именуяи всегда гражданъ мужиками... Не обошлось безъ того ни одно собраніе, чтобъ кто либо въ началѣ онаго не всталъ, укоряя другого не быть шляхтичемъ, а таковой, раздраженный, имѣлъ готовую генеалогію всѣмъ самознатѣйшимъ вельможамъ, обыкновенно начиная родъ ихъ вести или отъ мѣщанина, или отъ жида; уличаемо было, что и по нѣскольку разъ свои имена нѣкоторые по надобностямъ и обстоятельствамъ мѣняли; нерѣдко смертное убійство и другіе безчестные пороки тутъ примѣшались. Я имъ, подтверждая молчаніе и тишину по сидѣ обрядовъ, всегда на то отвѣчалъ, что до ихъ фамилій, породъ и родовъ надлежитъ, то я какъ матрикулій, такъ и о поведеніяхъ ихъ никакого свѣденія не имѣю. Но какъ скоро доходило до выбора депутатовъ и сочиненія особливо наказа, тутъ открывалось повсюду прямое и имъ свойственное вездѣ исканіе и желаніе; вездѣ согласно закричали и зачали тѣмъ, чтобы права, вольности и обыкновенія имъ утверждены были, поборы бы всѣ оставлены, войска выведены, шляхетство отъ взятія пошлинъ уволено; нѣкоторые же, бывшіе особливо въ администраціи гетманскихъ экономій, отзывались, чтобы настоять и неотступно просить гетмана по-прежнему“ (Соловьевъ, XXVII, 47—8). Такъ было въ

Черниговѣ и Стародубѣ. Въ Полтавѣ Кочубей едва могъ склонить чиновниковъ къ засѣданію съ городскими жителями. Въ Прилукахъ горожане вовсе не хотѣли идти въ собраніе, считая, что „все, что у нихъ есть, то лучше всего“. Въ Лубнахъ старшина и чиновники не допустили мѣщанъ до составленія наказа, за то, что мѣщане хотѣли помѣстить въ наказъ жалобы на нихъ. Въ Погарѣ городскимъ головою былъ выбранъ Денисъ Приваловъ, который и велѣлъ собраться всѣмъ жителямъ города для избранія депутата; но многіе „изъ воинскаго званія и разночинцы“ на выборы не пошли, и когда Приваловъ началъ вести дѣло съ одними мѣщанами и пришелъ въ магистратъ съ пятью членами, избранными для написанія наказа, то войтъ Панасъ со шляхетствомъ выгналъ ихъ изъ магистрата. Когда въ другой разъ Приваловъ съ мѣщанами хотѣлъ идти въ магистратъ для прочтенія наказа, то Панасъ заперъ магистратъ и ихъ туда не пустилъ. Приваловъ, однако, настоялъ на исполненіи указа и собралъ жителей Погара въ магистратъ для слушанія наказа. Два дня читали наказъ спокойно, но на третій Панасъ сталъ толковать, что не надобно слушать „новизны“ и склоняться къ ней, не надобно смотрѣть ни на какіе „сторонніе страхи“, что „новизнѣ передъ стариною во многомъ стыдно и показаться, новизна того, что въ старину сдѣлано, поправить не можетъ“, и напустилъ бывшего прежде войтомъ въ Погарѣ Песоцкаго, его сына, земскаго писаря войсковаго товарища Соболевскаго, священникова сына Сороку, сыновей бывшего мѣщанина Джури и прочихъ чиновниковъ, бывшихъ прежде мѣщанами, казаковъ-урядниковъ и нѣкоторыхъ мѣщанъ вооружиться противъ наказа, сочиненнаго для врученія депутату. Они стали шумѣть, порицая тѣхъ пять человекъ, которые были выбраны для сочиненія наказа, желая сами быть выбранными, но это имъ не удалось; когда же Приваловъ повѣстилъ всѣмъ гражданамъ собраться для слушанія и подписи наказа, то противники объявили, что они уже послали къ генераль-губернатору просьбу, чтобъ выбрать другого голову, а Привалова оставить, и до полученія резолюціи слушаться Привалова не будутъ. Въ просьбѣ своей они писали, что Приваловъ былъ выбранъ по большей части мѣщанами, самыми простыми и неграмотными, голова онъ былъ „недостаточный“, самъ собою, безъ вѣдома горожанъ, принялся за сочиненіе наказа, въ маги-

стратѣ шумѣль, бранился и многихъ исключалъ изъ общества; въ сочиненію наказа выбралъ людей, которые и простого письма написать не умѣютъ. Но они не дождались благопріятной для себя резолюціи. Румянцевъ послалъ въ Погарь члена малороссійской коллегіи кн. Мещерскаго изслѣдовать дѣло, и Панасъ былъ преданъ суду (Соловьевъ, XXVII, 47—57). Въ столицахъ и большихъ городахъ такихъ безобразій не было, выборы происходили чинно, въ депутаты выбирали большею частью сановниковъ, служили молебны съ водосвятиемъ, угощались торжественными обѣдами съ пушечною пальбою (Сб. И. О., IV, 7—29). Одновременно съ этими торжествами шли хлопоты о составленіи депутатскихъ наказовъ, для чего выбирались люди наиболѣе толковые и грамотные. Но такихъ было очень мало даже среди дворянства. На это безграмотство дворянъ жаловались нѣкоторые даже въ самыхъ наказахъ (ib., т. XIV, стр. 433). Подъ наказомъ боровскаго дворянства изъ 27 подписавшихся дворянъ за пятерыхъ по ихъ безграмотству подписались другіе (ib., IV, 241). Подъ наказомъ михайловскаго уѣзда обозначено дворянъ 49 грамотныхъ и 81 безграмотный (стр. 279). Подъ судиславльскимъ наказомъ изъ 62 дворянъ 13 безграмотныхъ (стр. 281). Подъ наказомъ калужскаго и медынскаго уѣздовъ изъ 27 дворянъ 10 безграмотныхъ (стр. 295); подъ зарайскимъ наказомъ 41 грамотный и 7 безграмотныхъ; подъ рязанскимъ 88 грамотныхъ и 42 безграмотныхъ; подъ ростовскимъ наказомъ 55 грамотныхъ и 13 безграмотныхъ (стр. 328, 348, 350, 358). Подъ алексинскимъ наказомъ дворянъ грамотныхъ 19, безграмотныхъ 5 (т. VIII, стр. 543); подъ ржевскимъ 56 грамотныхъ и 7 безграмотныхъ; подъ бѣлозерскимъ 51 грам. и 8 безграм.; подъ устюжскимъ 28 гр. и 10 безгр.; подъ бѣжецкимъ 150 гр. и 29 безгр.; подъ вологодскимъ 74 гр. и 33 безгр.; подъ чухломскимъ 51 гр. и 22 безгр.; подъ кологривскимъ 4 гр. и 6 безгр. и т. д. (т. XIV, стр. 290, 297, 324, 362, 467, 483, 491). Понятное дѣло, что при такомъ невѣществѣ составлять наказы было трудно, и многіе уѣзды посылали въ другіе, болѣе грамотные уѣзды и списывали для себя частями или даже цѣликомъ составленные тамъ наказы. Такъ костромской наказъ списанъ съ любимскаго, малоярославецкій съ зарайскаго, зарайскій же съ рязанскаго, или наоборотъ, шуйскій съ юрьевскаго, кашин-

скій съ московскаго, лихвинскій съ воротынскаго или перемышльскаго, луховскій съ одоевскаго и тульскаго, алексинскій съ калужскаго и медынскаго, деревскій съ водскаго и т. д. (т. IV, 245, 321, 390, 459; VIII, 439, 479, 536; XIV, 259). Нѣкоторые наказы, какъ видно по слогу, составлялись или, по крайней мѣрѣ, редактировались священниками или подъячими, какъ, напр., перемышльскій: „Въ заключеніе сего возведемъ паки очи наши ко Всевышнему, со умиленіемъ всѣ обще моля его, да сохранить ея и. в. здравіе до наипозднѣйшихъ ея лѣтъ и да благословить посѣянныя ею нивы и поля преславныхъ предпріятій, одождая на нихъ свою благодатию“ и т. д. (VIII, 458). Нѣкоторые уѣзды, будучи въ невозможности ни составить наказа, ни списать его, заявляли въ немъ только, что они всѣмъ довольны, ничего имъ не нужно или, какъ выразились муромскіе дворяне: „мы, будучи въ общемъ собраніи, по довольномъ общемъ нашемъ разсужденіи, *никакихъ отягощеній и нуждъ не признаваемъ*“ (IV, 318; VIII, 511). Михайловскіе дворяне, прося нѣкоторыхъ привилегій, писали, что „за сямъ, *по нашему слабому разсудку, не находимъ ничего болѣе желать*“ (IV, 272). Юрьево-польское дворянство, заявивъ, что оно „не точію всѣмъ довольно, но и не по достоинству своему пожаловано“, продолжало: „что же касается до представленій объ общихъ нуждахъ и недостаткахъ, то за недовольнымъ числомъ насъ, бывшихъ нынѣ въ собраніи, *а особенно по скудоумію нашему, представить не можемъ*“ (id. 218). Ярославское дворянство тоже ссылалось на свое „скудоуміе“ (стр. 305). Ни купцы, ни казаки, ни однодворцы, ни крестьяне, ни пахотные солдаты, ни даже дикіе инородцы Сибири не клеймили себя такъ позорно, какъ „благородный шляхетный корпусъ“.

С. Шашковъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

ПАУТИНА.

(Сценн.)

Быль жаркій іюльскій день, когда я въ первый разъ подъѣзжалъ къ селу Т...ь. Усталые кони съ трудомъ взбирались на гребни холмовъ, на которые взбѣгала порою узенькая проселочная дорога. Въ воздухъ было тихо и душно, и даже комары, стаями кружившіеся, преслѣдуя насъ во весь путь, попрыгали отъ зноя. Ящигъ дремалъ, лѣниво понукая лошадей и помахивая на нихъ кнутомъ. Когда же показалось село, внезапно выглянувшее изъ-за холма, онъ оживился и, обернувшись ко мнѣ, спросилъ: „къ Кузьмѣ Терентьичу завезти тебя, што-ли?“

— Вези къ кому хочешь! отвѣтилъ я.

— Поѣдемъ къ нему: домовитый мужикъ-то, первый въ селѣ. У него всякое начальство останавливается, по-купецки живетъ! пояснилъ онъ.

— Богатый, значить? спросилъ я.

— И-и, страсть вымолвить! протянулъ онъ, сѣдя на облучкѣ, въ полъ-оборота ко мнѣ.— Коней однихъ што-о, упаси Господи! Всякій заводъ есть, касательно чего ни возьми. Однихъ самоваровъ, скажу тебѣ, никакъ съ дюжину будетъ, во-отъ какой чинный мужикъ!

— Торгуешь развѣ чѣмъ? спросилъ я, заинтересованный его поясненіями о домовитости Кузьмы Терентьевича.

— Торгующій! У нихъ вѣдь тамъ чуть не половина села все торгующіе! дополнилъ онъ, нѣсколько помолчавъ.— Торговый народъ, ловкій, маху, братецъ, не дадутъ, нѣ-ѣ-ѣтъ, и крещенаго человѣка, и нехристя на одномъ сучкѣ окрутятъ.

— Чѣмъ же они торгуютъ?

— Первое дѣло, братецъ ты мой, виношъ, второе тебѣ дѣло — харчами. У нихъ почестъ што ни домъ, то и постоянный дворъ и кабакъ. Лавошъ, братъ, этихъ множество, ситцами теперича торгуютъ, обувью и всякимъ товаромъ, — ну касательно и бабъ, скажу, стра-а-астъ сколько денегъ зашибаютъ!

— Бабъ-то чѣмъ же? полюбопытствовалъ я.

— Чѣмъ? Хе! съ ироніей переспросилъ онъ и, приподнявъ картузь, почесалъ затылокъ, до того изъѣденный комарами, что онъ представлялъ изъ себя сплошной нарывъ: — самороднымъ таланомъ, произнесъ, наконецъ, онъ, растворивъ ротъ въ широкую улыбку.

Дорога выбѣжала въ это время на дугъ и взвивалась вдали на высокій, расположенный терасами, холмъ, снова скрывшій отъ нашихъ глазъ село. По правую сторону дороги лежала глубокая лощина, такъ что вершины росшихъ въ ней деревьевъ не достигали крутого обрыва холма, обнесеннаго толстыми сплошными перилами. Настеганныя ямщикомъ лошади пустились рысью, но, поднявшись только на первую терасу, остановились въ изнеможеніи.

— Дай, братецъ, лошадкашъ-то передохнуть, сдѣлай милость! обратился ко мнѣ ямщикъ, приподнимая шапку и слѣзая съ облучка.

Я вышелъ изъ телѣги и, подойдя къ обрыву, сѣлъ на высушвшійся изъ земли камень, густо обросшій мхомъ. Ямщикъ тоже подошелъ ко мнѣ и, доставъ изъ-за пазухи трубку, набилъ ее табакомъ изъ кيسета, сшитаго изъ ситцевыхъ лоскутковъ, и, вырубивъ огня, опустился на землю.

— Какія благодатныя мѣста у васъ, сказалъ я, любуясь на снѣговныя горы Алтая съ блѣдно-розовыми вершинами, клубившимися на горизонтѣ, какъ облака.

Вдали, за зеленѣющею грядою холмовъ, сплошною стѣною тянулись лѣса, окутанные легкой синеватою дымкой, „чернь“, какъ называетъ ихъ народъ. Внизу, у подошвы самаго холма, на которомъ сидѣли мы, лежала долина, покрытая роскошною растительностью, какою отличаются предгорія Алтая.

— Мѣста у насъ — умирать, братъ, не надо! отозвался ямщикъ на мое замѣчаніе. — По этимъ мѣстамъ только жить-бы да жить

нашему брату, а все, другъ мой сердешный, мается народъ-то: и хлѣба теперича урожай, не пожалуемся, и пчелка водится, медку-то тебѣ за лѣто съ избыткомъ припасеть она, а маемся, диви вотъ! заключилъ онъ.

— Отчего же вы маетесь?

— Отчего! повторилъ онъ.— И хорошія, братъ, мѣста у насъ, да глухія, суди самъ: теперича въ урожайный-то годъ хлѣбъ-то хошь даромъ отдавай, такъ никто не беретъ у тебя, вотъ оно дѣло-то! А подать-то не ждетъ, по ховаяйству тоже безъ гроша клина не вобьешь, а гдѣ ихъ, грошей-то, братъ прикажешь? И отдаешь все за даромъ, да еще накланяешься, только возьми Христа-ради! Ну, у кого лошадей много да во времени избытокъ, нагрузить воза да въ Т...ъ городъ везеть, ему и выгода, и богатѣеть, а нашему-то брату не сподручно это, потому и лошадушекъ намаешь, и время-то тебѣ терять не доводится. Въѣдъ на ѣзду-то въ городъ, братецъ ты мой, по путному волоку мѣсаца полтора; влады харчи тоже надоть тебѣ и конямъ, оно и выйдетъ, што коли ты и продашь хорошо, такъ на себя да на коней протравить сколько, а домой-то все съ пустымъ карманомъ вернешься. Да и въ городу-то, коли много нашего брата наѣдетъ, такъ тоже наплачешься, цѣну-то тебѣ такъ сшибутъ, што хошь домой вези или за даромъ тому же прасолу отдавай. Сподручно-ль оно, суди самъ! Вотъ ты и у хлѣба сидишь, а горя все не минуешь. Вонъ т...цамъ лафа, и не сѣютъ, да жнутъ. Не они, братъ, за деньгами гоняются, а деньги за ними. Они, вонъ, круглый годъ на печи лежать, палець о палець не ударять, а другіе на нихъ робять да тыщами имъ несутъ! Струна, братъ, имъ! закончилъ онъ, сдернувъ съ головы картузь и сердито почесывая изъѣденный затылокъ.

— Кто же это работаетъ на нихъ да тысячами къ нимъ носить, а?

— Кто? Таежники, пріисковныя рабочіе, вотъ кто! отвѣтилъ онъ, искоса взглянувъ на меня.— Вишь село-то ихъ стоитъ первымъ на пути по выходѣ рабочихъ изъ тайги-то! Лѣто-то таежники робять, свѣту не видятъ, никакой, значить, льготы имъ ховяева-то не даютъ,—ну, денегъ-то зарабатываютъ ничего себѣ; иной, коли въ акуратѣ содержитъ себя, ну-помногу выносить ихъ съ пріисковъ-то! Ну, какъ придуть въ Т...-то, а тутъ и не зѣ-

вадутъ, встрѣчаютъ ихъ, братецъ ты мой, со всякимъ удовольствіемъ, а тѣ, извѣстно, и распояшутся, да все, чего не заработать за дѣто, своими руками и покладутъ въ карманы т...скихъ мужиковъ. Слыхалъ? Ну, какъ не житье, а?

— Этимъ только и живутъ т...цы?

— Самниъ этимъ промысломъ. И ловкачи же, братъ, они,— а-а-ахъ ты Боже мой! Ну, какъ не скажешь, что всякому своя фортуна, а? тоскливо воскликнуть онъ.

— Завидно поди вамъ, глядя на такой промыселъ, а?

— Какъ, братецъ, въ ину пору не позавидуешь! уныло отвѣтилъ онъ послѣ непродолжительнаго раздумья.— Ты робишь, робишь всю жизнь, не покладая рукъ, а все у тебя прорѣхи одни, нигдѣ дѣльнаго мѣста не найдешь, а тутъ вонъ подъ бокомъ у тебя твой же братъ, мужикъ, да вѣдь какъ къ энтому дѣлу приладился. И живетъ-то въласть, ни горя-то у него, ни заботы, и всего-то у него вдоволь, и знашь ты, что онъ такой-же мужикъ, какъ ты, а робѣешь предъ нимъ, издали-то завидишь его, такъ сама рука къ шапкѣ тянется.

— Чего же робѣть-то?..

— Какъ ты не обробѣешь предъ нимъ, прервалъ онъ меня.— Вѣдь онъ купецъ, вѣдь у него карманъ-то отъ денегъ трещить да врозь лѣзетъ. Какая напасть тебя пристигнетъ, куда ты безъ него-то дѣнешься? Захочетъ онъ, изъ петли тебя вынетъ, а разсерди его—самъ на тебя петлю накинеть. Ну, и ублажаешь его на всякій манеръ!—Такъ къ Кузьмѣ Терентьичу тебя завезти-то, штоли? снова спросилъ онъ, выколотивъ докуренную трубку и завертывая ее въ кисеть.

— Вези къ нему!..

— Богатый мужикъ! повторилъ онъ, взлѣзая на облучекъ,— и голова же, братъ, о-о!..

— Умный?

— Ума этого у него въ три беремя не облапишь. Да вотъ поглядишь самъ, каковъ онъ есть, Кузьма-то Терентьичъ! произнесъ онъ, трогая лошадей.

Отдохнувшіе кони пошли бодрѣе въ гору, и черезъ нѣсколько минутъ мы были на вершинѣ холма, у подножія котораго лежало село. Общій видъ села, особенно съ вершины холма, напоминалъ свою форму подкову, упирившуюся обоими концами въ об-

рывистый берегъ рѣки Т—ь, по имени которой называлось и самое село. По срединѣ села стояла высокая каменная церковь, и куполь ея, обшитый бѣлой жостью, ярко горѣлъ теперь отъ солнечныхъ лучей. Спустившись съ холма, мы въѣхали въ широкую, прямую улицу, обнесенную по обѣимъ сторонамъ низенькими, иногда покосившимися и вросшими въ землю избушками, среди которыхъ то по одну, то по другую сторону улицы неожиданно вросталъ передъ глазами высокій одноэтажный или въ два этажа домъ, съ балконами, покосившимися на затѣйливо выточенныхъ колонахъ, съ рѣзными, ярко раскрашенными ставнями и плотными деревянными заборами. Странный контрастъ представляли подобные дома, высившіеся среди убогихъ, изнуренныхъ лѣтами и непогодами своихъ сосѣдей. Они походили какъ-будто на новья, яркія залпаты, нашитыя на ветхомъ рубищѣ нищаго, и своею вычурной красотой только сильнѣе оттѣняли убогій и невзрачный видъ лѣпившихся около нихъ лачугъ.

Личикъ остановилъ лошадей передъ однимъ изъ такихъ выдающихся наружностью домовъ, и едва я слѣзъ съ телѣги, какъ плотныя, рѣзныя ворота раскрылись настежь и меня встрѣтилъ крестьянинъ лѣтъ пятидесяти на видъ, въ тибетомъ халатѣ, накинутомъ поверхъ чистой ситцовой рубахи. Сѣдые, нѣсколько вившіеся волосы на головѣ его были подстрижены въ скобку и отчасти закрывали высокій лобъ, изрѣзанный морщинами. Маленькіе каріе глазки, свѣтившіеся изъ морщинистыхъ орбитъ, пристально остановились на мнѣ.

— Добро пожаловать, милости просимъ! произнесъ онъ, кланяясь. — А мы, признаться, давно ужъ поджидаемъ вашу милость! говорилъ онъ, ведя меня по лѣстницѣ, устланной чистымъ холщевымъ половникомъ, въ верхній этажъ своего новаго, красиво и удобно расположеннаго дома.

Введя меня въ обширную комнату, оклеенную пестрыми обоями, съ окрашенными подъ шахматъ полами, Кузьма Герентьевичъ вышелъ, чтобъ присмотрѣть за моими вещами. Комната была уставлена массивными креслами съ мягкими подушками, обтянутыми свѣтлымъ съ бирюзовыми полосами ситцемъ. У передней стѣны между окнами стоялъ большой мягкій диванъ, около дивана круглый столъ, накрытый бѣлою скатертью, и огромный бронзовый подсвѣчникъ съ тремя стеариновыми свѣчами. Въ простѣннѣ висѣло большое

зеркало въ рѣзной, орѣхового дерева, рамѣ. По стѣнамъ были развѣшены въ деревянныхъ рамкахъ гравированные портреты членовъ царской фамиліи и портретъ Ермака, писанный масляными красками. Завоеватель Сибири былъ изображенъ въ рыцарскомъ шлемѣ съ огромнымъ страусовымъ перомъ краснаго цвѣта, въ кольчугѣ и съ копьемъ въ рукѣ. Кисейныя занавѣски на окнахъ, прикрѣпленныя вмѣсто розетокъ розовыми ленточками, дополняли убранство комнаты. Большая стеклянная дверь въ углу вела на балконъ, съ котораго открывался прелестный видъ на окрестности села.

— Пожалуйте-ка, ваша милость, выкушайте, съ дорожки-то оно очень способно! раздался сзади меня голосъ Кузьмы Терентьевича, поднесшаго мнѣ на небольшомъ корковомъ подносѣ рюмку съ винограднымъ виномъ. — Обычай у насъ такой, чтобъ съ дороги обогрѣть человѣка, отвѣчалъ онъ на мой отказъ; — входя въ домъ, отъ хлѣба-соли грѣшно отказываться!

Намъ подали чай. Усадивъ меня на диванъ къ круглому столу, Кузьма Терентьевичъ сѣлъ около порога и, закинувъ полы своего халата, еще разъ пристально оглядѣлъ меня. Не говоря объ убранствѣ въ домѣ, которое рѣзко бросалось въ глаза своею щеголеватостью, хотя отчасти и безвкусной, объ обширномъ дворѣ, обнесенномъ громадными пристройками, каждая мелочь, на которую падалъ взглядъ, доказывала не только крупную зажиточность Кузьмы Терентьевича, но даже знакомство его съ нѣкоторымъ комфортомъ. Варенье къ чаю было подано въ хрустальныхъ вазахъ, которыя бы сдѣлали честь любому купеческому дому. Чайныя ложки, щипчики для сахара, вилочка для лимона были изъ чистаго серебра; даже поданы были салфеточки подъ стаканы и сухари и печенья московскаго издѣлія, достигающія въ Сибирь черезъ ирбитскую ярмарку, — все это какъ-то странно было встрѣтить въ домѣ крестьянина, въ селѣ, заброшенномъ въ такую глушь. Замѣтивъ, что я обратилъ на окружающую меня обстановку вниманіе, Кузьма Терентьевичъ улыбнулся и окинулъ меня самодовольнымъ взглядомъ, какъ бы говоря: „А что, братъ, не ожидалъ небойсъ этого встрѣтить, такъ вотъ знай же теперь, каковы мы т...скіе мужики!“

— Пондравилось-ли вашей милости село-то наше? улыбаясь,

спросилъ онъ, наливая чай на блюдце.— Многіе его очень одобряютъ, особливо когда въ первый разъ заѣдутъ къ намъ.

— Красивая мѣстность! отвѣтилъ я.— И самое село по большинству своихъ зданій скорѣе походитъ на городъ. Въ первомъ еще селѣ я встрѣтилъ такое обиліе лавокъ; только гдѣ же вы находите покупателей на свои товары? спросилъ я.

— Не мы, сударь, покупателей ищемъ, а покупатель насъ. Въ глухое время-то пожаловали вы къ намъ. По осени бы вамъ заѣхать сюда, любопытнѣй бы для васъ было.

— А осенью развѣ что-нибудь особенное происходитъ у васъ?

— Много особенностей, мно-о ого-съ! повторилъ онъ.— Бѣ тасжникамъ бы приглядѣлись на всю ихнюю веосковательность. Безобразный народъ! заключилъ онъ, ставя на столъ допитое блюдце.

— Чѣмъ?

— Какъ вамъ рассказать—чѣмъ, съ разу-то всего не расскажешь. Это надобно, сударь, своимъ глазомъ видѣть. Теперича, не утаивая правды, скажу, про наше село худая слава идетъ, чай и вы поди слышали? съ ироніей посмотрѣвъ на меня, спросилъ онъ.— По людской-то молвѣ хуже нашего мужика и на свѣтѣ нѣтъ: и грабители-то мы, и народъ-то спаиваемъ, чтобъ легче его подъ пьяную руку обирать, и чего, чего, какихъ только художествъ и качествъ не говорятъ про насъ! Какъ слушаешь всѣхъ рѣчей, такъ ровно у насъ и не село, а разбойный притонъ.

— Поговариваютъ, что такъ...

— Знаемъ, сударь, что поговариваютъ, какъ не знать, покачавъ головой и подувши слегка на чай, налитый на блюдце, продолжалъ онъ.— А только все это неправда, сударь, клевета одна да зависть. Кушайте еще-съ, пожалуйста, милости просимъ, чаекъ у меня хорошій, говорилъ онъ, принимая отъ меня допитый стаканъ, — ящичами покупаю, торгую имъ малымъ дѣломъ, въ числѣ прочаго. Худымъ ужъ вашу милость не поподчужемъ! Я вѣдь и на приски, сударь, въ ину пору чай поставляю, а прискатели—народъ тонкій, на эту матерію разборчивый...

— Вѣрю, и чай у васъ, дѣйствительно, прекрасный, только я не хочу болѣе...

— Жаль, что мало кушаете, а мы такъ, признаться, съ утра

и до ночи около самоварчика-то охлаждаемся, очень къ чаю-то навькли. Можетъ, закусить не прикажете-ли чего, у насъ и балычекъ астраханскій есть, и игра, и сардиночки, и вина, какихъ только пожелаете.

— Дожовито вы живете, Кузьма Терентьичъ! замѣтилъ я.

— Нельзя иначе, сударь. Коли съ хорошими людьми компанію водить, такъ и про запасъ держи все хорошее. У меня вѣдь, сударь, всѣ золотопріискатели остановку имѣютъ, народъ—тысячники, худого имъ не подашь, коли спросятъ чего. А мы, теперича, хоша и въ крестьянскомъ званіи состоимъ, а тоже антицію свою соблюдаемъ! заключилъ онъ, многозначительно взглянувъ на меня.

— Вы здѣшній уроженецъ?

— Природные здѣшніе! И батюшка покойникъ, и дѣдушка не выѣзжали никуда изъ здѣшнихъ мѣстовъ. Вѣдь наше, сударь, село и жить-то пошло съ тѣхъ поръ, какъ золото въ тайгѣ открыли, а допрежь того на этомъ мѣстѣ поселокъ стоялъ, въ которомъ было-ли и шесть дворовъ; ну, а когда золото открыли, то потребовалось для пріисковъ и то, и другое, и третье, золота въ тѣ поры добывали много, деньги-то были дешевы, такъ сказать, ни почемъ, пріискатели-то зря ихъ метали за всякую маломальскую службу, ну, народъ-то и повалилъ сюда ради наживы, да изъ шести то дворовъ теперь выросло безъ малости триста. А нашъ-то родъ—издавніе здѣшніе старожилы. Тятенька, покойникъ, и церковь-то самолично заложилъ, и своимъ коштомъ воздвигъ оную. Двѣ серебряныя медали покойникъ носилъ, одну малую, другую большую на шеѣ, а все-таки остался, сударь, въ крестьянскомъ чинѣ и мнѣ благословенія не далъ изъ сермяги вытѣзать!

— Отчего же, по любви къ своему сословію или по другимъ какимъ причинамъ?

— Покойникъ такъ говаривалъ, сударь: съ твоимъ-де капиталомъ да властью по крестьянству ты завсегда будешь первымъ человекомъ, и чего бы ты ни сдѣлалъ, все тебѣ съ рукъ сойдетъ, потому ты мужикъ, а съ мужика какой взыскъ! А коли въ купцы, говорить, выйдешь, то въ ранговые-то не попадешь, а на задворкахъ путаться и самъ не захочешь.

— Въ какіе же это ранговые?

— По-вашему-то, сударь, сказать бы—первостатейные...

— Но вы все-таки торгуете же?..

— По купеческому свидѣтельству, и въ то же время всѣ крестьянскія тяготы несемъ, наравнѣ съ иными прочими. Торговля наша, сударь, не то, чтобы обыденное занятіе, а ближай всего на ярманку смахиваетъ. Разъ въ году, не болѣе мѣсяца, мы эфтингъ дѣломъ занимаемся, когда, значить, по осени прінсковые рабочіе изъ тайги выходятъ, а въ остальное время мы и лавокъ не растворяемъ, развѣ только за товаромъ приглядѣть да лавку провѣтрить понадобится. Да и товары-то у насъ, сударь, не ахтительные, по вкусу рабочихъ закупаемъ ихъ: готовны ситцевыя рубахи, шаровары плісовые, шляпы поярковныя, сапоги-бродни, полушубки, ну опояски, што поузорнѣй, зипуны, а такихъ, што-бы дорогихъ, нѣтъ. У меня, окромя этихъ товаровъ, бакалейные еще имѣются, пряники, орѣхи разные, конфеты, варенья, што касается, значить, до лакомства; ну вина разные и закуски. А главная теперича статья—это постоянные дворы, харчи и прочее содержаніе рабочихъ. Вѣдь мимо нашего села-то, сударь, не одна тыща этого народа проходить; вѣдь еслибы теперича не мы, ваша милость, оберегали рабочихъ, такъ тутъ бы одинъ Господь вѣдалъ, чего-бы дѣлалось на свѣтѣ...

— Вы оберегаете рабочихъ,—чѣмъ же это и отъ чего?..

— Мы-съ!.. Истинно говорю вамъ, что благодарствуемъ имъ; еслибы только не мы, о-о Господи, и слова-то не найдешь сказать, чего-бы только не творилось межъ ними! произнесъ онъ, махнувъ рукой и пытливо изподлобья посмотрѣвъ на меня, какъ бы желая уловить, какое впечатлѣніе производятъ на меня его слова.—Грабежу бы этого, убійства сколько было, продолжалъ онъ,—да такъ, скажу вамъ, сударь, что и третья бы часть ихъ не возвращалась домой, всѣ бы перерѣзали другъ друга, ей-богу-съ!.. Теперь вотъ въ народѣ зовутъ насъ плутами, грабителями, а все это зависть одна людскимъ языкомъ ворочаетъ, глядя на нашу избыточную жизнь, а еслибы попытали на себѣ, сколько хлопотъ намъ съ этимъ народомъ да неприятностей, такъ не то бы заговорили...

— Какія же такія неприятности и хлопоты? Объясните мнѣ, я все-таки не понимаю.

— Хлопоты, сударь, такія, что и врагу ихъ не пожелаешь.

Вѣдь на прински работать идетъ все-такой народъ, у котораго ни Бога, ни совѣсти нѣтъ; идутъ-то все болѣе варнаки-посельщики, што ни самыя оголтѣлыя. Денегъ-то они зарабатываютъ и выносятъ оттуда помногу. Придетъ онъ къ намъ и почнетъ ломаться, дорвется до вина-то, такъ вѣдь облигъ человѣческой потеряетъ, въ эфтомъ-то видѣ такъ и норовить другъ друга ограбить, а то и на ножъ посадить. Ну, не остереги его во время, такъ чего бы было?.. Вотъ и оберегаешь его, Бога памятуя, а чего стоитъ тебѣ оберечь-то его отъ худыхъ-то дѣлъ, никто не видитъ, а што живемъ-то избыточно, такъ это вотъ всѣмъ глаза колеть!

— Какъ-же вы оберегаете ихъ?

— А какъ несмышленныхъ младенцевъ няньки остерегаютъ, сударь, такъ и мы. Пустишь ихъ на постой къ себѣ, да и смотришь за ними въ оба, какъ опекунъ какой!

— Вотъ что! Но все-таки опека-то эта приносить же вамъ какую-нибудь выгоду?

— Слова нѣтъ, не безъ выгоды! Какая же опека бываетъ безъ выгоды, хе, хе! Да вѣдь выгода-то выгодѣ розная, сударь. Рабочій-то приходитъ къ намъ голодный, оборванный, на иножъ такой гардеробъ болтается, что всѣ родимыя пятнышки сьвозятъ: изъ хозяйскихъ-то запасовъ на принскахъ они не очень-то любить заимствоваться, потому тамъ съ нихъ за всякую малость вдесятеро берутъ. Ну, ты и одѣнешь его, какъ подобаетъ человѣческому званію, напоишь, накормишь, тепломъ его душу отведешь, — въ энтотъ, полагаю, сударь, вѣдь нѣтъ грѣха? изподлобья, съ усмѣшкой посматрѣвъ на меня, спросилъ онъ.

— Конечно, нѣтъ... согласился я.

— А вѣдь теперича всего энтото тоже даромъ ему не дашь, продолжалъ онъ. — Вѣдь все, чего ни даешь ему, ты и самъ покупаешь, вѣдь рубахи, сапоги и зипуны не растутъ въ лѣсу, какъ грибы, да еслибы и возрастали даже, такъ мы такъ судимъ, што и собрать-то ихъ все же бы и трудъ, и время требовалось, хе, хе! Если ты и одѣнешь его съ ногъ до головы, то все-таки супротивъ ихнихъ-то хозяевъ, принскателей-то, берешь съ него самую божескую плату. Пить и кормить его даромъ намъ тоже не доводится... потому ужъ очень убыточно бы было... этакъ-то хлѣбосольствовать. Вѣдь его пустыми щами да кашей,

сударь, не ублаготворишь, нѣ-ѣ-ть. Мы, говорить, тухлой-то соловинны подь соусомъ изъ червой и на присвахъ до-сыта наполооскались, хе, хе! очень, говорить, довольны эфтимъ яствожъ, такъ ужъ ты, говорить, намъ теперича ѣды-то отмиѣнной отворачивай. Первымъ дѣломъ шей со свѣжей свининой, кашы, лапши всякой, и чтобъ все это плавало въ жиру и маслѣ; вторительно поросенка, гуся, да-а-ась, хе, хе! Вотъ вѣдь они каковы, присковне-то работнички! съ ироніей заключилъ Кузьма Терентьичъ.— А вѣдь чуть теперича не уважилъ его, не по вкусу его сдѣлалъ, такъ вѣдь онъ, сударь, и посуду въ дребезги обь поль махнетъ, и ѣду за окно выбросить, потому, говорить, поколь у меня деньги есть, такъ ты меня уважай, хе, хе!

— И уважаете?

— Уважаемъ-сь! Даже въ полномъ чувствѣ.

— А чѣмъ же вы выказываете подобное уваженіе къ нимъ?

— Принаровкой къ ихъ вкусу и идраву; потребовалъ онъ, къ примѣру, поросенка, ну, и жарить ему поросенка; захотѣлъ онъ гуся—подашь ему и гуся: ѣшь, не ѣшь, а ужъ цѣну, што стоитъ, плати, и ужъ насчетъ платежу, правду сказать надо, они содержатъ себя по чести, что ни спреси съ него, отдасть безъ слова.

— Не торгуетъ?

— Избави Господи! Завода энтаго нѣтъ, даже за обиду считаютъ торговаться. Иному, сударь, ради потѣхи скажешь, особливо если покупаетъ што: „не дорого-ли будетъ, молъ, для тебя, подумай!“ Такъ куда тебѣ, сейчасъ въ азартъ войдетъ. „Што, говорить, развѣ у меня денегъ нѣтъ, а?..“ И какая у него сумма есть, всю на лицо представить: знай-де меня! Вотъ каковъ народецъ то! Платать безъ слова, чего ни спреси, за копѣчную вещь десять рублей безъ разговора выложить, только потрафляй ему!

— И по-долгу живутъ они въ вашемъ селѣ?

— А жительство ихъ, сударь, длитса, смотря по деньгамъ: у кого денегъ побольше, тотъ и живетъ подольше, и всѣ, почестъ, проживаются до послѣдней копѣйки.

— Неужели до послѣдней?

— По порядку-съ, какъ изстари повелось! Покажѣсть онъ не пропьетъ и не проѣстъ своего заработка, не уйдетъ изъ села. А ужъ когда дойдегъ до конца, выворотитъ варманы, тогда на-

дѣваетъ на себя дерюгу, въ какой пришелъ или какую дашь ему изъ милости, соболѣзнуя объ немъ; вздѣнетъ на плечи кошель, по-прощается, степенно, по чести, и идетъ домой, побираясь христовымъ именемъ, а болѣ всего опять на тѣ же принскы ворочается въ хозяйскій контрактъ.

— Чѣмъ же въ такомъ случаѣ вы ихъ благодѣтельствуете, Кузьма Терентьичъ, и отъ чего охраняете? спросилъ я. — Я думалъ, что вы имъ не дадите заживаться въ вашемъ селѣ, чтобъ они не пьянствовали и не жотали заработанныхъ денегъ, и тѣмъ охраняете и ихъ, и семьи ихъ отъ нищеты.

— Превратно поняли, сударь! строго произнесъ онъ. — Неужели вы полагаете, что мы не христіане, что въ насъ ни души, ни совѣсти нѣтъ, чтобъ мы осмѣлились воспрещать человѣку передохнуть недѣльку-другую съ дороги, а стали бы гнать его домой и послѣ этакой, теперича, каторжной жизни и работы, какую они несутъ на принскахъ, не дали бы имъ полакомить своей утробы! Напрасно вы, сударь, такъ полагаете объ насъ, говорилъ онъ, укоризненно качая головой. — Избави Господи! Да неужъ мы не люди? Вѣдь онъ тамъ робить-то, сударь, передыху не знаетъ: еще солнышко не взойдетъ, а его ужъ на работу гонять, да съ послѣдней зорькой спустать съ нея. Тепло-ли, холодно-ли, здоровъ-ли, немощенъ-ли, его не спросятъ; знай одно—робь, подь часъ по колѣно въ водѣ. Отъ грязи да отъ всякой нечисти у него вѣдь кожа-то съ тѣла лупится. Вотъ, сколь сладко ему деньги-то достаются! Кормятъ-то его тамъ такимъ добромъ, что собака рыло отворотить, а вѣдь онъ человѣкъ, сударь, ему, какъ и намъ, грѣшнымъ, и отдохнуть хочется, и сладкимъ кусочкомъ побаловаться, и чистую рубашку на обмытое тѣло вздѣть, и жось денекъ-другой пожить всласть, по своей волѣ, господиномъ своего достатка; такъ неужъ у добраго человѣка, въ комъ христіанская-то душа есть, повернется языкъ сказать ему: а ты вотъ не пей, сладко не ѣшь, путной одежи себѣ не покупай, а подь отъ насъ со Христомъ къ своему двору. Нѣтъ, сударь, такъ поступать не гожо-о. А на мой умъ, пушай онъ балуется, Господь съ нимъ, ему только и услады-то, можетъ, въ жизни, чтобы хоть недѣльку-другую-сладко попить и поѣсть, а если онъ и пропиваетъ и проѣдаетъ все до копѣечки, такъ вѣдь не чужое, а свое кровное,

сударь, и Господь съ нимъ: всякой своему добру хозяинъ и волея ему распорядокъ имѣть.

Голосъ Кузьмы Терентьяча, когда онъ произносилъ эту тираду, дышалъ такимъ неподдѣльнымъ сочувствіемъ къ безотрадной жизни присковаго рабочаго и въ то же время такимъ сознаниемъ высокаго христіанскаго подвига, какой совершаютъ т—скіе жители, предоставляя ему возможность сладко пить и ѣсть у нихъ за свои кровныя деньги, что доказывать ему значеніе этихъ услугъ въ ихъ настоящемъ свѣтѣ было бы бесполезно.

— Прогнать! раздраженно произнесъ онъ послѣ минутнаго молчанія. — Да какъ вы его прогоните, сударь? Да нѣшто найдется такая власть, которая удержала бы таежника отъ разгула, послѣ той жизни, какую онъ влачить на прискахъ!? Невозможное дѣло съ!.. Да не дайте вы ему вина, не потрафьте по его скусу, скажите-ка ему: поди, молъ, домой, а у насъ зря не балуйся, такъ вѣдь знаете-ли, чего будетъ-то?

— А что?

— Онъ по бревну разнесетъ всю деревню, истинно, какъ предъ Богомъ говорю вамъ! На ножи пойдетъ! Допрежь чѣмъ осуждать-то насъ, сударь, надоть знать, съ какиимъ мы народомъ дѣло-то ведемъ. Вѣдь это оголтѣлый человѣкъ-то, онъ и свою-то жизнь ниже гроша цѣнить, а чужая-то ему и того дешевле. По-разсказать еслибы вамъ, чего они другъ съ другомъ творять, такъ ужасъ возьметъ! Съ присковъ-то они идутъ партіями, человѣкъ по пятидесяти, иной разъ по сту и болѣе. Ужъ каждый изъ нихъ другъ отъ дружки денежки хоронить или въ онучу, или зашиваетъ куда; до нашего-то мѣста ихъ еще казаки *) сопровождаютъ, охрану имъ содержать, и то не помогаетъ, и тутъ, кто половчѣй, высмотреть, гдѣ у благопріятеля деньги спрятаны, улучшить минуту и ограбить его. Вѣдь какъ отъ лютаго врага они другъ отъ друга-то стерегутся. Не мало и убійствъ бываетъ среди нихъ, ваша милость, за копѣйку задушатъ отца родного. Вотъ вѣдь это какой народецъ-то, сударь. Бо-о-ольшой навязъ требуется дѣло-то съ ними вести. Годами надоть механику-то эту

*) Въ Западной Сибири на золотые приски постоянно командировается сотня линейныхъ казаковъ, какъ для охраненія порядка на прискахъ, такъ и для сопровожденія партій рабочихъ по окончаніи работъ отъ присковъ до населенныхъ пунктовъ.

постигать. Около прискованаго рабочаго, какъ около огня, ходи да поглядывай, чтобы и себя не сжегъ, и тебя не опалилъ!

— А случается, и опаливаетъ?

— Богъ милуетъ, сударь. Потому ужъ политично струну натягиваешь, чтобъ играла, да не заигрывалась. Первое дѣло—ужъ характеръ каждаго изъ нихъ знаешь, какииъ ему словоиъ или дѣломъ потрафить и чѣмъ унять въ случаѣ азарта.

— Когда же вы успѣваете характеры-то изучать, помилуйте, сами же говорите, что ихъ проходить чрезъ ваше село по нѣскольку тысячъ? Вѣдь это невозможно.

— Самое легкое дѣло, сударь! отвѣтилъ онъ, усмѣхнувшись. — Ужъ каждый рабочій знаетъ тепереча своего хозяина: ужъ если онъ сегодня присталъ на фатеру ко мнѣ, такъ онъ и на будущій годъ остановится у меня, да такъ и пойдетъ ужъ на всю жизнь къ моему дому приворачивать. Насчетъ этого они народъ ручной... ну, тутъ и примѣчаешь за нимъ, поколь не спознаешь его, што за птица, а спознать это—не акти какая наука, всѣ они народъ очень натуральный!

— Какъ это натуральный, что это значить?

— А такъ теперича доложу вашей милости, што по естеству-то своему неотесанный, што у него на умѣ, то и на языкѣ, ужъ если онъ лють идравомъ, такъ ужъ съ перваго дня и покажетъ весь этотъ свой норовъ. Ну, за такимъ человекомъ и уходъ у насъ особый.

— Какой же?

— Съ изподтиха окрочиваешь его, что ты, молъ, лють, да и во мнѣ, молъ, этой лютости тоже очень достаточно: ужъ если что, благослови Господи, такъ и у меня расправа коротка. Потому-де на лютость и мы лютость питаемъ!.. Ну, этими резонами и введешь въ разсудокъ, укротишь его. Муки много съ ними принимаемъ, ваша милость, не даромъ тоже отъ нихъ хлѣбъ ѣдимъ, а истинно можно сказать, что въ трепетѣ сердца и въ трепетѣ лица.

— Отчего же вы трепеть-то сердечный ощущаете, Кузьма Античъ? Если вы знаете характеръ каждаго изъ нихъ, умѣете ужъ и изъ нихъ обойтись, такъ, мнѣ кажется, вамъ и богатъ ихъ нечего.

— Много опасенъ, сударь, испытываемъ. Правду надо сказать, такъ

что октябрь мѣсяцъ самый доходный для нашего брата, самая, можно сказать, жатва, потому въ эти мѣсяцы мы на весь годъ хлѣбъ выручаемъ. Но иной разъ, сударь, такъ дѣло выходитъ, что во весь годъ отъ страху-то не отдынешься, какого за это время наберешься! День-то деньской на мѣсто не присядешь, да и ночь-то спокоемъ не знаешь, потому въ чужую-то душу, какъ ты ни знай ее, а все не влѣзешь, только и ходишь да сторожишь, какъ бы тебя не подпалили, какъ бы кто кого не убилъ, аль въ тебя бы не пустилъ желѣзнаго козыря. Каторга энтотъ мѣсяцъ для насъ, сущая каторга! Иной бы на нашемъ мѣстѣ, еслибъ съ недѣлку понесъ на себѣ это иго да тревоги, такъ не сталъ-бы говорить, что намъ деньги зря плывутъ въ руки, не сталъ бы намъ завидовать да поносную славу про насъ по свѣту разносить, нѣ-ѣтъ, не сталъ бы, а скорѣе пожалѣлъ бы насъ!

— Если вы сознаете, Кузьма Терентичъ, что подобное ремесло, которымъ вы занимаетесь, и тяжело, и опасно, такъ отчего же не оставите его, чтобъ не испытывать болѣе такихъ трудовъ и опасностей, а?..

— Это легко сказать, только, сударь, брось!

— А что же?

— Хе! Это по-нашему все единственно, что сказать голодному человѣку: не ѣшь! Брось, а жить-то чѣмъ прикажете?

— Какъ чѣмъ? У васъ у всѣхъ есть достатокъ, вы живете на такихъ прекрасныхъ хлѣбородныхъ мѣстахъ, займитесь бопашествомъ, скотоводствомъ, пчеловодствомъ, — въ убытокъ ное не будете.

— Отвыкли-съ! сухо отвѣтилъ онъ.

— Развѣ у васъ въ селѣ никто хлѣбопашествомъ не занимается?

— Кое-кто и сѣютъ, есть, а намъ не къ чему-съ! Мало окрестъ насъ селъ и деревень хлѣбопашество-то ведутъ, въ хлѣбъ-то по уши зарылись, а все нищія, все около насъ же колются. Куда вы его сбывать-то будете? У иныхъ вонъ есть хлѣбъ-то, въ скирдахъ по пяти, по шести лѣтъ стоятъ, а у него бродней купить не на што, чтобъ отъ холоду оборониться. Вотъ и сѣйте его. Нѣтъ, не дѣло это, сударь. Сколь ни опасенъ намъ промыселъ, какая худая слава ни идетъ про него, а вошь прибыльнѣй! За глаза-то насъ всѣ ругаютъ, а чуть нужда, къ намъ же бѣгутъ — выручи.

— Кто же это въ вамъ за выручкой-то идетъ?

— Да всё, почесть: и крестьяне изъ сусѣдскихъ сель и деревень, да подь-часъ и городское купечество, и господа чиновники, и золотоприскатели въ ножки намъ кланяются: снабди капиталомъ.

— И снабжаете?

— Что же подѣлашь, коли человѣкъ убивается предъ тобой, стоять иной разъ да плачетъ, готовъ тебѣ, мужику, въ ноги поклониться!.. Ну, и сжалишься, дашь! Развѣ иной разъ только зло заберетъ, такъ вымолвишь: „пошто, молъ, это мы на твоёмъ языкѣ подлецы и воры, а ты честный человѣкъ да въ ноги намъ кланяешься, ссуды просишь, а-а? Это у подлеца-то!.. Если, молъ, у меня деньги краденныя, такъ пошто же это ты-то, честный человѣкъ, свои-то руки объ нихъ пачкать хочешь, а? Я бы, молъ, на твоёмъ мѣстѣ, по честности своей, не воснулся бы до нихъ“.

— Ну, что же они говорятъ на это?

— Хе, хе, что говорятъ! Да коли честному человѣку, сударь, деньги надо, такъ подлець-то ему хошь въ глаза плюнь, онъ и тутъ слова не вымолвить, только ссуди его, выручи, будь ему отецъ-благодѣтель! Э-эхъ, сударь, насмотрѣлся я на честныхъ-то! усмѣхнувшись произнесъ Кузьма Терентьичъ, и съ презрѣніемъ махнулъ рукой. — Онъ потолокъ и честенъ, поколъ ему украсть негдѣ, такъ всё вотъ эти честные-то люди, что завсегда объ деньгахъ скупаютъ, гдѣ бы только промыслить ихъ, и ругаютъ нашего брата воромъ и подлецомъ, а посидѣли бы они на нашемъ мѣстѣ, такъ хуже бы насъ въ тысячу вратъ были, какъ предъ Богомъ говорю вамъ.

— Не лестнаго же вы мнѣнія о честныхъ людяхъ, Кузьма Терентьичъ, замѣтилъ я.

— Злобу питаю въ нимъ, истинно скажу вамъ, сударь.

— За что?

— За самую эту ихнюю честность!

— Развѣ она вамъ глаза колетъ?

— Въ моихъ глазахъ, сударь, столько бревенъ сидитъ, что ужъ не токма сучку, а иглѣ-то мѣста не найдется въ нихъ; истиннѣ скажу вамъ, таиться не буду, не въ чему! Я теперича такое размышленіе имѣю о себѣ: я воръ, грабитель, — одно мнѣ

званіе, — ну и пушай будетъ такъ, и не я одинъ теперича, а все наше опчество воры и грабители; такъ ужъ коли мы этакіе худые люди выродились, такъ пушай весь честной людъ и забудетъ объ насъ, презреть насъ, забудетъ—въ какомъ мѣстѣ и дорога-то къ намъ идетъ! Нѣтъ, отбою вѣдь намъ отъ честныхъ-то людей нѣтъ, сударь, о отбою нѣтъ!.. Такъ какіе же опосля этого они честные люди, коли къ зазнамому подлецу за всякой нужой бѣгутъ... За глаза, по-ихнему, хуже меня человѣка нѣтъ, а въ глаза мнѣ такихъ сластей насказываютъ, что слюны текутъ, слушая ихъ. Вотъ за эту-то неправду во всемъ я и злобствую на нихъ. А ужъ коли ты честный человѣкъ, а я подлець, такъ ты и презри меня, ругай и за глаза, и въ глаза; у тебя и черствая корка, да честнымъ путемъ добыта, а у меня и сдобный пирогъ, да краденый, такъ ужъ ты на мой-то коровой ротъ-то не разѣвай, а плюй на него, попирай его ногами, тогда и я, можетъ, совѣсть восчувствую и позавидую твоей скудной коркѣ. А теперича оно такъ выходитъ, что я, можетъ, для того ворую и граблю, чтобъ только надъ честнымъ человѣкомъ издѣваться да за всякое время его-же изъ бѣды выручать,—для того и сдобный пирогъ ѣмъ, чтобъ онъ съ голоду-то зубы на него скалилъ да завидовалъ мнѣ... хе.. хе-е... Очень это тяжело, сударь, какъ поразсудишь...

— Отъ чего-же собственно тяжело-то вамъ?..

— Отъ людской-то неправды, отъ зависти-то этой да отъ ругани, а какъ посмотришь, говорю, поприщурившись, на людей-то, такъ честные-то мы самые и есть, потому никого не ругаемъ, никому не завидуемъ, ни на кого не клеветемъ... Знаемъ всѣ свои грѣхи и не скрываемъ ихъ, и пушай ихъ судить Господь Богъ, а не люди, произнесъ онъ, вздохнувъ и посмотрѣвъ въ передній уголъ, гдѣ висѣла огромная икона Божіей Матери въ золотой ризѣ и въ богатомъ вызолоченномъ кіотѣ.—А по-истинѣ скажу, ваша милость, какъ кто ни думай, а мы истинные благодѣтели для присковскихъ рабочихъ, потому и жизнь ихъ охраняемъ, и охраняемъ ихъ отъ смертнаго грѣха.

Голосъ Кузьмы Терентьича снова зазвучалъ при этомъ сознаниемъ высокихъ христіанскихъ добродѣтелей и подвиговъ, принимаемыхъ на себя съ такимъ самоотверженіемъ для спасенія заблудшихъ и погрязшихъ въ порокахъ оголтѣлыхъ рабочихъ.

Поѣздка моя въ Т... послѣдовала по порученію произвести официальное удостовѣреніе по жалобѣ крестьянъ т...го сельскаго общества на злоупотребленія волостного головы Клокачева. Въ прошеніи, поданномъ крестьянами, въ числѣ разныхъ незначительныхъ оговорокъ говорилось, между прочимъ, о насильственныхъ денежныхъ поборахъ, производимыхъ съ нихъ Клокачевымъ подъ предлогомъ взиманія податей, превышавшихъ по ихъ расчету существовавшій окладъ, о притязательныхъ дѣйствіяхъ его къ лицамъ, содержавшимъ питейные дома, и къ сельскому старостѣ, котораго Клокачевъ, превысивъ власть, самовольно устранилъ отъ его обязанностей, безъ объясненія причинъ. Въ прошеніе были включены „похвальные“ слова Клокачева, произнесенныя имъ, говоря языкомъ составителя просьбы, въ *неистовомъ азартѣ и съ пьяной урта*, при всемъ т...омъ сельскомъ обществѣ: „что онъ-де, Клокачевъ, живъ не будетъ, коли не разорить ихъ всѣхъ и не пустить по-міру, въ поученіе всѣмъ крестьянамъ, кои вздумаютъ противиться власти волостного головы!“ Прошеніе это, подписанное болѣе чѣмъ сотней домохозяевъ, взывало къ заступничеству властей за угнетаемое общество крестьянъ отъ несправедливыхъ и корыстныхъ притѣсненій головы, питающаго злобу къ нимъ за то, что при выборѣ его въ головы они не подавали за него голоса, какъ за человѣка, который еще съ юности неоднократно былъ замѣчаемъ въ воровствѣ и избѣгалъ законнаго преслѣдованія только по неимѣнію уликъ. Самый выборъ Клокачева въ головы, какъ говорилось въ просьбѣ, произведенъ былъ незаконно: за него не было подано голоса ни однимъ крестьяниномъ, пользующимся уваженіемъ, а выбранъ онъ былъ исключительно злонамѣренными людьми, которые, въ видахъ потворства Клокачева къ ихъ преступнымъ дѣйствіямъ, выкрикивали его, какъ говорилось въ прошеніи, „нахрапомъ!“

Волостного голову Клокачева я зналъ, какъ человѣка честнаго, пользовавшагося большимъ уваженіемъ и довѣріемъ среди крестьянъ. Втеченіи трехлѣтней службы его я ни разу не слышалъ даже незначительной жалобы на его дѣйствія... Человѣкъ онъ былъ грамотный, что рѣдко встрѣчается въ Сибири, трезвый, обладавшій яснымъ, практическимъ умомъ, который, при всей своей видимой мелочности, въ практическомъ взглядѣ на дѣла всегда оказывался глубоко ко-дальновиднымъ. Земскія власти не симпатизиро-

— Какъ по-особицѣ?

— Что не касается насъ, такъ и не вмѣшиваемся.

— Но вы знаете-же причины, вызвавшія эту жалобу?

— Поспорили они по-малости между собой, ваша милость, отвѣтилъ онъ, нѣсколько подумавъ, — ну, и вышла усобица: и Флегонтъ Митричъ погорячился маненько, и общество въ строптивость впало... Не хвалю!..

— Кого?

— Обоихъ, воль сказать по правдѣ, сударь. А впрочемъ, устраните меня отъ этого разговора; потому какъ дѣло это до меня некасающе, то, по завѣту еще тятеньки-покойника, имѣю навывѣ въ энтакихъ случаяхъ языкъ за зубы прятать! съ ироніей произнесъ онъ. — Въ сторонкѣ, сударь, лучше жить, безобиднѣй: ни дождикомъ тебя не мочить, ни солнышкомъ не печеть... хе, хе! пояснилъ онъ, смѣясь. — Не прикажете-ли закусить подать, винца какого, алибо што? спросилъ онъ, поднимаясь со стула, и когда я отказался, онъ раскланялся со мной, отозвавшись необходимостью присмотрѣть за хозяйствомъ.

По уходѣ его я вышелъ на балконъ. Солнце закатилось за дальній лѣсъ, и яркіе лучи его, прорѣзываясь порою севозъ вѣтви деревьевъ, пробѣгали тоненькими, искристыми струйками по вершиннамъ холмовъ, застилавшихся снизу уже дымчатымъ паромъ. Отчетливо видѣвшіеся днемъ на горизонтѣ контуры снѣжныхъ горъ теперь исчезли изъ глазъ, задернутыя мгlistою, синеватою дымкой, изъ которой выдѣлялись, и то въ какомъ-то полусумрагѣ, только ближайшія къ селу лѣса и горы. Несмотря на то, что село было обширное, оно поразило меня своею пустынностью и безжизненностью: на улицѣ не видно было ни души, изрѣдка гдѣ-нибудь скрипнеть калитка и изъ нея выйдетъ женщина съ ведрами на коромыслѣ или какой-нибудь подростокъ, съ прутикомъ въ рукахъ, выгонить со двора лошадей на водопой. Обширная базарная площадь, обнесенная рядомъ лавокъ, была также пуста, и въ густой травѣ, какою заросла она, мирно паслись теперь огромныя стада гусей, наполняя воздухъ своимъ немолчнымъ гоготаньемъ.

— На сельцо-то наше любуетесь? раздался со двора голосъ Бузымы Терентьича, отворившаго въ это время ворота, пропускающая мимо себя скотъ, который работникъ его погналъ на водо-

пой.—Теперича скучно у насъ, сударь, пусто, а вотъ по осени милости просиятъ, загляните-ко, тогда у насъ отъ веселья-то и уши гложуть, и ребра трещать... хе, хе! съострилъ онъ и, пожелавъ мнѣ покойной ночи, вошелъ въ домъ.

На другой день утромъ ко мнѣ явился вытребованный мною въ Т.—ъ волостной голова Клокачевъ. Ему было около сорока пяти лѣтъ, росту онъ былъ высокаго, нѣсколько сутуловатый. Достаточно было взглянуть на широкое лицо его, обросшее густою бородой, и на сѣрые, добродушные глаза, чтобы убѣдиться, что подобный человѣкъ не способенъ сдѣлать кому-либо зла. Прочитавъ ему поданное на него прошеніе, я спросилъ:

— Справедливы-ли эти оговоры на тебя?

— Штобы превыше подати я сталъ, сударь, поборы брать съ нихъ, за этотъ извѣтъ на меня пушай Богъ ихъ судить! совершенно спокойно отвѣтилъ онъ.—Въ воровствѣ меня тоже никто не примѣчалъ, да Богъ и не попуститъ меня до этого ремесла, по совѣсти говорю, и за это пушай они отвѣтъ Богу дадутъ. Въ головы я также не напрашивался, а елания, и слезно кланялся, міру обойти меня этой честью; ну, ихъ власть-воля была почтить меня, а остальное прочее, чего пишутъ они, все правда, сударь, также спокойно отвѣтилъ онъ:— и кабанниковъ я стѣснялъ, сударь, не потаю, заколотилъ у нихъ и двери, и окна, пушай ищутъ съ меня отвѣта судьбѣ!

— За что-же ты такъ круто обошелся съ ними?

— За добродѣтели ихнія, сударь! съ ироніей отвѣтилъ онъ.

— И сельскаго старосту отстранилъ отъ его обязанностей?

— Устранилъ! Ужь не знаю, какъ оно по закону-то взыщется съ меня за то, а по совѣсти, коли бы власть да воля моя была, такъ я бы его со всѣми ихними обчествомъ въ острогъ сгноилъ! Нѣшто здѣшніе обчественники, сударь, имѣють крестьянскій обликъ, какой Богомъ-то заповѣдано мужику носить?

— А какой-же обликъ-то Богомъ заповѣдано мужику носить, Флегонтъ Дмитричъ? прервалъ я.

— Жить по чести, въ радѣніи другъ о другъ, добывать себѣ хлѣбъ въ потѣ лица; а какими способами здѣшніе-то мужички хлѣбъ промышляютъ, а? Вотъ, какъ я взялся за нихъ бы-

ло, задумалъ ихъ сократить по силѣ-мочи, и не любъ сталъ, и чернять меня. Свою-то вичку да на мою шею навѣсили, я вотъ воръ-то выпелъ, а не они! Э-эхъ, кабы начальство-то всѣ свои дѣла по совѣсти дѣлало, сударь, такъ вѣдь село-то это давно бы надоть тремя заборами огородить отъ присковаго-то работника. Они вонъ и церковь божью въ два этажа вывели. Спросить бы только надоть, угодна-ли она Богу? Въ ней, сударь, каждый кирпичикъ мужичьей слезой облить, а то такъ и кровью: не одинъ, можетъ, за свое-то добро кровное подъ фундаментъ-то ея и свою головушку положилъ! покачавъ головой, произнесъ онъ.

— Что ты этимъ хочешь сказать, Флегонтъ Дмитричъ? спросилъ я.

— А то хочу, сударь, сказать, что въ здѣшнемъ мѣстѣ челоуѣчья-то жизнь дешевле рѣпы. Вы бы вотъ поспрошали хозяина-то вашего, какими ружьями онъ деньги-то добываетъ и по какой родительской заповѣди живетъ! Не скажетъ, а любопытно-бъ!

— А ты знаешь, Флегонтъ Дмитричъ?

— Въ здѣшнихъ мѣстахъ, сударь, и родился, и выросъ, и до сѣдого волоса доживаю. Какъ не знать! Вамъ-то все это, коли рассказать бы, въ диковинку показалось, а намъ-то ужъ примелькалось и дивиться перестали. Воровство, грабежъ, распутство. — вотъ, сударь, какими путями они хлѣбъ себѣ снискиваютъ. За што я кабаки закрывалъ? Не малоумный же я, штобы наѣхалъ да началъ заколачивать въ нихъ и овна, и двери. Вѣдь это прошлогодней осенью дѣло-то было, когда у нихъ партіи таежниковъ гостили, вѣдь они нарочито спиваютъ ихъ, сударь, да надоть знать, какимъ виномъ — травленнымъ, съ дурманомъ, чтобъ его въ безпамятствѣ-то ошарпать было ловчѣй! Вѣдь до половины рабочихъ изъ этого села и домой не трогаются, а голодные да оборванные съизнова идутъ на приски въ наемъ на работу. У здѣшняго мужика нѣтъ того разума, что эфтотъ рабочій такой же, какъ и онъ, мужикъ, что онъ на то и робить безъ отдыху, чтобъ копейку залучить, дома-то его ждетъ семья голодная, нагая и босая, что онъ этими-то деньгами семьей бы свою осчастливилъ, хозяйство бы оправилъ и базенныя, и мирскія повинности съ плечъ свалилъ; они объ этомъ не думаютъ! съ жаромъ говорилъ онъ. — Нѣ-ѣ-ѣтъ, имъ было бы толь-

во кого обобратъ, за то и живутъ господами, эвонъ какіе дома-то вытягиваютъ, шапка съ головы валится, коли вверху-то взглянешь. Рабочій-то съ приисковъ придетъ и нагой, и босой,—они свои мангазены съ товарами растворяютъ,—а товаръ-то, прости Господи, гнилье одно,—зываютъ его, навязываютъ—купи, да грабятъ: одно сказать, за грошевую вещь, бросовую—рубли берутъ; накупится онъ у нихъ съ пьяныхъ-то глазъ на десятки рублей, можетъ, да тутъ же у нихъ пропьется, и всю одежду, что накупилъ, съизнова имъ же отдастъ за какой-нибудь штофъ, а она ее почистятъ, попровѣрятъ мало-мало, да на будущій годъ опять въ продажу пушаютъ, опять десятки рублей гробутъ за нее,—вотъ и торговля ихняя, сударь. Какъ при экой комерціи домовъ не вытягивать, диво-ль! А если коснуться теперича иного-прочаго — о-охъ, Господи! Языкъ-то не во всякую пору повернется вымолвить, да-а! Жень и дочерей вѣдь въ явѣ продаютъ, бери, проглажайся, сколь хочешь, только деньги подавай... Тьфу ты! съ омерзеньемъ сплунувъ на сторону и трянувъ головой, произнесъ онъ. — Отъ срамной болѣзти вѣдь заживо тутъ иные гниютъ у нихъ, вѣдь путный-то мужикъ, сударь, изъ одной чашки съ ними ѣсть не станетъ, потому опаска беретъ и хоронятся! Вотъ вѣдь здѣсь, сударь, какой народецъ-то гнѣздышко себѣ свилъ.

— Неужели все это правда, что ты говоришь, Флегонтъ Дмитричъ?

— Э-эхъ, сударь, немножко еще я вамъ доложилъ, съ какою-то грустью въ голосѣ произнесъ онъ. — А лживую рѣчь вести и языкъ не повернется, да и не изъ чего.

— Все село исключительно и живетъ только на счетъ приисковыхъ рабочихъ, а?

— Въ рѣдкость тутъ, сударь, съ совѣстью человѣка найдете, въ рѣдкость. Да и какъ среди этого гомона совѣсть соблюдешь? Иной бы, можетъ, и по совѣсти жиялъ, да видить, чего кругомъ и около дѣется, люди не сѣютъ, не жнутъ, а въ избыткѣ живутъ, и онъ, глядя на другихъ, распояшетъ руки, а совѣсть-то за поясъ затенетъ, да и примется, благословаясь, за энтю же рукомесло, благо оно прибыльно! Въ рѣдкость, сударь, въ рѣдкость здѣсь степеннаго мужика встрѣтите. Вѣдь и прежніе-то волостные начальники што, сударь, дѣлали? снова началъ онъ послѣ непро-

должительнаго молчанія. — Какъ только осень, они и съѣдутся сюда, будто за дѣломъ, да виѣстѣ со всѣми и наживаются, бывало, около рабочихъ-то. Да што, сударь, грѣха-то таить, и господа-то чиновники не отставали отъ нихъ, бывали такіе!.. Э-э, сударь, не пришло еще время все рассказывать, что тутъ дѣяли они! Ну, известно, при энтакихъ порядкахъ, чего кто ни дѣлалъ, всякому все съ рукъ сходило, все было шито да крыто; ну, и любви были экіе-то начальники, а што меня вотъ грѣхъ попуталь не потакнуть имъ, такъ и воръ, и мошенникъ сдѣлался. Изъ за чего вѣдь содомъ-то вышелъ у насъ, сударь? Пришла партія рабочихъ сюда, я и сдѣлалъ распорядокъ: перекуси-де здѣсь да сейчасъ же съ Богомъ и трогай изъ села, куды кому путь лежитъ, иди домой да тамъ и твори чего хошь, а тутъ-де не пропивайся, и безъ того ужъ у насъ по волости дѣловъ-то не оберешься, а тутъ, моль, у васъ еще слѣдствие за слѣдствіемъ пойдетъ, однимъ разгономъ лошадей овольный то людъ смаялся отъ вашихъ непутствъ, говорю. Ну, и поднялся споръ. Вѣдь они меня, сударь, въ колья было приняли.

— Рабочіе или здѣшніе крестьяне?

— И крестьяне, а за ними и рабочіе; едва убежъ отъ нихъ, изъ сосѣдняго села ужъ народъ сбиль. Пріѣхалъ съ народомъ да тогда ужъ заклепалъ кабаки-то и старосту устранилъ за то, что онъ супротивъ этого распорядку пошелъ замѣсто того, чтобъ мнѣ помочь! Они съизнова кабаки растворили. Што-жъ, побился-побился я съ ними да и махнулъ на все рукой; што я одинъ-то подѣлаю, сударь? Только жизнь свою подъ пагубу подведу. Ну, вотъ и подали просьбу: разоряю-де ихъ, а што сами они не одну тыщу народа разоряютъ,—объ этомъ и рѣчи нѣтъ. И все вѣдь это, сударь, на виду у начальства и дѣялось съ-искони, и дѣется, и могли бы этотъ разбой совратить, да не хотять видѣть.

— Почему ты думаешь, что не хотять?

— Не выгодно, што-ли, Богъ ихъ знаетъ, не намъ судить о вышней власти, сударь.

— Ну, а какъ же ты думаешь, Флегонтъ Дмитричъ, почему бы невыгодно было и кому бы именно невыгодно отъ этого было, а? Вѣдь ты все-таки предполагаешь же что-нибудь.

— Наше дѣло темное, мужичье, сударь, уклончиво отвѣтилъ

онъ. — Полагаемъ же про себя, что коли здѣшній мужикъ насчетъ грабежу въ благодати живетъ, то, можетъ, эта благодать то и не въ одинъ его карманъ плыветь, а и въ другихъ чьихъ ни на есть прорѣхи затыкаеть, а вторительное дѣло — отъ этого порядка и золотоискателямъ выгода.

— А тѣмъ какая же выгода?

— Э-э, имъ-то отъ этого, сударь, прямая выгода. Коли рабочій-то только вышелъ съ присковъ да тутъ-же и пропился, такъ имъ и лучше того не требуется. Коли онъ бы заробленны деньги свои въ цѣльности до дому донесъ, приспособилъ бы ихъ на оправу хозяйства, такъ они бы его и крупнчатныгъ кренделемъ въ другорядъ-то на приски не заманили, сударь: порядки-то тамъ вѣдь не сладкіе, только горькая нужда одна гонить мужика-то на эту золотую каторгу, а коли онъ вотъ тутъ-то пропѣется до послѣдней нитки, такъ онъ самъ къ нимъ съизнова въ работу придетъ и закабалится на какіе хошь контракты, только не допусти души до пагубы, а имъ это и надо!.. Э эхъ, много, сударь, чрезъ ихнее-то золото мужичьихъ слезокъ течеть, оттого оно, знать, и блеститъ такъ ярко, что не простой водицей промыто, добавилъ онъ, усмѣхнувшись и покачавъ головой. — Да ужъ про нихъ, сударь, этихъ золотоискателей, и говорить нечего. Богъ съ ними! Мужикъ для нихъ разѣ человекъ, разѣ они понимаютъ, што въ немъ такая-же душа, какъ и въ нихъ? Они скотину свою, сударь, болѣе цѣнятъ и дорожатъ ею, чѣмъ рабочимъ. У много изъ нихъ скотина-то въ большей холѣ живетъ, слаще ѣсть и пьеть, чѣмъ ихній рабочій; знаемъ мы тоже, бывали на прискахъ-то!.. Ну, да одно ужъ скажу: они кушцы, у нихъ совѣсть-то сквозная, только будто золотомъ обернутая, а не онучей, какъ у нашего брата мужика... А што вотъ нашъ-то братъ, мужикъ, эдакъ-то съ рабочимъ обороты ведетъ, ужъ тутъ, сударь, грѣхъ потакнуть, грѣ-в-ѣхъ! Ужъ это, кабы моя власть да воля была, сократилъ бы я ихъ. Ну, да выше росту не прыгнешь, выше головы волосы не растутъ, съ горечью въ голосѣ заключилъ онъ. — Чего мнѣ теперича будетъ по ихней-то чело-битной, судить станутъ меня, што-ль?.. съ ироніей спросилъ онъ...

— Не бойся, Флегонтъ Дмитричъ, обойдется дѣло, успокоилъ я его.

— О-о о!.. А они-то грозили меня тогда и въ острогъ запереть, особливо Бузьма-то Терентьичъ, хозяинъ-то вашъ, очень даже изъ сердцовъ выходилъ въ тѣ поры, распинался за общество!..

— Развѣ и онъ принималъ участіе въ этомъ дѣлѣ?..

— Онъ-то и главный заводчикъ всему дѣлу!.. Си-и-ила онъ!.. По его-то слову, какъ по дудочкѣ, всѣ и пляшутъ здѣсь. Ну, да и въ губерніи-то за него ходателевъ много найдется, вѣдь иные и золотояскатели-то, сударь, по его ниточкѣ ходятъ!..

— Объясни, какъ это по его ниточкѣ ходятъ?..

— Въ долгу, стало-быть, у него на большую половину сидятъ. Вы не взирайте, сударь, што онъ мужикъ, капиталу-то у него—о-о-о! Городъ купить, коли захочетъ, не сумняйтесь.

— И все это такимъ путемъ нажито, какъ ты рассказывалъ?

— Много у нихъ было путей-то, сударь, всего-то и въ недѣлю время не обскажешь. Мно-о-ого! повторилъ онъ. — Отецъ-то его, покойная головушка, Терентій Савичъ, поколь не объявилось золото по здѣшнимъ мѣстамъ, въ бо-ольшой бѣдности жилъ, не разъ за подушную подать въ контрактную работу его отдавали, сударь, а померъ-то вѣдь съ какими тыщами. Храмъ божій воздвигъ, единственно, почестъ, на свой достатокъ, двѣ медали носилъ, участвовалъ до всякаго почету, а на душѣ его не мало грѣховъ лежало, если поразсказать-то все, какъ онъ до фортуны своей доходилъ! Когда вѣдь золото-то объявилось, сударь, такъ народъ-то валомъ повалилъ на пріиски, всякаго льстилъ прибыльной зароботокъ, съ порядками-то ихними не ознакомились тогда, еще, ну и шли!.. У иного крестьянина вѣдь какое хозяйство-то было, вѣкъ бы въ довольствѣ прожилъ; польстился наживой, пошелъ, а съ нимъ и все пошло прахомъ. Отъ энтихъ пріисковъ, сударь, не одна тыща нашего брата, мужика, по-міру пошла, раззоръ отъ нихъ народу, а не польза. Другой бы мужикъ, глади, приспособился бы къ хозяйству и жилъ бы, если не лучше другихъ, то и не хуже бы, а теперь онъ идетъ на пріиски, хозяйство-то бросаетъ, жена-то съ робятами мается по-міру, домъ и все у него рушится, да и онъ-то не воскреснетъ! Съ начетами да перечетами на пріискахъ воли и получать какія деньги за работу на руки, вырвется сюда да тутъ ихъ и положить въ распахнутые карманы, а домой-то придетъ съ нищей сумой, вотъ и встрѣчай

жена радѣтеля о хозяйствѣ, его же обуи, одѣнь да и прокорни зиму. Вотъ какіе порядки отъ присковъ-то въ народѣ идутъ, сударь.

— А какъ же нажился отецъ-то Бузын Терентьича? спросилъ я, прервавъ его.

— А какъ нажился, сударь? Въ первый-то годъ по открытіи присковъ народъ-то вывалилъ съ нихъ извѣстно съ деньгами, вырвался изъ этой каторги-то и захотѣлъ загулу, а разгуляться-то было негдѣ, на мѣстѣ-то энтотъ стоялъ одинъ починокъ всего о семи-во семи дворахъ, — какой тутъ загулъ, воли и кабака не было да и обогрѣться, и передыхнуть-то негдѣ? Терентій-то и смекни, что струна выпадаетъ, что была бы лапа, а загребать есть чего. Перебейся, какъ ни какъ да и отерой кабаекъ. Ходила въ народѣ молва тогда, что ему и денегъ-то на кабаекъ золотиискатель какой-то далъ, съ тѣмъ, чтобы онъ спаивалъ народъ, чтобы имъ, значить, легче было снова рабочихъ-то въ контрактъ залучить. Ну, какъ открылъ онъ кабаекъ-то, тутъ ужъ и повали-ишло ему и полило-о-ось вино изъ посуды, а деньги въ сундукъ. Въ первую-же зиму онъ и домъ вырубилъ новый, просторный, — сгорѣлъ онъ, рабочіе-же, сказываютъ, и спалили; теперь на эфтомъ мѣстѣ ужъ лавки стоятъ, и на-а тебѣ, изъ дому-то постоянный дворъ снарядилъ. и пошло тутъ у него народу всякое удовольствие: и дѣвокъ на ихъ прохладу держалъ, и мангазей съ товарами снарядилъ, да одинъ Господь только вѣдаетъ, чего тутъ не было! Два раза, сударь, покойникъ-то подъ вожемъ былъ ужъ, какъ только Господь оборонилъ его, диво! А рубецъ на лбу такъ и проносилъ всю жизнь, то — поромъ, сказываютъ, махнули его, да увернулся, только краемъ кожу до кости просѣкло: не часъ, знать, былъ! Ну, и отъ него, какъ поговаривали старики, не одна головушка допрежь время въ землю ушла, — всего бывало, денежки-то тоже не даромъ доставались ему! Увидалъ какъ народъ-то, что Терентій своимъ заводомъ фортуна приманилъ къ себѣ, и повали-илъ сюда на жительство, да теперича изъ поселка-то вонъ какое село выровнялось, съ инымъ городомъ поспорить! Гдѣ наперво-то одинъ Терентій хозяйствовалъ, а теперь ужъ ихъ десятками считать вводится. Вѣдь тутъ однихъ мангазеевъ съ товарами, сударь, оолѣ двадцати насчитываемъ! Чѣмъ не городъ?.. А кабаковъ и-и-и, Господи твоя воля!.. Да каждый домъ — кабаекъ и блудное мѣсто, — вотъ какъ по правдѣ-то говорить надоть!

— Терентій-то давно померъ?

— Годовъ ужъ двадцать будетъ теперь время. Въ послѣднито годы онъ ужъ не хозяйствовалъ, сыну все предоставилъ, а самъ на покоѣ жилъ. Какъ только выклялъ церковь, такъ и пригѣнился къ ней и пици мясной не прималъ, однимъ благочестіемъ заимствовался, за все только Богу молился и денно, и ноцно, сказывають, на колѣнахъ предъ иконами простаивалъ!.. Ну, и сынку-то, сударь, тоже много годковъ потребуется грѣхито молитвами отскрѣбать. Татеньку-то, пожалуй, на добрую версту перегналъ! смѣясь, закончилъ онъ.

На очной ставкѣ лица, подписавшія прошеніе, не могли представить никакихъ доказательствъ въ подтвержденіе своего вывода въ насильственныхъ поборахъ, производимыхъ Блокачевымъ подь предлогомъ взиманія съ нихъ податей, а также не привели ни одного факта, который бросалъ бы тѣнь на репутацію его. Просьба эта была однимъ изъ тѣхъ явленій, какія, къ несчастію, нерѣдко практикуются въ народѣ и особенно среди зажиточныхъ крестьянъ, когда имъ для достиженія своихъ неблаговидныхъ цѣлей необходимо отстранить какое-нибудь лицо, отъ котораго они встрѣчаютъ или надѣются встрѣтить препятствіе. Это доносъ, ни на чемъ неоснованный, а если и основанъ на какомъ-нибудь фактѣ, то самый фактъ всегда представляется въ искаженномъ и преувеличенномъ видѣ. Крестьяне сосѣднаго села, бывшіе въ качествѣ понятыхъ при закрытіи Блокачевымъ кабаковъ, вполне подтвердили все то, что говорилъ самъ Блокачевъ, и на повальномъ обыскѣ въ одинъ голосъ доказывали неблаговидность поведения своихъ сосѣдей. Можетъ быть, благодаря просякамъ такого вліятельнаго лица, какъ Кузьма Терентьичъ, Блокачевъ, выбранный всею волостью въ головы на второе трехлѣтіе, не былъ утвержденъ въ этой должности вслѣдствіе недобрительнаго отзыва о немъ его ближайшаго начальства.

Не такъ уже приглядны показались мнѣ красивые дома съ зорными балконами на точеныхъ колонахъ, когда я проѣзжалъ мимо ихъ на обратномъ пути изъ Т...я. „Еслибы моя власть воля была, — я загородилъ бы это село тремя заборами отъ ра... чихъ!“ невольно припомнились мнѣ, при видѣ ихъ, слова Блок... ачева. Не одна, можетъ быть, сотня теперь бездомныхъ крестьянъ коротаетъ свой жалкій вѣкъ на присахъ, сози-

дая своимъ тяжелымъ многолѣтнимъ трудомъ чужое благосостояніе и благосостояніе своихъ же братьевъ крестьянъ, съумѣвшихъ соткать для нихъ на перепутьѣ ихъ въ родныя села и деревни, такую искусную паутину, въ которой волей-неволей запутываются они и становятся жертвами ихъ. И неужели нѣтъ никакихъ средствъ прорвать и смести эту паутину, подрывающую въ корнѣ благосостояніе не одной тысячи рабочаго люда? „Невыгодно! снова припомнились мнѣ слова Клокачева. — Можетъ быть, благодать-то эта и въ другихъ карманахъ прорѣхи затыкаеть!“ И предо мной съ поразительной ясностью обрисовалось лицо его съ той ядовитой улыбкой, игравшей на его губахъ, когда онъ произносилъ эти слова.

Покидая Т — ь, я не предполагалъ, что мнѣ снова доведется посѣтить это село въ самый разгаръ своеобразной дѣятельности его обитателей и быть очевидцемъ глубоко-потрасающихъ сценъ. Несмотря на то, что я давно уже покинулъ Сибирь, а эти сцены и теперь еще живо проносятся предо мной, порождая во мнѣ глубокую грусть и боль за положеніе рабочаго люда, забитаго и униженнаго, но достойнаго лучшей участи.

Н. Наумовъ.

(Продолженіе будетъ.)

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

УТИЛИТАРНЫЙ ПРИНЦИПЪ НРАВСТВЕННОЙ ФИЛОСОФІИ.

(Нравственная философія утилитаризма. Историко-критическое изслѣдованіе А. Мальцева. Спб. 1879.).

Что такое нравственное чувство? Въ чемъ состоитъ единство нравственныхъ принциповъ? На чемъ оно основывается, чѣмъ оправдывается и объясняется? Гдѣ его критерій и въ чемъ именно выражается его универсальное значеніе? Всѣ эти вопросы такъ-же стары, какъ и самый міръ, и такъ-же темны и неопредѣленны теперь, какъ и во времена Сократа и Эпикура. Надъ ними впродолженіи многихъ вѣковъ ломаютъ головы философы, моралисты, теологи, разрѣшая ихъ каждый съ своей точки зрѣнія. Въ дѣйствительной жизни еще болѣе разнообразія и радикальныхъ противорѣчій во взглядахъ на этотъ крайне сложный и запутанный вопросъ. То, что европеецъ считаетъ безнравственнымъ, обитатель острова Отаити признаетъ высоко-нравственнымъ. Убійство, по нашимъ понятіямъ, отвратительный поступокъ, а для канибала не только убить, но и сожрать своего врага считается дѣломъ самымъ обыкновеннымъ и даже доблестнымъ. Въ теоріи мы всѣ согласны, что къ беззащитному плѣннику, взятому на войнѣ, слѣдуетъ относиться по-человѣчески, но это нисколько не мѣшаетъ цивилизованнымъ генераламъ Англіи вѣшать въ Авганистанѣ поповъ и офицеровъ, попавшихся въ плѣнъ,—вѣшать за то, что они защищаютъ свободу своей страны и неприкосновенность своихъ очаговъ. И все-таки моралисты и философы, вродѣ г. Мальцева, продолжаютъ пыхтѣть и потѣть надъ опредѣленіемъ единства нравственныхъ принциповъ, составляющаго основной пунктъ, исходную точку всякой нравственной философіи. Единство нравственныхъ принциповъ

общеобязательной (для даннаго, конечно, общества и для данной эпохи) морали, естественно, предполагаетъ единство нравственнаго чувства,—иными словами, предполагается, что извѣстные поступки и побужденія людей всегда и неизмѣнно (за исключеніемъ случаевъ патологическаго извращенія нравственнаго чувства) вызываютъ въ нихъ одни и тѣ-же нравственные аффекты. Такимъ образомъ, вопросъ о единствѣ нравственныхъ принциповъ неизбежно сводится къ вопросу о единствѣ нравственнаго чувства. Чѣмъ-же обуславливается это единство? Природа-ли одаряетъ людей при ихъ рожденіи этимъ чувствомъ, подобно тому, какъ она одаряетъ ихъ чувствомъ зрѣнія, обонянія, осизанія слуха, или нѣтъ? То-есть есть-ли это чувство прирожденное, интуитивное или производное, какъ продуктъ довольно сложнаго процесса окружающихъ обстоятельствъ, наслѣдственныхъ инстинктовъ, воспитанія, социальной и политической обстановки?

I.

Какъ ни разнообразны и нерѣдко противорѣчивы различныя существующія и существовавшія нравственныя системы (одинъ итальянскій историкъ нравственной философіи насчитываетъ болѣе 40 различныхъ системъ нравственности), но по своему основному направленію всѣ онѣ сводятся, въ сущности, къ двумъ категоріямъ. Къ первой категоріи относятся системы, признающія за нравственнымъ чувствомъ характеръ врожденности, интуитивности такъ-называемыя системы интуитивной метафизико-теологической нравственности. Ко второй принадлежатъ системы, отрицающія врожденность нашего нравственнаго чувства, утверждающія, что оно образовывалось въ человѣкѣ постепенно изъ опытовъ жизни и что оно можетъ быть разложено на болѣе элементарныя, первичныя побужденія человеческой природы. Самымъ элементарнымъ, первичнымъ, психологически-неразложимымъ побужденіемъ человеческой природы является стремленіе къ удовольствію и отвращеніе отъ страданія, боли. Изъ этого-то основнаго стремленія системы эти и стараются вывести возникновеніе и развитіе чувства нравственности. Такъ-какъ въ общепитіи принято сочетать представленіе объ удовольствіи съ представленіемъ о пользѣ, а представленіе о страданіи съ представленіемъ о вредѣ, то системы этой категоріи и получили названіе системъ утилитарныхъ.

Нечего и говорить, что въ рѣшеніи вопроса о генезисѣ, т. е. происхожденіи нравственнаго чувства, только системы по-

слѣдней категоріи — системы утилитарныя, и могутъ претендовать на какое-нибудь научное значеніе. Системы интуитивныя какъ-бы тонко, мѣтко и глубоко ни анализировали онѣ природу и сущность этого чувства, ничего намъ не говорятъ ни о его происхожденіи, ни о его развитіи. Онѣ заранѣе предполагаютъ этотъ вопросъ какъ-бы уже рѣшеннымъ и рѣшеннымъ безапелляціонно. Признавъ нравственное чувство врожденнымъ, первичнымъ, неразложимымъ, онѣ тѣмъ самымъ устраняютъ необходимость какихъ-бы то ни было опытныхъ изслѣдованій о его генезисѣ. Отсюда само собою понятно, что теоріи эти совершенно некомпетентны въ дѣлѣ научнаго разъясненія вопроса о единствѣ принциповъ общеобязательной (для даннаго времени и общества) морали, т. е. единства нравственнаго чувства людей. Слѣдовательно, всякій, кого интересуеть этотъ вопросъ, долженъ искать отвѣта на него исключительно лишь въ утилитарныхъ системахъ нравственности, — системахъ, получившихъ свое начало въ самой глубокой древности и завоевавшихъ себѣ въ наши дни господствующее, преобладающее мѣсто въ современной намъ нравственной философіи и психологіи.

Источниковъ для ознакомленія съ исторіей этихъ системъ въ обиходѣ російскаго читателя находится очень не много, да и тѣ, которые есть (если не считать книжки Миля «Объ утилитаризмѣ»), не отличаются ни доброкачественностью, ни удобочитаемостью. Очень можетъ быть, что русскій читатель и не чувствуетъ себя отъ этого въ убыткѣ: онъ изъ прописей знаетъ о существованіи общеобязательныхъ нравственныхъ ярлыкохъ, опытъ жизни научилъ его свято и ненарушимо хранить ихъ (что, конечно, ничуть его не обязываетъ осуществлять ихъ предписанія на практикѣ), и онъ хранитъ ихъ, какъ любитель древностей хранитъ старыя и стертыя отъ обращенія монеты нашихъ отдаленныхъ предковъ, — а откуда онѣ произошли, на что онѣ годятся и т. п. — до этого ему нѣтъ ни малѣйшаго дѣла. А, можетъ быть, ему и есть до этого дѣло: вѣдь нельзя-же, въ самомъ дѣлѣ, такъ-таки ни до чего не имѣть никакого дѣла? Я не знаю и рѣшать не берусь, а потому ничего не могу сказать противъ желанія г. А. Мальцева пополнить пробѣлы російскаго читателя по части исторіи утилитарныхъ системъ нравственной философіи. Если желаніе автора «Нравственной философіи утилитаризма» совпадаетъ съ таковымъ же желаніемъ читателя, то тѣмъ лучше, т. е. лучше для автора, но не для читателя. Дѣло въ томъ, что весьма сомнительно, чтобы книжка г. Мальцева могла, даже въ скромной степени, содѣйствовать пополненію читательскихъ пробѣловъ по ча-

сти исторіи утилитаризма. Во-первыхъ, исторіи утилитаризма посвящена въ ней лишь одна только часть; около же половины ея занято «критикой его основныхъ началъ», — критикой, неотличающейся ни особеннымъ безпристрастіемъ, ни особеннымъ глубокомысліемъ; во-вторыхъ, около двухъ третей, безъ малаго, этой исторіи отведено на ознакомленіе читателя съ нравственными системами Бентама, Миля, Бэна и Спенсера, т.-е. съ такими системами, съ которыми читатель, еслибъ онъ хотѣлъ, давнымъ давно могъ бы ознакомиться изъ первыхъ рукъ. Трактатъ Бентама, милевскій «Утилитаризмъ» и важнѣйшія философско-психологическія сочиненія Бэна и Спенсера переведены на русскій языкъ и уже нѣсколько лѣтъ находятся въ обращеніи публики. По поводу ихъ въ различныхъ періодическихъ журналахъ напечатано было не малое количество критическихъ рецензій и компиляцій, такъ что въ компиляціи г. Мальцева едва ли могла чувствоваться какая-нибудь необходимость. Компилируя весьма обстоятельно сочиненія, уже переведенныя на русскій языкъ и болѣе или менѣе знакомыя (если не изъ первыхъ рукъ, то по рецензіямъ) читающей публикѣ, г. Мальцевъ далеко не отличается такою обстоятельностью при компилированіи нравственныхъ системъ, мало или совсѣмъ неизвѣстныхъ большинству русскійскихъ читателей. О софистахъ, о киренейцахъ и эпикурейцахъ, положившихъ основаніе утилитарной философіи нравственности, онъ говоритъ только мелькомъ, какъ-бы для очистки совѣсти: нельзя-же, въ самомъ дѣлѣ, начинать исторію утилитаризма прямо съ Бентама или Миля! Свѣденія, сообщаемыя имъ о ихъ теоріяхъ, крайне поверхностны и неполны, въ нихъ читатель не найдетъ для себя ничего новаго, ничего такого, чего ему еще раньше, на гимназической скамьѣ, не сообщали-бы шаблонные «краткіе учебники» древней исторіи. Затѣмъ болѣе новѣйшей исторіи, начиная съ Бэкона и до Бентама, авторъ посвящаетъ всего какихъ-нибудь 50 страничекъ, тогда какъ Бэна и Спенсера онъ компилируетъ на цѣлыхъ 70-ти. Конечно, отчего-же и не наполнить 70 страничекъ выписками изъ болѣе или менѣе уже извѣстныхъ русскому читателю Бэна и Спенсера, но зачѣмъ-же обижать Лока, Гельвеція, Юма, Гартли? Очевидно, г. Мальцевъ, составляя свой историческій очеркъ утилитаризма, имѣлъ въ виду не относительныя заслуги, не относительную важность и значеніе той или другой нравственно-философской системы, того или другого философа-моралиста, и не нужды и потребности русскійскихъ читателей, а какія-то совершенно особыя, съ принятой имъ на себя задачею ничего общаго неимѣющія соображенія. Само собою

понятно, что несравненно легче и удобнѣе знакомить русскую публику съ книгами, уже переведенными на русскій языкъ и находящимися въ ея обращеніи, чѣмъ самому разыскивать и рыться въ массѣ сочиненій, еще непереведенныхъ и въ обращеніи публики ненаходящихся. Вѣдь ихъ много, да притомъ еще какъ прочтешь въ подлинникѣ, какъ изучишь какъ слѣдуетъ всѣхъ этихъ Локовъ, Гельвеціевъ, Юмовъ, Гартлеевъ, съ придачею еще «древнихъ», то, чего добраго, позабудешь все семинарское хитроуміе, забудешь всѣхъ россійскихъ Кифовъ Мокіевичей и Ивановъ Яковлевичей, вродѣ приснопамятныхъ Карпова и Юркевича, забудешь даже московскаго мудреца Соловьева и нагородишь такихъ ересей, что послѣ никакими слезами покаянія не убѣлишься...

Для видимости, правда, г. Мальцевъ дѣлаетъ видъ, будто онъ наотличнѣйшимъ образомъ и изъ первыхъ рукъ знакомъ съ литературою своего предмета. Цитать и ссылокъ на разныхъ великихъ и малыхъ философовъ по части нравственности у него не оберешься; притомъ-же, какъ истинный патріотъ, отдавая должную дань иностраннымъ авторитетамъ, онъ не забываетъ и россійскихъ мыслителей, начиная съ разныхъ Карповыхъ и Смирновыхъ до рецензентовъ «Свистопляски» включительно. Удивительная эрудиція! Но, Боже мой, какой невообразимый хаосъ произвела она въ головѣ бѣднаго автора! Изученіе по источникамъ утилитарной философіи, въ лицѣ ея наиболѣе толковыхъ и глубокомысленныхъ представителей, не выбило изъ его головы старой, престарой схоластики семинарскихъ тетрадокъ. Вся вторая часть его сочиненія, посвященная критикѣ основъ утилитарной нравственности, насквозь пропитана духомъ этихъ тетрадокъ. Ни Миль, ни Локъ, ни Спенсеръ не могли заставить его забыть назидательныхъ лекцій протоіерея Янышева (см. стр. 348, 349 и др.). Мало того, онъ какъ-то умудряется поддерживать свои мнѣнія ссылками и на «Антропологическій принципъ въ философіи», и на «Критику отвлеченныхъ началъ», приподнесенную года два тому назадъ читателямъ «Русскаго Вѣстника» московскимъ философомъ Соловьевымъ. Одобряя послѣдняго, онъ въ то-же время похваляетъ и г. Ленскаго (выкопаль-же!) и соглашается съ г. Михайловскимъ (стр. 232, 233). Ушинскаго онъ подкрѣпляетъ Аристотелемъ (стр. 307) и послѣ обширныхъ выписокъ изъ Спенсера, Бэна, Милиа онъ подчуется насъ глубокомысленными изрѣченіями разныхъ Чичериныхъ, Гусевыхъ, Жантили (пресловутый авторъ шарлатанской брошюры: «Атеизмъ, опровергаемый наукою»), Алиновъ, Жане и иныхъ подобныхъ имъ «мыслителей».

Трудно даже себя объяснить, как это в умѣ одного и того-же человѣка могло совмѣститься столько противорѣчивой, самую себя побивающей мудрости! По-истинѣ, головы россійскихъ ученыхъ изготовляются изъ какого-то совершенно особаго матеріала... Какъ онѣ не лопнуть и не разорвутся, несмотря на такое обиліе начинки, составленной изъ взаимно отталкивающихъ другъ друга ингредиентов! Какъ не воскликнуть: великъ Богъ, если и не земли русской, то, по крайней мѣрѣ, русской науки! За то велика-же и смѣлость «воздѣлывателей» этой науки! Смѣлость, напр., г. Мальцева не ограничивается только тѣмъ, что онѣ съ рѣшительностью семинариста (есть мнѣніе, будто семинаристы—народъ очень рѣшительный) побиваетъ нравственную философію утилитаризма авторитетами протоіерея Янышева, философовъ Жана, Жангили, Соловьева и имъ подобныхъ,—нѣтъ, онѣ не останавливается даже передъ фальсификаціею и поддѣлкою чужихъ мыслей и притомъ мыслей такихъ писателей, сочиненія которыхъ давнымъ давно уже находятся въ безпрепятственномъ обращеніи русской публики и давнымъ давно прочтены всѣми сколько-нибудь образованными читателями. На первой страницѣ «введеніи» къ своей «Нравственной философіи» г. Мальцевъ утверждаетъ, будто нѣтъ «болѣе рѣзкой и глубокой черты отличія человѣческой природы отъ природы животныхъ, какъ та, которая характеризуетъ человѣка, какъ существо нравственное», и что будто съ этимъ его, Мальцева, мнѣніемъ согласны даже и такіе мыслители, которые всего менѣе склонны признавать качественное различіе между человѣкомъ и животнымъ, какъ, напр., Дарвинъ. Въ доказательство согласія съ собою Дарвина Мальцевъ приводитъ первыя четыре строки, которыми авторъ «Происхожденія человѣка» начинаетъ главу, посвященную нравственному чувству и его развитію въ животномъ царствѣ («Происхожденіе человѣка», пер. Съченова, I т., гл. III, стр. 73; у Мальцева, вмѣсто 73 стр., указана стр. 50, на которой цитированной имъ цитаты и въ поминѣ нѣтъ.) Въ этихъ четырехъ строчкахъ Дарвинъ, дѣйствительно, говоритъ, что онѣ согласенъ «съ мнѣніемъ писателей, которые утверждаютъ, что изъ всѣхъ различій между человѣкомъ и низшими (замѣтьте: низшими) животными самое важное есть нравственное чувство». Но, признавъ это различіе важнымъ, Дарвинъ на слѣдующихъ страницахъ доказываетъ, что какъ оно ни важно, а все-же оно не настолько существенно, не настолько рѣзко и глубоко, чтобы въ немъ можно было видѣть качественное отличіе человѣка отъ животнаго. «Каждое животное, одаренное ясно выраженными общественными инстинктами (какъ, напр., обезьяны, муравьи, пчелы, до-

машнія прирученныя животныя, многіе виды птицъ и т. п.), должно роковымъ образомъ приобрести нравственное чувство или совѣсть, какъ только его умственные способности достигнутъ такого-же или почти такого-же развитія, какъ у человѣка» (стр. 75). Слѣдовательно, по мнѣнію Дарвина, все различіе въ сферѣ нравственнаго чувства человѣка отъ животнаго сводится къ простому количественному различію умственныхъ способностей того и другого. Зачѣмъ-же г. Мальцевъ, выдергивая изъ книги Дарвина отдѣльныя фразы, прикрываетъ себя его авторитетомъ? Понимаетъ-ли онъ, что читаетъ, или нѣтъ?

Впрочемъ, понимаетъ онъ или нѣтъ — это для насъ не особенно важно. Еслибы даже онъ и дѣйствительно все понималъ, что читаетъ, и еслибы онъ дѣйствительно все читалъ, о чемъ пишетъ, то и тогда онъ не могъ-бы выполнить того элементарнаго требованія, которому долженъ удовлетворять каждый историкъ, — требованія безпристрастія. Его «исторія» въ чисто-фактическомъ отношеніи вышла-бы болѣе подробною и обстоятельною, но ея духъ, ея тенденція, группировка и расположеніе матеріала остались-бы все тѣ-же. Дѣло въ томъ, что самъ онъ стоитъ на точкѣ зрѣнія, діаметрально противоположной точкѣ зрѣнія утилитаризма, — на точкѣ зрѣнія интуитивныхъ и аскетическихъ теорій нравственности. Я не стану, конечно, опровергать здѣсь этой почтенной точки зрѣнія; я вполне согласенъ,¹ что она неопровержима, такъ-какъ она недоказуема. Для критики достаточно лишь ее статировать, и затѣмъ она съ чистою совѣстью можетъ оставить ее въ покоѣ. Но для того, чтобы меня не обвинили въ пристрастномъ и голословномъ мнѣніи, я предоставляю говорить за свою теорію самому г. Мальцеву.

Г. Мальцевъ, какъ человѣкъ изучавшій не только лекціи Янышева, «Отвлеченныя начала» Соловьева, «Новости западныхъ литературъ» Корша, «Свойства истинной добродѣтели» неизвѣстнаго сотрудника «Журн. мин. народн. просвѣщ.» (за сороковыя годы), и т. п., но просмотрѣвшій, по долгу историка, и Миля, и Спенсера, читавшій Михайловскаго, Ленскаго и даже «Свѣтъ» Вагнера, — г. Мальцевъ рѣшается (и думаетъ, что «въ настоящее время» никто на это не рѣшится) смотрѣть на нравственное чувство, какъ на какую-то таинственную силу, неизвѣстно какимъ чудомъ вложенную въ человѣческое нутро. За то онъ признаетъ его врожденною способностью... «Отличать хорошее отъ дурнаго, доброе отъ злого, нравственное отъ безнравственнаго; оцѣнивать ихъ и при этомъ отдавать внутреннее предпочтеніе всему хорошему передъ дурнымъ, слѣдовать тому, что одобряется, и избѣгать того, что порицается, хотя выполненіе этого

стояло-бы въ противорѣчій съ нашими выгодами и интересами, и, наконецъ, чувствовать особенное, безпокойное, тревожное состояніе всякій разъ, какъ мы совершили дурное дѣло, и наоборотъ—свѣтлое, пріятное, по совершеніи добраго дѣла» (стр. 235).

Способность, какъ видите, очень сложная и многосторонняя! Чтобы изобрѣсти ее, нужно быть большимъ знатокомъ въ психологіи, и чѣмъ она хуже или болѣе правдоподобна, чѣмъ «таинственная сила»? Но дѣло не въ томъ; дѣло въ самомъ пріемѣ мышленія мыслителей, подобныхъ г. Мальцеву. Ихъ спрашиваютъ: что такое масло? а они отвѣчаютъ: вещество, обладающее способностью быть маслянистымъ. Что такое нравственность? Способность отличать нравственное отъ безнравственнаго, поступать нравственно и не поступать безнравственно. Но что-же считается нравственнымъ? То, что мы, въ силу нашей способности отличать нравственное отъ безнравственнаго, признаемъ нравственнымъ и чему отдаемъ предпочтеніе передъ безнравственнымъ! А что-же считается безнравственнымъ? То, что мы, въ силу нашей способности отличать нравственное отъ безнравственнаго, признаемъ безнравственнымъ, и чего, какъ таковаго, должны, опять въ силу той-же способности, избѣгать... и т. д., и т. д. до безконечности. Однимъ словомъ, *idem per idem*, Кузьма съ Демидомъ, или новый вариантъ сказки «О бѣломъ бычкѣ». Согласитесь, читатель, что подобные отвѣты не подлежатъ критикѣ; они даются и выслушиваются (при нѣкоторой, конечно, благосклонности слушателя), но не обсуждаются и не разбираются.

Итакъ, исходная и основная точка зрѣнія на нравственное чувство почтеннаго автора «Нравственной философіи утилитаризма» не можетъ занимать насъ и я не упомянулъ-бы о ней ни слова, еслибы она не играла нѣкотораго значенія при оцѣнкѣ его историческаго безпристрастія. Представьте себѣ, что какому-нибудь Шепферу, вбившему себѣ въ голову, будто не земля вращается вокругъ солнца, а солнце вокругъ земли, пришла-бы несчастная мысль написать исторію астрономіи съ древнѣйшихъ временъ вплоть до нашего. Какою-бы историческою эрудиціей онъ ни обладалъ и какъ-бы онъ ни старался быть добросовѣстнымъ, но его *idée fixe* насчетъ неподвижности земли, помимо его воли и вѣдома, заставила-бы его отнестись къ собранному имъ матеріалу, и въ особенности къ его группировкѣ и освѣщенію, съ нѣкоторымъ пристрастіемъ. Онъ непременно попытался-бы подтянуть исторію астрономическихъ теорій подъ свою возлюбленную идейку и ухитрился-бы такъ ихъ расположить и раскрасить, что въ-концѣ-концовъ дѣйствительно оказалось-бы, будто

астрономія, въ своемъ прогрессивномъ развитіи, стремится поставить внѣ всякихъ сомнѣній истинность и непогрѣшимость теоріи его, Шепфера, ложность и нелѣпость теорій Галилея, Коперника, Ньютона и Лапласа. То-же самое случилось-бы, если-бы, напр., какой-нибудь Жантили, обладай онъ даже эрудиціей и добросовѣстностью покойнаго Ланге, соблазнился-бы успѣхомъ книги послѣдняго «Geschichte d. Mater.» и вздумалъ - бы тоже написать, съ своей точки зрѣнія, «Исторію матеріализма». Легко вообразить, что это была-бы за курьезная исторія! Нашъ московскій мудрецъ, г. Соловьевъ, дебютировалъ, какъ извѣстно, очеркомъ современнаго состоянія западно-европейской философіи вообще и позитивизма въ частности («Кризисъ западной философіи»). И что-же оказалось въ результатъ этого очерка? А то, что научная философія переживаетъ нынче какой-то кризисъ, и что естественнымъ исходомъ для нея изъ этого кризиса можетъ быть только слитіе ея съ фантастическою, индійско-теологическою метафизикой. Возрожденіе и обновленіе научнаго мышленія въ мышленіи метафизическомъ и теологическомъ,—такова, по его мнѣнію, конечная цѣль и постоянное стремленіе прогрессивнаго развитія западной философіи. Если можно, подъ вліяніемъ предвзятой идеи, извращать до такой степени факты современной дѣйствительности, то ужъ о фактахъ прошлаго, о фактахъ историческихъ и говорить нечего. Вообразите-же себѣ теперь, что-бы вышло, еслибы г. Соловьевъ взялъ на себя трудъ ознакомить російскую публику, и притомъ еще публику Соляного городка, съ исторіей развитія научной философіи! А между тѣмъ авторъ «Кризиса» признанъ «учеными людьми» патентованнымъ философомъ, чуть-ли даже не докторомъ отъ философіи, и самъ Катковъ давно уже возложилъ на его «умную» голову славные лавры (правда, нѣсколько поблекшіе) приснопамятнаго Юревича. Послѣ этого какъ-же возможно его заподозрить въ недостаткѣ эрудиціи или добросовѣстности?

II.

Съ г. Мальцевымъ приключилась исторія совершенно аналогичная съ соловьевскимъ случаемъ. Съ точки зрѣнія Соловьева, научная философія должна необходимо переживать въ настоящее время кризисъ (иначе «мудрость» Соловьева оказалась-бы величайшей простотой) и не можетъ иначе выйти изъ него, какъ при помощи и содѣйствіи метафизической доктрины.

Точно также, съ точки зрѣнія г. Мальцева, нравственная философія утилитаризма, какъ несогласная съ его, мальцевскимъ, воззрѣніемъ на нравственное чувство, должна необходимо искать своего обновленія въ философіи мистико-интуитивной нравственности и, поглотивъ въ себѣ всѣ наиболѣе фантастическіе элементы послѣдней, возродиться къ новой жизни. Подъ этотъ-то выводъ существенно-важный для успокоенія его совѣсти, онъ и подгоняетъ свою исторію утилитаризма. По его мнѣнію, философія утилитарной нравственности, начиная съ древнѣйшихъ временъ и кончая Спенсеромъ включительно, постоянно прогрессируетъ въ смыслѣ сближенія и объединенія съ абстрактной и метафизической философіей нравственности интуитивной. «Она начала, говорить онъ,—съ системъ самаго грубаго эгоизма и абсолютно отвергла существованіе какихъ-бы то ни было безкорыстныхъ мотивовъ въ человѣческой природѣ и кончила (но почему-же вы думаете, что она уже кончила свой циклъ развитія? Почему вздумалось вамъ возвести Спенсера, котораго далеко не всѣ утилитаристы считаютъ за представителя утилитарной теоріи и который самъ говоритъ о себѣ, что онъ только «не противникъ» этой теоріи,—почему вздумалось вамъ возвести его въ какую-то *омегу* нравственной философіи утилитаризма?) признаніемъ самыхъ высокихъ и благородныхъ свойствъ, коренящихся въ симпатіи и благожелательности»... «Грубый (?) мотивъ дѣятельности: «все для меня самого и только для меня», переходитъ черезъ дѣйствіе асоціаціи идей мало-по-малу въ мотивъ болѣе или менѣе гуманный, альтруистическій, пока, наконецъ, болѣе безпристрастный и тонкій анализъ не открываетъ въ душѣ человѣка съ самаго начала существованіе подобныхъ безкорыстныхъ мотивовъ поведения. Начавши съ прямого антитеза доктрины стоицизма, утилитарная доктрина, сглаживая свои наиболѣе рѣзкія и грубыя черты, мало-по-малу старается приблизиться не только къ стоицизму, но и усвоить себѣ всѣ лучшія качества и стороны ученія другихъ (т. е. интуитивныхъ) системъ нравственности»... (стр. 194, 195).

Исторія—извѣстная блудница; каждому она даетъ все то, что отъ нея требуется. Съ ея помощью можно доказать какое угодно положеніе, но все-таки для этого нужны, во-первыхъ, нѣкоторая ловкость, а во-вторыхъ, и нѣкоторое знаніе. Но г. Мальцевъ не особенно ловокъ, да и насчетъ знаній... немножко хромаетъ. Вслѣдствіе этого, выводъ, сдѣланный авторомъ изъ исторіи утилитаризма, оказывается пришитымъ къ послѣдней «живыми нитками» и съ «обстоятельствами дѣла» ни мало несообразнымъ. Онъ утверждаетъ, напр., что въ началѣ ути-

литаристы сводили нравственное чувство къ одному лишь «грубому», чисто-эгоистическому мотиву дѣятельности, а теперь они будто - бы «открыли въ душѣ человѣка съ самаго начала существованія» рядомъ съ эгоизмомъ альтруистическіе или, какъ онъ выражается, «безкорыстные мотивы поведенія». Но какіе - же это утилитаристы сдѣлали это открытіе? Представителями новѣйшаго, современнаго утилитаризма авторъ считаетъ Миля, Бэна и Спенсера. И что-же? И Милъ, и Бэна, и Спенсера онъ упрекаетъ именно въ томъ, что они выводятъ чувство симпатіи и вообще альтруистическія чувства людей изъ чисто-эгоистическихъ побужденій, что они видятъ въ этихъ чувствахъ не нѣчто первичное, «съ самаго начала существующее», а нѣчто вторичное, производное. Такъ о Милѣ, на стр. 116, онъ съ сожалѣніемъ замѣчаетъ: «существованіе симпатіи и благожелательности для Миля не подлежитъ сомнѣнію, хотя онъ и возводитъ первичный генезисъ ихъ къ чисто-эгоистическимъ побужденіямъ,—побужденіямъ, которыя, въ силу извѣстнаго психологическаго закона асоціаціи, дѣлаются потомъ совершенно безкорыстными».

Относительно Бэна и Спенсера ему точно также извѣстно, что первый (т. е. Бэнъ) выводитъ чувство симпатіи изъ «способности воспоминанія своихъ собственныхъ пережитыхъ состояній»; «видѣ другого человѣка, терпящаго холодъ, голодь, усталость, пробуждаетъ въ насъ воспоминаніе о подобныхъ состояніяхъ, испытанныхъ нами прежде, и которыя, однакожь, мучительны и теперь даже въ качествѣ отвлеченныхъ представленій» (стр. 140); слѣдовательно, по его (т. е. Бэна) мнѣнію, источникъ симпатіи коренится въ чисто-эгоистическомъ чувствѣ человѣка: онъ страдаетъ при видѣ страданія ближняго не отъ какого-то врожденнаго къ нему участія, а только отъ воспоминаній о своихъ собственныхъ страданіяхъ; второй, т. е. Спенсеръ, выводитъ чувство симпатіи изъ чувства общительности, а послѣднее объясняетъ чувствомъ самосохраненія и сохраненія рода, т. е. чувствами чисто-эгоистическими (см. стр. 179).

Итакъ, гдѣ-же эти новѣйшіе представители современнаго утилитаризма, которые «открываютъ существованіе въ душѣ человѣка съ самаго начала», рядомъ «съ грубымъ эгоистическимъ мотивомъ дѣятельности, безкорыстные мотивы поведенія»? Изъ словъ самого-же Мальцева оказывается, что «и въ началѣ, и теперь» за первичный мотивъ человѣческой дѣятельности утилитаризмъ всегда признавалъ и признаетъ лишь одинъ «грубый» эгоизмъ, проявляющійся въ томъ, что каждое существо стремится къ личному счастью (удовольствію) и избѣгаетъ личныхъ стра-

даній; къ этому мотиву онъ сводилъ и сводить возникновеніе и развитіе въ человѣческой душѣ альтруистическихъ чувствъ, «безкорыстныхъ мотивовъ поведенія». И это-то именно и составляетъ одну изъ характеристическихъ, отличительныхъ чертъ философіи утилитарной нравственности. И современному утилитаризму она настолько присуща, насколько была присуща и утилитаризму древнему. Но автору во что-бы то ни стало хочется усмотрѣть въ исторіи развитія утилитарныхъ доктринъ постепенное сглаживаніе и исчезновеніе этой черты; желаніе его весьма понятно, какъ понятно и желаніе г. Соловьева сочинить какой-то кризисъ научной философіи и видѣть въ этомъ кризисѣ залогъ ея будущаго примиренія и слитія съ метафизической доктриной. Бѣда только въ томъ, что нельзя-же свои субъективныя, хотя-бы и весьма благонамѣренныя желанія навязывать объективной исторіи развитія реальныхъ фактовъ — исторіи, ни мало даже неумышляющей объ ихъ осуществленіи. Нѣтъ спора, что философія утилитаризма сдѣлала нѣкоторый шагъ впередъ послѣ Гобса, Гартли, Гельвеція и Мендевила, но совсѣмъ не въ томъ направленіи, на которое указываетъ перстомъ г. Мальцевъ, совсѣмъ не въ направленіи къ сближенію и примиренію съ интуитивно-мистическими теоріями нравственности. Она не признаетъ теперь, подобно тому, какъ признавала прежде, будто человѣкъ рождается на божій свѣтъ съ душою въ видѣ *tabula rasa*, съ душою, чистою отъ всякихъ чувствъ, стремленій, инстинктовъ и предрасположеній, кромѣ чувствъ самосохраненія, стремленія къ личному удовольствію и отвращенія отъ личнаго страданія. Въ виду прогреса современныхъ естественно-научныхъ знаній, она должна была допустить и дѣйствительно допустила, вмѣстѣ съ наслѣдственной передачею физическихъ качествъ, и наслѣдственную передачу качествъ психическихъ отъ родителей къ дѣтямъ, отъ предковъ къ потомкамъ, отъ одного поколѣнія къ другому. Допустивъ этотъ фактъ, она должна была признать и дѣйствительно признала возможность и необходимость наслѣдственной передачи и чисто-альтруистическихъ чувствъ — симпатіи, нѣжности, самоотверженности и т. п. Но это признаніе нисколько не отклоняетъ нравственную философію утилитаризма отъ ея основнаго положенія, утверждающаго, что въ основѣ нашего нравственнаго чувства, въ основѣ всѣхъ нашихъ альтруистическихъ побужденій лежитъ чисто-эгоистическій мотивъ, стремленіе къ личному счастью и отвращеніе отъ личныхъ страданій. Современный утилитаризмъ отстаиваетъ это положеніе съ такою-же рѣшительностью (хотя болѣе точнымъ, научнымъ образомъ), съ какою отстаивалъ его и утилитаризмъ

Мендевила, Гобса и ихъ предшественниковъ. Въ этомъ отношеніи, что-бы тамъ ни пѣлъ г. Мальцевъ, между древнимъ и новымъ утилитаризмомъ не существуетъ никакой разницы. Вся разница состоитъ только въ томъ, что первый, незнакомый съ теоріей развитія и наслѣдственности, выработанной современною наукою, ограничивалъ процессъ альтруизированія эгоистическихъ чувствъ тѣсными предѣлами индивидуальной жизни личныхъ опытовъ, наблюденій и приспособленій, между тѣмъ какъ послѣдній переноситъ его изъ индивидуальной сферы въ область общечеловѣческаго развитія. Индивидъ, по увѣренію утилитариста старой школы, путемъ личнаго, сознательнаго или безсознательнаго опыта и при посредствѣ асоціаціи идей и чувствъ, или просто разсчета вырабатываетъ въ себѣ симпатію, альтруистическія побужденія. Симпатическія, альтруистическія побужденія, утверждаетъ утилитаристъ, придерживающійся современной теоріи «развитія», вырабатываются изъ чисто-эгоистическихъ мотивовъ человѣческой дѣятельности цѣлымъ рядомъ поколѣній; индивидъ получаетъ ихъ какъ-бы готовыми, въ видѣ унаслѣдованныхъ предрасположеній, привычекъ и т. п. Но само собою понятно, что подобное утвержденіе ничуть не сближаетъ представителя новѣйшаго утилитаризма съ представителями теоріи метафической, интуитивной нравственности. Онъ стоитъ по-прежнему на такой-же благородной дистанціи отъ послѣднихъ, на какой стояли отъ нихъ и его учителя Гобсъ, Гартли, Локъ и, если хотите, Горцій и Протагоръ. Къ чему-же вы морочите русскихъ читателей, г. Мальцевъ?

Но это еще не все. Вы морочите ихъ и тогда, когда утверждаете, будто утилитаризмъ, «начавъ съ прямого антитеза доктринѣ стоицизма, сглаживая свои наиболѣе рѣзкія и грубыя черты, мало-по-малу приближается къ стоицизму... и т. д. (стр. 194). Впрочемъ, этимъ оригинальнымъ выводомъ изъ исторіи утилитаризма вы не столько морочите другихъ, сколько обнаруживаете свое собственное невѣжество по части исторіи нравственной философіи вообще и утилитаризма въ частности. Противопологать стоицизмъ еще можно эпикуреизму, но и то не по отношенію къ ихъ основному принципу (который у обѣихъ этихъ доктринъ тождественъ), а по отношенію къ тѣмъ средствамъ, которыя онѣ рекомендуютъ человѣку для достиженія личнаго счастья. Противопологать-же стоицизмъ утилитаризму вообще—это совершеннѣйшая нелѣпость. Основнымъ критеріемъ нравственности и высшею нравственною цѣлью, къ которой долженъ стремиться человѣкъ, стояки, какъ и утилитаристы, ставятъ личное счастье, выражающееся въ личномъ самодоволь

ствѣ. Но достигнуть этого счастья, этого полного и абсолютнаго довольства собою, человѣкъ можетъ, по мнѣнію стоиковъ, только тогда, когда онъ убьетъ въ себѣ чувствительность ко всякимъ чувственнымъ наслажденіямъ и страданіямъ, когда онъ отрѣшится отъ всякихъ личныхъ привязанностей и страстей, когда онъ никого не будетъ ни любить, ни ненавидѣть, никому не станетъ желать ни зла, ни добра, ни во что не будетъ вмѣшиваться, никому не будетъ интересоваться, — однимъ словомъ, когда онъ уйдетъ въ себя самого, какъ улитка въ раковину, когда онъ отгородится китайскою стѣною отъ всѣхъ своихъ ближнихъ, отъ ихъ радостей и печалей, отъ всего, что ихъ волнуетъ и занимаетъ, и въ гордомъ и самодовольномъ уединеніи станетъ взирать на бранный міръ, которому онъ не нуженъ и въ которомъ онъ и самъ не нуждается... Живи самъ съ собою, самъ въ себѣ и самъ для себя; живи среди себѣ подобныхъ такъ, какъ-будто ты живешь въ пустынѣ; старайся лишь объ одномъ: о сохраненіи въ цѣломудренной дѣвственности своей душевной чистоты и непорочности, непрерывно и неуклонно наслаждайся созерпаніемъ этой чистоты и непорочности; будь всегда абсолютно равнодушенъ къ окружающимъ тебя людямъ и условіямъ жизни; не старайся никогда ни измѣнять ихъ, ни протестовать противъ нихъ, ни даже охуждать ихъ; будь всѣмъ доволенъ, со всѣмъ уживайся, все переноси и ко всему приспособляйся, и ты достигнешь высшаго возможнаго на землѣ счастья, вѣчнаго, «спокойнаго и безмятежнаго самодовольства». Такова, въ общихъ чертахъ, мораль стоицизма, таковы тѣ нравственно-практическіе совѣты и предписанія, съ которыми онъ обращается къ живымъ людямъ, къ существамъ, одареннымъ нервами и мозгомъ, — существамъ, въ жилахъ которыхъ течетъ кровь, а не вода, въ грудь которыхъ вложено горячее сердце, а не кусокъ льда...

Но развѣ это не мораль самаго узкаго, ограниченнаго и отталкивающаго эгоизма? Неужели вы не понимаете этого, г. Мальцевъ? Васъ, какъ и большинство патентованныхъ и шаблонныхъ моралистовъ соблазняетъ то обстоятельство, что многіе изъ практическихъ совѣтовъ стоической доктрины, какъ, напр., совѣты насчетъ отрѣшенія отъ «міра и страстей его», нравственной и даже физической кастраціи, насчетъ «покорности судьбѣ», терпѣнія, безропотности и т. п., пришлись очень по вкусу позднѣйшимъ интуитивнымъ системамъ нравственности, — системамъ, столь достолюбезнымъ вашему сердцу. Эти системы исповѣдуютъ ту же теорію аскетизма и мертвящей апатіи, съ которою вы встрѣчаетесь и въ язы-

ческомъ стоицизмѣ. И вы такъ этому рады, что охотно готовы принять его подъ свое милостивое покровительство. Чтобы показать ему свое благоволеніе, вы рѣзко отличаете его отъ «эгоистической» морали утилитаризма и ставите новѣйшему утилитаризму въ заслугу, подмѣченную вами въ немъ тенденцію — сближенія съ доктриною стоической нравственности. Вы усматриваете въ этомъ сближеніи (существующемъ, впрочемъ, лишь въ вашей фантазіи) несомнѣнное доказательство правильнаго и естественнаго прогресса философіи утилитарной морали. Но вѣдь проповѣдь аскетизма и плотоубійства, равно какъ и самый основной принципъ стоицизма, представляетъ собою лишь воплощеніе грубаго, безсердечнаго эгоизма. Возведеніе этого грубаго, безсердечнаго эгоизма въ высшій нравственный критерій было, по словамъ г. Мальцева, исходнымъ пунктомъ нравственной доктрины древняго, такъ-сказать, первобытнаго утилитаризма. Какимъ-же образомъ возвращеніе новѣйшаго утилитаризма къ этому-же исходному пункту можетъ служить доказательствомъ прогресса въ области утилитарной нравственности? Напротивъ, это должно бы служить скорѣе доказательствомъ ея регресса, по крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія самого г. Мальцева. Вѣдь съ его точки зрѣнія прогрессъ утилитарной морали выражается именно въ томъ, что мало-по-малу сглаживаются грубыя и рѣзкія черты «ея первоначальной доктрины», возводившей будто-бы личный эгоизмъ въ единственный критерій и въ высшую цѣль человѣческой нравственности. Но въ такомъ случаѣ прогрессъ философіи утилитаризма долженъ былъ-бы сопровождаться не сближеніемъ, а, напротивъ, отдаленіемъ ея отъ философіи стоицизма. Значитъ, одно изъ двухъ: или философія утилитарной нравственности не прогрессируетъ, а постоянно регрессируетъ, или-же г. Мальцевъ самъ не понимаетъ, что говорить.

Я полагаю, что послѣднее предположеніе правдоподобнѣе перваго. Прогрессъ-то есть, такъ-какъ развитіе ученія утилитарной нравственности тѣсно и неразрывно связано съ прогрессомъ научной психологіи и антропологіи, но выражается-то онъ совсѣмъ не въ томъ, въ чемъ видитъ его выраженіе авторъ «Нравственной философіи». Онъ выражается, какъ я сказалъ уже, въ болѣе научномъ и всестороннемъ изслѣдованіи и пониманіи генезиса нравственнаго чувства, его составныхъ элементовъ, его свойствъ и функцій. Но онъ не выражается ни въ мнимомъ сближеніи утилитаризма съ аскетическою моралью стоицизма, ни въ мнимомъ примиреніи его съ мистико интуитивными системами нравственности. Точно также онъ не выражается и въ томъ мнимомъ видоизмѣненіи и расширеніи понятія о пользѣ и

счастіи, на которое указываетъ г. Мальцевъ. Онъ говоритъ, что будто-бы съ развитіемъ доктрины утилитаризма «личное эгоистическое счастье, какъ единственная цѣль дѣятельности, мало-по-малу перешло сначала въ національное, а затѣмъ, наконецъ, въ общее или, говоря точнѣе, въ счастье наивозможно-большаго числа людей» (стр. 194). Иными словами, это значитъ, что сперва утилитаризмъ обосновывалъ всю нравственность на личномъ, индивидуальномъ счастіи, затѣмъ на счастіи національномъ, а теперь обосновываетъ ее на счастіи всеобщемъ, на счастіи всего человѣчества... При поверхностномъ знакомствѣ съ послѣдовательно-смѣнявшимися одна другую утилитарными доктринами, этотъ выводъ можетъ показаться весьма правдоподобнымъ и фактически вѣрнымъ. Но внимайте въ дѣло глубже—и вы сейчасъ-же убѣдитесь въ его произвольности и лживости.

Обыкновенно—и нечего говорить, что и г. Мальцевъ придерживается этого обыкновенія—софистовъ считаютъ за самыхъ древнихъ и самыхъ грубыхъ представителей утилитарной морали. Принято утверждать, будто они признавали личный, индивидуальный эгоизмъ, и притомъ эгоизмъ самый узкій, ограниченный, животный, за основной принципъ и высшій критерій нравственности. Но, во-первыхъ, о нравственно-общественныхъ теоріяхъ софистовъ мы знаемъ очень мало, да и то, что мы знаемъ, мы знаемъ только со словъ ихъ враговъ и антагонистовъ; слѣдовательно, свѣденія о нихъ, по своей достовѣрности и доброкачественности, оставляютъ желать еще очень многого. Произносить на основаніи ихъ какой-нибудь окончательный и опредѣленный приговоръ надъ ихъ доктринами съ нашей стороны было-бы настолько опрометчиво и легкомысленно, насколько со стороны нашихъ отдаленныхъ потомковъ было-бы опрометчиво и легкомысленно судить объ ученіяхъ современныхъ намъ деистовъ и позитивистовъ, руководствуясь исключительно одними лишь данными, сообщаемыми объ этихъ ученіяхъ въ шарлатанскихъ брошюркахъ какого нибудь г. Жантали, или г. В. Соловьевымъ въ его твореніи: «Кризисъ западной философіи».

Во-вторыхъ, какъ ни скудны и мало достовѣрны наши познанія насчетъ нравственныхъ теорій софистовъ, но и они даже не даютъ намъ права приписывать всѣмъ имъ безразлично возведеніе принципа личной пользы, индивидуальнаго счастія, въ основной принципъ и критерій нравственности... Софисты представляются намъ прежде всего, какъ глубокіе анализаторы и смѣлые, беспощадные обличители той будничной, ежедневно

практикуемой нравственности, которая какъ тогда, такъ и въ наше время умѣетъ примѣняться ко всѣмъ условіямъ и требованіямъ господствующаго мнѣнія, объявляя сегодня то, что было для нея чернымъ вчера... Въ обществѣ современномъ имъ, какъ и въ обществѣ современномъ намъ, въ обществѣ, основанномъ на монополіи и произволѣ, на анархіи личныхъ интересовъ, взаимной враждѣ и животной борьбѣ «за существованіе», въ такомъ обществѣ, само собою понятно, будничная, практическая, непоказная нравственность должна исключительно опираться на грубомъ, своекорыстномъ личномъ эгоизмѣ. Такъ и было въ дѣйствительности. Каждый членъ общества, открыто признавая священными и обязательными для себя предписанія господствовавшей официальной морали, руководствовался въ то-же время въ своей будничной практикѣ принципами и соображеніями, не только неимѣющими съ этими предписаніями ничего общаго, но даже прямо имъ противорѣчащими. Это былъ фактъ общеизвѣстный и не софисты его открыли, но они первые прямо и смѣло о немъ заговорили; они дерзкою рукою сдернули маску съ моралиста-фарисея и передъ всѣми обнаружили истинный характеръ, реальную природу руководящихъ его побужденій. Оказалось, что побужденія эти относятся въ большинствѣ случаевъ къ исторіи самаго грубаго животнаго эгоизма. Оказалось, что каждый человѣкъ въ современномъ имъ обществѣ думаетъ и заботится объ одномъ лишь себѣ, что свое личное благо онъ ставитъ выше всего на свѣтѣ, дѣлаетъ себя и свой интересъ высшимъ мѣриломъ добра и зла, лжи и истины. Выяснивъ съ замѣчательнымъ діалектическимъ искусствомъ этотъ общеизвѣстный фактъ, софисты логически вывели изъ него такое заключеніе: если всѣ люди такъ поступаютъ, то, значить, подобный образъ поведенія всего болѣе свойственъ ихъ природѣ, всего болѣе естественъ. А потому и не слѣдуетъ ни скрывать, ни маскировать ходячими оговорками общепризнанной морали. Оговорки эти, очевидно, противны человеческой природѣ; безмысленно человѣку во имя ихъ ломать и калѣчить себя. Требования природы должны быть признаны открыто, публично, официально. Долой фарисейскія маски! Нравственность съ ея представленіями о справедливости, добродѣтели, долгѣ и т. п. никогда не осуществляется въ практической дѣйствительности, слѣдовательно она и не можетъ, она и не должна въ ней осуществляться... Отсюда выводъ: никакой нравственности, никакихъ законовъ не нужно; пусть каждый живетъ по своей природѣ, никѣмъ и ничѣмъ нестѣсняемый и неограничиваемый.

Но, однакожь, нравственность существуетъ; это такой-же неоспоримый фактъ, какъ и то, что въ практической жизни она никогда не осуществляется. Если она существуетъ, то, значить, была-же какая-нибудь причина, породившая ее. Она противорѣчитъ требованіямъ челоѳческой природы, она налагаетъ на нее тяжелыя цѣпи, но вѣдь что-же-нибудь да заставляло-же людей признавать ее для себя обязательною? Что-же это такое? Софисты не отвертываются отъ этого вопроса и, подвергая его своему анализу, приходятъ къ такому отвѣту: открыто и безпрепятственно слѣдуя требованіямъ своей природы, соображая свои поступки исключительно лишь съ своею личною, узко-эгоистическою выгодною, люди неизбѣжно должны были встать другъ къ другу во враждебныя отношенія, вступить во взаимную, ожесточенную борьбу. При неравномѣрномъ-же распредѣленіи между ними физическихъ и умственныхъ силъ, всѣ шансы успѣха въ этой борьбѣ выпадали на долю сильныхъ, а всѣ ея невыгоды и неудачи на долю слабыхъ—слабыхъ либо по качеству своей природы, либо по своей малочисленности. И вотъ эти-то численно или качественно слабые, руководимые опять-таки своимъ личнымъ интересомъ, естественно должны были придти къ сознанию необходимости оградить себя, за недостаткомъ естественныхъ средствъ самозащиты, какими-нибудь средствами искусственными, необходимости обуздать и ограничить ненасытныя требованія сплѣнныхъ людей.

Сознаніе этой необходимости выразилось на практикѣ установленіемъ общеобязательной нравственности и принудительныхъ законовъ. Какимъ-же образомъ количественно или качественно слабымъ могло удасться подчинить сильныхъ людей ярму закона и нравственности, ярму, выгодному лишь для первыхъ и совсѣмъ невыгодному для вторыхъ? На этотъ вопросъ софисты отвѣчаютъ, какъ кажется, различно. Одни полагаютъ, что случилось это не иначе, какъ при помощи обмана и хитрости. Такъ, напр., софистъ Каликсъ въ своемъ діалогѣ съ Сократомъ объясняетъ происхожденіе обязательной нравственности тѣмъ, что «мы людей отличныхъ и сильнѣйшихъ еще съизмолада очаровываемъ своими напѣвами, какъ львовъ, и, поработивъ ихъ себѣ, говоримъ: надобно всѣмъ имѣть поровну, въ этомъ состоитъ прекрасное и справедливое»... Другіе-же объясняютъ установленіе законовъ и нравственности взаимнымъ соглашеніемъ, договоромъ между людьми. «Когда люди, говоритъ софистъ Главконъ,—стали дѣлать несправедливость другъ другу и испытывать ее другъ отъ друга, не могли избѣгать послѣд-
1

бою, чтобы не дѣлать несправедливости и не испытывать ея. На основаніи этихъ-то условій они начали постановлять законы и договоры и предписаніе закона называть законнымъ и справедливымъ».

Да извинить меня читатель за это небольшое отступленіе... къ софистамъ. Его необходимо было сдѣлать для того, чтобы выяснитъ взгляды софистовъ на принципъ и происхожденіе нравственности,—взгляды, о которыхъ большинство моралистовъ имѣетъ весьма смутныя представленія. Дѣйствительно-ли софисты отрицали необходимость нравственности, или-же они только статировали фактъ неосуществимости и противоестественности ея при данныхъ условіяхъ современнаго имъ общественнаго быта,—это вопросъ для насъ неважный, да притомъ-же, при нашихъ скудныхъ и одностороннихъ свѣденіяхъ объ ученіи софистовъ, его и нельзя разрѣшить съ полною достовѣрностью. Платонъ разрѣшаетъ его въ утвердительномъ смыслѣ. Но кто намъ поручится, что греческій философъ, идеалистъ и полу-мистикъ, имѣлъ объ ихъ ученіи болѣе правильныя понятія, чѣмъ г. В. Соловьевъ имѣетъ о позитивизмѣ, г. Жантили объ атеизмѣ, г. Полетика о философіи вообще, г. Суворинъ о патриотизмѣ и славянскомъ вопросѣ, г. Цитовичъ о «новыхъ людяхъ» и т. п.? Однако, какъ-бы то ни было, отрицали или не отрицали софисты необходимость существованія нравственности, во всякомъ случаѣ одно для насъ несомнѣнно и вполне достовѣрно: они объясняли и оправдывали ея возникновеніе общественною пользою; общественная польза служила, по ихъ мнѣнію, ея критеріемъ и высшимъ принципомъ; такъ что въ этомъ отношеніи между ними и позднѣйшими утилитаристами не оказывается никакой существенной разницы. И тѣ, и другіе объясняютъ общеобязательную мораль принципомъ общественной пользы, и единственное различіе первыхъ (т. е. софистовъ) отъ вторыхъ (отъ позднѣйшихъ и въ особенности новѣйшихъ утилитаристовъ) состоитъ лишь въ томъ, что первые противоплагаютъ начало личнаго эгоизма, личной пользы началу общественной пользы, а вторые, напротивъ, никакой противоположности между обоими этими началами не усматриваютъ, а полагаютъ, будто все истинно полезное для индивида полезно и для общества, и что разумно понятый личный интересъ всегда находится въ полнѣйшей гармоніи съ общественнымъ интересомъ. Поэтому въ то время, какъ софисты видѣли въ предписаніяхъ нравственности какую-то узду, смирительную рубашку индивидуальнаго, личнаго эгоизма, позднѣйшіе утилитаристы стараются доказать, что между этими предписаніями и требова-

нїями разумно понимаемаго личнаго счастья существуетъ полное согласіе и солидарность.

Итакъ, принципъ общей пользы, какъ основаніе общеобязательной установившейся морали, признавался утилитаризмомъ съ самаго начала *), и увѣреніе г. Мальцева, будто принципъ этотъ усвоенъ былъ только уже впоследствии, сравнительно новѣйшими утилитаристами, не имѣетъ подъ собою никакой фактической почвы. То-же самое можно сказать и о другомъ его увѣреніи относительно постепеннаго видоизмѣненія понятія объ общественной пользѣ изъ понятія о пользѣ національной въ понятіе о пользѣ международной, общечеловѣческой. Бэконъ, съ котораго г. Мальцевъ начинаетъ исторію новаго утилитаризма, по словамъ самого-же г. Мальцева, ставя общее благо высшимъ критеріемъ и цѣлью нравственности, нигдѣ, однакожь, не говоритъ, что подъ «общимъ благомъ» онъ подразумѣваетъ благо исключительно національное. Гобсъ, правда, ставитъ критеріемъ нравственности счастье государства, которому онъ абсолютно подчиняетъ личное счастье, личную волю, личные стремленія. Но понятіе о счастьи государства, представляющаго собою совокупность людей, живущихъ подъ однимъ закономъ, причемъ люди эти могутъ принадлежать къ самымъ различнымъ національностямъ, никоимъ образомъ нельзя отождествлять съ понятіемъ о счастьи національномъ. Гобсовское государство есть государство абстрактное, и, по идеѣ автора «Левіафана», счастье этого государства выражаетъ собою скорѣе счастье общечеловѣческое, чѣмъ мѣстно-національное.

Докъ критеріи нравственности опредѣляетъ тремя видами законовъ: закономъ божественнымъ, гражданскимъ и закономъ общественнаго мнѣнія. Первый, имѣющій въ виду общечеловѣческое счастье, ставится имъ выше второго и третьяго. Такимъ образомъ, и въ его теоріи мы рѣшительно не видимъ, чтобы онъ подъ счастьемъ, какъ высшимъ основаніемъ морали, подразумѣвалъ не общее счастье, а національное. Гартли, Юмъ, Бентамъ вездѣ говорятъ только объ «общемъ счастьи», объ «общей пользѣ», о «возможно-большемъ счастьи возможно-большаго числа людей», не различая и не противопоставляя его счастью національному. И въ этомъ отношеніи между ними и новѣйшими представителями утилитарной доктрины нѣтъ никакой суще-

*) Эпикурейская школа точно также предписанія общеобязательной нравственности, идеи справедливости, долга и т. п. выводила изъ взаимнаго согласія людей, т. е. объясняла ихъ принципомъ общественной пользы. Это извѣстно и самому г. Мальцеву (см. стр. 27).

ственной разницы *). Утилитаристы вообще полагаютъ, что истинное, разумно понимаемое счастье каждой отдѣльно взятой націи находится въ такой-же полной гармоніи со счастьемъ общенациональнымъ, общечеловѣческимъ, какъ и разумно понимаемое индивидуальное счастье со счастьемъ національнымъ. За исключеніемъ софистовъ, всѣ утилитаристы, и старые, и новые, и новѣйшіе — всегда подразумѣвали фактъ существованія этой гармоніи, этой солидарности индивидуальнаго, національнаго и общечеловѣческаго счастья;—это-то именно и составляетъ характеристическую особенность ихъ доктрины. И безъ этой особенности она не была-бы даже мыслима. Въ самомъ дѣлѣ, если бы утилитаристы усомнились въ существованіи гармоническаго согласія индивидуальнаго счастья съ національнымъ, національнаго съ общечеловѣческимъ, то имъ пришлось-бы или отказаться отъ своего ученія о происхожденіи нравственнаго чувства, или, подобно софистамъ, придти къ отрицанію всякой нравственности, такъ-какъ ея требованія, опирающіяся на принципъ общей пользы, противорѣчили-бы тогда требованіямъ индивидуальнаго счастья, т. е. человѣческой природѣ.

IV.

По тѣмъ выводамъ, которые извлекъ авторъ изъ исторіи нравственной философіи утилитаризма и неосновательность которыхъ, какъ мы сейчасъ видѣли, рѣжетъ глаза, читатель самъ уже можетъ судить, насколько основательно знакомъ г. Мальцевъ съ развитіемъ, духомъ и характеристическими особенностями этой философіи. Отсюда само собою понятно, какое значеніе можетъ имѣть и его критика «ея основныхъ началъ». И, дѣйствительно, читателю достаточно только бросить самый бѣг-

*) Гельвецій въ своей замѣчательной книгѣ „De l'homme, des ses facultés etc“, говоритъ, правда, что принципу общественной пользы слѣдуетъ жертвовать всѣмъ, даже „чувствомъ челоѣвѣчности“. Но изъ этихъ словъ нельзя еще заключать (какъ это дѣлаетъ г. Мальцевъ), будто подъ общественной пользой онъ подразумѣваетъ исключительно лишь пользу національную. Нѣтъ, онъ хочетъ только этимъ сказать, что общее благо, общественная польза налагаютъ на каждого челоѣвѣка обязанность быть прежде всего гражданиномъ своей страны, любить свое отечество превыше всего и всегда быть готовымъ всѣмъ для него пожертвовать. Поступая такимъ образомъ, челоѣвѣкъ не становится въ противорѣчіе съ принципомъ общей пользы; напротивъ, онъ практически осуществляетъ этотъ принципъ. Въ такомъ взглядѣ на обязанности челоѣвѣка-гражданина нѣтъ ничего, а полагаю, съ чѣмъ-бы не могли согласиться и представители новѣйшаго утилитаризма.

мый взглядъ на источники этой критики, и ему сейчасъ-же выяснятся ея достоинства. Противъ доктрины утилитарной нравственности писалось и говорилось, пишется и говорится очень много. На ея голову сыпались и сыплются всевозможные упреки и нерѣдко упреки совершенно противорѣчивые: одни ее обвиняютъ въ грубомъ матеріализмѣ, другіе въ чрезчуръ возвышенномъ идеализмѣ; по мнѣнію однихъ, она годится лишь для оскотинившихся людей, по мнѣнію другихъ — для избраннаго, высоко-цивилизованнаго меньшинства. Одни находятъ, что она слишкомъ унижаетъ, другіе—что она слишкомъ возвышаетъ чело-вѣческую природу; одни находятъ ее несостоятельною съ точки зрѣнія науки, другіе—съ точки зрѣнія метафизики; одни апел-люють противъ нея къ психологическому анализу, другіе — къ какимъ-то недопускающимъ анализа врожденнымъ чувствамъ и т. д., и т. д. Вообще приводимые противъ нея аргументы опираются на чрезвычайно противорѣчивыя начала и черпают-ся изъ самыхъ разнообразныхъ арсеналовъ: тутъ рядомъ съ не-проницаемыми туманностями мистицизма вы встрѣчаетесь съ тонкою діалектикою метафизики и съ уличными, ходячими трюиз-мами поверхностнаго эмпиризма и того «пошлаго опыта», ко-торый поэтъ нашъ мѣтко назвалъ «умомъ глупцовъ». Разумѣет-ся, самая элементарная логика требуетъ точнаго и яснаго раз-граниченія всѣхъ этихъ разнообразныхъ до противорѣчивости воззрѣній на утилитаризмъ. Невозможно же смѣшивать ихъ въ одну кучу; невозможно подводить его одновременно подъ оцѣнку и метафизической діалектики, и религіознаго мистицизма, и ходячихъ трюизмовъ «пошлаго опыта». Оцѣнку «пошлаго «опыта», я могу понять, но только ставъ на точку зрѣнія этого опыта; точно также можно понять и оцѣнку метафизи-ческую и мистическую, но опять таки не иначе, какъ съ точ-ки зрѣнія мистики или метафизики. Но совершенно невозможно понять и уяснить себѣ аргументацію, опирающуюся за разъ на всѣ три точки зрѣнія, исходящую изъ совершенно различ-ныхъ, ничего общаго между собою неимѣющихъ посылокъ. А между тѣмъ, «критика» г. Мальцева именно представляетъ типъ та-кой аргументаціи. Г. Мальцевъ ничѣмъ не брезгуетъ и, какъ трудолюбивая пчелка, собираетъ медъ со всѣхъ цвѣтовъ. Трюиз-мы улицы, мистическіе вымыслы и метафизическія тонкости, «требованія науки»—онъ все съ одинаковымъ удовольствіемъ и съ неразборчивостью тряпичника суетъ въ свою критическую суму и затѣмъ съ улыбкою торжества вытряхиваетъ весь этотъ хламъ на голову утилитаристовъ. И чего-чего только нѣтъ въ этомъ хламѣ, чего-чего только не вобрала въ себя эта

гостепріимная сума! Тутъ и «лекціи» протоіерея Янышева, тутъ «слова и рѣчи» Златоуста и Григорія Богослова, тутъ и апостольскія посланія, а въ перемежку съ ними Бокль, Дарвинъ, и Шопенгауеръ, и Контъ, и Гегель, и неизбѣжный Маколей съ Гизо, попалъ даже зачѣмъ-то и Зибель, не забыты, разумѣется, и Ушинскій, и В. Соловьевъ, и Тернеръ, и Жантили съ Жане и Каро, и публицисты «Отечественныхъ Записокъ», «Слова» и «Свѣта», и авторъ антропологическаго принципа,— однимъ словомъ, чего хочешь, того и просишь. Однимъ словомъ, авторъ открылъ залпъ по утилитаризму изъ всѣхъ орудій, вытщенныхъ на удачу изъ различныхъ арсеналовъ, изъ историческихъ музеевъ и иныхъ подобныхъ мѣстъ, предназначенныхъ для храненія вещей, ни для какого употребленія негодныхъ. Залпъ, по его расчету, долженъ былъ-бы убить врага наповальъ...

«Зачѣмъ такая жестокость?» спросить, пожалуй, читатель, забывшій еще, что въ концѣ своего историческаго очерка г. Мальцевъ самъ же выдалъ похвальный атестатъ утилитаризму за его чистосердечное раскаяніе въ прежнихъ заблужденіяхъ и за выраженное имъ будто-бы желаніе исправиться и примириться съ метафизикой. — Чего же лучше? Если утилитаризмъ отказывается отъ своихъ прежнихъ заблужденій, если онъ начинаетъ становиться «паинькою», то его слѣдуетъ поощрить и одобрить, а совсѣмъ не корить, а тѣмъ паче убивать... да еще наповальъ!...

Казалось бы, что такъ... Но г. Мальцевъ неумолимъ. Похваливъ новѣйшихъ утилитаристовъ за ихъ желаніе исправиться, онъ затѣмъ прямо и откровенно заявляетъ, что исправляйся тамъ, не исправляйся, а все-же пѣсня ихъ спѣта и утилитаризмъ долженъ покончить свое земное существованіе, такъ-какъ его нравственная система, его нравственная философія яйца выдѣннаго не стоятъ. «Основной принципъ» ея не удовлетворяетъ «ни одному изъ извѣстныхъ фундаментальныхъ требованій». Эти «извѣстныя фундаментальныя требованія» формулируются нашимъ авторомъ въ такомъ порядкѣ: онъ (т. е. принципъ) долженъ быть 1) твердымъ и постояннымъ, голосъ его долженъ быть для всѣхъ и всегда одинаковъ и неизмѣненъ (!); 2) независимымъ ни отъ какихъ другихъ принциповъ; 3) простымъ и доступнымъ пониманію каждаго и выполнимымъ въ практической жизни людей» (стр. 250).

Подводя подъ критерій этихъ курьезныхъ,—хотя, по увѣренію автора, и всѣмъ извѣстныхъ,—фундаментальныхъ требованій основной принципъ утилитаризма, г. Мальцевъ приходитъ къ слѣдующему рѣшительному выводу: 1) принципъ утилитаризма не

удовлетворяетъ требованію «твердости и постоянства», такъ-какъ представленіе объ удовольствіи, а слѣдовательно и понятіе о счастьи, которое есть лишь обобщеніе различныхъ представленій объ удовольствіи, суть представленія и понятія крайне условныя, измѣнчивыя и неопредѣленные; 2) счастье, понимаемое въ его прямомъ и непосредственномъ значеніи, какъ извѣстная сумма удовольствій, будучи принципомъ совершенно самостоятельнымъ, не заключаетъ въ себѣ еще ничего нравственнаго; понимаемое-же въ высшемъ и болѣе широкомъ значеніи, теряетъ прежній характеръ самостоятельности и превращаетъ новѣйшій утилитаризмъ въ простой эклектизмъ; 3) счастье, разсматриваемое въ этомъ высшемъ или эклектическомъ смыслѣ, представляется принципомъ неудобопонимаемымъ и неудобопримѣняемымъ къ жизни; и, наконецъ, 4) самый методъ, практикуемый утилитаризмомъ, въ дѣйствительности, при ближайшемъ разсмотрѣніи, оказывается недостаточнымъ для нравственной науки...» и т. д. (стр. 297).

Желаете-ли вы, читатель, прослѣдить шагъ за шагомъ тотъ путь, который привелъ г. Мальцева къ этимъ выводамъ? Я думаю, что нѣтъ; въ самомъ дѣлѣ, это было-бы слишкомъ скучно и слишкомъ утомительно, да притомъ-же и бесполезно: выводы говорятъ сами за себя. Г. Мальцевъ полагаетъ, будто мы не имѣемъ ясныхъ и постоянныхъ представленій о нашихъ субъективныхъ ощущеніяхъ удовольствія и неудовольствія, но о какихъ-же субъективныхъ чувствахъ мы имѣемъ представленія болѣе ясныя и постоянныя? Изъ того, что удовольствія бываютъ настолько-же различны и разнообразны, насколько различны и разнообразны потребности человѣческаго организма при тѣхъ различныхъ и разнообразныхъ условіяхъ, въ которыя ставитъ его общество, среда, воспитаніе, окружающая его матеріальная обстановка и т. п., — изъ этого еще никакъ не слѣдуетъ, чтобы самая природа удовольствія была «условна, измѣнчива и непостоянна». Психологи и физиологи могутъ давать этой природѣ какія угодно теоретическія опредѣленія, могутъ составлять о ней какую угодно идею, но каждый человѣкъ чувствуетъ ее одинаково; ощущеніе удовольствія — это такой первичный, элементарный, неразложимый и всѣмъ и каждому извѣстный фактъ человѣческой природы, что ужъ если на этомъ фактѣ нельзя обосновывать нравственной системы человѣческаго поведения, то еще менѣе ее можно обосновывать на фактахъ производныхъ, разложимыхъ, сложныхъ, вродѣ, напр., чувства долга, чувства справедливости, любви къ ближнему, или какомъ-то врожденномъ нравственномъ чувствѣ — мальцевской «нрав-

ственной способности». Въ основѣ всякой нравственной системы всегда лежатъ нѣкоторыя обобщенія (идеи) чисто-субъективныхъ человѣческихъ ощущеній; но само собою понятно, что обобщеніе это будетъ отличаться тѣмъ большею ясностью и опредѣленностью, чѣмъ однообразіе, постояніе, одинаковѣе природа данныхъ субъективныхъ ощущеній. Поэтому-то съ точки зрѣнія перваго «фундаментальнаго» требованія г. Мальцева, система утилитарной нравственности должна имѣть самое рѣшительное преимущество передъ всѣми произвольно-метафизическими и вообще интуитивными системами. Кажется, это не трудно понять даже и человѣку, учившемуся по семинарскимъ тетрадямъ. Г. Мальцеву слѣдовало-бы лучше порыться въ этихъ тетрадяхъ и онъ навѣрное-бы отыскалъ въ нихъ какіе-нибудь другіе критеріи, съ точки зрѣнія которыхъ дѣйствительно можно было-бы осудить утилитаризмъ окончательно и безапелляціонно.

Но второй критическій выводъ г. Мальцева едва-ли не мѣтче и не остроумнѣе перваго. Счастіе, говоритъ онъ, «понимаемое въ прямомъ и непосредственномъ смыслѣ, не заключаетъ въ себѣ еще ничего нравственнаго», а «понимаемое въ высшемъ и болѣе широкомъ значеніи, оно теряетъ свой самостоятельный утилитарный характеръ». Понимать счастіе въ прямомъ и непосредственномъ смыслѣ—это значитъ, по мнѣнію г. Мальцева, понимать его въ смыслѣ нѣкотораго обобщенія «удовольствій, по большей части личныхъ и эгоистическихъ». А понимать его въ возвышенномъ смыслѣ — это значитъ понимать его опять-таки какъ нѣкоторое обобщеніе удовольствій, но по большей части не личныхъ и не эгоистическихъ. Но—праведное небо!—какія-же это удовольствія могутъ быть не личными и не эгоистическими? Когда вы подъ вліяніемъ ненависти, оскорбленнаго самолюбія или иныхъ подобныхъ побужденій предаете человѣка, по своей дѣятельности или по своимъ стремленіямъ въ высшей степени полезнаго для всего человѣчества или даннаго народа, предаете его врагамъ на поруганіе и распятіе, — вы испытываете чувство удовольствія. Точно также вы испытываете удовольствіе, когда жертвуете собою ради дорогой, любимой вами идеи, ради вашихъ представленій объ «общемъ благѣ». Какъ ни различны мотивы, вызывающіе въ васъ это чувство, но въ обоихъ случаяхъ его природа одинакова: въ обоихъ случаяхъ это—ваше личное, слѣдовательно, эгоистическое удовольствіе. Все дѣло только въ томъ, что въ первомъ случаѣ удовольствіе можетъ ощущать лишь человѣкъ психически неразвитый, во второмъ-же—лишь человѣкъ психически развитый. Но отсюда никакъ еще не слѣдуетъ, будто удовольствіе, испытываемое чело-

вѣкомъ психически развитымъ, менѣе лично, менѣе эгоистично, чѣмъ удовольствіе, испытываемое человекомъ психически неразвитымъ. А если этого не слѣдуетъ, то еще менѣе слѣдуетъ, будто идея счастья, какъ нѣкоторое обобщеніе субъективныхъ удовольствій, у развитаго человека болѣе неопредѣленна, болѣе эклектична и неутилитарна, чѣмъ у человека неразвитаго. Нужно зубрить семинарскія тетрадки до умопомраченія, чтобы потерять способность понимать такія простыя и даже для дѣтскаго ума ясныя и удобопонятныя вещи!

Основной характеръ, суть, природа утилитаризма нисколько не зависитъ и не опредѣляется тѣми представленіями о счастья, которыя складываются въ головѣ того или другого утилитариста. Одинъ утилитаристъ обобщаетъ свое представленіе о счастья изъ удовольствій одного рода, другой — изъ удовольствій другого рода и т. п., но все это не имѣетъ рѣшительно ни малѣйшаго отношенія къ принципиальной, основной точкѣ зрѣнія ихъ нравственной философіи, — точкѣ, рѣзко отличающей послѣднюю отъ всѣхъ неутилитарныхъ теорій этики. И тотъ, который видитъ счастье въ насыщеніи и холеніи своей плоти, и тотъ, который усматриваетъ его въ плотоумерщвленіи, одинаково ставятъ счастье, какъ совокупность извѣстнаго рода личныхъ удовольствій, и одно только счастье, высшимъ критеріемъ, конечною цѣлью и первичнымъ источникомъ человѣческой нравственности. Вотъ еслибы г. Мальцеву удалось доказать, будто представители новѣйшаго утилитаризма начинаютъ сходиться съ этой точки зрѣнія, будто они начинаютъ склоняться къ тому мнѣнію, что счастье не есть единственная цѣль и критерій нравственной дѣятельности людей, тогда и только тогда онъ могъ бы съ нѣкоторымъ правдоподобіемъ обвинить ихъ въ эклектизмѣ и въ «шатаніи мысли». Но онъ не только этого не доказываетъ, но самъ-же цитируетъ, съ крайнимъ, конечно, неодобреніемъ, слѣдующія слова Миля, т. е. слова одного изъ выдающихся представителей новѣйшаго утилитаризма: «кромя счастья не существуетъ ничего другого, что могло-бы быть желательнымъ и достойнымъ предметомъ человѣческой дѣятельности».

Но всего курьезнѣе самый главный и ужъ по-истинѣ «фундаментальный» аргументъ г. Мальцева противъ утилитаризма: «счастье, понимаемое въ смыслѣ обобщенія удовольствій, и притомъ по большей части личныхъ и эгоистическихъ, не заключаетъ въ себѣ ничего нравственнаго», а такъ-какъ я уже сказалъ, да и безъ меня это всякій знаетъ, что всѣ наши удовольствія по природѣ своей личны и эгоистичны, то, слѣдовательно, во-

обще счастье, понимаемое въ смыслѣ обобщенія какихъ-бы то ни было удовольствій, не заключаетъ въ себѣ ничего нравственнаго. Аргументъ, какъ видите, прямо подобранный «съ улицы», пробивающейся «пошлымъ опытомъ—умомъ глупцовъ» и совершенно неспособной разобратся и ориентироваться въ массу со всѣхъ сторонъ напирających на нее эмпирическихъ фактовъ. «Улица» подкрѣпляетъ обыкновенно этотъ свой ходячій трюизмъ тѣмъ соображеніемъ, что поступки людей считаются нравственными или безнравственными не потому, насколько они въ дѣйствительности соответствуютъ или не соответствуютъ общему благу, насколько они полезны или вредны, а потому, одобряются или не одобряются они нашимъ нравственнымъ чувствомъ. Отсюда она, съ свойственною ей логикою, заключаетъ, что для того, чтобы поступокъ былъ нравственъ, недостаточно еще, чтобы онъ былъ только общеплезенъ, нужно еще что-то, и вотъ это-то прибавочное «что-то» и проглядыли утилитаристы. Но «улица», а вмѣстѣ съ нею и г. Мальцевъ, никакъ не могутъ или не хотятъ взять въ толкъ, что именно утилитаристы-то всего болѣе и потрудились надъ объясненіемъ и изслѣдованіемъ этого чего-то, и что вся разница между ними, утилитаристами, и ею, «улицею», сводится лишь къ тому, что первые признаютъ это что-то индуктивно, научно объяснимымъ, а вторая довольствуется простымъ статированіемъ факта, ревниво охраняя его отъ всякихъ научныхъ изслѣдованій. Выводить и объяснить «нравственное чувство» изъ элементарныхъ психическихъ условій человѣческой природы, въ силу которыхъ человѣкъ предпочитаетъ ощущеніе удовольствія ощущенію боли, страданія, и отрицать это чувство,—это двѣ вещи совершенно разныя. Но «улица» постоянно ихъ смѣшиваетъ. Еслибы она, а вмѣстѣ съ нею и г. Мальцевъ, ихъ не смѣшивали, они должны были-бы сами устыдиться фундаментальной негѣпости своего фундаментальнаго аргумента.

Утилитаризмъ изъ силъ выбивается, чтобы какъ-нибудь научно объяснить, почему, при какихъ условіяхъ и посредствомъ какихъ психическихъ метаморфозъ тѣ или другіе человѣческіе поступки изъ категоріи просто полезныхъ перешли въ категорію нравственныхъ, т. е. почему полезное сдѣлалось нравственнымъ, а его хотятъ убить тѣмъ глубокомысленнымъ соображеніемъ, что, молъ, наши представленія о нравственномъ и безнравственномъ не всегда совпадаютъ съ нашими представленіями о полезномъ и бесполезномъ! Да вѣдь еслибы утилитаризмъ признавалъ всегда и во всѣхъ случаяхъ подобное совпаденіе, тогда для него и не имѣлъ-бы никакой важности вопросъ

о генезисѣ и развитіи нравственнаго чувства. А между тѣмъ онъ уже столько вѣковъ ломаетъ надъ нимъ голову. Правильно или неправильно онъ его рѣшаетъ, прослѣдилъ-ли онъ съ достаточною полнотою метаморфозу «полезнаго» въ «нравственное»,—объ этомъ еще можно спорить, тутъ еще могутъ быть различныя мнѣнія: одни могутъ, наприм., удовлетворяться его объясненіями, другіе могутъ находить ихъ неудовлетворительными; но удовлетворительны они или неудовлетворительны, отъ этого основные принципы нравственной философіи утилитаризма нисколько страдать не могутъ. Пусть «улица» и вмѣстѣ съ нею г. Мальцевъ не понимаютъ или не удовлетворяются объясненіями утилитаристовъ насчетъ процесса видоизмѣненія корыстныхъ, узко-эгоистическихъ мотивовъ человѣческой дѣятельности въ мотивы безкорыстные, альтруистическіе,—за это нельзя ихъ упрекать: они въ своемъ правѣ. Но зачѣмъ-же они дѣлаютъ видъ, будто самыхъ этихъ объясненій не существуетъ и будто утилитаристы совсѣмъ не различаютъ полезнаго отъ нравственнаго? Это ужъ совсѣмъ не годится и въ особенности не годится г. Мальцеву. «Улица» можетъ еще сослаться на то, что она не только дѣлаетъ видъ, будто не знаетъ, но и дѣйствительно не знаетъ, а г. авторъ «Нравственной философіи» сослаться на свое незнаніе не можетъ... Онъ не только знаетъ, но и самъ-же разбираетъ психологическія изслѣдованія утилитаризма о переходѣ эгоистическихъ чувствъ въ альтруистическія. Онъ недоволенъ, правда, ими, онъ усматриваетъ въ нихъ какую-то «психологическую алхімію». Правъ онъ или нѣтъ, объ этомъ мы поговоримъ ниже, но во всякомъ случаѣ, разъ утилитаристы при помощи психологической алхіміи или химіи признаютъ постепенный переходъ полезнаго въ нравственное. «уличный аргументъ», приводимый противъ нихъ нашимъ авторомъ, теряетъ всякій смыслъ.

Отвергая основной принципъ утилитарной философіи, какъ принципъ несамостоятельный, условный, измѣнчивый и самъ по себѣ ничего нравственнаго не заключающій, г. Мальцевъ отвергаетъ и самый ея методъ. Нравственная философія утилитаризма рѣзко отличается отъ всѣхъ прочихъ мистическихъ и метафизическихъ системъ нравственности именно тѣмъ, что она старается примѣнить къ изслѣдованію явленій нравственной и историко-общественной сферы тотъ-же опытный, индуктивный методъ, который давно уже съ успѣхомъ примѣняется къ изученію явленій внѣшней природы; правда, ея старанія далеко еще не соотвѣтствуютъ достигаемымъ ею результатамъ. Тѣсно связавъ свою судьбу съ судьбою субъективной психологіи.

ей подъ давленіемъ послѣдней постоянно приходится сходить съ строго - научной почвы и путаться въ дебряхъ субъективнаго анализа произвольныхъ, болѣе или менѣе метафизическихъ гипотезъ и хаотическаго эмпиризма. Еслибы г. Мальцевъ ограничился указаніемъ лишь на эти ея методологическія прегрѣшенія, — прегрѣшенія, впрочемъ, неустрашимыя и неизбѣжныя при данномъ состояніи науки о природѣ человѣка, — то, разумѣется, съ нимъ-бы никто не сталъ спорить. Но онъ бьетъ дальше. Съ его точки зрѣнія методологическія прегрѣшенія нравственной философіи утилитаризма совсѣмъ даже не прегрѣшенія, а скорѣе добродѣтели; великое же прегрѣшеніе ея состоитъ именно въ томъ, что она хочетъ стоять на научной почвѣ, что она не выдѣляетъ нравственно-общественныхъ явленій изъ явленій естественныхъ, что она и въ первыхъ старается усмотрѣть и установить тотъ-же порядокъ, ту-же закономерность, ту-же логическую связь причинъ и слѣдствій, въ которыхъ никто уже теперь не отказывается вторымъ. Противъ этой-то ереси—ереси, которая, однако, раздѣляется въ настоящее время, вмѣстѣ съ утилитаристами, и всѣми здравомыслящими людьми—я ополчается г. Мальцевъ. Но, на бѣду свою, онъ и тутъ не можетъ выдумать для пораженія ея ничего хоть сколько - нибудь новаго или самостоятельнаго. Онъ и тутъ повторяетъ лишь неосмысленные афоризмы толпы и «улицы» и затертыхъ, истлѣвшихъ семинарскихъ тетрадокъ. Съ «уличной» и мальцевской точки зрѣнія допускать непримѣнимость индуктивно-научнаго метода къ изученію явленій нравственно-общественной сферы значить признать, что явленія «физическаго и психическаго міра составляютъ одну обширную схему всеобщаго порядка вещей»; а признать это положеніе—значить отрицать то представленіе о «свободѣ воли», которое составила себѣ улица; отрицать-же это представленіе—значить отрицать человѣческую вмѣняемость, т. е. отрицать прокуроровъ, сыщиковъ, отрицать тюрьмы и уголовныя кары. Вотъ куда пошло! Бѣда только въ томъ, что вся эта аргументація, бьющая главнымъ образомъ на устрашеніе и ошеломленіе недумающихъ людей «улицы», отъ начала до конца лжива и бездоказательна. Улица обманываетъ себя по своему невѣжеству. Но зачѣмъ и ради чего обманываетъ ее и себя г. Мальцевъ? Развѣ ему неизвѣстно, что «уличное» представленіе о свободѣ воли не только не оправдываетъ вмѣняемости, но, напротивъ, лишаетъ ее всякаго *raison d'être*? Наконецъ, развѣ ему неизвѣстно, что примѣненіе естественно-научнаго метода къ явленіямъ психическаго характера не только не приво-

дять къ отрицанію уголовныхъ наказаній, но даже санкціонируетъ ихъ существованіе? Развѣ спасительная теорія устрашенія и не менѣе ея спасительная теорія исправленія не основываются всецѣло и исключительно на представленіи о машинообразности и необходимой законмѣрности человѣческой дѣятельности? Развѣ недавно еще утилитаристъ Банъ не оправдывалъ съ точки зрѣнія этого представленія полезности и разумности смертной казни? Изъ-за чего-же вы напрасно беспокоитесь о благополучіи прокуроровъ? Никто ихъ отъ васъ не отнимаетъ, спите безъ страха и трепета!

Но довольно о г. Мальцевѣ. Я остановился на его «критикѣ» метода нравственной философіи утилитаризма не для того, конечно, чтобы полемизировать съ нимъ, а лишь для того, чтобы дать возможность читателю нагляднѣе и безпристрастнѣе взвѣсить и оцѣнить мальцевскую компетентность по части критики утилитаризма. Вы видите теперь, что Мальцевъ-критикъ смѣло и безбоязненно можетъ соперничать съ Мальцевымъ-историкомъ. Какъ Мальцевъ-историкъ не пополняетъ ни на іоту пробѣла нашихъ знаній по части развитія утилитарныхъ доктринъ, такъ и Мальцевъ-критикъ не даетъ намъ никакой руководящей нити для ихъ оцѣнки. Возраженія и порицанія нанизаны одно на другое безъ порядка, системы и даже нерѣдко безъ всякаго смысла. Среди этихъ возраженій и порицаній, рядомъ съ очевидными недоразумѣніями и фальсификаціей, вы случайно наталкиваетесь и на такія логическія или чисто-фактическія указанія, которыя, повидимому, весьма трудно согласить со всѣми догматами и посылками утилитаризма. Теорія утилитарной нравственности, очевидно, не непогрѣшима, подобно папѣ: въ ней предполагается тоже въ нѣкоторомъ родѣ своя ахилесова пята. Если она есть, ея нѣтъ надобности скрывать; напротивъ, все значеніе утилитаризма тогда только и можетъ вполнѣ уясниться, когда мы ее ощупаемъ, измѣримъ и опредѣлимъ степень ея чувствительности. Конечно, кому, какъ не Мальцеву, слѣдовало-бы этимъ заняться, вѣдь онъ такой завзятый и рѣшительный антагонистъ утилитарной нравственности! Но вотъ въ томъ-то и бѣда, что съ тѣхъ метафизическихъ и улично-эмпирическихъ точекъ зрѣнія, по которымъ онъ порхаетъ, «пяты»-то этой обнаружить и нельзя, и потому нельзя, что тогда пришлось-бы обнаружить изъяснъ и несостоятельность и всѣхъ этихъ точекъ зрѣнія; пришлось-бы усомниться въ непогрѣшимости семинарскихъ тетрадокъ, въ компетентности Янышева, Жантили и даже въ мудрости В. Соловьева. Разумѣется, требовать такого «сумлѣнія» отъ г. Мальцева было-бы

черезчуръ жестоко, такъ-какъ подобное требованіе для него, по всей вѣроятности, психически невыполнимо. Но мы съ вами, читатель, другое дѣло. На насъ не наложено никакой официальной обязанности по части защиты или обвиненія утилитаризма передъ «безпристрастнымъ» судилищемъ «улицы». Намъ, слѣдовательно, ничто не можетъ стѣснять въ исканіи ахилесовой пяты утилитаризма. Поищемъ-же ее, если она дѣйствительно существуетъ; если-же не существуетъ, то мы, по крайней мѣрѣ, узнаемъ, откуда и въ силу чего явилось представленіе о ея существованіи.

II. Никитинъ.

МЕМУАРЫ МЕТЕРНИХА.

(„Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich, publiés p. son fils, classés et réunis p. M. A. Klinkowstroem“, Paris, Plon et C^o. 1880.)

«Я дѣлалъ исторію, а потому мнѣ не когда было писать ее», говоритъ князь Метернихъ, бывшій австрійскій государственный канцлеръ и министръ иностранныхъ дѣлъ, въ краткомъ вступленіи къ своимъ мемуарамъ. По какимъ-то соображеніямъ, остающимся для насъ неразъясненными, требовалось, чтобы мемуары эти предварительно пролежали ровно двадцать лѣтъ со дня смерти ихъ автора въ семейномъ архивѣ Метерниховъ. Теперь, когда этотъ срокъ истекъ, выпущена только первая ихъ часть, обнимающая первую половину жизни этого пресловутаго «дѣльца исторіи», отъ самаго его рожденія въ 1773 г., до созданія имъ австрійской имперіи, т. е. до вѣнскаго конгресса включительно. Часть эта состоитъ, однакожь, изъ двухъ объемистыхъ томовъ, каждый около двадцати пяти листовъ убористой печати. Судя по тому, что мы имѣемъ уже передъ глазами, собственно автобіографія Метерниха не занимаетъ и трети этого увѣсистаго изданія; все остальное наполнено всякими документами: письмами Метерниха къ женѣ и дочери, официальными донесеніями и отношеніями, наконецъ, чисто-литературными упражненіями канцлера, какъ, на примѣръ, его брошюра о необходимости вооружить поголовно прирейнскихъ крестьянъ противъ революціи; его прокламація къ войскамъ, написанная имъ еще въ ранней молодости, найденная слишкомъ свирѣпою даже по своему времени, а потому и оставленная безъ употребленія, и т. п. Перечитывая всю эту канцелярски-архивную дребедень, читатель становится въ тупикъ передъ вопросомъ: «а

гдѣ-же тутъ самъ знаменитый творецъ исторіи, «этотъ великій инквизиторъ, одѣтый въ полицейскій мундиръ,» какъ его называлъ одинъ историкъ? Неужели этому дѣлателью исторіи нечего сказать болѣе интереснаго и поучительнаго о той богатой событіями эпохѣ, въ которой онъ былъ однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ? Ужь, и въ самомъ дѣлѣ, не думалъ-ли онъ, что исторія дѣлается въ канцеляріяхъ и полицейскихъ застѣнкахъ?

Что-же касается того, что Метернихъ не писалъ исторіи своего времени—это, по нашему мнѣнію, даже очень хорошо. Образчики его литературнаго творчества, теперь доступные всякому читателю, желающему заплатить за два тома около 8 р. с., позволяютъ намъ положительно утверждать, что онъ былъ-бы такой-же великій исторіографъ, какъ Бисмаркъ — поэтъ. Его записки переносятъ насъ въ какой-то условный, бездушный міръ, въ которомъ вмѣсто людей, хотя бы одностороннихъ и исключительныхъ, вращаются раззолоченные призраки, сохранившіе изъ общечеловѣческихъ свойствъ и слабостей какъ-будто одинъ только аппетитъ, — по крайней мѣрѣ, описанія великолѣпныхъ дипломатическихъ обѣдовъ играютъ въ мемуарахъ Метерниха довольно видную роль. Доблести его повара m-g Aimé живописуются рядомъ съ наѣздническими подвигами Блюхера, съ государственными заслугами Шварценберга, съ революціоннымъ ехидствомъ Штейна, Лагарпа и Жюмини. Изъ-за вина вѣчно приличный Метернихъ ссорится съ имперскимъ министромъ финансовъ и забываетъ даже свое раболѣпство передъ императоромъ Францемъ... Во всемъ же остальномъ ни самъ авторъ, ни другіе герои его записокъ какъ-будто вовсе не живутъ, а только исполняютъ какой-то своеобразный церемоніаль, безконечно-многосложный, запутанный и скучный. Самый слогъ автобіографіи, можетъ быть блистательный для начертанія всякихъ циркуляровъ, протоколовъ, отношеній и донесеній, лишенъ всякихъ художественныхъ и литературныхъ достоинствъ. Записки читаются тяжело и оставляютъ по прочтеніи блѣдное, безцвѣтное впечатлѣніе. Исключеніе составляютъ только двѣ его характеристики: Наполеона и императора Александра, о которыхъ мы подробно поговоримъ въ своемъ мѣстѣ. Письма же Метерниха къ женѣ и дочери, никогда непредназначавшіяся для печати, точно также пропитаны канцеляріей отъ начала до конца, какъ будто вмѣсто сердца въ груди автора былъ старый, изношенный пергаментъ, а вмѣсто чувства — полицейскій протоколъ за такимъ-то №-ромъ. Ни одного теплаго слова ни одной искренней и сердечной нотки. По прочтеніи этихъ писемъ, въ читателѣ естественно возникаетъ предположеніе, что даже

супружескія отношенія автора съ его почтенною половиною стояли выше всякихъ человѣческихъ слабостей и страстей; мы видимъ, что супругъ только благосклонно рапортовалъ своей дражайшей и добродѣтельной княгинѣ о желаніи имѣть наследника, а эта послѣдняя, по истеченіи извѣстнаго срока, доносила ему, что желаніе его исполнено, и на свѣтъ явился маленькій Метернихъ въ маленькомъ мундирѣ, съ маленькимъ орденомъ и маленькимъ портфелемъ подъ мышкою. Такимъ находили его въ одно прекрасное утро не подъ кустомъ розъ и не на капустной грядѣ, а въ кипѣ государственныхъ бумагъ; составляли объ этой находкѣ достодожный протоколъ, и юному преемнику славнаго имени оставалось только расти, т. е. увеличиваться по тремъ измѣреніямъ, и приобрѣтать новые ордена. Согласитесь, что съ такимъ литературнымъ талантомъ не кстати было-бы приниматься за описаніе даже той исторіи, которую дѣлалъ самъ великій Метернихъ.

Впрочемъ, исторія эта теперь уже хорошо извѣстна. Не только люди различныхъ возрѣній и партій, но и самыя событія произнесли надъ историческою фабрикаціей князя Метерниха свой рѣшительный приговоръ. Та австрійская имперія, въ созданіи которой творчество пресловутаго канцлера отличалось съ большею законченностью и полнотою, вовсе не оказалась монументальнымъ зданіемъ, способнымъ «переживать цѣлыя поколѣнія». Совершенно напротивъ. Уже въ 1849 г., т. е. еще при жизни своего создателя, она расшаталась и износилась до того, что только вмѣшательство русскихъ войскъ могло предохранить ее на нѣсколько лѣтъ отъ конечнаго распаденія. А десять лѣтъ спустя, въ томъ самомъ 1859 г., когда умеръ Метернихъ, она окончательно исчезла съ лица земли. Военный погромъ на поляхъ Мадженты и Сольферино, финансовыя и экономическія погромы въ самыхъ тайникахъ ея существованія, нравственная несостоятельность принциповъ, служившихъ смазкой этому искусственному политическому тѣлу, — не только лишили Австрію ея итальянскихъ владѣній, но заставили австрійскую имперію искать спасенія въ принципахъ, діаметрально противоположныхъ тѣмъ, которые Метернихъ положилъ въ самую основу своего историческаго руководящаго. Благодаря этому поучительному обстоятельству, новѣйшій «дѣлатель» исторіи, къ какому-бы отѣнку политическихъ возрѣній онъ ни принадлежалъ, конечно, не вздумалъ бы искать у Метерниха руководящихъ началъ для подобной фабрикаціи...

Но за всѣмъ тѣмъ, признанія государственнаго канцлера австрійской имперіи, дипломатическаго побѣдителя Наполеона и

вдохновителя Священнаго союза могли - бы представлять значительный интерес съ точки зрѣнія личныхъ воззрѣній Метерниха. Историки первой половины текущаго столѣтія, даже такъ счастливо обставленные, какъ, на примѣръ, Тьеръ, авторъ нѣсколько фельетонной, но очень популярной «Исторіи консульства и имперіи», могли пользоваться только тѣми памятниками и документами, которыхъ «дѣлатели» этой исторіи не могли и не считали нужнымъ скрывать отъ всеобщаго любопытства. Метернихъ же, стоявшій во главѣ этихъ «дѣлателей», весьма естественно не зналъ подобныхъ преградъ. Для него многосложный и крайне запутанный процессъ производства тогдашней исторіи не имѣлъ никакихъ секретовъ. Посвящая насъ въ его сокровенные тайники, разоблачая передъ нами тѣ маленькія, такъ сказать, домашнія средства, при помощи которыхъ онъ очень ловко умѣлъ иногда достигать крупныхъ дипломатическихъ и политическихъ результатовъ, онъ могъ бы оказать и самоновѣйшимъ дѣлателямъ историческихъ судебъ, и общественному мнѣнію вообще довольно цѣнныя услуги. Къ сожалѣнію, онъ съ первыхъ же строкъ предупреждаетъ насъ, что мы не должны искать въ его признаніяхъ даже этого интереса... Онъ не намѣренъ предавать гласности ничего такого, что могло-бы выставить въ невыгодномъ свѣтѣ въ глазахъ непосвященныхъ то дѣло, которому онъ дѣлательно и, по всей вѣроятности, даже искренно служилъ всю свою жизнь. Если же, паче чаянія, ему самому и случилось бы иногда проговориться, то не должно забывать, что записки канцлера прежде, чѣмъ явиться въ свѣтъ, прошли черезъ цензуру его сына Ричарда и цѣлой дипломатической канцеляріи. Стало быть, и съ этой стороны—*lasciate ogni speranza voi, ch'entrate!* Можетъ быть, иной изслѣдователь-спеціалистъ и извлечетъ изъ документовъ и записокъ Метерниха нѣсколько крупницъ, способныхъ пролить сколько-нибудь новый свѣтъ на событія тревожной эпохи начала нынѣшняго столѣтія, но для читателя непосвященнаго историческій интересъ двухъ вышедшихъ томовъ равняется положительно нулю. Остается, слѣдовательно, интересъ чисто-біографической и психологической. Съ своей стороны, мы его единственно и имѣли въ виду, приступая къ чтенію этого парадно-скучнаго литературнаго произведенія.

Метернихъ говоритъ, что ни одинъ изъ многочисленныхъ его портретовъ, рисованныхъ и писанныхъ самыми знаменитыми историками и живописцами, рѣшительно непохожъ на подлинникъ. «Вѣроятно, замѣчаетъ онъ, — моя личность принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя не легко изобразить перомъ, ка-

рандашемъ или масляными красками». Въ интересахъ правды, онъ считаетъ нелишнимъ оставить потомству эскизъ, начертанный его собственною рукой. Обыкновенно говорятъ, что залогъ успѣха всякаго художественнаго произведенія заключается уже въ той любви, съ которою артистъ относится къ изображаемому имъ предмету. Еслибы это было дѣйствительно такъ, то Метернихъ въ изображеніи самого себя долженъ былъ бы рѣшительно за поясъ заткнуть всякихъ Веласкезовъ и Вандиковъ, всякихъ Прескотовъ и Мотлеевъ. Рѣдко, въ самомъ дѣлѣ, восторженное преклоненіе передъ самимъ собою доходитъ до такой безцеремонной наивности, до такого ребяческаго самообольщенія, какою проникнута каждая строчка автобіографіи и семейной переписки Метерниха. Созерцая, напримѣръ, съ высоты своего балкона задитый солнцемъ Парижъ въ 1815 г., онъ впадаетъ въ нижеслѣдующія, не то философскія, не то лирическія изліянія: «городъ этотъ и солнце это будутъ еще привѣтствовать другъ друга, когда отъ Наполеона, отъ Блюхера и въ особенности отъ меня останется только одно преданіе (чтобы не сказать—слава, такъ-какъ это было бы недипломатично)... Оставимъ же, по крайней мѣрѣ, память, что мы творили только добро. Въ этомъ отношеніи я ни за что не помѣняюсь съ Наполеономъ!» А въ самомъ началѣ своей автобіографіи онъ говоритъ: «Мое существованіе слишкомъ тѣсно связано съ событіями того времени, въ которое я жилъ. Эта эпоха составляетъ отдѣлъ міровой исторіи (даже не всемірной, а міровой: l'histoire du monde!) Она была превосходною эпохою, а въ такія времена зданіе прошлаго лежитъ въ развалинахъ, зданіе будущаго еще не воздвигнуто. Современники — это чернорабочіе, трудящіеся надъ сооруженіемъ его. Архитекторы являются со всѣхъ сторонъ... Счастливы тотъ изъ нихъ, кто можетъ сказать себѣ, что онъ не отклонился отъ пути, предначертаннаго вѣчнымъ правомъ! Моя совѣсть не отказываетъ мнѣ въ этомъ свидѣтельствѣ».

Обыкновенно говорятъ, будто достоинство дипломатическаго языка заключается въ умѣньи много наговорить, не сказавъ ничего. Это, очевидно, несправедливо. Только дипломатъ изъ дипломатовъ, только патриархъ новѣйшей европейской дипломатіи, только тотъ образцовый дворецкій исторіи XIX вѣка, которому имя Метернихъ, умѣлъ такъ искусно въ немногихъ словахъ заявить, что онъ не чернорабочій зданія будущаго, а архитекторъ по преимуществу, что изъ всѣхъ непрошенныхъ зодчихъ, которые отовсюду лѣзутъ съ своими планами, онъ одинъ съумѣлъ начертать такой планъ, который завѣдомо похищенъ, такъ-сказать, изъ книги судебъ и основанъ на вѣчномъ правѣ.

«Помилуйте, какая же тутъ вѣчность, станете вы, пожалуй, возражать австрійскому канцлеру, — когда зданіе, сооруженное по вашему плану, не пережило даже и своего зодчаго, когда вы не успѣли, можетъ быть, износить того мундира, въ которомъ глубокомысленно чертили этотъ планъ, а зданіе уже расплозлось во всѣ стороны, и не подвернись своевременно князь Паскевичъ-Эриванскій, никогда не заявлявшій притязаній на званіе архитектора вѣчнаго храма правды, то зданіе это развалилось бы вконецъ и погребло бы васъ самихъ подъ своими развалинами».

Но князя Метерниха нельзя смутить подобными возраженіями. «Я такъ рѣшилъ, значить, это вѣчное право. Если вы съ этимъ несогласны, то вы жалкій и вредный продуктъ французской революціи, васъ слѣдуетъ немедленно искоренить (а въ крайне-благоприятномъ случаѣ—подкупить, чтобы вы держали про себя то, что знаете). Если въ книгѣ судебъ прописано иначе, то ошибается книга судебъ»...

Лично мы, читая автобіографію князя Метерниха, искали въ ней главнѣйшимъ образомъ объясненія тѣхъ условій, которыя способствуютъ зарожденію и развитію такой невѣроятной самоувѣренности, выдвигаютъ эту самоувѣренность на видный планъ, дѣлаютъ ее вполне достаточнымъ сурогатомъ гениальности, учености, терпѣливо выработаннаго историческаго и философскаго міросозерцанія. Намъ лично князь Метернихъ интересуется не какъ дѣлатель политическихъ судебъ Европы, благо содѣянная имъ судьбы передѣланы уже двадцать лѣтъ тому назадъ, а только какъ своеобразная разновидность человѣка, который не утрачиваетъ въ нашихъ глазахъ своего значенія, какъ бы низко онъ ни палъ на мрачной лѣстницѣ порока и нищеты, какъ бы высоко онъ ни поднялся на раззолоченной лѣстницѣ политическаго величія и самовосхваленія. Какъ подъ золотымъ мундиромъ, такъ и подъ самымъ зловоннымъ рубищемъ, для насъ равно дорога человѣческая плоть и кровь. Въ самыхъ порочныхъ увлеченіяхъ, какъ и въ самой черствой канцелярской бездушности, мы ищемъ перерожденій общей человѣческой души. Если князь Метернихъ, не прибавивъ ничего къ суммѣ нашихъ историческихъ свѣдѣній, съумѣетъ только рассказать намъ, что онъ былъ за человѣкъ, мы сочтемъ его записки произведеніемъ, вполне заслуживающимъ вниманія.

II.

Но Метернихъ такъ былъ недоступенъ ничему человѣческому, что онъ даже и въ себѣ самомъ совершенно проглядѣлъ человѣка. Его автобіографія сообщаетъ намъ гораздо больше подробностей о той парадной роли, которую онъ разыгралъ, будучи всего только восемнадцати или девятнадцати лѣтъ отъ роду, на коронаціи императора Франца во Франкфуртѣ, чѣмъ объ его воспитаніи и образованіи. Мы узнаемъ, однакожь, что воспитаніе это было чисто-французское. Уже въ 1786 г. юный Метернихъ поступилъ въ страсбургскій университетъ, гдѣ ему привелось познакомиться съ нѣкоторыми будущими революціонными знаменитостями и гдѣ онъ имѣлъ тѣхъ же учителей, какъ и Наполеонъ I, уѣхавшій, впрочемъ, изъ Страсбурга нѣсколько раньше, чѣмъ явился туда будущій пресловутый его врагъ и побѣдитель. Въ числѣ наставниковъ юнаго Метерниха было два капихъ-то эльзаскихъ абата, впоследствии сдѣлавшихся самыми яркими революціонерами и разыгравшихъ даже довольно важную роль въ рядахъ гебертистовъ. Въ Страсбургѣ же ему давалъ уроки извѣстный Эвлогій Шнейдеръ, бывший сперва монахомъ въ Кельнѣ, а потомъ преобразившійся въ президенты революціоннаго трибунала, а уроки теологіи ему давалъ какой-то священникъ, который въ самый разгаръ революціи, будучи уже страсбургскимъ епископомъ, сбросилъ свою рясу и публично сжегъ атрибуты своего званія...

Было бы въ высшей степени интересно знать, какъ отражались въ юношескомъ мозгу князя священной имперіи своеобразные уроки этихъ наставниковъ? Но Метернихъ упоминаетъ о нихъ въ своемъ протоколѣ совершенно вскользь и только для того, чтобы показать, что съ самаго дѣтства онъ стоялъ выше всякаго соблазна и ни на волосъ не поддавался тѣмъ вліяніямъ, которыя вездѣ вокругъ него совращали даже зрѣлыхъ и опытныхъ людей. Въ этомъ почтенный князь видитъ доказательство несомнѣннаго превосходства своей природы надъ простыми смертными. Но какимъ путемъ досталось ему это превосходство?—объ этомъ онъ умалчиваетъ. Семнадцатилѣтнимъ юношей и даже раньше онъ уже былъ твердъ и непреклоненъ въ тѣхъ воззрѣніяхъ, которымъ служилъ всю свою жизнь. Изъ этого можно уже заключить, что воззрѣнія и зрѣлаго Метерниха не были результатомъ глубокаго обдумыванья и обсужденія сложнѣйшихъ политическихъ и общественныхъ вопросовъ. Они достались ему по наслѣдству, какъ и громадное его состояніе и княжескій ти-

туль. Онъ съ дѣтства заучилъ, что исторія есть арена состязанія для ловкихъ честолюбцевъ, что всякое живое и прогрессивное стремленіе есть анархія, что умѣренно-прогрессивныя формулы суть «зараза, занесенная изъ Англіи Монтескье и распространенная имъ по всей Европѣ». Провѣрять или анализировать эти идеи онъ никогда не чувствовалъ ни малѣйшей потребности. Еще отрокомъ онъ ознакомился съ французскою революціею гораздо ближе и короче, чѣмъ большая часть современныхъ ему нѣмецкихъ аристократовъ, и увѣрился, что его истинное призваніе, его провиденціальная роль заключается въ томъ, чтобы побороть эту гидру.

Во Франкфуртѣ въ 1792 г., возведенный въ роль церемониймейстера ордена католическихъ вестфальскихъ графовъ при коронаціи императора Франца, онъ познакомился съ французскими эмигрантами, въ числѣ которыхъ былъ и графъ Мирабо, по прозвищу Бочка, знаменитый своею толщиною и тѣмъ, что, будучи братомъ извѣстнаго провозвѣстника «человѣческихъ правъ», онъ отличался въ то же время необыкновенною яростію своихъ консервативныхъ воззрѣній. Метернихъ признается, что самые первоклассные корифеи консервативнаго лагеря во Франкфуртѣ, а впослѣдствіи въ Вѣнѣ, поражали его необычайнымъ, почти дѣтскимъ своимъ легкомысліемъ, совершенною своею неспособностью вести какое-нибудь серьезное дѣло, всего же менѣе то дѣло возстановленія «спокойствія и порядка», отъ успѣха котораго зависѣла самымъ ближайшимъ образомъ даже ихъ личная судьба. Всѣ они были убѣждены, что герцога Брауншвейгскій въ мѣсяцъ, много въ два, сотретъ съ лица земли смѣшныхъ и кровожадныхъ санкюлотовъ и что тишь да гладь зацвѣтутъ снова надъ любезной Франціей и надъ всей Европой. Метернихъ же, по крайней мѣрѣ, по его собственному увѣренію, еще безбородымъ юношей понималъ, что дѣло это нѣсколько серьезнѣе и глубже, что вождедѣнные тишь да гладь не могутъ быть водворены при помощи такихъ близорукихъ политиковъ и генераловъ, вродѣ герцога Брауншвейгскаго, «вся военная репутація котораго основывалась на комплиментѣ, когда-то сказанномъ ему Фридрихомъ Великимъ». Чувствуя свое превосходство надъ средою, которую одну онъ считалъ заслуживающею своего вниманія, видя, что его рыанымъ проповѣдямъ о необходимости поголовнаго вооруженія пограничныхъ крестьянъ и кровавой мести за нашу безсмертную Терезу, погибшую на эшафотѣ *) , не даютъ никакого хода, Метернихъ проникается величавымъ пре-

*) См. *воззваніе къ войску*, сочиненное Метернихомъ въ 1793 г., т. I; стр. 336.

зрѣніемъ ко всѣмъ и ко всему, забываетъ свое будто бы провиденціальное призваніе истребить революцію и мечтаетъ только о томъ, чтобы «отъ суеты, отъ міра удалиться». Вотъ въ какихъ выраженіяхъ самъ Метернихъ повѣствуетъ намъ о томъ душевномъ настроеніи, которое овладѣло имъ передъ его женитьбою въ 1795 г.:

«Будучи поставленъ уже въ ранней молодости въ такое положеніе, которое позволяло мнѣ судить съ возвышенной точки зрѣнія (*envisager d'un point de vue élevé*) о ходѣ государственныхъ дѣлъ, я находилъ, что они велись не такъ, какъ бы слѣдовало... Я былъ недоступенъ предразсудкамъ и во всемъ искалъ только истины. Скромность не позволяла мнѣ порицать людей, которыхъ поступки мнѣ казались неудовлетворительными, но которые тѣмъ не менѣе держали власть въ своихъ рукахъ, хотя я и былъ недоволенъ тѣмъ, что происходило у меня на глазахъ. Я даже допускалъ, что только моя неопытность и слабость моего ума заставляли меня въ душѣ осуждать ихъ поступки. Однако, я не чувствовалъ ни малѣйшаго желанія пріобрѣтать ту опытность, которой мнѣ не доставало. Къ этому ничто не обязывало меня».

Конечно, въ томъ положеніи, въ которомъ находился Метернихъ, не было ничего легче, какъ относиться къ людямъ и къ событіямъ съ олимпійскимъ презрѣніемъ. Онъ не хотѣлъ вступать на государственную службу въ какой-нибудь скромной должности, а нельзя было предполагать, чтобы даже при тѣхъ громадныхъ связяхъ, которыми онъ былъ обставленъ при имперскомъ дворѣ, ему въ двадцать лѣтъ поручили высшее руководство внутренней и внѣшней политикой. Онъ рѣшаетъ посвятить себя наукамъ, изучаетъ естественную исторію, слушаетъ юридическія лекціи въ майнцкомъ университетѣ, путешествуетъ по Германіи, Бельгій, Англіи... и въ-концѣ-концевъ все-таки изъ него не выходитъ ничего кромѣ вылощенного «инквизитора въ полицейскомъ мундирѣ».

Имѣнія Метерниховъ находились главнѣйшимъ образомъ на лѣвомъ берегу Рейна. Когда, съ разгаромъ революціи, они были конфискованы, отецъ будущаго канцлера посылаетъ его въ Богемію, гдѣ у нихъ тоже были родовыя помѣстья, значительно запущенныя за послѣдніе годы. Но прежде чѣмъ похоронить молодого человѣка въ богемской глуши, предусмотрительные родители рѣшаютъ женить его на богатой и знатной принцессѣ Кауницъ, которой онъ никогда въ глаза не видалъ и съ которою его знакомятъ чуть не наканунѣ свадьбы.

Въ 1797 г., когда отецъ Метерниха былъ назначенъ уполномо-

мочевнымъ отъ имперіи на конгресъ, собравшемся въ Раштатъ для того, чтобы устроить судьбу Германіи, сынъ былъ избранъ представителемъ отъ тѣхъ же вестфальскихъ графовъ, которыхъ онъ уже изображалъ на коронаціи во Франкфуртѣ. Мы имѣемъ цѣлый рядъ писемъ, адресованныхъ имъ въ это время своей женѣ. Французскими уполномоченными отъ директоріи были Бонапартъ, Трельяръ и Бонье. Но Бонапартъ уѣхалъ въ Парижъ съ тѣмъ, чтобы возвратиться черезъ недѣлю. Онъ, однакожъ, не возвращался, и Метерниху не удалось познакомиться съ будущимъ своимъ противникомъ и на этотъ разъ. Вотъ въ видѣ образчика этой переписки, его письма отъ 5-го декабря:

«Я только-что отобѣдалъ у Кобенцля (депутата Венгріи и Богеміи, впослѣдствіи имперскаго посланника въ Петербургѣ). Съ нами былъ адъютантъ генерала Бонапарта и гражданинъ Пере, секретарь посольства. Первый—совершенная ничтожность; второй же—красивый юноша, прекрасно говорящій по-нѣмецки, такъ-какъ онъ учился въ Іенѣ и въ Лейпцигѣ; онъ уже участвовалъ въ переговорахъ въ Удине. Они оба очень вѣжливы и въ разговорахъ даютъ намъ наши титулы, и пр. Завтра я обѣдаю съ Трельяромъ и Бонье; неправда-ли, я здѣсь въ хорошемъ обществѣ? Но я рѣшительно не могу свыкнуться съ нимъ; я такъ и вижу передъ собою стаю сентабристовъ и гильотинеровъ, и всѣ мои внутренности возмущаются». А въ другомъ письмѣ онъ такъ описываетъ этихъ же самыхъ французскихъ делегатовъ: «Отъ роду не видалъ я такихъ нелюдимовъ. Они ни съ кѣмъ не знакомятся, живутъ дикарями въ своихъ комнатахъ, хуже бѣлыхъ медвѣдей. Боже мой! до чего пала эта нація! Въмѣсто прежняго неподражаемаго изящества, теперь повсюду возмутительная грязь; вмѣсто прежней очаровательной любезности — мрачный, злобщій... скажемъ, наконецъ, это злополучное слово: революціонный видъ... А что у нихъ за свита, такъ и представить себѣ невозможно. Какіе-то *молодцы* (gaillards) въ скверныхъ рыжихъ башмакахъ, въ толстѣйшихъ, голубыхъ штанахъ, на шеѣ намотана шелковая или бумажная тряпица, волосы нестриженные, черные, грязные; огромная шляпа съ огромнымъ краснымъ перомъ. Можно бы умереть со страха, встрѣтивъ одного изъ нихъ гдѣ-нибудь въ лѣсу. И при этомъ вѣчная ворчливость... Эти господа кажутся постоянно недовольными еще болѣе собою, чѣмъ другими». И такъ далѣе, все въ томъ же родѣ. Переписка эта тянется на тридцати страницахъ, не обмолвившись ни однимъ сколько-нибудь живымъ впечатлѣніемъ, ни одною интересною подробностью, ни однимъ сколько-нибудь оригиналь-

нымъ или задушевымъ словомъ, точно читаешь меню дипломатическаго обѣда.

«Французскіе депутаты, пишетъ онъ нѣсколько времени спустя, — все люди пожилые; свита же Бонапарта вся подъ-рядъ состоитъ изъ молодежи. Ему самому только въ іюнѣ исполнилось двадцать восемь лѣтъ, а онъ старшій между ними. Надѣются, что онъ вернется въ Раштатъ черезъ недѣлю. Между его свитою и депутатами отношенія крайне натянуты; говорятъ, что самъ Бонапартъ обращается съ ними очень свысока... Дипломаты ходятъ всѣ въ синихъ фракахъ съ желтыми пуговицами, на которыхъ изображена въ профиль женская голова съ надписью: «Liberté, égalité!» Военные же постоянно въ мундирахъ и выглядятъ молодцевато... Боже мой! что за времена и что за нравы! Какихъ-нибудь погода тому назадъ мы бы бѣжали отъ этихъ людей, а теперь мы вынуждены жить съ ними подъ одною кровлею, встрѣчаться часто въ одной комнатѣ...» Но что же собственно ужаснаго въ этихъ людяхъ и чѣмъ они такъ жестоко возмущаютъ аристократическое нутро свѣтлѣйшаго князя священной имперіи—объ этомъ ни слова не высказано нигдѣ.

Ошибочно было бы предполагать, что Метернихъ считалъ неумѣстнымъ распространяться о своихъ политическихъ воззрѣніяхъ и о другихъ матеріяхъ важныхъ въ совершенно интимной перепискѣ съ своею женою. Мы даже видимъ неоднократно, что онъ черезъ ея посредство обдѣлывалъ нерѣдко дипломатическія дѣлишки. Если-же въ этой перепискѣ изъ Раштата не встрѣчается ни одного серьезнаго впечатлѣнія и воззрѣнія, то это заставляетъ насъ сильно опасаться, что у юнаго дипломата такихъ воззрѣній и впечатлѣній вовсе и не было за душой. Опасеніе это подтверждается тѣмъ, что воззрѣнія и впечатлѣнія эти не высказаны имъ нигдѣ и въ другомъ мѣстѣ. Онъ несомнѣнно въ ранней молодости уже ненавидѣлъ революцію, которая лишила его зарейнскихъ земель и оскорбляла его феціонебельныя привычки. Но мы совершенно не видимъ, что именно заставляло его предполагать, будто онъ уже въ молодости понималъ это важное событіе лучше, чѣмъ Бочка-Мирабо или иной французскій бѣглый виконтъ и маркизъ, ждавшій каждую ночь, что его разбудятъ счастливымъ извѣстіемъ, что «Brunswick» побилъ и наказалъ негодяевъ и что въ Трианонѣ и въ Версали снова началось прерванное кровавою катастрофою 1790 г. веселое пиршество. Въ это время, т. е. пока онъ разыгрываетъ еще дипломата только отъ лица полупуштовской коллегіи вестфальскихъ графовъ, Метернихъ, очевидно, не имѣетъ еще никакого самостоятельнаго поли-

тического мировоззрѣнія. По крайней мѣрѣ, въ его запискахъ оно не проглядываетъ нигдѣ, потому что нельзя-же въ самомъ дѣлѣ призывъ къ мести «за Терезу» и издѣванія надъ порыжѣлыми башмаками считать за продуктъ какого-бы то ни было мировоззрѣнія. А посмотрите, въ какихъ выраженіяхъ этотъ оплотъ общеевропейскаго консерватизма оповѣщаетъ свою жену о томъ, что составляло существеннѣйшій смыслъ этого, рокового для Германіи вообще, для рейнскихъ земель и для покойной священной имперіи въ частности, раштатскаго конгреса:

«Наши дѣла такъ еще запутаны, что исхода ихъ предвидѣть нельзя, пишетъ онъ отъ 7 декабря;—но во всякомъ случаѣ, исходъ этотъ долженъ быть ужаснымъ для имперіи. *«Il faut en faire son deuil»* (съ гибелью ея нужно примириться). Наши-же личные дѣла, я полагаю, устроятся благополучно въ той формѣ, о которой я вамъ уже говорилъ передъ своимъ отъѣздомъ въ Раштатъ; я убѣжденъ, что лично мы не только ничего не потеряемъ, но, пожалуй, даже выиграемъ. Но, съ одной стороны, я не могу примириться съ мыслью, что эти мерзавцы (*coquins*) распоряжаются, какъ имъ вздумается, моимъ отечествомъ; съ другой стороны, медиатизація (т. е. лишеніе мелкихъ владѣтельныхъ князей ихъ политической власти за денежное вознагражденіе) мнѣ крайне не по душѣ... Но что-же дѣлать? Вѣдь то, чего не возьмемъ мы, достанется другимъ. Это соображеніе заставляетъ меня крѣпко держаться за послѣдній ресурсъ (т. е. за вознагражденіе). Не говорите никому ни слова, въ особенности-же не давайте никому права ссылаться на меня; вамъ я скажу прямо: я увѣренъ, что все идетъ къ чорту. Въ такую минуту каждый долженъ думать о томъ, чтобы выгородить себя, насколько удастся, изъ общаго кораблекрушенія» (стр. 347, т. I).

Такъ вотъ что на языкѣ даже двадцати-четырёхлѣтняго Метерниха значило всегда стоять за правду и не уклоняться отъ пути, предписываемаго вѣчнымъ правомъ! Спасать свои зарейнскія земли, свои феодальныя привилегіи, или, по крайней мѣрѣ, сорвать за нихъ приличное вознагражденіе отъ ненавистой ему революціи, но только подъ шумокъ и «не давая никому права ссылаться на себя»!..

Мы тщательно собрали въ автобіографіи и въ документахъ все, что могло служить хоть косвеннымъ указаніемъ на тѣ обстоятельства, которыя способствовали развитію въ этомъ юномъ представителѣ аристократической семьи тѣхъ качествъ, которыя самъ онъ, не запинаясь, выдаетъ за торжество консервативной добродѣтели. Но протоколистскій складъ записокъ Метерниха чрезвычайно бѣденъ подобными указаніями. Баловень судьбы,

сметливый, безстрастный, эгоистичный до иезуитизма и холодный до черствости юный Метернихъ выходитъ на историческое поприще по праву наслѣдства, не проявивъ ни особой гениальности, ни даже искренней преданности тому дѣлу, которое онъ считаетъ себя призваннымъ защищать. На раштатскомъ конгрессѣ онъ выступаетъ передъ нами, какъ недоучившійся студентъ, полный презрѣнія ко всему, считаемому имъ ниже себя, и близорукаго негодованія противъ новаго общественнаго строя, нарушающаго его великосвѣтскія привычки и его своекорыстный землевладѣльческій расчетъ. Въ этой порѣ онъ даже и не думаетъ возводить свои личные экономическіе расчеты въ какую-нибудь общую политическую систему. Онъ еще легко отказывается отъ своей завѣтной юношеской мечты сокрушить революцію, коль скоро ему представляется легкая возможность удалиться на покой, въ свои обширныя богемскія помѣстья, а потомъ въ Вѣну, съ молодою и красивою женою, съ блестящимъ общественнымъ положеніемъ и крупными доходами. «Я не бѣжалъ свѣта, говоритъ онъ о себѣ въ эту эпоху своей жизни, — но я жилъ такъ, какъ живетъ человѣкъ, цѣнящій только одно хорошее общество. Оно всегда было для меня привлекательнымъ. Я посѣщалъ по преимуществу такіе салоны, въ которыхъ могъ рассчитывать на пріятный разговоръ; я и тогда уже былъ убѣжденъ, что такіе разговоры изопряютъ умъ, исправляютъ ложныя идеи и научаютъ насъ избѣгать пустой болтовни...» Въ силу этого, рано сложившагося въ немъ убѣжденія, Метернихъ только заглядывалъ въ разныя юридическія аудиторіи и многотомныя ученныя сочиненія по всевозможнымъ отраслямъ наукъ и искусствъ. Настоящее-же свое воспитаніе онъ пополнялъ въ салонахъ Поццо ди-Борго, княгини Лихтенштейнъ и принца де-Линь.

III.

Безилодно и скучно было-бы рассказывать, какъ юный Метернихъ, выступивъ на дипломатическое поприще въ скромной роли депутата вестфальскихъ графовъ въ Раштатѣ, быстро поднимался по его раззолоченнымъ ступенямъ отъ должности имперскаго посланника въ Дрезденъ и Берлинъ къ совершенно первокласной роли австрійскаго уполномоченнаго при Наполеонѣ I въ критическую эпоху, наступившую въ 1805 г. Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожить. У Метерниха-же ворожили и тетюшки, и дяденьки, и цѣлая блестящая рать мно-

гочисленнѣйшихъ родственниковъ и родственницъ, съ самыми громкими именами, съ самыми верховыми общественными положеніями. Послѣ постыднаго для имперіи люневильскаго мира, которымъ закончилась въ 1801 году десятилѣтняя борьба имперіи съ революціею, въ Вѣнѣ наступила пора преобразованій, какъ это всегда бываетъ послѣ пораженія. Убѣдились, что новому времени нужны и новые люди. Искать ихъ вдали отъ трона—значило-бы дѣлать уступку тѣмъ принципамъ, которые рѣшительно торжествовали не въ одной только Франціи, но и во всей западной Европѣ. По увѣренію самого Метерниха, въ консервативномъ лагерѣ и въ его главномъ оплотѣ, въ Вѣнѣ, царилъ хуже, чѣмъ хаосъ: царила полная деморализація. Козлицемъ отпущенія избранъ былъ имперскій министръ иностранныхъ дѣлъ Тугутъ. Его обвиняли въ измѣнѣ и открыто говорили, будто бы онъ проданъ Франціи. Метернихъ возмущается этимъ обвиненіемъ и оправдываетъ Тугута, обнаруживая при этомъ такую оригинальность воззрѣній на честь и долгъ, которая заслуживаетъ нѣкотораго вниманія. Тугутъ, по его увѣренію, былъ честнѣйшій человекъ и стоялъ выше подкупа. Но онъ разжился, будучи министромъ, и имѣлъ несчастье обратить свое громадное состояніе въ французскіе фонды. Пока у него была надежда, что фонды эти такъ или иначе поднимутся, онъ и велъ имперскую войну такъ, чтобы она не подрывала кредита республики. Но какъ скоро эта послѣдняя все-таки обанкротилась, онъ воспыпалъ къ ней такую же точно непримиримую ненавистью, какою горѣлъ и самъ Метернихъ. Очень вѣроятно, что со временемъ Тугутъ сдумѣлъ бы возвести эту свою узкую ненависть въ обширную политическую систему; но коль скоро его финансовыя продѣлки, стоившія столько стыда и крови народамъ имперіи, обнаружались, то его уже невозможно было держать на его посту. Основательны-ли обвиненія, взводимыя противъ Тугута,—этого здѣсь мы не станемъ разбирать, такъ-какъ для насъ характерно только то, что это *обвиненіе* приводится Метернихомъ въ *оправданіе* Тугута.

Низверженный министръ былъ плебейскаго происхожденія. Этого показалось вѣнскому двору совершенно достаточнымъ для того, чтобы изгнать демократическій элементъ вовсе изъ вновь на-вербованнаго правительственнаго персонала. Всѣ первоначальныя должности были замѣщены носителями громкихъ именъ и владѣльцами крупныхъ земельныхъ помѣстій, особенно въ прирейнскихъ мѣстностяхъ, такъ-какъ консерватизмъ этихъ послѣднихъ слишкомъ тѣсно совпадалъ съ ихъ личными экономическими расчетами. А въ имперской аристократіи молодой Метернихъ игралъ

по праву совершенно первостепенную роль и выдвигался на первый планъ даже личными своими достоинствами. При низкомъ уровнѣ тогдашняго образованія германской знати, отрывочныя знанія, наскоро нахватанныя имъ въ Страсбургѣ и въ Майнцѣ, были совершенно достаточны, чтобы составить ему репутацію чуть не первокласнаго ученаго. Его салонная благовоспитанность, приправленная положительнымъ, практическимъ складомъ ума, дѣлала его несравненно пригоднѣе для высшихъ дипломатическихъ должностей, чѣмъ тѣ гвардейцы, которые, положимъ, давали себя побивать французскимъ голоштанникамъ на поляхъ сраженій, но которые тѣмъ не менѣе вели себя въ мирной гражданской жизни совершенными кондотьерами и грубыми забіяками. До чего доходила неотесанность тогдашней военщины въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи, можно судить по примѣру Влюхера, оплакивавшаго смерть своей жены въ такихъ выраженіяхъ: «Красавица была эта бестія такая, что и не рассказать. А добрая-то, добрая — какъ десять тысячъ чертей!» При этомъ маститый генераль разражался непритворнымъ и громкимъ плачемъ...

Въ Вѣнѣ и на Рейнѣ умственный и образовательный уровень стоялъ, правда, значительно выше, чѣмъ въ Пруссіи. Тѣмъ не менѣе аристократъ съ неказарменнымъ, а университетскимъ воспитаніемъ, какъ Метернихъ, былъ и тамъ почти рѣдкостью. Но въ особенности Метернихъ имѣлъ надъ другими своими сверстниками тотъ неоцѣненный перевѣсъ, что онъ былъ, по крайней мѣрѣ, на половину французъ и имѣлъ самыя тѣсныя связи съ нѣкоторыми изъ людей, начинавшихъ играть важную политическую роль при Бонапартѣ, преобразившемся въ Наполеона I. Война съ Франціею давала самый плачевный результатъ. Три раза Францъ бѣжалъ изъ своей столицы, въ которой Наполеонъ хозяйничалъ тогда полновластно. Приходилось поневолѣ интриговать, выжидая болѣе удобнаго времени. При такихъ обстоятельствахъ можно удивляться только развѣ тому, что Метернихъ оставался во второстепенныхъ дипломатическихъ должностяхъ на сѣверѣ Германіи цѣлыхъ пять лѣтъ и только въ 1806 г. очутился на настоящемъ своемъ мѣстѣ въ Парижѣ.

Мы уже видѣли, что даже въ ранней молодости, когда жизнь его бѣдна политическими событіями, Метернихъ совершенно упускаетъ изъ вида тотъ человѣческій элементъ, который единственно и интересуется насъ въ его мемуарахъ. Съ той же поры, какъ онъ очутился въ роли имперскаго посла въ Дрезденѣ, а потомъ уполномоченнымъ въ Берлинѣ, съ порученіемъ вовлечь Пруссію въ анти-французскій союзъ, записки его еще рѣшительнѣе

обращаются въ біографію протоколовъ, отношеній и донесеній, входящихъ и исходящихъ бумагъ. Будь отношеніе за № такимъ-то составлено иначе, а не такъ... будь Шварценбергъ на мѣстѣ Гарденберга или Алопеусъ на мѣстѣ Румянцева и т. п..., мы твердо убѣждены, что въ какія бы сочетанія и переставленія ни укладывались всѣ эти дипломатическія ухищренія, всѣ эти болѣе или менѣе историческія имена, пестрящія страницы метерниковской автобіографіи, суть дѣла отъ этого не измѣнились бы ни на волосъ. Но мы вовсе не намѣрены дѣлиться съ читателемъ тою скукой, которую мы испытывали, читая главы метерниковскихъ мемуаровъ, посвященныя описанію дипломатическихъ подвиговъ имперскаго уполномоченнаго на сѣверѣ. Скука эта только отчасти искупалась высокимъ комизмомъ тѣхъ строкъ, которыя авторъ посвящаетъ описанію берлинскаго двора, какъ главнаго разсадника революціонныхъ началъ на всю Европу и преимущественно на Россію, гдѣ будто бы даже императоръ Александръ, тоже незнавшій близко Метерниха, самъ поддался ихъ вліянію. Истинными преемниками Робеспьера, Дантона и Марата въ запискахъ Метерниха являются Штейнъ, Лагарпъ и Жюмини! Очевидно, консерватизмъ этого дипломата дѣлалъ существенный шагъ впередъ со времени раштатскаго конгресса, когда его озлобленіе противъ новаторовъ всякаго рода ограничивалось только одними формальными отмітками вродѣ нечищенныхъ сапоговъ, черныхъ волосъ и т. п. Штейнъ и Лагарпъ одѣвались очень прилично, не носили никакихъ трехцвѣтныхъ кокардъ и могли быть обвиняемы въ революціонныхъ стремленіяхъ только ужъ съ очень возвышенной, философски-консервативной точки зрѣнія, а таковой, какъ мы видѣли, Метернихъ въ Раштатъ съ собою не привозилъ. Теперь же, сдѣлавшись посланникомъ имперіи при первокласномъ дворѣ Европы, онъ считаетъ необходимымъ обзавестись тѣмъ, что въ автобіографіи носитъ громкое названіе *политическихъ принциповъ* Метерниха.

«Заботливость, съ которою мое воспитаніе было направлено къ обширному политическому поприщу (такъ выражается онъ на стр. 30 своей автобіографіи), рано приучила меня измѣрять его по всѣмъ направленіямъ. Я скоро замѣтилъ, что мои воззрѣнія на это поприще существенно отличались отъ воззрѣній громаднаго большинства людей, игравшихъ болѣе или менѣе видныя политическія роли. Здѣсь у мѣста будетъ поговорить о тѣхъ чрезвычайно простыхъ принципахъ, къ которымъ я свелъ науку, обыкновенно называемую *политикою* или *дипломатіею* (!).

«Политика есть наука о жизненныхъ интересахъ государствъ въ самомъ возвышенномъ порядкѣ. Но государства изолирован-

ныя теперь существуютъ уже только въ лѣтописяхъ языческаго міра и въ отвлеченіяхъ самозванныхъ философовъ, а потому никогда не слѣдуетъ упускать изъ вида общество государствъ, это существеннѣйшее изъ условій новаго міра... Великія аксіомы политической науки вытекаютъ изъ знанія истинныхъ политическихъ интересовъ всѣхъ государствъ; на этихъ общихъ интересахъ покоится гарантія существованія каждаго изъ нихъ. Въ языческомъ мірѣ политика замыкалась въ отчужденіе и держалась крайняго эгоизма, сдерживаемаго только благоразуміемъ. Законъ возмездія (la loi talón) воздвигалъ вѣчныя преграды и возбуждалъ вѣчную борьбу между разными группами: на каждой страницѣ древней исторіи мы встрѣчаемъ взаимность зла, которое государства наносили другъ другу. Новѣйшее общество показываетъ намъ, напротивъ, примѣненіе принципа солидарности и равновѣсія государствъ и зрѣлище соединенныхъ усилий нѣсколькихъ государствъ, чтобы воспротивиться преобладанію одного, чтобы остановить развитіе его вліянія и принудить его вступить въ область общаго права. Возстановленіе международныхъ отношеній на основаніи взаимности, подъ обезпеченіемъ признанія прибрѣтенныхъ правъ и уваженія присяги (le respect de la foi jurée), составляетъ въ наше время сущность политики; дипломатія же есть только приложеніе политическихъ началъ къ будничной жизни. Между политикою и дипломатіею существуетъ то же отношеніе, какъ между наукою и искусствомъ...

«По этому заявленію принциповъ можно уже судить, какъ мало я могъ цѣнить политику какихъ-нибудь Ришелье и Мазарини, Талейрановъ и Гаугвицевъ, Канинговъ, Капо д'Истрія и т. п.»...

И эту дребедень, которую мы по необходимости вынуждены здѣсь сокращать, этотъ столбъ общеевропейскаго консерватизма размазываетъ въ своей автобіографіи на цѣлыхъ трехъ страницахъ! Эта раззолоченная бутылка оказывается до того пуста, что чуть-только она задумаетъ раскупориться, какъ тотчасъ-же и оказывается вынужденною влить въ себя нѣсколько капелекъ изъ содержанія тѣхъ доктринъ и воззрѣній, которыя самъ-же Метернихъ, во имя вѣчнаго права и коллективнаго спасенія всѣхъ государствъ, нещадно преслѣдовалъ втеченіи всей своей долготлѣтной жизни. Рѣшительно недоумѣваешь: глумится-ли старый дипломатъ надъ своимъ читателемъ или же несостоятельность его элементарнѣйшаго политическаго образованія такъ ничтожна, что онъ дѣйствительно воображаетъ, будто открылъ Америку, приподнося намъ въ крайне-неуклюжей формѣ отрывки общихъ

мѣсть о солидарности государствъ и о политическомъ равновѣсіи, даже не подозрѣвая, что эти начала, совершенно помимо его, давно уже успѣли развиться въ стройную и послѣдовательную систему!

Это-то заявленіе принциповъ представляетъ апогей умственнаго и нравственнаго величія Метерниха. Въ непоколебимой увѣренности, что имъ однимъ онъ блистательно доказалъ свое несомнѣнное превосходство надъ всевозможными живыми и мертвыми свѣтилами политической премудрости, австрійскій дипломатъ болѣе никогда уже и не возвращается къ этому предмету...

Зачѣмъ Митрофанушкѣ учиться географіи, когда есть извозчики, которымъ только прикажи, и они тебя во всякую страну доставятъ благополучно! Зачѣмъ имперскому князю утруждать свои сіятельные мозги размышленіями надъ головоломными вопросами, когда у него есть Генцъ, авлическій совѣтникъ, которому только заплати, и онъ все, что потребуется, сдумаетъ доказать, обѣлить и очернить, спасти и погубить по всѣмъ правиламъ дипломатической риторики. И Генцъ, дѣйствительно, доказываетъ, что та солидарность, то равновѣсіе, которыя проповѣдуетъ Метернихъ, составляютъ послѣднее слово «вѣчнаго права», и что эти блаженные принципы не замедлятъ восторжествовать на всемъ земномъ шарѣ, какъ только общественное мнѣніе Европы забудетъ дурныя привычки, которыя развились въ немъ проклятый XVIII вѣкъ, и перестанетъ вовсе *разсуждать*, а научится снова *отречь* и *подчиняться*.

Имѣть такихъ Генцевъ для Метерниха оказывалось крайне удобнымъ, не потому только, что эти плебеи, въ силу своего общественного положенія, черпали свое политическое образованіе изъ профессорскихъ лекцій и книгъ, а не изъ пріятныхъ разговоровъ въ салонахъ Поццо-ди-Борго и княгини Лихтенштейнъ, но также и потому, что если имъ случалось порой ужъ слишкомъ проворачиваться въ своемъ слѣпомъ рвеніи, то у Метерниха постоянно была возможность замѣтить съ язвительною усмѣшкою и снисходительнымъ пожатіемъ плечъ: «Ахъ, этотъ Генцъ! Онъ ужасный радикаль; но я поощряю въ немъ его благонамѣренность». А потому, по мѣрѣ того, какъ онъ забиралъ власть въ свои руки, Метернихъ заводилъ себѣ все болѣе и болѣе такихъ Генцевъ, изъ которыхъ далеко не всѣ были авлическими совѣтниками. Въ 1808 г. онъ уже пишетъ министру иностранныхъ дѣлъ докладную записку о *необходимости оказывать воздѣйствіе на печать* (sur la nécessité d'influencer la presse). Оставаясь вѣрнымъ своимъ принципамъ общеевропейской солидарности, онъ,

однако, не ограничиваетъ своей заботливости объ общественномъ мнѣніи созданіемъ полицейской литературы въ одной только Австріи, но стремится «воздѣйствовать» также и на журналистику другихъ государствъ. Узнать дѣйствительныя заслуги Метерника въ этомъ направленіи для насъ было бы несравненно интереснѣе, чѣмъ читать его «заявленіе принциповъ». Къ сожалѣнію, и самъ онъ, и его издатели, — конечно, изъ патріотизма,—предпочли оставить эту сторону его дѣятельности во мракѣ неизвѣстности, и въ двухъ вышедшихъ томахъ мы встрѣчаемъ только нѣсколько загадочныхъ и скромныхъ намековъ на эту инквизиторскую стряпню великаго политика.

IV.

Исторія—большой скептикъ въ нравственныхъ дѣлахъ. Она съ равнымъ безпристрастіемъ помѣчаетъ все, выдающееся сколько-нибудь изъ ряда прѣсной будничной безцвѣтности: она передаетъ воспоминаніямъ потомковъ имена Регуловъ и Геростратовъ, Цезарей и Брутовъ, Галилеевъ и Марфори, предоставляя самому потомству благословлять или проклинать тѣ или другія изъ этихъ именъ по своему усмотрѣнію. Слава—распутная женщина, продающая, какъ пушкинская Аглая, свои ласки за мундиръ, за деньги, за черный усь и т. п. Но за что продала она ихъ Метернику? Этотъ загадочный вопросъ не уясняется ни на волосъ двумя вышедшими въ свѣтъ томами его записокъ. Неужели умственный уровень консервативной Европы въ этотъ «вѣкъ богатейрей» палъ такъ низко, неужели весь сонмъ притивниковъ тогдашней Франціи былъ настолько лишенъ всякаго внутренняго содержанія, что даже такой сіятельный Митрофанъ съ своимъ «заявленіемъ принциповъ» могъ слыть за пророка не только въ своемъ отечествѣ, но даже далеко за предѣлами этого отечества, и подчинять себѣ событія и умы въ силу дѣйствительнаго своего превосходства надъ остальными современниками? Достаточно, однакъ, прочитать нѣсколько страницъ даже изъ такого корифея реставраціи, какъ, на примѣръ, Ксавье де-Местръ, чтобы убѣдиться, что это было не совсѣмъ такъ. Де-Местръ, конечно, доходилъ въ своемъ ряномъ ретроградствѣ до возмутительныхъ недѣлностей. Но онъ за то мѣтко умѣлъ схватить всѣ слаббы стороны ученій своихъ противниковъ; онъ думалъ много и утруждалъ свою голову тѣми же вопросами, о которыхъ рассуждали и лучшіе изъ его современниковъ. Онъ умѣлъ высказывать самые крайніе и самые ложные свои выводы съ жа-

ромъ и изяществомъ, невольно останавливавшими на немъ даже предубѣжденное противъ него вниманіе. Ничего подобнаго въ Метернихъ не было и не могло быть. Какъ бы ни выжимали мы оба тома его признаній, писемъ, документовъ и другихъ *показныхъ* памятниковъ его величія, мы не получимъ рѣшительно ничего, кромѣ блѣднаго, плоскаго образа, гораздо болѣе достойнаго красоваться въ ряду «Бисмарковъ» князя Мещерскаго, чѣмъ украшать собою какой бы то ни было пантеонъ великихъ мужей. А такъ-какъ имя его тѣмъ не менѣе записано на страницахъ исторіи, то это и заставляетъ насъ предполагать, что за почтеннымъ княземъ имѣются еще и другія какія-нибудь заслуги, которыя и самъ онъ, и издатели его записокъ сочли за лучшее скрыть отъ всеобщаго любопытства.

Въ самомъ дѣлѣ, записки Метерниха не отбѣняютъ достаточно той роли, которую взялъ на себя Метернихъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ очутился имперскимъ посломъ въ Парижъ, и въ которой душа Метерниха отлилась такъ же всецѣло, какъ, по увѣренію знатоковъ, душа нашего живописца Иванова отлилась въ его знаменитой картинѣ «Креститель». Какъ это излюбленное произведеніе русскаго художника стало основою его знаменитости и школою или энциклопедіею для юныхъ художниковъ, такъ точно и дѣятельность Метерниха [при дворѣ Наполеона I заслужила ему ту громкую извѣстность, которою онъ пользуется еще и до сихъ поръ, обратилась въ родникъ, откуда и всѣ дальнѣйшіе дипломаты извѣстнаго направленія стали черпать свою политическую премудрость.

Не имѣя возможности бороться съ революціей, такъ-какъ ее уже поборолъ гениальный корсиканскій авантюристъ еще въ тѣ времена, когда Метернихъ дипломатически обѣдалъ съ делегатами директоріи въ Раштатъ, нашъ герой перенесъ на своего удачливаго соперника всю ту ненависть, которая съ дѣтства уже накопилась въ его аристократическомъ сердцѣ противъ новыхъ общественныхъ и политическихъ порядковъ. Метернихъ вѣспился въ Наполеона, какъ Яго въ Отело, какъ Жаверь въ романѣ Гюго вѣспился въ добродѣтельнаго каторжника Жана Вальжана. Онъ изучилъ своего противника до тонкости во всѣхъ его слабостяхъ и мелочныхъ недостаткахъ. Въ то время, когда всѣ въ Европѣ, друзья и недруги, смотрѣли на Наполеона сквозь фантастическую призму, Метернихъ едва-ли не одинъ понималъ очень хорошо тѣ многочисленные промахи, которые этотъ «блловень судьбы» дѣлалъ на каждомъ шагу и которые рано или поздно должны были довести его до гибели. Едва-ли можно даже сказать, что Метернихъ своимъ назойливымъ преслѣдова-

ніемъ ускорилъ хоть на шагъ эту роковую развязку. Онъ безспорно съумѣлъ пріобрѣсти на французскаго императора нѣкоторое вліяніе, особенно же съ тѣхъ поръ, какъ Наполеонъ, задумавъ не на шутку разыграть роль помазанника божія, вступилъ въ злополучный бракъ съ австрійскою принцесою. Однако, насколько, по крайней мѣрѣ, можно судить по запискамъ, вліяніе это рѣшительно не шло дальше замѣчательной способности Метерниха раздражать свою жертву и вызывать ее на сотню мелкихъ глупостей, изъ которыхъ инныя несомнѣнно должны были ронять французскаго императора въ глазахъ его подчиненныхъ. Характерна сцена, когда, на примѣръ, Метернихъ въ интимной бесѣдѣ во дворцѣ до того раздражилъ своего противника, что тотъ, забывая всякія приличія, которыя онъ очень цѣнилъ, сталъ кричать, что «ему наплевать (онъ употребилъ еще болѣе энергическое выраженіе) на жизнь миліоновъ людей, когда дѣло идетъ о его династическихъ замыслахъ». — В. В. напрасно говорите это мнѣ: то дѣло, которое представляю здѣсь я, можетъ только выиграть, если эти ваши слова будутъ имѣть многочисленныхъ слушателей». Наполеонъ опомнился. «Что-жь, поправился онъ, — Франція не можетъ пожаловаться на меня. Походъ въ Россію стоилъ жизни больше, чѣмъ 300,000 людей, но изъ нихъ только десятая часть были французы».

Впрочемъ, даже въ своемъ изученіи Наполеона Метернихъ выказывается крайне дюжиннымъ наблюдателемъ, неспособнымъ сразу проникать въ самую сущность вещей и ежечасно путающимся въ безчисленныхъ мелочахъ и ви́шнихъ подробностяхъ. Въ этомъ отношеніи Наполеонъ стоялъ неизмѣримо выше его, и Метернихъ на каждомъ шагу падаетъ ницъ передъ замѣчательною прозорливостью и сообразительностью своего противника. «Разговоръ съ нимъ, признается онъ на стр. 279-й, — представлялъ для меня не легко уловимую прелесть. Онъ быстро схватывалъ самую суть дѣла, отрѣшая ее отъ всякихъ ненужныхъ подробностей, развивая свою мысль до замѣчательной ясности и убѣдительности и быстро находя слова, превосходно идущія къ дѣлу, даже сочиняя ихъ, если ихъ не оказывалось во французскомъ языкѣ... Благодаря обилію своихъ идей и блистательности изложенія, онъ легко овладѣвалъ разговоромъ. Любимѣйшимъ его оборотомъ было: «я вижу, чего вы хотите; ваша цѣль такая-то; ну, такъ и подойдемъ ближе къ дѣлу».

Въ противоположность этому, самъ Метернихъ путается въ ненужныхъ словоизверженіяхъ, въ описаніяхъ одежды, позы, манеръ. Его портретъ Наполеона далеко не безъ достоинствъ, но

онъ уже далеко не новъ для насъ. Къ тому же онъ до-нельзя растянуть и представляетъ отличительную особенность дѣтской и китайской живописи, гдѣ всѣ детали, можетъ быть тщательно и вѣрно срисованныя съ натуры, лѣзутъ на первый планъ и производятъ совершенно нехудожественное впечатлѣніе.

Само собою разумѣется, что Метернихъ не ограничивалъ своего изученія Наполеона I одними только личными своими изслѣдованіями. Онъ окружилъ его и его приближенныхъ цѣлою стаей «преданныхъ наблюдателей», которые очень скоро разлились по всей Франціи и представляли австрійскому посланнику очень подробный отчетъ обо всемъ, что творилось въ различныхъ кружкахъ французскаго общества. Часто онъ находилъ такихъ «наблюдателей» въ числѣ лицъ, пользовавшихся въ то же время полнымъ довѣріемъ Наполеона. Такъ, напримѣръ, записки не оставляютъ въ насъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что Метернихъ состоялъ въ тайныхъ связяхъ съ Фуше, наполеоновскимъ министромъ полиціи... Впрочемъ, едва-ли есть въ настоящее время существенный интересъ перебирать дальше эту грязь, изъ которой, однакожь, слѣвленъ лучшій или даже единственный перлъ вѣнца Метерниха.

Но причемъ же тутъ солидарность государствъ, провозглашенная Метернихомъ, какъ единственный руководящій принципъ его политики? Въ силу этой солидарности, австрійскій министръ весьма естественно стремился распространить и на всѣ другія европейскія государства эту систему «преданныхъ наблюдателей», которую онъ съ такимъ успѣхомъ развивалъ во Франціи. А такъ-какъ ключъ этой системы оставался въ его рукахъ, то и неудивительно, что къ нему одному слѣдовало обращаться, чтобы узнать дѣйствительное настроеніе умовъ въ той или другой части Европы, только черезъ него можно было оказать должное «воздѣйствіе» на періодическую печать каждой страны... Неудивительно, что Метернихъ очень скоро стяжалъ себѣ не при одномъ только вѣнскомъ дворѣ репутацію какого-то мага или чародѣя, который «по волѣ проникнуть могъ и въ нищую хату, и въ пышный чертогъ» и чуетъ травъ прозябанье. У него было повсюду много ушей, чтобы слышать, и много языковъ, чтобы говорить именно то, что требовалось въ данную минуту...

Немного заключительныхъ строкъ дадутъ нашимъ читателямъ очень опредѣленное понятіе и о томъ громадномъ влияніи, которое создали Метерниху эти многія уши и многіе языки, и о томъ направленіи, въ которомъ онъ пользовался этимъ влияніемъ. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ австрійскій министръ рассказываетъ на стр. 183 свой разговоръ съ императоромъ Алек-

сандромъ передъ вступленіемъ союзныхъ войскъ въ Парижъ,— разговоръ, оказавшій на судьбы Франціи, а черезъ нее и на судьбы всей Европы, самое роковое вліяніе. Съ своей стороны замѣтимъ только, что Александръ терпѣть не могъ Метерниха и даже изъяслялъ однажды готовность вызвать его на дуэль.

«Вечеромъ русскій императоръ позвалъ меня къ себѣ. Онъ изложилъ мнѣ причины, мѣшавшія ему до тѣхъ поръ окончательно объясниться съ союзниками насчетъ правительства, которое надлежало дать Франціи. Главною изъ этихъ причинъ было то, что, по его мнѣнію, только будучи на мѣстѣ, можно было узнать дѣйствительное настроеніе умовъ французской націи. — «Она не расположена къ Бурбонамъ, сказалъ мнѣ государь;— возстановлять ихъ насильно на тронѣ, на которомъ они не сѣмъ ли удержаться, значило-бы подвергать Францію и Европу новымъ потрясеніямъ, которыхъ послѣдствія невозможно и предвидѣть. А потому я рѣшился: мы займемъ Парижъ войскомъ; затѣмъ мы издадимъ воззваніе къ французскому народу, въ которомъ надо изложить, что мы не хотимъ вмѣшиваться въ вопросъ о формѣ правленія и выбора правителя. Мы созовемъ избирательныя коллегіи, которыя пошлютъ отъ себя депутатовъ въ Парижъ. Пусть эти депутаты и рѣшаютъ вопросъ отъ имени цѣлой націи...»

Излишне приводить здѣсь тѣ уклончивыя отвѣты, которыми австрійскій министръ старался отклонить русскаго царя отъ этого плана. Въ заключеніе, однако, онъ сказалъ ему: «планъ этотъ никогда не будетъ принятъ моимъ государемъ; а если-бы, паче чаянія, е. в. поколебался въ своемъ рѣшеніи, то я повергъ-бы немедленно свою отставку къ его ногамъ... Съ паденіемъ Наполеона немыслимо во Франціи какое другое правительство, кромѣ Бурбоновъ, возвращающихся въ силу своихъ нерушимыхъ правъ. Сила событій и искреннее желаніе французской націи (*la voix de la nation*), неподлежащее ни малѣйшему сомнѣнію, требуютъ ихъ возвращенія...»

Бурбоны вернулись. Тотъ же Метернихъ такъ описываетъ торжественный въѣздъ Людовика XVIII въ Парижъ, 4 мая 1814 г.: «Я помѣстился съ княземъ Шварценбергомъ у окна въ улицѣ Монмартръ, чтобы видѣть процесію. Тяжелое впечатлѣніе произвело на меня это зрѣлище. Между мрачнымъ видомъ императорской гвардіи, сопровождавшей карету, и любезнымъ выраженіемъ, которое старался придать своему лицу король, рѣзко бросался въ глаза контрастъ, служившій вѣрнымъ отраженіемъ того, что происходило въ душѣ всей націи. Общій видъ толпы подтверждалъ это впечатлѣніе. Горсть роялистовъ кричала: «да

здравствуетъ король!» Но толпа молчала и глядѣла мрачно. Миѣ казалось, что король слишкомъ торопится отвѣчать поклонами на эти заявленія слишкомъ противоположныхъ чувствъ».

Вы думаете, можетъ быть, что тутъ-то Метернихъ и убѣдился, какъ легкомысленно онъ поступилъ, увѣряя нѣсколько недѣль тому назадъ, будто французская нація спитъ и видитъ возвращеніе Бурбоновъ; что онъ задастъ порядочный нагоняй своимъ «преданнымъ наблюдателямъ», ложными донесеніями введшимъ его въ обманъ?

Увы, читатель! Каждый день передъ нами ходятъ плѣшивые и сѣдые люди, а мы все-таки ежедневно читаемъ въ газетахъ торжественныя объявленія, что нѣтъ болѣе плѣшивыхъ головъ и сѣдыхъ волосъ. Трудно человѣку только потерять или окончательно усыпить свою совѣсть. А если онъ однажды достигъ этого желаннаго результата, то самыя вопіющія противорѣчія глотаются потомъ легко и только ободряютъ, какъ рюмка водки передъ обѣдомъ. Изъ прочтенія двухъ вышедшихъ до сихъ поръ въ свѣтъ томовъ записокъ князя Метерниха выносятся только одинъ поучительный результатъ: честь и хвала шарлатанамъ, когда они только изобрѣтаютъ средства отъ сѣдыхъ волосъ или продаютъ воду съ чернилами для излеченія зубной боли, не придумывая никакихъ системъ солидарности государствъ, преданныхъ наблюдателей и продажной прессы.

В. Васардинъ.

УСЛУЖЛИВЫЙ ПЕДАГОГЪ.

(Международная научная библиотека. Воспитаніе, какъ предметъ науки, сочиненіе Александра Бэна, профессора логики въ эбердинскомъ университетѣ. Переводъ съ англійскаго Ф. Резенера. С.-Петербургъ, 1879.)

I.

Книга о воспитаніи — Бэна прежде всего написана въ чисто-англійскомъ духѣ, т. е. въ томъ узко-національномъ духѣ, который отличается большинство англійскихъ мыслящихъ людей. Пока Бэнъ, какъ ученый, занимается изслѣдованіями въ отвлеченной области психологіи, передъ вами безпристрастный человѣкъ науки. Но когда тотъ же Бэнъ дѣлаетъ приложеніе науки къ жизни, онъ забываетъ свою безстрастную психологію и думаетъ только объ англійскомъ общественномъ мнѣніи, а это мнѣніе, какъ извѣстно, принадлежитъ такому большинству, у котораго нѣтъ и ничего не можетъ быть общаго съ требованіями современной передовой мысли. Къ сожалѣнію, обстоятельство это очень часто или забывается, или даже вовсе игнорируется русскими читателями и переводчиками англійскихъ авторовъ, а между тѣмъ оно ведетъ къ путаницѣ понятій, къ неправильнымъ паралелямъ, къ неисполненнымъ требованіямъ.

Несмотря на то, что общіе законы психологіи для всѣхъ людей одинаковы, что душа зулуса и китайца дѣйствуетъ на основаніи тѣхъ же законовъ, какъ душа француза или англичанина, но когда тѣ же законы приходится примѣнять къ воспитанію, то оказывается, что психологія — наука вовсе никому ненужная и что школы въ цѣломъ свѣтѣ устраиваются не по психологическимъ, а по какимъ-то другимъ законамъ. Да это бы еще ничего. Хуже всего, что и сами психологи, и даже знаменитые изъ нихъ, какъ Бэнъ, перестаютъ быть психологами.

II.

Когда Пруссія въ началѣ нынѣшняго столѣтія задумала лучшей организаціей школы создать вмѣсто прежняго трусливаго и загнаннаго поколѣнія, погубившаго Германію въ борьбѣ съ Наполеономъ, поколѣніе иныхъ людей, то основатели прусской національной системы выставили своимъ идеаломъ „гармоническое и равномѣрное развитіе человѣческихъ силъ“. Штейнъ расширилъ это опредѣленіе слѣдующей добавкой: „развитіе силъ методомъ, основаннымъ на природѣ духа, раскрывающимъ всякую способность духа, будающимъ и питающимъ всякій природный принципъ жизни, избѣгающимъ всякаго односторонняго развитія и заботливо развивающимъ всѣ побужденія, на которыя опираются сила и достоинство человѣка“. Опредѣленіе это прежде всего указываетъ на то, что творцы прусской національной системы были слишкомъ неудовлетворены прежней школой, которая почти ничего не давала ни для ума, ни для высшей нравственности и вовсе не заботилась о развитіи такихъ побужденій, на которыхъ опирается нравственная сила и достоинство общества.

Бэнъ не согласенъ съ этимъ опредѣленіемъ и находитъ его слишкомъ общимъ. Но Бэнъ, разумѣется, забылъ, въ какомъ положеніи находилась Пруссія и вся Германія, когда великіе нѣмецкіе патриоты, вроде Штейна, задумали преобразовать прусскую школу. Конечно, Штейнъ и его единомышленники исходили въ своихъ соображеніяхъ не изъ законовъ психологіи, а изъ политическихъ, общественныхъ и національных соображеній, и ужь, конечно, въ этомъ смыслѣ опредѣленіе Штейна едва-ли чѣмъ-нибудь погрѣшаетъ. Бэну не нравится „теорія германскаго развитія“ и, какъ истый англичанинъ, онъ желаетъ, чтобы школы удовлетворяли тѣмъ требованіямъ, которыя въ настоящій моментъ стоятъ на первомъ планѣ въ его торгово-промышленномъ отечествѣ.

Точно также не одобряетъ онъ и опредѣленія Джемса Мила (отца Ст. Мила), писавшаго подъ влияніемъ подобныхъ же идей. Если Штейнъ требовалъ поднять достоинство человѣка ради національных и политическихъ цѣлей, то Джемсъ Миль, который на континентѣ Европы и въ Англіи, и въ Индіи видѣлъ, въ какомъ положеніи находится *человѣкъ*, ставилъ цѣлью воспитанія „сдѣлать по возможности человѣка орудіемъ счастья, во-первыхъ для него самого, а затѣмъ и для другихъ существъ“. Бэнъ какъ бы иронически замѣчаетъ, что такое опредѣленіе можно принять за нѣсколько видоизмѣненный отвѣтъ на первый вопросъ вестминстерскаго катехизиса: „какова конечная цѣль человѣка?“ Признавая это опредѣленіе гораздо

шире и глубже германской формулы, Бэнь пытается нѣсколько его поурѣзать. Самое большее, замѣчаетъ Бэнь, чего мы могли бы ожидать отъ воспитателя личности заурядной, состояло бы въ его участіи въ произведеніи человѣческаго счастья „при установленномъ порядкѣ“. Конечно, эта формула ближе къ практической осуществимости, но въ то же время она открываетъ широкій путь для произвола мысли и допускаетъ слишкомъ большую растаженность. Мы не знаемъ, о какомъ установленномъ порядкѣ говорить Бэнь, потому что общаго установленнаго порядка на землѣ не существуетъ. Если Бэнь предполагаетъ порядокъ англійскій, то французскій читатель съ такой же справедливостью можетъ имѣть передъ глазами порядокъ французскій, а турокъ—турецкій. Это слишкомъ консервативная формула, не допускающая никакой прогрессивной идеи. Даже и для Англии, если мы предположимъ ее самой передовой страной Европы, формула эта едва-ли будетъ вѣрной, потому что и тамъ не существуетъ одинаковаго взгляда на человѣческое счастье. Англійскій фермеръ, конечно, понимаетъ счастье не такъ, какъ понимаетъ его англійскій ландлордъ, а ландлордъ понимаетъ опять иначе, чѣмъ англійскій земледѣльческій работникъ. Каждая социальная группа понимаетъ счастье по-своему и многія изъ нихъ въ той же самой Англии видятъ свое несчастіе, вѣроятно, только въ установленномъ порядкѣ. Бэнь спросилъ бы объ этомъ у ирландцевъ.

Не обнаруживая особеннаго расположенія къ широкимъ опредѣленіямъ, Бэнь не соглашается и съ Стюартомъ Милемъ, и съ Гербертомъ Спенсеромъ. Онъ выдѣляетъ, на примѣръ, физическое воспитаніе отъ воспитанія умственнаго, нравственнаго, религіознаго и техническаго. „Фактъ тѣлеснаго здоровья или тѣлесной силы, говоритъ Бэнь, — занимаетъ въ физическомъ и умственномъ развитіи мѣсто руководящаго постулата, но указанія правилъ гііены воспитатель не беретъ на себя“. Въ другомъ мѣстѣ онъ замѣчаетъ: „искусство воспитанія предполагаетъ извѣстный уровень физическаго здоровья и не разсматриваетъ средствъ поддержать или повысить этотъ уровень“. Здѣсь Бэнь опять смотритъ на человѣчество съ англійской точки зрѣнія и предполагаетъ, что всѣ народы состоятъ изъ развитыхъ англичанъ. Мы не отрицаемъ, что воспитатель при исполненіи своего дѣла долженъ имѣть въ виду только это дѣло и физическое воспитаніе вовсе не зависеть отъ принциповъ и соображеній воспитателя. Въ этомъ смыслѣ физическое воспитаніе можно выдѣлить изъ обязанностей воспитателя, но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы оно не было ничьимъ обязательствомъ. Признавая, что тѣлесное здоровье занимаетъ въ физическомъ и умственномъ развитіи „мѣсто руководящаго

постулята“, Бэнъ, конечно, имѣеть въ виду своихъ соотечественниковъ, для которыхъ „постулять“ есть настолько признанная истина, что для нея не требуется никакихъ доводовъ. Бэнъ также имѣеть въ виду и англійскую школьную систему, основанную на такихъ порядкахъ, при которыхъ воспитателямъ нечего уже заботиться о физическомъ здоровьѣ. Но, можетъ быть, Бэнъ и въ самой Англiи нашель тоже кое-что, не вполне удовлетворяющее требованiямъ гармоническаго воспитанiя тѣла и души? Конечно, Гербертъ Спенсеръ и Стюартъ Миль заявляли требованiе о лучшемъ физическомъ воспитанiи не потому, чтобы оно было вполне удовлетворительно въ Англiи. Если же мы обратимся къ другимъ народамъ, то увидимъ, что „постулять“, о которомъ говорить Бэнъ, вовсе не оказывается общепризнанной истиной и наиболѣе выдающiеся медицинскiе авторитеты Европы возстаютъ самымъ рѣзкимъ образомъ противъ существующей школьной системы, которая не только не сохраняетъ здоровье дѣтей, но положительно его разстраиваетъ. По словамъ Вирхова, дѣти въ нѣмецкихъ школахъ страдаютъ сильными приливами крови къ головѣ. Одни изъ нихъ происходятъ отъ продолжительнаго наклоненiя туловища и головы впередъ, отъ сжатiя грудобрюшной преграды и напряженiя вниманiя, замедляющаго дыханiе; другiе—отъ напряженной дѣятельности мозга. Въ результатѣ получаютъ три главныя школьныя болѣзни—головная боль, кровотеченiе изъ носа и зубъ. Гильомъ, дѣлая изслѣдованiя надъ учениками невшаттельской городской колеги, нашель головныя боли у сорока процентовъ учащихся, т. е. изъ 731 ученика у 269. Особенно страдали дѣвочки и младшiе ученики. Въ школахъ Дармштадта и Бусенгена, по изслѣдованiю доктора Бекера, повторяется то же самое. Вирховъ по этому случаю говорить, что школа не только благопрiятствуетъ образованiю этихъ болѣзней, но часто бываетъ ихъ источникомъ. То же самое онъ говорить и объ искривленiи позвоночнаго столба. Теперь уже признано, что болѣзнь эта чисто школьная и происходитъ отъ неправильнаго положенiя тѣла и односторонней дѣятельности мускуловъ во время занятiй. „Когда почти 90% искривленiй начинается въ школьное время, говорить Фарнеръ, — и искривленiя эти въ точности соотвѣтствуютъ положенiю тѣла во время писанiя, то въ виду такихъ фактовъ мы вправѣ обвинять школу, какъ главную причину ихъ“. По наблюденiю Вирхова, вмѣстѣ съ ненормальнымъ развитiемъ позвоночнаго столба совершается измѣненiе костей грудной клѣтки и таза. Измѣняются даже кости лица. И всѣ эти измѣненiя, разумѣется, обнаруживаютъ влiянiе и на внутреннiя части, заключающiяся въ этихъ полостяхъ. Изъ статистическихъ таблицъ Энгеля

оказывается, что въ Берлинѣ чахотка, какъ легочная, такъ и горловая, обнаруживается въ школьные годы и сопровождается смертностью, усиливающейся въ возрастѣ отъ десяти до пятнадцати лѣтъ и достигающей особенной силы отъ пятнадцати до двадцати лѣтъ. „Только тифъ и холера, говоритъ Вирховъ по поводу статистическихъ таблицъ Энгеля, — даютъ приблизительно большія цифры смертности для этого періода жизни“. Тотъ же Вирховъ, а съ нимъ и многіе другіе врачи, указываютъ, какъ на постоянныя явленія въ школахъ, на потерю аппетита, худое качество крови, усталость во всемъ тѣлѣ, худобу, блѣдность и апатію. А есть врачи, какъ, напримѣръ, Геперь, которые обвиняютъ школу въ томъ, что она создаетъ падучую болѣзнь, пляску святого Витта и помѣшательство. Изъ нервныхъ болѣзней, создаваемыхъ школой, профессоръ Бокъ указываетъ на головную боль, головокруженіе, шумъ въ ухахъ, судорожное состояніе и въ особенности на эпилепсію, пляску святого Витта и меланхолію. Докторъ Эрисманъ, производя изслѣдованія зрѣнія въ петербургскихъ учебныхъ заведеніяхъ, нашелъ, что ненормальное зрѣніе развито у насъ гораздо сильнѣе, чѣмъ за-границей. Изъ изслѣдованныхъ имъ 4,358 учениковъ оказалось близорукихъ 30,20⁰, дальнорукыхъ 43,40⁰, слабовидящихъ 0,50⁰ и нормально видящихъ только 26⁰. Общіе выводы доктора Эрисмана совершенно согласны съ выводами заграничныхъ изслѣдованій, т. е. что порча глазъ происходитъ въ школѣ и усиливается въ числѣ и степени пропорціонально времени пребыванія въ школѣ. Міопы, по словамъ почтеннаго русскаго изслѣдователя, начиная съ низшаго и до высшаго класса, представляютъ непрерывный восходящій рядъ отъ 13,60⁰ до 42,80⁰. Вирховъ въ своей брошюрѣ „О вліяніи школъ на зрѣніе“, говоритъ, что домъ и семья несутъ на себѣ такую же, если не большую отвѣтственность за здоровье дѣтей, какъ и школа, „что, впрочемъ, не оправдываетъ послѣдней“. Особенно интересны въ школьномъ вопросѣ наблюденія Биша. Онъ замѣтилъ, что человѣкъ, имѣя парные и симметрическіе органы, развиваетъ ихъ далеко не равномерно. Обыкновенно одинъ глазъ видитъ лучше, чѣмъ другой, одна рука сильнѣе другой и даже оказываются несимметричными и полушарія мозга. Въ большинствѣ случаевъ правая половина человѣческаго тѣла преобладаетъ надъ лѣвой. Причина этого заключается, конечно, въ большемъ упражненіи преобладающей половины. Это преобладаніе могло явиться вначалѣ совершенно случайно, а затѣмъ дальнѣйшее упражненіе создало навыки, привычки, и преобладаніе правой стороны, какъ болѣе дѣятельной, вошло въ обычай, перешло въ школу и стало передаваться потомству. Наблюдая факты этого порядка, а въ особенности неравномѣрность въ дѣятельности ор-

гановъ чувствъ, посылающихъ свои впечатлѣнія, Биша пришелъ къ заключенію, что и самое сознаніе должно вслѣдствіе этого быть неравномѣрнымъ. И въ самомъ дѣлѣ, если слухъ воспринимаетъ различно одинъ и тотъ же звукъ, т. е. правое ухо дѣйствуетъ не одинаково съ лѣвымъ, то въ сознаніи получается дисонансъ. Совершенно такая же смутность сознанія получается, если одинъ и тотъ же пѣтъ воспринимается различно правымъ и лѣвымъ глазомъ. Наконецъ, если одна половина мозга больше другой, то вся умственная работа человѣка должна быть тоже неправильной. Чтобы рѣче выразить свое заключеніе, Биша прибѣгаетъ къ слѣдующей аргументаціи. „Тѣ люди, говоритъ онъ,—у которыхъ велика разница глазъ, чтобы пользоваться болѣе яснымъ впечатлѣніемъ глаза болѣе сильнаго, закрываютъ глазъ слабый или отводятъ его въ сторону. Но это еще вопросъ, говоритъ Биша,—можетъ-ли мозгъ закрывать или отводить одну свою половину“. Особенно смутныя ощущенія получаются тамъ, гдѣ, какъ въ органахъ вкуса или обонянія, трудно или невозможно дѣйствовать одной половиной. Мнѣніе Биша надѣлало большой переполохъ въ учебномъ мірѣ, но когда Биша умеръ и когда вскрыли его мозгъ, то нашли замѣчательное неравенство полушарій. Ученые немедленно успокоились, ибо убѣдились, что неравенство полушарій не мѣшало Биша быть гениальнымъ и строго-последовательнымъ мыслителемъ. Но едва-ли это неравенство опровергало справедливость теоріи Биша. Изъ множества фактовъ слѣдуетъ заключить, что люди съ правильно и хорошо развитымъ мозгомъ не болѣе, какъ рѣдкіе счастливыя, и если люди слабаго физическаго развитія, больные и разстроенные, могутъ быть талантливыми и умными, то не слѣдуетъ-ли заключить, что они были бы еще талантливѣе и умнѣе, еслибы имѣли крѣпкую грудь, здоровую печень и неразстроенное зрѣніе и слухъ? Любопытный фактъ сообщаетъ Гекель по поводу связи между волею и питаніемъ. Онъ упражнялъ мускулы своихъ рукъ и затѣмъ замѣтилъ къ изумленію, что это простое физическое развитіе повліяло и на его духовныя способности. „Объемъ мускула моей руки, говоритъ Гекель,—совершенно неразвитаго, втеченіи полутора года увеличился почти вдвое. Такой необыкновенный ростъ мускуловъ и происходившее въ связи съ нимъ упражненіе воли дѣйствовали съ большою силою на остальные отправленія моего мозга и въ особенности на мыслительную способность. Имъ большею частью я обязанъ (разумѣется, дѣйствовали и другія причины), что господствовавшія въ моемъ мозгу дуалистическія и теологическія заблужденія начали уступать мѣсто монистическому міровоззрѣнію и причиннымъ представленіямъ и, наконецъ, должны были совершенно очистить поле сраженія“. Всѣ эти выписки мы дѣла-

ли изъ книги г. Кривенко „Физическій трудъ“. Авторъ, ея въ дополненіе къ словамъ Гекеля, замѣчаетъ: можетъ быть, и дуализмъ современнаго человѣка, разладъ между его словомъ и дѣломъ, несправедливость, упадокъ нравственности и духовныхъ идеаловъ происходятъ отъ извѣженности тѣла и отсутствія физической дѣятельности. Замѣчаніе это г. Кривенко дѣлаетъ съ нѣкоторою робостью, какъ бы боясь быть бездоказательнымъ. Между тѣмъ рядъ изслѣдованій о такъ-называемомъ психопатическомъ состояніи даетъ прямой отвѣтъ на этотъ вопросъ. И душа можетъ тоже отличаться слѣпотой и близорукостью. Есть организмы съ такимъ развитіемъ нервной и мозговой системы, которые рѣшительно не въ состояніи усвоить себѣ нравственныхъ представленій. Эти люди не въ состояніи различить хорошаго отъ дурнаго, нравственнаго отъ безнравственнаго. Извѣстно, что даже слабыя нервныя расстройства возбуждаютъ смутныя и неопредѣленныя субъективныя ощущенія, которыя измѣняютъ качественный характеръ чувствованій объективнаго происхожденія. „Если питаніе какого-нибудь мозгового сплетенія, говоритъ Спенсеръ,—сильно измѣнено въ качественномъ отношеніи отъ избытка крови, то есть большая вѣроятность, что мысли и чувства, берущія здѣсь начало, будутъ усилены въ такой степени, которая превратитъ ихъ въ иллюзію—и вотъ мы имѣемъ мономанію или однопредметное помѣшательство“. Любопытно, что люди, изъ поколѣнія въ поколѣніе занимающіеся преимущественно умственнымъ трудомъ или такъ-называемая интеллигенція, вовсе не стоятъ на соотвѣтственно высокомъ умственномъ уровнѣ сравнительно съ классами рабочаго населенія, занимавшагося изъ поколѣнія въ поколѣніе трудомъ физическимъ. Изъ низшихъ классовъ очень часто выдѣляются люди, которые, даже и при не особенно большомъ образованіи, становятся сразу на умственную высоту наслѣдственной интеллигенціи. Наконецъ, въ европейскомъ привилегированномъ обществѣ замѣчено прирожденное расположеніе къ слабоумію и къ сумасшествію. Это обстоятельство, замѣченное такими компетентными наблюдателями, какъ Гривингеръ, Маудсли, Морель, привело къ заключенію, что при извѣстныхъ продолжающихся условіяхъ интеллигентному классу европейскаго общества предстоитъ вырожденіе. Вырожденіе это до сихъ поръ замѣчалось пока на отдѣльныхъ семействахъ, но почему же оно не можетъ сдѣлаться принадлежностью и цѣлаго сословія, если условія общаго умственнаго развитія будутъ имѣть тотъ исключительный головной или умственный характеръ, которымъ отличается современное европейское воспитаніе?

Можетъ быть, Бэнъ, какъ ученый систематикъ, правъ, что искусство воспитанія должно быть выдѣлено отъ физическаго разви-

тія, принимаемаго имъ за руководящій постулатъ, но дѣло въ томъ, что даже въ Англіи мы не видимъ этого порядка, ибо иначе Стюартъ Миль и Гербертъ Спенсеръ не восставали бы такъ противъ школьной долбни и противъ недостаточнаго физическаго воспитанія. Спенсеръ, напримѣръ, говоритъ объ одной учительской семинаріи, въ которой 10½ часовъ назначались на занятіе и только 1¼ часа на движеніе. „Не нужно быть пророкомъ, замѣчаетъ по этому поводу Спенсеръ, — чтобы предсказать, что тѣлесное истощеніе должно быть громадно при такихъ занятіяхъ. Потеря аппетита и расстройство желудка—вещи самыя обыкновенныя. Поносомъ страдаетъ нерѣдко одна третьъ учениковъ одновременно. На головную боль жалуются почти всѣ, а нѣкоторые изъ учениковъ страдаютъ ею каждый день впродолженіи цѣлыхъ мѣсяцевъ. Значительный процентъ сламывается окончательно и оставляетъ заведеніе. Строгіе экзамены, соединенные съ короткимъ срокомъ для подготовленія къ нимъ и заставляющіе прибѣгать къ системѣ, неминуемо подтачивающей здоровье всѣхъ подвергающихся ей, доказываютъ если не жестокость, то прискорбное невѣжество“. Такимъ образомъ, даже въ Англіи „постулатъ“ оказался несуществующимъ. Поэтому, если знаменитаго англійскаго психолога станеть читать односторонній русскій читатель, который въ большинствѣ случаевъ принимаетъ въ сурьезъ все, что онъ читаетъ, безъ всякаго критическаго отношенія, то, прочитавъ, что искусство воспитанія „предполагаетъ извѣстный уровень физическаго здоровья и не рассматриваетъ средствъ поддержать или повысить этотъ уровень“, — односторонній читатель найдетъ, что физическое здоровье такой вздоръ, о которомъ *самъ* Бэнъ не считаетъ необходимымъ говорить.

Стремленіе связать гигиену съ воспитаніемъ Бэнъ называетъ даже промахомъ, который, впрочемъ, по его мнѣнію, легко обойти. Болѣе труднымъ онъ считаетъ вопросъ, когда цѣлью воспитанія признается порожденіе людскаго счастья, людской добродѣтели, людскаго совершенства. Обсужденіе этихъ предметовъ онъ относитъ къ области этики и теологіи и совершенно устраняетъ изъ области науки воспитанія. Понятно, почему Бэнъ не соглашается и съ Милемъ младшимъ. По опредѣленію Стюарта Мила, воспитаніе „обнимаетъ все, дѣлаемое нами для самихъ себя или другими для насъ, исключительно съ цѣлью приблизить насъ къ совершенству нашей природы. Въ наиболѣе широкомъ смыслѣ оно обнимаетъ даже косвенныя вліянія, производимыя на характеръ и человѣческія способности вещами, прямая цѣль которыхъ совершенно иная: законами, формами правленія, промышленными искусствами, образами соціальной жизни и даже физическими фактами, независящими отъ человѣческой воли, какъ-то: климатомъ, почвой и мѣстностью. Счи-

тая это опредѣленіе слишкомъ широкимъ, Бэнъ относитъ вопросъ о вліяніи, испытываемомъ человѣческимъ характеромъ отъ климата, географическаго положенія страны, отъ законовъ, правленія и соціальной жизни, къ отдѣлу социологіи. Находя опредѣленіе Милля болѣе грандіознымъ, чѣмъ научнымъ, Бэнъ опять съ тою же послѣдовательностью, какъ въ вопросѣ о физическомъ здоровьѣ, предполагаетъ и въ настоящемъ случаѣ такой же „постулатъ“. Но вѣдь въ томъ-то и вопросъ, что воспитаніе нельзя выдѣлать изъ условій болѣе широкаго опредѣленія, которое дѣлаетъ ему Стюартъ Миль. Бэну, на примѣръ, кажется наиболѣе точнымъ то опредѣленіе воспитанія, которое онъ находитъ въ чэмберсовою энциклопедіи. „Въ самомъ широкомъ смыслѣ слова, говорить это опредѣленіе,—человѣкъ воспитывается на добро или зло всѣмъ, испытываемымъ имъ отъ колыбели до могилы, но въ болѣе ограниченномъ и обычномъ смыслѣ терминъ „воспитаніе“ обнимаетъ лишь усиліе, дѣлаемое съ опредѣленною цѣлью приучить людей къ извѣстному поведенію, усилія взрослой части общества просвѣтить умъ и сложить характеръ молодежи, и еще спеціальнѣе—усилія воспитателей или учителей по професіи“. Это опредѣленіе, которое наиболѣе нравится Бэну, не объясняетъ только того, къ какому поведенію слѣдуетъ приучить людей, что значитъ просвѣтить умъ и какой сложить характеръ молодежи. Прежде, чѣмъ приступить къ воспитанію, конечно, нужно знать, кого и для чего воспитывать. Совершенно справедливо, что опредѣленіе задачъ и цѣлей воспитанія можетъ и не составлять предмета педагогики, какъ практической сферы дѣятельности, но, конечно, кто-нибудь же долженъ рѣшить, какого именно человѣка должна формировать школа, и къ этой цѣли должны быть направлены всѣ ея усилія. Абсолютнаго человѣка на свѣтѣ, разумѣется, нѣтъ; каждый изъ насъ есть продуктъ страны и воспитывается, чтобы быть дѣтелемъ и гражданиномъ своей родины. Слѣдовательно, вопросъ о задачахъ и цѣляхъ воспитанія вовсе не такое бесплодное занятіе, какъ говоритъ Бэнъ. Всякая страна, всякое государство, всякое правительство этого государства очень хорошо знаютъ, какимъ цѣлямъ должно служить воспитаніе, и сообразно этому слагаютъ воспитательныя системы. Вашингтонъ, на примѣръ, желалъ, чтобы въ Америкѣ былъ одинъ университетъ, который бы создавалъ для всѣхъ американцевъ одинъ общій духъ, одно направленіе и единство помысловъ и стремленій. Теперешняя Франція тоже измѣняетъ систему своего воспитанія и теже съ цѣлью создать людей наиболѣе способныхъ работать для личнаго и общаго счастья Франціи. Совершенно то же существуетъ и въ школахъ Англіи и другихъ государствъ. Бэнъ, какъ истый англійскій консерваторъ, принадлежитъ

жъ категоріи тѣхъ объективныхъ людей науки, для которыхъ какъ-будто бы не существуетъ историческихъ моментовъ и которые берутъ человѣка внѣ дѣйствующихъ на него страстей. Поэтому, предполагая какіе-то извѣстные „постулаты“, Бэнъ проходитъ ихъ молчаніемъ и затѣмъ ограничиваетъ предлагаемую имъ систему однимъ умственнымъ, головнымъ воспитаніемъ. Онъ увѣряетъ, что наука научить человѣка истинѣ и добру и, вкусивъ отъ ея плодовъ, онъ сдѣлается счастливъ самъ и сдѣлаетъ счастливыми другихъ. Взявъ науку воспитанія изолированно, Бэнъ многія изслѣдованія не признаетъ принадлежащими къ ея области. Но вѣдь въ этихъ-то изслѣдованіяхъ и заключается весь вопросъ; вѣдь потому-то повсюду и хромаетъ воспитаніе, что люди не дошли еще до ясныхъ и безспорныхъ отвѣтовъ на многіе вопросы и эту спорность вводятъ въ школьныя системы. Разумѣется, разрѣшеніе противорѣчій нельзя поручить школьнымъ учителямъ; потому-то людямъ науки слѣдовало-бы установить тѣ „постулаты“, которые должны предшествовать организаціи школьной системы. Бэнъ находитъ, что число предметовъ, въ которыхъ люди согласны, весьма значительно, но нужно полагать, что число предметовъ, въ которыхъ они несогласны, еще значительноѣе. Эти-то предметы и слѣдовало бы согласить прежде всего. Пока они не будутъ согласены, невозможно даже составленіе точныхъ программъ для преподаванія. Самъ Бэнъ, напримѣръ, говоритъ, что преподаваніе исторіи не поддается методу и что слишкомъ мало принимаютъ въ расчетъ настоящее положеніе учителя. Въ первую пору онъ преподаетъ исторію не ради ея, а чтобы помочь преподаванію другихъ предметовъ. Она употребляется только ради обученія чтенію и говору, служа въ то же время поводомъ къ первымъ урокамъ о правдѣ и неправдѣ, о добрѣ и злѣ. Она служитъ цѣли, указанной ей Гете: „внушить энтузіазмъ, допускающій широкое толкованіе и вліяющій на всѣ страсти“. Въ той программѣ, которую даетъ Бэнъ для преподаванія исторіи, онъ возлагаетъ на нее обязательство политическаго воспитанія и дѣлаетъ ее нравственнымъ двигателемъ. Какъ смотритъ Бэнъ на исторію даже въ низшихъ классахъ училищъ, можетъ показать читателю слѣдующая изъ него выписка: „для предметныхъ уроковъ могли-бы быть выбраны слѣдующія темы, говоритъ Бэнъ: — общественное устройство нѣкоторыхъ изъ первобытныхъ народовъ, начавъ, напримѣръ, съ индійскихъ племенъ и переходя постепенно до англійской конституціи. Въ видѣ особаго урока могла-бы быть поставлена тема: „революція“, изложенная подъ одною изъ двухъ обычныхъ формъ: частной или общей, сравнительной. Которая либо изъ революцій, напримѣръ, французская, могла бы изображать частныя, конкрет-

ныя явленія и затѣмъ могъ бы быть данъ особо сравнительный обзоръ различныхъ революцій, какъ обобщеніе“. Но тотъ-же самый Бэнъ, выставляющій подобное требованіе, сознается, что для способа и объема преподаванія исторіи не существуетъ еще всеобщаго „постулата“. „Весьма внимательное изслѣдованіе событій новѣйшаго времени, говоритъ Бэнъ въ заключеніи своего обзора о преподаваніи исторіи, — вызываетъ столь различныя мнѣнія въ практической политикѣ и еще болѣе въ религіи, что обстоятельство это становится препятствіемъ введенію предмета въ высшія школы и коллегіи. Это затрудненіе ощущается въ Германіи, гдѣ профессора откровеннѣе, чѣмъ въ Англіи, — ощущается и ирландскими римско-католиками въ коллегіи королевы. Едва-ли можно написать исторію реформаціи, не обидѣвъ ни протестантовъ, ни послѣдователей римско-католической вѣры, а исторію первыхъ вѣковъ христіанской эры, еслибы она и не вызывала ничего неудовольствія, была-бы всякому бесполезна“.

Итакъ, къ чему же мы пришли? Какой слѣдуетъ сдѣлать выводъ, какія задачи должны быть цѣлью воспитанія? Бэнъ, отвергнувъ всѣ спорныя опредѣленія воспитанія и даже назвавъ ихъ „безплодными“, суживаетъ вопросъ до угодливости болѣе вліятельнымъ классамъ Англіи и общественнаго мнѣнія, то католическаго, то протестантскаго. Вотъ ужъ по-истинѣ консерватизмъ Пилата, умывающаго руки! Или, можетъ быть, для „Международной бібліотеки“ не слѣдуетъ писать иначе, потому что ее будетъ читать всякій?

III.

Отъ „Воспитанія“ Бэна вѣетъ какой-то спартанской суровостью и стоической сухостью. Въ особенности безстрастенъ Бэнъ, когда онъ говоритъ о вліяніи мотивовъ на внѣшнія чувства и на основанія ихъ дѣлаетъ критику наказаній. Эта часть книги Бэна способна вызвать наибольшее недоразумѣніе, ибо, какъ извѣстно, всякій читаетъ то, что ему прочесть хочется.

На основаніи новѣйшихъ психическихъ изслѣдованій, Бэнъ считаетъ несостоятельнымъ обычное дѣленіе внѣшнихъ чувствъ на пять областей. По отношенію къ чувству удовольствія и страданія главную роль играютъ области пищеваренія, кровообращенія, дыханія и цѣльности или нарушенія мускульной и нервной жизни. Такъ-какъ эти области играютъ главную роль въ нашихъ страданіяхъ или удовольствіяхъ, то на нихъ и слѣдуетъ рассчитывать съ большею достовѣрностью въ практикѣ наказаній.

Говоря о томъ, что нервная система подвержена органическому гнету и нѣкоторыя изъ наказаній пользуются этимъ явленіемъ, Бэнъ замѣчаетъ, что острыя страданія нервной системы, происходящія отъ естественныхъ причинъ, выражаются нервными болѣзнями, и затѣмъ ученый психологъ дѣлаетъ такое заключеніе: „Въ соразмѣрныхъ искусственныхъ воздѣйствіяхъ на нервы при помощи прямого направленія на нихъ электричества - можно ожидать въ будущемъ физическихъ наказаній, которымъ суждено замѣнить порку и пытку“. Хорошо въ устахъ гуманитарнаго профессора это „можно ожидать въ будущемъ“! Да и зачѣмъ въ будущемъ, когда это существуетъ въ настоящемъ? Тотъ же гуманный профессоръ жалѣетъ, что бѣдные ѣдятъ не такъ хорошо, какъ богатые, и что вслѣдствіе этого дѣтей бѣдныхъ родителей нельзя оставлять за обѣдомъ безъ одного или нѣсколькихъ блюдъ. Мысль эту Бэнъ формулируетъ такъ: „Одна изъ невыгодъ бѣдности состоитъ въ отсутствіи этого средства вліянія, тѣмъ болѣе, что слѣдующее усиленіе наказанія провинившемуся ребенку состоитъ въ примѣненіи розги“. Чистый бентамистъ, требующій отъ наказанія соизмѣрности и дѣлимости! Впрочемъ, профессоръ высказываетъ свое сожалѣніе по мотивамъ очень гуманнымъ. Онъ находигъ, что обыкновенное столованье значительно превышаетъ потребности организма и въ то же время оно не даетъ высшаго душевнаго удовлетворенія. Изъ этого Бэнъ выводитъ, что усиленіемъ или уменьшеніемъ питанія можно пользоваться для наказанія дѣтей; а такъ-какъ въ молодые годы „чувствительность въ этихъ отношеніяхъ весьма остра, то и сила мотивовъ будетъ велика“. Какое тонкое, чисто-профессорское умѣнье пользоваться психическими наблюденіями! Но Бэнъ идетъ еще дальше. Съ тою же тонкостью онъ изъ психической области переходитъ въ область физиологическую и устанавливаетъ слѣдующій научный фактъ: „Розги и побои палкою, говоритъ Бэнъ,—дѣйствуютъ на чувство осязанія, но на дѣлѣ дѣйствіе ихъ должно быть скорѣе отнесено къ страданіямъ органической жизни, чѣмъ къ ощущеніямъ осязанія“. Какъ это спокойно и объективно! Да кто же изъ тѣхъ, кого сѣкли, думалъ, что розги дѣйствуютъ на осязаніе? Находя наказаніе розгами „сильно вреднымъ воздѣйствіемъ“, Бэнъ замѣчаетъ, что оно было любимымъ средствомъ всѣхъ вѣковъ и всѣхъ племенъ. Это вѣрно. Удовлетворившись констатированіемъ факта, Бэнъ, какъ и слѣдуетъ ученому наблюдателю, не беретъ на себя обязанности бороться съ безчеловѣчіемъ или тупостью и даетъ любителямъ розогъ только одинъ совѣтъ, что предѣлъ сѣченія „долженъ быть строго соблюдаемъ“. Предѣлъ же этотъ, по наблюденіямъ Бэна, слѣдуетъ соображать съ слѣдующимъ, точно опредѣленнымъ воз-

дѣйствиємъ розогъ: „наказаніе ударами приводитъ къ страданію, заключающемуся на первой порѣ въ поврежденіи тканей, а въ концѣ разрушающему жизнь“. Употребленія розогъ до „разрушенія жизни“ Бэнъ не совѣтуетъ. Еще бы! Бэнъ все-таки профессоръ психологіи, а не мясникъ эдинбургской бойни.

Дисциплину, какъ средство воспитанія, Бэнъ ставитъ очень высоко и потому тѣхъ, кто совершенно незнакомъ съ жизнью Англіи и съ существующими тамъ обычаями, онъ можетъ ввести въ недоразумѣніе. Касаясь вопроса о дисциплинѣ, Бэнъ считаетъ необходимымъ установить общія понятія объ авторитетѣ. „Авторитетъ, правительство, власть, говоритъ Бэнъ, — сами по себѣ не цѣль, а только средство. Далѣе ихъ отправленіе есть зло: оно серьезно уменьшаетъ людское счастье. Стѣсненіе свободной дѣятельности, наложеніе на людей страданія, устанавливаніе царства террора — все это оправдывается только предотвращеніемъ золъ, далеко превышающихъ налагаемое страданіе“. „Это можетъ казаться очевиднымъ, говоритъ Бэнъ, — но оно не таково“. Бэнъ указываетъ на тѣ человѣческіе недостатки и въ особенности злобность, которые, пользуясь правительствомъ, какъ предлогомъ, могутъ его даже компрометировать. Бэнъ идетъ еще дальше и даже подвергаетъ безусловность авторитета сомнѣнію и требуетъ оправданія его существованія въ каждомъ возникающемъ случаѣ. Все это потребовалось Бэну для вывода, что авторитетъ не необходимъ въ каждомъ отношеніи обучающаго къ обучаемому. „Любознательный ученикъ, являющійся къ учителю за указаніями, стоитъ внѣ авторитетныхъ отношеній, говоритъ Бэнъ: — тутъ произвольный договоръ, нарушаемый по желанію cadaго“. Подобныя отношенія любознательнаго ученика къ учителю Бэнъ приравниваетъ къ собранію взрослыхъ, слушающихъ ученіе, собранію богомольцевъ въ церкви или къ посѣтителямъ театра. Во всѣхъ этихъ случаяхъ не требуется ничего, кромѣ соблюденія взаимной терпимости, и, для предупрежденія беспорядковъ, не облакается авторитетомъ ни чтець, ни проповѣдникъ, ни артистъ. Авторитетъ является впервые въ семьѣ, откуда съ нѣкоторыми измѣненіями онъ переносится въ школу. Авторитетъ родительскій связанъ съ кормленіемъ и почти неограниченъ. Онъ умѣряется только любовью. Авторитетъ учителя нѣсколько иной. Кормленіе въ немъ не имѣетъ значенія и дѣло учителя есть обязанность, принятая имъ за плату. Любовь въ видѣ общаго правила Бэнъ тоже не допускаетъ въ школу; онъ даетъ ей мѣсто лишь въ видѣ исключенія. Въ семьѣ любовь возможна, потому что въ ней ограничено число членовъ; въ школѣ же учениковъ слишкомъ много, и поэтому душевныя или интимныя отношенія между учителемъ и учениками гораздо больше

ограничены. Единственное сходство семьи и школы заключается въ томъ, что онѣ имѣютъ дѣло съ незрѣлыми умами. Слѣдовательно, на дѣтей не всѣ мотивы, которыми можно дѣйствовать на взрослыхъ, оказываютъ свое вліяніе, а такъ-какъ дѣтямъ много и не можетъ быть выяснено, то незрѣлый дѣтскій умъ требуетъ дисциплины и установленія въ школѣ послушанія.

Установивъ такимъ образомъ основы дисциплины, Бэнъ перечисляетъ ея подробности. Въ нихъ онъ является ближайшимъ и наиболѣе преданнымъ послѣдователемъ Бентама, на котораго, впрочемъ, онъ и ссылается прямо. Онъ допускаетъ даже „отправленіе простой мести“, но съ тѣмъ, что оно „должно быть крайне ограничено“. Необходимость насилія Бэнъ тоже доводитъ до минимума, но не устраняетъ изъ школьнаго воспитанія. Относительно учителей Бэнъ требуетъ внушающаго уваженіе поведенія и въ то же время пріятной внѣшности, привлекательнаго голоса, манеры и такта. Такъ-какъ положеніе учителя не бываетъ всегда настолько авторитетнымъ, чтобы держать классъ въ повиновеніи, то онъ „долженъ быть готовъ всегда на окончательное подавленіе школьной вспышки дисциплиной или наказаніями“. „Онъ можетъ, пожалуй, говоритъ Бэнъ, — дѣйствовать утишающими мѣрами, добрыми и ласковыми увѣщаніями, можетъ предупреждать распространеніе непріязни бдительною тактикою и доказательствомъ, что не выпускаетъ изъ глазъ коноводозъ, но въ-концѣ-концовъ онъ будетъ принужденъ наказывать“. Любопытно, что Бэнъ всегда приходитъ къ наказаніямъ и къ строгостямъ. Перечисляя наказанія, которыя должны быть практикуемы въ школахъ, Бэнъ рекомендуетъ штрафныя работы, кара которыхъ состоитъ въ „умсгвенной скукѣ“, и затѣмъ прибавляетъ, что работы эти могутъ быть соединены еще со скукою заключенія и работою до утомленія. Онѣ могутъ быть сопряжены со стыдомъ и такое соединеніе есть огромное наказаніе“. Для тѣхъ же учениковъ, которые не поддаются управленію, „должны бы существовать спеціальныя исправительныя учрежденія“. Гдѣ тѣлесное наказаніе еще удерживается, тамъ Бэнъ предлагаетъ „прибѣгать къ нему, какъ къ послѣднему средству“. По рецепту Бэна, „оно не должно бы повторяться надъ однимъ и тѣмъ же питомцемъ. Если двухъ или трехъ примѣненій оказалось недостаточно, то лучшею мѣрою является исключеніе“. Право, подумаешь, что Бэнъ говоритъ не о школѣ, а объ арестантскихъ ротахъ! Своевольныхъ субъектовъ, которые, какъ видно изъ словъ Бэна, поступаютъ чаще „изъ хорошихъ семей“, чѣмъ изъ „бѣдствующихъ“, „было бы нетрудно изгнать всѣхъ изъ вышнихъ школъ, безъ униженія ихъ тѣлеснымъ наказаніемъ“. Любопытна выноски, которую дѣлаетъ здѣсь

Бэнъ. Онъ говорить, что тѣлесное наказаніе стоитъ нынче сравнительно ниже по исходу его вліянія и что существуютъ болѣе строгія формы наказанія. Напримѣръ, „устное оужденіе можетъ быть рѣзче и тяжеле ударовъ“, также какъ и нестерпимая скука заключенія во время игръ и свободныхъ часовъ, а равно и наложеніе механическихъ работъ“; поэтому, не причисляя себя къ противникамъ тѣлеснаго наказанія, Бэнъ видитъ въ немъ лишь одинъ недостатокъ: что при употребленіи розогъ легко власть въ злоупотребленія и „оскотинить всю школу“.

Переходя къ умственной дисциплинѣ, Бэнъ высказываетъ ту же спартанскую суровость. Онъ дѣлитъ воспитаніе на обученіе и приученіе и главную задачу воспитанія видитъ въ приученіи, называемомъ имъ дисциплиною ума. Въ томъ видѣ, въ какомъ ставить свои вопросы Бэнъ, его приученіе или дисциплина не больше, какъ обуздывающая сила, замыкающая всѣ способности, стремленія и наклонности въ извѣстныя арестантскія колодки. А какъ въ то же время Бэнъ исключаетъ всѣ широкія опредѣленія воспитанія, сдѣланныя Штейномъ, Милими, отцомъ и сыномъ, Спенсеромъ, то его „Воспитаніе“ является систематизацией средствъ обузданія безъ указанія какихъ-либо опредѣленныхъ цѣлей человѣческому стремленію.

Все, что говорить Бэнъ, онъ говорить только о развитіи ума. Положимъ, что Бэнъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что наука „есть наиболѣе совершенное воплощеніе истины и способъ дойти до истины“. Также справедливъ онъ, что „наука болѣе всего другого запечатлѣваетъ въ умѣ природу очевидностей, а также трудъ и предосторожности, необходимыя для доказательства вещи“: еще справедливѣе, что „наука есть великій коррективъ слабой готовности человѣческой природы принимать недоказанные факты и заключенія. Она подрываетъ кредитъ всего, что утверждается, не будучи должнымъ образомъ доказано“. Но въ природѣ остается еще много вещей, неразрѣшенныхъ никакой наукой и которыхъ ужъ, конечно, не разрѣшить курсъ преподаванія, устанавливаемый Бэномъ. Какъ бы ни были „безплодны“ опредѣленія, что человѣкъ стремится къ счастью, а воспитаніе должно имѣть задачей дать человѣку средства для достиженія этого счастья и приблизить человѣка къ совершенству его природы,—какъ бы, говоримъ мы, эти широкія опредѣленія ни казались Бэну „безплодными“, тѣмъ не менѣе одно развитіе ума никогда не удовлетворитъ человѣка. Можно считать доказаннымъ, что крайнее воздѣйствіе воспитанія только на умъ ведетъ къ вырожденію, которое едва-ли желательно даже и Бэну. Ну, а гдѣ же и какъ должны воспитываться чувства и нравственные понятія высшаго порядка, т. е. всѣ тѣ стороны духа, развитіе и удовлетвореніе которыхъ составляютъ имен-

но человѣческое счастье? Суровый Бэнъ обходитъ этотъ вопросъ какъ бы признавая свое безсиліе разрѣшить его. Какъ „мастеръ“ человѣческой души, онъ развинчиваетъ и раскладываетъ ее на части, точно она механической снарядъ, онъ указываетъ силу и характеръ каждой отдѣльной части, но какъ нужно собрать эти части, чтобы сдѣлать изъ нихъ что-нибудь цѣльное, какимъ ключемъ слѣдуетъ завести машину, чтобы получилось нравственное существо, нравственная личность, Бэнъ не говоритъ. Весь погруженный въ анализъ мелочей и подробностей, на который онъ великій мастеръ, Бэнъ минуетъ обобщенія и дѣйствуетъ какъ очень искусный механикъ, но не больше, какъ механикъ. Бэнъ смотритъ на человѣка какъ на извѣстный механизмъ, какъ на заводскую машину, которая при надлежащемъ содержаніи въ порядкѣ ея частей будетъ работать правильно. Но кто и что дастъ этой машинѣ душу, смыслъ и жизненность? Бэнъ думаетъ, что это вовсе не задача школы и воспитанія.

Въ этомъ Бэнъ неправъ даже съ англійской точки зрѣнія. Совершенно справедливо, что морализаціей не создается нравственное чувство, а создается оно умственнымъ воспитаніемъ въ понятіяхъ высшаго порядка. Потребность такого воспитанія въ Англии, конечно, не меньше, чѣмъ въ другихъ странахъ. Ужь будто социальныя и экономическія отношенія Англии такъ хороши, что идти дальше некуда и желать больше нечего! Если-бы внутренняя жизнь Англии была такъ близка къ идеалу, то Стюартъ Миль не относился бы съ порицаніемъ къ англійскому воспитанію, къ англійскимъ экономическимъ отношеніямъ и къ англійской политической свободѣ! Но что же говоритъ Бэнъ о воспитаніи высшихъ нравственныхъ понятій? Да ничего или почти ничего. Для начальной школы онъ рекомендуетъ уроки морали, да и тутъ въ сущности не дается ничего руководящаго. Дѣлая классификацію добродѣтелей, онъ сводитъ ихъ къ тремъ основнымъ качествамъ: къ благоразумію, къ честности или справедливости и къ добротѣ. По словамъ Бэна, „внушеніе благоразумія дѣтямъ можетъ подѣйствовать полезно, если на первый разъ каждая добродѣтель изображается съ своимъ особымъ характеромъ, такъ-какъ особенность благоразумія состоитъ въ просвѣщенномъ вниманіи къ нашимъ собственнымъ интересамъ“. Виды благоразумія — трудолюбіе, бережливость, воздержаніе—„не должны бы быть опускаемы воспитателемъ въ его описаніи добродѣтелей“. Какимъ же образомъ долженъ воздѣйствовать воспитатель на питомца — Бэнъ умалчиваетъ, а отъ обсужденія справедливости и доброты и совсѣмъ уклоняется, такъ-какъ цѣлью своего сочиненія поставилъ: „освѣтить самонаблюденіе“. Но говоря это, Бэнъ не больше, какъ лу-

кавить, ибо черезъ нѣсколько страницъ дальше онъ весьма опредѣлительно высказываетъ свой взглядъ на трудолюбіе и какъ ему должна поучать школа. Трудолюбіе, говоритъ Бэнъ, есть основное условіе всѣхъ другихъ добродѣтелей, „почему увѣщаніе ребенка отказаться отъ удобствъ и холи себя ради труда стало весьма обычнымъ предметомъ нравственнаго увѣщанія“. Бэнъ не согласенъ съ тѣми, которые исходятъ изъ „высокаго основанія“ (вообще Бэнъ не согласенъ ни съ какими высокими и широкими опредѣленіями), что „трудъ есть благо самъ по себѣ, что люди не могутъ быть счастливы безъ него и что наиболѣе несчастны люди, которымъ нечего дѣлать“. Люди трудятся не поэтому, говоритъ Бэнъ, а потому, что въ каждомъ человѣкѣ есть нѣкоторая сумма энергіи, которою онъ можетъ располагать и силою которою онъ можетъ пользоваться для добыванія пропитанія и возможно большей суммы радостей. Расходованіе этой силы должно часто достигать точки произведенія непріятной усталости. Учитель при этомъ долженъ объяснить, что непріятная усталость есть „вашъ крестъ“, который мы должны нести, ибо мудрость человѣческая заключается „въ подчиненіи себя злу, ради сопряженнаго съ нимъ добра“. „Таковъ правдивый отчетъ объ условіяхъ труда“, замѣчаетъ Бэнъ на 355 и 356 страницахъ, озаглавленныхъ „Взглядъ на бѣдныхъ“. Право, можно подумать, что англійскій мужикъ великій лѣнтяй и не хочетъ нести на себѣ „креста“. Да гдѣ же мужикъ лѣнтяй и что это за психологія „естественной энергіи“, ради которой только человѣкъ и трудится, потому что иначе не куда бы ему было дѣть ее? Ужъ потому, что Бэнъ вводитъ въ школу проповѣдь „креста“, нужно думать, что онъ только прикидывается съ своей научной объективностью, а въ сущности очень хорошо знаетъ большое мѣсто Англій и не желаетъ дать повода школьнымъ мальчишкамъ думать о томъ, о чемъ имъ думать не слѣдуетъ. Лукавство Бэна еще очевиднѣе, когда онъ разсуждаетъ о нищетѣ и какъ ее долженъ объяснять учитель. „Относительно печальнаго предмета нищеты, говоритъ Бэнъ, — всего соотвѣтственнѣе налегать на ея поправимость“; „по этой-то причинѣ столь цѣнны уроки о здоровыхъ экономическихъ отношеніяхъ“. Уроки этого рода Бэнъ считаетъ тѣмъ болѣе цѣнными, что въ настоящее время „Англій приходится бороться съ весьма сильнымъ недовольствомъ, обнаруживаемымъ болѣе или менѣе открыто“. Учитель, какъ говоритъ Бэнъ, не можетъ поэтому обойти вопроса о громадномъ неравенствѣ людей въ имущественномъ отношеніи, „а выясненіе этого вопроса безъ софистики требуетъ нѣ котораго искусства“. Иначе сказать, Бэнъ хочетъ научить учителя искусству софистики безъ софистики. Какъ же этого достигнуть? Очень просто. Учитель, боясь, какъ бы ему не

впасть въ софистику, беретъ за руководство „Воспитаніе“ Бэна, открываетъ его на соотвѣтствующей страницѣ (357) и по ней прочитываетъ ученикамъ нижеслѣдующее: „Имущественное неравенство прежде всего оправдывается большимъ трудолюбіемъ, энергіей и искусствомъ; довольство есть плодъ трудолюбивой жизни (объясненное такимъ образомъ неравенство, замѣчаетъ Бэнъ, внушаетъ почтеніе ко всякому, кромѣ вора); но уже на слѣдующей ступени обнаруживаются всѣ затрудненія. Удачливый человѣкъ оставляетъ все свое скопленное имущество своимъ дѣтямъ, освобождая ихъ отъ всякаго труда, и выгода уважать собственность покрываетъ и такой случай. Не смѣшается-ли въ этомъ уваженіи паразитъ съ труженикомъ? Вопросъ этотъ или политическій, или соціальный: единственный способъ укротить естественное недовольство состоитъ въ обсужденіи положеній соціальной науки, а недостатокъ времени требуетъ, чтобы эти положенія были обсуждены раньше“. Выслушавъ все это, ученики дѣлаютъ круглые глаза, учитель тоже не понимаетъ, что онъ имъ читалъ, и классъ закрывается. Впрочемъ, Бэнъ не уклоняется и отъ соціологіи, но только въ курсѣ средняго и высшаго образованія.

VI.

Относительно классицизма Бэнъ гораздо смѣлѣе. Оно и понятно, почему. Англійское общественное мнѣніе правящихъ сословій, нетерпимое относительно экономическихъ вопросовъ, къ классицизму относится гораздо спокойнѣе. Кромѣ своихъ личныхъ доказательствъ противъ классицизма, Бэнъ приводитъ мнѣніе и другихъ авторитетныхъ писателей. Между многими личными доказательствами Бэна мы уважемъ только на одно. Онъ указываетъ на отсутствіе интереса при изученіи классицизма. Прежде всего, по мнѣнію Бэна, затрудняетъ ученика сухость механическаго изученія, которая могла-бы быть нѣсколько смягчена, еслибы у учениковъ была подготовка къ литературному интересу. „Если же литература не интересуетъ, она ничто“, говоритъ Бэнъ. Литература, по его словамъ, „должна-бы быть не докучною частью школьныхъ упражненій, а смѣною и облегченіемъ послѣ математики и началъ другихъ наукъ. Этого же не будетъ, если учащіеся допускаются въ чужую литературу съ задачею зазубрить цѣлый словарь“.

Изъ Риджвика Бэнъ приводитъ слѣдующее его мнѣніе: курсъ обученія родному англійскому языку и англійской литературѣ и курсъ естественныхъ наукъ должны бы составлять существенныя части школьнаго образованія; слѣдовало бы налечь и на изученіе французскаго языка; для очищенія мѣста этому добавочному пред-

мету нужно-бы исключить греческій языкъ изъ курса, по крайней мѣрѣ, меньшаго возраста. По словамъ Риджвика, вышняя английская система воспитанія приспособлена преимущественно къ нуждамъ двухъ классовъ общества — духовенства и лицъ со склонностью къ литературѣ и съ надеждою на достаточный досугъ, чтобъ вволю отдаваться ей, т. е. для людей обеспеченныхъ. Эллисъ, выражаясь безъ особенной сдержанности, называетъ „нелѣпностью толки о гуманизирующемъ вліяніи латинскаго и греческаго языковъ, о великомъ богатствѣ ихъ литературъ и т. п., когда недостаетъ главнаго условія ихъ пригодности, именно, чтобы учащіеся этимъ языкамъ могли употреблять ихъ“. „Древо языковъ очень обширно въ нашихъ школахъ, говоритъ Эллисъ, — но въ-концѣ-концовъ оно только приноситъ плевелы“. На первое мѣсто Эллисъ ставитъ изученіе роднаго языка, затѣмъ требуетъ преподаванія нѣмецкаго и французскаго. „До сихъ поръ нѣмецкій и французскій языки считались украшеніями, а латинскій и греческій остовомъ литературнаго воспитанія. Но настало время обмѣнять названія, замѣчаетъ Эллисъ: — латинскій и греческій опустить до роли украшеній“. Наконецъ, цитируемый Баномъ Мэтью Арнольдъ говоритъ, что какъ „пренебреженіе словесными науками со стороны реалистовъ, такъ и пренебреженіе знаціемъ природы гуманистами — одинаковое невѣжество“. И доказывая это положеніе, онъ приходитъ къ заключенію, что нѣтъ надобности дѣлить школы на реальные и классическія.

Нельзя сказать, чтобъ доказательства Бэна и тѣхъ авторовъ, которыхъ онъ цитируетъ въ подтвержденіе, отличались-бы какой-нибудь крайностью, но тѣмъ не менѣе, когда вслѣдъ затѣмъ Банъ составляетъ проектъ „обновленнаго курса“, онъ считаетъ необходимымъ оправдаться передъ общественнымъ мнѣніемъ правящихъ сословій Англіи, тогда какъ въ тѣхъ частяхъ своего сочиненія, въ которыхъ Банъ говорилъ о народныхъ школахъ, онъ ни къ какимъ особеннымъ вѣжливостямъ не прибѣгалъ. Въ обновленномъ курсѣ высшаго образованія Банъ укладываетъ предметы въ три рубрики: I. *Науки* — минералогія, ботаника, зоологія, геологія, къ которымъ можетъ быть добавлена географія. II. Курсъ гуманитарныхъ, *словесныхъ* наукъ — исторія и различныя отрасли социологіи. Чисто-повѣствовательная исторія вошла бы въ науку правленія и общественныхъ учрежденій, къ которой могла бы быть придана политическая экономія. Въ словесныя науки вошелъ-бы затѣмъ болѣе или менѣе полный обзоръ всеобщей литературы, причемъ по необходимости и обзоръ греческихъ и римскихъ классиковъ. „Само собою разумѣется, говоритъ Банъ, — что это могло бы быть выполнено безъ изученія оригинальныхъ язы-

ковъ". Наконецъ, III—сочиненія на англійскомъ языкѣ и англійская литература. Высказавъ эти смѣлыя требованія, Бэнъ старается отклонить возраженія, которыя они могутъ вызвать. Первое возраженіе называетъ Бэнъ „страшнымъ именемъ революціи“ и затѣмъ доказываетъ, что революціоннаго элемента въ его проектѣ очень мало, ибо вся его вина въ томъ, что онъ ставитъ языки на второе мѣсто, сохраняя первое для содержанія. Онъ старается увѣрить кого-то, что относится весьма почтительно къ элементу древности и даже желалъ-бы сдѣлать знакомство съ исторіей и литературами Греціи и Рима болѣе распространеннымъ.

На второе возраженіе, что классики будутъ свергнуты, Бэнъ отвѣчаетъ тѣмъ, что преподаваніе классическихъ языковъ не исчезнетъ, пока будутъ сохраняться существующіе оклады и, слѣдовательно, всегда будетъ на-готовѣ число лицъ, достаточно ободряемыхъ, чтобы овладѣть этими языками.

Нападки Бэна на классицизмъ любопытны для насъ не въ смыслѣ его опроверженій, потому что въ этомъ отношеніи Бэнъ не высказываетъ ничего новаго. Любопытна собственно деликатность Бэна по отношенію къ общественному мнѣнію. Казалось бы, вопросъ о классицизмѣ менѣе важенъ, чѣмъ тѣмъ социальное-экономическія понятія, которыя совершенно отсутствуютъ въ англійской школѣ, а между тѣмъ Бэнъ для разъясненія имущественнаго неравенства посовѣтовалъ учителямъ не давать уловлять себя въ сѣти софистики, а разсужденіямъ о классицизмѣ посвящаетъ почти четверть книги. Относительно образованія Бэнъ тоже смѣлъ, потому что въ Англии политическая свобода не считается вещью запрещенной; но зато относительно всѣхъ тѣхъ предметовъ, которые касаются свободы экономической и вообще экономическихъ отношеній, Бэнъ держитъ себя съ дипломатической осторожностью и старается по возможности обходить это больное мѣсто Англии.

Впрочемъ, Бэнъ, какъ онъ говоритъ въ предисловіи, поставилъ цѣлью своего сочиненія „не столько обличить заблужденія, какъ предотвратить смѣшеніе“. По мнѣнію Бэна, было-бы „тщетно отыскивать какое-либо открытіе, которое одно могло бы измѣнить всю современную систему“. Не дѣлая этого открытія, Бэнъ въ своемъ „Воспитаніи“ только въ иной системѣ располагаетъ прежнія грани. Но что и въ какомъ видѣ будетъ вложено въ нихъ, волеется-ли живая или мертвая вода, Бэнъ этихъ вопросовъ, за исключеніемъ классицизма, не касается.

Конечно, мы судимъ Бэна не съ точки зрѣнія англійскихъ требованій и потому думаемъ, что русскій читатель долженъ относиться къ нему съ осторожностью и не брать на вѣру все, что онъ говоритъ. У каждой страны есть свои идеалы, свои

требованія. Англійскій строй жизни вовсе непохожъ на русскій, и одна изъ главныхъ ошибокъ англійскаго быта заключается, конечно, въ томъ, что, развивая вопросы политической свободы и только въ нихъ видя идеаль общественныхъ отношеній, англичане почти совсѣмъ обходятъ сферу разрѣшенія экономическихъ недоразумѣній. Поэтому и становится понятно, что Бэнъ, удѣляя такъ много мѣста изученію политики, учреждений и социологии, отводитъ его слишкомъ мало для разъясненія понятій экономического порядка. Наконецъ, русскій читатель можетъ быть введенъ въ недоразумѣніе кажущейся жестокостью Бэна. Мы даже не совсѣмъ понимаемъ, почему для такой страны, какъ Англія, потребовалось говорить о физической дисциплинѣ. Русскій читатель, привыкшій къ жестокости, которая его окружаетъ, можетъ мѣрять жестокость Бэна русскимъ аршиномъ, но это будетъ большое заблужденіе. Англійская школа меньше всего похожа на застѣнокъ и, можетъ быть, нигдѣ дѣти не пользуются большей гуманностью обращенія, какъ въ Англіи.

На бѣду русскаго читателя, и переводъ отличается тоже „жестокостью“. Г. Резенеръ, конечно, весьма почтенный и заслуживающій полнаго вниманія педагогъ, но переводъ въ такомъ видѣ, какъ опъ его сдѣлалъ, можно-бы сравнить съ желѣзной оболочкой, заключающей въ себѣ такое-же желѣзное содержаніе. Вообще книга Бэна производитъ впечатлѣніе умственного труда стойка, переданнаго такимъ-же стойкомъ,—труда, отъ котораго вѣетъ суровостью и непрощаемостью, чѣмъ-то пуритански-филистерскимъ и филистерски-фарисейскимъ.

И Ш.

НОВЫЯ КНИГИ.

Пережитое. Мечты и рассказы русскаго актера. Л. Н. Самсонова. Сиб. 1880 г.

„Эти листки писаны безъ всякаго притязанія на печать, скромно оговаривается авторъ „Пережитаго“ въ коротенькомъ предисловіи къ своей книгѣ.—Въ тяжелыя минуты, не имѣя съ кѣмъ поговорить, я отмѣчалъ мои встрѣчи и думы, и мнѣ становилось какъ-то легче. Всѣмъ запискамъ еще не вышла давность... Если въ душѣ читателя на минуту шевельнется жалость къ безотрадно-гибнущимъ силамъ провинціального актера, цѣль изданія записокъ будетъ достигнута“. Дѣйствительно, „Мечты и рассказы русскаго актера“—простыя замѣтки, урывками набросанныя въ разное время. Слогъ ихъ отрывистый и какъ-будто торопливый; многочисленныя дѣйствующія лица являются въ нихъ то по одиночѣ, то группами, тоже точно куда-то сѣшать, бѣгутъ, такъ что едва успѣетъ читатель окинуть ихъ поверхностнымъ взглядомъ, какъ они уже прошли мимо, оставивъ по себѣ самое неопредѣленное впечатлѣніе. Вообще говоря, беллетристрическій талантъ г. Самсонова, по меньшей мѣрѣ, сомнителенъ; и однакожь, несмотря на это, къ его книгѣ нельзя не отнести съ несравненно большимъ уваженіемъ, чѣмъ ко многимъ и многимъ изъ такъ-называемыхъ художественныхъ произведеній. Эти послѣднія довольно часто являются простыми, хотя и не безъинтересными фокусами. Сплошь и рядомъ какой-нибудь высоко-даровитый писатель, вооружившись перомъ, чернилами и нѣсколькими листами бумаги, возвѣщаетъ благосклонной публикѣ, что съ помощью этого скромнаго матеріала и своего божественнаго дарованія онъ сейчасъ создастъ человѣка или даже цѣлую группу людей, настолько жизненныхъ,

что их можно будетъ видѣть, слышать, только-что не осязать руками. Разъ, два, три... и вотъ, передъ глазами изумленныхъ зрителей изъ-подъ пера появляются люди, по виду дѣйствительно почти ничѣмъ неотличающіеся отъ обыкновенныхъ смертныхъ. Что говорятъ эти созданные белетристомъ люди, — это уже другой вопросъ; но какія бы благоглупости они ни изрѣкали, мы во всякомъ случаѣ явственно слышимъ всѣ переливы ихъ голосовъ, ихъ шагн, ихъ дыханіе, шелестъ платья... Очень можетъ быть, что авторъ показалъ намъ только внѣшность, манеры, особія наружныя прѣимства своихъ героевъ, то-есть въ сущности пустяки, но за то эти пустяки изображены такъ жизненно, такъ поразительно реально, что, восхищаясь ими, мы совершенно забываемъ, что во всякомъ живомъ человѣкѣ есть нѣчто, называющееся его внутреннимъ міромъ. Часто случается наконецъ, что герои художественныхъ произведеній могутъ оставить въ нашей душѣ не больше слѣда, чѣмъ оставляетъ его какой-нибудь уличный прохожій, случайно попавшійся намъ на глаза, и, слѣдовательно, выводить ихъ на сцену стоило единственно только ради того, чтобы удивить ротозѣевъ очень интереснымъ фокусомъ, но... фокусъ дѣйствительно очень интересенъ, и мы въ восхищеніи говоримъ: „вотъ талантъ, такъ талантъ!..“ Къ сожалѣнію, у автора „Пережитаго“, какъ мнѣ кажется, нѣтъ этого таланта, которымъ онъ, безъ сомнѣнія, сдумѣлъ бы воспользоваться для болѣе серьезныхъ цѣлей; но зато у него есть другой талантъ, — талантъ горячаго, задушевнаго слова, талантъ находить дорогу къ сердцу читателей и пробуждать въ нихъ лучшія человѣческія чувства и стремленія...

Для болѣе нагляднаго поясненія моихъ словъ я позволю себѣ остановиться нѣсколько подробнѣе на небольшомъ разсказѣ г. Самсонова: „Женщина упала въ море“. На пароходѣ, идущемъ въ Крымъ, ѣдутъ мать и дочь. Дочь — молоденькая дѣвушка, только-что взятая матерью изъ пансіона. Мать — красивая и еще молодая женщина, тяжелое прошлое которой авторъ передаетъ намъ такъ:

„Что она вынесла въ одинъ годъ жизни съ мужемъ!“

„Ея мать тосковала объ этомъ бракѣ, и сердце ея разбилось, и она умерла на ея рукахъ.“

„Вскорѣ ея мужа убили бутылкой въ пьяной компаніи... Она осталась одна съ ребенкомъ, въ страшной нуждѣ. Вещи уходили... У нихъ не осталось даже теплой одежды. У Сонечки грудь болѣла. У нихъ и кровати даже не было, онѣ на сундукъ спали. Постелютъ юбки и спать... Она рѣшилась поступить на сцену, на маленькое жалованье. За ней стали ухаживать. Товарки окле-

ветали ее. Публика возрадовалась сплетнѣ и бросила ей на сцену смоляной букетъ. Она его подняла, не понимая, въ чемъ дѣло. Но когда ея пальцы прилипли къ смолѣ и дегтю, она вспомнила, кому мажутъ ворота дегтемъ... все поняла и лишилась чувствъ. Ее считали тварью... У нея вырвали послѣдній кусокъ. Наскочили крещенскіе морозы. Ее гнали съ квартиры. Она взяла у одного офицера 50 руб., цѣловалась съ нимъ—и обманула его. Она сидѣла съ Сонечкой впотъмахъ—у нея не было свѣчки—вдругъ оконная рама вылетѣла вонъ, полетѣли комки снѣгу, ее ругали... Это былъ офицеръ съ товарищами... О, люди хорошо заучили, что человекъ—царь и вѣнецъ мірозданія!

„Она рѣшилась начать новую жизнь. Хозяйка любезно предложила ей домино и билетъ въ маскарадъ... Она начала мстить людямъ. Имъ нужна была не душа ея, не сердце, не разумъ, а тѣло, одно тѣло. И она бросила имъ его“... (Стр. 301, 302.)

„Ради нея, ради своей Сонечки, она бросилась въ этотъ огненный путь. Это дитя, этотъ ангель съ бѣлокурыми кудрями, умиралъ отъ голода, коченѣлъ отъ мороза... Какая же мать задумалась бы спасти своего ребенка!“ (Стр. 301.)

Она пятнадцать лѣтъ провела въ этомъ зловонномъ омутѣ, „обирая людей, доводя ихъ до отчаянія и разоренія, заставляя ихъ бросать на ея прихоти состояніе своихъ дѣтей, подчасъ честь свою“, — и вотъ, наконецъ, вырвалась изъ этого омота на свѣтъ божій и мечтаетъ начать новую жизнь.

„Дѣвочка выросла и уже кончала курсъ въ одномъ изъ „лучшихъ“ пансіоновъ. Мать купила дачу на южномъ берегу Крыма и сразу порвала все прошлое“.

„Теперь это дитя, эта дочь ѣхала съ ней дышать благотворнымъ, чистымъ воздухомъ, зимой—за-границу. Матери такъ нуженъ былъ этотъ чистый воздухъ, такъ необходима была даль! тамъ ее никто не знаетъ. Тамъ никто не нарушить ея счастья, купленного такой чудовищной цѣной“.

— „О, милая, о, моя прелесть! Какое я устрою тебѣ гнѣздышко! шептали ея губы.—Ты никогда, никогда не узнаешь...“

„Чья-то рука коснулась ея плеча. Она оглянулась. Ея дочь, блѣдная, дрожащая, глядѣла на нее дикимъ взглядомъ“.

„Мать поблѣднѣла. Что-то ужасное, непонятное случилось съ нею разомъ. Не надо, она не хочетъ, этого не можетъ быть. А сама уже чувствовала, безъ словъ дочери, что неотразимо-ужасное что-то совершилось“.

„Лицо дочери нагнулось близко, близко къ ея лицу“.

— „Правда, начала дѣвушка задыхающимся голосомъ,—правда, что сказали... тамъ... внизу?..“

„Мать затрепетала, какъ листъ“.

— „Тамъ... одинъ господинъ... сказалъ, что ты... Правда это?“

„Вотъ она казнь, вотъ она! Она отшатнулась.“

— „Говори, мама! Что-же ты молчишь! Да говори-же... Правда?“

„Растерянная, разбитая, она тихо, тихо пролепетала: правда! О, моя дорогая... и съ мольбой сложила руки на груди.“

„Дочь окинула ее холоднымъ, стальнымъ взглядомъ и пошла прочь.“ (Стр. 303, 304.)

Какъ грозю поражённая, мать, однакожь не теряетъ еще надежды, что ей удастся все объяснить, „разсказать“ своей дочери, что дочь „простить“,—она добрая,—и бѣдная женщина робко идетъ за своею дорогою дѣвочкой, зовётъ ее:

— „Моя дорогая“...

— „Оставьте!“ крикнула дочь, повернулась и пошла къ кабатамъ“.

— „Она взглянетъ... вотъ сейчасъ обернется... Ушла! Ну, она пришлетъ за мною служанку... Вотъ сейчасъ... Я постою тутъ у борта... Двѣ-три минуты—и пришлетъ!“ (Стр. 306.)

Идетъ дождь; поднимается гроза; помощникъ капитана подходитъ къ бѣдной женщинѣ и предлагаетъ свой пледъ.—„Сударниа, вы простудитесь“,—а дочь все не шлетъ за нею, и мать продолжаетъ стоять около пароходнаго моста, не отводя глазъ отъ входа въ каюты перваго класса и съ горечью думая, что „вотъ, онъ посторонній, а пожалѣлъ“... „Кто-то укралъ душу ея славной дѣвочки, ея радости, ея жизни! Отнилъ у тебя нѣтъ дочери! Ты не мать. Ты хуже нищей. Ты—тварь“... На палубѣ раздаётся плачь ребёнка и напоминаетъ ей дѣтство ея Сонечки. Пассажиръ-итальянецъ напѣваетъ козлинымъ голосомъ „addio del passato bei sogni ridenti“; странница разсказываетъ о какихъ-то „крохотныхъ келейкахъ“, о храмахъ божинъ, вырубленныхъ въ скалахъ, о лампадахъ неугасимыхъ и о воздухѣ райскомъ, а какой-то грекъ пристаётъ къ молоденькой бабенкѣ, прислуживаясь ей своимъ пальто: „хорошая ти-ы-ы! Ти дрозись, у мини другое пальто... тибѣ дамъ“... Мать Сонечки слушала всѣ эти рѣчи. „Она не проронила ни слова. Въ головѣ вилось что-то неуловимое, какой-то клубокъ порванныхъ и грязныхъ нитокъ. Она силилась поймать какое-то слово, дѣло какое-то, которое она должна завершить теперь же, сейчасъ... И тогда уже не будетъ страданія, ничего не будетъ“ (стр. 309).

Проходитъ еще нѣсколько времени; страданіе ея растетъ, дѣлается невыносимо-жгучимъ, и, наконецъ, итальянецъ, распѣвая своимъ дикимъ голосомъ: „ah, tutto, tutto fini, pertutto fini“, и подсказываетъ ей то слово, котораго не доставало ей... Tutto fini,—

все кончено, всему конецъ; „слово было найдено, послѣднее дѣло обозначено“; раздается крикъ, потомъ свистокъ, а затѣмъ помощникъ капитана командуетъ спокойнымъ голосомъ готовить шлюпку: „женщина упала въ море“. Ее ищутъ и не могутъ найти. Всѣ пассажиры каютъ толпятся на палубѣ, и между ними появляется, наконецъ, и дочь утопленницы. „Гдѣ ваша мать? Вы ее видѣли?“ спрашиваетъ у нея каютная горничная.

— „А развѣ...“

„Дѣвушка не кончила. Сердце у ней захолонуло. Она вреть, вреть! подумала она и тряхнула роскошными золотистыми волосами. Она глянула кругомъ. Всѣ, казалось, на нее уставились, говорили что-то; это что-то росло и росло, превратилось въ раскаты грома. Убийца, убійца! рокотало вокругъ, вверху и внизу“.

„Трясаясь, она прижалась къ периламъ. Вдали двигались на водѣ огни. Молніи освѣтила чью-то фигуру, стоящую во весь ростъ на шлюпкѣ и вдругъ бултыхнувшую въ черную пропасть“.

— „О, какой онъ хорошій! прошептала сна“. (Стр. 312.)

„Шлюпка вернулась безъ утопленницы“. „Сгукъ закрываемаго борта отозвался стукомъ земли, бросаемаго въ разверзтую могилу“.

„Пароходъ тронулся“.

„Съ нѣмымъ почтеніемъ разступились всѣ передъ молодой дѣвучкой съ золотистыми кудрями. Горничная вела ее въ каюту. Лицо ея было, какъ у мертвой“...

— „О, прости... прости... прости! стонала она, опускаясь съ судорожными рыданіями на колѣни“.

— „Мол-л-ли-тесъ, всклипывала горничная“.

„Она сложила руки на молитву“.

„При тускломъ свѣтѣ свѣчи въ фонарѣ, казалось, на колѣняхъ стояла сама утопленница, помолодѣвшая, просвѣтленная“...

„Мать погибла. Но свою смертію она спасла душу своего дитяти“. (Стр. 314, 315.)

Когда читатель нѣсколько освобождается отъ впечатлѣнія, производимаго этимъ рассказомъ, и, такъ-сказать, отойдя отъ него на нѣкоторое разстояніе, оглядывается назадъ, чтобы еще разъ пережить эту маленькую драму, онъ не можетъ, мнѣ кажется, не замѣтить, что возсоздать въ своемъ воображеніи образы главныхъ дѣйствующихъ лицъ нельзя, потому что авторъ не далъ ихъ намъ. О матери, напримѣръ, онъ сообщаетъ только, что она въ черномъ дорожномъ платьѣ, что у нея „глубокіе черные глаза, прелестный ротъ, безукоризненный овалъ лица, роскошные темные волосы, великолѣпный бюстъ“, что ей на видъ не больше тридцати лѣтъ, что, наконецъ, она страстно любитъ свою дочь, — и это все, то-

есть, откровенно говоря, очень немного. Оставила-ли на этой женщи́нѣ хоть какую-нибудь печать та жизнь въ зловонномъ омутѣ, которую она жила пятнадцать лѣтъ? Осталось-ли у нея въ сердцѣ хоть что-нибудь доброе, кромѣ ея несомнѣнной любви къ дочери? Добра она или ожесточена? Сообщительна или, напротивъ, сторонится отъ людей? Смотритъ-ли она вокругъ себя тревожно, ежеминутно опасаясь того, что вотъ сейчасъ кто-нибудь узнаетъ ее и выдастъ ея дочери тайну ея жизни, или, наоборотъ, эта женщина — легкомысленное, увлекающееся созданіе, которому достаточно одной минуты счастья, чтобы позабыть рѣшительно обо всемъ на свѣтѣ?.. Даже на эти вопросы, возбуждаемые самымъ ходомъ разказа, авторъ не даетъ намъ никакого отвѣта, хотя бы въ формѣ легкаго штриха, двухъ-трехъ словъ, случайно оброненныхъ его героиней, и вслѣдствіе этого она пронесится передъ нами какъ въ туманѣ, неопредѣленной тѣнью, не тѣмъ или другимъ человѣкомъ, имѣющимъ свою опредѣленную физиономію, поэтому и страдающимъ *по-своему*, а человѣкомъ вообще, человѣкомъ безъ своего лица, безъ своего голоса, даже безъ своей собственной души.

Точно такую же, или, пожалуй, еще болѣе неопредѣленной тѣнью является и ея дочь, о которой намъ почти только то и извѣстно, со словъ г. Самсонова, что она хорошенькая и у нея золотистые волосы. Правда, въ одномъ мѣстѣ авторъ называетъ ее „прелестною живою бутылкою“, но этимъ онъ не только ничего не объясняетъ, но, мнѣ кажется, еще больше запутываетъ дѣло. Какимъ же образомъ эта живая бутылка въ концѣ разказа внезапно становится человѣкомъ? На какомъ основаніи авторъ увѣряетъ, что „своею смертью мать спасла душу своей дочери“? Почему мы знаемъ, чѣмъ была эта душа прежде и чѣмъ она будетъ послѣ? Не больше-ли права имѣемъ мы думать, что потрясающая сцена гибели матери встряхнула эту живую бутылку только на нѣсколько часовъ, дней, пожалуй даже недѣль, и что потомъ, когда ослабѣетъ сила этого потрясающаго впечатлѣнія, она, эта дѣвушка, опять превратится въ то-же холодное стекло, какимъ была прежде? Или, можетъ быть, она и всегда была въ сущности не злой, а только испорченной дѣвушкой, добрые инстинкты которой, таившіеся въ глубинѣ ея сердца, ждали только громового житейскаго удара, чтобы проснуться къ новой жизни? Но въ такомъ случаѣ зачѣмъ же авторъ забылъ хоть намекнуть на это?

Такимъ образомъ, оба главныя дѣйствующія лица этого разказа являются совершенно неопредѣленными. Повидимому, и впечатлѣніе, оставляемое имъ, должно бы было отличаться такою-же

неопредѣленностью, но на самомъ дѣлѣ, благодаря тому таланту живого и горячаго слова, которымъ владѣеть г. Самсоновъ, это впечатлѣніе сильно и опредѣленно. Мы не видимъ въ этомъ разсказѣ такой-то глубоко страдающей женщины, но за то всѣмъ своимъ сердцемъ чувствуемъ страдающаго и погибающаго *человѣка*. Намъ, быть можетъ, не особенно жалко въ этой маленькой драмѣ такую-то ея героиню, Анну, Катерину, Ольгу, но намъ жаль вообще *человѣческое существо*, затоптанное въ грязь нашими собственными ногами и потомъ нами же оскорбляемое и презираемое за то, что оно не такъ чисто, какъ чисты добродѣтельные фарисеи. Г. Самсоновъ, можетъ быть, не вызываетъ въ нашемъ воображеніи яркихъ образовъ, но за то онъ будитъ въ насъ сильное и доброе чувство...

То-же самое можно сказать и о всѣхъ другихъ разсказахъ автора „Пережитаго“, за исключеніемъ развѣ одного изъ нихъ, лучшаго, — „Подкинули ребенка“, — вещи до такой степени удачной во всѣхъ отношеніяхъ, что еслибы она не была единственною, мнѣ не пришло бы и въ голову сомнѣваться въ белегристическомъ дарованіи *человѣка*, ее написавшаго. Героями большей части разсказовъ г. Самсонова являются актеры, актрисы, антрепренеры, суфлеры, рабочіе при театрахъ и вообще люди больше или меньше прикосновенные къ театральному міру. Сценокъ, анекдотовъ, лицъ, вырванныхъ изъ жизни этого, мало знакомаго намъ, міра—многое множество въ „Пережитомъ“. Къ сожалѣнію, всѣ эти случаи вырваны изъ своей сферы и стоятъ почти особнякомъ другъ отъ друга, всѣ эти лица разорваны на свои составныя части, такъ-что одна черточка брошена въ одинъ разсказъ, другая въ другой, и, вслѣдствіе всего этого, вмѣсто цѣльной и опредѣленной картины, передъ глазами читателя стоитъ, какъ груда развалинъ, цѣлая масса сырого матеріала, въ которой не особенно легко разобраться. Авторъ какъ-будто самъ растерялся среди окружавшаго его обилія фактовъ и, не взвѣсивъ хорошенько, что нужно, что не нужно, — рѣшился черпать всего понемножку, такъ-что *человѣку*, незнакомому съ жизнью актеровъ, довольно трудно отличить въ „Пережитомъ“ случайности этой жизни отъ постоянныхъ явленій, исключенія ея—отъ общихъ правилъ. Актеры, антрепренеры, какъ и люди всевозможныхъ другихъ професій, бываютъ всякіе, совершенно опредѣленно говорить „Пережитое“, но типа актера, типа антрепренера, съ ихъ, такъ-сказать, видовыми признаками, отличающими ихъ отъ чиновника, купца, литератора, военнаго, — этого нѣтъ въ книгѣ г. Самсонова. Правда, авторъ и не задавался подобною задачей. Онъ имѣлъ въ виду только возбудить въ читателяхъ участіе къ неприглядному положенію провинціальныхъ актеровъ, и, — нужно ему

отдать справедливость,—то описывая „кое-что свѣтлое“ изъ жизни своихъ собратьевъ, то изображая мрачныя и печальныя стороны ихъ быта, то, наконецъ, бросая въ лицо обществу довольно горькія истины относительно тѣхъ требованій, которыя оно предъявляетъ къ „искусству“,—вполнѣ достигаетъ своей цѣли. Онъ постоянно дѣлаетъ даже несравненно больше. Стараясь возбудить въ душѣ читателя „жалость къ безотрадно гибнущимъ силамъ провинціального актера“, г. Самсоновъ возбуждаетъ жалость къ погибающему, страдающему, загнанному и оскорбленному человѣку вообще.

Вотъ, напримѣръ, нѣсколько портретовъ и „случайностей“ изъ жизни артистовъ, приводимыхъ г. Самсоновымъ.

„Говоря объ одесскомъ театрѣ, умолчать о В. Г. Казаринѣ немислимо. Это хотя и длинное, но маленькое, по жалованью, существо, десятки лѣтъ было для театра то же, что шестерня на мельницѣ. Большое колесо гордо вертится, брызжетъ волнами и пѣной, всѣ на него заглядываются, а маленькая шестерня гдѣ-то запрятана въ темнотѣ и никто не видитъ, что безъ нея все дѣло стало бы. Не хватало любовника — дѣлали любовникомъ К., комика — его-же, нужно было замѣнить суфлера или кассира — К., сбѣгать въ типографію — К., свалить вину съ себя — К., тащить мебель на сцену — К. Не разъ Казаринѣ, во время спектаклей, накидывалъ пальтишко на испанскій костюмъ и въ трико и башмакахъ летѣлъ въ морозы и слякоть, куда прикажутъ, скрипя зубами и кашляя, какъ изъ бочки. Если сосчитать экономію, какую онъ дѣлалъ антрепризѣ, образуются тысячи... За все это онъ получалъ 50 р. въ мѣсяцъ! Издерганный, съ разбитой грудью, онъ когда-то волновался, протестовалъ *иначе*, занимался ролями, потому, стертый какъ мѣдный грошъ, отошелъ въ ряды несчастныхъ *ориѳе*, преобразился въ клячу, вѣчно осѣдланную, вѣчно готовую тащиться куда погонитъ кнутъ хозяина, съ печальнымъ выраженіемъ въ глазахъ: мнѣ за это дадутъ клокъ соломки! Клокъ соломки дали: онъ умеръ преждевременно... Схороненъ въ Одессѣ на счетъ извѣстнаго купца В. И. Ширяева“ (Стр. 158, 159.)

„Припомню и еще кое-что. Не разъ мы были свидѣтелями, какъ въ началѣ сезона какая-нибудь *выходная* актриса плакала, потомъ... гибла. Отчего? Ей пришлось сыграть въ сезонъ *пять-шесть* ролей, требующихъ *хорошаго* платья, перчатокъ. (А сколько такихъ ролей, короче куриного носа, вклеены драматургами въ пьесы ни къ селу, ни къ городу!) „Городскіе“ костюмы, по силѣ извѣстнаго параграфа, мы обязаны имѣть свои. Что было дѣлать этому бѣдному существу, получающему 25—40 р. въ мѣсяцъ? Отказаться отъ роли?—Штрафъ, потеря службъ. Кое-какъ сбилась

она, разъ-другой, на кисейное платье, скрѣпя сердце выпросила кое-что у *большихъ* актрисъ (эти *большія* были когда-то такими-же), вышла на сцену прилично, по роли; но рядомъ съ нею вышла актриса въ сто рублевомъ платьѣ, въ бриліантахъ (фальшивыхъ), играя *такую-же* дѣвушку... и кисейная актриса пропала. Публика толкуетъ антрепренеру: ну, развѣ можно выходить въ какой-то тряпкѣ! Антрепренеры и рецензенты вторятъ: нельзя! Эта публика, эти рецензенты и антрепренеры не понимаютъ, что ея кисейное платье за часъ, за два до спектакля обито слезами, потому что не на что было купишь углей разогрѣть утюгъ, — что такое платье именно и нужно по пьесѣ, даже съ этими слезами, что большія артистки одѣты не такъ! Намъ какое дѣло: хоть на содержаніе ступай! говоритъ начальство претендующей, а иногда и мы сами въ свои бенефисы. Что ей остается? Остается послушаться умныхъ совѣтовъ". (Стр. 139, 140).

Подъ этимъ растлѣвающимъ давленіемъ, — и со стороны хозяина-антрепренера, обыкновенно кулака, думающаго не объ искусствѣ, не объ интересахъ общества, а единственно о своемъ карманѣ, и со стороны „публики“, въ огромномъ своемъ большинствѣ все еще смотрящей на актера, какъ на скомороха, — конечно, трудно было выработаться въ театральной сферѣ сильнымъ и стойкимъ типамъ. Г. Самсоновъ говоритъ, что „взъ тысячи отцовъ, матерей, мужей и женъ“ можно указать „десятокъ исключеній — и только“. „А остальное какъ живетъ? спрашиваетъ онъ. Въ кою преобразилось? Кто дѣти ихъ? Какъ они уберегли ихъ, гоняемые съ мѣста на мѣсто?“ Актрисы — или неграмотныя бабы, съ трудомъ разбирающія только печатное, но не писаное, умѣющія кое-какъ намарать свою фамилію и иногда невыучившіяся „даже узнавать, который часъ“; или сплетницы; или завистливыя, черствыя, жадныя существа, думающія единственно о томъ, чтобы сколотить копейку, и потерявшія послѣднее чувство чести; или, наконецъ, актрисы-камельіи... Актеры — не особенно лучше.

„Первый. Замѣчательный талантъ, истратившійся на французскій фейерверкъ, обманъ, сальности, женщинъ, стоящій то за товарищей, то за хозяина, смотря гдѣ выгода, а не правда. При удачѣ — деспотъ, топчущій ногами честь и любовь; въ черныя минуты — Лиръ въ степи, ребенокъ, хватающійся за пистолеть. Выступившій на сцену въ 40-хъ годахъ, сдавленный крѣпостнымъ періодомъ жизни русскаго актера, онъ растерялъ всѣ чистыя крупинки въ борьбѣ за существованіе: ничѣмъ не брезгалъ — и все-таки нищій. Какъ пришло, такъ и ушло!“

„Второй. Тоже не послѣдній боецъ за свое существованіе, одолѣтокъ перваго. Слава его также громка въ Россіи. Темная

наша трясина заставляла его въ одно время пить, „поднимать хвостъ кольцомъ“, да что—легче не было! Пьяный дрался, билъ... хуже... Теперь онъ тихъ, угрюмъ, вслушивается въ „новыя пѣсни“, глаза загораются; но стоитъ подойти антрепренеру—и старый боецъ насупливаетъ брови, спина сгибается, глаза гухнуть. Товарищи его любятъ. Рецензенты находятъ, что въ роляхъ „отцовъ“ не отсталъ онъ отъ новаго вѣянія.“

„Третій. Звѣзда меньшей величины, но все-таки звѣзда, извратившая интересы артиста и человѣка страстью антрепренерствовать, и потому—хищникъ, гнущій сотоварищей въ бараній рогъ... это не мѣшаетъ ему толковать, что его всѣ любятъ, а его всѣ проклиняютъ.“

„Четвертый. Полагаетъ все назначеніе артиста въ хорошо возбужденной роли, въ элегантномъ костюмѣ; заносчивый и нахальный съ меньшеокладными (вообще съ болѣе молодыми); счастье жизни — въ квартирѣ съ коврами, въ возможности имѣть своего лакея, въ шикарномъ обѣдѣ. Имѣй онъ талантъ, его можно было бы назвать меньшимъ братомъ перваго типа.“

„Пятый—самый обильный. Всюду втирается съ своею омерзительно-сладенькою улыбкою, всюду наушничаетъ, будь онъ по виду баринъ или лакей. Подземною работою забираетъ въ руки антрепренера и дѣлается его совѣтникомъ. При удачѣ самъ снимаетъ какой-нибудь театр. Инымъ изъ этого типа помогаютъ статьи красиваго мужчины, богатый органъ голоса, барскія манеры... являются покровители и покровительницы... тутъ ужъ дорога широкая! Обиженные же природой, будь они даже суфлеры, цѣлую ночь напролетъ тихонько списываютъ бібліотеку, „зачитываютъ“ чужія пьесы, продаютъ списанное и „зачитанное“ во вновь обзаводящіеся театры или любителямъ, вырученныя сотни отдають на проценты, при случаѣ выручаютъ своего патрона, втираются въ режисеры... и мгновенно перерождаются: заискивающая улыбка исчезла, имя, отчество товарища, передъ которымъ вчера вскакивалъ, какъ лакей,—забыто; актрисъ принимаетъ въ халатъ; рецензентовъ напайваетъ до „ты“... Чѣмъ больше онъ вынесъ унижений, тѣмъ гаже онъ, какъ начальникъ, а не за горами и „хозяинъ“. Таланта въ этомъ типѣ ни на грошъ, но смѣлости и театральной рутинны — бездна.“

„Шестой. На опытѣ испыталь и видѣлъ, къ чему ведетъ протестъ; а потому вѣчно понурый, вѣчно печальный, вѣчно на вторыхъ роляхъ, несмотря на талантъ. Вся фигура его, въ какомъ-нибудь порывѣломъ пальто, какъ бы говорить: „терпите, сожмитесь—ничего мы не подѣлаемъ! Тутъ и не намъ чета—орлы выносятся! Тащите лучше ваши лохмотья жидамъ-ростовщикамъ.“

Нѣтъ другого, ничего нѣтъ!" — Денегъ у этого типа пропало за антрепренерами нѣсть числа... На 50—75 р. жалованья онъ кормить семью, живетъ верстъ за пять отъ театра, не входитъ ни въ какія дрязги, любитъ баню до страсти, усердно молится въ церкви, попиваетъ чаекъ за газетою въ какомъ-нибудь трактирчикѣ (газету читаетъ отъ доски до доски). Когда ужъ очень допекутъ его неправды, позволяетъ себѣ кутнуть. Затаенный протестъ этого типа выбивается тогда фразой: „жалко, люди погибають!"

„Далѣе слѣдуетъ типъ „маленькаго“ актера, вѣчно прячущійся гдѣ-то по угламъ, у порога; уныло и злобно глядитъ его лицо, и одежда, и обувь; ему не отвѣчаютъ на поклонъ, его толкають, гоняють, ругають за все: за сапоги, въ которыхъ вышелъ на сцену, за мѣшковатую фигуру, за пропущенную строчку въ расписанной имъ пьесѣ на роли, — а онъ молчитъ или робко лепечетъ: на улицѣ грязь... жена больна... Многие изъ этого типа, гоняемые изъ одного гнилого театра въ другой, кончаютъ свою карьеру простымъ театральнымъ рабочимъ. Въ горькой долѣ этого типа много виноваты наши драматурги, унавоживая свои пьесы *куринными* ролями; они дадутъ отвѣтъ за него. Эти роли неизвѣстно для чего являются, неизвѣстно отъ чего исчезаютъ. Какую роль въ „Горѣ отъ ума“, въ „Ревизорѣ“, вы назовете лишней, ничтожной, недостойной большого актера? Ни одной! Даже нѣмой швейцаръ — и то роль... Но много-ли такихъ пьесъ? Да, гг. драматурги, вы создали этотъ типъ и, по малой мѣрѣ, достойны названія „родственниковъ“ антрепренеровъ“ (стр. 189, 190, 191, 192).

Типы, производящiе далеко не отрадное впечатлѣнiе! Правда, г. Самсоновъ говоритъ, что на этой убогой театральной почвѣ начали за послѣднее время намѣчаться новые всходы, обещающiе лучшее будущее: все больше и больше появляется людей съ хорошимъ образованiемъ и съ болѣе широкими взглядами на мiръ божiй, все глубже и глубже пускаетъ корни принесенная ими мысль о необходимости для актеровъ сплотиться въ товарищества, вырвать театральное дѣло изъ рукъ кулаковъ и антрепренеровъ и повести его самимъ артистамъ, на артельныхъ началахъ... Но.. когда оглядываешься на типы современныхъ актеровъ, изображенныхъ г. Самсоновымъ, когда припоминаешь его же собственныя слова, что новые люди только-что намѣчаются въ этой средѣ; когда, наконецъ, взглядишься попристальнѣе въ судьбу нѣкоторыхъ описанныхъ имъ театральныхъ артелей, то невольно спросишь съ нѣкоторою горечью: скоро-ли взойдетъ это солнышко? Авторъ „Пережитаго“, повидимому, думаетъ, что оно чуть-ли уже не начинаетъ восходить, но, говоря откровенно, его же собственная книга наводитъ читателя на ту мысль, что для осуще-

ствленія артели въ средѣ актеровъ не видно покуда самаго перваго и элементарнаго условія, — не видно артельщика, не видно, такъ-сказать, артельного, общественнаго, мірскаго человѣка... Гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, этотъ артельщикъ, — человѣкъ прежде всего и больше всего настолько проникнутый чувствомъ справедливости, что онъ думаетъ не только о самомъ себѣ, но и о своихъ товарищахъ; настолько уважающій въ своихъ собратяхъ такихъ-же людей, какъ онъ самъ, что и не помышляетъ забрать ихъ въ свои руки; настолько, наконецъ, любящій свое искусство, общее дѣло, что онъ совершенно чуждъ всякихъ дразгъ, интригъ и всей той грязи, которая немедленно поднимается у насъ вездѣ, гдѣ только два-три человѣка сойдутся за однимъ и тѣмъ-же дѣломъ? Гдѣ онъ, этотъ артельщикъ? Говорятъ, что въ средѣ мужиковъ, какихъ-нибудь землекоповъ, плотниковъ, каменщиковъ, онъ встрѣчается довольно нерѣдко, но среди насъ, образованныхъ, развитыхъ и гуманныхъ людей о немъ что-то ничего не слышно. Среди насъ есть хищники, есть апатичные люди, есть усталые люди, есть надорванные клячи, есть переметныя сумы, есть безсильные и лѣнныя мечтатели, есть предприимчивые и дѣятельные кулаки, есть все, что хотите, но нѣтъ артельщика... А покуда онъ не народился еще, до тѣхъ поръ какъ искусно ни склеивайте въ артель изъ интеллигентныхъ людей, съ нею повторится та же самая исторія, какая случилась съ симферопольскимъ товариществомъ актеровъ: то-есть достаточно будетъ одной глупой бабьей сплетни, чтобы всѣ артельщики перессорились, переругались, перепачкались въ грязи взаимныхъ пересудъ и сплетенъ, и дѣло, даже хорошо начавшееся, разлетѣлось прахомъ...

Убѣжище Монрепо. Сочиненіе М. Е. Салтыкова (Щедрина).
Спб. 1880 г.

Причины, почему оригинальная литературная фізіономія нашего сатирика осталась, какъ извѣстно, до сихъ поръ во мнѣніи мыслящей части русскаго общества невыясненною, лежатъ не столько въ расплывчивости и неопредѣленности произведеній г. Щедрина, какъ упрекаютъ его одни, не столько въ его сатирическомъ объективизмѣ, бьющемъ, какъ упрекаютъ другіе, безразлично и враговъ, и союзниковъ, сколько въ самомъ характерѣ неопредѣленности и броженія русской жизни за послѣднія 20—25 лѣтъ. Отвести надлежащее мѣсто г. Щедрина въ нашей литературѣ возможно только

тогда, когда мы ни на минуту не оторвемся отъ хода русской жизни; его сатира неразрывно связана съ этимъ ходомъ и безъ него непонятна. Въдъ г. Щедринъ не есть писатель, занимающійся изображеніемъ внутренняго, психическаго міра своихъ героевъ. Правда, г. Щедринъ является въ своихъ произведеніяхъ замѣчательнымъ психологомъ, но щедринская художественная психологія не есть психологія индивидуальная, она не есть воспроизведеніе мыслей, чувствъ и побужденій абстрактнаго человѣка, какъ самодовлѣющаго, если такъ можно выразиться, начала. Психологъ-индивидуалистъ отбрасываетъ въ сторону общественныя условія, окружающія изображаемую имъ личность, или, вѣрнѣе сказать, онъ, пожалуй, предполагаетъ ихъ, какъ почву, на которой выросла душа личности, но занимается исключительно этимъ росткомъ; изслѣдованіе же самой почвы оставляетъ въ сторонѣ. Для такого психолога важно не то, какъ среди общественныхъ отношеній создавалась и чѣмъ вызывалась извѣстная черта характера личности, но то, какова эта черта. Иначе намъ представляются отношенія къ изображаемымъ личностямъ со стороны писателей, подобныхъ г. Щедрину. Здѣсь раскрывается предъ нами поле художественно-общественной психологіи. Здѣсь личность не просто личность, не просто индивидуальный организмъ, обладающій тѣми или иными присущими ему качествами,—нѣтъ, личность въ данномъ случаѣ является прежде всего представителемъ интересовъ извѣстныхъ общественныхъ наслоеній. Она—кость отъ кости и плоть отъ плоти извѣстной группы общества. Въ ней концентрируется все, чѣмъ скорбитъ и радуется эта группа. Понятно, какую важную роль играетъ въ процессѣ творчества социальнаго психолога описаніе формъ жизни, въ которыхъ вращается изображаемая имъ личность. Разъ эта личность есть не просто абстрактная личность, не просто человѣкъ вообще, но человѣкъ той или другой группы,—словомъ, современный „ветхій Адамъ со всѣми страстями и похотями его“,—то анализъ внутренняго міра личности *quand même* долженъ подъ перомъ социальнаго психолога отступить на задній планъ предъ изображеніемъ крупныхъ типичныхъ чертъ этой личности, *поскольку* она является представителемъ извѣстной группы. Но въ такомъ случаѣ самое изображеніе этихъ чертъ является для писателя только средствомъ выяснить и обрисовать типичныя черты современной жизни, иначе говоря, собразать и выразить въ отдѣльномъ образѣ то, что переживается цѣлой общественной группой. Писатель даетъ вамъ зеркало, — это изображеніе внутренняго міра своего героя, насколько въ немъ отпечатлѣлся общій типъ всей данной группы. Вы смотрите въ это зеркало, видите въ немъ находящіяся позади васъ общественныя условія, создавшія логику и чувство партіи и, стало быть, логику

и чувство личности. Каждый из героев г. Щедрина является, по нашему мнѣнію, именно такимъ зеркаломъ, въ которомъ отражается современная жизнь съ ея коллективными и противоположными интересами. Чѣмъ рѣзче и опредѣленнѣе складываются и главныя, и побочныя формы жизни, тѣмъ яснѣе отражаются онѣ въ зеркалѣ внутренняго міра личностей, — представителей группъ. Потому-то, наоборотъ, нельзя вмѣнять въ вину писателю, держащему передъ вами зеркало, то, что оно неясно отражаетъ самыя явленія современной жизни, когда сама жизнь не успѣла еще хорошо нѣко разобраться въ нихъ и подвести имъ опредѣленные итоги. Въ обществѣ, переходящемъ изъ одной формы своего историческаго развитія въ другую и только-что начавшемъ подвергаться процессу броженія, ничто еще не закрѣпилось, ни въ чемъ нѣтъ рѣзкихъ, ясно очерченныхъ формъ. Только съ теченіемъ времени, когда процессъ броженія приходитъ къ концу, начинается выясняться характеръ новой эпохи. По мѣрѣ все большаго и большаго этого выясненія измѣняются и отношенія писателя къ изображаемымъ имъ явленіямъ общественной жизни въ процессъ ея движенія. Возьмемъ писателя, который съ нашей субъективной точки зрѣнія можетъ критически относиться къ явленіямъ общественной жизни и симпатіи котораго находятся, кромѣ того, на сторонѣ лучшихъ, — скажемъ, пожалуй, нѣсколько неопредѣленныхъ, — прогрессивныхъ явленій жизни. Мы находимся при началѣ процесса общественнаго движенія: все движется, ничего законченнаго и установившагося еще нѣтъ. Передъ писателемъ раскрывается рядъ какихъ-то туманныхъ, неясныхъ образовъ. Одни изъ нихъ въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи воплотятся въ желательныя для насъ (и писателя) явленія жизни и мысли. Другіе съ теченіемъ времени станутъ явленіями, рѣжущими своимъ безобразіемъ нравственное чувство честнаго и понимающаго наблюдателя. Но при началѣ процесса довольно трудно угадать, въ какую форму отольется та или другая часть жидкой массы и что въ этой массѣ по праву должно привлечь наши симпатіи или антипатіи, такъ-какъ все въ это время находится еще въ зародышѣ. Невозможность приурочить эти симпатіи и антипатіи къ тѣмъ или инымъ явленіямъ жизни вызываетъ, хотя и пытлиное, но объективное созерпаніе окружающей среды. Значительная доля объективизма проглянетъ и въ отношеніяхъ писателя къ изображаемымъ имъ явленіямъ втеченіи начальнаго процесса броженія, когда этотъ смутный и развивающійся процессъ для него самого неясенъ и сбивчивъ. Процессъ броженія развивается затѣмъ далѣе: являются попытки приблизиться къ той или иной желательной цѣли. Люди одного пошиба ставятъ себѣ такую цѣль, люди другого — иную. Дѣлаются первые шаги по

пути къ достиженію этой цѣли и тѣми, кто преслѣдуетъ одинаковыя цѣли съ нашимъ писателемъ. Какъ всякое начало, эти первые шаги очень робки, нерѣшительны, часто ведутъ не туда, куда люди задумали идти, часто играютъ роль „медвѣжьихъ услугъ“, только дающихъ возможность злорадствовать противникамъ. Когда начинаютъ выясняться дотолѣ неясныя формы процесса броженія, съ нашего quasi-объективиста-писателя сползаетъ мало-по-малу одежда безразличнаго отношенія къ вещамъ. Его субъективное воззрѣніе на міръ божій начинаетъ все болѣе и болѣе выходить наружу.

Начинается, наконецъ, послѣдняя перипетія общественнаго броженія. Все отыскиваетъ себѣ подходящую дорогу для выраженія, все закрѣпляется. Овцы бредутъ направо, волки собираются стаями налѣво. Съ писателя сползаютъ послѣднія ризы quasi-объективизма; въ наболѣвшихъ строкахъ все чаще и чаще начинаютъ звучать ноты чисто-публицистическаго характера. Художникъ въ талантливомъ писателѣ и вѣрномъ выразителѣ жизненныхъ явленій отстѣпаетъ все болѣе и болѣе предъ мыслителемъ, притомъ такимъ мыслителемъ, всѣ симпатіи котораго лежатъ на извѣстной сторонѣ... Лучшую оцѣнку г. Щедрина найдетъ подъ перомъ того литературнаго критика, который поставитъ въ самую близкую связь произведенія сатирика съ измѣненіями, которымъ подвергся за этотъ періодъ времени патріархальный, до-реформенный складъ экономическихъ отношеній Россіи. Мы съ своей стороны, ограничиваясь здѣсь немногимъ, коснемся только вскользь процесса броженія, послѣдовавшаго за паденіемъ крѣпостнаго права. Въ послѣдніе годы уже началъ обрисовываться рѣзкими чертами путь, по которому идетъ наше поколѣніе. Экономическій хаосъ, оставленный намъ крѣпостничествомъ, продолжаетъ господствовать въ тѣхъ общественныхъ группахъ, которыя вынесли изъ до-реформенной Россіи только одно чувство — чувство узкаго личнаго эгоизма и полнѣйшее отсутствіе всѣхъ общественныхъ инстинктовъ. Будучи не въ состояніи ни по развитію, ни по привычкамъ видѣть дальше своего крошечнаго я и въ этомъ микроскопическомъ я сосредоточивать чуть не цѣлый міръ, поставленныя между двумя противоположными теченіями—крѣпостными традиціями и новыми требованіями жизни, онѣ, эти общественныя группы еще глубже прежняго замкнулись въ свой холодный и бездушный эгоизмъ, замѣнивъ стараго крѣпостника новымъ продуктомъ экономическихъ условій—современнымъ кулакомъ. Это новѣйшее дѣтище нашего времени и нашего поколѣнія еще далеко не разцвѣло во всей своей прелести, но обѣщаетъ уже богатые плоды въ будущемъ. „Міроѣдскихъ дѣлъ мастера“ ведутъ съ „обывателемъ“ войну еще непра-

вильную, неорганизованную, партизанскую. „Кто смѣлъ, тотъ и съѣлъ“, говорить русская пословица о такомъ положеніи вещей. Но эта самая неправильность, несистематичность войны „міроѣдовъ“ противъ „міра“ и вызываетъ на нѣкоторыя печальныя размышленія. Личныя качества Антошки-хриstopродавца и притомъ качества отвратительныя—вотъ наиболѣе важный у насъ факторъ для процесса наживы. Кто наглъ, у кого нѣтъ совѣсти, кто за грошъ продастъ ближнихъ своихъ, у кого сильно развиты волчьи инстинкты — тотъ и болѣе другихъ выигрываетъ въ партизанской войнѣ изъ-за наживы. За русскаго буржуа у насъ механизмъ общественной эксплуатаціи пока не работаетъ. Съ этой точки зрѣнія не трудно понять различіе между русскимъ буржуа и буржуа западно-европейскимъ. Понятны и слова г. Щедрина (см. его „Finis Monreпо“): „Въ послѣднее время русское общество выдѣлило изъ себя нѣчто на манеръ буржуазіи, т. е. новый культурный слой, состоящій изъ кабатчиковъ, процентчиковъ, желѣзнодорожниковъ, банковыхъ дѣльцевъ и прочихъ казнокрадовъ и міроѣдовъ... Это ублюдки вѣрнопостного права, выбивающіеся изъ всѣхъ силъ, чтобы возстановить оное въ свою пользу, въ формѣ менѣе разбойнической, но несомнѣнно болѣе воровской“ (стр. 129). Но, прибавляетъ г. Щедринъ, — „это совсѣмъ не тотъ буржуа, которому удалось неслыханнымъ трудолюбіемъ и пристальнымъ изученіемъ професіи (хотя и не безъ участія кровопійства) завоевать себѣ положеніе въ обществѣ; это просто праздный, невѣжественный и притомъ лѣнивейшій забулдыга, которому, благодаря простой случайности, удалось уйти отъ каторги и затѣмъ слопать кишасія вокругъ него массы „рохлей“, „ротозѣевъ“, „дураковъ“ (стр. 134). Нашъ буржуа не любитъ пускаться въ ходъ разныхъ благородныхъ „фикціи“ о свободѣ, о правдѣ, о человѣческомъ достоинствѣ, которыми западно-европейскій буржуа умѣетъ производить по временамъ выгодный для него эффектъ. Нашъ „новоявленный буржуа“, нашъ „чумаый человѣкъ“, обладаетъ иными качествами. „Ахъ, тѣмъ-то вѣдь и дорогъ „чумаый человѣкъ“, восклицаетъ съ ироніей сатирикъ, — что, имѣя его подъ рукой, обо всѣхъ вообще фикціяхъ навсегда можно забыть, и нисколько не будетъ совѣстно. Ему ни „общество“, ни „отечество“, ни „правда“, ни „свобода“—ничто ему доподлинно неизвѣстно. Ему извѣстенъ только грошъ,—ну, и пускай онъ надѣлаетъ изъ него пятаковъ“ (стр. 179).

Послѣднія статьи г. Щедрина въ лежащей предъ нами книгѣ носятъ характеръ публицистическихъ произведеній. Сфера явленій, захватываемыхъ г. Щедринымъ, представляетъ не малый интересъ для мыслящаго человѣка. Это—рожденіе своеобразно-русскаго tiers-état со всѣми присущими ему явленіями. Въ числѣ этихъ

явленій немаловажную роль играетъ какъ фактъ „кровопивства“ и „обездоливанія“ русскаго народа новоявленными буржуа, такъ и безсильная борьба хилаго, отживающаго свой вѣкъ дворянства со „сворой“ этихъ рыцарей новаго времени. А свора ихъ при самомъ своемъ появленіи на историческихъ подмосткахъ невольно наводитъ грусть на наблюдателя. Вы только „представьте себѣ эту неусыпающую свору, въ которой отнятіе перемѣшано съ прелюбодѣяніемъ и терзаніемъ пирога. Осуществите ее въ цѣлой массѣ лицъ, искаженныхъ жаждой любостыжанія и любострастія, заставьте этихъ людей метаться, рвать другъ друга зубами, срамословить, свальничать, убивать, и, въ довершеніе всего, киньте куда-нибудь въ уголь или на хоры горсть шутовъ-публицистовъ, умиленно поющихъ имъ гимны, и намъ хотѣлось-бы отъ этой своры бѣжать. „Но куда бѣжать?“ (стр. 187) — такъ вопрошаетъ въ „Предостереженіи“, посвященномъ „кабатчикамъ, мѣняламъ, подрядчикамъ, желѣзнодорожникамъ и прочихъ міроѣдскихъ дѣлъ мастерамъ“, „оставной корнетъ Прогорѣловъ, нѣкогда крѣпостныхъ дѣлъ мастеръ, впоследствии оголтѣлый землевладѣлецъ, а нынѣ пропащій человекъ“, отъ лица котораго и ведется рѣчь. Весь рядъ статей, помѣщенныхъ г. Щедринымъ въ „Отечеств. Запискахъ“ 1879 г. и собранныхъ теперь во-едино подъ заглавіемъ „Убѣжище Моврепо“, представляетъ собою въ нѣкоторомъ родѣ исповѣдь-дневникъ этого самаго „пропащаго человека“, изъ разряда, однако, такихъ *si-devant* крѣпостныхъ дѣлъ мастеровъ, которые „грамотны, Грановскаго слушали, Бѣлинскаго читали, восторгались, трепетали отъ умиленія“ (стр. 200). „Исповѣдь-дневникъ“, говоримъ мы; это съ одной стороны, когда становишься на субъективную точку зрѣнія „оголтѣлаго землевладѣльца“, который описываетъ рядъ чувствъ, возбуждаемыхъ въ немъ явленіями новообразующейся формации жизни. Но, какъ обыкновенно, сатира г. Щедрина и въ данномъ случаѣ имѣетъ еще другую сторону. Ряду субъективныхъ явленій въ зеркалѣ-личности соответствуетъ рядъ объективныхъ явленій въ самой жизни. Этотъ послѣдній рядъ, взятый въ его цѣломъ, выражаетъ упомянутый уже нами процессъ нарожденія русской буржуазіи въ главныхъ его фазахъ. Отдѣльныя статьи, изъ которыхъ составилась разсматриваемая нами книга, такъ расположены и такъ тѣсно примыкаютъ одна къ другой, что, перечитывая послѣдовательно одну страницу книги за другой, вы видите, какъ передъ вашими глазами русское общество переходитъ со ступени на ступень по пути къ желанному режиму русской специфичной буржуазіи съ ея идоломъ — мѣднымъ грошею, изъ котораго она, по выраженію г. Щедрина, можетъ надѣлать пятаковъ. Въ „общемъ обзорѣ“, напр., въ первой статьѣ „Убѣжища

Монрепо“, рисуется положеніе почти всѣми забытаго, потерявшаго свое значеніе, прежняго „барина“. Монрепо—его теперешнее помѣстье, гдѣ онъ старается по возможности, оковавшись отъ міра сего, проводить дни свои болѣе въ разнообразныхъ мечтаніяхъ и прогулкахъ по аллеямъ, чѣмъ въ хозяйственныхъ занятіяхъ. Подобное рѣшеніе „барина“ вполне логично съ его стороны. Взлелѣянный въ мягкой люлкѣ крѣпостнаго права, онъ не приспособился къ борьбѣ среди новыхъ нарождающихся условій жизни, которую всего лучше можно охарактеризовать выраженіемъ Гобса „bellum omnium contra omnes“. У него (конечно, у „барина“, а не у Гобса) куры не несутся, коровы не телятся, работникъ еле царапаетъ землю. Рядомъ съ нимъ, у юнаго отпрыска російскаго кулака Разуваева, все идетъ, какъ по маслу, изобиліе плодовъ земныхъ, изобиліе приплода у скота. Работникъ поставленъ въ невозможность царапать землю и т. д., и т. д., И вотъ въ то время, какъ сама жизнь, проводитъ назойливо предъ умственными очами „культурнаго человѣка“ эту параллель, онъ невольно приходитъ къ мысли, что онъ теперь какой-то совсѣмъ ненужный винтъ въ современномъ механизмѣ жизни. Бросить хозяйство разъ навсегда, завести для безхлопотной жизни маленькую усадьбу и угаснуть поменьку тамъ—вотъ къ какому тихому пристанищу стремится бывшій столбъ отечества, а теперь обнищавшій баринъ.“ Однако, мирнаго обитателя Монрепо, вмѣсто радостныхъ и печальныхъ хозяйственныхъ тревоженій, посѣщаютъ тревоженія особаго сорта („Тревоги и радости Монрепо“.) Мирное хожденіе по аллеямъ и мирныя думы о мирныхъ вещахъ прерываются событіемъ первостепенной важности. Въ деревню, по близости отъ которой пріютилось Монрепо, переводятъ квартиру станового пристава. „Баринъ“, читавшій Бѣлинскаго, восхищавшійся Грановскимъ, занимался когда-то „филантропіями“ и высказывалъ вольнодумныя соображенія вродѣ того, наприм., что „свобода есть драгоцѣннѣйшій даръ Творца“. Правда, онъ присовокуплялъ къ сему опасному афоризму, что свобода „легко можетъ перейти въ анархію, ежели не обставлена: въ настоящемъ—уплатой оброковъ, а въ будущемъ—взносомъ выкупныхъ платежей“ (стр. 50), но все-таки, узнавши, что въ настоящее время „маршировка“ уступила мѣсто „сердцевѣденію“, каковымъ специально занимаются становые приставы и прочіе, и прочіе, онъ съ трепетомъ ждалъ прибытія въ окрестности Монрепо станового пристава. Разговоры съ мѣстнымъ сельскимъ батюшкой не могли утѣшить обитателя Монрепо, ибо первый съ сильнымъ неодобреніемъ отнесся къ минувшимъ „филантропіямъ“ культурнаго человѣка, въ особенности къ недостатку почтенія предъ кабатчикомъ: „от-

кровенно вамъ доложу, говорилъ батюшка, — на вашемъ мѣстѣ я бы кабатчиковъ не трогаль. — Почему бы не трогаль? — А потому, сударь, что кабатчики, по нынѣшнему времени, есть столпы. Прежде были столпы — помѣщики, а нынче столпы — кабатчики. Поэтому я бы и не трогаль ихъ“ (стр. 50). Послѣ долговременныхъ экспериментовъ сердцевѣденія, произведенныхъ надъ обитателемъ Монрепо, Миліемъ Васильевичемъ Граціановымъ, прибывшимъ сюда въ качествѣ становаго пристава, „оголтѣлый землевладѣлецъ“ остается, наконецъ, въ покоѣ, какъ непроявившій несомнѣнныхъ признаковъ неблагонадежности. Такимъ образомъ, тревоги въ Монрепо смѣняются успокоеніемъ. И вотъ, выведенный на нѣкоторое время изъ состоянія душевнаго равновѣсія, культурный человѣкъ снова возвращается къ своему обычному времяпрепровожденію, хожденію по аллеямъ и процессу всевозможнаго рода мечтаній. Гуляетъ и мечтаетъ. Мечтаетъ обо всемъ: о болгарской конституціи, о благоденствіи Россіи, о томъ, какъ бы хорошо было, еслибъ мужикъ русскій, говоря стихомъ Державина, — „ѣль добры щи и пиво пиль“. Затѣмъ все остальное приложится (стр. 110). „Мечтанія и прогулки по аллеямъ, удаленіе отъ будничныхъ заботъ производятъ на обитателя Монрепо свое дѣйствіе. У него рождается мысль о медленномъ и „непостыдномъ“, сладкомъ умираніи. Такимъ образомъ, просто Монрепо превращается въ Монрепо — усыпальницу“.

Но паралельно съ тѣмъ, какъ „пропащій человѣкъ“ все болѣе и болѣе удаляется въ себя, выбрасываемый за бортъ нахлынувшей волной новой жизни, эта самая волна ставитъ прочно на ноги „бывшаго халуя“, а нынѣ купца Разуваева. Онъ изо всѣхъ силъ старается купить у отживающаго свой вѣкъ барина Монрепо со всѣми хозяйственными угодьями, справедливо полагая, что для непостыднаго и мирнаго умиранія достаточно барину имѣть маленькую усадьбу съ „двумя-тремя десятинками земли, пяточкомъ курочекъ и т. п.“. Самъ владѣтель Монрепо, сначала и слышать не хотѣвшій о продажѣ своего гнѣзда, привыкаетъ, наконецъ, къ мысли о необходимости его отчужденія и отыскиванія себѣ усадьбы съ двумя-тремя десятинками земли. „Я знаю (начинаетъ разсуждать отживающій свой вѣкъ „крѣпостныхъ дѣлъ мастеръ“), что жизнь сосредоточивается теперь въ окрестностяхъ питейнаго дома, въ области объегориванья, среди Осѣмушниковыхъ, Ковыряевыхъ и прочихъ столповъ; я знаю, что на нихъ покоятся всѣ упованія, что съ ними дружить все, что не хочетъ знать иной почвы, кромѣ непосредственно-дѣловой. Я знаю все это и не протестую. Я недостойнъ жить и умираю“ (стр. 153). Наконецъ, послѣдняя тѣнь сопротивленія „пропащаго человѣка“ желанію Ра-

зуваева купить у него Монрепо исчезает... „Finis Монрепо...“ Ote toi, que je m'y mette! — и вот Разуваевы занимают мѣсто „пропащихъ людей“. Но и оставшіеся въ живыхъ „пропащіе люди жмутся и ждуть... Они знаютъ, что именно на нихъ-то Разуваевы прежде всего и обрушатся, дабы впослѣдствіи уже безъ помѣхи производить опыты упрощеннаго кровопивства, по неотразимость факта до того ясна, что, оголтѣлымъ, имъ даже на мысль не приходитъ обороняться отъ нихъ“ (стр. 177). Новое, болѣе жизненное сословіе смѣняетъ мѣсто стараго. Послѣ кратковременнаго періода „безтолбія“, „охранители“ и „шуты-публицисты“ обрѣли, наконецъ, вмѣсто старыхъ столповъ изъ дворянскаго сословія столпъ новый: это — „чумазаго человѣка“. „Чумазый человѣкъ“, по мнѣнію охранителей и публицистовъ, призванъ укрѣпить распатанныя за послѣдній до-реформенный періодъ „крѣпостныхъ дѣлъ мастерами“ основы собственности, семейственности и государственности. Не то думаетъ „пропащій человѣкъ“. Въ „предостереженіи“, посвященномъ старымъ столпамъ столпамъ новымъ, производится анализъ того, какъ понимаютъ основы Разуваевы, и дѣлается тотъ выводъ, что ничего-то кабатчики, мѣнялы и желѣзнодорожники утвердить не могутъ. Единственно чѣмъ характеризуется ихъ прибытіе, это — расширеніемъ процесса обездоленія. Параллель, проводимая авторомъ „Предостереженія“, корнетомъ Прогорѣловымъ, между обездоленіемъ, производившимся прежними столпами и столпами новыми, ясно гласитъ о томъ, что теперешнее обездоленіе оставляетъ и будетъ оставлять далеко за собой обездоленіе, практиковавшееся прежде. „Пропащій человѣкъ“ ясно видитъ неизбѣжность наступленія разуваевскаго періода и желаетъ, въ качествѣ субъекта, отжившаго свой вѣкъ, преподать новому „дирижирующему классу“ нѣсколько полезныхъ наставленій насчетъ необходимости хоть сколько-нибудь любить отечество, любить присныхъ и, по крайности, если не быть, то хоть казаться мало-мальски порядочнымъ человѣкомъ...

Наука и ученые люди въ русскомъ обществѣ. (По поводу толковъ, возбужденныхъ г. Михайловскимъ и проф. Цитовичемъ). Соч. П. Милославскаго. Второе изданіе. Казань, 1879.

Извѣстно, что господа ученые мужи взяли уже давно себѣ патентъ на деревянно-безстрастное отношеніе ко всему тому, что въ обыкновенныхъ людяхъ вызываетъ чувство любви или ненависти.

Почему это такъ—мы объяснять не станемъ, но фактъ на лицо! Олимпійство и „сердцемъ хладное скопчество“—вещи, безъ которыхъ заправскимъ ученымъ трудно обойтись. О своей деревянности, вмѣняя ее себѣ въ похвалу, господа ученые любятъ кричать вездѣ, и на стогнахъ, и на торжищахъ, бѣя себя въ перси и производя инныя приличествующія случаю гѣлодвиженія. Такъ-какъ лежащая предъ нами брошюра сочинена однимъ изъ ученыхъ и даже отпечатана въ типографіи высшаго храма науки („казанскаго университета“, какъ значитъ на оберткѣ), то мы, естественно, заранѣе могли ожидать, что увѣреніе въ своемъ деревянно-объективномъ отношеніи къ людямъ и вещамъ будетъ составлять одно изъ главныхъ стремленій составителя брошюры. Эпиграфомъ къ своей брошюрѣ г. П. Милославскій избралъ изрѣченіе Спинозы на латинскомъ діалектѣ: „Curavi humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestare, sed intelligere“. Для читателей, непосвященныхъ въ таинства сладкозвучнаго языка древнихъ римлянъ, мы замѣняемъ эту фразу въ вольномъ русскомъ переводѣ такъ: „А по мнѣ—наплевать на все!“ На самомъ же дѣлѣ изрѣченіе Спинозы гласитъ: „Я старался не смѣяться надъ человѣческими дѣйствіями, не оплакивать ихъ, не презирать, но понимать...“ Вотъ мы и были вполне увѣрены, что наивное, а, можетъ быть, и злостное кокетство объективизмомъ будетъ составлять главный фонъ статьи казанскаго публициста. Однако, сей-часъ же наша увѣренность поколебалась.

На обложкѣ, кромѣ заглавія и эпиграфа, было пропечатано въ скобкахъ еще извѣщеніе о томъ, что эта брошюра написана „по поводу толковъ, возбужденныхъ г. Михайловскимъ и проф. Цитовичемъ“. Затрогивается, значитъ, вопросъ, интересующій общество. Стали мы читать брошюру. Суть ея заключается въ перифразѣ извѣстнаго изрѣченія Бѣлинскаго о томъ, что въ „Россіи до Пушкина были поэты, но не было поэзіи“. Г. П. Милославскій полагаетъ съ своей стороны, что „въ нашемъ отечествѣ много развитыхъ и ученыхъ людей, но развитія и науки очень мало; а что всего важнѣе, образованное общество, повидимому, этого не сознаетъ“ (стр. 6). Развивая свою основную мысль, г. Милославскій приходитъ къ заключенію, что мы все перенимаемъ отъ западно-европейцевъ, что мы хотя и въ состояніи „понять“ всѣ умныя вещи, которыя открыты западно-европейскими учеными; но сами „двигать науку“ мы не двигаемъ. Наука въ нашихъ глазахъ является, по мнѣнію почтеннаго автора, только совокупностью знаній, но изъ нея выжата у насъ ея квинт-эссенція: это — самостоятельный трудъ мысли. Авторъ такъ-таки прямо и выражается: „русское образованное общество, съ своей точки зрѣ-
„Дѣло“, № 1, 1880 г.

ніа на науку и развитіе, только *хладнокровно* (курсивъ принадлежитъ намъ) собираетъ, суммируетъ данныя, прививаетъ къ свѣденію, сомнѣвается и отрицаетъ, какъ это принято, *но не борется, не волнуется, не движется своимъ собственнымъ умомъ и сердцемъ*" (стр. 31)... Ну, хорошо-съ, г. Милославскій. Только скажите, пожалуйста, вотъ что: неоднократно въ своей брошюрѣ вы развиваете, какъ, между прочимъ, видитъ читатель изъ приведенной цитаты, мысль, что мы ограничиваемся только „пониманіемъ“, а не влагасмъ въ „пониманіе“ элемента страстности, волненія. Эпиграфъ, красующійся на обложкѣ вашей брошюры, говоритъ совсѣмъ иное: „понимайте, милые люди, понимайте, но смѣяться, плакать, презирать, словомъ, волноваться—ни Боже мой!“ Что сей сонъ значить, т. е. что значить смыслъ этого эпиграфа? Значить-ли онъ то, что русское общество, относясь, по вашему мнѣнію, слишкомъ хладнокровно къ изучаемымъ явленіямъ и ограничиваясь только процессомъ пониманія, является во всемъ своемъ составѣ образцовымъ ученикомъ Спинозы, т. е. „сердцемъ хладнымъ скопцомъ“?—Но въ такомъ случаѣ ученому человѣку нечего обижаться на этотъ общественный объективизмъ! Или же вашъ эпиграфъ обязателенъ лишь для ученыхъ, для простыхъ-же смертныхъ онъ, что называется, не по Сенъкъ—шапка. Но въ такомъ случаѣ, по моему мнѣнію, надъ вашей брошюрой слѣдовало бы проставить въ заголовкѣ другой эпиграфъ: „quod licet Iovi, non licet bovi“!.. Итакъ, что же разумѣть подъ вашимъ эпиграфомъ? Ну, пусть этотъ вопросъ будетъ вопросомъ открытымъ. Теперь пойдемъ далѣе. Отчего русское общество только: „понимаетъ“ чужую науку, а не „двигаетъ“ ея самостоятельно? По мнѣнію г. Милославскаго, оттого, что общественное сознаніе русскихъ имѣетъ ложный, „формальный“ взглядъ на науку (см. стр. 21 и др.). Отчего же общественное сознаніе имѣетъ такой ложный взглядъ на науку? Оттого, что у насъ общественное сознаніе плохо. А отчего это сознаніе плохо? Да оттого, видите-ли, что у насъ до сихъ поръ наука мало „двинута“ впередъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь „такъ или иначе общественное сознаніе имѣетъ значеніе, какъ плодъ предшествовавшаго развитія и сѣмя послѣдующаго“ (стр. 10), и, кромѣ того, общественное сознаніе имѣетъ своимъ „источникомъ“ „науку“. Но науки у насъ нѣтъ, какъ уже сообщилъ г. Милославскій. Слѣдовательно, у насъ общественное сознаніе плохо потому, что нѣтъ науки; у насъ нѣтъ науки потому, что плохо общественное сознаніе... Передъ нами *circulus vitiosus*! Какъ же изъ него выбраться? О, очень просто: стоять только обругать журналистику, что и требовалось доказать. Г. Милославскій дѣйствительно принимается за отдѣлываніе журналистики, но прини-

мается, надо отдать ему справедливость, очень прилично, не то что какой-нибудь пылкій профессор южнаго университета, настолько прилично, что даже отвѣшивает почтительный поклонъ покойному Писареву. Какъ бы то ни было, но журналистика предъ г. Милославскимъ сильно провинилась. Она, видите-ли, портитъ вкусъ въ обществѣ къ заправской наукѣ, „угождая ей же самой созданнымъ вкусамъ общества“, да притомъ — о, ужасъ! — дѣлаетъ „упрекъ представителямъ мундирной науки, почему они еще держатся за свою науку и не преподають, вмѣстѣ съ журналами, ту, которая правится публикѣ“ (стр. 25). Ваша ученая воля говорить, что хотите, г. профессоръ, но во всякомъ случаѣ я не могу понять, въ какомъ отношеніи находятся въ вашемъ мозгу три величины, именно: общественное сознаніе, наука и журналистика. По моему мнѣнію, видите-ли, не дѣло журналистики снабжать разнообразными специальными знаніями общество, — на то есть школа, есть солидная ученая литература, есть академіи и ученые общества. Дѣло журналистики способствовать выработкѣ въ читателѣ извѣстнаго *направленія*, а, стало быть, выработкѣ того страстнаго отношенія къ изучаемымъ явленіямъ, на недостатокъ котораго въ русскомъ обществѣ вы сами-же жалуетесь. Зачѣмъ-же обвинять журналистику въ неисполненіи того, чего она вообще не должна и не имѣть возможности исполнить? Хорошо еще, что вы, г. Милославскій, дѣлаете это хоть прилично, не гикая, не свистя, не наѣздничая и не глумясь окончателно надъ журналистикой. Право, не мѣшало бы ученымъ людямъ имѣть побольше скромности: вѣдь еще сомнительно, кто больше сдѣлалъ добра русскому обществу, русская-ли журналистика или русская наука!.. Но позвольте... Сейчасъ мнѣ показалось, что я отгадалъ настоящее значеніе эпитафиа „Науки и ученыхъ людей въ русскомъ обществѣ“. Г. Милославскій хотѣлъ, надо полагать, выразить этимъ эпитафиаомъ свое безпристрастное отношеніе къ журналистикѣ. Если это такъ, мы скажемъ, что, во-первыхъ, онъ не успѣлъ достигнуть этого, а, во-вторыхъ, и напрасно задавался этой благой цѣлью. Можете не относиться безстрастно-холодно къ журналистикѣ, но относитесь только прилично

Обзоръ класныхъ помѣщеній въ семьѣ и школѣ. Рѣчь, произнесенная 13 декабря 1876 г. на годичномъ актѣ аренбургской гимназіи старшимъ преподавателемъ, І. В. Гольцмайеромъ. Съ приложеніемъ. Перев. съ нѣмецкаго. Спб.

Рѣчь г. Гольцмайера проникнута благими намѣреніями дать подрастающимъ поколѣніямъ возможность запасться знаніями, не разстроивши продолжительнымъ сидѣніемъ въ школѣ здоровья. Парализовать вредныя послѣдствія долгихъ школьныхъ занятій возможно, по мнѣнію г. Гольцмайера, во-первыхъ, благопріятной гигиенической обстановкой учебныхъ комнатъ; во-вторыхъ, введеніемъ въ школу въ широкихъ размѣрахъ гимнастическихъ упражненій съ учащимися. Противъ перваго пункта намъ, разумѣется, возражать нечего; что же касается втораго, то занятію гимнастикой мы, лично, предпочли бы занятіе воспитанниковъ физическимъ трудомъ. Однако, гг. патентованные педагоги смотрятъ на это иначе: физическій трудъ, вѣдь это—фи! моветонъ; гимнастика же—благородное упражненіе, которое раздѣляютъ съ нами древніе греки и римляне. У насъ даже явился, кажется, года два-три тому назадъ, какой-то ученый гимнастъ, который устно и письменно распинался за необходимость гимнастическихъ упражненій... для кого? Угадайте, читатель! Для рабочихъ (sic!). Послѣ 14—16-часового въ день однообразнаго механическаго труда гимнастика должа была, по мнѣнію этого ученаго *chevalier servan't'a*, производить ни вѣсть какое благотворное вліяніе на истомленные члены Петровъ и Сидоровъ. Г. Гольцмайеръ, въ свою очередь, приписываетъ гимнастикѣ чуть-ли не то чудесное воздѣйствіе на человѣка, которое производила знаменитая въ древности Силоамская купель: отъ погруженія въ нее безногіе начинали ходить, слѣпые—зрѣть и т. п. Немудрено, что изъ 64 страничекъ лежащей передъ нами книжки только 34 странички заключаютъ въ себѣ „умозрѣнія“ г. Гольцмайера. Остальныя 30 страницъ содержатъ описаніе разныхъ гимнастическихъ фокусъ-покусовъ. Не научившись еще писать рецензію о „поворотахъ направо и налево“, „позиціяхъ къ бою“ и тому подоб. вещахъ, мы по-неволѣ должны ограничиться умозрительною частью гольцмайеровскаго „сочиненія“. Эта часть не лишена мѣстами вѣрныхъ, но до крайности избитыхъ истинъ вродѣ того, напримѣръ, что дѣтей не нужно черезчуръ обременять умственнымъ трудомъ; вообще-же переполнена массою курьезовъ. Встрѣчаются замѣчательные образцы ерунды. Возьмемъ на-удачу одинъ изъ такихъ образцовъ: автору при самомъ началѣ своей рѣчи пришло въ голову

изобразить историческое развитіе школы. Изобразилъ онъ это развитіе на двухъ страничкахъ. Но, Боже мой, какъ онъ изобразилъ и къ какимъ выводамъ пришелъ! Уму непостижимо! Прежде воспитаніе и обученіе дѣтей было домашнимъ—вотъ исходная точка г. Гольцмайера. Затѣмъ „въ мѣстностяхъ, гдѣ народонаселеніе гуще, преимущественно въ городахъ, нашли возможность устранить этотъ недешевый и во многихъ отношеніяхъ неудобный способъ воспитанія юношества“ (стр. 5). Какимъ-же манеромъ? спрашиваете вы.—„О, очень простымъ, отвѣчаетъ г. Гольцмайеръ:—для этой цѣли устроили помѣстительную, общую для всѣхъ домовъ, комнату, которая въ *дѣйствительности* (это что такое?) *должна была принадлежать каждому изъ нихъ въ отдѣльности* и на которую слѣдуетъ смотрѣть, какъ на *пристройку ко всякому отдѣльному дому* (извините, почтенный г. Гольцмайеръ! „слѣдуетъ“ или „не слѣдуетъ“, но я никакъ не могу себѣ представить какую-нибудь классическую или реальную гимназію и т. п. въ видѣ „пристройки ко всякому отдѣльному дому“, гдѣ живутъ ученики).. Такимъ образомъ, выходитъ, что *школа составляетъ часть домашняго очага*, въ которомъ, вмѣсто личности отца, фигурируетъ его намѣстникъ, учитель, способствующій тѣлесному, душевному и нравственному развитію его дѣтей“ (стр. 5).. До сихъ поръ идетъ историческая сторона школьнаго дѣла. Теперь начинается, такъ сказать, догматическая. Изъ двухъстраничной исторіи школы дѣлаются выводы. Ограничимся только двумя: „1) Принятый обычай считать школу, какъ нѣчто, совершенно отдѣльное отъ семьи, положительно ошибоченъ. 2) Выясняется необходимость внушенія дѣтямъ уважать учителя и смотрѣть на него, какъ на своего отца“ (ibid.)... Довольно. Если исторія школы нужна была „старшему преподавателю“, г. Гольцмайеру, только за тѣмъ, чтобы внушить ученикамъ „необходимость уважать“ его, г. Гольцмайера, „и смотрѣть на него, какъ на своего отца“, то, разумѣется, мы ни словечка не скажемъ противъ гольцмайеровскихъ „исторій“ школы, боясь дотронуться до уваженія къ г. Гольцмайеру его учениковъ. Что-же касается перваго члена гольцмайеровскаго символа вѣры, въ которомъ семья и школа „два во едино есть“, то мы замѣтимъ, что „старшій преподаватель“ — большой идиликъ, считающій за *дѣйствительность желательное*. Развѣ г. Гольцмайеръ не знаетъ, что въ школѣ преподается очень часто то, чего не желаютъ родители учениковъ, и развѣ можно считать семью и школу чуть-ли не однимъ и тѣмъ-же? Нѣтъ ужъ лучше, г. Гольцмайеръ, воспѣвайте вы гимнастику и не трогайте школьнаго вопроса въ его человѣческомъ смыслѣ.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Отчетъ государственнаго контроля и рѣчь министра финансовъ.—Отношеніе печати къ дѣйствіямъ финансоваго управленія.—Причины блистательнаго выполненія росписи на 1878 г.—Долги и поступления.—Педонки, какъ выраженіе податной неспособности.—Попытка земства для новаго разрѣшенія земледѣльческаго вопроса.—Какъ туго зрѣютъ земскія мысли.—Гг. Оленинъ, Туркестановъ, Детловъ и московское губернскае земское собраніе въ качествѣ защитниковъ разныхъ отсталыхъ мыслей.—Проектъ новгородскаго земства.—Законъ, управляющій развитіемъ агрикультурныхъ формъ.—Удастся-ли московскому земству заставить народъ думать со втораго шага, не сдѣлавъ перваго?—Въ какой формѣ наметился самъ собою вопросъ о расширеніи крестьянскаго землевладѣнія?

Въ концѣ декабря явился въ газетахъ отчетъ государственнаго контроля за 1878 годъ и рѣчь министра финансовъ, произнесенная имъ 14 декабря, въ засѣданіи совѣта государственныхъ кредитныхъ установленій.

Отношеніе нашей печати и къ отчетамъ государственнаго контроля, и къ государственнымъ росписямъ, составляемымъ ежегодно министерствомъ финансовъ, совсѣмъ иное, чѣмъ отношеніе заграничной прессы къ дѣйствіямъ европейскихъ финансовыхъ учреждений. Въ западной Европѣ печать образуетъ посредствующее звено между общественнымъ мнѣніемъ и финансовыми органами государствъ. Между тѣми и другими существуетъ зависимость и связь и они образуютъ нѣчто цѣльное и взаимно необходимое. Отношенія нашей печати къ нашему финансовому управленію настолько же скромнѣе, насколько скромнѣе значеніе нашего общественнаго мнѣнія и дѣятельное участіе общества въ государственномъ хозяйствѣ. Мы не вышли бы изъ предѣловъ истины, еслибы прибавили, что наше финансовое управленіе могло бы и вовсе обойтись безъ оцѣнки его

дѣятельности печатью или ознакомленія съ нею общества. Финансовое управленіе составляетъ у насъ независимое и замкнутое въ себѣ учрежденіе, дѣйствующее на основаніи преподанныхъ ему правилъ и потому стоящее внѣ всякой необходимости пользоваться какими-бы то ни было другими внѣшними указаціями. Если оно публикуетъ свои отчеты и печатаетъ объяснительныя къ нимъ рѣчи главы финансоваго управленія, то въ этомъ и печать, и общественное мнѣніе должны видѣть извѣстную долю уваженія къ нимъ, но которое, впрочемъ, не особенно было бы нарушено и полнымъ молчаніемъ министерства. Только подобной уступкой и слѣдуетъ объяснять, почему отчетъ государственнаго контроля и отчетъ министра финансовъ являются преимущественно въ такой формѣ, которая дозволяетъ лишь *общее*, генеральное знакомство съ мѣропріятіями финансоваго управленія. Этому общему ставится извѣстная граница, за предѣлы которой, т. е. туда, гдѣ оказывалась бы возможной специальная оцѣнка частныхъ, глазъ печати и общественнаго мнѣнія проникнуть уже не можетъ. Понятно, что и отношеніе печати къ дѣятельности министерства финансовъ можетъ быть тоже только общимъ и преимущественно констатирующимъ; всякое же другое оказалось бы неимѣющимъ практической почвы.

Отчетъ государственнаго контроля относится къ 1878 году, т. е. къ финансовымъ фактамъ, бывшимъ два года назадъ. Интересъ этихъ фактовъ значительно поблекъ уже потому, что послѣ войны общество ожидало разныхъ финансовыхъ улучшеній. Въ этой надеждѣ его укрѣпила еще больше прошлогодняя поѣздка министра финансовъ для ознакомленія съ нуждами промышленности и торговли и слухи о предпринимаемыхъ будто бы министерствомъ финансовъ мѣрахъ для улучшенія русской валюты. Въ силу этого отчетъ государственнаго контроля за 1878 годъ и рѣчь министра финансовъ, обнимающая факты того же періода, получаютъ характеръ какъ бы финансоваго преданія. Общество ждетъ отъ министерства финансовъ чего-то новаго, что должно бы явиться отвѣтомъ на ожиданія, возникшія уже послѣ войны.

Изъ рѣчи министра финансовъ видно, что къ 1878 году было записано въ государственную долговую книгу срочныхъ и безсрочныхъ внутреннихъ и внѣшнихъ долговъ 88,318,000 голандскихъ гульденовъ, 46,468,500 фунтовъ стерлинговъ, 123,970,730 рублей металлическихъ, 774,667,404 рубля кредитныхъ.

Въ 1878 году внесено въ государственную долговую книгу 300,000,000 рублей кредитныхъ, срочныхъ 5% внутреннихъ долговъ.

Затѣмъ было погашено 1,871,000 голандскихъ гульденовъ, 720,000 фунтовъ стерлинговъ, 1,386,200 рублей металлическихъ и 5,940,971 рубль кредитныхъ.

Къ 1879 году осталось долговъ срочныхъ *внѣшнихъ* 86,447,000 голандскихъ гульд., 25,582,400 фунтовъ стерлинговъ, 11,922,500 рублей кредитныхъ. Безсрочныхъ *внѣшнихъ*: 19,166,100 фунт. стерлинговъ, 76,350,030 рублей металлическихъ, 50,670,115 руб. кредитныхъ. *Внутреннихъ домовъ* срочныхъ 806,862,550 рублей кредитныхъ (5%), 46,232,400 рублей металлическихъ (4%) и безсрочныхъ 199,271,268 руб. кред.

Изъ этихъ цифръ, можетъ быть нѣсколько подробныхъ для обыкновеннаго читателя, онъ усмотритъ, что сумма долговъ въ 1878 году увеличилась на 300,000,000 рублей кредитныхъ и уменьшилась на 17,182,391 рубль, такъ что увеличеніе составляетъ 282,817,609 рублей.

Кромѣ того, на государственномъ казначействѣ лежали еще слѣдующіе долги: билетовъ государственнаго казначейства или такъ-называемыхъ серій на 216,000,000 рублей. Количество серій осталось и въ 1878 году то-же. Нѣкоторымъ нумерамъ ихъ хотя и наступилъ срокъ погашенія, но они были замѣнены новыми на ту-же сумму. Кромѣ того, для покрытія чрезвычайныхъ расходовъ, вызванныхъ войною, выпущены три разряда краткосрочныхъ обязательствъ, въ 50,000,000 каждый. Наконецъ, имѣлся еще цѣлый рядъ долговъ, которые не были занесены въ государственную долговую книгу и которые къ 1879 году составляли 68,567,150 фунтовъ стерлинговъ и 340,626,384 рубля кредитныхъ.

Изъ дальнѣйшей рѣчи министра финансовъ видно, что министерство финансовъ считаетъ довольно значительные долги за обществами желѣзныхъ дорогъ, за нѣкоторыми промышленными обществами, за городами и частными лицами. Въ глазахъ читателя рябитъ цѣлый рядъ цифръ, но онъ остается въ недоумѣніи относительно финансовыхъ мѣропріятій, которыя могли бы явиться вслѣдствіе необыкновеннаго усиленія нашихъ внутреннихъ и внѣшнихъ долговъ. Въ этихъ цифрахъ нельзя, впрочемъ, не обратить вниманія на долги обществъ желѣзныхъ дорогъ. Казалось бы, наши общества желѣзныхъ дорогъ имѣютъ полную возможность вести свои дѣла успѣшно, а между тѣмъ даже самое богатѣйшее—главное общество российскихъ желѣзныхъ дорогъ, по ссудамъ, выданнымъ ему въ 1857, 1859, 1862, 1863 годахъ, никакой уплаты въ 1878 году не сдѣлало, хотя оно имѣло очень хорошій заработокъ. Точно такъ-же поступали и другія общества желѣзныхъ дорогъ, и въ рѣчи министра финан-

совѣ, при указаніи долговъ желѣзныхъ дорогъ, читается не разъ: «по симъ ссудамъ въ 1878 году уплатъ не было». Долги обществъ желѣзныхъ дорогъ казнѣ къ 1-му января 1879 года составляли 629,959,664 рубля металлическихъ и 313,098,833 рубля кредитныхъ. Еще печальнѣе, что въ трудный 1878 годъ долговъ подобнаго рода не убавилось, а, напротивъ, прибавилось на 125,224,784 рубля кредитныхъ. Въ числѣ этихъ ссудъ, считающихся миліонами, ссуды съ цѣлями промышленными фигурируютъ очень незначительными величинами. Напримѣръ, долги промышленныхъ обществъ для развитія производства желѣзнодорожныхъ принадлежностей составляютъ всего 4,789,041 руб. кредитныхъ или только одинъ процентъ того, что должны казнѣ общества желѣзныхъ дорогъ. Затѣмъ въ видѣ единицъ фигурируютъ ссуды по случаю пожаровъ и другихъ естественныхъ бѣдствій,—вѣроятно, тутъ-же значатся и ссуды по случаю неурожаевъ, т. е. пособія нуждающемуся деревенскому населенію.

Въ отчетахъ сберегательныхъ кассъ, т. е. такихъ учрежденій, куда несутъ свои вклады бѣдные, нуждающіеся люди, не усматривается особеннаго изобилія. Напримѣръ, въ самой богатѣйшей сберегательной кассѣ, петербургской, въ 1879 году осталось капитала съ процентами 3,144,489 рублей, въ московской—669,322 рубля. Во всѣхъ-же остальныхъ городскихъ сберегательныхъ кассахъ осталось къ 1879 году капитала съ процентами 3,569,266 рублей.

Изъ этого бѣглаго сопоставленія главныхъ цифръ результатовъ операцій государственныхъ кредитныхъ установленій читатель можетъ усмотрѣть, съ одной стороны, миліонныя затраты и выпуски для удовлетворенія неустранимыхъ надобностей государства по случаю войны и по другимъ причинамъ и подобныя же затраты средствъ казначейства на ссуды желѣзнодорожнымъ обществамъ, которыя не только не выплачиваютъ своихъ долговъ казнѣ, но и упорно требуютъ выдачи имъ гарантій; съ другой—необыкновенно слабое банковое участіе въ интересахъ той части населенія, промышленная дѣятельность котораго не имѣетъ акціонернаго характера. Нельзя не обратить при этомъ вниманія и на ту бережливость и мягкость, съ какой министерство финансовъ относится къ желѣзнодорожнымъ управленіямъ при взысканіи съ нихъ долговъ, сравнительно со способами, практикуемыми при взысканіи податей и недоимокъ. Еслибы долги эти могли быть взысканы сразу, то они оказались бы вполне достаточными для уплаты всѣхъ внутреннихъ правительственныхъ долговъ. Слѣдовательно, очевидно, что бремя, которое вносятъ въ наше финансовое хозяйство желѣзнодорожныя

управленія, падаетъ непосредственно на того-же самаго плательщика, который удовлетворяетъ и другимъ государственнымъ надобностямъ. Непосвященные въ подробности финансоваго управленія, мы, конечно, не беремъ на себя отвѣтственности за правильность этого заключенія и дѣлаемъ только тотъ выводъ, который возможенъ изъ огульныхъ цифръ, напечатанныхъ въ отчетѣ министра финансовъ.

Большій просторъ для выводовъ даетъ отчетъ государственнаго контроля. Отчетъ этотъ относится къ тому же 1878 году, о государственной росписи котораго мы говорили уже въ свое время. Роспись эта представляетъ, повидимому, весьма утѣшительную картину блестящаго выполненія ея болѣе чѣмъ съ 25-миліоннымъ излишкомъ дохода. По государственной смѣтѣ ожидался 28-миліонный дефицитъ, въ дѣйствительности же получилось приращеніе, и въ одинъ изъ такихъ тягостныхъ годовъ, когда его слѣдовало меньше всего ожидать. По государственной росписи поступило 625,973,000 рублей, а смѣтныхъ и сверхсмѣтныхъ расходовъ выполнено 600,000,000 рублей. Чрезвычайные расходы, вызванные войною, были покрыты чрезвычайными ресурсами, а такъ-какъ этихъ расходовъ было 408 миліоновъ, то общій итогъ расходовъ 1878 года составляетъ 1,008,510,000 руб.

Приращеніе доходовъ, помогшее выполнить такъ блистательно роспись, получилось по двумъ статьямъ: по таможеннымъ сборамъ и по питейному сбору. Таможенного сбора ожидалось по росписи 55,484,000 рублей, а въ дѣйствительности поступило 79,279,000 рублей. Питейнаго дохода ожидалось 192,980,000 руб., а получилось 213,000,000 рублей, т. е. противъ росписи таможенного дохода поступило болѣе на 23,795,000 рублей, а питейнаго на 20,015,000 рублей. При всякихъ иныхъ обстоятельствахъ результатъ этотъ можно было бы считать блистательнымъ, но годъ, о которомъ идетъ рѣчь, принадлежитъ къ годамъ ненормальнымъ и ненормальныя случайности его и повдѣляли на возвышеніе таможенного и питейнаго дохода. Увеличеніе таможенного дохода случилось потому, что съ 1877 года таможенные пошлины брались золотомъ. Разница въ цѣнѣ золота съ цѣною кредитнаго рубля и была главною причиною увеличенія таможенного дохода. Еслибы нашъ кредитный рубль упалъ еще больше, то настолько-же больше возвысился бы и таможенный доходъ. Увеличеніе питейнаго дохода слѣдуетъ приписать подобному же обстоятельству. Извѣстно, что война и созданныя ею колебанія въ заграничной торговлѣ вызвали усиленную дѣятельность нашихъ фабрикъ. Къ этому присоединился еще многомиліонный выпускъ новыхъ бумажныхъ денегъ. Эти два обстоятельства

создали искусственное оживленіе внутренней промышленности, не только фабричной, но даже и земледѣльской, которое и отразилось въ государственномъ бюджетѣ увеличеніемъ питейнаго дохода. Что именно это обстоятельство, а не возвышеніе народнаго благосостоянія было причиной бѣльшихъ расходовъ народа на вино, подтверждается не особенной успѣшностью взысканія за тотъ-же періодъ податей и недоимокъ. Успѣшная уплата податей всегда была и будетъ единственнымъ признакомъ состоятельности податнаго населенія. Между тѣмъ въ 1878 году податей хотя и получено больше, чѣмъ въ 1877, но меньше, чѣмъ въ предшествовавшіе годы. Незначительное повышеніе въ податномъ сборѣ, представляемое 1878 годомъ, едва ли слѣдуетъ считать признакомъ серьезнаго улучшенія экономическаго состоянія народа. Серьезнымъ же нельзя считать его потому, что по улучшенію быта народа не было предпринято никакихъ общихъ мѣръ и потому ясно, что избытокъ поступленія нужно объяснять какими-нибудь случайными или частными причинами. Въ этомъ заключеніи утверждаетъ и неравномѣрность возвышенія уплатъ по категоріямъ плательщиковъ. Такъ главную переплату произвели бывшіе государственные крестьяне; что-же касается крестьянъ бывшихъ удѣльныхъ и бывшихъ помѣщичьихъ, то сдѣланная ими переплата податей составляетъ совершенно ничтожную цифру. Напримѣръ, удѣльные крестьяне переплатили податей всего на 97,000 болѣе, а помѣщичьи на 200,000 болѣе. Что-же касается мѣщанъ, то они не доплатили до 50,000 руб.

Этому факту нельзя не придать довольно серьезнаго значенія, ибо онъ служитъ признакомъ неравномѣрности податной способности въ одномъ и томъ-же крестьянскомъ сословіи. Не изъ упрямства и не по дурнымъ побужденіямъ не платитъ крестьянинъ податей и накопляетъ на себѣ недоимки. Что нашъ крестьянинъ представляетъ въ этомъ отношеніи лучшаго плательщика въ мірѣ, мы можемъ привести слѣдующее доказательство. Основное начало податной системы заключается въ томъ, чтобы брать съ плательщика только то, что съ него слѣдуетъ получить за данный годъ. Между тѣмъ у насъ практикуется обычай взиманія податей въ зачетъ слѣдующаго года. При готовности платить даже впередъ, плательщикъ ужъ, конечно, не сталъ бы уклоняться отъ взносовъ текущихъ, еслибы имѣлъ возможность ихъ выполнить. Можно поэтому признать справедливымъ заключеніе, что если государственные крестьяне произвели бѣльшую переплату сравнительно съ крестьянами удѣльными и бывшими помѣщичьими, а мѣщане не доплатили 50,000, то это значитъ, что государственные крестьяне находились въ лучшемъ положе-

ніи для возможности уплаты, а удѣльные и помѣщичьи—въ худшемъ; что-же касается мѣщанъ, то ясно, что экономическое положеніе, въ которомъ они находились, ставило ихъ лишь въ одну возможность—накопить на себѣ новую недоимку.

Недоимка—наше самое больное мѣсто и въ то-же время чисто-русская специальная особенность. Въ сущности, недоимка есть выраженіе податной неспособности платящаго населенія, минусъ его силъ. Между тѣмъ счетъ недоимкамъ ведется у насъ изъ года въ годъ, къ прежнимъ минусамъ прибавляются новые и въ концѣ-концовъ получается громадный итогъ безнадежныхъ полученныхъ. Нѣкоторые изъ нихъ доходятъ до баснословнаго размѣра. Напримѣръ, за смоленской губерніей государственный контроль призналъ и утвердилъ долгъ въ $5\frac{1}{3}$ мил. рублей, за новгородской въ $2\frac{1}{2}$ мил. рублей, за черниговской въ $1\frac{1}{2}$ миліона. Эти безнадежные минусы, совершенно бесполезно переписываемые изъ года въ годъ, служатъ лишь указаніемъ на степень податного безсилія и экономической безысходности той или другой мѣстности.

Цифры, помѣщенные въ рѣчи министра финансовъ и въ отчетѣ государственнаго контроля, служатъ лучшимъ фактическимъ указателемъ, подтверждающимъ правильность тѣхъ попытокъ, которыя дѣлаетъ въ настоящее время русская мысль при опредѣленіи причинъ экономическаго неразвѣтія платящихъ сословій и мѣръ для возвышенія какъ податной способности народа, такъ и его средствъ производства. Нельзя сказать, чтобы русская мысль въ этомъ отношеніи шла впередъ особенно быстрыми шагами. Вѣроятно, по пословицѣ: «каждый самъ о себѣ, одинъ Богъ обо всѣхъ», каждый изъ насъ думаетъ усердно только о себѣ и о своихъ личныхъ дѣлахъ и затѣмъ наивно удивляется, что изъ этого усердія не выходитъ никакого толку. Лѣтъ пятнадцать назадъ русская публицистика уже предусматривала появленіе хищниковъ и только въ настоящее время, когда Разуваевы и Колупаевы положили русскую землю «пусту» и когда ихъ изобразили читающей публикѣ, такъ-сказать, въ художественномъ конкретѣ, публика начала что-то такое смекать, но въ сущности ничего не смекнула. Русскій югъ, владѣвшій когда-то дѣвственной почвой, на неизсякаемое плодородіе которой указывалъ Гельмерсенъ, изумительный черноземъ заволжскаго края, для эксплуатаціи котораго нѣкогда учредилась компания,—все это для насъ, современниковъ Разуваевыхъ и Деруновыхъ, не больше, какъ преданіе, о которомъ уже вѣрится съ трудомъ. И мы въ недоумѣніи спрашиваемъ, что за причина постоянныхъ неурожаевъ на югѣ и какъ помочь этому? А причина очень простая.

Если вести хищническими руками хищническое хозяйство, то не только нашъ черноземъ, но и плодороднѣйшія равнины Америки можно превратить въ пустыню. Земля изъ рукъ помѣщиковъ, плохо-ли, хорошо-ли занимавшихся сельскимъ хозяйствомъ, а все-таки связанныхъ съ нею кровно, почти уже вся перешла въ руки эксплуататоровъ, и за все это время мы нигдѣ не слышали ни о какой мѣрѣ, принятой противъ этого злосчастнаго перехода. Русская мысль все зрѣетъ, но еще никакъ не можетъ созрѣть. Статистика земледѣльческаго быта игнорируется нами, и земство, которому ближе всего бы вѣдать то, что ему вѣдать надлежитъ, даже и вѣдать не хочетъ. Этимъ мы вовсе не дѣлаемъ упрека лично какому-нибудь земству, а указываемъ лишь на горькую судьбину русской мысли, повинующейся какой-то лѣнивой стихійной силѣ и неотличающейся ни энергіей, ни предусмотрительностью, которая одна и создаетъ силу европейскихъ народовъ. Въ послѣднія двадцать пять лѣтъ мы, можетъ быть, и очень ушли впередъ въ экономическомъ развитіи, но вѣдь и Европа тоже не стояла на одномъ мѣстѣ. И случилось вотъ что: хищники испахали нашъ черноземъ и пошли неурожаи; нужда вырубилла лѣса; американцы отбили отъ насъ въ Европѣ хлѣбные рынки; нѣмцы захватили въ свои руки нашу биржу; тѣ-же нѣмцы скупили громадныя имѣнія въ сѣверозападномъ краѣ и вѣдрили къ намъ, совершая свое мирное культурное завоеваніе; изъ страны хлѣбородной мы стали страной неурожайной; наше желѣзо считалось первымъ въ мірѣ, а нынче мы не можемъ обойтись безъ иностраннаго; мы гордились неизсякаемыми золотыми россыпями, теперь-же нашъ рубль стоитъ полтину; освободивъ крестьянъ съ землею, мы думали преподавать Европѣ урокъ сельско-хозяйственнаго счастья и навсегда спасти себя отъ земледѣльческаго пролетаріата, а вышло, что мы не только не преподали Европѣ никакого урока, но, какъ оказалось, подобно Бурбонамъ, ничему не научились и ничего не забыли. Хаосъ и разбродъ мнѣній не только не уменьшился, а, напротивъ, увеличился. Прежде у насъ было много вопросовъ и мы путались въ ихъ изобилии, теперь-же всего одинъ вопросъ и мы запутались въ его частностяхъ; намъ казалось, что вопросъ этотъ окончательно разрѣшенный, а вышло, что мы къ его разрѣшенію даже еще и не приступали; мы было думали, что какъ въ Италіи всѣ дороги ведутъ въ Римъ, такъ и у насъ всѣ дороги ведутъ въ деревню; но оказалось, что у насъ есть масса Детловыхъ, которые думаютъ, что всѣ дороги ведутъ только въ Москву и въ Петербургъ; мы думали, что Детловы принадлежатъ къ породѣ послѣднихъ могикановъ, но ихъ нельзя назвать даже и предпоследними. Передъ освобожде-

ніемъ крестьянъ Детловы доказывали, что надѣлъ земель долженъ быть произведенъ только на время обязательнаго періода; они увѣрили, что не обиліе земли дѣлаетъ крестьянъ богатыми, а малоземеліе; что оставить у крестьянъ существующій надѣлъ—значитъ отнять у нихъ побужденіе къ улучшенію земледѣлія; что, получивъ слишкомъ большой надѣлъ, крестьяне будутъ вести свое хозяйство спустя рукава. Все это доказывалось въ нѣкоторыхъ изъ тогдашнихъ губернскихъ комитетовъ. Прошло 25 лѣтъ—и то же самое доказывается и теперь. Въ московскомъ уѣздномъ земскомъ собраніи, 19 октября, гласный князь Туркестановъ доказывалъ, что причина упадка сельскаго хозяйства вовсе не въ недостаткѣ крестьянскихъ надѣловъ. Хотя земская управа и увѣряетъ, что чѣмъ больше у крестьянъ земли, тѣмъ лучше идетъ ихъ хозяйство, но, по мнѣнію князя Туркестанова, въ московскомъ уѣздѣ, въ мѣстностяхъ, гдѣ у крестьянъ наибольшій надѣлъ, сельское хозяйство идетъ хуже, чѣмъ въ мѣстностяхъ, гдѣ надѣлъ меньше. Наименьшимъ количествомъ земли обладаютъ подмосковные крестьяне, а между тѣмъ благосостояніе ихъ выше. Если крестьяне нуждаются въ землѣ, то ужъ никакъ не въ пахотной. Другой гласный, а именно Жуковъ, говорилъ, что занятіе земледѣліемъ едва-ли возможно привить крестьянамъ московскаго уѣзда, и что промышленный характеръ уѣзда заставляетъ крестьянъ и малые надѣлы оставлять безъ обработки. Г. Жукову, конечно, казалось, что московскіе крестьяне стали заниматься промыслами и побросали земледѣліе только потому, что промыслы выгоднѣе, а не потому, что у крестьянъ мало земли. Но г. Жуковъ не обратилъ, какъ видно, вниманія на слѣдующее маленькое обстоятельство, отъ котораго и зависитъ разрѣшеніе всего вопроса. Такіе всепоглощающіе центры, какъ Москва и Петербургъ, служатъ лучшимъ рынкомъ для сбыта земледѣльческихъ продуктовъ; что ни привези мужикъ на столичный базаръ, все онъ сбудетъ по выгодной цѣнѣ. Слѣдовательно, едва-ли справедливо толковать о безвыгодности сельскаго хозяйства въ окрестностяхъ столицы. Какъ замѣтилъ предсѣдатель управы Скалонъ, сосѣдство Москвы создало въ подмосковныхъ деревняхъ скотоводство, садоводство, огородничество, и выгодность промысловъ не заставила крестьянъ бросить землю. Крестьянинъ дѣлаетъ это только тамъ, гдѣ онъ не можетъ встрѣтить никакого подспорья и долженъ кормиться одною землею, которая, однако, прокормить его не можетъ. Въ такихъ мѣстахъ крестьянинъ и бросаетъ свой надѣлъ.

По поводу чего-же велись подобныя рѣчи и чѣмъ объяснить, что 25 лѣтъ спустя по освобожденіи крестьянъ одно изъ пере-

довыхъ земствъ Россіи—московское, не можетъ порѣшить, нужно-ли крестьянину много земли или мало? Рѣчи эти велись по поводу слѣдующаго вопроса, который въ прошедшемъ году сосредоточивалъ на себѣ главнѣйшее вниманіе печати, земства и сельско-хозяйственныхъ обществъ.

Упадокъ народнаго хозяйства давно уже сталъ обращать на себя вниманіе нашихъ сельскихъ хозяевъ, и неурожай, ставшіе хроническими, особенно на югѣ, заставили и наше земство, и сельско-хозяйственныя общества призадуматься надъ ихъ причинами. Въ это-же время было замѣчено, что крупное землевладѣніе распадается, что земля отъ помѣщиковъ переходитъ къ купцамъ, что крестьяне во многихъ мѣстахъ оставляютъ свои надѣлы и переходятъ къ неземледѣльческимъ занятіямъ и что, особенно въ послѣднее время, усилилось стремленіе народа къ переселенію. Все это заставляетъ думать, что русское землевладѣніе и земледѣліе переживаетъ очень важный моментъ. Извѣстно также, что надѣленіе крестьянъ было сдѣлано безъ расчета на увеличеніе населенія и во многихъ мѣстахъ даже въ недостаточномъ размѣрѣ. При недостаткѣ земли съ одной стороны, т. е. у крестьянъ, и вслѣдствіе упадка земледѣлія у болѣе или менѣе крупныхъ землевладѣльцевъ, долженъ былъ явиться фактъ нѣсколько странный съ перваго взгляда, но вполне понятный. Оказалось, что земли въ Россіи въ одно и то-же время и много, и мало. Ея много у тѣхъ, кто ее продаетъ, и мало у тѣхъ, кто былъ надѣленъ ею въ недостаточномъ размѣрѣ. Фактъ этотъ былъ раньше всего подмѣченъ кулаками—и скупщиками дворянскихъ имѣній явились купцы и торгаши. Нельзя сказать, чтобы только одни Деруновы и Колупаевы создали этотъ вновь возникающій земледѣльческій элементъ; онъ формировался изъ всѣхъ тѣхъ, у кого были свободныя деньги, такъ-что въ средѣ Колупаевыхъ вы встрѣтите и купца, и разбогатѣвшаго мужика, и отставнаго чиновника, и бывшаго помѣщика. Людей этихъ соединяетъ въ одно сильное цѣлое нажива, и нужно отдать имъ справедливость, что они знаютъ свое дѣло хорошо. Противъ этого зла, къ сожалѣнію, никакихъ дѣйствительныхъ мѣръ до сихъ поръ еще не было принято. И не только не было принято, но не была выяснена даже нравственная сущность этого явленія. Многие думали, что скупщики дворянскихъ земель—наше возникающее среднее сословіе, нашъ будущій новый гражданскій элементъ. Но, кажется, защитникамъ этой русской буржуазіи пора бы убѣдиться, что въ Разуваевыхъ не заключается никакого новаго гражданскаго элемента и что это простые хищники и разорители, обирающіе, съ одной стороны, дворянъ, а съ другой—заби-

рающе въ свою кабалу народъ. Прежде, чѣмъ этотъ фактъ былъ подмѣченъ и понятъ, хищники успѣли наложить свою руку на ненужныя дворянамъ земли, и случилось, что земля попала не къ тѣмъ, кто въ ней нуждался, т. е. не къ крестьянамъ, которые отъ малаго надѣла или бросали земледѣліе, или переселялись, а къ кулакамъ. Изъ однѣхъ рукъ земля ушла, а въ другія, настоящія руки, она не пришла. Любопытны слѣдующія цифры перехода земель. Втеченіи послѣднихъ двѣнадцати лѣтъ обществомъ взаимнаго поземельнаго кредита и земельными банками продано болѣе четырехъ миліоновъ десятинъ земли и почти вся она досталась не крестьянамъ. Въ петербургской губерніи, изъ 760,000 проданныхъ десятинъ, крестьянами куплено 9 процентовъ; въ елизаветградскомъ уѣздѣ наибольшее количество проданной земли скупили евреи, и тоже не для цѣлей сельскохозяйственныхъ. Если этому переходу земель не въ настоящія руки не будетъ положено предѣла, то крестьянское населеніе, по мѣрѣ его увеличенія, будетъ имѣть все меньшее и меньшее количество земли; дворянскія земли перейдутъ въ руки кулаковъ, и тоже, конечно, не для сельско-хозяйственныхъ цѣлей, и русскому земледѣлію грозятъ очень серьезныя послѣдствія и, можетъ быть, даже кризисъ.

И вотъ, въ виду этого, года три тому назадъ явилась мысль объ устройствѣ мелкаго земельного кредита, который долженъ былъ помочь крестьянамъ при покупкѣ земель. Вопросъ этотъ разсматривался тогда же въ вольно-экономическомъ обществѣ, а въ настоящее время явились проекты земствъ новгородскаго, московскаго, херсонскаго и ярославскаго. Если обратить вниманіе на то, что въ Россіи пятьдесятъ губернскихъ земствъ, что хищническое скупаніе земли началось не сегодня, что земцы, находясь, такъ-сказать, въ центрѣ дѣла, не могли не замѣчать, что дѣлается около нихъ, то изъ всего этого можно сдѣлать только одинъ выводъ, — что слабыя попытки четырехъ земствъ, едва только нынче выступившихъ съ своими проектами, не служатъ доказательствомъ поступательной энергіи русской мысли. Чахоточно-зачаточное состояніе этой мысли будетъ еще очевиднѣе читателю изъ слѣдующихъ подробностей.

Мы уже сказали, что нѣкоторые изъ земствъ, желая доставить крестьянскому населенію возможность пріобрѣтенія земель, составили проектъ организациі мелкаго поземельнаго кредита. Одно изъ земствъ, напр., новгородское, составило довольно обстоятельный проектъ, другія—лишь высказали пожеланіе протянуть крестьянству руку помощи. Въ этихъ проектахъ и пожеланіяхъ такъ мало общесоглашеннаго, одинаковаго, что при-

ходится вмѣстѣ съ Гейне повторить, что роды мысли — самые трудные роды, и что нашему земскому поземельному кредиту едва-ли родиться безъ помощи акушера.

Новгородскій проектъ отличается, какъ кажется, наибольшою разработанностью. Еще въ прошломъ году земство это, порѣшивъ вопросъ въ принципѣ и установивъ основанія, предложило ихъ на обсужденіе уѣздовъ, съ тѣмъ, чтобы въ нынѣшнюю губернскую сессию вопросъ былъ окончательно рассмотрѣнъ и порѣшенъ. Основная идея проекта заключается въ учрежденіи земскаго банка, участіе въ которомъ должны принять губернская и уѣздныя управы. Общее управленіе дѣломъ, приобрѣтеніе необходимыхъ капиталовъ и расчеты по ссудамъ производятся губернской управой, а выдача ссудъ—уѣздными управами. Такъ-какъ новгородское земство не видитъ возможности создать необходимый для дѣла капиталъ земскими средствами, то оно предполагаетъ обратиться къ содѣйствию правительства и беретъ на себя обязательство гарантіи, т. е. отвѣтственность за исправную плату отпущенныхъ казною денегъ. Ссуды предполагается давать или отдѣльнымъ лицамъ, или цѣлымъ сельскимъ обществамъ. Въ первомъ случаѣ ссуда ограничивается 200 — 300 рублей, а во второмъ — 10,000 руб. Размѣръ предположенныхъ суммъ, конечно, не великъ, и слѣдуетъ-ли причину этого видѣть въ дешевизнѣ новгородскихъ земель или-же въ небольшомъ размѣрѣ предположенныхъ земельныхъ приобрѣтеній—разрѣшить мы не беремся. Какъ бы тамъ ни было, но новгородскій проектъ, даже въ видѣ наброска, въ какомъ онъ до сихъ поръ явился, представляетъ извѣстнаго рода цѣльность, ибо заключаетъ въ себѣ идею организациі постоянно дѣйствующаго и прочнаго кредитнаго учрежденія. Новгородцы, какъ видно, придаютъ этому вопросу настолько серьезную важность, что думаютъ вести операцію въ крупномъ размѣрѣ и при содѣйствіи правительства. Къ сожалѣнію, мы еще не имѣемъ свѣдѣній, въ какомъ видѣ вопросъ этотъ былъ окончательно порѣшенъ на нынѣшнемъ губернскомъ земскомъ собраніи, и потому пока ограничиваемся общимъ указаніемъ на основную сущность новгородской идеи.

Херсонское земство поступаетъ уже иначе. Трудно рѣшить, кому живется хуже на свѣтѣ, новгородскимъ-ли крестьянамъ или херсонскимъ; судя по хроническимъ неурожаямъ, которые поражаютъ югъ и преимущественно херсонскую губернію, судя по тѣмъ жалобамъ, которыя являлись въ печати на всякія земельныя бѣдствія, по преніямъ, бывшимъ на послѣднемъ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ Одессѣ, по громоносной брошюрѣ г. Детлова «Кризисъ или невѣжество», наконецъ, по жалобамъ о переходѣ

дворянскихъ имѣній въ руки жидовъ или кулаковъ,—нужно думать, что положеніе херсонской губерніи очень печально и, можетъ быть, много печальнѣе губерніи новгородской, особенныхъ жалобъ изъ которой не раздается. А между тѣмъ идея мелкаго поземельнаго кредита въ херсонской губерніи оказывается очень мизерной. Рассказываютъ, что дѣло происходило такъ. Херсонское земство устроило у себя цѣлую массу ссудо-сберегательныхъ товариществъ, которыя по разнымъ причинамъ не пошли. Товарищества эти учреждались, какъ извѣстно, частью на земскія суммы, которыя и были возвращены земству. Этыхъ возвращенныхъ денегъ набралось тринадцать тысячъ рублей, и вотъ ихъ-то херсонское земство и задумало обратить въ фондъ земельно-кредитнаго банка. Спрашивается, какую операцію можно совершить на эти жалкія тринадцать тысячъ? При цѣнѣ десятины въ пятьдесятъ рублей, можно на тринадцать тысячъ купить только 260 десятинъ. Неужели-же это поземельный кредитъ, неужели это—средство для упроченія благосостоянія земледѣльческаго населенія, раскинутаго на территоріи, почти равной величинѣ Франціи? И къ такому-то удивительному результату приходитъ херсонское земство послѣ десяти-лѣтнихъ слезныхъ жалобъ на хроническіе неурожаи и голодухи! Да, трудны роды мысли!

Въ таврической губерніи, какъ видно изъ свѣденій, сообщенныхъ «Правительственнымъ Вѣстникомъ», мелитопольское земство принимало очень энергическія средства для устройства народнаго благосостоянія, но всѣ эти труды не привели къ развитію «такого народнаго благосостоянія, которое обезпечивало бы земледѣльчeskій трудъ». Всѣ попытки, направленные къ улучшенію крестьянскаго быта, разбивались о недостатокъ земли, къ которой крестьянинъ могъ бы приложить свой трудъ. По удостовѣренію мелитопольскаго земства, крестьянинъ таврической губерніи, также какъ и губерній новгородской или ярославской, самъ, безъ посторонней помощи, не въ состояніи выбиться изъ нужды. И вотъ мелитопольское земское собраніе приходитъ къ мысли оказать крестьянамъ помощь. Въ чемъ-же будетъ заключаться эта помощь? Мелитопольское земство останавливается на мысли помогать крестьянамъ при покупкѣ земель, заложенныхъ въ банкахъ. Роль земства при этомъ предполагается слѣдующая: оно будетъ прискивать подходящія земли, продаваемыя банками или землевладѣльцами; оно будетъ разъяснять нуждающимся крестьянскимъ обществамъ, въ чемъ заключается выгодность покупки и какія они при этомъ берутъ на себя обязательства; оно будетъ посредничествовать при покупкѣ земель незаложенныхъ. Наконецъ, оно будетъ давать

крестьянамъ деньги на короткіе сроки для уплаты разницы между покупною цѣною и банковымъ долгомъ. Читатель, конечно, и самъ видитъ, что «идея» мелитопольскаго уѣзднаго земства является уже не вариантомъ идеи новгородской или херсонской, а чѣмъ-то совершенно новымъ. Новгородское земство думаетъ организовать систематическій кредитъ въ большихъ размѣрахъ, съ участіемъ правительства, тогда какъ мелитопольское беретъ на себя только маклерство. Оно не организуетъ ни поземельнаго банка, ни системы кредита, а прибѣгаетъ къ помощи уже существующихъ кредитныхъ учреждений. Такъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда покупается имѣніе заложенное и если покупатель не имѣетъ средствъ, земство уплачиваетъ разницу, если-же покупается имѣніе незаложенное, то земство помогаетъ крестьянину или обществу заложить имѣніе и опять приплачиваетъ разницу между залоговой суммой и цѣной имѣнія. Дѣло въ такомъ видѣ хотя и проще, чѣмъ новгородскій проектъ, но только таврическіе крестьяне — мы говоримъ о нуждающихся — ничего не выиграютъ отъ этой простоты.

О проектѣ московскаго уѣзднаго земства мы уже упоминали. Москвичи согласны въ томъ, что у крестьянъ московскаго уѣзда земли мало; на примѣръ, у 91 крестьянскаго общества надѣлъ менѣе двухъ десятинъ на душу; изъ статистическихъ изслѣдованій г. Орлова оказывается, что крестьяне московскаго уѣзда арендуютъ у разныхъ владѣльцевъ приблизительно 22,680 десятинъ, на сумму 12,334 рубля; оказывается еще, что и свою недостаточную пашню крестьянинъ не въ состояніи унавоживать. По самому скромному разсчету, на одну десятину пара нужно бы навоза 6,200 пудовъ, а крестьяне могутъ употребить только 748 пудовъ. Значитъ, у крестьянъ мало и пашни, мало и пастбищъ. Несмотря на это, земледѣліе для крестьянъ московскаго уѣзда—все-таки главный промыселъ. Крестьяне говорятъ: «безъ земли хоть до упаду работай, сытъ не будешь», и дѣйствительно, безъ земли, на однихъ отхожихъ промыслахъ или на кустарной промышленности, крестьянину существовать нельзя. Единственный выходъ—расширить надѣлы покупкою земель. И крестьяне сами очень хорошо понимаютъ, что имъ остается только одно средство—въ покупкѣ. Нѣкоторые изъ крестьянскихъ обществъ даже и покушались покупать земли, но такъ-какъ у крестьянъ денегъ немного, то дѣло и кончалось ничѣмъ. На примѣръ, ясеневское и нѣсколько сосѣднихъ обществъ хотѣли приобрести имѣніе г. Шаблыкина, но это удалось не имъ, а г. Каткову. Есиповское общество тоже нѣсколько лѣтъ ведетъ переговоры о покупкѣ у сосѣдняго землевладѣльца 200 десятинъ, но, можетъ

§*

быть, и эту землю покупать не они, а г. Катковъ. Для крестьянъ покупка на собственные средства—вещь очень трудная, ибо средняя цѣна земли безъ строенія, по выводу за 10 лѣтъ, составляетъ около 90 рублей за десятину, а въ послѣднее пятилѣтіе даже 100 рублей. И вотъ на основаніи фактовъ этого рода, представленныхъ на обсужденіе собранія, предполагено рассмотреть проектъ устава земской кассы поземельнаго кредита, выработанный комитетомъ о ссудо-сберегательныхъ товариществахъ при императорскомъ московскомъ обществѣ сельскаго хозяйства, и затѣмъ ходатайствовать предъ губернскимъ земскимъ собраніемъ объ учрежденіи при губернской управѣ земской кассы для содѣйствія крестьянамъ въ расширеніи ихъ земельвладѣнія. По прочтеніи доклада управы начались пренія, о которыхъ мы уже говорили и въ которыхъ оказались особенно сильными ораторами въ пользу старины князь Туркестановъ и гласный Жуковъ. Эти почтенные ораторы готовы были отрицать даже фактъ малоземелія, констатированный статистическими изслѣдованіями, и усматривали обѣдненіе крестьянъ въ другихъ причинахъ. Предсѣдателю управы г. Скалону удалось къ счастью, обуздать ораторовъ и вопросъ благополучно былъ поставленъ на вѣрную точку, но тѣмъ не менѣе въ цѣломъ онъ потерпѣлъ очень печальное фiasco. Въ «Молвѣ» мы читаемъ, что на московскомъ земскомъ собраніи вопросъ о содѣйствіи крестьянамъ въ покупкѣ земель окончательно отстраненъ или, что все равно, переданъ въ комисію, которая не стѣснена никакими сроками. Такая неопредѣленная развязка дѣла наводитъ «Современныя Извѣстія» на слѣдующія разсужденія:

«По правдѣ сказать, мы не совсѣмъ понимаемъ этотъ черезчуръ рѣшительный оборотъ. Мнѣніе, изъ котораго вытегъ отказъ губернскаго собранія ратификовать предложеніе уѣзднаго, было и нашимъ мнѣніемъ; малоземельность не есть единственная причина упадка крестьянскихъ хозяйствъ и увеличеніе надѣловъ не есть единственное средство ихъ поправить. Но слѣдуетъ-ли отсюда, что предлагаемое средство должно быть отвергнуто? Бѣднякъ нуждается и въ хлѣбѣ, и въ одеждѣ; сострадательный человекъ предлагаетъ облегчить ему средства добыть хлѣбъ. Но мудрецы отказываютъ въ этомъ потому именно, что хлѣбомъ однимъ не удовлетворишь, а необходима и одежда, — логика, не совсѣмъ вмѣстимая для обыкновеннаго ума. Постороннему, безпристрастному свидѣтелю ясно, что руководители губернскаго собранія просто не сочувствуютъ переходу земель въ крестьянскія руки; указаніе на формальную неправильность въ постановкѣ вопроса есть только предлогъ. Не имѣемъ, къ сожалѣнію, подробнаго

отчета о преніяхъ; имена ораторовъ, въ свою очередь, ручаются намъ, что оно состояло не изъ кулаковъ-перекупщиковъ, не изъ того класса людей, для котораго одного выгодно настоящее положеніе крестьянства, который одинъ въ силахъ прижимать крестьянство и одинъ остается возможнымъ покупщикомъ помѣщичьихъ земель. Тѣмъ непонятнѣе выводъ, къ которому пришло собраніе. Пособіе крестьянамъ въ приобрѣтеніи земель; подстановка ихъ соперничества кулакамъ-торгашамъ благодѣтельны были бы не для крестьянъ только, но и для помѣщиковъ столько-же, если не болѣе. Вотъ идетъ въ продажу имѣніе за долги земельному банку; вотъ землевладѣлецъ добровольно продаетъ часть или все имѣніе; лишній покупатель, въ видѣ земскаго банка, уронить или возвыситъ цѣну? Кажется, въ отвѣтъ сомнѣваться нельзя».

Подробности, которыми мотивировалось рѣшеніе московскаго губернскаго собранія, довольно любопытны. Главнымъ оппонентомъ выступилъ гласный Оленинъ. Онъ, подобно Туркестанову, отрицалъ вліяніе размѣра надѣла на крестьянское благосостояніе, а причину народной бѣдности объяснилъ коренною ломкою хозяйственнаго строя, произведенною реформой 19 февраля. Этого не говорилъ даже князь Туркестановъ. Далѣе, г. Оленинъ доказывалъ, что вопросъ о поземельномъ кредитѣ созданъ и вздутъ искусственно литературой. Имѣніе г. Оленина хотя и не нашло сильной поддержки, но за то не встрѣтило и оппозиціи. Впрочемъ, къ чести московскихъ земцевъ нужно прибавить, что у нихъ не достало отваги доказывать, что положеніе московскаго земледѣльца блистательно, и такъ-какъ никто не отрицалъ «важности» вопроса, то и была образована комисія, на которую возложено «заняться разработкой вопроса о подъемѣ крестьянскаго хозяйства». Эта слишкомъ туманная задача была нѣсколько выяснена предложеніемъ гласнаго Самарина, который думаетъ, что вся сущность вопроса заключается «въ перемѣнѣ системы крестьянскаго хозяйства изъ трехпольнаго въ многопольное и въ рациональной культурѣ зѣмли». Подробностей этого вопроса мы коснемся послѣ, теперь-же мы говорили о московскомъ рѣшеніи настолько, насколько это было необходимо, чтобы показать судьбу одного и того-же вопроса въ разрѣшеніяхъ разныхъ земствъ. Всѣ земцы, повидимому, согласны, что положеніе русскаго земледѣльца не блистательно; по статистическимъ изслѣдованіямъ оказывается, что у крестьянъ малы надѣлы; новгородское земство, даже не подвергая этого вопроса сомнѣнію, прямо приступаетъ къ составленію проекта поземельнаго кредита; другія земства, какъ таврическое, херсон-

ское, признаютъ малоземеліе тоже несомнѣннымъ фактомъ и тоже идутъ на помощь къ народу съ денежными ссудами; московское земство не отрицаетъ малоземелія, но и не придаетъ ему, повидимому, особенной важности и беретъ на себя просвѣтительную задачу вмѣсто хозяйственно-экономической.

Мало помогло окончательному разрѣшенію этого дѣла даже и вольно-экономическое общество, состоящее, какъ извѣстно, изъ корифеевъ сельско-хозяйственной науки, политической экономіи и статистики. Занимающій насъ вопросъ обсуждался въ вольно-экономическомъ обществѣ 17 ноября. Засѣданіе началось докладомъ профессора Андреевскаго «о томъ, что сдѣлано въ Россіи для содѣйствія крестьянамъ къ приобрѣтенію земель и къ увеличенію крестьянскихъ надѣловъ». Наперекоръ московскимъ земцамъ, г. Андреевскій признавалъ несомнѣннымъ и рѣшеннымъ, что нормы теперешнихъ крестьянскихъ надѣловъ недостаточны, что даже и первоначальный надѣлъ былъ малъ и втеченіи двадцати лѣтъ увеличившееся населеніе значительно переросло норму. Онъ считалъ доказаннымъ и тотъ фактъ, что крестьяне все больше и больше стремятся прикупать земли или арендовать ихъ. Относительно мнѣній, существующихъ по этому вопросу, г. Андреевскій замѣтилъ, что одни—вѣроятно, и московское земство—имѣи въ виду интересы крупнаго землевладѣнія, считаютъ существующую норму крестьянскихъ надѣловъ достаточною и для себя выгодною, ибо крупное землевладѣніе при ней будетъ постоянно обезпечено въ рабочихъ рукахъ; сторонники-же народной пользы ратуютъ за необходимость увеличенія крестьянскаго землевладѣнія и за поднятіе уровня экономическаго благосостоянія крестьянства. Сторонники послѣдняго мнѣнія формулируютъ его, по словамъ г. Андреевскаго, въ слѣдующихъ трехъ предложеніяхъ:

«Улучшенію быта крестьянъ можетъ помочь не увеличеніе размѣровъ землевладѣнія, а рациональная культура земли, на ознакомленіе съ которою крестьянству и слѣдуетъ обратить вниманіе.

«Независимо отъ поднятія уровня сельско-хозяйственнаго образованія — вопроса отдаленнаго будущаго — необходимо прежде всего открыть крестьянамъ доступъ къ кредиту и тѣмъ увеличить размѣры землевладѣнія.

«На ряду съ предложеніемъ объ организаціи крестьянскаго кредита въ мѣстностяхъ съ предлагаемою въ продажу землю необходимо для мѣстностей малоземельныхъ и густонаселенныхъ устроить систему новаго надѣла въ связи съ колонизаціей новыхъ земель».

Пока члены вольно-экономическаго общества выслушивали вопросъ въ его общей, теоретической и даже широкой государственной постановкѣ, они обнаруживали замѣчательное единомысліе и рѣчь профессора Андреевскаго была покрыта дружными рукоплесканіями. Но когда затѣмъ выступилъ съ своимъ докладомъ г. Яковлевъ и начались обсуждения частныхъ, то замѣчательное единомысліе смѣнилось настолько-же замѣчательнымъ разномысліемъ. Первый тезисъ г. Яковлева, вызвавшій наибольшій разбродъ мнѣній, заключался въ томъ, что большинство дворянъ-землевладѣльцевъ оставило занятіе сельскимъ хозяйствомъ и передало его крестьянамъ; что вмѣстѣ съ тѣмъ оно постепенно распродаетъ свои земли, которыя переходятъ въ другія сословія, продолжающія хищнической характеръ пользования землею. Положимъ, что тезисъ въ такомъ видѣ былъ поставленъ не совсѣмъ точно, но въ общей идеѣ онъ былъ совершенно вѣренъ. Слѣдовательно, задача преній заключалась въ томъ, чтобы внести нѣкоторыя поправки и придти къ соглашенію, а между тѣмъ члены вольно-экономическаго общества немедленно же разбрелись въ пустынь разномыслія. Нѣкоторые изъ присутствовавшихъ находили это разномысліе даже курьезнымъ. Такъ одинъ изъ ораторовъ доказывалъ, что переходъ земли въ руки крестьянъ не можетъ быть желателенъ, потому что крестьяне портятъ землю хищнической культурой. Несмотря на свою крайнюю необыкновенность, мнѣніе это было поддержано еще двумя ораторами, а одинъ изъ нихъ, Скворцовъ, совѣтовалъ даже съюзить вопросъ, соединивъ его съ вопросомъ объ общемъ и специальномъ образованіи народа, и затѣмъ высказалъ слѣдующую смѣлую мысль. По мнѣнію г. Скворцова, вовсе не слѣдуетъ создавать для народа особаго кредита для покупки земли, а достаточно уравнивать его въ этомъ отношеніи съ другими сословіями, т. е. дать возможность закладывать свою теперешнюю землю. Относительно увеличенія крестьянскаго землевладѣнія г. Скворцовъ сошелся вполне съ мнѣніями московскаго губернскаго земства. Подобно г. Оленину, и онъ находитъ это вовсе ненужнымъ. Конечно, г. Скворцову возражали, что крестьяне, во-первыхъ, не имѣютъ права закладывать невыкупленныхъ надѣловъ, а во-вторыхъ, увеличеніе ихъ надѣловъ уже нужно потому, что до освобожденія они пользовались большимъ количествомъ земли, часть которой отрѣзана отъ нихъ въ пользу помѣщиковъ. Вотъ эти-то отрѣзки и играютъ очень важную роль въ вопросѣ объ увеличеніи крестьянскаго землевладѣнія. На упрекъ крестьянъ въ хищническомъ хозяйствѣ г. Скворцову возражали тѣмъ, что своимъ обвиненіемъ

онъ какъ-бы отрицаетъ факты противоположныя и крестьянско-му землевладѣнію предпочитаетъ землевладѣніе кулаковъ.

Второй тезисъ прошелъ благополучно, и потому мы на немъ не остановимъ вниманія читателя.

Третій тезисъ тоже вызвалъ разномысліе. Тезисъ этотъ заключался въ томъ, что «при повсемѣстномъ несоотвѣтствіи расходовъ крестьянъ съ доходами отъ собственнаго землевладѣльческаго хозяйства,—несоотвѣтствіи, увеличившемся еще болѣе вслѣдствіе наростанія народонаселенія, обязательныхъ платежей и другихъ причинъ,—интересы земледѣльческаго хозяйства отодвигаются на задній планъ, и первенствующее значеніе получаетъ для крестьянъ пріобрѣтеніе денегъ путемъ мѣстныхъ или отхожихъ промысловъ и краткосрочнаго арендованія земли.

Опонирующее мнѣніе заключалось въ томъ, что отхожіе промыслы имѣютъ цивилизующее, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ прямо образовательное значеніе, ибо крестьяне посѣщаютъ въ промышленныхъ центрахъ школы, изучаютъ ремесла, и если есть факты отрицательнаго вліянія, то ихъ нельзя обобщать и выводить заключеніе о прикрѣпленіи всѣхъ крестьянъ къ землѣ, будто-бы въ ихъ-же интересахъ. Противъ этого мнѣнія возражали два оратора. Они отстаивали положенія тезиса и опонировали противъ цивилизующаго значенія отходовъ. Въ результатѣ преній, какъ говоритъ «Молва», не оказалось ничего, и «тезисъ остался такъ, какъ былъ предложенъ, составляя матеріалъ для коллекціи поднятыхъ экономическимъ обществомъ вопросовъ, грудою лежащихъ въ его архивахъ».

Затѣмъ слѣдовалъ еще вопросъ о томъ, что разстройство крестьянскаго хозяйства, подрывая общественную связь крестьянскаго сословія, вноситъ противорѣчія между интересами богатѣющаго меньшинства и бѣднѣющаго большинства. Тутъ на сцену былъ выведенъ «кулакъ» и происходили безконечныя разсужденія на тему: «дать-ли землю крестьянамъ или допустить, чтобъ она прежде побывала въ рукахъ кулака?»

Пренія въ вольномъ экономическомъ обществѣ любопытны всегда въ томъ отношеніи, что они оканчиваются ничѣмъ и не ведутъ ровно ни къ какому положительному результату. То-же самое должно было случиться и случилось при обсужденіи вопроса о мелкомъ поземельномъ кредитѣ, который только до тѣхъ поръ и являлся чѣмъ-то законченнымъ и яснымъ, пока объ немъ говорила печать или пока вопросъ этотъ обсуждался въ общей его постановкѣ, вродѣ той, какая была сдѣлана профессоромъ Андреевскимъ. И со всѣми вопросами мы обращаемся такъ-же. Повидимому, вопросъ разобранъ и разяс-

ненъ со всѣхъ концовъ, но попробуйте пустить его на обсужденіе — и въ каждомъ точно проснется бѣсъ противорѣчія и отрицанія. Професору Андреевскому аплодировали всѣ единодушно, когда онъ говорилъ, какъ о несомнѣнномъ фактѣ, что нужно увеличить размѣръ крестьянскаго землевладѣнія и открыть для народа кредитъ, и тотъ-же принятый и одобренный всѣми вопросъ оказался послѣ преній непринятымъ и неодобреннымъ! И въ Москвѣ, и въ Петербургѣ нашлась масса людей, которые стали доказывать, что у крестьянъ земли довольно и дѣло не въ этомъ, а въ невѣжествѣ мужиковъ, т. е. въ томъ, что доказываетъ г. Детловъ въ своей пресловутой брошюрѣ «Кризисъ или невѣжество». Этого мало. По тому-же духу противорѣчія или изъ желанія играть роль, а это слабость общерусская, защитники общины оказались ея противниками и даже знаменитый князь Васильчиковъ, опровергая чужія мнѣнія, сталъ говорить противъ самого себя. Какъ извѣстно, во главѣ петербургскаго проекта о мелкомъ поземельномъ кредитѣ стоитъ князь Васильчиковъ, особенно хлопотавшій въ пользу идеи этого кредита. И вотъ, когда былъ возбужденъ вопросъ о томъ, кому же оказывать пособіе—цѣлымъ-ли обществамъ или отдѣльнымъ лицамъ и товариществамъ, обнаружился такой-же разбродъ мнѣній, какъ и во всѣхъ остальныхъ частностяхъ. Напримѣръ, москвичи и новгородцы думаютъ, что слѣдуетъ оказывать помощь только обществамъ, потому что помощь лицамъ будетъ преміей кулакамъ и хищникамъ, гоняющимся за личной наживой. Конечно, исключительная помощь обществамъ оказалась бы слишкомъ односторонней даже въ интересахъ самихъ крестьянъ и вслѣдствіе этого принципа пришлось бы отказывать въ содѣйствіи переселенцамъ, желающимъ купить землю. Князь Васильчиковъ, этотъ извѣстный защитникъ общины, является въ настоящемъ случаѣ такимъ ярымъ ея противникомъ, что считаетъ вредною ссуду, которая будетъ даваться по приговору двухъ третей домохозяевъ. По мнѣнію князя, такая помощь навяжетъ бѣднѣйшему большинству крестьянъ новые платежи, и если они будутъ участвовать въ пріобрѣтеніи земли, которую не въ состояніи обрабатывать, то будутъ вынуждены сдать свои участки богатымъ, т. е. кулакамъ, противъ которыхъ всѣ ратуютъ. И изъ кого-же будутъ состоять эти двѣ трети рѣшающихъ крестьянъ? спрашиваетъ князь Васильчиковъ.—Конечно, изъ богатыхъ, послѣднюю же треть будутъ составлять бѣднѣйшіе хозяева, которые окажутся привлеченными къ дѣлу, которое «невыгодно», бесполезно и въ которомъ они будутъ участвовать только номинально. И справедливо упрекаютъ князя

Васильчикова въ противорѣчіи, ибо въ проектѣ, въ составленіи котораго онъ самъ участвовалъ, онъ допустилъ совершенно такое-же условіе для права на пріобрѣтеніе земли, т. е. приговоръ двухъ третей домохозяевъ. Дѣлается съ такой-же основательностью князю Васильчикову еще и другой упрекъ. Извѣстно, что князь Васильчиковъ по вопросу о размѣрѣ крестьянскихъ надѣловъ признавалъ необходимымъ въ одной части своего извѣстнаго сочиненія пять десятинъ на душу, а въ другой утверждалъ, что совершенно достаточенъ и существующій надѣлъ, хотя зналъ очень хорошо, что при существующемъ надѣлѣ громадное большинство крестьянъ имѣетъ менѣе пяти десятинъ. Любопытнѣе всего, что даже защитники общины, нѣкогда распинавшіеся за нее изо всѣхъ силъ, заговорили теперь совсѣмъ другое, когда рѣчь зашла о кредитѣ.

Однимъ словомъ, какую сторону этого вопроса ни возьмешь, каждый говоритъ свое, каждый высказываетъ съ своимъ собственнымъ мнѣніемъ, и оказывается даже, что и крестьянскій надѣлъ, который, повидимому, былъ признанъ всѣми недостаточнымъ и недостаточность котораго была доказана тщательными статистическими изслѣдованіями, выходитъ достаточнымъ, и на смѣну едва возникшаго вопроса объ увеличеніи крестьянскаго землевладѣнія является уже новый вопросъ—объ агрономическомъ просвѣщеніи народа. Вопросъ этотъ былъ поставленъ не однимъ московскимъ земствомъ, но и новгородскимъ. Новгородское земство пригласило даже въ прошедшемъ году ученаго агронома, которому поручило сельско-хозяйственныя изслѣдованія губерніи. Чѣмъ кончились эти изслѣдованія—намъ неизвѣстно, но, какъ мы слышали, положительныхъ результатовъ отъ этихъ изслѣдованій еще не получилось никакихъ. Что московскіе земцы имѣли нѣкоторое право испугаться мелкаго кредита—отрицать этого, конечно, нельзя, но все-таки они были ужъ черезчуръ предусмотрительны и заглядывали слишкомъ впередъ. Имъ, вѣроятно, почудилось, что мелкій поземельный кредитъ, какъ лавина, залетѣтъ всю Россію и крестьяне сдѣлаются единственными собственниками всей земли, не исключая и бывшей дворянской. Отстаивая свои усадьбы, средніе и крупныя землевладѣльцы, конечно, отстаиваютъ свое право на интеллектуальное существованіе. Но, во-первыхъ, лавины еще пока мѣсть никакой не явилось, и ничего нѣтъ мудренаго, что и весь вопросъ о мелкомъ поземельномъ кредитѣ окажется или погребеннымъ, или отложеннымъ въ слишкомъ долгій ящикъ. Съ другой стороны, слѣдуетъ считать открытымъ и нерѣшеннымъ вопросомъ о культурной роли дворянскаго землевладѣнія. Тѣ, кто

его отрицали, тоже исходили изъ фактовъ. Извѣстно, что въ долгій періодъ существованія крѣпостного права ни одно изъ сельско-хозяйственныхъ улучшеній, вводившихся помѣщиками, не привилось къ крестьянамъ. Если такъ было въ тысячелѣтній періодъ и простая заразительность примѣра оказалась недостаточной, то какое основаніе предполагать, что въ настоящее время внезапно явится исключеніе и представители средняго и крупнаго землевладѣнія превратятся въ свѣточки агрономическаго просвѣщенія? Возможность подобной исключительности тѣмъ болѣе сомнительна, что къ прежнимъ отрицательнымъ фактамъ присоединяются новые. Такъ московское собраніе постановило избрать комисію, которая должна заняться разными экспериментами по введенію на крестьянскихъ земляхъ рациональной культуры. Этому думаютъ достигнуть слѣдующимъ простымъ средствомъ. Комисія входитъ въ соглашеніе съ тремя или четырьмя селеніями, съ народонаселеніемъ въ 300 или 400 душъ, и на землѣ этихъ злополучныхъ жертвъ производитъ эксперименты, «которые будутъ признаны наиболѣе соответствующими достиженію предположенной цѣли». Такъ-какъ московское губернское земство не увѣрено, что эксперименты могутъ кончиться благополучно, то на случай, если вмѣсто урожаявъ получатся неурожаи, земство гарантируетъ крестьянамъ извѣстный опредѣленный доходъ. Размѣръ гарантирующаго великодушія ограниченъ суммою въ 3,000 рублей. Это значитъ, что съ цѣлаго крестьянскаго надѣла экспериментаторамъ выговаривается право получить, вмѣстѣ съ сѣменами, только одну четверть ржи. Хороши же будутъ уроки агрономіи!

Впрочемъ, въ интересахъ истины, мы должны указать и на факты другого рода. Такъ, въ череповскомъ уѣздѣ, новгородской губерніи, благодаря сельско-хозяйственнымъ нововведеніямъ одного землевладѣльца, сосѣдніе крестьяне ввели у себя шестипольный сѣвооборотъ съ посѣвомъ клевера. Конечно, тутъ вліяло и малоземеліе, которое такъ желательно московскому земству, видящему въ немъ лучшее средство для агрономическаго воспитанія народа; но москвичамъ можно бы указать при этомъ на курскую губернію, гдѣ малоземеліе повело не къ улучшенію культуры, а къ переселеніямъ. Вообще вопросъ о воспитаніи народа въ лучшихъ агрономическихъ понятіяхъ вовсе не такой простой вопросъ, какъ думаетъ г. Оленинъ, кн. Туркестановъ и г. Детловъ. Въ этомъ уже давно убѣдилась Европа и должны были убѣдить насъ эксперименты министерства государственныхъ имуществъ; но судя по тому, что высказывалось по поводу этого дѣла въ прошедшемъ году, мы, какъ кажется,

не только еще ни въ чемъ не убѣдились, но и не намѣрены убѣдиться. Вѣдь ужъ, кажется, московское земство или такой юркій и опытный землевладѣлецъ, какъ г. Детловъ, надѣлены отъ Господа Бога всевозможными благами, а между тѣмъ они воспользовались послѣдними двадцатью годами только для того, чтобы въ 1879 году вновь затянуть свою старую пѣсню, вновь заявить, что освобожденіе крестьянъ было вреднымъ и что въ немъ одномъ заключается причина всей нашей сельско-хозяйственной путаницы. Ну, какъ же требовать отъ деревенскаго мужика, чтобы онъ въ четыре года сдѣлался ученымъ агрономомъ? Европа, какъ извѣстно, — о чемъ вы можете прочесть въ изслѣдованіяхъ г. Вишнякова, — при нѣскольکو иныхъ внутреннихъ порядкахъ, чѣмъ наши, принимала самыя разнообразныя и энергическія средства для развитія сельскаго хозяйства, и при всемъ томъ ей все-таки не удалось поставить его на настоящую агрономическую высоту. У Европы были и знаменитые теоретическіе и практическіе агрономы, есть масса популярныхъ агрономическихъ изданій, у нея десятки агрономическихъ академій, сотни сельско-хозяйственныхъ школъ, она ввела систему періодическихъ сельско-хозяйственныхъ выставокъ, она устроила сѣзды сельскихъ хозяевъ, выдавала преміи за успѣхи въ земледѣльствѣ и скотоводствѣ, и все это она дѣлала не на показъ, а для дѣйствительнаго дѣла. Успѣху мѣръ, повидимому, содѣйствовало и общее развитіе грамотности, и масса желѣзныхъ дорогъ, облегчающая сношенія, — и при всемъ томъ европейское земледѣліе находится въ такомъ печальномъ состояніи, что, напримѣръ, Англія, которая могла бы при научномъ развитіи сельскаго хозяйства прокормить населеніе въ полторасти миліоновъ, не только не прокармливаетъ своего тридцати-миліоннаго населенія, но даже нуждается въ русскомъ и американскомъ хлѣбѣ. По словамъ Бисмарка, Германія тоже должна бы имѣть излишки хлѣба противъ потребностей, однако, и она нуждается въ чужомъ хлѣбѣ. Какъ же требовать отъ нашего мужика и вообще отъ нашей неграмотной Россіи, стоящей и умственно, и въ отношеніи матеріальныхъ удобствъ жизни и возможности сношеній далеко ниже Европы, какого-то необыкновеннаго умственнаго свѣта! Мы не отрицаемъ пользы знанія и просвѣщенія и говоримъ не противъ него. Мы говоримъ только о томъ, что такіе господа, какъ Детловъ, больше ничего, какъ умственные клоуны, и ихъ возгласы, что Россія терпитъ отъ общаго невѣжества, пьянства и распущенности — не больше, какъ пустыя слова. Просвѣщеніе — вещь, конечно, хорошая, но какъ вы его введете, когда прежде всего вы сами непросвѣщены и сами не знаете, какъ и что

сдѣлать? Гг. Детловы или бесполезно будируютъ, или-же мечтаютъ, какъ институтки. Онъ недоволенъ всѣмъ на свѣтѣ—и акцизной системой, и министерствомъ финансовъ, и министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, и министерствомъ государственныхъ имуществъ; взывая къ тѣни Петра Великаго, г. Детловъ жалуется, что земледѣліе и горная промышленность у насъ совершенно забыты; затѣмъ, владая въ поэтической пафосъ, онъ восклицаетъ: «мать-земля возмущена этимъ забытьемъ и громко стонетъ, ропщетъ на непокорныхъ сыновъ своихъ. Но не поэтовъ зоветъ теперь земля наша: она зоветъ лучшихъ думающихъ и работающихъ тружениковъ своихъ, которые далеко не всѣ забыли ее». И когда эти лучшіе люди услышатъ призывъ земли, между ними найдутся и русскіе Тѣеры и Коппе, и русскіе Штейны и Питты, которые, взвѣсивъ слова науки, опыта и правды, дадутъ имъ жизнь. И воспрянетъ земля наша свѣжею, могучею духомъ правды. И примется она за ученіе и за трудъ, которые всегда любила и уважала, но вотъ уже болѣе тысячи лѣтъ, то не можетъ, то не знаетъ, какъ приступить къ нимъ. И станетъ она странюю не только великою и обильною, но и разумною и богатою; а порядокъ водворится въ ней самъ собою,—онъ спутникъ разума и богатства. И тогда русскій царь станетъ счастливѣйшимъ человѣкомъ въ своей странѣ, потому что послѣдній пастухъ въ его государствѣ будетъ ходить въ сапогахъ, будетъ умѣть читать и писать, будетъ ѣсть хлѣбъ безъ мякины и лебеды, въ праздники (которыхъ, впрочемъ, будетъ только 60, вмѣсто 180) будетъ ѣсть жареную баранину или гуся, а въ будни будетъ хлебать щи съ говядиной, кашу съ масломъ да вареники съ саломъ...»

Неужели, г. Детловъ, вы не понимаете, что все это чистое шутовство! При иныхъ условіяхъ мы, конечно, обошли бы г. Детлова полянѣйшимъ молчаніемъ, но въ виду того, что было высказано въ прошломъ году тамъ и здѣсь, а особенно московскимъ земствомъ, по поводу мелкаго поземельнаго кредита, и когда оказывается, что г. Детловъ не одинъ,—подобное зловредное шутовство становится опаснымъ. Теперь московская печать, а съ нею и всякіе гг. Оленины и Детловы, начинаютъ увѣрять, что и мелкій поземельный кредитъ, и общину, и разные другіе вопросы выдумали только тѣ, кто держитъ «перо и печатное слово»; люди эти, не вѣруя ни въ исторію, ни въ начало челоувѣческой природы, ни въ будущее величіе и славу Россіи, выдумываютъ и защищаютъ разные вопросы, даже вовсе и не ради интересовъ народа. И вотъ гг. Оленины и Детловы, считающіе себя русскими Питтами и Штейнами, мечтаютъ только

о томъ, какъ-бы имъ задушить русскую печать, которая изобличаетъ ихъ личное своекорыстіе и крѣпостническія тенденціи, замаскированныя кажущейся заботой о просвѣщеніи народа. Двадцать лѣтъ назадъ никакой г. Детловъ или г. Оленинъ не отважился-бы отрицать пользу освобожденія, или, хуже еще, его-то именно и обвинять во всемъ, а нынче они говорятъ объ этомъ съ полной беззащитчивостью и находятъ массу сторонниковъ, которыхъ увлекаютъ. Чѣмъ объяснить, что нѣкогда прогрессивное московское земство, предпринявшее цѣлый рядъ статистическихъ изслѣдованій и само констатировавшее фактъ малоземелія, приходитъ къ печальному умственному отступничеству и, увлеченное г. Оленинымъ, хочетъ пропѣть вопросу о надѣлахъ вѣчную память, «отрясти» его отъ себя, какъ нѣчто чуждое, пришедшее со стороны, искусственно-вздутое литературою? Въдъ это полнѣйшій умственный и нравственный упадокъ нѣкогда высоко стоявшей земской мысли. У земства не достало даже мужества высказаться прямо и оно маскируется недостойнымъ обходомъ, прикрывшись доброжелательнымъ намѣреніемъ научить народъ улучшеннымъ приемамъ сельскаго хозяйства. Къ чему эта ненужная фальшь? Или, можетъ быть, это послѣдній остатокъ стыдливости, выраженіе нѣкоторой робости передъ общественнымъ мнѣніемъ и передъ тою самою печатью, голосъ которой такъ непріятенъ гг. Оленинымъ и Детловымъ?

Есть извѣстный законъ, который управляетъ переходомъ отъ одной системы пользованія землею къ другой. Законъ этотъ заключается въ извѣстномъ отношеніи численности населенія къ пространству. Кочевой бытъ основанъ на одной нормѣ, пастушескій бытъ на другой, земледѣліе является уже при третьей нормѣ населенія. Слѣдующей формой будетъ земледѣліе съ удобреніемъ или трехпольная система съ паромъ. Наконецъ, пойдутъ разнообразныя формы многопольнаго сѣвооборота и посѣвовъ наиболѣе выгодныхъ растений. Ни одна изъ этихъ формъ не можетъ явиться какимъ-нибудь искусственнымъ путемъ. Пока нашъ черноземъ давалъ хорошія жатвы безъ навоза, были бы бесполезны всякія сѣтованія, что крестьяне не прибѣгаютъ къ удобренію. Но когда черноземъ выпахался, сама практика научить земледѣльца ввести трехпольный оборотъ съ паромъ и удобреніемъ. Точно также и многопольный сѣвооборотъ является самъ собою въ силу Мальтусова закона. Въ этомъ обстоятельствѣ заключается единственная причина, почему, напр., дементьевскіе крестьяне, череповскаго уѣзда, воспользовавшись примѣромъ Молочкина, ввели у себя шестипольный сѣвооборотъ,

а курскіе крестьяне, у которыхъ земли, можетъ быть, даже и меньше, остаются при прежней трехпольной системѣ.

Перевернуть народное мышленіе вовсе не такъ легко, а еще труднѣе заставить народъ думать не съ перваго шага, а со втораго. Въ настоящее время крестьянинъ ставитъ большее полученіе продукта въ исключительную зависимость отъ количества земли. Эта традиціонная идея, отличающаяся необыкновенною живучестью, питается фактами той пространственности, которая у крестьянина передъ глазами. Онъ очень хорошо знаетъ, что въ Россіи еще слишкомъ много свободныхъ земель, а если онъ около себя ихъ не находитъ, то ищетъ выхода опять не въ шестипольномъ сѣвооборотѣ, а въ трудѣ, къ которому приложимы его теперешнія знанія. Этимъ дополнительнымъ трудомъ для крестьянина является отхожій промыселъ. Но въ отхожемъ промыслѣ крестьянинъ видитъ какъ бы временной выходъ, всѣ же его коренныя земледѣльческія представленія связаны съ увеличеніемъ запашки и потому онъ постоянно лелѣетъ въ себѣ мысль о переселеніи. Если-же ни переселеніе, ни аренда для него невозможны, онъ берется за отхожій промыселъ, какъ утопающій за соломенку. Думать иначе крестьянинъ пока не можетъ. Если-бы онъ измѣнилъ свое мышленіе, какъ того желательно московскому земству, то, конечно, не встрѣтилось бы никакого затрудненія въ переходѣ крестьянскаго земледѣлія не только къ шестипольному, но даже и къ десятипольному сѣвообороту. Но пока крестьянинъ пмѣетъ передъ своими глазами свободныя и пустыя земли, пока онъ питаетъ въ себѣ надежду занять ихъ, вы не заставите его думать въ направленіи многопольныхъ сѣвооборотовъ и разведенія вики или шведской рѣпы. Ужь, кажется, средніе и крупныя землевладѣльцы надѣлены отъ Бога всѣми благами просвѣщенія, а между тѣмъ и у нихъ шестипольный сѣвооборотъ что-то не прививается. Вы отвѣтите, что у нихъ недостаетъ оборотнаго капитала; а откуда вьзяться оборотному капиталу у деревенскаго мужика, а тѣмъ паче еще благамъ просвѣщенія, которыя бы измѣнили все его агрикультурное мышленіе? Для того, чтобы крестьянинъ сталъ думать иначе, онъ долженъ утратить надежду на новыя земли, потерять всякую увѣренность, что получить земельную прибавку и что его прокормятъ отхожіе промыслы. Пока-же крестьянинъ въ этомъ не убѣдится, онъ будетъ вѣчно мечтать о землѣ и не примется за шестипольный сѣвооборотъ. Конечно, крестьянина не трудно лишить всякой надежды на пріобрѣтеніе земли; но если онъ будетъ знать, что гдѣ-то тамъ за Ураломъ, не то въ степяхъ, или въ Сибири, есть безконечное раздолье и просторъ, онъ будетъ

вѣчно стремиться мечтой въ эти счастливыя Эльдорадо и будетъ носить въ душѣ неудовольствіе на тѣхъ, кто, по его справедливому или несправедливому заключенію, все равно—будутъ представляться ему помѣхой въ осуществленіи его мечты. Поэтому вопросъ, который такъ развязно и легко думаетъ разрѣшить московское земство экспериментомъ на ничтожномъ пространствѣ, съ копеечнымъ расходомъ, едва-ли будетъ въ состояніи перевернуть все міровоззрѣніе мужицкой громады. Между тѣмъ дилема, которую предстоитъ разрѣшить нашему земству, очень проста. По естественному отношенію народонаселенія къ пространству, нашъ деревенскій земледѣлецъ не дошелъ до того предѣла, когда энергія въ количествѣ труда должна уступить энергіи качественной. Значить, ясно, вопросъ заключается въ томъ, располагаетъ-ли Россія такими свободными землями, которыя бы дали крестьянину возможность увеличить количество своего земледѣльческаго труда. Этими землями Россія располагаетъ, и, слѣдовательно, задача можетъ заключаться въ томъ, чтобы дать крестьянамъ возможность имѣть надлежащее количество пашень и луговъ. Ждать, что крестьяне увеличатъ количество земледѣльческихъ продуктовъ путемъ улучшенія сельскохозяйственныхъ приѣмовъ—значить ловить журавли въ небѣ.

Естественный путь, которымъ можетъ разрѣшиться правильно настоящій вопросъ, намѣтился достаточно уже и въ идеѣ, и въ возникающей практикѣ. Со времени освобожденія крестьянъ прошло болѣе 18 лѣтъ. Ежегодный приростъ населенія составляетъ около одного процента, слѣдовательно, втеченіи 18 лѣтъ земледѣльческое населеніе увеличилось, по меньшей мѣрѣ, на 15 процентовъ, а такъ-какъ при первоначальномъ надѣлѣ многіе получили даровой надѣлъ, т. е. одну четверть нормальнаго, то расчетъ князя Васильчикова можно признать далеко не преувеличеннымъ. По заявленію князя Васильчикова, все это прибылое, и прежде недостаточно надѣленное, населеніе впало въ совершенную нищету и составляетъ 11 миліоновъ человѣкъ. Они то и ждуть прибавки земли и мечтаютъ или о переселеніи, или о покупкѣ. Думать, что средствомъ, на которомъ остановилось московское земство, можно научить эти 11 мил. агрономіи и замѣнить трехпольный сѣвооборотъ шестипольнымъ—по меньшей мѣрѣ наивно и во всякомъ случаѣ не рекомендуетъ московское земство со стороны его умѣнья понимать правильно нужды народа и государственные интересы. Также наивно думать, чтобы всѣ эти 11 мил. нуждающихся въ землѣ крестьянъ были въ состояніи пріобрѣсти нужныя имъ земли собственными средствами. Г. Андреевскій въ засѣданіи вольно-экономическаго общества.

пользуясь данными «Статистики купли-продажи земли» г. Штейна, сообщил факты покупки крестьянами земли въ новгородской и петербургской губерніяхъ. Оказывается, что крестьянами въ періодъ времени 1867—1877 гг. продано земель 15%, а куплено 28%. Средній размѣръ купленного участка—40 десятинъ, а общее пространство купленной земли составляетъ 73,669 десятинъ. Конечно, землю покупали только зажиточные крестьяне, но едва-ли они могутъ составлять цѣль земства въ этомъ вопросѣ. Что же было сдѣлано для той шестой части населенія, которая, по словамъ князя Васильчкова, «впала въ совершенную нищету»? Г. Андреевскій указалъ на графа Броницаго, пожертвовавшего 250,000 рублей, проценты съ которыхъ къ 1875 году составляли 60,000, и на псковскаго помѣщика Пантелѣва, завѣщавшаго крестьянамъ на выкупъ земель 200,000. Сами крестьяне тоже кое-гдѣ задумали помогать другъ другу, и г. Андреевскій указалъ на четыре сельскіе общественные банка, имѣющіе цѣлью содѣйствовать увеличенію крестьянскаго землевладѣнія. Что-же касается помощи земства, то, какъ извѣстно, она сводится къ нулю.

Въ настоящее время вопросъ заключается въ томъ, какая судьба ждетъ это дѣло въ будущемъ? Пока будущее это рисуется въ очень густомъ туманѣ. Очень можетъ быть, что дѣло разрѣшится въ пользу организаціи порядка въ землевладѣніи и создастся стройность и гармонія, при которой хищническимъ элементамъ не останется мѣста въ сельской общинѣ; но точно также возможно, что это дѣло будетъ предоставлено тому такъ-называемому естественному, а въ сущности ненормальному ходу, который въ немъ господствовалъ до сихъ поръ. Въ какую сторону рѣшится вопросъ—мы пророчить не беремъ. Для насъ ясно только одно, что земство, какъ представительство сельско-хозяйственныхъ интересовъ, не стоитъ на высотѣ своей задачи. Наше земледѣліе и до освобожденія крестьянъ пользовалось репутаціей неумѣлости и агрономической отсталости, а послѣ освобожденія элементъ отсталости усилился еще новой прибавкой—хищниками, которые стали вносить повсюду опустошеніе. Значитъ, земледѣліе упало еще больше. Что-же дѣлаетъ земство, чтобы поднять его? Изъ фактовъ, которые мы привели, оказывается, что изъ пятидесяти земствъ только пять приняли къ сердцу вопросъ о поземельномъ кредитѣ и изъ нихъ лишь одно новгородское отнеслось къ дѣлу активно и искренно. Изъ этого слѣдуетъ заключить, что, пожалуй, не совсѣмъ неправы тѣ, которые увѣряли, что вопросъ о кредитѣ есть вопросъ, выдуманный печатью. Вопросъ этотъ дѣйствительно пока идейный, понятый правильно

лишь людьми, склонными къ проницательному мышленію, а они, конечно, являются прежде всего въ печати. Но печать все-таки не выдумала поземельнаго кредита, она только выдвинула его на очередь. Если изъ пятидесяти земствъ одно взялось серьезно за практическое осуществленіе идеи о поземельномъ кредитѣ, то это служить доказательствомъ лишь черепашьей медленности нашего мышленія и той трудности, съ какой даются намъ всякія новыя мысли, особенно если онѣ имѣютъ своей задачей общественный интересъ. Такимъ образомъ, вопросъ о поземельномъ кредитѣ и расширеніи крестьянскаго землевладѣнія оказывается лишь едва намѣченнымъ и будущая судьба его скрыта непроницаемою мглой.

Отвѣтимъ и еще одну сторону этого дѣла. Для того, чтобы могло совершиться расширеніе крестьянскаго землевладѣнія, нужны деньги, а у земства ихъ нѣтъ. Поэтому всякое земство, которому приходилось разсуждать объ устройствѣ кредита, немедленно устремляло взоры упованія на государственное казначейство. И дѣйствительно, только оно одно въ состояніи сообщить мелкому поземельному кредиту прочность, солидность и силу. Но вопросъ въ томъ: найдетъ-ли министерство финансовъ возможность дать сто-двѣсти миліоновъ на учрежденіе земельныхъ банковъ и насколько земская идея ихъ превратится въ государственную?

Если эти миліоны не явятся, нашъ аграрный вопросъ останется въ положеніи теперешней неустойчивости, съ тенденціей къ выѣдренію въ сельское хозяйство всякихъ постороннихъ хищниковъ, которые доведутъ его до кризиса. Но такъ-какъ вопросъ этотъ не изъ такихъ, чтобы могъ совершенно замолкнуть и исчезнуть, то очевидно, что если современные дѣятели, стоящіе во главѣ земскихъ интересовъ, не возьмутъ на себя задачи распутать воцарившуюся земледѣльческую неурядицу, то они только взвалятъ ее на своихъ внуковъ, у которыхъ, конечно, будетъ довольно и своего дѣла и которые ужь, разумѣется, не поблагодарятъ насъ за такое непрошенное наслѣдіе.

Н. Ш.

ЗАМѢТКИ „О ТОМЪ, О СЕМЪ“.

ЛИТЕРАТОРСКАЯ МЕЛАНХОЛІЯ.

(Посвящается преимущественно редакціи „Отечественныхъ Записокъ“.)

I.

Читателя, любящаго точность, опредѣленность и пунктуальность, прошу не читать моихъ замѣтокъ. Самое уже заглавіе ихъ показываетъ, что я не намѣренъ придерживаться въ этомъ бѣгломъ очеркѣ никакой точности, опредѣленности и пунктуальности—ни въ выборѣ предмета, ни въ изложеніи его. Назвавъ его «замѣтками о томъ, о семъ», я въ сущности никакъ его не назвалъ. Что это такое «то и се»?—безсмыслица и больше ничего. Совершенно вѣрно. Но за то эта безсмыслица, эта нелѣпость ничѣмъ меня не ограничиваетъ, ничѣмъ не стѣсняетъ, не ставитъ никакихъ предѣловъ и преградъ свободному (въ смыслѣ, конечно, психологическомъ, а не какомъ-нибудь другомъ!) теченію моей мысли. А говоря по правдѣ, я съ большимъ удовольствіемъ готовъ примириться съ безсмыслицей, лишь бы она не ограничивала меня какими-нибудь ужь слишкомъ тѣсными рамками.

Конечно, какое бы заглавіе я ни далъ моимъ замѣткамъ, во всякомъ случаѣ я долженъ буду укладывать свою мысль въ извѣстные и довольно даже тѣсные предѣлы. Но предѣлы эти не отъ меня зависятъ и не мною опредѣлены. Я имъ подчиняюсь и не ропщу на нихъ, потому что они имѣютъ въ глазахъ всѣхъ благомыслящихъ людей—а слѣдовательно, и въ моихъ собственныхъ—такое-же роковое значеніе, какъ градъ, морозъ, эпидемія и тому подобныя, болѣе или менѣе неотразимыя «явленія природы». Да, противъ нихъ я ничего не имѣю; они предопредѣлены, такъ сказать, самой природой или, выражаясь вульгарнѣе,

самимъ рожномъ, а «противъ рожна какъ прати»? Но бѣда въ томъ, что люди вообще, а пишущая братія въ частности, не ограничиваются обыкновенно одними лишь этими, отъ ихъ воли независящими, предѣлами. Имъ кажется ихъ мало. Они сами изобрѣтаютъ себѣ разные новые предѣлы, сами съ добросовѣстностью юныхъ кормилицъ опутываютъ себя всевозможными свивальниками, а затѣмъ сами же и взываютъ о снисхожденіи: «и хотѣлъ бы доползти и до того, и до сего, да видите, никакъ не могу: ужь очень крѣпко связанъ пеленками». И вѣдь не видитъ добродушный человѣкъ, что добрую часть пеленокъ онъ самъ на себя напуталъ, большую часть предѣловъ самъ на себя намоталъ.

Не желая самъ на себя накладывать добровольныхъ пеленокъ, я потому-то и выбралъ для своихъ замѣтокъ такое заглавіе, которое по своей неопредѣленности и, если хотите, безсмысленности ни къ чему меня не обязываетъ и ничѣмъ не связываетъ. О чемъ хочу и какъ хочу (конечно, не забывая предустановленныхъ предѣловъ), о томъ и буду говорить; ни сюжета, ни способа изложенія, ни пунктовъ и параграфовъ не опредѣляю. Предоставляю себѣ полную свободу и даже нѣкоторое своевольство, конечно, въ предоставленныхъ предѣлахъ... Ахъ, читатель, какъ бы ни были тѣсны эти предѣлы (и даже чѣмъ тѣснѣе, тѣмъ лучше), но чувствовать себя свободнымъ и своевольнымъ, хотя-бы даже въ ихъ тискахъ, ужасно какъ пріятно! Мнѣ хочется испытать хоть разъ это пріятное чувство, а потому, надѣюсь, вы великодушно извините меня, что мои замѣтки не будутъ имѣть никакой опредѣленной задачи, а будутъ просто «замѣтками о томъ, о семъ».

Я знаю, что критикъ серьезный и пунктуальный можетъ строго замѣтить мнѣ, что съ читателями нельзя такъ халатно обращаться; начиная съ ними бесѣду, надо заранѣе предупредить ихъ, о чемъ именно желаетъ авторъ съ ними бесѣдовать; нельзя же такъ безцеремонно посягать на ихъ драгоценное время и прямо говорить, что буду-де съ вами толковать о чемъ и какъ хочу! Нѣтъ-съ, скажите предварительно, о чемъ именно, какъ, а то, чего добраго, вы вздумаете угощать насъ такимъ винигретомъ, котораго мы и кушать не станемъ. «Что-же намъ и время, и деньги понапрасну терять? «О томъ, о семъ» можно толковать въ своемъ кабинетѣ, среди пріятелей, а не въ литературѣ-съ! Въ литературѣ необходимы точность, опредѣленность и пунктуальность; безъ нихъ никакъ нельзя!»

Если хотите, чтобы не спорить (Богъ съ ними съ этими спорами!), я готовъ согласиться съ серьезнымъ и пунктуаль-

нымъ критикомъ, что говорить просто «о томъ, о семъ» гораздо приличнѣе въ домашнемъ кабинетѣ, среди своихъ, чѣмъ въ печати. Однако, серьезный и пунктуальный человекъ упускаетъ при этомъ изъ виду одно небольшое обстоятельство, правда, временное и преходящее, но тѣмъ не менѣе реально существующее и очень часто о себѣ напоминающее. Дѣло въ томъ, что когда я бесѣдую «о томъ, о семъ» у себя дома, въ кругу своихъ, или даже просто самъ съ собою, то вѣдь я ничѣмъ не гарантированъ отъ разныхъ превратныхъ толкованій моихъ мыслей... со стороны кухарки, лакея, ламповщика и иныхъ домашнихъ блюстителей моихъ нравовъ. Но какъ только я начинаю бесѣдовать «о томъ, о семъ» въ литературѣ—этого уже случиться не можетъ; тутъ дѣло ведется на-чистоту и никакія превратныя толкованія уже болѣе невозможны.

Вотъ вамъ еще причина, почему я беру на себя смѣлость бесѣдовать съ вами, читатель, безъ всякой опредѣленной программы и строго-обведенныхъ рамокъ, — бесѣдовать просто «о томъ и о семъ». Для начала я хочу потолковать съ вами о нѣкоторомъ довольно знаменательномъ фактѣ, обнаруженномъ г. Марковымъ въ серединѣ и статированномъ г. Щедринымъ въ концѣ прошлаго года. Фактъ этотъ можетъ быть охарактеризованъ словами: «меланхолія литераторовъ». Когда я говорю «литераторы», то я, конечно, не имѣю въ виду червонныхъ валетовъ, взявшихъ на себя роль публицистовъ и руководителей газетной прессы со всѣми ея отбѣнками и развѣтвленіями; нѣтъ, я говорю о настоящихъ, заправскихъ литераторахъ. Они-то и начинаютъ впадать въ меланхолію и, какъ результатъ этой меланхоліи, у нихъ начинается проявиться сознание: да не лучше-ли и не приличнѣе-ли положить перо и ликвидировать литературныхъ дѣлъ мастерство? Согласитесь, если меланхолія можетъ привести къ такому сознанию, то это уже штука немаловажная и о ней стоитъ немножко побесѣдовать.

II.

Первый, насколько помнится, заговорилъ о меланхолическомъ настроеніи россійскихъ литераторовъ всюду поспѣвающій, всюду пролѣзающій и обо всемъ съ одинаковою развязностью болтающій г. Евг. Марковъ — эта квинтъ-эссенція литературной болтовни, разбавленная пачудею мордовско-боборыкинскаго слюнотечения. Какъ кажется, онъ первый усмотрѣлъ и кому слѣдуетъ доложить объ уныломъ тонѣ отечественной, т. е. пе-

тербургской, критики и белетристики. Не одобряя такого тона, какъ совершенно несвойственнаго душевной чистотѣ и непорочности, критикъ «Русской Рѣчи» настоятельно приглашалъ гг. литераторовъ «воспарить духомъ», «подтянуться», «удыбнуться» и «голову держать бодро». Разумѣется, необходимость рекомендуемаго «воспаренія духомъ» и «бодрого держанія головы» объяснялась и оправдывалась со стороны публицистовъ à la Евгений Марковъ любовью къ отечеству и патриотизмомъ, такъ-что «унылость» получала съ этой точки зрѣнія характеръ весьма предосудительный и опасный.

Но съ какимъ бы ехиднымъ или благонамѣреннымъ умысломъ ни ввоздилось обвиненіе въ уныніи на всю литературу, что-же она можетъ представить въ свое оправданіе? Въдъ не можетъ-же г. Достоевскій въ оправданіе усмотрѣнной въ немъ г. Марковымъ ипохондрической меланхоліи или меланхолической ипохондріи сослаться на то, что, молъ, «жена моя выкинула», или г. Щедринъ — объяснять свою «тоску» зубной болью, или г. Тургеневъ—свое песимистическое настроеніе (если таковое у него имѣется, какъ полагаютъ нѣкоторые критики) его негодованіемъ противъ обличенія извѣстнаго Болеслава Маркевича. Самый безграмотный и тупосоображающій блюститель «чистоты разныхъ мѣстъ и обывательскихъ нравовъ» и тотъ сейчасъ-же пойметъ, что подобныя оправданія и ссылки рѣшительно ни съ чѣмъ несообразны, совершенно неумѣстны и что они дѣлаются только такъ... «для отвода глазъ». Каждый догадается, что литераторы просто отвиливаютъ, «хвосты прячутъ» и что партикулярныя причины въ данномъ случаѣ никакой роли не играютъ, играть не могутъ, а главное и не должны играть. Сфера воздѣйствій причинъ партикулярныхъ никогда не можетъ и не должна выходить за предѣлы частной и домашней жизни обывателя. Свою домашнюю тоску онъ долженъ оставлять подъ замкомъ, дома, а не таскать ее за собою въ мѣсто своего «общественнаго служенія». Въ сіи мѣста онъ долженъ явиться при формѣ, съ видомъ бодрымъ, неунывающимъ, съ улыбкою на устахъ. Истина эта даже и для простыхъ умовъ, неискушенныхъ еще опытомъ «блюстителей», весьма удобопонятна и легко объяснима. А что-же послѣ этого сказать о «блюстителяхъ», «сквозь огонь и мѣдныя трубы пролѣзшихъ, огонь утѣшившихъ и мѣдныя трубы въ дребезги разбившихъ»? Имъ ужъ господа литераторы и зайкнуться-то не посмѣютъ ни о какихъ партикулярныхъ причинахъ, ни о Маркевичахъ обличающихъ, ни о fausses couches, ни о зубной боли. Нѣтъ, имъ

сейчасъ подавай и выкладывай причины общія... извѣстно, какъ они любятъ обобщенія!

Но вѣдь если существуютъ какія-нибудь общія причины для литераторской меланхоліи, то, значить, литераторское дѣло въ самомъ дѣлѣ обстоитъ не совсѣмъ благополучно; значить, въ литературномъ вертоградѣ завелся какой-нибудь негодный червякъ, какая-нибудь филлоксера, въ корни подтачивающіе литературныя лозы. Что-же это за червь, что это за литературная филлоксера? И гдѣ она могла пріютиться? Гдѣ бы, кажется, и ютится разнымъ червямъ, гадамъ и паразитамъ, какъ не среди гнили, разложенія и душающихъ міазмовъ современной газетной прессы? Но газетная пресса не только не унываетъ и никакой меланхоліи не ощущаетъ, но, напротивъ, она ликуетъ, неистово гогочетъ и, гордо подперевъ руки въ бока, весело и беззаботно пляшетъ какой-то малабарскій танецъ, и «клоунамъ» этой прессы не до скуки: они завалены работой, точно лавочки на базарѣ, отъ нихъ только и слышишь: что продается? почему? нельзя-ли подешевле? кто меня купитъ? надбавьте пятакъ! Не зѣвай,—лови пятакъ! Вотъ еще пятакъ, и еще, а тамъ отыщется и другой! Ищи пятаковъ! Лови, лови пятаки! Пятакъ — тутъ все! Въ пятаки обратились всѣ человѣческія мысли и убѣжденія, вѣрованія и идеалы, человѣческая честь, свобода, жизнь, все, что только есть въ человѣкѣ самаго святого и все, что только есть въ немъ самаго мерзкаго—все здѣсь принимаетъ форму этой мѣдной и малоцѣнной монеты. И около нея, и ради нея, и изъ-за нея, и за нею все вертится и кружится въ какомъ-то бѣшено-разнузданномъ ликованіи. Гдѣ-же тутъ скучать? Еслибы и пришла охота, такъ не успѣешь, или, хуже, пятакъ потеряешь!

Значить, не въ этомъ мірѣ изболтавшейся прессы свилъ себѣ гнѣздо червякъ меланхоліи; онъ прокрался, очевидно, въ какіе-то уединенные, укромные уголки литературнаго вертограда, въ тѣ уголки, на которые, если вѣрить газетнымъ блудницамъ, публика наша въ настоящее время и вниманія-то никакого не обращаетъ, къ которымъ она относится съ нескрываемымъ и полнѣйшимъ не то презрѣніемъ, не то равнодушіемъ. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что замѣтить и открыть червяка меланхоліи было довольно трудно. Сознаюсъ, что и я, грѣшный человѣкъ, занятый, подобно большинству другихъ грѣшныхъ читателей, созерцаніемъ обнаженныхъ и въ достаточной-таки степени истасканныхъ прелестей газетныхъ блудницъ, ничего не замѣчалъ и никакой предосудительной меланхоліи въ господахъ литераторахъ не усматривалъ. Пишутъ, казалось, какъ всегда: не очень бойко,

не очень ясно, черезчуръ пространно, но гладко и благородно. Зацѣпогъ никакихъ; конечно, не безъ нѣкоторой тоскливости, но всёмъ извѣстно, что тоскливость обязательна и отъ воли и душевнаго настроенія пишущаго нисколько не зависитъ. Такъ что когда даже г. Марковъ открылъ червя и пригласилъ господъ литераторовъ, во имя любви къ отечеству и по долгу присяги, ободриться и не унывать, я ему не повѣрилъ и приписалъ его открытіе весьма естественному желанію «отличиться» къ новому году. И не я одинъ не повѣрилъ: и Пьеръ Боборыкинъ, и Буренинъ не повѣрили, а ужъ на что чуткіе люди!

Но я ошибался; конечно, я объясняю эту ошибку не столько недостаткомъ проницательности съ моей стороны, сколько черезчуръ ужъ «свободными движеніями» и безстыдными заигрываніями газетныхъ клоуновъ. Глядя на ихъ развеселія, хотя и значительно подбитыя рожи, можетъ-ли придти въ голову, что тутъ же, въ этомъ самомъ увеселительномъ домѣ, прозябаютъ гдѣ-то въ уголкахъ угрюмые, скучающіе люди, въ которыхъ гнѣздится червь меланхоліи!

И, однако, такіе люди, дѣйствительно оказались въ увеселительномъ домѣ. Уличенные въ «уныніи», они не стали вилить хвостомъ (какъ я совѣтовалъ это сдѣлать моему пріятелю, уличенному въ томъ-же проступкѣ блюстителемъ чистоты разныхъ мѣстъ и обывательскихъ нравовъ), не стали отказываться отъ своего «унынія» и клятвенно завѣрять, что имъ «очень весело», что они совершенно довольны и бодры. Нѣтъ, они не только открыто сознались въ своемъ уныніи, но и поставили его себѣ въ заслугу.

Сомнѣваться долѣе въ существованіи червяка стало уже невозможнымъ. Сами люди, поѣдаемые имъ, заговорили. Слушайте же!

III.

Авторъ «Литературныхъ замѣтокъ» («Отеч. Зап.», № 12), обращаясь къ господамъ борзописцамъ, „ни о чемъ несумнящимся“, самодовольно ликующимъ и прикрывающимъ свою сердечную и умственную пустоту маской какой-то «объективной научности», приглашаетъ ихъ немножко посбавить своей спѣси и посыпать главу лепломъ. «Право, господа, говорить онъ имъ,—вы даже хуже насъ грѣшныхъ, потому что мы вотъ, по крайней мѣрѣ, тоскуемъ. Скучно оно, конечно, и читателю скучно, и намъ вдвойнѣ, но, по крайней мѣрѣ, эта скука свидѣтельствуетъ о томъ, что мы не утратили способности воспринимать

впечатлѣнія изъ внѣшняго міра» (стр. 203). Слѣдовательно, изъ «внѣшняго міра» получаютъ одни только впечатлѣнія тоски и скуки.

Въ той-же книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» другой писатель,—писатель, отличающійся необыкновенною чуткостью ко всякаго рода «вѣяніямъ» и «настроеніямъ» минуты,—точно также статируетъ, какъ фактъ, что «уныніе, почти граничащее съ безнадежностью, какая-то «пригнетенность» пришли къ намъ сами собою. «Не я одинъ признавалъ себя пригнетеннымъ (въ прошломъ году), но всякій, въ комъ злоба дня не до конца притупила способность мыслить. И, разумѣется, въ томъ числѣ сознавала себя пригнетенною и литература» (стр. 239).

«Не бутоньерку въ петлицу надо сажать, восклицаетъ авторъ «Литературныхъ замѣтокъ», — а разодрать одежды свои, посыпать пепломъ голову, проще и безъ аллегоріи говоря, — бросить перо...» (стр. 196).

Къ тому же скорбному выводу приходитъ и г. Щедринъ. «Во имя чего, зачѣмъ писать? Зачѣмъ заниматься ремесломъ «проведенія принциповъ», ремесломъ, ставшимъ теперь дѣломъ почти безнравственнымъ?» «Ужели, продолжаетъ онъ, — во имя того и за тѣмъ, чтобы ѣсть хлѣбъ и въ то же время защищать свою шкуру, и чтобы имѣть легкомысленное удовольствіе сказать: «живъ курилка, не умеръ!» Но вѣдь это-то именно и омерзительно!» (стр. 238).

Но хотя это и «омерзительно», хотя червь унынія до такой степени подточилъ насъ, что мы хочешь-не-хочешь, а должны сознаться въ невозможности нести на себѣ долѣе ярмо «ремесла проведенія принциповъ», въ необходимости «бросить перо», но вѣдь ни снять съ своей выи этого ярма, ни бросить этого пера мы никакъ не можемъ. Таковъ ужъ нашъ печальный фатумъ, и въ этомъ опять-таки вполне согласны между собою и авторъ «Литературныхъ замѣтокъ», и авторъ «1 ноября. 1 декабря». «Да, бросить перо, говорить первый изъ нихъ,—почти невозможно, или, по крайней мѣрѣ, это такъ больно, такъ трудно, что десять разъ остановишься на этомъ рѣшеніи и все-таки не отойдешь... Въ чемъ тутъ дѣло, ужъ я этого не знаю: въ надеждѣ ли, этой, по словамъ поэтовъ, «кроткой посланницѣ небесъ» и которая оказывается по временамъ «пустою и глупою шуткою»; въ привычкѣ ли періодически терзаться мученіями незавершенной мысли... или просто въ боязни остаться безъ куска хлѣба?...» (стр. 196). По мнѣнію второго автора, невозможность для тоскующаго литератора прекратить литературное ремесло обуславливается четырьмя причинами: 1) тѣмъ, что никакой

трудъ такъ не привлекателенъ, какъ умственный, и называться литераторомъ все-таки лучше, чѣмъ слыть партикулярнымъ, шлющимся человѣкомъ; 2) тѣмъ, что занятіе литературою создаетъ извѣстныя привычки, связи и обстановку, нарушить которыя не только трудно, но и мучительно; 3) тѣмъ, что даже и разработка того пустяжнаго матерьяла, который доступенъ литературѣ, представляетъ нѣкоторый сложный, а потому и весьма заманчивый умственный процессъ и постоянно подстрекаетъ человѣческую любознательность или, въ крайнемъ случаѣ, хотъ просто любопытство; и, наконецъ, 4) тѣмъ, что писательство, какъ ни на есть, а все-же даетъ хлѣбъ (стр. 237).

Впрочемъ, по мнѣнію автора «Литературныхъ замѣтокъ», вопросъ о хлѣбѣ никакой существенной роли тутъ не играетъ. «Писать изъ-за куска хлѣба, справедливо замѣчаетъ онъ,—такъ же постыдно и унижительно, какъ и священнику священнодѣйствовать». Да притомъ-же, продолжаетъ онъ далѣе,—неужели-же мы, тоскующіе литераторы, лыкомъ шиты: перестали получать полистную или построчную плату, такъ и клади зубы на полку? Развѣ мы не можемъ, подобно другимъ членамъ общества, просвѣщать, администрировать, защищать, обвинять, осушать болота, углублять рѣки, строить мосты, проводить желѣзныя дороги, брать подряды и концесіи, или-же, наконецъ, съ разрѣшенія кого слѣдуетъ, шить сапоги, печь хлѣбы, возить навозъ и т. п.? Не боги-же, въ самомъ дѣлѣ, горшки обжигаютъ! Да кромѣ того, развѣ русскіе писатели (не говоря уже о титулованныхъ, вродѣ Вяземскихъ, Толстыхъ, Сологубахъ, Васильчиковыхъ и т. п., они въ счетъ не идутъ) развѣ, спрашиваю я, русскіе писатели давнымъ давно не доказали и до сихъ поръ ежедневно не продолжаютъ доказывать свою несомнѣнную способность ко всякаго сорта «практическимъ художествамъ и ремесламъ»? Развѣ они умѣютъ «мазать только бумагу», сочинять драмы, романы, исторіи, критическія и публицистическія статьи, пѣть сонеты, оды и элегіи, а не умѣютъ такъ-же хорошо администрировать, судить, «хозяйничать въ деревнѣ», на «фабрикахъ» и «заводахъ», строить мониторы, осушать болота, углублять рѣки, брать подряды и концесіи, распространять просвѣщеніе, «пускать въ оборотъ капиталы» и т. п.? О, помилуйте, они на всѣ руки. Утромъ они будутъ съ такимъ-же усердіемъ заниматься кастрированіемъ собственныхъ одъ, элегіи и романовъ, съ какии сами-же писали ихъ вечеромъ. Имъ такъ-же легко скропать публицистическую статью въ самомъ либеральномъ духѣ, какъ и составить сотни прошеній, сообщеній, докладныхъ записокъ и всякихъ апелляціонныхъ, касационныхъ и иныхъ жалобъ. Сегодня они зарабатываютъ

«хлѣбъ насущный» съ помощью крестьянскихъ «потравъ», «недоимокъ», «обрѣзковъ», питейныхъ сборовъ, подушныхъ и всякихъ иныхъ налоговъ, а завтра — съ помощью «шопота, ропота, тихаго дыханія, тредей соловья» и тому подобныхъ писательскихъ упражненій. Вообще россійскій писатель почти никогда не бываетъ только писателемъ, онъ не специалистъ своего ремесла, и его должности не присвоено никакого особаго мундира. Онъ носить съ одинаковымъ шикомъ мундиры всѣхъ вѣдомствъ, не исключая вѣдомства полиціи. Нужно-ли приводить примѣры, перечислять фамиліи? О, разумѣется, не стоитъ труда! Читающая публика на этотъ счетъ такъ-же хорошо просвѣщена, какъ и публика пишущая. И г. Щедрина это, конечно, извѣстно лучше, чѣмъ кому-нибудь, или, по крайней мѣрѣ, лучше, чѣмъ очень многимъ... Поэтому ему не слѣдуетъ указывать на вопросъ о хлѣбѣ, какъ на одну изъ четырехъ причинъ, препятствующихъ писателю «сломать перо» и прекратить «почти безнравственное «ремесло» проведенія принциповъ. Авторъ «Литературныхъ замѣтокъ» вполне правъ, считая этотъ вопросъ, въ данномъ случаѣ, совершенно неважнымъ и несущественнымъ. Повѣрьте, совсѣмъ не литературнымъ хлѣбомъ живетъ большинство нашихъ важныхъ и не важныхъ писателей, а тѣ немногіе, которые волею судебъ вынуждены ограничиваться однимъ только имъ, не очень-то раздобрѣютъ отъ него, и весьма сомнительно, чтобы подобная діета могла кого-нибудь привязать къ писательскому ремеслу. Да, не сладокъ этотъ хлѣбъ... а почему не сладокъ—есть тому много причинъ, но распространяться о нихъ не стоитъ... ибо: «не нами заведено, не нами и кончится!...»

Итакъ, «хлѣбъ» можно оставить въ сторонѣ. Не онъ мѣшаетъ намъ, дошедшимъ до сознанія «безнравственности» и «омерзительности» писательскаго ремесла, «сломать перо». Остаются, значить, только три или, лучше сказать, двѣ (между первой и третьей нѣтъ существенной разницы) первыя причины: 1) привлекательность, заманчивость умственнаго труда; 2) извѣстныя, создаваемые имъ привычки, связи, обстановка и проч.

Что касается послѣдней причины, обстановки, связей, то несостоятельность ея очевидна съ перваго взгляда. Если ваши привычки, связи и обстановка не соответствуютъ или даже прямо противорѣчатъ требованіямъ вашего нравственнаго достоинства, вашимъ понятіямъ о чести, то вы во что бы то ни стало и какъ бы это ни было вамъ больно, должны отказаться отъ нихъ, измѣнить, передѣлать ихъ. Ремесло воровъ, мазуриковъ и всякаго рода червонныхъ валетовъ тоже создаетъ имъ извѣстныя привычки, связи, обстановку, но отсюда еще не слѣдуетъ,

чтобы вору и мазурику когда-нибудь было поздно исправляться. «Почти безнравственное», «омерзительное» ремесло, очевидно, можетъ привить вамъ однѣ лишь безнравственныя и омерзительныя привычки,—это безспорно. Но упорствовать въ этомъ ремеслѣ, ссылаясь на привычки, и упорствовать въ привычкахъ, ссылаясь на ремесло,—это довольно бессмысленно и совсѣмъ ужъ не честно... Итакъ, и эту вторую причину можно и должно похерить. Остается одна первая.

Конечно, умственный трудъ, прилагаемый даже къ разработкѣ «пустяковъ», яйца выдѣннаго нестоющихъ, представляетъ большую заманчивость и имъ нерѣдко можно увлечься не только до самозабвенія, но даже до умопомраченія. Но, во-первыхъ, не одинъ-же писательскій трудъ есть по преимуществу умственный трудъ. И я не знаю, когда больше трудится Феть (беру нарочно человѣка самаго безобиднаго и всѣми забытаго, дабы не задѣть какъ-нибудь не «забытыхъ» и не «безобидныхъ»): тогда-ли, когда онъ изобрѣтаетъ хозяйственные способы «уловленія» крестьянскихъ гусей, куръ, коровъ и лошадей, или когда онъ сочиняетъ «ропотъ, шопотъ, тихое дыханье, трели соловья»? Когда покойный Громека напряженнѣе трудился умственно: когда онъ отправлялъ свою полицейскую службу или когда онъ сочинялъ свои грозныя филипики противъ разныхъ юношескихъ увлеченій?

Это во-первыхъ. А во-вторыхъ, почему одному только исключительно умственному труду предоставлять привилегію насчетъ заманчивости и привлекательности? Всякій трудъ вообще можетъ предъявить на нее свои права; всякій трудъ вообще можетъ быть и привлекателенъ, и заманчивъ... пока онъ не утомителенъ и не принудителенъ. Вотъ еслибы можно было доказать, что изъ всѣхъ трудовъ литературный наиболѣе свободенъ, тогда другое дѣло! Но вѣдь доказать этого нельзя, потому что это не правда. Мы не вольныя пташки, которыя могутъ свободно и безпрепятственно распѣвать, гдѣ, когда и какъ намъ вздумается. Хотимъ не хотимъ—мы обязаны тянуть свою ляжку, мы не можемъ добровольно выбиться изъ общей колеи и объявить себя внѣ всякихъ предѣловъ и ограниченій.

Значить, опять-таки не это причина, не особая привлекательность и заманчивость писательскаго ремесла привязываетъ насъ къ нему... Тутъ есть, очевидно, что-то другое. Но что-же?

«Уваженіе», которое, по словамъ автора «1 ноября. 1 декабря», будто бы присвоено званію писателя? Или «надежда», «кроткая посланница небесъ», о которой упоминаетъ авторъ «Литературныхъ замѣтокъ»? Но, Боже мой, какое-же особое

уваженіе присвоено нашему званію? Одни на насъ смотрятъ, какъ на паріевъ, у которыхъ нѣтъ ни опредѣленнаго имени, ни общественнаго положенія; наиболѣе къ намъ благосклонные— какъ на невинныхъ шутовъ и забавниковъ, необходимыхъ во всякомъ цивилизованномъ обществѣ, а потому долженствующихъ быть, хотя-бы ради только проформы, терпимыми. Даже на официальныхъ бумагахъ и всякаго рода документахъ мы не имѣемъ права именовать себя титуломъ писателя. «Что такое писатель? Вы толкомъ скажите, кто вы такой? Какъ васъ назвать?» Каждый «партикулярный, шлющійся человекъ», занимающійся хоть какимъ-нибудь ремесломъ, только не писательскимъ, особенно, если занимающее его ремесло сопряжено съ окладами, дивидендами, рентами, пенсіонами, посуточными, проѣздными и иными прелестями, чувствуетъ себя гораздо болѣе на своихъ ногахъ, гораздо въ болѣе опредѣленномъ и авантажномъ положеніи, чѣмъ писатель. Къ нему и относятся-то всѣ съ несравненно большею благосклонностью и большимъ довѣріемъ, чѣмъ къ послѣднему. Такъ-что объ уваженіи лучше ужъ и не говорить...

Остается «надежда», «кроткая посланница небесъ», но самъ же авторъ «Литературныхъ замѣтокъ» говоритъ, что «надежда»— это не болѣе, какъ «глупая и пустая шутка». Не дѣти-же мы, въ самомъ дѣлѣ, чтобы тѣшить и убаюкивать себя подобными шутками! Итакъ, и «надежда» тутъ не причемъ. Но если ни надежда, ни уваженіе, ни заманчивая увлекательность писательскаго ремесла, ни вопросъ о кускѣ насущнаго хлѣба не играютъ никакой существенной роли въ нашей привязанности къ этому ремеслу, то какъ и чѣмъ объяснить себѣ эту привязанность? Почему мы не ломаемъ нашихъ перьевъ и продолжаемъ, тоскуя и брюзжа, тянуть нашу ляжку, хотя и сознаемъ, что это «омерзительно» и «почти безнравственно»?

IV.

Зачѣмъ? Почему? Видите-ли, я не присяжный литераторъ, я только отчасти соприкосновененъ къ литературѣ и даже въ этой моей съ нею соприкосновенности я иногда сомнѣваюсь, такъ-какъ мои собратья по писательству самымъ рѣшительнымъ образомъ отрицаютъ ее (т. е. соприкосновенность), клятвенно завѣряя, что я, по своему невѣжеству, нахальству и по преслѣдующимъ меня неудачамъ, недостойнъ воздѣлывать бокъ-о-бокъ съ ними гряды вертограда россійской словесности. Можетъ быть,

это и правда. Но какъ-бы то ни было, одинъ уже только фактъ сомнѣнія въ моей соприкосновенности съ литературою ясно показываетъ, что я не могу и не долженъ считать себя достаточно компетентнымъ судьей въ рѣшеніи вопроса, только-что поставленнаго мною въ концѣ предыдущей и въ началѣ настоящей главы. Я могу только высказать по его поводу нѣкоторое партикулярное мнѣніе и скромно предоставить его на судъ и сужденіе людей, болѣе меня компетентныхъ. Мнѣніе мое можетъ быть формулировано въ весьма простой формѣ: мнѣ кажется, что мы, писатели, «дошедшіе до сознанія» и не «утратившіе способности воспринимать впечатлѣнія изъ внѣшняго міра»... не ломаемъ пера и не прекращаемъ своего ремесла единственно потому только, что... «куда ни кинь — все клинъ». Въ самомъ дѣлѣ, предположимъ на минуту, что я, или авторъ «Литературныхъ замѣтокъ», или авторъ «1 ноября. 1 декабря», сломали свое перо, совлекли съ себя писательскую тогу (которой, впрочемъ, мы не имѣемъ, такъ-какъ нашему званію никакого мундира не присвоено) и облеклись въ мундиры того или другого вѣдомства, нацѣпили на свои шеи судейскія цѣпи, пришили къ своимъ фракамъ разные «значки», принялись за осушеніе болотъ, углубленіе рѣкъ, постройку мостовъ, мониторинговъ, больницъ, поставку рельсовъ, сухарей, сапоговъ, насажденіе просвѣщенія, оживленіе отечественной торговли и промышленности, или даже просто за печеніе хлѣбовъ, очистку ретирадныхъ мѣстъ и возку навоза: будемъ-ли мы чувствовать себя бодрѣе и удовлетвореннѣе? Перестанутъ-ли насъ мучить неотвязные вопросы: зачѣмъ, во имя чего и для чьей пользы мы работаемъ? Какой толкъ выйдетъ изъ нашей работы? Не топчемся-ли мы, какъ бессмысленные манекены, все на одномъ и томъ-же мѣстѣ? Или, что еще хуже, не помогаемъ-ли мы своимъ трудомъ нашимъ врагамъ, не тѣсимъ-ли мы, не топчемъ-ли мы въ грязь нашихъ друзей? Если заниматься писательскимъ ремесломъ единственно изъ-за куска хлѣба такъ-же безнравственно и омерзительно, какъ и священнодѣйствовать ради «ожидаемой мзды», то нельзя-ли сказать того-же самаго и о всякомъ ремеслѣ, о всякомъ трудѣ? Если безнравственно и омерзительно работать исключительно въ пользу своихъ личныхъ интересовъ на одномъ какомъ-нибудь поприщѣ общественно-полезной дѣятельности, то я думаю, что настолько-же это будетъ безнравственно и омерзительно и на всѣхъ остальныхъ. Это очевидно, какъ дважды-два — четыре. Поэтому, на какомъ бы поприщѣ мы ни работали, вездѣ мы будемъ чувствовать тоже самое стремленіе «къ проведенію принциповъ», которое обу-

реваетъ насъ и на писательскомъ поприщѣ. А между тѣмъ, если на писательскомъ поприщѣ «ремесло проведенія принциповъ, говоря словами Щедрина, — опутано тонкою, непроницаемою сѣтью безчисленныхъ околичностей, что оно становится дѣломъ почти безнравственнымъ», то нѣтъ никакихъ резонныхъ основаній предполагать, чтобы на другихъ поприщахъ оно было обставлено болѣе выгодными условіями. Слѣдовательно, на всѣхъ возможныхъ поприщахъ дѣятельности мы можемъ испытать тѣ-же самыя ощущенія, ту-же «тоску, доходящую до безнадежнаго отчаянія», которыя испытываемъ и теперь на литературномъ поприщѣ. Въ какіе бы мундиры мы ни рядились, къ какому бы званію себя ни причисляли, въ какому бы ремеслу ни пристраивались, вездѣ неотступно, по пятамъ за нами будетъ ползти «червь поѣдающей насъ нынѣ меланхоліи». Значитъ, ломать пера не стоитъ и не изъ-за чего. Что за удовольствіе «изъ кулья попасть въ рогожку», изъ «огня да въ полымя»!

Нѣтъ, ужъ если мы на писательскомъ поприщѣ не можемъ освободиться отъ этого червя, то и ни на какомъ другомъ не освободимся. Но вѣдь нужно отъ него освободиться. Онъ подтачиваетъ нашу энергію, сушитъ наши мозги, онъ, по словамъ г. Щедрина, заставляетъ насъ съ безнадежнымъ отчаяніемъ опускать руки. Но какъ отъ него освободиться, въ нашей-ли это волѣ?

Прежде, чѣмъ пытаться рѣшить эти вопросы, нужно взглянуть въ «корень вещи», какъ выражается мой старый писательскій собратъ г. Страховъ. Заглянемъ въ «корень», т. е. поищемъ причины возникновенія и развитія подтачивающаго червя. Конечно, лично я для подобныхъ поисковъ человѣкъ не компетентный. Пусть ищутъ заправскіе и по части исторіи новѣйшей литературы собаку съѣвшіе литераторы. Имъ и книги въ руки! Пусть ищетъ старѣйшій и знаменитѣйшій изъ нихъ, г. Щедринъ.

Послушайте, какъ объясняетъ онъ въ декабрьской книжкѣ «Отечеств. Записокъ» возникновеніе и повсемѣстное распространеніе червяка литературной меланхоліи.

«Я, увѣряетъ насъ авторъ,³ — не безусловный поклонникъ литературы 40-хъ годовъ»; но тѣмъ не менѣе онъ допускаетъ, что въ одномъ отношеніи, по крайней мѣрѣ, она имѣла рѣшительное преимущество передъ современной, и преимущество это, по его мнѣнію, заключается именно въ томъ, что ее не разѣдала та «кислота унынія», не подтачивалъ тотъ червь меланхоліи и «безнадежной тоски», которые намъ, современнымъ писателямъ, причиняютъ столько мученій и безпокойствъ. Она

была бодрa и самодовольна, она вѣрила въ свои силы, вѣрила въ «чудеса» животворящаго слова и, гордо поднявъ голову, высоко держала свое знамя.

Почему г. Щедрина для сравненія литературы «бодрой» съ литературой «скучающей» понадобилось тревожить литературу 40-хъ годовъ, почему лучше онъ не остановился на литературѣ 60-хъ годовъ,—я не стану здѣсь этого разбирать, это дѣло автора, а не наше съ вами, читатель. Допустимъ на минуту, что констатируемый имъ фактъ вполнѣ вѣренъ, т. е. что, дѣйствительно, литература 40-хъ годовъ отличалась большею бодростью и самоувѣренностью, большею ясностью души и вѣрою въ свои силы, чѣмъ современная. Но чѣмъ же и какъ объясняетъ себѣ «человѣкъ 40-хъ годовъ» эту душевную бодрость и ясность, эту самоувѣренность и это самодовольство своей литературы? Пользовалась-ли она какими-нибудь льготами и преимуществами, которыми не пользуется нынѣшняя? Нынѣшняя, правда, не пользуется никакими особенными привилегіями. Но въ большемъ-ли авантажѣ была первая? Всѣ старожилы даютъ на этотъ вопросъ отрицательный отвѣтъ; отрицательный отвѣтъ даетъ и г. Щедринъ. «Она (т. е. литература 40-хъ годовъ), говоритъ онъ,—не имѣла никакихъ свободъ... она ежечасно изнемогала на прокустовомъ ложѣ всевозможныхъ укорачиваній» (стр. 234). Значитъ, если мы, по выраженію сатирика, «находимся въ состояніи постоянного трепета», то въ такомъ же состояніи находились и наши предшественники. Ихъ такъ же мало баловали (а нѣкоторые полагаютъ, что даже еще меньше), какъ и насъ. Но, несмотря на это, писатели 40-хъ годовъ,—такъ увѣряетъ насъ г. Щедринъ,—«не отказывались отъ своихъ идеаловъ, не предавали ихъ и не говорили себѣ въ утѣшеніе: живъ курилка, не умираетъ!» (ib.); потому-то тогдашняя литература «и оставила по себѣ неизгладимую память, что она была литературой серьезно-убѣжденной» (ib). Дѣло все, значитъ, въ писателяхъ; несмотря, видите-ли, на всѣ укорачиванія, они не отрекались отъ своихъ идеаловъ, не отдавали ихъ врагамъ на поруганіе, глубоко убѣждены были въ ихъ истинности и вѣрили въ ихъ конечное торжество. Эта-то вѣра и наполняла ясностью и бодростью ихъ души и отгоняла отъ нихъ всякую тоску и уныніе. Счастливые были, подумаешь, люди!

Но откуда же они появились и почему они вывелись?

Интеллигентные люди поколѣвія 40-хъ годовъ, по словамъ самаго г. Щедрина, были люди, по преимуществу страдавшіе раздвоенностью и двоегласіемъ. Съ одной стороны, слабые лучи цивилизаціи, пробивъ толстую кору рутины и домостроевскихъ

предразсудковъ, плотно облежавшую ихъ умы, «вызвали въ этихъ умахъ нѣкоторое броженіе, результатомъ котораго явилось нѣкоторое недовольство реальными условіями окружающей ихъ жизни и нѣкоторое идеальное стремленіе къ другимъ, лучшимъ условіямъ, обѣщавшимъ большее удовлетвореніе вновь возникшимъ потребностямъ ихъ пробудившагося разсудка. Съ другой стороны, ихъ личные интересы, ихъ привычки, ихъ инстинкты и похоти заставляли ихъ крѣпко, обѣими руками, держаться за тѣ реальныя условія, которыя перестали удовлетворять идеальнымъ стремленіямъ ихъ душъ. «Душа», такимъ образомъ, тянула ихъ въ одну сторону, а «плоть»—въ другую. Душа шептала имъ: «брось! плюнь!» а плоть увѣщевала «примириться и поцѣловать!» «Думай о капиталѣ, — безъ него не проживешь!» говорила одна. «Блюда и сохраний свою невинность—безъ нея тоже скверно жить!» настаивала другая. Но исполнить одновременно оба требованія—и капиталъ сохранить, и невинность соблюсти, было для нихъ абсолютно невозможно, такъ-же невозможно, какъ невозможно въ одно и то-же время и стоять на мѣстѣ, и идти впередъ. Съ невозможностью, разумѣется, и боги не воюютъ, а ужъ людямъ-то 40-хъ годовъ и подавно воевать не приходилось. Волею-неволею, они должны были съ нею примириться, и дѣйствительно примирились. «Да, благоразумно рассудили они,—намъ невозможно ни устранить, ни согласить противорѣчивыя требованія «духа» и «плоти», а такъ-какъ безъ совѣстнаго участія того и другой невозможна никакая дѣятельность, то, значить, ни на какую дѣятельность мы и не способны; мы лишніе люди, мы «пятыя спицы» въ колесницѣ жизни, спицы никому ни зачѣмъ и ни для чего ненужныя; мы люди не отъ міра сего». Правда, это печальное сознаніе своей ненужности нисколько не препятствовало лишнимъ людямъ объѣдаться, опиваться, увеселяться и срывать всякаго рода «цвѣты удовольствія» на счетъ людей не только несомнѣнно не лишнихъ, но и существенно необходимыхъ для житейскаго обихода; но такъ-какъ въ короткіе промежутки между объеденіемъ, опиваніемъ и срываніемъ цвѣтовъ удовольствія они чувствовали нѣкоторое недовольство своею жизнью и предавались сладостнымъ мечтамъ о лучшей жизни, то со стороны можно было, пожалуй, подумать, что это люди очень несчастные и даже хорошіе, но только безхарактерные. Такъ, повидимому, и смотреть на нихъ г. Щедринъ, отдавая имъ рѣшительное преимущество передъ «проворными» людьми современнаго поколѣнія. «Сравните, говоритъ онъ,—ихъ страданія двоегласія (страданія, замѣчу отъ себя, которое лишніе люди испытывали лишь въ короткіе

промежутки между срываніемъ цѣлѣтовъ удовольствія) съ несомнѣвающейся цѣльностью современныхъ проворныхъ людей, которые съ хладною пѣною у рта даже любовь къ отечеству готовы эксплуатировать въ пользу продажи распивочно и на выносъ, и вы почувствуете, что если не особенно было лестно жить въ обществѣ людей, прямо называвшихъ себя лишними, то все-таки не такъ, несомнѣнно, мерзко, какъ жить въ обществѣ людей, для которыхъ все уже до того поскудно-ясно, что представленіе о рублѣ, въ смыслѣ привлекательности, уступаетъ лишь представленію о таковыхъ-же двухъ, а если больше, то, разумѣется, и того лучше» (стр. 234).

Конечно, это дѣло вкуса и привычки, съ кѣмъ лучше жить, съ пошляками, сознающими свою пошлость, или съ пошляками, недоразвившимися еще до сознанія своей пошлости. Начесть вкусовъ и привычекъ я не спору; но вотъ что странно и даже нѣсколько неприлично: зачѣмъ г. Щедринъ сравниваетъ и сопоставляетъ двѣ совершенно несравнимыя и несопоставляемыя величины? Съ одной стороны, онъ беретъ интеллигентныхъ людей 40-хъ годовъ, людей, составлявшихъ соль тогдашняго культурнаго общества, а съ другой—изъ современныхъ цѣлѣстныхъ людей выбираетъ самые грязные подонки, «проворныхъ» людей, въ большинствѣ случаевъ не только не интеллигентныхъ, но даже отрицающихъ всякую интеллигенцію,—людей, «эксплуатирующихъ любовь къ отечеству для продажи распивочно и на выносъ», — кулаковъ и червонныхъ валетовъ, все нравственное міросозерцаніе которыхъ сводится къ представленію о рублѣ. Правда, такихъ людей развелось между нами видимо-невидимо. Но развѣ ихъ не было и въ 40-хъ годахъ? Тогда они имѣли нѣсколько иной облигъ и нѣсколько инымъ образомъ проявляли свою дѣятельность, но суть-то была одна и та-же. Вотъ ихъ можно, и весьма даже поучительно, сопоставлять и сравнивать съ тѣми «современными, несомнѣнно цѣлѣстными, проворными людьми», о которыхъ говоритъ г. Щедринъ. Но проводить паралель между послѣдними и интеллигентными представителями поколѣнія такъ-называемыхъ «людей 40-хъ годовъ»,—это, какъ я сказалъ, не только странно, но и неприлично. Странно потому, что подобная паралель не имѣетъ никакого смысла; неприлично потому, что въ головѣ многихъ читателей она можетъ зародить мысль, что ужъ, чего добраго, не подводитъ-ли г. Щедринъ подъ категорію «проворныхъ людей», эксплуатирующихъ любовь къ отечеству и помышляющихъ только о рублѣ, всѣхъ вообще современныхъ цѣлѣстныхъ людей,—людей, для которыхъ, дѣйствительно, все ясно, которые не раз-

дираются никакимъ двоегласіемъ, не мучатъ себя безцѣльными сомнѣніями, которые знаютъ, куда идутъ и чего хотятъ, у которыхъ не существуетъ противорѣчія между дѣломъ и словомъ, между требованіями духа и влеченіями плоти. Вотъ съ этими-то людьми, существованіе которыхъ не можетъ-же отрицать г. Щедринъ и которые дѣйствительно стоятъ къ современному культурному обществу въ положеніи аналогичномъ съ тѣмъ, въ которомъ стояли «лишніе люди» 40-хъ годовъ къ своему культурному обществу, можно и должно сравнивать послѣднихъ. Почему-же онъ этого не сдѣлалъ? Потому-ли, что опасается, что такая параллель выйдетъ черезчуръ нелестною для его сверстниковъ? Или потому, что самъ онъ такъ еще недалеко ушелъ отъ этихъ сверстниковъ, что въ его умѣ представленіе о цѣлостныхъ, неразвоенныхъ, никакими внутренними анализами нетерающихся людяхъ неразрывно сливается съ представленіемъ о «людяхъ проворныхъ», «съ хладною пѣною у рта» эксплуатирующихъ любовь къ отечеству и сдѣлавшихъ изъ рубля цѣль жизни? Которое изъ этихъ предположеній вѣрнѣе—я не берусь рѣшать. Но, во всякомъ случаѣ, оба они лучше третьяго, которое тоже можно сдѣлать, если взять въ расчетъ всѣмъ извѣстное умѣнье нашего сатирика постоянно лавировать между Сцилою и Харибдою и его благоразумную привычку во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ слѣдовать примѣру «мудрой» телки, сосущей двухъ матокъ.

Впрочемъ, это не важно; поспѣшимъ лучше вернуться къ поставленному выше вопросу: почему писатели 40-хъ годовъ, несмотря на отсутствіе «всякихъ свободъ», были «бодры духомъ», вѣрили въ чудеса «животворящаго слова» и высоко держали знамя своихъ идеаловъ?

V.

По словамъ Щедрина, если я только хорошо его понимаю, выходитъ, будто произошло это оттого, что писатели 40-хъ годовъ вышли изъ среды «лишнихъ людей», сами были «лишніе люди», да и писали-то исключительно для «лишнихъ людей». Между ними и ихъ публикою существовала полная гармонія и взаимное пониманіе. Ихъ публика видѣла въ нихъ какъ-бы воплощеніе своихъ умственныхъ потугъ, своихъ стремленій къ чему-то лучшему, своихъ душевныхъ терзаній, своего «двоегласія», и она любила ихъ, она окружала ихъ почетомъ и уваженіемъ. Писатель былъ въ ея глазахъ истолкователемъ ея соб-

ственныхъ думъ и тревогъ,—какъ-же ей было не ходить и не нѣжить его? И она дѣйствительно ходила его, нѣжила и слово-словила. Она ставила его на пьедесталъ и окружала его «чело» (нерѣдко набитое одной соломой) лучезарнымъ ореоломъ. Этимъ обстоятельствомъ, дѣйствительно, можно объяснить то спокойное самодовольство и ту самоувѣренность, которою, по словамъ Щедрина, отличались писатели 40-хъ годовъ. Извѣстная вещь: возьмите какое угодно ничтожество, начните его обоготворять—и оно сейчасъ же возмнитъ себя настоящимъ, заправскимъ богомъ. Возлинувъ себя богами, писатели 40-хъ годовъ естественно должны были придавать очень важное значеніе своей писательской дѣятельности, естественно должны были вѣрить въ «чудеса животворящаго слова». Притомъ-же вѣра въ чудеса животворящаго слова—это общая черта всѣхъ людей, которые ни на что иное и не способны, какъ только на слова. Таковы именно были «лишніе люди» 40-хъ годовъ; они искали успокоенія и отдохновенія отъ «жизненной грязи» въ невинномъ чесаніи языка и въ платоническихъ мечтаніяхъ о томъ, «какъ бы было хорошо, еслибы какъ-нибудь все устроилось получше!» Подобное времяпрепровожденіе никто, конечно, не назоветъ ни разумнымъ, ни полезнымъ. Очень можетъ быть, что въ рѣдкіе моменты умственного просвѣтленія и «лишніе люди» чувствовали всю его бесплодность, и вотъ, чтобы успокоить свою совѣсть, чтобы оправдать себя въ своихъ собственныхъ глазахъ, они и старались убѣдить себя въ «животворящемъ» значеніи слова, старались увѣрять въ его чудодѣйственную силу. Да, у «лишнихъ людей», у «людей слова» была жгучая потребность вѣрять къ чудеса слова, и писатели, вышедшіе изъ среды этихъ людей, должны были, разумѣется, поддерживать и развивать въ нихъ эту потребность. Поступая такимъ образомъ, они, съ одной стороны, тѣшили и убаюкивали свою публику сладкими, успокоительными иллюзіями, а съ другой—увеличивали свое собственное значеніе, возвышали свой авторитетъ въ глазахъ «толпы».

Но только что-же въ этомъ хорошаго? Можно-ли ставить въ заслугу писателямъ 40-хъ годовъ эту ихъ вѣру въ чудеса слова, эту ихъ бодрость духа и самоувѣренность? Не было-ли все это общимъ достояніемъ всѣхъ «лишнихъ людей» и не обуславливалось-ли оно просто-на-просто ихъ умственнымъ убожествомъ, ихъ нравственною пустотою и безсердечностью? Я полагаю, что поставить эти вопросы — значить отвѣтить на нихъ.

Но г. Щедринъ, оплакивая «бодрость духа» и «вѣру въ чу-

деса слова» писателей 40-хъ годовъ, пытается объяснить эту бодрость и эту вѣру нѣсколько инымъ образомъ. По его словамъ, причина ихъ заключалась въ томъ будто бы, что «литература 40-хъ годовъ была литературою серьезно-убѣжденною», что у нея были идеалы, котóрые она любила, отъ которыхъ она «никогда не отказывалась и которыхъ она никогда не предавала». О, такъ-ли это? Конечно, каждому свойственно нѣсколько идеализировать время своей молодости; это слабость, общая всѣмъ людямъ, къ какой бы средѣ они ни принадлежали; но все-же не слѣдуетъ впадать въ преувеличенія. «Серьезно-убѣжденная литература 40-хъ годовъ»! Но назовите-же намъ этихъ тогдашнихъ писателей съ «серьезными убѣжденіями», писателей, высоко державшихъ знамя своего идеала! Былъ одинъ такой писатель—писатель, дѣйствительно, душою и тѣломъ, словомъ и дѣломъ преданный своимъ идеямъ, возлюбившій ихъ всѣмъ существомъ своимъ, отдавшій за нихъ свою многострадальную жизнь. Его звали Висаріономъ Бѣлинскимъ, и вы знаете, какъ онъ кончилъ. «Лишніе люди»—чахлое, золотушное поколѣніе людей 40-хъ годовъ, никогда и никоимъ образомъ не могутъ и не должны считать его своимъ человѣкомъ. Это былъ человѣкъ будущаго, человѣкъ вполне «цѣльный», чуждый всякаго «двогласія», нерѣдко заблуждавшійся, но заблуждавшійся честно, искренно, беззавѣтно, и никогда, безъ убѣжденія, неотрекавшійся отъ своихъ идеаловъ. Личностей, подобныхъ Бѣлинскому, нельзя пріурочивать къ тому или другому поколѣнію, къ той или другой эпохѣ; онѣ появляются въ каждомъ поколѣніи и во всѣ эпохи, составляя какъ-бы особый, своеобразный, болѣе или менѣе уединенно стоящій типъ людей,—людей идеи, фанатиковъ убѣжденія. Поэтому Бѣлинскаго можно оставить въ сторонѣ.

Затѣмъ, у кого-же изъ «славной плеяды» писателей 40-хъ годовъ находите вы «серьезную убѣжденность», любовь и преданность идеаламъ? Ужъ не у Гоголя-ли или Полевого? У Достоевскаго? Или ужъ не у Тургенева-ли, Григоровича, Гончарова,—Гончарова, который и теперь даже не знаетъ, какъ, что и зачѣмъ онъ писалъ?

Но оставимъ личности. Дѣло не въ нихъ; дѣло въ томъ, что еслибы дѣйствительно литераторы 40-хъ годовъ отличались тѣми почтенными качествами, которыя приписываетъ имъ г. Щедринъ, еслибы они дѣйствительно имѣли какіе-нибудь опредѣленные идеалы и были-бы всецѣло преданы этимъ идеаламъ, то откуда-же могла бы явиться у нихъ эта «ясность и безмятежность духа», эта вѣра въ чудеса «животворящаго слова»? Вѣдь они находились не въ лучшемъ, если не худшемъ положе-

ни, какъ и мы. Вѣдь они на каждомъ шагѣ видѣли, что жизнь плюетъ на ихъ идеалы и топчетъ ихъ въ грязь, что ихъ гласъ есть гласъ вопіющаго въ пустынь. Нѣтъ, еслибы дѣйствительно ихъ идеи были дороги имъ, они должны были-бы мучиться и страдать, въ виду невозможности не только проводить ихъ въ жизнь, но даже и въ литературѣ.

Но оказывается, по увѣренію г. Щедрина, что ихъ это нисколько не беспокоило и ничуть не подрывало ихъ вѣры въ «чудеса» слова. Значить; одно изъ двухъ: или никакихъ серьезно-продуманныхъ идеаловъ у нихъ не было, или, если таковые и были, то они относились къ нимъ совершенно индифферентно.

Да развѣ и могли иначе относиться къ своимъ идеямъ представители «лишнихъ людей»? Лишніе люди, правда, любили парить въ мѣрѣ отвлеченностей и выпренныхъ идей, и чѣмъ эти отвлеченности были отвлеченнѣе, чѣмъ эти выпренныя идеи были превыспреннѣе, тѣмъ болѣе приходились онѣ имъ по вкусу. Созерцающая ихъ, они забывали реальную дѣйствительность съ ея грязью и пошлостью, забывали свою собственную негодность и испытывали внутреннее самоуслажденіе. Идеи были для нихъ игрушкою, забавою, средствомъ развлеченія и отдыха; поэтому ихъ и не особенно беспокоило «прокустово ложе всевозможныхъ укорачиваній». Притомъ-же, въ интересахъ соблюденія душевнаго спокойствія, они преимущественно останавливались на такихъ отвлеченностяхъ, которыя не имѣли рѣшительно никакого прямого отношенія къ насущнымъ вопросамъ жизни, къ «злѣбѣ дня», а потому, несмотря на «отсутствіе всякихъ свободъ», ихъ словесныя упражненія не влекли для нихъ никакихъ «непріятныхъ послѣдствій».

Отсюда понятно, что писателямъ 40-хъ годовъ не было ни малѣйшаго резона впадать въ тоску и напускать на себя меланхолю.

Но ихъ «идеалы» и «преданность этимъ идеаламъ» тутъ рѣшительно не причемъ. Психическая характеристика «лишнихъ людей», сдѣланная самимъ-же г. Щедринымъ, самымъ рѣшительнымъ образомъ противорѣчитъ его предположенію насчетъ ихъ преданности идеаламъ и ихъ серьезной убѣжденности. Слѣдовательно, вопросъ о томъ, какимъ образомъ извелись въ нашей литературѣ писатели съ идеалами и «бодрые духомъ», падаетъ самъ собою. Но вмѣсто него можетъ быть поставленъ другой вопросъ, несравненно болѣе реальный: почему писатели 40-хъ годовъ вращались по преимуществу на туманныхъ вершинахъ отвлеченностей и общихъ идей, не спускаясь въ низмен-

ныя ущелья «практической жизни», обыденной грязи и пошлости, тогда какъ новѣйшая литература, по словамъ г. Щедрина, наплевала на всѣ эти отвлеченности и общія идеи и съ головою окунулась въ мелочи и дрязги грубой дѣйствительности? Почему литература 40-хъ годовъ имѣла, по крайней мѣрѣ, хоть внѣшній видъ «серьезной убѣжденности», «идеальной позолоты», а литература 70-хъ даже и этого вида не сохранила, позолота слиняла, убѣжденія испарились, общія мѣста размѣнялись на мѣдную мелкую монету? Почему теперь, какъ увѣряетъ насъ все тотъ-же Щедринъ, «влеченіе къ идеаламъ сгинуло, убѣжденность исчезла... и осталось одно только радованіе о томъ, что курилка не умеръ»? Прекратилась вѣра въ чудеса «животворящаго слова», а вмѣстѣ съ этимъ прекратились и самыя чудеса. (А когда и кто ихъ видѣлъ?) «Когда прекращается вѣра въ чудеса, то и самыя чудеса какъ бы умолкаютъ. Когда утрачивается вѣра въ животворящія свойства слова, то можно почти съ увѣренностью сказать, что и значеніе этого слова умалено до степени кимвала звенящаго» (стр. 232).

Почему-же все это случилось?

VI.

По мнѣнію г. Щедрина, случилось все это потому, что «литература получила доступъ къ практической дѣйствительности и освободилась отъ своей прежней изолированности». Разумѣется, рассуждаетъ нашъ авторъ, это хорошо, что литература перестала быть изолированной отъ жизни, однако, все-таки «идеалы пошатнулись и вѣра въ чудеса упразднилась, такъ-какъ жизнь поступилась литературѣ не существенными своими интересами, а пустяками. Афоризмъ—«не твое дѣло», настолько вѣлся во всѣ закоулки жизни, что слабымъ рукамъ оказалось не подъ силу бороться съ нимъ. Спаситься отъ пустяковъ никакъ нельзя, изолированность приобрѣла характеръ неблагонамѣренности. Убѣжденность оказывается подозрительною, вѣра въ чудеса—ненужною и смѣшною, а между тѣмъ литературное ремесло продолжаетъ быть обязательнымъ». «Такимъ образомъ, у современнаго мыслителя является своего рода двоегласіе, но на этотъ разъ неимѣющее и тѣни барской привередливости (какъ это было у писателей 40-хъ годовъ), а прямо безнадежное и мрачное» (стр. 237). «Пустяки противны, общіе принципы недоступны; или, виновать, послѣдніе по временамъ и прорываются, но опутанные такою непроницаемою сѣтью безчисленныхъ околичностей,

которыя самое ремесло проведенія принциповъ дѣлають почти безнравственнымъ...» (ib.)

Итакъ, въ чемъ-же заключается причина современной литературской меланхолии? Въ томъ-ли, что въ современной литературѣ нѣтъ идеаловъ, нѣтъ серьезной убѣжденности, нѣтъ вѣры въ чудеса слова? Нѣтъ; оказывается какъ-разъ наоборотъ: именно въ томъ, что въ ней (конечно, я говорю о литературѣ дѣйствительной, а не ретиральной, желающей только казаться литературой) есть идеалы, есть эта убѣжденность, есть эта вѣра. Не будь ихъ, съ чего-бы и убиваться, о чемъ и тосковать? Не тосковали-же писатели 40-хъ годовъ, несмотря на то, что и «пустяки-то» были имъ недоступны, и общіе ихъ принципы постоянно терзались «на прокустовомъ ложѣ всевозможныхъ укорачиваній». «Двоегласіе» послѣднихъ было двоегласіемъ между словомъ и дѣломъ; двоегласіе первыхъ — это двоегласіе между искреннимъ желаніемъ слить слово съ дѣломъ и невозможностью осуществить это желаніе. Очевидно, чѣмъ это желаніе слабѣе, тѣмъ менѣе и резоновъ для тоски.

Такимъ образомъ, нашъ сатирикъ, помимо своей воли, доказалъ какъ-разъ противное тому, что хотѣлъ доказать. Если-бы мы писали только для того, чтобы имѣть удовольствіе сказать: «живъ курилка, не умеръ», то мы, дѣйствительно, чувствовали бы такую-же бодрость и ясность духа, какъ и писатели 40-хъ годовъ или какъ тѣ изъ современныхъ намъ «дѣльцовъ», «ростовщиковъ» и кабатчиковъ по писательской части, которые нашли себѣ пріютъ въ газетной прессѣ и въ разныхъ «толстыхъ» и «тоненькихъ» органахъ, растянувшихъ человеческую мысль на прокустовомъ ложѣ. Вотъ, напр., литературный обозрѣватель, съ позволенія сказать, «Новаго Времени»; онъ очень спокоенъ и бодръ духомъ, такъ-какъ его желанія настолько скромны, а его «общіе принципы» (если таковыя у него имѣются) настолько ему чужды, что онъ не усматриваетъ никакихъ противорѣчій и никакого двоегласія между своими умственными стремленіями и возможностью ихъ осуществления. Онъ прямо говоритъ, что пробивать стѣну лбомъ не чувствуетъ ни малѣйшей охоты, но что всегда можно ухитриться какъ-нибудь обойти ее; что печалованія по поводу неосуществимости желаній происходятъ отъ «ожирѣнія печени» и что если и случается, что иногда мысль не можетъ пробиться на божій свѣтъ, то это часто происходитъ просто «отъ собственной скудости и дряблости» («Литерат. очерки», «Нов. Вр.» 1880, янв. 4). Печалиться и унывать, по мнѣнію литературнаго обозрѣвателя «Нов. Вр.», могутъ только литературные «ло-

ни съ копытами», вродѣ г. Салтыкова (Щедрина) и еще какого-то «маститаго» газетнаго обозрѣвателя, и то это право на скорбь предоставляется имъ въ виду ихъ заслуженныхъ чиновъ, ихъ свѣдыхъ волюсь и ихъ долгосрочной литературной службы. Писатели-же нечиновные, невыслужившіе пряжки за двадцатипятилѣтнее безпорочное служеніе, писатели, фигурирующие въ литературѣ лишь въ качествѣ «раковъ съ клещами», привилегією скуки и унынія пользоваться отнюдь не могутъ. Не пристало это къ ихъ неумытому рылу. Поэтому онъ строго и внушительно журить г. Михайловскаго и другихъ подобныхъ ему «стонущихъ сизыхъ голубковъ публицистики» за ихъ унылый видъ. Онъ приписываетъ ихъ меланхолію «либеральному кокетничанью» (?) и объясняетъ ее отчасти ихъ «слабодушною лѣнью и обломовщиною», а отчасти честолюбивымъ желаніемъ «рака съ клещемъ дотянуться до коня съ копытомъ!» (ib). Когда собственно писатель, по буренинской табели о рангахъ, можетъ дослужиться до права «быть поѣдаемымъ червемъ меланхоліи»—это неизвѣстно, кажется, даже и самому Суворину, а тѣмъ паче мнѣ, необладающему даромъ его всевѣденія. Но, во всякомъ случаѣ, для этого требуется, какъ кажется, чтобы предварительно писатель выжилъ изъ ума... Такъ что и меланхолію г. Салтыкова онъ объясняетъ себѣ его чрезвычайною усталостью и обезсиленіемъ... Не поздоровится Щедрина отъ такихъ похвалъ! Но Богъ съ нимъ, съ «Новымъ Временемъ» и съ г. Буренинымъ. Я позволилъ себѣ коснуться его взглядовъ на литературскую меланхолію не потому, чтобы ихъ стоило разбирать, а потому, что они вообще довольно сильно распространены среди ликующей толпы «бодрыхъ духомъ» литературныхъ и не литературныхъ «дѣльцовъ». Сами по себѣ они весьма невинны и ни чуть не злонамѣренны: для «стонущихъ сизыхъ голубковъ публицистики» гораздо лучше, чтобы въ ихъ меланхоліи господа «ликующіе» усматривали лишь простое «ожирѣніе печени», «обломовщину», «посредственную безличность», «слабодушіе», «кокетничанье либерализмомъ», чѣмъ, какъ нѣкоторые усматриваютъ, «подозрительность» и «неблагонадежность». Но меня только удивляетъ вотъ что: почему это судьба такъ странно и, можно сказать, такъ жестоко поступила съ русскою публикою? Почему она такъ несправедливо и неравномѣрно распредѣлила пишущую братію между различными органами російской прессы? Почему въ органы литературные попали все люди «лѣндивые», слабодушные, страдающіе ожирѣніемъ печени и т. д., а въ органы не литературные—«бодрые духомъ, энергичные, здоровые, дѣятельные» и т. п.?

Говоря по правдѣ, мнѣ кажется это совершенно невѣроятнымъ. Я лично не знаю ни г. Михайловскаго, ни прочихъ иныхъ «стонущихъ сизыхъ голубочковъ» публицистики, точно также какъ не знаю ни одного изъ дѣятелей «не литературнаго труда», но, судя чисто а priori, я полагаю, что какъ между тѣми, такъ и между другими попадаются болѣе или менѣе въ одинаковомъ числѣ и люди лѣнныя, и люди дѣятельныя, и страдающіе, и не страдающіе болѣзнями сердца, и слабо- и велико-душные. Поэтому, если-бы причина литературской меланхоліи заключалась лишь въ отсутствіи или присутствіи чисто-индивидуальныхъ качествъ, то она имѣла-бы лишь частный, индивидуальный характеръ, она не могла-бы сдѣлаться общимъ явленіемъ,—общимъ, по крайней мѣрѣ, для известной части нашей прессы (по сознанию самой-же прессы); она не могла-бы обратить на себя вниманіе въ той степени, въ которой обратила, ни литературныхъ урядниковъ и дворниковъ, ни «дѣльцовъ», ни весело чиркающихъ газетныхъ пташекъ. И «пташки», и дѣльцы, и урядники, и дворники не были-бы отъ нея ничѣмъ гарантированы, потому что вѣдь «въ здоровьѣ Богъ воленъ»; сегодня никакой боли подъ ложечкою не чувствуютъ, а завтра вдругъ желудокъ или печень разстроится,—вотъ и заскучаютъ. Значитъ, индивидуальные качества и особенности писателя тутъ почти-что не причемъ.

Притомъ-же умственная вялость и лѣнность, «обломовщина», посредственная «безличность» естественно предполагаютъ и отсутствіе серьезной убѣжденности и преданности идеаламъ; но тамъ, гдѣ нѣтъ серьезной убѣжденности и преданности идеалу, тамъ не можетъ существовать никакого сильнаго желанія видѣть свои идеалы осуществленными, свои убѣжденія—проведенными и распространенными; слѣдовательно, тамъ невозможность или трудность ихъ осуществленія и проведенія и не могутъ породить никакой тоски, никакой меланхоліи. Это ясно, какъ дважды-два—четыре. Утверждать-же, какъ это дѣлаютъ ликующіе господа не литературной прессы, будто невозможность или трудность осуществленія идеаловъ обуславливается обыкновенно не столько свойствомъ самыхъ этихъ идеаловъ и свойствомъ преградъ, мѣшающихъ ихъ осуществленію, сколько личными свойствами писателя, его лѣнью, слабодушіемъ и т. п.,—это значитъ отрицать факты, несомнѣнность которыхъ для всѣхъ очевидна, это значитъ затыкать уши и закрывать глаза, чтобы не видѣть и не слышать ничего, что дѣлается кругомъ.

VII.

Итакъ, какъ ни верти, а въ-концѣ-концовъ все-таки выходитъ, что причина литераторской тоски заключается именно въ томъ, что, съ одной стороны, у насъ есть идеалы, что мы любимъ ихъ, что искренно желаемъ «проводить ихъ въ литературѣ», а съ другой стороны, это «проведеніе» обставлено такими условіями, которыя, по выраженію Щедрина, дѣлаютъ наше «ремесломъ» почти безнравственнымъ». Иными словами, «литературное ремесло» оказывается непригоднымъ для осуществленія нашихъ идеаловъ. Ну что-же? значить нужно либо идеалы бросить, или отказаться отъ непригоднаго для проведенія ихъ ремесла. Кажется, это просто. Но въ дѣйствительности это совсѣмъ не просто; дѣло въ томъ, что еслибы тоскующій литераторъ могъ отказаться отъ своихъ идеаловъ, то, значить, онъ относился-бы къ нимъ совершенно индифферентно, слѣдов. онъ не былъ бы тогда и «тоскующимъ». А если-бы онъ могъ отказаться отъ литературнаго ремесла, значить въ немъ не было-бы никакой вѣры въ него, а если-бы въ немъ не было вѣры въ него, значить онъ и раньше работалъ какъ простой ремесленникъ, «изъ-за куска насущнаго хлѣба»; значить, ему опять-таки не было-бы никакой причины быть «тоскующимъ». Такимъ образомъ, для тоскующаго литератора, именно потому, что онъ тоскующій, абсолютно невозможно сдѣлать ни того, ни другого... Значить, положеніе очень тяжелое! «Но вѣдь это ужасно, скажетъ читатель:—литература не исполняетъ своего назначенія; она должна меня поддерживать и ободрять, а вмѣсто того она мнѣ разную меланхолію разводитъ... И безъ того-то не весело живется!..»

Да, именно и «безъ того-то», т. е. безъ литературы, вамъ не весело живется. Но почему? Разумѣется, потому-же, почему и тоскующему литератору. У васъ, конечно, тоже свои принципы и убѣжденія и вы тоже занимаетесь какимъ-нибудь ремесломъ: просвѣщаете, администрируете, судите, защищаете, развиваете національное богатство, оживляете торговлю и промышленность и т. п. Если вы человѣкъ не совсѣмъ черствый и равнодушный, то, конечно, вы вѣрите, что вы дѣлаете дѣло, т. е. что работаете не изъ-за одного куска хлѣба, а также и ради вашихъ принциповъ и убѣжденій. Пока эта вѣра ваша не обманываетъ васъ, вамъ нѣтъ резона скучать; скука и уныніе овладѣваютъ вами лишь тогда, когда оказывается, что вы совсѣмъ не дѣло дѣлаете, а воду въ ступѣ толчете. Но чуть только вы примиритесь съ этимъ толченіемъ воды въ ступѣ, чуть только

вы заморите и уничтожите въ себѣ вѣру въ дѣло, которое дѣлаете, и превратитесь въ бессмысленнаго и машинальнаго ремесленника, вамъ опять станетъ легко и весело и всякую меланхолю какъ рукой сниметъ. Итакъ, требуя отъ литературы, чтобы она разгоняла вашу меланхолю и «поднимала вашу духъ», чего вы хотите? Вы хотите, чтобы она вытравила въ васъ вѣру въ дѣло, которое вы дѣлаете, чтобы она старалась примирить васъ съ необходимостью жить и работать безъ вѣры, безъ принциповъ, безъ убѣжденій, — жить и работать единственно только во имя и ради обиденнаго удовлетворенія потребностей своей мамоны. О, да, еслибы она, подобно не литературной прессѣ, приподносила вамъ подобные совѣты и еслибы ея совѣты пошли вамъ въ прокъ, вы сейчасъ пріободрились-бы и перестали-бы тосковать. Но нѣтъ, вы не можете этого желать, потому что даже и малосмысленный человѣкъ не можетъ желать превратиться въ бессмысленнаго скота. «Положимъ, скажетъ читатель,—и этого и не желаю, однако, съ какой-же стати поддерживать во мнѣ вѣру въ «осуществимость неосуществимаго»? Если ни то, ни другое изъ доступныхъ мнѣ дѣлъ непригодно для осуществленія моихъ идей и принциповъ, то зачѣмъ я буду вѣровать въ его пригодность? На каждомъ шагу меня будутъ встрѣчать все новыя и новыя разочарованія, а слѣдовательно, я буду испытывать все новыя и новыя приливы тоски и меланхолии. Къ чему гоняться за мифами, обманывать себя иллюзіями?» Совершенно вѣрно. Но именно потому-то, что «тоскующая» литература этого не дѣлаетъ ни по отношенію къ себѣ самой, ни по отношенію къ вамъ, именно потому ей и приходится и самой тосковать, и на васъ тоску нагонять. Вы, надѣюсь, безъ труда это поймете, если только внимните въ свойство различныхъ вѣрованій. Вѣрованіе вѣрованію — рознь. Есть вѣра апатичная, ни о чемъ несумнящаяся, ничѣмъ несмущающаяся, вѣра, неспособная ни разочаровываться, ни провѣрять себя. Такова, напримѣръ вѣра спиритовъ въ духовъ и людей суевѣрныхъ въ привидѣнія. Въ основѣ ея лежитъ обыкновенно или грубый эгоистическій расчетъ, или какой-нибудь наслѣдственный непобѣдимый предразсудокъ, или просто какой-нибудь органическій умственный порокъ. Человѣкъ, обладающій такой вѣрою, можетъ считать себя вполне гарантированнымъ отъ всякихъ разочарованій, влекущихъ за собою тоску и уныніе. Никакая очевидность его не разувѣритъ и не разубѣдитъ. Пусть на каждомъ шагу и «опытъ жизни», и «логика здраваго ума» доказываютъ ему съ неотразимою несомнѣнностью, что вѣра

его—чепуха, мифъ, глупость, иллюзія, онъ все-таки съ непреклоннымъ упорствомъ будетъ стоять на своемъ и на всѣ доводы разсудка будетъ отвѣчать одно и то же: «знать ничего не хочу, вѣрю да и basta! Плевать мнѣ на факты, плевать мнѣ на логику! Вѣрю, что есть спиритическіе духи, вѣрю, что есть привидѣнія; доказывайте мнѣ съ какою угодно очевидностью, что ихъ нѣтъ, что они—плодъ моей болѣзненной фантазіи, вы все-таки никогда меня не разувѣрите, я все-таки буду вѣрить, потому что не могу не вѣрить».

Представьте себѣ, читатель, что вы одержимы подобною, лишенною всякой критики, вѣрою въ то дѣло, которое вы приставлены дѣлать. Положимъ, вамъ назначено судьбою заниматься вычерпываніемъ по ложкѣ океана, пусканіемъ мыльныхъ пузырей или толченіемъ воды въ ступѣ. Что, кажется, можетъ быть безсмысленнѣе, нелѣпнѣе, безцѣльнѣе и, следовательно, утомительнѣе и скучнѣе подобнаго дѣла? Но если вы питаете твердую и несокрушимую вѣру лондонскихъ, парижскихъ и петербургскихъ спиритовъ въ возможность вычерпать океанъ по ложкѣ, надуть такой мыльный пузырь, который никогда не лопнетъ, и истолочь воду въ ступѣ, то вы будете чувствовать себя очень бодрымъ, довольнымъ и счастливымъ. Ничто и никогда васъ не разочаруетъ и вы проживете и умрете съ спокойной совѣстью и съ утѣшительнымъ сознаніемъ, что долгъ свой вы исполнили и небо коптили не даромъ. Благо человѣку, освѣенному такой вѣрою! Кто-бы онъ ни былъ—писатель, администраторъ, судья, ростовщикъ, кабатчикъ, канатный плясунъ, и какими-бы условіями ни была оставлена его дѣятельность, онъ всегда будетъ доволенъ и ею, и собою. Сомнѣніе, уныніе, недовольство ему недоступны, никакія разочарованія не смутятъ и не нарушатъ ясности его духа. Да, благо ему!

Но есть другая вѣра—вѣра, постоянно стремящаяся къ самоислѣдованію, къ самопробѣркѣ, опирающаяся на критическомъ анализѣ и старающаяся жить въ мирѣ и согласіи и съ «опытомъ жизни», съ фактами реальной дѣйствительности, и съ доводами и логикою разсудка. Это вѣра разумная, осмысленная, хотя всегда безпокойная, неугомная, вѣчно чего-то ищущая. Она не дастъ человѣку той «бодрости» и безмятежности духа, которую даетъ вѣра спиритовъ, но за то она не введетъ его въ обманъ и заблужденіе, она не превратитъ его ни въ жалкаго слѣпца, ни въ тупоумнаго, хотя и самодовольнаго бол-

вана; она вмѣсто того, чтобы парализовать, постоянно будетъ развивать въ немъ склонность и охоту къ анализу, изслѣдованію и критицѣ. Правда, она сопряжена съ частыми разочарованіями, а потому она не гарантируетъ васъ отъ тоски и меланхоліи. Но что же дѣлать? Подумайте, развѣ вамъ есть иной выходъ изъ вашего положенія? Съ одной стороны, у васъ есть извѣстные принципы и идеи; вы, быть можетъ, и рады были-бы освободиться отъ нихъ, да не въ вашей это волѣ: они крѣпко зашли въ вашу голову и срослись съ вашимъ нравственнымъ существомъ; а съ другой стороны, по обстоятельствамъ, отъ васъ независящимъ, вамъ трудно и почти невозможно осуществлять эти идеи при помощи избранной или предназначенной вамъ судьбою дѣятельности. Вы это понимаете, и вы скучаете и томитесь. И въ этомъ отношеніи между вами, мой тоскующій читатель, и моими собратьями, «стонущими сизыми голубками публицистики», не существуетъ никакой разницы. И у васъ, и у нихъ причина тоски и унынія одна и та-же: это зародившееся въ васъ и въ нихъ сомнѣніе въ пригодности вашей дѣятельности къ осуществленію вашихъ идей. Не гоните отъ себя это сомнѣніе, ничего, что оно несетъ съ собою тоску и уныніе: въ-концѣ-концовъ оно-же и поставитъ васъ на надлежащую дорогу, оно выведетъ васъ изъ мрака къ свѣту. Конечно, пребывать въ состояніи тоски и унынія — это весьма тягостно и непріятно; конечно, нужно стараться выйти изъ него, но какъ? Есть три исхода. Во-первыхъ, вы можете сдѣлаться спиритами и увѣрять въ верченіе столовъ и креселъ, въ «чудодѣйственность» толченія воды въ ступѣ или въ возможность вычерпать океанъ ложкою. Во-вторыхъ, вы можете убить, вытравить въ себѣ потребность вѣры въ разумность и осмысленность своей дѣятельности, дѣйствовать безъ вѣры, т. е. безъ принциповъ и убѣжденій, признать и санкционировать необходимость двоегласія между словомъ и дѣломъ, подчиниться этой необходимости и превратить себя изъ разумнаго существа въ бездушную машину; иными словами, поставить себя въ такое положеніе, въ которомъ стояли «лишніе люди» 40-хъ годовъ. И, наконецъ, въ-третьихъ, не отказываясь отъ своей вѣры и не убивая въ себѣ потребности въ ней, т. е. не дѣлаясь ни спиритомъ, ни манекеномъ, ни «лишнимъ человѣкомъ», отнести къ ней критически, провѣрить ея основанія, и если они недостаточны, соорудить ее на новомъ фундаментѣ, введя новые элементы въ свою дѣятельность. Очень можетъ быть, что и вѣра, построенная на новомъ фундаментѣ, рано или поздно также ока-

жется несостоятельною и опять вызоветъ въ васъ разочарованіе, а слѣдовательно, тоску и уныніе. Но этимъ не слѣдуетъ смущаться. Вѣра осмысленная, вѣра, опирающаяся на критику, вѣра постоянно сама себя провѣряющая, необходимо и неизбежно должна имѣть своими случайными спутниками и разочарованіе, и уныніе, и тоску. Но зато эта вѣра непобѣдима. И чѣмъ непобѣдимѣе будетъ ваша вѣра въ вашу дѣятельность, тѣмъ разумнѣе, тѣмъ человѣчнѣе, тѣмъ нравственнѣе будетъ и послѣдняя. Вѣра-же будетъ тѣмъ непобѣдимѣе, чѣмъ она будетъ осмысленнѣе, а она будетъ тѣмъ осмысленнѣе, чѣмъ она разумнѣе, чѣмъ смѣлѣе и безпристрастнѣе вы будете относиться къ вашей дѣятельности. Это критическое, безпристрастное отношеніе въ такое время, какое мы переживаемъ, въ большинствѣ изъ насъ, пишущей и непишущей братіи, необходимо должно было вызвать нѣкоторое уныніе и тоску, но въ немъ-же мы должны искать и въ немъ мы найдемъ и исцѣленіе отъ этой тоски и унынія. Не нужно только забивать въ себѣ потребности въ осмысленной вѣрѣ въ свою дѣятельность (на какомъ бы поприщѣ она ни осуществлялась), а для этого не нужно смущаться, не нужно останавливаться ни передъ какою, самую строгою, самую рѣзкою критикою этой дѣятельности. Чѣмъ безпощаднѣе будетъ эта критика, тѣмъ лучше, тѣмъ осмысленнѣе будетъ вѣра, а чѣмъ она будетъ осмысленнѣе, тѣмъ,—какъ я уже сказалъ,—она будетъ непобѣдимѣе. Непобѣдимая-же вѣра, вѣра, за которую стоитъ разумъ,—двигаетъ горами!

На этомъ несомнѣнномъ афоризмѣ я и закончу, на этотъ разъ, мои бесѣды съ вами, читатель, «о томъ и о семъ».—Но, можетъ быть, конецъ васъ не удовлетворитъ? «Бесѣдовали-то вы долго и пространно, и бесѣдовали, дѣйствительно, «о томъ и о семъ», безъ плана и программы, скажетъ, пожалуй, иной читатель,—но выводъ-то, выводъ-то какой? Формулируйте-ка его безъ оговорокъ и виляній. Къ чему вы пришли, что вы хотѣли доказать?» Ахъ, читатель, дѣлать выводы, ставить точки на і—не значить-ли это оскорблять вашъ здравый смыслъ и сомнѣваться въ вашей проницательности? А я этого совсѣмъ не желаю,—настолько не желаю, что вмѣсто того, чтобы кончить свою бесѣду «несомнѣннымъ афоризмомъ», закончу ее нѣсколькими «открытыми» вопросами.

Мы видѣли и уяснили, изъ какихъ причинъ возникла литераторская тоска; мы видѣли также, что тоска эта выражается главнымъ образомъ въ критическомъ отношеніи къ литератор-

скому ремеслу. Ну-съ, теперь рѣшите сами: хорошо это или дурно? Хорошо-ли будетъ или дурно, если и вы всѣ, тоскующіе читатели, также критически отнесетесь къ своей дѣятельности, къ своему ремеслу? Что изъ этого выйдетъ? Не отыщется-ли такимъ путемъ какое-нибудь средство противъ поѣдающаго васъ червяка меланхоліи?

Все тотъ-же.

КАРТИНКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

ПИСЬМА „ЗНАТНЫХЪ ИНОСТРАНЦЕВЪ“.

ПИСЬМА ЛОРДА РОЗБЕРРИ.

(Переводъ съ англійскаго.)

Письмо пятьдесятъ первое.

Дорогая Дженни!

Какъ видно, прошлый годъ порядочно-таки надоѣлъ русскимъ, такъ надоѣлъ, что даже и они, народъ, какъ ты знаешь, ласковый, добрый, незлопамятный, а терпѣнія, смѣло можно сказать, испытаннаго, — проводили старика холодно, совсѣмъ непривѣтливо и отступили отъ своего патріархальнаго обычая провожать съ хлѣбомъ и солью, съ добрыми пожеланіями, словомъ, какъ здѣсь говорятъ, „честь честью“. (NB. Прошу тебя не смѣшивать этого выраженія съ выраженіемъ: „просить честью“).

Старику, прошлому году, не только не поднесли благодарственнаго адреса (какъ обыкновенно здѣсь водится при проводахъ стараго начальства и при встрѣчѣ новаго), въ которомъ, по изстари заведенному порядку, перечислили-бы всѣ его заслуги и добрыя дѣла (или же выдумали-бы, по добросердечію, таковыя, еслибъ, въ изумленію, добрыхъ дѣлъ не оказалось), а простерли, Дженни, недоброжелательство къ старику до того, что даже не почтили его добрымъ напутственнымъ словомъ.

Только-что старикъ сошелъ въ могилу, какъ раздались сѣтованія и воздыханія и на него посыпались упреки. Нечего, мнѣ кажется, и прибавлять, что упреки противъ него произносились въ самыхъ общихъ и эластическихъ выраженіяхъ, не входя въ излишнія по-

дробности, какъ-бы изъ деликатности къ его преемнику, который, пожалуй, могъ-бы обидѣться за подобное разоблаченіе дѣйствій своего родителя.

„Скверный годъ“, „тяжелый годъ“, „недобрый годъ“, — вотъ эпитеты, которыми проводили старика почти-что всѣ органы русской печати. Такъ-же неодобрительно отнеслись къ нему, сколько мнѣ приходилось, по крайней мѣрѣ, слышать, и въ обществѣ. Всѣ на него были недовольны, хотя и изъ-за различныхъ побужденій. На старика были въ претензіи и старые, и малые, и умные, и глупые, либералы и консерваторы (впрочемъ, я употребилъ эти названія больше для краткости, такъ-какъ истинное значеніе этихъ словъ неприложимо къ Россіи), охранители и спасители отечества, — словомъ, всѣ, по выраженію блюстителей Страстного бульвара, приведены „къ одному знаменателю“.

Припомнили старику все: и чуму, и „измѣну“ Боткина, и пожары, и неотысканіе „поджигателей“, и Юханцева, и общее поврежденіе правовъ, и вагабонство болгарскихъ депутатовъ, вздумавшихъ бунтовать противъ князя, и даже „преступленіе“ И. С. Тургенева, открытое благодаря усердію и опытности слишкомъ извѣстнаго джентльмена и литератора Болеслава Маркевича (объ этомъ интересномъ дѣлѣ въ свое время), — однимъ словомъ, припомнили всѣ бѣды, которыя принесъ умершій старикъ русскимъ, оставивъ ихъ къ новому году поверженными въ страхъ и меланхолію, недоумѣвающими, гдѣ начинается „измѣна“ и кончается благонамѣренность, за что можно получить атестатъ зрѣлости и за что кличку измѣнника.

По долгу добросовѣстнаго наблюдателя я долженъ сказать, что, несмотря на предпринятую немногими почтенными русскими газетами миссію возстановить бодрость и поднять духъ своихъ согражданъ, миссія эта все-таки не достигла удовлетворительныхъ результатовъ. Какая-то недоумѣвающая растерянность видится на лицахъ, слышится въ голосѣ, читается межъ строками, несмотря на серьезныя увѣщанія „Московскихъ Вѣдомостей“, что растерянность будетъ сочтена ими за измѣну и виновные въ уныніи будутъ преданы оглашенію, несмотря на неодобреніе унынія „Новымъ Временемъ“ (спеціально, какъ тебѣ извѣстно, издающимся съ увеселительной цѣлью), несмотря даже на обѣщаніе изданія новой обширной газеты „Берегъ“, подъ руководствомъ профессора Цитовича, которая, какъ слышно, общается окончательно водворить общее ликованіе и всѣхъ привести къ счастливой пристани послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ экскурсій въ область печальныхъ размышленій. Казалось бы, русскимъ, по свойственной имъ привычкѣ, оставалось только воскликнуть: „Разумѣйте языцы, яко съ нами Богъ!“

и снова завинтить (они висть нашъ не одобряютъ) въ надеждѣ, что завтра снова придется винтить.

Я положительно, Дженни, теряюсь въ этомъ океанѣ вздоховъ, недомолвогъ, взаимныхъ обвиненій, науськиваній и намековъ. Если-бы ты попросила меня точнѣе опредѣлить настроеніе общественнаго мнѣнія, то я былъ-бы поставленъ въ затрудненіе, такъ-какъ узнать его довольно трудно здѣсь. Газеты, разумѣется, не могутъ быть названы выразителями общественнаго мнѣнія, а затѣмъ... затѣмъ остаются слухи и сплетни, разнообразіе которыхъ можетъ совсѣмъ сбить съ толку даже и аборигена страны, а не то что путешественника иностранца.

Читая, напримѣръ, „Московскія Вѣдомости“, можно придти къ заключенію, что всѣ „развращенные знаніемъ исторіи“ (такъ презрительно называетъ лордъ Катковъ интеллигенцію вообще)—отъявленные враги отечества, которыхъ слѣдуетъ въ 24 часа „искоренить“. Хотя въ этихъ обвиненіяхъ ты сразу чувствуешь фальшь, но все-таки даже и мнѣ, знатному иностранцу, которому городской дѣлаетъ подъ козырекъ, становится какъ-то неловко, тѣмъ болѣе, что и въ нашъ огородъ бросаютъ камни; но что-же долженъ чувствовать русскій, въдобавокъ не знатный иностранецъ?.. Что, спрашиваю, долженъ онъ чувствовать, понимая, что какъ ни нелѣпы розыски почтенной газеты, но игнорировать ихъ невозможно и даже опровергать ихъ нельзя, а остается только молчать и спрашивать себя: „злодѣй я или благонамѣренный гражданинъ своей земли?“—ждать послѣдствій и, понятно, находится въ уныніи...

Возьмешь въ руки „Голосъ“ — какъ-то легче станетъ на душѣ, потому что, если вѣрить почтенной газетѣ, милордъ Катковъ нарочно пугаетъ, что „развращенные исторіей“, напротивъ, самый консервативный элементъ, что они въ сущности очень покладливые и добрые ребята, и если претендуютъ, то лишь на то, что отъ нихъ хотятъ будто бы отнять право надѣяться и надѣяться... Но у нихъ права этого Страстной бульваръ не отниметъ. Они надѣются и будутъ надѣяться, причемъ вмѣстѣ съ тѣмъ раза три въ годъ, не болѣе, будутъ вынимать изъ ноженъ мечъ и перепечатывать на заглавномъ листѣ французскую пѣсенку: „voilà le sabre, le sabre, le sabre de mon père!“ для уничтоженія враговъ отечества, къ которому лордъ Катковъ причисляетъ всѣхъ, кто не съ нимъ,—слѣдов. противъ него... Затѣмъ почтенная газета основательно доказываетъ, что многіе вопросы на очереди, что ими слѣдуетъ заняться, но что Страстной бульваръ мѣшаетъ заняться такъ, какъ слѣдуетъ. Ограждая общество отъ нападокъ, русскій „Times“ заявляетъ, что „русское общество ни о чемъ не мечтаетъ“, а вмѣстѣ съ начальствомъ стремится „къ крѣпкому за-

конному порядку, ограждающему личность и законно-приобретенныя права каждаго, уваженіе къ законной свободѣ каждаго“. Въ заключеніе почтенная газета надѣется, что въ будущемъ году если не разрѣшатся, то поставятся многіе важные вопросы. Старый годъ она проводила слѣдующимъ нелестнымъ для него напутствіемъ:

„1879 годъ прошелъ, и слава Богу! Страшный, невыносимо-тяжелый годъ,—годъ, когда жизнь была далеко не пріятнымъ „даромъ“, когда то, что составляетъ существо и красоту жизни — мысль, чувство, сознаніе своихъ нравственныхъ силъ, стало ненужнымъ, а подѣ-часъ и вреднымъ бременемъ. Казалось, вмѣсто людей изъ плоти и крови, съ сердцемъ и мыслью, нужны деревянные люди, безжизненные и бездушные“.

Послѣ чтенія „Голоса“ чувствуешь себя нѣсколько спокойнѣе, страхъ мало-по-малу начинаетъ проходить, видишь, что, въ самомъ дѣлѣ, въ разсужденіяхъ почтенной газеты вовсе нѣтъ тѣхъ разрушительныхъ элементовъ, которые старается выискать органъ оракула нѣкоторыхъ кружковъ, и удивляешься даже недалновидности „Московскихъ Вѣдомостей“, бьющихъ въ набатъ и призывающихъ кары земныя и небсныя на такъ-называемыхъ „среднихъ людей“, органомъ которыхъ выдаетъ себя газета достопочтеннаго мистера Краевскаго. Ничего опаснаго для „общественнаго благоустройства“ не представляется въ разсужденіяхъ почтенной газеты. Желанія ея, какъ видишь, весьма благонамѣренныя, они нисколько не должны, казалось бы, смущать, но, однако, смущаютъ... Признаюсь, смущеніе это я, по крайней мѣрѣ, приписываю великому недоразумѣнію, которое, словно туманъ въ нашемъ Лондонѣ, виситъ надъ русской землей.

„Новое Время“ не такъ сурово распрощалось со старикомъ прошлымъ годомъ, а новый встрѣтило, по обычаю, пожеланіями. Къ крайнему изумленію, оно не пожелало на новый годъ новой войны, не требовало Константинополя, а въ числѣ разныхъ пожеланій выразило, чтобы было „болѣе довѣрія къ прямотѣ и честности русскаго общества, къ его здравому смыслу, къ его вполне искреннему настроенію“. По словамъ газеты, „общество жаждетъ умиротворенія, оно съ негодованіемъ относится къ злодѣяніямъ, оно оскорблено присутствіемъ въ своей средѣ злодѣевъ; дайте просторъ этой здоровой силѣ—и она сокрушитъ зло, вырветъ его съ корнемъ, очиститъ атмосферу отъ вредныхъ міазмовъ...“

Какъ видишь, Дженни, почтенная газета отъ имени общества высказалась довольно категорически, имѣя въ виду все примирить и всѣхъ успокоить. Насколько я успѣлъ ознакомиться съ разностороннею дѣятельностію мистера Суворина, онъ непремѣнно

это сдѣлаетъ т. е. все примирить и всѣхъ успокоить, такъ-какъ это человѣкъ по-истинѣ на всѣ руки.

Напутствія другихъ газетъ, петербургскихъ и московскихъ, старому году тоже не отличались особенной любезностью. Исключеніе составляли только „Губернскія Вѣдомости“—газеты, издающіяся въ провинціи, которыя ни однимъ словомъ не обидѣли почтеннаго старца. Онѣ проводили и встрѣтили новый годъ безъ всякихъ разсужденій.

Ты все-таки, Дженни, остаешься въ недоумѣніи относительно мнѣній всей печати (три газеты—развѣ вся печать? сирашиваешь ты не безъ основанія) и относительно новыхъ способовъ корчеванія, предлагаемыхъ нѣкоторыми органами русской журналистики.

Къ сожалѣнію, я не могу удовлетворить твоему любопытству, такъ-какъ не всѣ органы высказываются по этому поводу съ той категоричностью и откровенностью, по крайней мѣрѣ, въ послѣднее время, съ какой высказывались и высказываются, напримѣръ, „Московскія Вѣдомости“. Многіе органы даже и вовсе молчатъ и, вмѣсто углубленія въ почву, изслѣдуютъ движеніе небесныхъ свѣтилъ или углубляются въ дебри древней исторіи, находя, что для такихъ экскурсій теперь самое подходящее время. И когда читатель требуетъ „злобы дня“, то ему все-таки даютъ египетскій романъ или „борьбу партій въ Абисиніи“. Онъ, какъ существо любознательное и вдобавокъ требующее за свои 16 или 17 рублей непременно „злобы дня“, опять-таки пишетъ и проситъ „злобы“, но ему на это въ видѣ „злобы“ присылаютъ изслѣдованіе „О положеніи германскихъ городовъ въ XIV вѣкѣ“ и на письма подписчика не отвѣчаютъ, несмотря даже на приложенныя почтовые марки. Само собою разумѣется, подписчикъ изъявляетъ неудовольствіе и бросается къ органамъ, гдѣ все-жъ-таки можно найти „злобу“, и не просто „злобу дня“, но даже съ увеселительными иллюстраціями. Такимъ образомъ, розничная продажа у органовъ, бесѣдующихъ о „злобѣ дня“, увеличивается и они не безъ гордости говорятъ, что ихъ очень читаютъ, и успѣхъ распространенія сбѣясняютъ успѣхомъ своихъ идей. Едва-ли, однако, это вѣрно. Если судить по количеству продающихся экземпляровъ, то самымъ лучшимъ изданіемъ слѣдовало бы считать книгу „Битва русскихъ съ кабардинцами“, которая расходуется въ 100,000 экземпляровъ или „Премудрость Соломона“ (это, Дженни, очень популярная гадательная книжка, предлагающая нѣсколько вопросовъ и отвѣтовъ на нихъ), которой на нижегородской ярмаркѣ расходуется до 50,000 экземпляромъ.

Въ одномъ изъ ближайшихъ моихъ писемъ я, впрочемъ, познакомлю тебя съ содержаніемъ нѣсколькихъ проектовъ, еще неизданныхъ въ свѣтъ, рукописи которыхъ я удостоился получить

отъ авторовъ въ качествѣ знатнаго иностранца. Проекты всеобщаго умиротворенія „быстро и рѣшительно“, какъ увидишь, дѣйствительно рѣшительны, и, по мнѣнію авторовъ, людей почтенныхъ, съ божьей помощью и при добромъ исполненіи, дадутъ хорошіе результаты. Пока до слѣдующаго письма.

Чуть было не забылъ сообщить тебѣ, Дженни, что я тоже занятъ теперь составленіемъ книги „Жизнеописанія знаменитыхъ расхитителей“. Свѣденія и матеріалы мнѣ обѣщаны самыя подробныя и книга, смѣю надѣяться, выйдетъ хорошая, которую можно будетъ рекомендовать во всѣ учебныя заведенія, въ полки, въ земскія учрежденія и предводителямъ дворянства, и, такимъ образомъ, я могу получить весьма приличную сумму, особенно если можно будетъ какъ-нибудь устроить обязательную выписку моей книги, на что я имѣю нѣкоторую надежду. Признаюсь, на эту счастливую мысль натолкнулъ меня князь Мещерскій, авторъ знаменитой „Улики“ и многихъ романовъ. Онъ составилъ „Военные рассказы“, которые распространяетъ при помощи упомянутыхъ мною средствъ, и собираетъ, такимъ образомъ, изрядную контрибуцію. Въ газетахъ сообщалось, что многія гимназіи приобрѣли уже экземпляры „Военныхъ рассказовъ“ и недавно московскій корреспондентъ „Голоса“ сообщилъ, что и „бѣдныя средствами ученическія бібліотеки московскихъ гимназій не избѣжали участи другихъ и на нихъ также наложена контрибуція князя Мещерскаго. Гимназіямъ предложено приобрести по десяти экземпляровъ „Военныхъ рассказовъ“, изданныхъ княземъ Мещерскимъ, что стоитъ около 200 рублей. Принимая число учебныхъ заведеній, на худой конецъ, около 100, получимъ, или, вѣрнѣе, князь Мещерскій получитъ, контрибуціи около 20,000 рублей за рассказы, доставленные другими и спитые княземъ Мещерскимъ на живую нитку. Надѣюсь, прибавляетъ корреспондентъ, теперь не будетъ плакаться князь, что невыгодно быть спивателемъ чужихъ рассказовъ“.

Дѣло, какъ видишь, сдѣлано „чисто“ и я хочу попробовать, не удастся-ли и мое дѣльце. Пока до слѣдующаго письма.

Твой Джонни.

Письмо пятьдесятъ второе.

Дорогая Дженни!

Давно уже желѣзныя дороги, принадлежавшія Самуилу Полякову, — а такихъ дорогъ, Дженни, цѣлыхъ три, общее протяженіе коихъ равняется 2,000 верстъ, — возбуждали многочисленныя нареканія. Жаловались пассажиры и грузоотправители. Объ админи-

страціи поляковскихъ дорогъ ходили чудовищныя разсказы. Взятки и поборы, по слухамъ, на дорогахъ были въ полномъ ходу. О постройкѣ дороги, объ освидѣтельствovanіи ея мѣстные жители разсказывали вещи, похожія болѣе на сказки, чѣмъ на правду,—однимъ словомъ, достаточно было бы тебѣ разъ проѣхать по курско-харьковско-азовской или по воронежско-ростовской желѣзной дорогѣ, чтобы наслышаться всевозможныхъ ужасовъ и чудесъ, а въ нѣкоторыхъ изъ нихъ даже и убѣдиться своими глазами. Южный край, гдѣ проходятъ названныя дороги, просто выль отъ вопіющихъ безпорядковъ. Жалобы тысячами подавались инспекторамъ и въ министерство путей сообщенія. Грузы валялись и гнили по цѣлымъ мѣсяцамъ. Багажъ пропадалъ. Никакихъ объясненій отъ управления дороги нельзя было добиться.

Наконецъ, правительство назначило комисіи для освидѣтствованія дорогъ г. Полякова и результатомъ ихъ явились официальные доклады. Извлеченія изъ этихъ докладовъ, сдѣланныя въ „Новомъ Времени“, представляютъ такую характерную и поучительную картину, что на нихъ стоитъ остановиться.

Эти официальные данныя, собранныя двумя комисіями (одной подъ предсѣдательствомъ тайнаго совѣтника барона Шернвалья, другой—подъ предсѣдательствомъ генерала Поземковскаго), представляютъ сводъ такихъ обвиненій и раскрываютъ такія чудовищныя подробности, что всѣ вышеприведенныя нареканія ничто въ сравненіи съ официальными данными. Еслибы на этихъ данныхъ не было официальной пломбы, то можно было бы заподозрить въ преувеличеніяхъ,—до того поражаютъ подробности, раскрытыя комисіями и разсказанныя дѣловымъ, сухимъ языкомъ.

Это, Дженни, цѣлая желѣзнодорожная эпопея, полная всевозможныхъ неожиданностей и во-истинну диковинныхъ фокусовъ и такой „чистоты въ отдѣлкѣ“ (такъ, Дженни, называютъ въ Россіи ловкое обдѣлываніе дѣлишекъ), чтѣ остается только дивиться, какъ эта „чистота“ явилась на свѣтъ божій только теперь, когда... когда правительство уже переплатило громадное количество денегъ по гарантіи и когда впереди нѣтъ даже возможности какъ-нибудь выпутаться изъ тенетъ, очаровательно раскинутыхъ героемъ эпопеи, такъ-что и въ данномъ случаѣ русскіе могутъ пролѣтъ, какъ карabinеры: „nous arrivons, nous arrivons toujours trop tard“.

Герой эпопеи—Самуилъ Поляковъ, лѣтъ пятнадцать, двадцать тому назадъ безвѣстный мелкій подрядчикъ, о которомъ знали только нѣкоторые инженеры, имѣя съ ними отношенія, нерѣдко слишкомъ жесткія въ минуты раздраженія,—въ настоящее время обладатель трехъ дорогъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, кавалеръ орденовъ, благотворитель, крупный дѣлецъ, портреты ко-

того печатались въ иллюстраціяхъ съ приличными біографіями, начальникъ цѣлой арміи служащихъ, раздающій инженерамъ жалованье, отъ котораго не отказался бы даже князь болгарскій. Вотъ этотъ-то герой и является въ официальной эпопеѣ чѣмъ-то вроде современнаго Калиостро, умѣя пользоваться обстоятельствами, умѣя обставить дѣло постройки въ такія курьезныя формы, которыя показали, что герой эпопеи — дѣйствительно герой нашего времени. Но въ настоящее практическое время никакой герой не можетъ свершать баснословныхъ подвиговъ, не имѣя для нихъ, такъ-сказывать, почвы, и официальная эпопея даетъ недурной матерьялъ для уясненія, при какихъ обстоятельствахъ и на какой почвѣ возможны всѣ эти подвиги, исчисленію которыхъ посвящены два официальныхъ доклада. Обратимся, однако, къ даннымъ комисій, Дженни, и, пожалуй, проштудировавши ихъ, мы вмѣстѣ съ тобой придемъ если не къ оправданію героя, то, по крайней мѣрѣ, къ развѣнчанію его сверхестественнаго геройства, найдя ключъ къ уразумѣнію настоящаго смысла всей эпопеи.

Теперь я приступаю къ выпискамъ изъ извлеченія доклада комисіи, ревизовавшей курско-харьковско-азовскую дорогу. Къ сожалѣнію, подлиннаго доклада у меня нѣтъ, а потому я пользуюсь извлеченіемъ, напечатаннымъ въ „Новомъ Времени“.

„Комисія свое изслѣдованіе начала съ исторіи дороги и ясно доказываетъ, что уже согласно договорамъ на концесію и уставу, было допущено явное несоотвѣтствіе отвѣтственности двухъ сторонъ: при ничтожномъ обезпеченіи предпріятія г. Полякова залогомъ въ 1,000,000 руб., который притомъ же возвращался по мѣрѣ производства работъ, въ то же время отпускался въ безконтрольное распоряженіе учредителя акціонерный капиталъ въ 12,971,000 руб. Въ рукахъ казны оставался лишь облигаціонный капиталъ, изъ котораго и были покрыты, повидимому, всѣ расходы по постройкѣ.

„Договоры, не давая права учредителю приступать къ работамъ до учрежденія проектовъ министромъ путей сообщенія, въ то же время не опредѣляли сроковъ учредителю для представленія ихъ, а министру для утвержденія представленнаго. Неясность этого условія имѣла практическимъ результатомъ производство большей части работъ безъ предварительнаго утвержденія проекта, что, въ свою очередь, дало возможность учредителю соблюсти свои выгоды, уменьшивъ значительно количество работъ во вредъ дорогѣ.

„Такимъ образомъ количество земляныхъ работъ было вычислено при поперечной профили въ выемкахъ, съ бермами. Въ дѣйствительности же, хотя учредитель получилъ уплату по разцѣночной вѣдомости, но поперечную профиль исполнилъ безъ бермъ.

„Благодаря подобнымъ упущеніямъ, не учредитель сталъ въ зависимость отъ министерства путей сообщенія, но министерство оказалось въ зависимости отъ большей или меньшей исправности г. Полякова; при этомъ договоры оставляли еще послѣднему широкое поле для возбужденія исковъ на министерство при толкованіи послѣднимъ темныхъ указаній договоровъ не въ пользу г. Полякова.

„Комисія доказываетъ даже невозможность для г. Полякова въ столь краткое время, какое было назначено по договору, произвести работы по постройкѣ дорогъ вполне правильно и довести ихъ до надлежащей степени оконченности. 534 версты харьковско-азовской желѣзной колесной колеи были заявлены учредителемъ готовыми къ открытію по прошествіи 22 мѣсяцевъ съ начала работъ, причѣмъ въ этотъ промежутокъ времени вошли и 6 зимнихъ мѣсяцевъ. Срокъ этотъ крайне малъ, особенно при существованіи глубокихъ выемокъ и высокихъ насыпей, для послѣдовательной работы по перемѣщенію массы земли въ 2,644,420 куб. саж., развозки и разсыпки баласта и для укладки пути. При такой спѣшности работъ нельзя допустить, чтобы насыпи возводились во всю свою ширину въ два пути и притомъ правильными не толстыми слоями съ тщательной утрамбовкой — условіе очень важное для правильной и достаточной первоначальной осадки насыпей, которыя должны быть подготовлены для укладки на нихъ верхняго строенія дороги“.

Но передъ открытіемъ дороги она свидѣтельствовалась комисіей инженеровъ? На это официальные данныя даютъ такой отвѣтъ.

„Комисія, свидѣтельствовавшая дорогу передъ открытіемъ движенія, хотя и промчалась по ней на курьерскихъ, но не могла не замѣтить, что недодѣлокъ самыхъ существенныхъ пропасть. Для исполненія этихъ недодѣлокъ назначены были опредѣленные сроки и департаментомъ желѣзныхъ дорогъ предписано инспектору доносить ежемѣсячно о ходѣ работъ по исполненію недодѣлокъ, но инспекторъ, во исполненіе этого предписанія, представилъ только одинъ или два раза срочныя свѣденія; вполнѣдствіи же, непонуждаемый департаментомъ къ исполненію предписаннаго, инспекторъ доставлялъ свѣденія о ходѣ исполненія недодѣлокъ въ неопредѣленные сроки, преимущественно вслѣдствіе особыхъ каждый разъ предписаній департамента или главнаго инспектора частныхъ желѣзныхъ дорогъ. Поэтому въ разсмотрѣнныхъ комисіей дѣлахъ не имѣется сколько-нибудь положительныхъ свѣденій о положеніи недодѣлокъ на дорогѣ втеченіи опредѣленныхъ періодовъ времени. Безошибочно можно сказать только одно, что рѣдкая изъ недодѣлокъ была окончена въ срокъ, опредѣленному для нея коми-

сією, что въ свѣденіяхъ, относящихся къ срокамъ исполненія недодѣлокъ, замѣчается множество противорѣчій и неправильностей и, наконецъ, что исполненіе недодѣлокъ продолжалось втеченіи 6—7 лѣтъ послѣ открытія дороги, а многое было исполнено даже и къ іюню 1878 года, когда комисія барона Шернвалья подробно осматривала дорогу“.

Недодѣлки эти совершались въ счетъ эксплуатаціонныхъ расходовъ, тогда какъ онѣ должны были совершаться на счетъ строительнаго капитала, черезъ что расходы еще болѣе увеличились и, слѣдовательно, правительству приходится больше приплачивать гарантіи. По словамъ отчета комисіи, вся текущая хозяйственная часть находится въ дурномъ положеніи. Ни рельсы, ни подвижной составъ, ни запасныя части своевременно не пополняются, а доброкачественность какъ работъ, такъ и матеріаловъ оставляетъ желать многого.

„Тою же нехозяйственностью объясняются и другіе неурядки и неустройства на дорогѣ, какъ, напримѣръ, въ путяхъ много изношенныхъ рельсовъ, гнилыхъ шпаль, недостаетъ подкладокъ подъ рельсы, недостаетъ весьма много нижняго баласта, который нерѣдко глинистъ; верхній слой баласта не изъ щебня, а изъ крупнаго камня; искусственныя сооруженія и зданія содержатся неисправно; водоснабженія устраиваются тамъ, гдѣ нѣтъ воды или же она по качествамъ своимъ негодна; подвижной составъ неисправенъ, не ремонтируется надлежащимъ образомъ; вагоны пропадаютъ сотнями; вновь строимые вагоны дѣлаются изъ сырого лѣса и скрѣпляются болтами изъ негоднаго желѣза; агенты, которые должны находиться безотлучно на дорогѣ, не имѣютъ помѣщеній, живутъ подъ баками въ водоемныхъ зданіяхъ или землянкахъ, а стрѣлочники нерѣдко по деревнямъ, въ разстояніи отъ 5 до 8 верстъ.

„Факты эти существуютъ, а между тѣмъ средства, бывшія въ распоряженіи г. Полякова и израсходованныя со времени открытія движенія по дорогѣ, таковы, что при рациональномъ ихъ расходованіи дорога должна бы быть въ настоящее время если не вполне законченною устройствомъ, то настолько развита, съ правильно организованною администраціею, что ни вышеизложенныхъ недостатковъ, ни жалобъ со стороны отправителей, промышленниковъ и мѣстныхъ представительствъ не должно бы быть, а главное—не требовалось бы значительныхъ приплатъ отъ правительства, составившихъ уже, какъ мы говорили, болѣе 26 мил. руб., сверхъ тѣхъ 52 мил. руб., въ которые обошлась дорога при первоначальной постройкѣ и которые гарантировало правительство.

„Требуя отъ казны миліоновъ и десятковъ миліоновъ, дорога

г. Полякова сама незаконно уклоняется от уплаты даже самых мелочных государственных налогов”.

Такъ оказалось, что изъ разсмотрѣнныхъ представителемъ государственнаго контроля (членомъ комисіи) 235 контрактовъ не оказалось ни *одного контракта*, написаннаго на гербовой бумагѣ. Было бы слишкомъ утомительнымъ приводить массу фактовъ изъ этой эпопеи. Приведу только слѣдующее мнѣніе комисіи, нѣсколько выясняющее, почему г. Полякову даже выгодно неисправность дороги (не забудь, что онъ *de facto* одинъ владѣлецъ дороги. Правленіе—мифъ, а равно мифъ—общество: весь акціонерный капиталъ у Полякова, слѣдовательно, онъ одинъ—общество).

„Гдѣ есть акціонерное общество, говорить комисія, — тамъ есть частный интересъ нѣсколькихъ лицъ, тамъ приливомъ грузовъ, какъ явленіемъ благоприятнымъ, стараются воспользоваться и приимають всякія мѣры къ привлеченію грузоотправителей, такъ какъ это обусловливаетъ увеличеніе дивиденда. Если же акціонерный капиталъ предпріятія, гарантированнаго правительствомъ, сосредоточенъ въ рукахъ одного лица, то тутъ не остается мѣста заботамъ о привлеченіи грузовъ и объ увеличеніи способности дороги перевозить все получаемое, потому что за облигаціонный долгъ отвѣчаетъ правительство, а доходъ съ акцій гарантированъ и, слѣдовательно, нисколько не зависитъ отъ успѣшнаго веденія дѣла. Напротивъ, есть даже выгода въ томъ, если эксплуатация дороги въ дурномъ состояніи, потому что, чѣмъ настоятельнѣе будутъ жалобы, тѣмъ скорѣе правительство дастъ ссуду, чтобы не остановить движенія; а всякая ссуда даетъ извѣстный барышъ поставщику предметовъ и работъ, въ особенности если поставщикомъ является самъ хозяинъ дороги”.

Между тѣмъ комисія пришла къ убѣжденію, что никакія ссуды и субсидіи не помогутъ при существующемъ отношеніи правленія курско-харьковско-азовской дороги къ дѣлу и что чѣмъ дальше, тѣмъ чаще будетъ г. Поляковъ просить ссудъ, грозя, въ противномъ случаѣ, прекращеніемъ движенія, и потому комисія полагаетъ, „что для окончательнаго уничтоженія существующаго зла въ эксплуатациіи курско-харьковско-азовской дороги и полученія увѣренности, что дорога будетъ, наконецъ, удовлетворять тѣмъ интересамъ, для которыхъ она построена, наиболѣе цѣлесообразной и полезной мѣрой были бы выкупъ дороги и дальнѣйшая эксплуатация ея правительствомъ”.

„Если же выкупъ дороги будетъ признанъ несвоевременнымъ, единственнымъ мѣропріятіемъ должно быть устраненіе возможности на будущее время произвольной эксплуатациіи дороги, съ какою цѣлью слѣдуетъ желать организаціи сильнаго и компетент-

наго контроля надъ дѣйствіями администраціи курско-харьковско-азовской дороги. Предлагаемый въ такомъ случаѣ контроль, по мнѣнію комисіи, полезно было бы организовать при правленіи общества назначеніемъ членовъ отъ министерства путей сообщенія, финансовъ, военнаго и государственнаго контроля“.

Относительно ответственности строителя въ комисіи вышло нѣкоторое разнорѣчіе. Всѣ винили одного строителя, какъ главнаго во всемъ виновника, но членъ отъ государственнаго контроля не согласился съ этимъ мнѣніемъ и въ особой запискѣ, приложенной къ отчету, между прочимъ доказываетъ, что ответственность съ гуромъ должны раздѣлить и другія лица.

„Дѣйствительно, говоритъ г. Хмыровъ,—еслибы департаментъ желѣзныхъ дорогъ настаивалъ на своевременномъ представленіи строителемъ проектовъ сооружений и самъ своевременно ихъ рассматривалъ; еслибы департаментъ желѣзныхъ дорогъ, чрезъ посредство мѣстной инспекціи, наблюдалъ, чтобы не производились сооружения, проекты на которыя еще не утверждены или даже не представлены на разсмотрѣніе; еслибы мѣстная инспекція имѣла наблюденіе, чтобы въ сооруженияхъ не допускались измѣненія противъ проекта, безъ предварительнаго на это разрѣшенія; еслибы свидѣтельствующія комисіи не разрѣшали, вопреки существующихъ правилъ, открытіе движенія на дорогѣ, въ значительной степени еще неготовой къ тому, и вообще произвели бы освидѣтельствованіе съ большею обстоятельностью и подробностью, не допуская неумѣстной въ этомъ дѣлѣ поспѣшности, и, наконецъ, еслибы повужденіе общества дороги со стороны мѣстной инспекціи, а этой послѣдней со стороны министерства относительно исполненія недодѣлокъ было постояннѣе и настойчивѣе,—то нѣтъ сомнѣнія, что ни ухудшенія въ самомъ сооруженіи линіи, ни значительная доля жалобъ, неудовольствій и безпорядковъ на дорогѣ не имѣли бы мѣста“.

Только напрасно поднять вопросъ объ ответственности. Почтенный строитель неуязвимъ. „Онъ уже давно предупредилъ, какъ сообщаетъ нѣкто въ „Новомъ Времени“, — гарантировалъ себя прочно и на долгія времена. Дѣло вотъ въ чемъ. Лѣтъ шесть или семь тому назадъ, пользуясь существовавшимъ въ нашихъ высшихъ финансовыхъ сферахъ убѣжденіемъ въ великой пользѣ для Россіи привлеченія иностранныхъ капиталовъ, г. Поляковъ скомбинировалъ слѣдующую операцію: подъ залогъ всѣхъ почти единолично принадлежащихъ ему гарантированныхъ акцій козловско-воронежской, орловско-грязской и др. желѣзныхъ дорогъ выпустилъ въ Берлинѣ на 36 миліоновъ марокъ (12 мил. талеровъ) 5-ти-проц. облигацій, погашаемыхъ тиражемъ, и выручен-

ныя этимъ путемъ суммы получилъ въ свое частное распоряженіе; акціи же, служащія за зюгомъ, внесены въ государственный банкъ въ Петербургѣ подъ особую квитанцію, хранящуюся у берлинскихъ банкировъ, а выплачиваемая по нимъ русской казной 5-ти-процентная гарантія поступаетъ къ тѣмъ же банкирамъ для оплаты купоновъ выпущенныхъ облигацій. Такимъ образомъ ни наложить запрещеніе на акціи г. Полякова, ни приостановить выдачу по нимъ гарантированныхъ процентовъ, ни употребить эти проценты на исправленіе его дорогъ нельзя. Берите, пожалуй, дороги въ казенное управленіе; этимъ только прекратится дальнѣйшее эксплуатированіе ихъ въ пользу кармана г. Полякова (и то ужъ хорошо бы!), но изъ его кармановъ ничего не получится, а казнѣ всѣ же придется затратить еще многіе миліоны, чтобы довести положеніе поляковскихъ желѣзныхъ дорогъ до удовлетворительной степени“.

Заканчивая письмо, я уже не спрашиваю тебя, Дженни, такъ ли виноватъ достопочтенный строитель, какъ казалось сначала. Вѣдь главная его вина собственно въ томъ, что онъ очень ловкій и умный человекъ, по профессіи дѣлецъ, и, что важнѣе всего, знаетъ, какъ здѣсь говорятъ, „гдѣ зимуютъ раки“.

That is the question.

Твой Джонни.

Письмо пятьдесятъ третья.

Дорогая Дженни!

Праздники я провелъ весело: былъ на двухъ елкахъ и встрѣтилъ новый годъ очень пріятно въ семействѣ одного почтеннаго русскаго джентльмена, большого поклонника англичанъ и нашихъ порядковъ. Этотъ джентльменъ живетъ, какъ прописываютъ здѣсь дворники, „на свои капиталы“. Имѣя независимое состояніе, онъ продолжаетъ ссору съ департаментомъ, въ которомъ, однако, числится для полученія чиновъ и небольшого вознагражденія, какъ онъ смѣясь говорить, „на галстуки“, не отыскиваетъ никакихъ „корней“ и живетъ въ свое удовольствіе. Онъ много путешествовалъ, оставилъ двѣсти десятинъ орловскаго чернозема въ Монте-Карло (жена его, почтенная женщина, впрочемъ, объ этомъ и не догадывается) и лѣтъ съ пять тому назадъ окончательно поселился въ Петербургѣ и отъ скуки иногда ходитъ въ городскую Думу и по временамъ произноситъ тамъ речи.

У него встрѣчало новый годъ большое общество: нѣсколько дамъ и мужчинъ, принадлежащихъ къ порядочному кругу. Было

нѣсколько представителей помѣстной интеллигенціи, одинъ адвокатъ, два или три генерала, одинъ литераторъ и одинъ пріѣзжій изъ Москвы молодой джентльменъ, большой поклонникъ Каткова, нѣсколько смущавшій даже своими мнѣніями хозяина, который, въ качествѣ либерала, шокировался нѣсколько откровенными бесѣдами молодого человѣка изъ Москвы.

Молодой человѣкъ изъ Москвы мнѣ даже понравился своей искренностью и откровенностью. По крайней мѣрѣ, онъ имѣлъ настолько гражданскаго мужества, что не стѣснился прямо объявить себя ретроградомъ и храбро вступить въ споръ съ однимъ адвокатомъ, объявившемся либераломъ. Впрочемъ, недавно несравненно большее мужество выказалъ профессоръ русской исторіи Иловайскій, изобрѣтатель складныхъ корабликовъ, пропагандистъ индійскаго похода, сотрудникъ „Московскихъ Вѣдомостей“. Онъ, Дженни, напечаталъ въ послѣднемъ изданіи „Краткихъ очерковъ изъ русской исторіи“, принятыхъ въ руководство во всѣхъ гимназіяхъ, что Катковъ „первый русскій публицистъ“. Я не знаю, прибавлено-ли къ этому: „подписка принимается тамъ-то и цѣна такая-то“, но довольно и того, что профессоръ исторіи въ учебникѣ исторіи рекламируетъ своего alter ego. Но какъ ни похвальна пріязнь историка къ публицисту, тѣмъ не менѣе едва-ли прилично выражать ее въ учебникѣ исторіи для гимназистовъ. Я не знаю, на какомъ основаніи почтенный профессоръ, имѣвшій возможность пропагандировать имя перваго публициста въ газетахъ, въ брошюрахъ, если угодно, въ афишахъ, — сдѣлалъ это въ учебникѣ! Если это сдѣлано для рекламы и пропагандированія гимназистамъ хорошаго направленія, то, мнѣ кажется, было-бы несравненно приличнѣе и, пожалуй, цѣлесообразнѣе обязать гимназистовъ покупать бумагу, ливалы и вообще всѣ принадлежности не иначе, какъ съ портретомъ почтеннаго издателя и съ надписью на видномъ мѣстѣ: „спаситель отечества“. Наконецъ, мнѣ кажется, можно было-бы почтенному профессору, ужъ если онъ такъ влюбленъ въ „перваго русскаго публициста“, взять примѣръ съ того изобрѣтателя „лучшей англійской ваксы“, который, для распространенія фирмы, послалъ агента въ Египетъ и велѣлъ ему на пирамидахъ написать блестящей крупной чернью: „Лучшая англійская вакса. Лондонъ. Такая-то улица“. Подобнымъ образомъ могъ-бы поступить и почтенный профессоръ русской исторіи, предпринявъ путешествіе (натурально, съ ученой цѣлью) по Россіи и въ чужіе края. Запасшись кистью и блестящей чернью, онъ могъ-бы на памятникахъ, на заборахъ, испешренныхъ часто неблаговидными надписями, на стѣнахъ губернскихъ учреждений, — словомъ, на всѣхъ видныхъ мѣстахъ дѣлать надписи крупными буквами: „Первый русскій публицистъ. Спаситель

отечества. Изобрѣтатель измѣнъ и ковѣ. Лучшая газета. Благонадежность. Всего 17 рублей. Подписка принимается и пр.“, а внизу подпись: профессоръ Иловайскій, странствующій съ ученою цѣлью. Нѣтъ сомнѣнй, что со стороны мѣстныхъ управленій не встрѣтилось-бы препятствія въ подобномъ ученомъ путешествіи профессора. Что же касается приличій, то они были бы въ послѣднемъ случаѣ соблюдены гораздо болѣе. Можно было-бы сказать, что г. Иловайскій — оригинальный человѣкъ, но нельзя было-бы сказать, что профессоръ унижаетъ свою науку. А теперь можно.

Пока шелъ споръ между молодымъ человѣкомъ изъ Москвы и адвокатомъ изъ Петербурга (молодой человѣкъ изъ Москвы говорилъ, что „рано“, а молодой человѣкъ изъ Петербурга доказывалъ, что нисколько не „рано“), генералы играли въ винтъ, одинъ джентльменъ прокурорскаго надзора мягкимъ, пріятнымъ теноромъ рассказывалъ дамамъ значеніе шекспировскихъ трагедій, а хозяинъ отвелъ меня въ сторону и почтилъ своимъ исключительнымъ вниманіемъ. Онъ рассказывалъ мнѣ, чего, собственно говоря, онъ хочетъ и чего бы онъ желалъ Россіи. Онъ развивалъ передо мной довольно привлекательную картину, въ то время, какъ изъ угла долетали фразы молодого человѣка изъ Москвы:

— Да-съ... я ретроградъ и нисколько объ этомъ не печалюсь. Всѣ мы...

— Оригинальный господинъ, не правда-ли? какъ-то кисло улыбнувшись, проговорилъ хозяинъ. — У насъ еще есть такіе господа—ретрограды. Не даромъ онъ такой поклонникъ Страстного бульвара.

— Отчего исторія Россіи такъ грандіозна? нисколько не стѣняясь, продолжалъ молодой человѣкъ изъ Москвы. — Оттого, собственно говоря, что мы вѣримъ и не разсуждаемъ.

— Я не скрою отъ васъ, продолжалъ между тѣмъ мой хозяинъ, — что народъ нашъ, какъ и вездѣ, впрочемъ, — безсмысленное стадо, тураны какіе-то.

— Вы, кажется, ужъ слишкомъ нападаете, сэръ, па вашъ народъ.

— О, повѣрьте, милордъ, я его знаю. Это, извините за выраженіе, просто скоты, созданные для того, чтобы заниматься мускульной работой, поставлять пушечное мясо и вѣрить въ вѣдьмъ и чорта. Пройдетъ еще много времени, а онъ все будетъ вѣрить въ вѣдьмъ. Это роковое положеніе дѣль. Сожалѣйте объ этомъ или не сожалѣйте, а это такъ... Что тамъ ни толкуютъ наши народники, а нельзя не признавать факта, какъ онъ есть...

Онъ продолжалъ развивать свою мысль и пришелъ къ заключенію, что, собственно говоря, только порядочные люди могутъ

пользоваться на землѣ счастьемъ, а остальные—какъ это теоретически ни грустно — должны проводить время въ „воздержаніи и молитвѣ“. Постепенно часть этихъ „скотовъ“, по законамъ прогресса, тоже будетъ приобщаться къ цивилизаціи, чему мы видимъ примѣры...

— Вы и теперь, милордъ, можете видѣть у насъ многихъ бывшихъ мужиковъ цивилизованными. Благодаря труду и энергіи, они составили себѣ состояніе и каждый изъ насъ съ удовольствіемъ готовъ пожать руку такому человѣку, несмотря на то, что отъ него еще пахнетъ дегтемъ. Многие бывшіе мужики — теперь генералы. Какъ видите, мы не смотримъ на происхожденіе.

Среди пріятныхъ разговоровъ мы и не замѣтили, какъ наступило время ужина, и сѣли за столъ. Пробыло двѣнадцать. Всѣ выпили по бокалу шампанскаго и каждый обязанъ былъ произнести по спичу. Говорили почти всѣ, и говорили болѣе въ ми-норномъ тонѣ, но, однако, не безъ надежды, что въ наступившемъ году всѣ недоумѣнія прекратятся и Россія снова пойдетъ твердымъ шагомъ по пути прогресса. Къ концу ужина, когда выпито было довольно вина, разговоръ принялъ, впрочемъ, болѣе легкій характеръ. Разсказывали анекдоты, смѣялись, передавались сплетни и т. п. Молодой человѣкъ изъ Москвы, поклонникъ Каткова, доказывавшій, что величіе Россіи въ классицизмѣ, въ зубреніи Фукидида и Тита Ливія и въ умѣннѣ жить одной вѣрой, а не разсужденіемъ, этотъ молодой москвичъ оказался большимъ знаткомъ анекдотовъ и сдѣлался поэтомъ душою общества.

Когда мы съ нимъ, выйдя отъ гостепріимныхъ хозяевъ, пошли вмѣстѣ, онъ вдругъ обратился ко мнѣ и, весело смѣясь, замѣтилъ:

— Не правда-ли, хорошій былъ ужинъ?..

— Отличнѣйшій.

— А скотина же хозяинъ, надо признаться, большая!

— Что вы?

— Ей-богу, скотина! Когда я былъ либераломъ,—а я былъ прежде либераломъ, милордъ, до тѣхъ поръ, пока не познакомился съ великимъ человѣкомъ,—я жилъ въ имѣніи рядомъ съ этимъ англоманомъ.

— Ну, такъ что-же изъ этого?

— Такъ этотъ англоманъ, я вамъ скажу, чисто-таки дѣлалъ дѣла съ мужиками. Въ зубы, правда, никогда, но за то насчетъ штрафовъ—довольно либерально. Ну, будьте здоровы, милордъ... Я очень уважаю вашу страну... Очень... Страна хорошая, хоть у васъ тамъ и занимаются глупостями...

— Какими?

— Всякими... Впрочемъ, можетъ быть, оно и нужно, а намъ этого не нужно. Намъ, милордъ, нужна дубинка... дубинка, милордъ, потому что, какъ говоритъ Михаилъ Никифоровичъ, иначе всѣ въ либераловъ обратятся... Чего добраго, и я самъ, кажется, свѣжій ретроградъ, а тоже сдѣлаюсь либераломъ.

— Какъ такъ?

— Очень просто. У насъ это очень просто. Какъ въ голову взбредеть.

Хотя молодой человѣкъ изъ Москвы и былъ значительно весель послѣ ужина, но въ его словахъ звучала такая искренняя нотка, что я, поговоривъ съ нимъ еще, вполне убѣдился, что молодому человѣку изъ Москвы такъ-же легко опять сдѣлаться либераломъ, какъ выпить бутылку шампанскаго.

— Что-же, вы тогда о вѣрѣ и о здоровомъ смыслѣ Охотнаго ряда не будете говорить?

— Ну, конечно! хохоталъ молодой человѣкъ.

Удивительно добродушный и легкомысленный этотъ молодой человѣкъ изъ Москвы! Такихъ легкомысленныхъ, впрочемъ, я на каждомъ шагу здѣсь встрѣчалъ.

Въ числѣ моихъ русскихъ знакомыхъ у меня есть, Дженни, въ Петербургѣ одинъ джентльменъ, который отъ скуки, какъ говоритъ онъ, переходитъ изъ ретроградовъ въ либералы и обратно. И многіе здѣсь называютъ это умнѣемъ „свободно“ жить и мыслить; у насъ, какъ ты знаешь, цѣнять человѣка за твердость его убѣжденій, за послѣдовательность его общественнаго поведения, а молодой москвичъ говоритъ: „плевать намъ на эти убѣжденія! Это только лишняя обуза. Надо умѣть держать носъ по вѣтру и прежде всего быть *ловкимъ*“. (Слово *ловкій* особенно любятъ употреблять здѣшніе адвокаты.

— А то тощица, милордъ, продолжалъ молодой москвичъ, — невероятная. Ну просто такая одоѣваетъ иной разъ тоска, что хотъ стрѣляйся на тридцать второмъ году жизни; но все какъ-то не рѣшаешься, все думаешь, что новыя котки приѣдутъ изъ Америки, — французскія надоѣли! — и будетъ цѣль въ жизни. Если-бы засадили меня за латинскую грамматику, то, клянусь Богомъ, немедленно-бы застрѣлился. Но въ томъ и бѣда, что никто не засадитъ. За-границей надоѣло, я лѣтъ пять прожилъ и два раза въ Клиши сидѣлъ, пока не умеръ дядя,—еще другой наготовѣ! смѣясь прибавилъ джентльменъ.— Состоянія еще, слава Богу, до смерти слѣдующаго дяди хватить, такъ что мнѣ нѣтъ нужды ни поступать въ директоры правленія, ни сдѣлаться общественнымъ человѣкомъ, хотя и могъ бы: стоитъ только повторить арифметику, сочинить хорошенькую записку и „Дѣло“, № 1, 1880 г.

сбрить бороду; но честолюбія во мнѣ нѣтъ и лѣнь, повторятъ арифметику. Такъ, видите-ли, почтенный милордъ, отъ скуки я и выдумалъ себѣ недавно развлеченіе.

Онъ весело засмѣялся и продолжалъ:

— Пока оно меня занимаетъ, какъ новость. Самъ выдумалъ, ей-богу, милордъ, самъ! Дѣло въ томъ, что я по недѣлямъ бываю то ретроградъ, то либераль, ѣзжу по знакомымъ, смущаю однихъ, сержу другихъ, радую третьихъ и время отъ времени посылаю передовыя статьи въ газеты разумѣется, подъ псевдонимомъ. Когда я ретроградъ, то въ статьяхъ всю недѣлю настойчиво пою: „Voilà le sabre, le sabre, le sabre de mon père“, требую поголовнаго искорененія всѣхъ лицъ, „развращенныхъ исторіей“, ищущихъ „корня“, гдѣ только можетъ себѣ представить воображеніе скучающаго человѣка—въ судахъ, въ домѣ А. А. Краевского, въ храмахъ науки, у Суворина въ газетѣ даже, сочиняю извѣстія. Вы читали, какъ въ Москвѣ былъ пойманъ молодой человѣкъ съ огнестрѣльнымъ оружіемъ и 12,000 рублей въ карманѣ?

— Какже, читалъ.

— Ну, такъ, между нами, это я, милордъ, послалъ къ Каткову. Пришла фантазія—я и сочинилъ этотъ „случай“, а онъ, натурально, обрадовался. Всѣ перепечатали, наши и иностранныя газеты, а я смотрю и смѣюсь. Катковъ, говорятъ, просто ногъ подъ собою не слышалъ, что такое пикантное извѣстіе сообщено у него въ газетѣ. Рассказывали мнѣ, что по этому случаю онъ даже г. Воскобойникову, помощнику своему, обѣщалъ выхлопотать у персидскаго шаха Льва и Солнца; г. Воскобойникову давно хочется Льва и онъ завидуетъ г. Цитовичу, которому, говорятъ, за брошюры его, переведенныя на малайскій языкъ, его величество король сіамскій прислалъ орденъ „Сіамскихъ близнецовъ“ и звалъ къ себѣ въ министры народнаго просвѣщенія, но только профессоръ отказался за незнаніемъ сіамскаго діалекта.

— Такъ не вы-ли, сэръ, и замѣтку о случаѣ у протоіерея Палисадова выдумали?

— Именно я, никто иной, милордъ, какъ я, смѣясь повторилъ веселый джентльменъ. — Ну, конечно, тогда была моя ретроградная недѣля! И опять Катковъ пришелъ въ восторгъ, и снова обѣщалъ г. Воскобойникову Льва и Солнца.

— Но когда дѣло разъяснилось, когда почтенный проповѣдникъ добросовѣстно напечаталъ въ газетахъ, что ничего подобнаго не было?

— Тогда Катковъ разсердился. Призвалъ г. Воскобойникова и сказалъ, что Льва и Солнца не будетъ, что онъ имѣетъ невѣрныхъ корреспондентовъ въ Петербургѣ... „А докладъ на Тургене-

ва? почтительно замѣтилъ г. Воскобойниковъ. — Неужто онъ ничего не стоитъ? Но Катковъ нахмурилъ брови и отвѣтствовалъ: „За это Иногородній Обыватель можетъ ждать награды, а не вы!“

— Что-же вы дѣлаете, сэръ, въ ваши, какъ вы говорите, „либеральныя недѣли“? обратился я къ джентльмену, желая его навести на сущность разговора.

— А тогда, милордъ, я пишу статьи о „необходимости жука“, причежь доказываю, что жука побѣдить можно тогда только, когда... когда... Я ставлю нѣсколько точекъ и опять-таки перепечатаываю „Voilà le sabre, le sabre, le sabre de mon père!“ но уже съ либеральными коментаріями. Я уже, какъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, не требую въ двадцать четыре часа искоренить всѣхъ, недостигшихъ пятидесятилѣтняго возраста, и доказываю, что такая окрошка ни къ чему хорошему не поведетъ, но оставляю за собой право окрошки надъ нѣкоторыми.. И чтобы отгнать, какіе мы хорошіе люди и какіе мерзавцы другіе, я опять-таки, послѣ „необѣдимаго жучка“, посылаю подъ псевдонимомъ г. Богдановича или самого г. Билбасова статью: „Съ нами Богъ, да расточатся врази его!“ а послѣ нея помѣщаю „Скрежетъ зубный по случаю городского бляха № 1052“. Но только все это мнѣ начинаетъ надоѣдать, милордъ! Каждый день одно и то-же. Мнѣ хочется на-время бонапартистомъ объявиться.

— Какъ бонапартистомъ?

— А такъ. Народъ съ одной стороны, „Фигаро“ съ другой, веселые анекдоты съ третьей, голыя ляшки съ четвертой... все это посыпать славянофильской сольюю, съ храмомъ св. Софіи въ перспективѣ. А вообще—чего хочешь, того и просишь. Бодрость и языкъ безъ костей, когда нужно ругать въ вильмесановскомъ родѣ... а по большимъ праздникамъ—скорбь о неприличіи литературы и уныніе, что выдумываютъ огульныя клички. Это тоже недурно... Я, какъ недѣля пройдетъ, непременно объявлюсь бонапартистомъ и стану отъ скуки „вырывать зло“ уже въ третьемъ родѣ. Вырву зло, а послѣ—романъ „Голая ляшка“, послѣ „Голой ляшки“ статья „Подъемъ духа или война Западу“, послѣ „Войны“ идилія „Бѣдный мужичекъ“. Послѣ „Бѣднаго мужичка“—„Воспрянь народъ, воспрянь!“ Опять передовая, въ которой расскажу, какъ народъ рвется свершить свою задачу, что ему наплевать на вицету свою, коли честь его зоветъ въ Царьградъ. Послѣ—„Петька Каравеловъ или чего ему, идиоту-радикалу, смотрѣть въ зубы“. Послѣ „Петьки“ стихокъ о томъ, какъ двѣ благородныя испанки „занимались любовью, и любовью не простой, а особенной“. Затѣмъ полемическія красоты, въ отместку, если меня гдѣ-нибудь назовутъ бонапартистомъ. Пока не задѣнутъ, я буду

молчать, но задѣнуть—ну, ужь тогда прошу не гнѣваться. Слава Богу, и я могу ругаться не хуже газетныхъ рецензентовъ... Это тоже будетъ забавно, ей-богу забавно. Я хочу попробовать! закончилъ веселый джентльменъ.

Однако мнѣ, Дженни, надоѣло слушать этого, по совѣсти сказать, безстыжаго молодого джентльмена, выдумывающаго себѣ отъ скуки такія милыя развлечения. Я распрощался съ нимъ, пояснивъ ему, что мнѣ некогда.

Я виноватъ, Дженни, что до сихъ поръ не сообщилъ тебѣ о дѣлѣ знаменитаго „героя“ Весты, разбиравшемся въ морскомъ окружномъ судѣ и надѣлавшемъ не мало шума. Въ одномъ изъ слѣдующихъ писемъ я сообщу тебѣ личныя впечатлѣнія, вынесенныя мною изъ суда. Замѣчу только, что мое мнѣніе объ этомъ процесѣ совсѣмъ расходится съ мнѣніями, высказанными въ русской прессѣ. Мнѣ одинаково показались несимпатичными и г. Барановъ, и г. Рождественскій. Вообще, въ этомъ нѣсколько темномъ дѣлѣ многое не выяснено и не досказано, хотя изъ недомолвокъ и недосказовъ и проглядываетъ непривлекательная картинка какой-то закулисной борьбы. Я послѣ поговору подробно объ этомъ, Дженни, а слѣдующее письмо посвящу любопытному, какъ характеристика русскихъ литературныхъ нравовъ, дѣлу объ „измѣнѣ“ извѣстнаго русскаго писателя И. С. Тургенева, поднятому, какъ уже я писалъ, русскимъ журналистомъ г. Иногороднымъ Обывателемъ. Впрочемъ, русскія газеты уже сообщили, что подъ этимъ именемъ корреспондируетъ въ „Московскія Вѣдомости“ романистъ „Русскаго Вѣстника“, г. Болеславъ Маркевичъ, а потому я и буду называть его настоящимъ именемъ. Пока прощай.

Твой Джонни.

Письмо пятьдесятъ-четвертое.

Дорогая Дженни!

Дѣло, о которомъ я стану рассказывать тебѣ, возникло по слѣдующему поводу. Въ одной французской газетѣ появилась статья одного русскаго, въ которой было сдѣлано русскимъ белетристомъ краткое примѣчаніе, рекомендующее статью, съ оговоркой, что г. Тургеневъ не раздѣляетъ мнѣній, высказанныхъ въ статьѣ. Никто не обратилъ, разумѣется, вниманія на нѣсколько строкъ, написанныхъ почтеннымъ белетристомъ, но г. Иногородный Обыватель, или г. Маркевичъ, не пропустилъ случая, и въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ появился по поводу этого примѣчанія слѣду-

ющій обстоятельный докладъ, въ которомъ, между прочимъ, блестятъ, какъ перлы, слѣдующія мѣста:

„Выступить въ этой роли, мудро прикрывшись при этомъ на всякій случай оговоркой о своемъ личномъ „неодобрении“ ихъ „убѣждений“, онъ чувствовалъ видимо неодолимую потребность, чувствовалъ съ той минуты, должно быть, когда посреди своего московскаго триумфа, въ пору послѣдняго его приѣзда въ Россію, голосъ нѣкоего „радикальнаго“ студіозуса долетѣлъ къ нему, какъ съ небесъ, упрекая его въ томъ, что онъ выражалъ стремленія молодежи, но не всѣ, и что если онъ и написалъ когда-то для своихъ сверстниковъ „Записки охотника“, то такія-же „Записки охотника“ для современнаго поколѣнія напишетъ, конечно, не онъ. Этотъ страшный уколъ, „словно солнце боли въ животѣ“, по выраженію, принадлежащему чуть-ли не самому г. Тургеневу, не давалъ ему, очевидно, съ тѣхъ поръ ни пить, ни ѣсть. И вотъ сама судьба шлетъ ему подъ руку давно желанный случай. Бѣжитъ къ нему съ сѣвера дорогой гость; онъ ссыльный, онъ эскз-уэникъ, онъ, *rig sans* нигилистъ. Скорѣе-же, скорѣе заявимъ на всю вселенную, что этотъ „нигилистъ“ не нигилистъ, и что всѣ вообще русскіе нигилисты нисколько „не черные“ и вовсе не „зачерствѣлые люди“.

„Эта внутренняя потребность заискиванья и низкопоклонства предъ тѣмъ, что до сихъ поръ считается г. Тургеневымъ дѣйствительною силой въ „его странѣ“, беретъ у него верхъ надъ разумомъ, надъ памятью, надъ всякимъ доступнымъ самому простому человѣку соображеніемъ. Ни совершенная этою „силою“ злодѣйства,—злодѣйства невиданныя, неслыханныя въ Россіи во все теченіе ея тысячелѣтней исторіи,—ни ужасъ и негодованіе, возбужденные ими во всѣхъ слояхъ русскаго народа, ни врожденное собственннй его натурѣ отвращеніе къ крови и разрушенію не въ состояніи преодолѣть въ немъ этотъ постыдный зудъ популярничанья, такъ мало отвѣчающій достоинству его сѣдыхъ волосъ. Онъ подъ этимъ вліяніемъ не въ состояніи дать себѣ никакого отчета въ значеніи своихъ поступковъ; онъ не понимаетъ, что атестаціею, выданною имъ русскимъ „нигилистамъ“, онъ призналъ правымъ ихъ гнусное дѣло, что они, само собою, смѣются надъ его осторожнымъ выгораживаніемъ его собственннй особы и разумѣютъ не иначе его распубликованное въ „la Temps“ письмо, какъ поощрительнымъ для себя документомъ“.

Надо сказать правду: почти вся русская печать единодушно отнеслась съ презрѣніемъ къ этому докладу, взводящему на г. Тургенева обвиненія чуть-ли не уголовнаго свойства.

Но тутъ, Дженни, случилось слѣдующее курьезное обстоятель-

ство, тоже характерное, какъ матеріалъ для исторіи русской журналистики. Однимъ изъ ярыхъ обличителей докладчика выступила почтенная газета „Голосъ“, та самая газета, которая года три-четыре тому назадъ печатала воскресные фельетоны того-же Иногороднаго Обывателя съ тѣмъ же душкомъ, и напечатала его ругательный разборъ романа „Новъ“ г. Тургенева. Въ этомъ разборѣ, написанномъ со скрежетомъ зубовымъ и съ запахомъ, присущимъ г. Иногородному Обывателю, г. Тургеневъ предавался анафемѣ. (Злые языки говорятъ, что въ одномъ изъ персонажей „Нови“ критикъ узналъ себя).

Но это къ слову.

Признаюсь, я никакъ не думалъ, что г. Тургеневъ станетъ отвѣчать на эти обвиненія, нелѣпость которыхъ была слишкомъ очевидна. Мнѣ казалось, что гораздо было бы разсудительнѣе и достойнѣе отвѣтить молчаливымъ презрѣніемъ, но оказалось, что я ошибался. Русскій маститый белетристъ поспѣшилъ отвѣтить письмомъ, въ которомъ счелъ долгомъ не только опровергнуть обвиненіе, но еще и изложить въ нѣкоторомъ родѣ свое не безъинтересное *profession de foi*.

Вотъ это любопытное письмо, адресованное къ редактору „Вѣстника Европы“ и напечатанное въ „Молвъ“:

„Любезный М. М.

„Вамъ, какъ старинному моему пріятелю, хорошо извѣстно, съ какой неохотой я рѣшаюсь занимать публику вопросами, лично до меня касающимися; но прочтенная мною надняхъ корреспонденція г. „Иногороднаго Обывателя“ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ вынуждаетъ меня взяться за перо.

„Корреспонденція эта появилась по поводу напечатаннаго въ газетѣ „Temps“ моего письма, предпосланнаго разсказу изгнанника, содержащагося въ одиночномъ заключеніи втеченіи четырехъ лѣтъ,—разсказу, представлявшему исключительно психологическій и, пожалуй, судебный интересъ.

„Еслибы г. „Иногородный Обыватель“ ограничился одними посильными оскорбленіями, я бы не обратилъ на нихъ вниманія, зная, изъ какой „кучи“ идетъ этотъ „громъ“; но онъ позволяетъ себѣ заподозрѣвать мои убѣжденія, мой образъ мыслей,—и я не имѣю права отвѣчать на это однимъ презрѣніемъ.

„Приписывая мнѣ всяческія неблагородныя побужденія и чутьли не преступныя намѣренія, г. „Иногородный Обыватель“ обвиняетъ меня въ низкопоклонствѣ, въ заискиваніи, въ „кувыркани“ передъ нѣкоторой частью нашей молодежи. Такого рода заискиваніе предполагаетъ отступничество отъ собственныхъ убѣжденій и поддѣлываніе подъ чужія. Но, не хвастаясь и не обинуясь, а просто

констатируя фактъ, я имѣю право утверждать, что убѣжденія, высказанныя мною и печатано, и изустно, не измѣнились ни на іоту въ послѣднія сорокъ лѣтъ; я не скрывалъ ихъ никогда и ни передъ кѣмъ. Въ глазахъ нашей молодежи — такъ-какъ о ней идетъ рѣчь — въ ея глазахъ, къ какой бы партіи она ни принадлежала, — я всегда былъ и до сихъ поръ остался „постепеновцемъ“, либераломъ стараго покроя въ англійскомъ, династическомъ смыслѣ, человѣкомъ, ожидающимъ реформъ *только свыше*, — принципиальнымъ противникомъ революцій, не говоря уже о безобразіяхъ послѣдняго времени. Молодежь была права въ своей оцѣнкѣ, и я почелъ бы недостойнымъ и ея, и самого себя представляться ей въ другомъ свѣтѣ. Тѣ оваціи, о которыхъ упоминаетъ г. „Иногородный Обыватель“, мнѣ были пріятны и дороги именно потому, что *не я шелъ къ молодому поколѣнію*, нерасположеніе котораго я весьма философически переносилъ втеченіи пятнадцати лѣтъ (со времени появленія „Отцовъ и дѣтей“), но потому, что *оно шло ко мнѣ*; онѣ были мнѣ дороги, эти оваціи, какъ доказательство проявившагося сочувствія къ тѣмъ убѣжденіямъ, которымъ я всегда былъ вѣренъ и которыя громко высказывалъ въ самыхъ рѣчахъ моихъ, обращенныхъ къ людямъ, которымъ угодно было меня чествовать.

„Съ какой-же стати мнѣ было лгать и заискивать въ нихъ, когда они сами мнѣ протягивали руки и вѣрили мнѣ?“

„И какъ подумаешь, изъ чьихъ устъ исходятъ эти клеветы, эти обвиненія!? Изъ устъ человѣка, съ молодыхъ ногтей заслужившаго репутацію виртуоза въ дѣлѣ низкопоклонства и „кувырканія“, сперва добровольнаго, а наконецъ даже невольнаго! Правда, ему ни терять, ни бояться нечего: его имя стало нарицательнымъ именемъ, и онъ не изъ числа людей, которыхъ дозвоительно потребовать къ отвѣту. Но и въ его положеніи оглядка не мѣшаетъ; во всякомъ случаѣ, не ему упоминать объ „опозоренныхъ“ сѣдинахъ; не зачѣмъ обращать взоры читающей публики на собственную голову. Публика и безъ того хорошо его знаетъ... и, смѣю прибавить, знаетъ и меня“.

Почтенный белетристъ, заявившій, что его убѣжденія „не измѣнились ни на іоту въ послѣднія сорокъ лѣтъ“, все-таки понапрасну измѣнилъ своей нехотѣ браться за перо и поспѣшилъ отвѣчать на докладъ г. Иногороднаго Обывателя. Напрасно еще и потому, что въ отвѣтъ на его письмо всколыхнулось море грязи. „Виртуозъ“ печатно похвасталъ, что еще въ 1863 году г. Тургеневъ былъ преисполненъ живой благодарности къ этому самому „виртуозу“, который и тогда уже былъ „виртуозомъ почтенныхъ лѣтъ“. Дѣло въ томъ, что г. Иногородный Обыватель извѣ-

стиль г. Тургенева, что его друзья ходатайствуют по поводу показанія нѣкоего Ничипоренко „о преступныхъ якобы сношеніяхъ г. Тургенева съ Г.“, и г. Тургеневъ отвѣтилъ г. Маркевичу слѣдующимъ французскимъ письмомъ, напечатаннымъ въ подлинникѣ и переводѣ:

„Я не могъ отвѣчать вамъ сейчасъ, любезный другъ, потому что вернулся въ Парижъ только вчера,—бздилъ на нѣсколько дней въ Брюссель. Дайте сказать вамъ прежде всего, сколько письмо ваше, столь горячее и столь дружественное, тронуло меня. Не тогда обыкновенно, когда на человѣка обрушивается несчастье, протягиваютъ ему руку; а вы это сдѣлали такимъ великодушнымъ и открытымъ образомъ, что я могу вамъ только сказать: спасибо отъ глубины сердца.

„Я употребилъ сейчасъ слово: несчастье; я долженъ-бы былъ сказать: черепица, такъ-какъ то, что случилось со мною, столь-же глупо-неожиданно, какъ черепица, падающая человѣку на голову. Видѣть себя обвиненнымъ въ заговорѣ съ Г... вслѣдъ за появленіемъ моего послѣдняго романа и посреди ругательствъ, съ которыми относится ко мнѣ красная партія—шутка такая чудовищная, что она принимаетъ извѣстнаго рода вѣроятіе вслѣдствіе самой своей чудовищности. „Подъ этимъ что-то скрывается“, скажутъ зѣваки, „не рѣшились-бы иначе на такую мѣру“. Я считаю лишнимъ говорить вамъ, что нѣтъ рѣшительно—такъ-таки рѣшительно—ничего *подъ этимъ* (курсивъ въ подлинникѣ), и я отсюда слышу безконечный хохотъ Г..., котораго я не видѣлъ съ мая и съ которымъ мы въ началѣ этой зимы обмѣнялись пятью или шестью письмами, приведшими къ окончательному разрыву, такъ-какъ мнѣнія наши расходились всегда. Я либераль издавна, но я монархистъ тоже издавна, а онъ — вы знаете, что онъ такое.

„Скажите Толстому *)), что я получилъ его письмо и что отвѣчу ему завтра: онъ можетъ сдѣлать изъ него то употребленіе, какое сочтетъ приличнымъ....

„Примите выраженіе живой моей благодарности и неизмѣнной дружбы“.

Ты сама, Дженни, оцѣнишь по достоинству г. Иногороднаго Обывателя, хвастающагося, что имѣлъ случай оказать услугу другому человѣку, что не мѣшаетъ ему, впрочемъ, писать „доклады“, въ романахъ и статьяхъ говорить о паденіи основъ и считать себя „спасителемъ“; но любопытно, что отъ этого „спасителя“ нѣсколько лѣтъ тому назадъ отвернулся даже и самъ „отецъ оте-

*) Графу А. К., покойному поэту.

чества". По крайней мѣрѣ, въ передовой статьѣ, сопровождающей письмо г. Маркевича, „Московскія Вѣдомости“,—не поясняя, какой это былъ „случай“, упоминаемый въ письмѣ Тургенева, послѣ котораго „имя г. Иногороднаго Обывателя стало нарицательнымъ“, и почему „онъ не изъ числа тѣхъ людей, которыхъ можно требовать къ отвѣту“,—такъ защищаютъ г. Иногороднаго Обывателя, вновь принятаго въ лоно друзей.

„Бывшій другъ Тургенева былъ постояннымъ сотрудникомъ нашихъ изданій и пользовался нашимъ довѣріемъ, которое никогда не колебалось и вполне оправдывалось имъ съ тѣхъ поръ, какъ мы его знали. Но вотъ произошелъ случай, котораго г. Тургеневъ коснулся, дѣйствительно подавшій поводъ къ сомнѣнію и нареканіямъ. Чѣмъ ближе человекъ стоялъ къ намъ, тѣмъ требовательнѣе должны были мы относиться къ нему и тѣмъ строже были мы въ оцѣнкѣ дѣла, возбуждавшаго сомнѣніе. Мы разстались, и не прежде наши отношенія къ нему возстановились, какъ выяснились для насъ всѣ обстоятельства дѣла и исчезли смущавшія насъ сомнѣнія. Случай, о которомъ идетъ рѣчь, былъ чѣмъ хотите — неловкостью, ошибкой, легкомысліемъ, но не преступнымъ дѣломъ, какое могло бы давать г. Тургеневу основаніе и право для его злословной выходки“.

Такъ дѣло и осталось невыясненнымъ, какой былъ этотъ „случай“, но тѣмъ не менѣе все-таки жаль, что „Московскія Вѣдомости“ рѣшаются до сихъ поръ называть г. Иногороднаго Обывателя „бывшимъ другомъ Тургенева“...

По поводу этой крайне неприглядной исторіи московскій корреспондентъ „Молвы“ сѣтуетъ, что на „несчастный случай“ съ г. Маркевичемъ „Московскія Вѣдомости“ набрасываютъ густое покрывало и, между прочимъ, пишутъ:

„Отчего бы имъ не рассказать подробно всѣ „выяснившіяся“ для нихъ „обстоятельства этого дѣла“ и тѣмъ самымъ дать возможность публикѣ самой судить, позоренъ-ли для г. Маркевича происшедшій съ нимъ „несчастный случай“ или это дѣйствительно со стороны автора „Марины изъ Алаго рога“ не болѣе, какъ „неловкость, ошибка и легкомысліе“? Вѣдь легкомысліе легкомыслію рознь. Иногда добрыми пріятелями принимаются за легкомысліе такія дѣянія, какія людьми, несвязанными дружескими узами съ легкомысленными мужчинами, признаются весьма неблагоприятными.“

По поводу этой-же „тургеневской исторіи“ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ напечатаны слѣдующія строки, относящіяся къ роману „Отцы и дѣти“:

„Г. Тургеневъ создалъ Базарова и самъ запечатлѣлъ этотъ типъ

именем нигилиста. Авторъ, конечно, не раздѣляетъ воззрѣній своего героя. Своимъ умомъ и сердцемъ онъ принадлежитъ къ типу отцовъ, сибаритовъ-эстетиковъ и постепенцевъ сороковыхъ годовъ. Типъ Базарова ненавистенъ автору, но и страшенъ. Изображая типъ нигилиста, онъ придалъ ему характеръ цѣльности и силы, столь плѣнительный для юныхъ умовъ. Безъ маленькихъ черточекъ, которыя авторъ внесъ въ эту фигуру по совѣту издателя журнала, гдѣ впервые „Отцы и дѣти“ увидѣли свѣтъ, она, быть можетъ, совсѣмъ покачнулась бы въ пользу нигилизма, и пустой, озлобленный, огрубѣлый studiosus medicinae вышелъ бы высокимъ идеаломъ для молодого поколѣнія. При первомъ появленіи этой фигуры, въ лагерѣ людей базаровскаго типа произошелъ расколъ: одни дѣйствительно рукоплескали автору за превосходный идеалъ, другіе освистали его, находя, что въ этой фигурѣ скрывать его ненависть къ молодому поколѣнію. Г. Тургеневъ тогда молчалъ. Но прошло много лѣтъ. При благоприятныхъ обстоятельствахъ, расплодилось нигилистовъ множество; они завладѣли нашею литературой, и голоса ихъ шумно понесли на всю Русь. Тогда г. Тургеневъ, безпрерывно ругаемый и поносимый ими, вышелъ предъ публику съ изъявленіемъ своего истиннаго почтенія и совершенной преданности господину Базарову, а въ доказательство своихъ чувствъ къ нему выдалъ издателя журнала, сославшись на свои разногласія съ нимъ во время печатанія. Значить, о симпатіяхъ г. Тургенева къ нигилистамъ засвидѣтельствовалъ онъ самъ, и только онъ самъ; но всѣ близко знающіе его, а въ томъ числѣ и „Иногородный Обыватель“, ему не повѣрили. Они остаются убѣжденными, что въ душѣ онъ питаетъ къ этому типу глубокую антипатію, и находятъ, что онъ хочетъ только казаться сочувствующимъ для того, чтобъ у нигилистовъ состоять въ фаворѣ. „Иногородный Обыватель“ всегда принадлежалъ къ самымъ горячимъ почитателямъ его таланта и не разъ ломалъ за него копыя въ литературныхъ турнирахъ; потому-то такъ и обидно было ему видѣть то, что онъ называетъ его „кувырканиемъ...“

Ты прочла письмо, Джени, посвященное русскимъ журнальнымъ дразгамъ. Съ этой стороны эта во всякомъ случаѣ грустная исторія имѣетъ общественный интересъ.

Прощай. Твой Джонни,
Знатный Иностранецъ.

Съ подлиннымъ вѣрно.

Откровенный Писатель.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА.

НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО ВО ФРАНЦИИ.

Конецъ прошлаго года ознаменовался двумя важными событиями во Франціи: оттепелью и переменною министерства. Впечатлѣніе, произведенное этими великими событиями, было весьма различно, смотря по мѣстности. Въ Франціи, особенно въ отечествѣ „знаменитаго маклера европейскихъ дѣлъ“, Бисмарка, по поводу послѣдняго событія, т. е. переменны министерства, забили рѣшительную тревогу, провидѣвъ въ немъ чуть не явленіе, угрожающее спокойствію всей Европы. Замѣна Вадингтона г-мъ Фрейсине представлялась въ глазахъ однихъ событіемъ, могущимъ повести за собой въ скоромъ времени торжество партіи возмездія, въ глазахъ же другихъ—она должна повести къ торжеству демагогіи. Газеты всѣхъ странъ и всѣхъ отѣнковъ наполняли свои столбцы подобными предсказаніями, и втеченіи цѣлаго мѣсяца общественное мнѣніе употребляло всѣ усилія разгадать, какимъ, наконецъ, чудовищемъ разрѣшится лежащая въ родовыхъ боляхъ республика.

Въ Парижѣ, напротивъ, главный эффектъ былъ произведенъ оттепелью, но такъ какъ хроника наша пишется не для парижанъ, то мы и не будемъ распространяться объ этомъ климатическомъ *сопр d'état* и даже готовы раздѣлить волненіе и безпокойство иностранной публики касательно только-что совершившагося переворота съ министерствомъ Вадингтона. Мы готовы признать, что переходъ г. Фрейсине отъ общественныхъ работъ къ иностраннымъ дѣламъ равняется объявленію войны, что вступленіе въ министерство адвоката Казо и инженера Варуа угрожаетъ потрясеніемъ всему общественному зданію. Этого мало; мы

укажемъ даже на разные симптомы, доказывающіе внимательному наблюдателю, что волненіе это, нисколько не прекращаясь, лишь измѣнило форму своего проявленія. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, достаточно отправиться какъ-нибудь вечеромъ пофланировать на бульварахъ въ канунъ новаго года. Нѣтъ ни одного перекрестка, ни одного балагана, ни одного кіоска, который не былъ бы превращенъ въ политическую трибуну, въ которой роль оратора разыгрывается обыкновенно какимъ-нибудь уличнымъ мальчишкой или толстой торговкой. Слухъ нашъ по всей линіи бульваровъ оглушается возгласами вродѣ слѣдующихъ: „купите французскій вопросъ, законъ Фери, 25 сантимовъ вмѣстѣ съ пробочникомъ“! Далѣе насъ встрѣчаютъ вопросы развода, такъ какъ ихъ два, и состоятъ они изъ двухъ человѣчковъ, которые то сближаются, то удаляются, если дернуть ихъ за привѣщенный къ нимъ снурочекъ. Вся цѣна каждаго четыре су,—тридцать пять сантимовъ за оба вопроса;—берите, почтенная публика, за тридцать пять сантимовъ оба вопроса, чтобы лучше ознакомиться съ ними. Тутъ продается акробатъ, по прозванію Жюль Симонъ, маленькій оловянный человѣчекъ, кувыркающійся на трапеціи. „Фрейсине, или новые часы съ репетиціей“. „Опортюнизмъ или чудесная бутылка“, сохраняющая свое равновѣсіе, несмотря на повторенные удары четырехъ кружащихся волчковъ. Далѣе мы наталкиваемся на кіоскъ, гдѣ продается „министерскій вопросъ, новый кабинетъ“. Со всѣхъ сторонъ къ вамъ протягиваются коробочки съ сюрпризами, всевозможной формы, въ видѣ булочекъ, котлетокъ, окорочковъ и т. п. Вокругъ кіоска цѣлая толпа; товаръ такъ и рвутъ, но—о, ужасъ!—все это обманъ: коробочки пусты, въ нихъ нѣтъ ничего, — все это одна мистификація. До самаго 29 декабря таинственная коробочка оставалась нѣмою; народъ ропталъ, начинали опасаться серьезныхъ безпорядковъ. Наконецъ, народная волна угомонилась, оракулъ сталъ изрѣкать; въ нѣдрахъ одной коробочки оказался слѣдующій списокъ:

Г. Фрейсине — министръ иностранныхъ дѣлъ и предсѣдатель совѣта; Леперъ—внутреннихъ дѣлъ; Казо — юстиціи; Монье—финансовъ; Фаръ — военный министръ; Жорегибери — морской министръ; Фери — народнаго просвѣщенія; Варуа — общественныхъ работъ; Тираръ—министръ торговли; Кошери — почтъ и телеграфовъ.

Остановимъ вниманіе читателя на трогательныхъ перипетіяхъ этой драмы, носящей названіе министерскаго кризиса, — драмы, заканчивающейся приведеннымъ нами результатомъ.

I.

Дѣло происходило въ одинъ четвергъ, 11 декабря, послѣ обѣда. Президентъ республики, въ виду признаковъ недовѣрія, выраженного палатою къ министерству Ваддингтона, имѣлъ серьезный разговоръ съ г. Фрейсине; въ концѣ этого разговора онъ предложилъ ему вопросъ: согласился-ли бы онъ принять наслѣдство г. Ваддингтона и взять на себя составленіе новаго кабинета въ которомъ ему отведется кресло предсѣдателя?

Фрейсине отвѣчалъ на это, что прежде, чѣмъ рѣшиться на окончательный отвѣтъ, онъ желалъ бы изучить нѣсколько общее положеніе дѣлъ, посоветоваться съ своими друзьями и уяснить себѣ, что онъ можетъ сдѣлать лично для того, чтобы удовлетворить желаніямъ главы государства.

Въ то время, какъ г. Фрейсине знакомился съ положеніемъ дѣлъ, настроеніе палаты выяснялось все болѣе и болѣе какъ въ отдѣльныхъ рѣчахъ, такъ и въ нѣсколькихъ важныхъ рѣшеніяхъ.

Два раза кабинетъ обращался къ палатѣ за выраженіемъ довѣрія и оба раза успѣлъ соединить только относительное большинство, не имѣя возможности получить даже половины всего числа членовъ. Наконецъ, третья попытка нанесла рѣшительный ударъ кабинету Ваддингтона: онъ остался въ меньшинствѣ во всѣхъ республиканскихъ группахъ, и большинство въ пользу кабинета состоялось только потому, что вся правая, бонапартисты и роялисты, вздумали, точно для потѣхи, поддержать республиканское министерство противъ большинства республиканской партіи.

Поэтому г. Фрейсине не былъ нисколько удивленъ, когда въ воскресенье, 21 декабря, спустя десять дней послѣ перваго предложенія, онъ получилъ отъ президента республики уже не оффиціозное и условное приглашеніе, а оффиціальное порученіе, въ которомъ г. Гриви просить министра общественныхъ работъ взять на себя трудъ удовлетворить настоятельнымъ требованіямъ организаціи новаго кабинета.

Г. Фрейсине принялъ предложеніе и обѣщалъ немедленно представить президенту результатъ своего плана.

Приступивъ къ дѣлу, онъ задалъ себѣ задачу прежде всего опредѣлить въ точности положеніе каждаго отдѣльнаго члена кабинета; мы послѣдуемъ за нимъ въ этой любопытной оцѣнѣ.

Изъ всѣхъ членовъ кабинета наиболѣе компрометированнымъ оказывался, безъ сомнѣнія, г. Ройе, министръ юстиціи. Вопросъ объ амнистіи съ самаго своего появленія возбудилъ столько с трастей въ разныхъ фракціяхъ палаты, причемъ одни находили но-

вый законъ слишкомъ широкомъ, другіе — слишкомъ узкимъ, что кто-бы онъ ни былъ, этотъ козелъ очищенія, но онъ сдѣлался неизбѣжнымъ. Благодаря своему положенію министра юстиціи г. Ройе и былъ обреченъ на искупительную роль этой жертвы.

Кромѣ того, положеніе его еще болѣе ухудшилось вслѣдствіе другихъ обстоятельствъ. Повсемѣстное движеніе въ пользу амнистіи, проявившееся сразу въ разныхъ концахъ Франціи, увлекло за собою множество лицъ, бывшихъ до тѣхъ поръ противниками ея; даже умѣренная пресса, съ газетою „Temps“ во главѣ, уступила этому давленію общественнаго мнѣнія, которое нашло себѣ отголосокъ среди членовъ кабинета: гг. Фрейсине и Леперъ заявили, что имъ кажется необходимымъ дать въ этомъ отношеніи извѣстное удовлетвореніе общественному мнѣнію, иначе кабинетъ можетъ вдругъ оказаться въ полномъ противорѣчій съ этимъ мнѣніемъ. Въ виду этого заявленія, г. Ройе вспомнилъ, что еще въ прошломъ февралѣ и іюнѣ онъ произнесъ съ трибуны извѣстныя заявленія, которыя не позволяютъ ему вступить на иной политическій путь. „Я сказалъ тогда, прибавилъ онъ, — что правительство должно пользоваться своимъ правомъ помилованія только въ виду интересовъ общества, а никакъ не въ интересахъ самихъ виновныхъ. Между тѣмъ интересы общества требуютъ того, чтобы нераскаявшихся преступниковъ, поставившихъ Францію на край пропасти, въ виду непріятельскихъ пушекъ, наведенныхъ на Парижъ, — чтобы этихъ преступниковъ извергнуть изъ общества. Правительству хорошо извѣстны истинныя причины возстанія 1871 г. Муниципальныя вольности служили лишь предлогомъ, знаменемъ, вокругъ котораго группировались мятежники, несогласные между собою почти во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Правительству желательно прежде всего, чтобы оно не было поставлено въ необходимость выступить вновь противъ извѣстныхъ лицъ и пести, такимъ образомъ, постоянно на себѣ кару за его-же собственную слабость“.

Передъ самымъ собраніемъ палаты, г. Ройе, ожидая, что вопросъ объ амнистіи будетъ вновь поднятъ на трибунѣ, не замедлилъ выступить самъ навстрѣчу угрожавшему запросу и напечаталъ въ официальной газетѣ подробный отчетъ о томъ, какимъ образомъ долженъ былъ примѣняться правительствомъ законъ прошлаго 3 марта. Отчетъ этотъ начинался слѣдующей энергической филиппикой: „Несмотря на то, что возстаніе, вспыхнувшее вслѣдъ за нашими несчастіями и на глазахъ торжествующаго непріятеля, было и останется на-всегда величайшимъ изъ преступленій, вы рѣшили, что наступило время идти далѣе по дорогѣ милосердія“. Официальный докладъ оканчивался перечисленіемъ

извѣстныхъ категорій, для которыхъ двери отечества должны были оставаться закрытыми навсегда.

Этотъ громкій вызовъ, брошенный министромъ юстиціи въ отвѣтъ на торжественныя оваціи, которыми встрѣчали возвращенныхъ изъ Каледоніи, показался многимъ изъ членовъ кабинета вовсе несвоевременнымъ, и г. Фрейсине, нежелавшій ни за что компрометировать свое будущее, рѣшительно отказался приять на себя отвѣтственность за него.

Послѣ вопроса объ амнистіи, самымъ тяжелымъ бременемъ для кабинета былъ вопросъ о магистратурѣ, и, конечно, всею своею тяжестью этотъ вопросъ ложился опять-таки на г. Ройе. Министръ юстиціи носить въ своемъ портфельѣ проектъ реформы, который онъ считаетъ превосходнымъ во всѣхъ отношеніяхъ и способнымъ удовлетворить вполнѣ всѣмъ требованіямъ палаты. Но этотъ замѣчательный проектъ уже десять мѣсяцевъ лежитъ подъ спудомъ у министра, который ни за что не хочетъ представить его палатѣ. Подобная проволочка, естественно, должна была показаться неумѣстной, въ особенности въ виду все болѣе и болѣе надменнаго поведенія магистратуры. Но министръ юстиціи разсчитывалъ, и, какъ видно, не безъ основанія, на испытанное терпѣніе республиканцевъ - опортюнистовъ. По мѣрѣ промедленія, онъ, повидимому, начиналъ даже сомнѣваться въ томъ, будетъ-ли, въ самомъ дѣлѣ, своевременнымъ примѣнить въ настоящее время его проектъ реформы, несмотря на все его превосходство. По крайней мѣрѣ, это можно заключить изъ его отвѣта на нѣкоторыя нападки, направленныя противъ одного судьи, г. Риго, назначеннаго въ прежнее время предсѣдателемъ суда за любезный мадригалъ императрицѣ.

Министръ юстиціи заявилъ съ трибуны, что, по его мнѣнію, всѣ судьи, сохранившіе свои мѣста, тѣмъ самымъ уже заявили свое сочувствіе республиканскому порядку. Въ доказательство стоитъ только посмотреть, съ какою необычайною строгостью судьи преслѣдуютъ всякія нападки, направленныя противъ республики. Еще недавно, въ Лорьянѣ, судъ постановилъ свое рѣшеніе по дѣлу о нѣсколькихъ бретонскихъ дворянахъ, которые на большомъ общественномъ собраніи въ Орэ кричали: „да здравствуетъ король, долой республику!“ Послѣ разныхъ „принятій во вниманіе“, смаживающихъ больше на панегирикъ, чѣмъ на приговоръ, эти господа были приговорены къ штрафу въ 16 франковъ. Напротивъ того, слѣдуетъ замѣтить, что всѣ патеры, преслѣдуемые за нападки на правительство и за оскорбленія, напосимыя ему съ кафедры, обыкновенно вполнѣ оправдываются. Иногда, впрочемъ, судьи доводятъ свою суровость до того, что присуждаютъ ихъ къ тремъ франкамъ

штрафа, который, однакожъ, большею частью слагается съ нихъ апелляціоннымъ судомъ. Кто осмѣлится послѣ всего этого говорить, что французскіе судьи не заставляють уважать существующія учрежденія?

Но впечатлѣніе, вызванное разоблаченіемъ подобныхъ фактовъ, оказалось совершенно инымъ, чѣмъ какого ожидалъ мигъ истръ. Его объясненія были встрѣчены продолжительнымъ ропотомъ, который подѣйствовалъ на него такъ сильно, что онъ, на слѣдующій-же день, счелъ нужнымъ прислать свое прошеніе объ отставкѣ, что, впрочемъ, въ критическихъ обстоятельствахъ составляетъ для министра лучшее средство удержаться на своемъ мѣстѣ. На этотъ разъ, однакожъ, этотъ маневръ оказался недѣйствительнымъ.

Въ одну злополучную пятницу, когда г. Ройе только-что соби-рался сѣсть за обѣдъ, онъ встрѣчаетъ въ дверяхъ своего кабинета г. Гобле, помощника статсъ-секретаря, и г. Дезормо, начальника личного состава министерства. „Чему обязанъ я удовольствіемъ видѣть васъ у себя, мои почтенные сотрудники?“ говоритъ министръ. — „Мы уже не сотрудники ваши, господинъ хранитель печати, отвѣчаетъ одинъ изъ нихъ;—мы явились къ вамъ скорѣе въ роли нотаріусовъ.“ — „Иначе сказать, вы пришли за моимъ духовнымъ завѣщаніемъ?“ — „Такъ точно.“ — „Приступимъ же къ этой операціи“. Не успѣли всѣ трое занять мѣста у стола министра, какъ входитъ дежурный курьеръ и передаетъ хранителю печати письмо, которое тотъ распечатываетъ, читаетъ и, не говоря ни слова, передаетъ его г. Гобле, который, въ свою очередь, кладетъ его передъ г. Дезормо. Письмо это, за подписью г. Фрейсине, содержало въ себѣ требованіе относительно представленія знаменитаго проекта закона касательно несмѣняемости судейскихъ должностей. Всѣ трое переглянулись молча; они безъ труда поняли, что г. Фрейсине былъ приглашенъ президентомъ республики составить новый кабинетъ и что его настоящее письмо подтверждало, что отставка министра юстиціи принята безповоротно.

Послѣ г. Ройе наступила очередь генерала Грелэ, военнаго министра. Отставка эта можетъ показаться съ перваго взгляда менѣе объяснимой. Генералъ этотъ, не колеблясь ни на минуту, приносилъ въ жертву своихъ товарищей по арміи для удовлетворенія требованій подозрительныхъ республиканцевъ. Эти отставки и отозванія, падавшія внезапно на головы его лучшихъ друзей, повели мало-по-малу къ тому, что съ именемъ генерала Грелэ соединилась какая-то легенда, какъ о военномъ министрѣ, зараженномъ душкомъ гамбетизма, почти революціонера. Его приравнивали въ маломъ видѣ къ Бушоту, министру-гебертисту, который

въ прежнія времена организоваль вмѣстѣ съ Карно четырнадцать армій первой республики.

Это была, однако, чистая иллюзія. Генераль Грелэ въ сущности до такой степени далека отъ революціонныхъ стремленій, что даже своимъ мѣстомъ обязанъ маршалу Мак-Магону, который выпросилъ его у Дюфора, составлявшаго кабинетъ послѣ крушенія заговора 16 мая. Грелэ всего меньше можетъ быть названъ гамбетистомъ, такъ-какъ экс-диктаторъ, прочившій издавна на это мѣсто г. Фара, счелъ назначеніе Грелэ за личную обиду, за которую онъ долго думалъ на Дюфора. Дѣло въ томъ, что генераль Грелэ не только не думалъ никогда принадлежать къ партіи гамбетистовъ или революціонеровъ, но онъ даже не пытался сдѣлаться республиканцемъ или просто либераломъ. Это просто добрякъ, весьма услужливый и пріятный въ личныхъ сношеніяхъ. Эта казенная услужливость, соединенная съ полнѣйшимъ равнодушіемъ къ какимъ бы то ни было политическимъ убѣжденіямъ, позволила бы ему сдѣлать для бонапартистовъ и монархистовъ совершенно то-же самое, что онъ сдѣлалъ для республиканцевъ. Кромѣ того, генераль Грелэ прежде всего философъ; онъ только и просилъ объ одномъ, чтобы его оставили въ покоѣ, — вотъ его единственное честолюбіе или, если угодно, его единственное убѣжденіе. Что бы ни сдѣлалъ какой-либо изъ подчиненныхъ ему офицеровъ, произнесъ-ли онъ рѣчь за короля или за императора, ѣздилъ-ли онъ конспирировать въ Фрошдорфъ или въ Чизльгерстъ, — до тѣхъ поръ, пока дѣло оставалось скрытымъ, ему было рѣшительно все равно. „Постарайтесь только, чтобъ объ этомъ не узнали, говорилъ онъ: — иначе опять поднимутся исторіи“. Неспособный сдѣлать кому-либо зло по собственной инициативѣ, онъ, съ другой стороны, готовъ принести въ жертву весь свѣтъ, лишь бы избавиться отъ тѣхъ, кто ему докучаетъ.

Въ моментъ вступленія Грелэ въ должность, его просятъ безъ всякой надежды на согласіе съ его стороны, чтобы онъ принесъ въ жертву многихъ изъ своихъ прежнихъ начальниковъ и старыхъ товарищей по оружію. Нисколько не колеблясь, онъ приноситъ ихъ всѣхъ на одномъ блюдѣ; онъ приноситъ ихъ больше, чѣмъ у него требовали, не справляясь вовсе о соусѣ, подъ которымъ ихъ намѣрены скушать. На другой день ему говорятъ, что это смѣщеніе корпусныхъ командировъ поведетъ за собою паденіе самого маршала, почтившаго ихъ своимъ довѣріемъ; „онъ очень сожалѣетъ объ этомъ“, но продолжаетъ дѣйствовать въ томъ-же духѣ.

Вліяніе среды на эту натуру, мягкую, какъ воскъ, приводитъ все къ болѣе интереснымъ результатамъ. Всякій разъ, какъ генераль Грелэ пріѣзжалъ въ совѣтъ министровъ, онъ вступалъ въ

него съ такимъ видомъ, точно говорилъ: „Какого генерала еще угодно вамъ на завтракъ, любезные товарищи по кабинету? Какого полковника, какого офицера? Только скажите, и я сейчасъ распоряджусь удовлетворить васъ“. Вскорѣ онъ даже пересталъ ждать, пока его спросятъ, и бралъ инициативу на себя. Стоило появиться только какому-нибудь доносу въ одномъ изъ демократическихъ журналовъ, какъ онъ, по собственному почину, говорилъ удивленнымъ министрамъ въ одномъ изъ слѣдующихъ застѣвацій: „Господа, вотъ какое событіе произошло въ такомъ-то полку; я прошу васъ дѣйствовать со всевозможною строгостью“.

Сегодня онъ приговариваетъ къ тридцатидневному аресту генерала за то, что тотъ осмѣлился показывать дон-Карлосу кавалерійскую школу въ Сомюрѣ. „Военный министръ, сообщаютъ по этому случаю офиціозныя газеты,—не находилъ даже этого наказанія достаточнымъ, но его товарищи по кабинету воспротивились примѣненію его во всей строгости“. Въ другой разъ дѣло касалось одного генерала, Барашэна, который сталъ за что-то во враждебныя отношенія къ алжирскимъ республиканцамъ. Альберъ Грени приказалъ генералу Сосье отправить его во Францію, а такъ-какъ Сосье не поторопился исполнить немедленно приказаніе генералъ-губернатора Алжиріи, то военный министръ уже приготовился дать ему отставку, какъ пришло донесеніе, что генералъ Барашэнъ отправленъ по назначенію. Оказывается, однажды, что какіе-то офицеры позволили себѣ присутствовать у обѣдни, заказанной за упокой души императорскаго принца. Ихъ немедленно сажаютъ подъ строгій арестъ или оставляютъ за штатомъ. „Самъ военный министръ потребовалъ для нихъ этого наказанія“.

Чтобы даже угодить тѣмъ, съ кѣмъ онъ разговариваетъ въ настоящую минуту, онъ готовъ рѣшительно на все. Однажды сенаторы и депутаты лѣвой требуютъ для президентовъ обѣихъ палатъ права призывать военную силу. Гг. Вадингтонъ и Леонъ Сэ находятъ это право крайне опаснымъ, самъ министръ считаетъ такое требованіе нелѣпнымъ; тѣмъ не менѣе г. Грелэ заявляетъ, что не имѣетъ ничего противъ этого требованія. Доказывается, однажды, что какой-то полковникъ запретилъ музыкѣ своего полка играть марсельезу; тотчасъ-же военный министръ въ приказахъ по всѣмъ полкамъ предписываетъ музыкантамъ играть ежедневно гимнъ Руже де-Лиля, причѣмъ опирается на декретъ первой республики.

Несмотря на эту уступчивость, безпримѣрную въ лѣтописяхъ министерства, вѣчно бдительная пресса не преминула-таки вытащить однажды на свѣтъ божій исторійку, очень нелестную для почтеннаго генерала. Избраніе въ сенатъ маршала Канробера, какъ кандидата бонапартистовъ, вызвало тучи на почти безоблач-

номъ до тѣхъ поръ горизонтѣ военнаго министерства. Маршалъ состоялъ президентомъ комисіи, распредѣляющей офицеровъ по классамъ для представленія къ повышенію, оны занималъ это мѣсто втеченіи многихъ лѣтъ, и генераль-министръ совершенно забылъ объ этомъ обстоятельстве. Эта забывчивость послужила предлогомъ для безконечныхъ непріятностей. Оставить во главѣ арміи одного изъ сообщниковъ государственнаго переворота 2 декабря — этого было болѣе чѣмъ достаточно, чтобы уравнивать всѣ услуги и уступки, расточаемыя министромъ впродолженіи цѣлаго года.

Тотчасъ-же во всей республиканской прессѣ поднимается гвалтъ противъ министра. Горе ему при открытіи палатъ! Въ видѣ предлога къ нападенію постараются откопать какую-нибудь исторію съ офицеромъ территоріальной арміи, виновнымъ въ анти-республиканской манифестаціи, а остальное пройдетъ уже само собою.

Какъ разъ оказывается, что на одномъ банкетѣ легитимистовъ, происходившемъ въ прошломъ сентябрѣ, въ Бордо, присутствовали одинъ полковникъ, по имени Карайонъ-Латуръ, и два батальонные начальника территоріальной арміи. Эти господа, послѣ десерта, очевидно, щедро залитаго произведеніями вдовы Клико, возымѣли странную мысль составить адресъ графу Шамбору, въ которомъ они призывали его на тронъ его праотцевъ. Адресъ заканчивался словами: „Да здравствуетъ король!“

Батальонные начальники были отставлены отъ службы. Почему же г. Карайонъ-Латуръ не подвергся той-же участи? Между тѣмъ вѣдь онъ заявилъ публично, что, по его мнѣнію, спасеніе Франціи заключается только въ восстановленіи законной монархіи, и, если подобное мнѣніе позволительно для частнаго челоука, можетъ-ли оно быть терпимо въ офицерѣ, командующемъ войсками республики? Возможно-ли допустить, чтобы территоріальная армія оставалась въ рукахъ противниковъ правительства, которые вытѣснены изъ администраціи?

Существуетъ, правда, родъ судебного учрежденія, извѣстнаго подъ именемъ „слѣдственнаго совѣта“, которому и было передано дѣло этого полковника. Совѣтъ этотъ, разсмотрѣвъ дѣло, рѣшилъ прекратить дальнѣйшее преслѣдованіе. Но по самому составу этого совѣта министръ долженъ былъ предвидѣть, что другого приговора отъ него и ждать было нечего. Зачѣмъ-же, вмѣсто того, чтобы дѣйствовать черезъ этотъ совѣтъ, онъ не распорядился непосредственно самъ? Развѣ ему неизвѣстно существованіе постоянныхъ заговоровъ противъ республики?

Впрочемъ, въ прошломъ году уже былъ одинъ такой случай, въ которомъ „слѣдственный судъ“ оправдалъ другого полковника, но министръ тѣмъ не менѣе отставилъ его отъ службы. Почему

же онъ не сдѣлалъ того-же и въ этомъ случаѣ? Развѣ бдительность министра начинаетъ ослабѣвать?

Вотъ, въ сущности, содержаніе рѣчи, произнесенной Райналемъ, депутатомъ Жиронды, противъ военнаго министра. Впрочемъ, все это не имѣло особенной важности. Совѣтъ министровъ, предвидѣвшій интериелляцію, приготовился къ ней заранѣе. Въ засѣданіи, на основаніяхъ, предложенныхъ самимъ генераломъ, былъ заготовленъ новый проектъ закона касательно офицеровъ территоріальной арміи.

Генераль Грелэ всходитъ на трибуну: „Господа, говоритъ онъ,— я дѣйствовалъ такъ, какъ считалъ своимъ долгомъ дѣйствовать, передавъ дѣло Карайонъ-Латура въ слѣдственный совѣтъ. Совѣтъ постановилъ свое рѣшеніе; этого достаточно, отмѣнять его рѣшеній я не стану никогда“.

Вслѣдъ за этимъ генераль Грелэ сходитъ съ трибуны, беретъ свой портфель подъ мышку и, не ожидая возраженій, выходитъ изъ залы величественной походкой.

Правая аплодируетъ единогласно, тогда какъ на другой сторонѣ палаты слышится неодобрительный ропотъ. На всѣхъ скамейкахъ большинства замѣтно сильное волненіе: депутаты встаютъ съ своихъ мѣстъ, спорять, жестикулируютъ; уже полукругъ начинаетъ наполняться, что служитъ неизмѣннымъ предвѣстіемъ какой-нибудь семейной драмы. Г. Гамбета призываетъ палату къ порядку и приглашаетъ ее продолжать начатыя пренія. „Передъ кѣмъ?“ восклицаетъ Брисонъ, указывая на пустое мѣсто военнаго министра. Президентъ, сильно смущенный самъ, посылаетъ своихъ двухъ приставовъ на поиски за военнымъ министромъ. Пристава возвращаются съ пустыми руками. Тогда г. Гамбета поручаетъ своему секретарю, Арно де-Ларъежъ, обыскать весь Пале-Бурбонъ, отъ буфета до „маленькаго помѣщенія“, предназначеннаго для депутатовъ, которые особенно отличаются своимъ дурнымъ поведеніемъ во время засѣданія. Все напрасно: генераль уже покинулъ Пале-Бурбонъ и отправился въ военное министерство строчить прошеніе объ отставкѣ.

Какимъ образомъ объяснить себѣ эту странную выходку, по видимому, столь мало согласную съ обычнымъ добродушіемъ генерала? Дѣло въ томъ, что, какъ мы уже говорили, генераль прежде всего любитъ спокойствіе, и въ-концѣ-концовъ все это ему надобло до крайности. Затѣмъ онъ не могъ не смотрѣть съ большимъ неудовольствіемъ на ожидаемыя перемѣны въ составѣ министерства, въ особенности на появленіе на сценѣ генерала Фара, кандидата Гамбеты. Не лучше-ли самому идти навстрѣчу отставкѣ и ретироваться изъ кабинета по-военному?

Отъ этихъ двухъ перейдемъ къ третьему, именно къ морскому министру. Адмиралъ Жорегибери до самаго послѣдняго времени давалъ мало поводовъ говорить о себѣ. Онъ имѣлъ репутацію опытнаго моряка, добросовѣстнаго работника и человѣка неподкупнаго. Назначеніе г. Жента губернаторомъ Мартиники сдѣлало вдругъ адмирала предметомъ самой яркой полемики, въ которой приняла участіе рѣшительно вся пресса. Извѣстно, что г. Жентъ принадлежитъ по своимъ убѣжденіямъ къ числу радикальныхъ республиканцевъ, всегда оставался вѣренъ имъ и заплатилъ за нихъ ссылкою, постигшею его послѣ государственнаго переворота 2 декабря. Втеченіи прошлаго года Касаньякъ напечаталъ въ газетѣ „Pays“ статью, наполненную бранью противъ Жента, въ которой онъ припомнилъ ему одну ошибку его молодости, случившуюся сорокъ-три года тому. Жентъ, которому было тогда девятнадцать лѣтъ, будто-бы имѣлъ любовную исторію съ женою полковника Таляндье, своего единоутробнаго брата. Полковникъ, заставъ обоихъ молодыхъ людей на свиданіи, выстрѣлилъ въ нихъ изъ пистолета. Жентъ заслонилъ молодую женщину своимъ собственнымъ тѣломъ и, бросившись на нападавшаго, успѣлъ вырвать у него пистолетъ. Происшествіе это послужило поводомъ къ процессу и опубликованію упомянутыхъ фактовъ.

Жентъ протестовалъ противъ обвиненій Касаньяка, назвалъ ихъ клеветой и сослался въ особенности на рѣшеніе суда чести, состоявшаго изъ членовъ, выбранныхъ въ 1848 году изъ числа его политическихъ противниковъ. Судъ этотъ вынесъ въ то время единогласное рѣшеніе, вполне благопріятное Женту. Вслѣдствіе всего этого, полемика по этому дѣлу затихла и всѣ перестали думать о немъ.

Когда-же открылась вакансія губернатора Мартиники, г. Леперъ, министръ внутреннихъ дѣлъ, по своему почину, предложилъ ее радикальному депутату, съ одобренія своего товарища, министра морского и колоній, а вскорѣ почти по единогласному рѣшенію всего совѣта. Назначеніе это встрѣтило только одного несогласнаго—г. Вадингтона, который, при всей личной симпатіи къ Женту, оставался при своемъ мнѣніи. Въ интересѣ самаго г. Жента рѣшено было отложить это дѣло до полученія полнаго единогласія по окончаніи министерскихъ ваканцій.

Когда это единогласіе было, наконецъ, достигнуто, то въ засѣданіи 16 октября, послѣ девяти-недѣльныхъ переговоровъ, назначеніе состоялось окончательно. Г. Жентъ отвѣтилъ отказомъ на предложенное ему назначеніе, но когда газета „Pays“, узнавъ о назначеніи, погрозила напечатать и распространить вторично судебныя пренія и приговоръ, уже опубликованные ею полтора года

тому, то онъ рѣшился бравировать эту угрозу принятіемъ предложеннаго ему мѣста. Онъ рѣшился на это только послѣ двухъ совѣщаній, въ которыхъ обусловилъ принятіе назначеннаго ему поста выраженіемъ неограниченнаго довѣрія въ нему, что и было исполнено совѣтомъ. Новый губернаторъ получилъ приказъ отправиться къ мѣсту своего назначенія въ возможно скорѣйшемъ времени, и ему были выданы подъемныя деньги. На совѣтъ былъ поднятъ также вопросъ и о томъ: не слѣдуетъ-ли возбудить противъ газеты „Raun“ процессъ за клевету, но рѣшено было, что такого рода преслѣдованіе было-бы рискованнымъ.

Касаньякъ не замедлилъ исполнить свою угрозу и напечатать вновь судебныя акты, уже обнародованныя имъ въ 1878 году; несмотря на это, довѣріе министерства нисколько не поколебалось, и возраженіе, напечатанное Жентомъ, произвело самое благопріятное впечатлѣніе.

Вдругъ, три дня спустя послѣ принятыхъ рѣшеній, настроеніе морского министра внезапно измѣняется; неизвѣстно подъ вліяніемъ чего, онъ начинаетъ настаивать на процессѣ о диффамціи передъ судомъ исправительной полиціи. Г. Жентъ рѣшительно воспротивился этому, говоря, что процессъ бесполезенъ, ибо онъ касается фактовъ, происходившихъ сорокъ три года тому и уже достаточно оцѣненныхъ какъ его друзьями, такъ и его врагами и, наконецъ, самими министрами; далѣе, что процессъ не можетъ быть дѣйствительнымъ, потому что доказательство истины не допускается при процессахъ о диффамціи, и, наконецъ, что допустить его—значило-бы признать, что всѣ прежнія рѣшенія въ пользу заинтересованнаго лица лишены всякой силы и что, въ особенности, рѣшеніе суда чести, засѣдавшаго въ 1848 году, нуждается въ подтвержденіи судомъ исправительной полиціи, совершенно некомпетентнымъ въ этомъ дѣлѣ.

Многіе изъ министровъ старались убѣдить своего товарища отказаться отъ столь поздно принятаго рѣшенія, но безуспѣшно. Въмѣсто всякаго отвѣта адмиралъ требовалъ, чтобы ему позволено было замѣнить губернатора, котораго онъ самъ-же назначилъ. Послѣ долгаго горячаго спора адмиралъ заканчиваетъ его слѣдующими рѣшительными словами: „Выбирайте между мною и г. Жентомъ!“

Передъ этой крайней угрозой немедленнаго министерскаго кризиса смолкаютъ всѣ соображенія политической справедливости, благодарности, дружбы и долга. Г. Жента убѣждаютъ подать въ отставку или объявить, что онъ не принимаетъ назначенія. На это г. Жентъ заявилъ, что подача въ отставку была-бы съ его стороны актомъ трусости; вторая-же предложенная форма отказа заключаетъ въ себѣ ложь, на которую онъ не согласенъ. Онъ за-

являть, что признаеть возможными только двѣ мѣры по отношенію къ нему: или удержатъ его на мѣстѣ, которое онъ согласился принять послѣ долгихъ убѣжденій въ полномъ довѣрїи, послѣ долгихъ разсужденій, нападокъ развращенной печати съ одной стороны и увѣреній въ уваженіи съ другой,—или же дать ему открытую отставку, надъ которой произнесетъ свой судъ общественное мнѣніе.

На другой день адмиралъ Жорегибери явился въ совѣтъ министровъ, держа въ одной рукѣ свою отставку, въ другой назначеніе въ губернаторы г. Оба, капитана корабля. Г. Объ былъ назначенъ губернаторомъ, а г. Жентъ нѣсколько недѣль спустя избранъ депутатомъ отъ города Оранжа. Вскорѣ послѣ этого у адмирала сорвалось въ совѣтѣ слѣдующее странное признаніе: „Если бы я зналъ всѣ факты, я не сталъ-бы настаивать на отозваніи г. Жента“. Нѣсколько терпѣнія — и мы услышимъ еще объ отозваніи капитана Оба и о замѣнѣ его г. Жентомъ. И затѣмъ та-же исторія опять начнется съизнова, какъ въ извѣстной дѣтской пѣсенкѣ о корабликѣ, которая, конечно, должна быть извѣстна почтенному адмиралу.

Морской министръ, котораго до сихъ поръ все еще щадило большинство, подвергся первымъ нападкамъ при началѣ декабрьской сессіи. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о Жентѣ, какъ слишкомъ личный, г. Перевъ, членъ крайней лѣвой, обратился къ адмиралу съ запросомъ по поводу дурного обращенія, которому подвергались ссыльные въ Новой Каледоніи, а также съ обвиненіемъ въ крайней небрежности его управленія относительно возвращаемыхъ на родину, изнуренный и жалкій видъ которыхъ при высадкѣ произвелъ поразительное впечатлѣніе на Францію. Г. Жорегибери отвѣтилъ, что кромѣ наказанія ручными кандалами (roucettes) и кнутомъ, ему извѣстенъ только одинъ примѣръ дурного обращенія, состоявшій просто въ томъ, что одного изъ осужденныхъ подвѣсили головой внизъ и оставили въ этомъ положеніи на нѣсколько часовъ,—на сколько именно — онъ съ точностію опредѣлить не можетъ. Что-же касается возвращаемыхъ на родину, то адмиралъ увѣренъ, что они нашли въ общественномъ состраданіи быстрое облегченіе въ своихъ бѣдствіяхъ и что воздухъ родной страны не преминетъ въ скоромъ времени возстановить ихъ здоровье. Тѣмъ не менѣе палата вотировала назначить общее слѣдствіе по этому дѣлу и потребовала организациі особой комисіи, которой бы слѣдствіе это было поручено.

Впрочемъ, серьезнѣе всего въ этомъ дѣлѣ было то обстоятельство, что изъ достовѣрныхъ источниковъ стало извѣстно, что г. Гамбета, по порученію котораго состоялось и назначеніе Жента, начи-

наеть серьезно думать о замѣщеніи адмирала, морского министра. Называли даже лицо, намѣченное ему въ преемники.

Вообще въ дѣлѣ Жента г. Леперь до самаго конца остается вѣрнымъ защитникомъ протезе г. Гамбеты, причѣмъ преданность его этому послѣднему идетъ такъ далеко, что онъ предлагаетъ даже подать въ отставку, когда, по настоянію морского министра, было рѣшено уничтожить назначеніе Жента губернаторомъ Мартиники. Очутившись по этому дѣлу въ явномъ несогласіи съ своимъ товарищемъ, морскимъ министромъ, ему не оставалось другого исхода, послѣ того какъ совѣтъ уступилъ настояніямъ адмирала. Но г. Гамбета, рѣшившій въ то время, что не зачѣмъ вызывать министерскаго кризиса, сказалъ г. Леперу, просившему у него позволенія удалиться: „Оставайтесь на своемъ мѣстѣ, я хочу этого!“ — „Но мы утратили свою однородность“, возразилъ министр. — „Такъ приобретите ее опять“, отвѣчалъ Гамбета. Въ силу этого г. Леперь остался товарищемъ и другомъ Жорегибери и кабинетъ сталъ на другой-же день болѣе однороднымъ, чѣмъ прежде.

Г. Леперь съ самаго своего вступленія въ министерство не имѣлъ, повидимому, никакой другой политики, кромѣ слѣшого повиновенія своему руководителю, Гамбетѣ, — повиновенія тѣмъ болѣе полного, что въ сущности онъ крайне дорожитъ своимъ портфелемъ. Этотъ провинціалъ съ выдающимися челюстями, толстымъ носомъ, тяжелою походкой, со шляпой, надѣтой на затылокъ или на бекрень, походить больше на пристава, чѣмъ на министра, и портфель его имѣетъ такой видъ, точно онъ биткомъ набитъ исполнительными листами. Этотъ толстый провинціалъ любитъ до крайности хорошія вина, хорошія сигары и общество веселыхъ дамъ. А всего этого такъ много въ его портфель. Поэтому онъ и не дѣлаетъ ни шагу, не выслушавъ предварительно своего орacula. Какъ только ему приходится на что-нибудь рѣшиться, онъ немедленно бѣжитъ къ г. Гамбетѣ и вопрошаетъ его о своемъ будущемъ...

Съ этой-же цѣлью въ засѣданіяхъ совѣта ему достаточно бросить взглядъ на г. Фрейсине, облеченнаго особымъ довѣріемъ экс-диктатора, и Леперь знаетъ, чего держаться. Поэтому мы постоянно встрѣчаемъ эти два имени рядомъ. Поднимался-ли вопросъ объ амнистіи, г. Фрейсине и г. Леперь были одного мнѣнія. Попадался-ли какой-нибудь чиновникъ въ явномъ пристрастіи къ бонапартистамъ, гг. Фрейсине и Леперь требовали немедленнаго отозванія виновнаго и громко протестовали противъ медленности, съ которою совершается очищеніе личнаго состава. Г. Леперь дошелъ до такой степени отождествленія съ г. Фрейсине, что сталъ точно его подкладкою. Но, дѣло извѣстное, когда подкладка

износится, то роль ея выпадаетъ часто на долю самаго платья, и участь эта начинала, очевидно, угрожать самому г. Леперу.

Что-же онъ сдѣлалъ для этого? Ужь не попался-ли онъ въ какой-нибудь неловкости, не оплошалъ-ли онъ въ чемъ-нибудь, что его отсылаютъ такимъ образомъ, точно лакея, передъ самымъ новымъ годомъ? Рѣшительно ничего, напротивъ. Пересталъ-ли онъ вдругъ нравиться своему оракулу Гамбетѣ или своему вдохновителю Фрейсине? Нисколько; но онъ не правится лично г. Греви. Отчего же онъ не правится главѣ республики? Потому, что его терпѣть не можетъ Вадингтонъ; этотъ послѣдній просто не перевариваетъ его,—имѣетъ къ нему какую-то инстинктивную антипатію. Какъ только одинъ изъ нихъ выскажетъ мнѣніе по какому-бы то ни было вопросу, бесполезно и спрашивать о мнѣніи другого; и по мѣрѣ того, какъ положеніе становилось болѣе критическимъ, эта трогательная гармонія развивалась все сильнѣе. Дошло до того, что половина засѣданій проходила въ обмѣнѣ взаимными колкостями и болѣе или менѣе прозрачными намеками. Однажды г. Леперъ поздравилъ своего коллегу иностранныхъ дѣлъ съ успѣхами его дипломатическаго агента при вѣнскомъ дворѣ, а Вадингтонъ отвѣтилъ ему поздравленіемъ съ успѣхами, достигнутыми его префектами и мэрами у гг. Люи Блана и Бланки. Леперъ, добрый малый по натурѣ, хохоталъ, а вспыльчивый Вадингтонъ бѣсялся внутренно, и Леперъ считалъ тотъ день не совсѣмъ потеряннымъ для себя, когда ему удавалось взбѣсить Вадингтона.

На другой день Вадингтонъ, неуспѣвшій въ продолженіи всей ночи переварить громкаго смѣха Лепера, заявляетъ, что вопросъ о чиновникахъ министерства внутреннихъ дѣлъ, по его мнѣнію, не былъ вполнѣ исчерпанъ въ прошлое засѣданіе. До его свѣденія доходятъ очень прискорбныя извѣстія. Одинъ изъ префектовъ южныхъ департаментовъ явился на станцію, навстрѣчу Люи Блану, чѣмъ придалъ какъ бы officialный характеръ кампаніи, принятой ораторомъ и приверженцемъ полной амнистіи. Кромѣ того, мэръ города Кюэра, въ сопровожденіи своихъ помощниковъ, оказалъ такое-же вниманіе г. Бланки. Наконецъ, мэръ Сейна довель свое усердіе до того, что пригласилъ Бланки къ завтраку и называлъ его „дорогимъ учителемъ“. Г. Леперъ, съ тѣмъ-же громкимъ смѣхомъ, который такъ раздражаетъ Вадингтона, отвѣтилъ, что не замедлитъ назначить слѣдствіе, и нѣсколько дней спустя представилъ въ палату пятьдесятъ смѣщеній, въ томъ числѣ двадцати четырехъ мэровъ, мировыхъ судей и т. д., все легитимистовъ, виновныхъ въ провозглашеніи мѣтежныхъ тостовъ или въ простомъ присутствіи на банкетахъ въ день св. Генриха въ честь графа Шамбора. „А префектъ Вара? А мэръ Кюэра, а мэръ Сей-

на?“ восклицает Вадингтонъ. — „До нихъ и пальцемъ прикоснуться нельзя, отвѣчаетъ Леперь. — Мэръ Сейна есть самый умѣренный членъ всего муниципальнаго совѣта, — судите же объ остальныхъ, — и въ то же время самый популярный человѣкъ во всемъ городѣ; ни одинъ изъ его товарищей не согласится замѣстить его, а если распустить весь совѣтъ, то при послѣдующихъ выборахъ кандидаты г. Вадингтона получать, пожалуй, по дюжину голосовъ, тогда какъ смѣненный мэръ пройдетъ огромнымъ большинствомъ. То-же самое слѣдуетъ сказать и о мэрѣ Кюэра. Какъ онъ самъ, такъ и его помощники — превосходные чиновники, и смѣнить ихъ — значитъ дезорганизовать въ конецъ всю общину. Что-же касается префекта, друга Люи Блана, то это такой превосходный человѣкъ, что за него станутъ горой всѣ депутаты этого департамента! Право, слишкомъ жаль лишить подчиненныхъ такого превосходнаго начальника, да кромѣ того этого сопряжено съ опасностями“.

Въ другой разъ министру внутреннихъ дѣлъ ставить запросъ по поводу пожеланія, вотиروаннаго единогласно совѣтомъ сенскаго департамента, въ пользу амнистіи. Г. Леперь не противится уничтоженію этого голосованія; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ беретъ на себя трудъ написать президенту совѣта приглашеніе зайти къ нему и сообщаетъ ему о существованіи одного закона прошлаго столѣтія, который даетъ возможность обойти затрудненія, достигая того-же результата.

Но, наконецъ, судьба послала Вадингтону мстителя въ лицѣ г. Андриэ, префекта полиціи. Этотъ человѣкъ ненавистенъ министру внутреннихъ дѣлъ, передъ нимъ однимъ онъ не даетъ воли своему смѣху. Его рѣзкое отношеніе къ парижскому муниципальному совѣту доставляетъ министру нескончаемыя заботы. Въ примѣръ этого можно привести слѣдующій случай, бывший въ прошломъ ноябрѣ мѣсяцѣ въ засѣданіи муниципальнаго совѣта.

Г. Веліаминъ Распайль указалъ префекту полиціи на одного полицейскаго служителя въ пригородной части, котораго обвиняли въ томъ, что онъ заставилъ разстрѣлять въ 1871 году одного безупречнаго республиканца и довель другого до ссылки въ безсрочную каторжную работу. Комисія помилованій, разсмотрѣвъ послѣдній приговоръ, смягчила его на пять лѣтъ изгнанія, и полное прощеніе не заставитъ ждать себя.

Г. префектъ полиціи, которому были сообщены эти факты, прогналъ полицейскаго агента, но лишь съ тѣмъ, чтобы дать ему мѣсто въ сосѣдней общинѣ.

Другой полицейскій, прогнанный изъ префектуры за оскорбленіе г. Гамбеты, былъ принятъ вновь на службу въ политическое отдѣленіе, гдѣ ему поручено составлять біографіи выдающихся

личностей республиканской партіи. Многіе полицейскіе агенты и инспекторы, нисколько не стѣсняясь, заявляютъ въ бюро, что они бонапартисты, и даже кричатъ: „Да здравствуетъ имперія, да погибнетъ республика!“ Потому-то, можетъ быть, многіе изъ нихъ были награждены по службѣ?

Наконецъ, послѣ вступленія г. Андріе въ должность, множество бумагъ было взято изъ политическаго отдѣленія и передано извѣстному агенту *Ломбару*, смѣщенному когда-то, послѣ столькихъ хлопотъ, благодаря разоблаченіямъ газеты „Lanterne“. Одинъ секретный агентъ, сообщившій объ этомъ префекту, былъ отставленъ имъ съ выговоромъ: „Я знаю все, что происходило въ моемъ вѣдомствѣ, и считаю себя единственнымъ судьей въ этомъ дѣлѣ“.

Г. Андріе отвѣтилъ такъ: „Я знаю, конечно, лучше г. Распайя все, что происходитъ въ моемъ вѣдомствѣ. Агенты, удаленія которыхъ онъ требуетъ, не будутъ отозваны. Я не могу передѣлать все свое управленіе, не принимая во вниманіе ни прежнюю службу, ни заслуги передъ отечествомъ“. — „Скажите—передъ имперіей,—воскликаетъ одинъ голосъ.—“По моему мнѣнію, агентъ, продолжаетъ г. Андріе, — не долженъ быть членомъ партіи; будь онъ республиканецъ всего со вчерашняго дня, онъ можетъ быть хорошимъ гражданиномъ, но дурнымъ агентомъ, потому что у него не будетъ духа повиновенія“. — „Въ такомъ случаѣ нужно брать однихъ бонапартистовъ“, замѣчаетъ г. Лакруа, а за нимъ слышатся еще возгласы: „Нѣтъ, это ужъ слишкомъ!“

Г. Андріе продолжаетъ въ томъ же тонѣ и оканчиваетъ съ пафосомъ, столь несвойственнымъ полицейскому краснорѣчію: „Я долженъ объявить, что я сумѣю защитить своихъ агентовъ отъ всякихъ обвиненій, имѣющихъ характеръ клеветы, подобной только-что высказаннымъ здѣсь, съ трибуны, инсинуаціямъ“.

Раздается единодушный протестъ: „Мы не можемъ выносить подобныхъ словъ, пусть префектъ полиціи возьметъ ихъ назадъ“. Президентъ вмѣшивается въ споръ и произноситъ слѣдующее: „Мы всѣ взаимно солидарны здѣсь между собою. Никто не имѣетъ права наносить оскорбленіе кому-либо изъ нашихъ товарищей. Г. Распайль утверждаетъ, что сообщенія, сдѣланныя имъ сегодня, тщательно провѣрены, и я нахожу страннымъ, что г. префектъ полиціи рѣшился назвать эти свѣденія клеветою. Подобное выраженіе, г. префектъ, неприлично въ этомъ собраніи, и я приглашаю васъ взять его обратно“. На это г. Андріе возражаетъ очень рѣзко: „Я не беру ничего изъ сказаннаго мною назадъ“. Совѣтъ, взволнованный и негодующій, вотируетъ единогласно слѣдующее заявленіе: „Совѣтъ, сожалья, что г. префектъ полиціи не при-

ступилъ еще къ очищенію персонала своего вѣдомства, переходить къ очереднымъ дѣламъ“.

Г. Андріе вновь всходитъ на трибуну: „Я полагаю, говорить онъ, — что муниципальный совѣтъ произноситъ свое рѣшеніе въ дѣлѣ ему неподвѣдомственномъ и въ которомъ онъ не компетентенъ. Я удерживаю за собой право просить отмѣны этого рѣшенія. Прибавлю, что префектъ полиціи отвѣтственъ только передъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, и не принимаю на себя никакой отвѣтственности передъ муниципальнымъ совѣтомъ“.

Рѣшеніе это было на самомъ дѣлѣ отмѣнено совѣтомъ министровъ, но министръ внутреннихъ дѣлъ былъ взбѣшенъ этимъ до крайности. Перо дрожало у него въ рукахъ, когда онъ подписывалъ декретъ объ отмѣнѣ, вслѣдъ за которымъ онъ отправилъ строгое внушеніе префекту. Онъ объявилъ передъ своими товарищами, что порицаетъ вполне и по содержанію, и по формѣ отвѣтъ префекта Распайлю, заявилъ далѣе, что нѣкоторые требованія муниципальнаго совѣта относительно многихъ полицейскихъ агентовъ вполне справедливы, и прибавилъ: „Необходимо исполнить ихъ“. На это г. Андріе возразилъ, что „ему невозможно исполнить желаніе министра“.

Въ то-же самое время упрямый префектъ полиціи подаетъ въ отставку, но такъ-какъ г. Гриви и слышать не хочетъ о ней, то г. Леперу не остается ничего болѣе, какъ предложить свою собственную, конечно, въ полной увѣренности, что его заставятъ взять ее обратно, что и происходитъ на самомъ дѣлѣ, по знаку, поданному Гамбетой.

Тѣмъ не менѣе стало очевиднымъ, что подобная игра долго продолжаться не можетъ и что одинъ изъ двухъ, г. Леперъ или г. Андріе, долженъ пасть при первомъ удобномъ случаѣ.

Между тѣмъ Фрейсине не могъ отдѣлаться отъ Андріе, не оскорбивъ президента республики; что-же касается Гамбеты, то, несмотря на всю его дружбу къ Леперу, онъ ужъ не такъ сильно держался за него, чтобы считать его незамѣнимымъ. Впрочемъ, съ самаго начала кризиса президентъ палаты принялъ на себя роль сфинкса, и никто не могъ добиться отъ него рѣшительно ни слова.

Нѣсколько дней спустя Фрейсине отправился съ визитомъ къ Леперу и въ весьма вѣжливой формѣ, на что онъ такой мастеръ, сообщилъ ему, что, къ сожалѣнію, не можетъ удержать его въ новомъ кабинетѣ. Леперъ былъ рѣшительно ошеломленъ этимъ извѣстіемъ: могъ-ли онъ ожидать подобной измѣны отъ своего вдохновителя и друга, котораго онъ называлъ въ короткомъ кругу „своимъ сіамскимъ близнецомъ“?! Вотъ и довѣряйтесь послѣ этого друзьямъ!

Успокоившись, Леперь дѣлаетъ тотчасъ-же слѣдующее соображеніе: „если меня удаляютъ, значить меня замѣщаютъ“. Разсужденіе довольно наивное, вслѣдъ за которымъ экс-министръ конфиденціально освѣдомился у г. Фрейсине объ имени своего преемника, на что послѣдній возразилъ, что и самъ еще не знаетъ, кто наследуетъ ему.

Фрейсине прежде всего человѣкъ науки, и въ силу этого, имѣя передъ собою задачу составленія новаго кабинета, онъ сказалъ себѣ: „вотъ случай, въ которомъ слѣдуетъ примѣнить точный научный методъ“, и придумалъ для этого способъ, дѣйствительность котораго не подлежитъ сомнѣнію. Задача, сказалъ онъ себѣ, распадается на два отдѣла: „1-е, выдѣленіе членовъ прежняго кабинета, ибо какимъ-же образомъ назначить новыхъ министровъ, не удаливъ предварительно старыхъ?“ И вотъ Фрейсине сталъ удалять: онъ удалилъ Лероюе, Грелэ, Жорегибери, Лепера. Но этого мало; онъ рѣшилъ удалить и г. Жюля Фери, на которомъ лежалъ тяжелый грузъ 7-й статьи, такъ рѣзко коловшей всѣмъ глаза. Онъ удаляетъ и Ваддингтона, и Леона Сэ, такъ-какъ эти послѣдніе заявили, что не потерпятъ ни малѣйшаго отступленія отъ программы, принятой ими въ прежнемъ кабинетѣ, въ особенности по вопросу объ амнистіи.

Что касается гг. Тирара, министра торговли, и Кошери, министра почтъ и телеграфовъ, то имъ не придавалось никакого политическаго значенія. Они являются въ этомъ случаѣ величинами, которыми можно пренебречь.

Какъ видите, г. Фрейсине не терялъ времени по-пустому и радовался своему успѣху; менѣе чѣмъ въ двадцать четыре часа онъ сравнялъ передъ собою поле до-чиста и достигъ такимъ образомъ конца первой части своей задачи. Оставалось теперь перейти ко второй, несравненно болѣе легкой и болѣе пріятной части. Найти шесть человѣкъ, которые согласились бы на то, чтобы имъ сунули подъ мышку министерскіе портфели, и столько-же лицъ, чтобы служить подкладкою для первыхъ, въ качествѣ помощниковъ министровъ, по таксѣ тридцати тысячъ франковъ въ годъ,— это задача благодарная и легкая. Единственный пунктъ въ этомъ дѣлѣ, требующій специальныхъ знаній, это распредѣленіе портфелей между различными группами большинства, смотря по численному значенію этихъ послѣднихъ. Это простое примѣненіе правила пропорцій, и г. Фрейсине, авторъ сочиненій по рациональной механикѣ, конечно, съ успѣхомъ могъ рѣшить эту задачу. Сдѣлавъ расчетъ, вы возьмете столько-то частей лѣваго центра, столько-то лѣвой, столько-то частей республиканскаго союза, смѣшаете все вмѣстѣ и получите въ результатѣ то, что называется

министерскою комбинаціей, продуктъ которой будетъ носить въ исторіи имя кабинета г. Фрейсине.

Однако, прежде чѣмъ приступить къ выполненію второй части своей задачи, Фрейсине, очень довольный успѣхомъ первой, отправился къ президенту республики, чтобы представить ему отчетъ о результатахъ, достигнутыхъ имъ. Гриви въ ужасѣ отшатнулся отъ организатора новаго кабинета.

II.

Результатомъ этого свиданія было то, что президентъ республики, вмѣсто того, чтобы принять отставку министерства, отсрочилъ всякое окончательное рѣшеніе на неопредѣленное время.

Тутъ мы вступаемъ въ настоящій лабиринтъ ходовъ и выходовъ, изъ котораго читатель да выпутывается какъ знаетъ. Не успѣлъ г. Фрейсине откланяться, какъ г. Гриви призвалъ къ себѣ гг. Вадингтона и Леона Сэ и попросилъ этого послѣдняго принять на себя предсѣдательство въ совѣтѣ. Довольно странный выборъ для человѣка, пользующагося репутацией столь дальновиднаго ума, какъ г. Гриви! Крайняя лѣвая, терпѣвшая до тѣхъ поръ г. Леона Сэ въ министерствѣ финансовъ лишь благодаря его особымъ способностямъ къ этому дѣлу и его связямъ въ крупномъ финансовомъ мірѣ, конечно, никогда не могла потерпѣть его въ качествѣ президента совѣта.

Слухи о предполагаемыхъ намѣреніяхъ г. Гриви послужили на слѣдующій-же день поводомъ къ очень рѣзкой статѣ въ „Lanterne“, подъ заглавіемъ: „Правительство г. Ротшильда“. Впрочемъ, Леонъ Сэ самъ отказался отъ предложеннаго ему президентства, и всякое рѣшеніе было отложено на завтра.

Въ понедѣльникъ утромъ, послѣ совѣщанія трехъ министровъ, г. Гриви далъ знать г. Фрейсине, что рѣшился обойтись безъ его содѣйствія, и объявилъ г. Вадингтону, что, не находя въ манерѣ держаться обѣихъ камеръ и въ результатахъ ихъ подачи голосовъ ничего такого, что бы оправдывало столь основные перевороты, какихъ требовалъ его colega по министерству общественныхъ работъ, онъ взываетъ къ патриотизму г. Вадингтона и возлагаетъ на него должность, упраздненную этимъ послѣднимъ.

Г. Вадингтонъ выразилъ мнѣніе, что все пойдетъ отлично, если къ старымъ министрамъ приобщить г. Шальмель-Лагура, посланника при швейцарской республикѣ. Однако, тѣ иллюзіи, которыя г. Вадингтону удалось внушить г. Гриви, оказались весьма недолговѣчными, ибо въ тотъ-же день, послѣ совѣщанія съ нѣ-

которыми изъ членовъ выходящаго въ отставку кабинета, г. Греви снова призвалъ г. Фрейсине, а вечеромъ того-же дня г. Вадингтонъ отретировался.

Г. Фрейсине по-прежнему оставался убѣжденнымъ, что настоящее положеніе вещей требуетъ быстро и полнаго измѣненія въ общемъ ходѣ правительства. Онъ утверждалъ, что недостаточно еще замѣстить гг. Лероие и Грелэ, подавшихъ въ отставку. Если г. Вадингтонъ отказывался отъ президентства въ совѣтѣ съ полнаго согласія президента республики, то, очевидно, это дѣлалось не съ тѣмъ, чтобы продолжать съ новыми людьми, замѣстившими нѣкоторыхъ изъ членовъ стараго министерства, ту-же политику, безсиліе которой ясно выказалось втеченіи короткой декабрьской сессіи палаты. По его мнѣнію, слѣдовало попытаться съ людьми крайнихъ убѣжденій умѣренную политику, и если президентъ республики по-прежнему считалъ желательнымъ передать въ его руки власть, то онъ признавалъ необходимымъ выйти откровенно на тотъ путь, на который указывали недавнія манифестаціи палаты депутатовъ, и удѣлить значительную долю вліянія членамъ республиканскаго союза. По его мнѣнію, не только умѣренная, но и крайняя фракція этой группы должна была найти законное удовлетвореніе въ составѣ новаго министерства.

Къ этой крайней фракціи принадлежать тѣ пятьдесятъ членовъ, которые стоятъ за полную амнистію и отпали отъ кабинета по случаю запроса Локруа о приложеніяхъ закона 3-го марта. Г. Фрейсине полагаетъ, что новый кабинетъ, не высказываясь прямо за новое предложеніе амнистіи, не долженъ, однако, отклонять его безапелляціонно.

Поэтому онъ не колебался призвать къ новой министерской комбинаціи людей, подобныхъ гг. Алани Тарже, Шпюлеру и Флоке; двухъ первыхъ въ качествѣ помощниковъ статсъ-секретарей при министерствѣ иностранныхъ и при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ; что-же касается г. Флоке, то его предлагалось назначить префектомъ сенскаго департамента, на мѣсто г. Герольда, принадлежащаго къ умѣренной фракціи республиканскаго союза и получающаго, въ свою очередь, назначеніе при министерствѣ юстиціи.

Впрочемъ, г. Фрейсине также стоялъ за привлеченіе къ новому кабинету г. Шальмель-Лакура, на мѣсто г. Лепера, при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ.

Президентъ республики, на половину убѣжденный, настаивалъ еще только въ пользу гг. Вадингтона и Леона Сэ. Въ виду этой настойчивости, г. Фрейсине согласился на уступку. Г. Вадингтонъ, отказавшись отъ президентства въ совѣтѣ, могъ бы, пожалуй, со-

хранить портфель министра иностранных дѣлъ, а Леонъ Сэ остаться министромъ финансовъ, подѣ условіемъ сообразоваться, съ своей стороны, съ мнѣніями, высказанными министромъ общественныхъ работъ, т. е., въ частности, признать его ограниченія касательно вопроса объ амнистіи, признаннаго ими передъ тѣмъ вполне исчерпаннымъ.

Что же касается военного министерства, то г. Фрейсине не выражался еще вполне открыто, но ему приписывали на этотъ счетъ замыселъ коренной реформы. Перебравъ поочередно различныхъ генераловъ, во-первыхъ генерала Фара, потомъ генерала Бильо, отказавшагося отъ этой чести, потомъ генерала Шеншана, также приславшаго отказъ, онъ, наконецъ, додумался до вопроса, нельзя-ли обойтись вообще безъ военныхъ. Мнѣніе это, высказанное въ прессѣ, нашло много защитниковъ. „Военное министерство, говорила „La presse“,—должно перейти въ руки статскихъ“. Въ то-же время „La France“, газета г. Жиардена, выражалась слѣдующимъ образомъ: „въ настоящее время доказано вполне ясно, что нельзя ожидать никакой реформы отъ военного министра, лишь только онъ самъ военный. Страхъ огорчить „старыхъ сослуживцевъ“, привычка къ іерархіи, полное отсутствіе личной инициативы и отвѣтственности, мѣшаютъ каждому генералу взяться серьезно за дѣло реорганизаціи войска, хотя бы самъ онъ лично и былъ убѣжденъ въ необходимости реформы“.

Эта теорія преобладанія статскаго элемента въ томъ, что касается верховнаго руководства военными дѣлами, нашла себѣ первое приложеніе въ Алжиріи, управленіе которой было поручено г. Альберту Гриви, брату президента республики.

Если опасались еще принять открыто это рѣшеніе касательно военного министерства, то представлялось весьма простое средство умиротворить всѣхъ. Достаточно было помѣстить въ *официальной газетѣ* слѣдующую фразу: „Г. Фрейсине, президентъ совѣта, министръ безъ портфеля, исправляетъ временно должность военнаго министра“. А послѣ первыхъ-же мѣропріятій назначеніе было признано окончательнымъ. Для новаго кабинета открывался этимъ шансъ и популярность; для войска-же являлась увѣренность въ принятіи столь нетерпѣливо ожидаемыхъ реформъ.

Въ этомъ случаѣ г. Фрейсине передалъ бы министерство общественныхъ работъ г. Варуа, извѣстному за отличнаго инженера.

Съ самаго начала, однако, казалось весьма сомнительнымъ, чтобы г. Гриви подписалъ столь важныя преобразованія. Другіе пункты этой новой комбинаціи тоже представляли не мало затрудненій. Гг. Вадингтонъ и Леонъ Сэ не сочли возможнымъ остаться

при тѣхъ радикальныхъ колегахъ, которыхъ могло-бы навязать имъ новое правительство; въ особенности-же болѣе искренніе друзья ихъ изъ лѣваго центра находили противнымъ совѣсти покрывать своимъ именемъ политику, несогласную съ мнѣніями ихъ группы. Съ другой стороны, члены республиканскаго союза, которыхъ надлежало привлечь къ министерству, опасались солидарности съ колегами лѣваго центра; вообще, они не выказываютъ большой готовности принять дѣятельную роль въ министерствѣ, составленномъ другими, а не г. Гамбеттою: они не желаютъ выдохнуться до той неизбѣжной и неотвратимой, по ихъ мнѣнію, минуты, когда президентъ палаты будетъ вынужденъ взять на себя управление дѣлами.

Что-же касается г. Шальмель-Лакура въ частности, то привлеченіе его въ кабинету представляло, конечно, серьезную выгоду, такъ-какъ доставляло новому министерству то, въ чемъ до сихъ поръ постоянно чувствовался большой недостатокъ, а именно первокласснаго оратора, имѣющаго все, что нужно, для того, чтобы сдѣлаться замѣчательнымъ министерскимъ leader'омъ. По несчастью, выборъ этотъ, который былъ-бы весьма разумнымъ годъ тому назадъ, когда г. Шальмель-Лакуръ считался черезчуръ радикальнымъ, теперь сталъ совершенно невозможнымъ, въ виду полного разстройства его здоровья, непозволяющаго ему и думать о тѣхъ трудахъ и утомленіяхъ, которые неизбѣжно повлекло бы за собой его новое положеніе.

Дѣйствительно, въ тотъ-же самый вечеръ телеграфъ принесъ формальный отказъ посланника, по причинѣ болѣзни. Г. Вадингтонъ принялъ рѣшеніе въ томъ же смыслѣ, а г. Леонъ Сэ объявилъ, что не можетъ отстать отъ своего экс-колеги по иностраннымъ дѣламъ.

Новыя попытки были сдѣланы въ различныхъ направленіяхъ. Для министерства внутреннихъ дѣлъ обратились къ г. Брисону, члену отдѣлившейся крайней фракціи союза. Но политическій вождь газеты „Siècle“ рассчитываетъ главнымъ образомъ на президентство въ палатѣ, которое, по его расчетамъ, достанется ему, когда г. Гамбета станетъ во главѣ правленія.

Отъ г. Брисона перешли къ г. Гобле, помощнику статсъ-секретаря при министерствѣ юстиціи; отъ г. Гобле къ г. Лабишъ; отъ г. Лабишъ спустились до г. Казимира Перье, въ надеждѣ, что этотъ послѣдній выборъ успокоитъ нѣсколько недовѣріе Вадингтона. Этотъ измѣненный списокъ, въ которомъ красовалось еще имя Леона Сэ, Фрейсине и представилъ Вадингтону. Экс-министръ общественныхъ работъ бралъ на себя министерство иностранныхъ дѣлъ, оставшееся свободнымъ послѣ отставки Вадингтона. Этому

же послѣднему онъ предложилъ постъ посла въ Лондонѣ, что, по его мнѣнію, должно было удалить послѣднія сомнѣнія Леона Сэ и доставить Вадингтону, за неизбѣимъ мѣста въ кабинетѣ, все-таки весьма важное положеніе въ правительствѣ. Новый отказъ со стороны Вадингтона. Впрочемъ, онъ взялся переговорить съ Леономъ Сэ и попытаться убѣдить его отказаться отъ принятаго имъ рѣшенія, но этотъ послѣдній остался непоколебимымъ.

III.

Между тѣмъ внѣ камеры начинали уже беспокоиться въ виду продолжительности кризиса, тогда-какъ г. Гамбета продолжалъ держаться своей роли сфинкса. Президентъ палаты старался даже дать понять всѣмъ и каждому, что онъ крайне недоволенъ всѣмъ, что происходило, и даже жаловался на г. Фрейсине, что тотъ не извѣщаетъ его достаточно скоро о ходѣ переговоровъ и не спрашиваетъ у него совѣтовъ.

Ропотъ публики между тѣмъ все усиливался. „Какимъ же образомъ, спрашивали многіе,—президентъ республики не счелъ нужнымъ до сихъ поръ посовѣтоваться съ президентомъ обѣихъ палатъ или, такъ-какъ г. Мартель не выходилъ изъ комнатъ по болѣзни, по крайней мѣрѣ, съ Гамбетой?“ Въ нѣкоторыхъ провинціальныхъ и иностранныхъ газетахъ рассказывали даже, что новая министерская комбинація направляется противъ президента палаты депутатовъ, и въ доказательство этихъ слуховъ приводили то обстоятельство, будто Гамбета, недовольный всѣмъ происходившимъ, убѣдилъ своего друга, Шальмель-Лакура, не принимать портфеля. Слухи эти, справедливые насколько они касались г. Греви, были совершенно вымышленными по отношенію къ г. Фрейсине. Люди, близкіе къ дѣлу, отлично знали, что Гамбета дѣйствуетъ вполне единодушно съ этимъ послѣднимъ и что ихъ кажущееся несогласіе составляетъ результатъ тонкаго расчета. Каждый изъ нихъ разыгрываетъ принятую на себя роль. Президентъ палаты депутатовъ, оставленный нѣсколько въ сторонѣ г-мъ Греви, пользовался этимъ, чтобы, выказывая нѣкоторое сопротивленіе, самою силою вещей привести дѣло къ тому результату, котораго онъ желалъ.

26 числа вечеромъ, послѣ цѣлой недѣли, проведенной въ напрасныхъ попыткахъ, г. Греви не зналъ больше, куда ему кинуться. Критическая минута настала.

На другой день утромъ въ газетѣ „Siècle“, которая, чрезъ посредство своего политическаго редактора Брисона, стоитъ въ связи съ Гамбетой, появились слѣдующія строки: „Возможно, что

все затрудненіе происходитъ оттого, что президентъ республики не обращался еще до сихъ поръ къ настоящему вождю большинства за совѣтомъ относительно состава кабинета и выбора лицъ. Конечно, лицо это исполняетъ другую обязанность, тоже существенно необходимую для успѣшнаго хода дѣлъ, тѣмъ не менѣе оно могло бы подать свое мнѣніе, подобно тому, какъ въ другое время президентъ тогдашней республики призывалъ гг. Греви и Одифре Пакье для совѣщанія, безъ всякаго намѣренія предложить имъ портфели. Президентъ палаты знаетъ лучше всякаго другого составъ большинства и ресурсы, которые оно представляетъ. Мнѣніе его несомнѣнно значительно освѣтило бы все положеніе дѣлъ“.

Въ то-же самое утро, 27 декабря, пока г. Гамбета изливаль передъ посѣтителеми, присутствующими обыкновенно на его *retit lever*, жалобы на то, что его держать въ полномъ невѣдѣніи относительно хода дѣла, что онъ не знаетъ рѣшительно ничего, вошелъ приставъ палаты съ письмомъ отъ г. Греви.

Убѣдившись въ трудностяхъ, которыя встрѣчаетъ г. Фрейсине при выполненіи даннаго ему порученія, и сознавая, что глаза всѣхъ начинаютъ обращаться на г. Гамбету, какъ на единственнаго человѣка, способнаго разрубить этотъ Гордіевъ узелъ, г. Греви рѣшился обратиться къ президенту палаты депутатовъ. Этотъ послѣдній, прочитавъ полученную записку, сказалъ, обращаясь къ окружающимъ: „Наступила, наконецъ, пора покончить дѣло“. Въ десять часовъ утра карета г. Гамбеты, запряженная парюу карихъ, вѣзжала во дворъ елисейскаго дворца, а часъ спустя онъ вышелъ оттуда, сопровождаемый до самаго крыльца генераломъ Питіе, начальникомъ военной канцеляріи г. Греви.

Что-же произошло въ елисейскомъ дворцѣ въ этотъ многознаменательный часъ? Президентъ республики, чтобъ уяснить своему собесѣднику весь ходъ дѣла, извѣстный, впрочемъ, этому послѣднему гораздо полнѣе и лучше, чѣмъ самому г. Греви, резюмировалъ вкратцѣ всѣ трудности, которыя встрѣтилъ г. Фрейсине; онъ объяснялъ медленность его дѣйствій преимущественно отказомъ большинства членовъ республиканскаго союза войти въ министерство,—отказомъ, главнымъ зачинщикомъ котораго былъ г. Клемансо, желающій провалить всякую министерскую комбинацію, въ которую не входитъ самъ Гамбета. Далѣе медленность эта объяснялась трудностью сгруппировать большинство вокругъ важныхъ вопросовъ, поставленныхъ министерствомъ Вадингтона или депутатами,—вопросовъ, которые, конечно, лягутъ тяжелымъ бременемъ и на будущее министерство: прежде всего вопросъ объ амнистіи, затѣмъ статья 7-я, затѣмъ реформы въ составѣ магистратуры.

Естественный отвѣтъ на подобнаго рода объясненія могъ, ко-

нечно, быть только таковъ: „Во всѣхъ странахъ, гдѣ придерживаются строгихъ парламентскихъ порядковъ, подобныя кризисы разрѣшаются тѣмъ, что глава большинства беретъ въ свои руки управление дѣлами. Въ этомъ случаѣ, слѣдовательно, мнѣ слѣдуетъ возложить на себя бремя дѣлъ“.

Г. Гамбета, по причинамъ, о которыхъ мы говорили не разъ, далеко отъ того, чтобы держать подобную рѣчь. Понимая, однако, что если неопредѣленное положеніе продолжится еще долѣе и г. Фрейсине откажется отъ возложеннаго на него порученія, то составленіе министерства неизбѣжно выпадетъ на долю его, Гамбеты, или на долю его личнаго врага Жюля Симона,—онъ обѣщаетъ сдѣлать все, что можетъ, чтобы сгладить всѣ трудности и разрѣшить какъ можно скорѣе кризисъ.

Въ тотъ-же самый день, по его совѣту, г. Фрейсине пришелъ заявить г. Греви, что, истощивъ всѣ средства соглашенія касательно лицъ, протежируемыхъ елисейскимъ дворцомъ, онъ считаетъ необходимымъ, чтобы исполнить съ успѣхомъ принятое имъ на себя, испросить полную и неограниченную свободу дѣйствія. Только послѣ этого разговора были опубликованы, наконецъ, въ „Мониторѣ“ отставки прежнихъ министровъ, принятія уже нѣскольکو времени тому назадъ. Въ то-же самое время агентство Гаваса помѣстило замѣтку, что г. Фрейсине получилъ официальное приглашеніе составить новое министерство, и прибавляло далѣе, что „президентъ республики, придерживаясь строго принятыхъ конституціонныхъ правилъ, предоставилъ г. Фрейсине полную свободу въ выборѣ своихъ товарищей“. Замѣтка Гаваса просто лишь подтверждала всѣмъ извѣстное правило парламентскаго порядка, но г. Греви, очевидно, нуждался, чтобы ему напомнили о немъ, и г. Фрейсине настоялъ на томъ, чтобы эта офиціозная замѣтка была разослана во всѣ департаментскія газеты. Предвидя, что разныя постороннія вліянія могутъ вызвать опять возраженіе противъ нѣкоторыхъ лицъ новаго министерскаго списка, г. Фрейсине желалъ быть вооруженнымъ противъ всякаго противодѣйствія, кромѣ развѣ положительнаго отказа подписать представленный списокъ.

На другой день, 29 числа, министерскій кризисъ окончился, и официальная газета напечатала въ началѣ своего перваго столбца списокъ новаго кабинета. Новые члены его были взяты исключительно изъ числа сенаторовъ: Маньенъ — министромъ финансовъ, Варуа — общественныхъ работъ и Казо — юстиціи. Этотъ послѣдній принадлежалъ къ умѣренной фракціи республиканскаго союза; двое другихъ — къ республиканской лѣвой сторонѣ.

Публика съ удивленіемъ встрѣтила нѣсколько именъ прежняго кабинета. Такъ морскимъ министромъ желали видѣть адмирала

Потю, но онъ отказался. По странной случайности, въ списекъ является опять Леперь, отставка котораго была рѣшена въ самомъ началѣ, съ назначеніемъ ему въ преемники то Шальмель-Лакура, то Гoble, то Лабиса, то Казиміра Перье. Что касается Фери, то онъ сохранилъ свое мѣсто лишь временно.

Главная черта новаго кабинета состояла въ томъ, что изъ него были исключены совершенно лѣвый центръ и дисидентная фракція республиканскаго союза.

Такимъ образомъ центръ тяжести правительства перемѣстился нѣсколько влѣво, приблизительно на границу между группою, носящею названіе республиканской лѣвой, и умѣренной фракціей союза, т. е. какъ-разъ въ самый центръ тяжести парламентскаго большинства. Съ другой стороны, выбирая новыхъ министровъ изъ числа сенаторовъ, льстили себя надеждой, что эта уступка верхней палатѣ дастъ возможность скорѣе составить себѣ большинство въ ней.

Такова была, по крайней мѣрѣ, мысль г. Гамбеты, вліаніе котораго на выборъ новаго кабинета не отрицается никѣмъ и который даже самъ называетъ иногда въ шутку новый кабинетъ своимъ „крестникомъ“.

Въ результатѣ Гамбета чрезвычайно доволенъ составомъ министерства, и Греви не менѣе его. Когда въ новый годъ президентъ республики, пріѣхавъ къ г. Гамбетѣ на его официальный пріемъ, извинялся, что опоздалъ вслѣдствіе большого разстоянія, раздѣляющаго палату отъ сената, президентъ палаты возразилъ шутя: „За то ихъ большинства значительно сближены или, лучше сказать, составляютъ теперь лишь одно цѣлое“. — „Прибавьте къ этому и министерство, отвѣчалъ Греви. — Сенатъ, палата и министерство—это единая воля въ трехъ лицахъ, настоящая троица“. На что сфинксъ елисейскаго дворца далъ въ отвѣтъ: „Г. президентъ, вы мастеръ объяснять таинства“. Затѣмъ Греви, объясняя свой скорый отъѣздъ, сказалъ, удаляясь: „Я не желаю удерживать какъ васъ, такъ и этихъ господъ отъ завтрака, такъ-какъ въ эту минуту всѣ единогласно должны раздѣлять это желаніе“. — „Вы доказываете намъ еще разъ, отвѣчалъ Гамбета,—что умѣете всегда съ удивительною проникающею различать политическія стремленія и желаніе большинства“.

Возможно-ли для двухъ братьевъ-враговъ выказать болѣе сердечнаго добродушія и задушевнаго довѣрія другъ къ другу?!

Оставалось еще убѣдиться, будетъ-ли встрѣченъ новый кабинетъ столь-же благосклонно и за-границей. Въ первое время онъ былъ встрѣченъ съ недоувѣріемъ, почти равнымъ тому, которое возбудилъ самый министерскій кризисъ.

„Этотъ новый поворотъ въ дѣлахъ, говорить „Berliner Tagblatt“,—чрезвычайно серьезень, ибо онъ обозначаетъ конецъ той эры, вирожденіи которой французская республика, какъ во внутреннихъ, такъ и во внѣшнихъ дѣлахъ придерживалась „скромной сдержанности“.

Далѣе органъ нѣмецкой либеральной партіи замѣчаетъ: „Въ настоящую минуту весьма вѣроятно, что французская политика за-границею пойдетъ по прежнему пути, но сомнительно, какъ долго это продлится. Послѣ послѣднихъ уступокъ, сдѣланныхъ лѣвой, слѣдуетъ ожидать, что вскорѣ и внѣшняя политика будетъ наводнена элементами, считающими вѣру въ возмездіе за основное положеніе истиннаго республиканизма“.

Для „National Zeitung“ опасность является не менѣе грозною и гораздо болѣе близкою. Большинство членовъ новаго кабинета представляются ей, какъ „защитники“ по профессіи. Г. Фрейси не-инженеръ, прежній министръ народной обороны; генералъ Фаръ—военный инженеръ, президентъ совѣта объ укрѣпленіяхъ; г. Варуа-инженеръ-техникъ, прежній строитель стратегическихъ линій на востокѣ Франціи; г. Маньенъ — президентъ комисіи о сѣстныхъ припасахъ во время осады Парижа; г. Казо — прежній товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ въ Турѣ, во время войны.

„Крестовая Газета“ выставляетъ тоже на видъ, что „нельзя равнодушно относиться къ тому, что самыя важныя министерскія должности находятся въ настоящее время въ рукахъ лицъ, которыя девять лѣтъ тому назадъ самымъ рѣшительнымъ образомъ противились открытію переговоровъ о мирѣ и дѣйствовали всегда въ смыслъ партіи возмездія“.

Но вслѣдъ за этимъ однимъ любезного слова на вечерѣ у г. Гогенлоэ было достаточно, чтобы разогнать всѣ эти тучи. По одному знаку нѣмецкаго канцлера всѣ газетные листки по ту сторону Рейна прекрагли свои ядовитыя замѣтки. Съ тѣхъ поръ оказывается, что европейскій миръ никогда не былъ столь прочнымъ, французская республика столь благоразумною, общественное зданіе не стояло никогда такъ прочно на своихъ основаніяхъ, какъ именно въ настоящее время.

Мѣсто не позволяетъ намъ входить въ болѣе подробную характеристику новыхъ лицъ, вошедшихъ въ составъ кабинета Фрейси-не. Мы будемъ еще имѣть случай вернуться къ нимъ.

Ж.

СОДЕРЖАНІЕ ПЕРВОЙ КНИЖКИ.

Два брата. Романъ. (Часть I. Гл. I—III.)	<i>К. М. Станюковича.</i>
Невѣста. Стихотвореніе. (Изъ Роберта Гамерлинга.)	<i>П. Я.</i>
Дочь Іезавели. Романъ. Часть I. Гл. I—VII.) Перев. съ англійскаго.	<i>Уильяма Коминза.</i>
Грутыя горы. Романъ. (Часть I. Гл. I—VII)	<i>Я. П. Полонскаго.</i>
'епличная жизнь. (Отрывокъ изъ романа.)	<i>М. М—лова.</i>
Амелеонъ. Историческій романъ (Гл. I—X.) Перев. съ испанскаго.	<i>Переса Гальдоса.</i>
*. Стихотвореніе. (Изъ Роберта Гамерлинга.)	<i>Я. П.</i>
Знанка цивилизаціи. Дѣтство въ столицахъ. (Статья первая.)	<i>Л. И. Мечникова.</i>
а прощанье. Стихотвореніе.	<i>М. П. Розенгейма.</i>
омисія уложенія и крестьянское дѣло при Еватеринѣ II. (Статья первая.)	<i>С. С. Шаикова.</i>
утина. Сцены.	<i>Н. И. Наумова.</i>

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

литарный принципъ нравственной философіи.	<i>П. Никитина.</i>
муары Метерниха	<i>В. Бисардина.</i>
лужливый педагогъ.	<i>Н. В. Шелунова.</i>
вья книги.	
утреннее обозрѣніе.	<i>Н. III.</i>
гѣтки „о томъ, о семъ“.	<i>Все того-жс.</i>
утинки общественной жизни. Письма „знатныхъ иностранцевъ“.	
Письма лорда Розберри	<i>Откровеннаго Писателя.</i>
итическая и общественная хроника.	<i>Ж.</i>

Вышла и разслана гг. подписчикамъ январскѣ
книжка журнала

ИСТОРИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ.

СОДЕРЖАНІЕ: I. Самозванецъ лже-царевичъ Симеонъ. Историческій разсказъ Н. И. Костомарова.—II. Записки В. Н. Гетуна. 1771—1815 г. Главы I—III.—III. Московскій бунтъ 23 іюня 1648 года. Разсказъ очевидца; съ предисловіемъ и примѣчаніями К. Н. Бестужева-Рюмина.—IV. Сергій Михайловичъ Соловьевъ. В. И. Герье.—V. Кадетскій монастырь. Изъ разсказовъ о трехъ праведникахъ. Н. С. Лѣскова.—VI. Декабристы Лунины. Д. И. Завилишина.—VII. Знакомство съ Сенковскимъ. Отрывокъ изъ воспоминаній. А. П. Милюкова.—VIII. Близко ли паденіе Англій. Н. И. Куницына.—IX. Императоръ Александръ I. Изъ записокъ князя Метерниха.—X. Записки Луи Швейдера.—XI. Домикъ моего дѣдушки. Изъ „Очерковъ Литвы“ П. Ходзько.—XII. Критика и библіографія. 1. Исторія русской жизни съ древнѣйшихъ временъ. И. Забѣлина. Части I и II. М. 1879. О. Э. Милера.—2. Полное собраніе сочиненій князя П. А. Вяземскаго. Томъ II. Изданіе графа С. Д. Шереметьева. Спб. 1879. А. П. Милюкова.—3. Der Zarewitch Alexei (1690—1718) von A. Brückner. Heidelberg. 1880. К. Н. Бестужева-Рюмина.—XIII. Изъ прошлаго. 1. Именной указъ императрицы Елизаветы Петровны. Сообщ. М. Д. Хмыровъ.—2. Собственноручная записка императрицы Екатерины II къ неизвѣстному лицу. Сообщ. Г. В. Есиповъ.—3. Нѣчто о бывшихъ городничихъ. Сообщ. П. И. Дубасовъ.—4. Замятка о рукописной литературѣ въ двадцать летъ текущаго столѣтія. Сообщ. Д. И. Завилишинъ.—5. Прогулка маленькаго пѣмца по Невскому проспекту (анекдотъ сороковыхъ годовъ). Сообщ. А. Н. Трефолевъ.—6. Судьба дебриста Петра Бестужева. Сообщ. И. Г. Мартыновъ.—XIV. Смѣсь. Французская ученая экспедиція въ Россіи.—Изданія Московскаго Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ дѣлъ. Императорская Публичная Библіотека въ 1878 году.—Новый Мезей.—Собраніе старинныхъ книгъ, рукописей и вещей.

ПРИЛОЖЕНІЯ: 1. Новый всемірный потопъ. Историческій романъ Ю. Роденберга. Переводъ съ нѣмецкаго. Часть I. Главы I—VIII.—2. Портретъ С. М. Соловьева.

Подписная цѣна за двѣнадцать книжекъ въ годъ десять рубль съ пересылкой и доставкой на домъ; на полгода шесть рубль.

Главная контора въ С.-Петербургѣ: книжный магазинъ „Новое Времени“ (А. С. Суворина), Невскій проспектъ, № 60. Отдѣльная контора въ Москвѣ при Московскомъ отдѣленіи книжнаго магазина „Нового Времени“, Никольская, д. Ремесленной Управы.

Редакція отвѣчаетъ за своевременную доставку журнала только тѣмъ подписчикамъ, которые прислали подписныя деньги Главную контору или ея Московское отдѣленіе.

18. КАРТИНКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ. Письма „знатныхъ ино-
странцевъ“. Письма лорда Розберри. ОТКРОВЕННОГО ПИСАТЕЛЯ.
19. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ХРОНИКА. А.
20. ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА „ДЪЛО“
ВЪ 1880 ГОДУ.



ПЕЧАТАЕТСЯ И НА ДНЯХЪ ВЫЙДЕТЬ

ИДИОТИЗМЪ И ТУПОУМІЕ,

Соч. УИЛЬЯМА АЙРЛАНДА.

Перев. съ англійскаго, съ рисунками и съ предисловіемъ проф.
И. П. Мержеевского. Ц. 2 р. 50 к.; съ перес. 3 р.

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ

четвертое изданіе книги:

ПОПУЛЯРНАЯ ГИГИЕНА,

Настольная книга для сохранения здоровья и рабочей силы въ
средѣ народа.

Соч. КАРЛА РЕКЛАМА (професора медицины въ Лейпцигѣ)
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ВОЕННОЙ ГИГИЕНЫ.

Соч. Д-ра ВЕЙМАНА.

(ШВЕЙЦАРСКАГО ГИГИЕНИСТА.)

Изданіе редакціи журнала „Дѣло“. Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

При этомъ № помѣщены объявленія: 1) объ изданіи журнала „Дѣло“ въ
1880 г.; 2) объ изданіяхъ редакціи журнала „Дѣло“; 3) о подпискѣ на газету
„Синь Отечества“; 4) о выходѣ первой книжки журнала „Историческій Вѣст-
никъ.“

ПОДПИСКА НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЬ

„Д Ъ Л О“

въ 1880 году

принимается въ С.-Петербурѣ, въ Главной Конторѣ Редакціи
журнала „Дѣло“ (по Надеждинской улицѣ, д. № 39.)

Редакція считаетъ себя отвѣтственной за исправную и своевременную
высылку журнала только передъ тѣми изъ своихъ подписчиковъ, ко-
торые подпишутся по указанному выше адресу.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

годовому изданію журнала „Дѣло“.

Безъ пересылки и доставки	14 р. 50 к.
Съ доставкою въ С.-Петербурѣ	15 „ 50 к.
Съ пересылкою иногороднимъ	16 „
„ за-границу	19 „

Для служащихъ дѣлается разсрочка, но не иначе, какъ за поручи-
тельствомъ гг. назначевъ.

Издатель Г. БЛАГОСВѢТЛОВЪ.

За редактора П. ВЫКОВЪ.

Widener Library



3 2044 079 302 568